

## Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия"

"Несвоевременные" мысли Йозефа Шумпетера. Предисловие В. Автономова

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Часть первая. МАРКСИСТСКАЯ ДОКТРИНА

Пролог

Глава I. Маркс - пророк

Глава II. Маркс - социолог

Глава III. Маркс - экономист

Глава IV. Маркс - учитель

Часть вторая. МОЖЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ ВЫЖИТЬ?

Пролог

Глава V. Темпы роста совокупного продукта

Глава VI. Возможность капитализма

Глава VII. Процесс "созидательного разрушения"

Глава VIII. Монополистическая практика

Глава IX. Передышка для пролетариата

Глава X. Исчезновение инвестиционных возможностей

Глава XI. Капиталистическая цивилизация

Глава XII. Разрушение стен

1. Отмирание предпринимательской функции

2. Разрушение защитного слоя

3. Разрушение институциональной структуры капиталистического общества

Глава XIII. Растущая враждебность

1. Социальная атмосфера капитализма

2. Социология Интеллектуалов

Глава XIV. Разложение

Часть третья. МОЖЕТ ЛИ СОЦИАЛИЗМ РАБОТАТЬ?

Глава XV. Исходные позиции

Глава XVI. Социалистический проект

Глава XVII. Сравнительный анализ проектов общественного устройства

1. Предварительные замечания

2. Сравнительный анализ экономической эффективности

3. Обоснование преимуществ социалистического проекта

Глава XVIII. Человеческий фактор

Предупреждение

1. Историческая относительность всякой аргументации

2. О полубогах и архангелах

3. Проблема бюрократического управления

4. Сбережения и дисциплина

5. Авторитарная дисциплина при социализме: урок, преподанный Россией

Глава XIX. Переход к социализму

1. Две самостоятельные проблемы

2. Социализация в условиях зрелости

3. Социализация на стадии незрелости

4. Политика социалистов до провозглашения социализма: пример Англии

Часть четвертая. СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Глава XX. Постановка проблемы

1. Диктатура пролетариата

2. Опыт социалистических партий

3. Мысленный эксперимент

4. В поисках определения

Глава XXI. Классическая доктрина демократии

1. Общее благо и воля народа

2. Воля народа и воля индивида

3. Человеческая природа в политике

4. Причины выживания классической доктрины

Глава XXII. Другая теория демократии

1. Борьба за политическое лидерство

## 2. Применение нашего принципа

### Глава XXIII. Заключение

1. Некоторые выводы из предыдущего анализа
2. Условия успеха демократического метода
3. Демократия при социалистическом строе

### Часть пятая. ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

#### Пролог

#### Глава XXIV. Юность социализма

#### Глава XXV. Условия, в которых сформировались взгляды Маркса

#### Глава XXVI. С 1875-го по 1914-й

1. События в Англии и дух фабианства
2. Две крайности: Швеция и Россия
3. Социалистические группы в Соединенных Штатах
4. Социализм во Франции: анализ синдикализма
5. Социал-демократическая партия Германии и ревизионизм. Австрийские социалисты
6. Второй Интернационал

#### Глава XXVII. От первой мировой войны до второй

1. "Gran Rifiuto" (Большая измена)
2. Влияние первой мировой войны на социалистические партии европейских стран
3. Коммунизм и русский элемент
4. Управляемый коммунизм?
5. Нынешняя война и будущее социалистических партий

#### Глава XXVIII. Последствия второй мировой войны

1. Англия и Ортодоксальный Социализм
2. Экономические возможности Соединенных Штатов
3. Российский Империализм и Коммунизм

#### ДВИЖЕНИЕ К СОЦИАЛИЗМУ

### "Несвоевременные" мысли Йозефа Шумпетера

#### В.С. Автономов

Книга, предлагаемая вниманию читателя, вышла в свет более пятидесяти лет назад. Сам по себе этот срок не должен нас смущать. "Капитализм, социализм и демократия" часто включается в список наиболее выдающихся экономических произведений всех времен и народов, а ученик Шумпетера по Гарвардскому университету Поль Самуэльсон заявил, что эта великая книга лучше читается спустя

сорок лет после опубликования, чем в 1942 или 1950 г. (годы выхода книги и смерти ее автора). Одна-ко за десять лет, прошедших с момента этого высказывания, в мире и особенно в нашей стране изменилось столь многое, что проблема восприятия шумпетеровского шедевра стоит сейчас совершенно иначе. В доперестроечное время книга Шумпетера наравне с "Дорогой к рабству" Хайека, "Свободой выбора" Милтона и Розы Фридменов и другими "капиталистическими манифестами" украшала полки спецхранов наших научных библиотек. Теперь же они как бы стоят по разные стороны баррикад. Разрушение социалистической системы в мировом масштабе и разрушение марксистской системы в сознании большинства советских обществоведов вызвало мощное движение маятника интеллектуальной моды в

сторону частнособственнического капитализма и идеологии классического либерализма. В западной экономической литературе наш читатель стал искать в первую очередь доказательства оптимальности свободного предпринимательства и невозможности построения какого бы то ни было социализма. Хайек и Фридмен по крайней мере в университетских аудиториях и на книжных лотках заняли место развенчанного пророка Карла Маркса.

С этой точки зрения "Капитализм, социализм и демократия" выглядит несколько подозрительно. Шумпетер не скупится на похвалы Марксу, перемежая их, правда, с острой критикой. На вопрос: "Может ли капитализм выжить?" - отвечает: "Нет, не думаю". На вопрос: "Жизнеспособен ли социализм?" - заверяет: "Да, несомненно". Такие "несвоевременные" мысли, кажется, пора снова помещать в спецхран.

(Впрочем, здесь, о чем мы будем говорить ни-же, нечем поживиться и сторонникам социалистических идеалов.)

И все же мы призываем читателя набраться терпения. Выводы о судьбах капитализма и социализма (как отмечал и сам Шумпетер) сами по себе немного стоят. Гораздо важнее то, кем и на основании чего они были сделаны. На эти вопросы мы попытаемся вкратце ответить в этом предисловии.

Книги Йозефа Шумпетера в русском переводе уже известны на-шему читателю. В 1982 г. издательство "Прогресс" выпустило "Теорию экономического развития", а в 1989-1990 гг. издательство "Экономика" - первые главы "Истории экономического анализа" в сборнике "Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической

мысли" (Вып. 1, 2). Наконец, в 1989 г. в ИНИОН АН СССР был издан реферативный сборник, содержащий реферат книги "Капитализм, социализм и демократия", несколько посвященных этой книге обзоров и биографический очерк об авторе. Тем не менее, краткий очерк социально-политических воззрений и биографию Й.Шумпетера, в особенности моменты, имеющие отношение к проблемам исторических судеб капитализма и социализма, мы считаем необходимым поместить здесь. Йозеф Алоиз Шумпетер родился 8 февраля 1883 г. в моравском городе Триш (Австро-Венгрия) в семье мелкого текстильного фабриканта и дочери венского врача. Вскоре отец умер, а мать вторично вышла замуж за командующего Венским гарнизоном генерала фон Келера, после чего семья переехала в Вену и десятилетний

Йозеф поступил в тамошний лицей Терезианум, дававший блестящее образование сыновьям венских аристократов. Из Терезианума Шумпетер вынес прекрасное знание древних и новых языков древнегреческого, латинского, французского, английского и

итальянского (это дало ему возможность читать в подлиннике экономическую - и не

только - литературу всех времен и многих стран, составлять о ней независимое мнение, что поражает любого читателя "Истории экономического анализа") - и что, может быть еще важнее - чувство принадлежности к интеллектуальной элите общества, способной и призванной к тому, чтобы управлять обществом наиболее рациональным образом. Эта элитарная установка очень заметна на страницах "Капитализма, социализма и демократии", в частности, при описании преимуществ большого бизнеса над мелким, а также определяющей роли интеллигенции в возможном крушении капитализма и построении социалистического общества. Типичным для Австро-венгерской монархии тех времен было и отделение буржуазии от

власти (высшие чиновники рекрутировались из дворян), что, по мнению Шумпетера, способствовало развитию капитализма ввиду неспособности буржуазии к управлению государством.

В 1901 г. Шумпетер поступил на юридический факультет Венского университета, в программу обучения на котором входили также экономические дисциплины и статистика. Среди экономистов-учителей Шумпетера выделялись корифеи австрийской

школы Е.Бем-Баверк и Ф.Визер. Особое место занимал семинар Бем-Баверка, в котором Шумпетер впервые столкнулся с теоретическими проблемами социализма. Он изучал произведения Маркса и других теоретиков социализма (как известно, Бем-Баверк был одним из наиболее глубоких критиков экономической теории Маркса) Интересно, что из числа участников этого семинара впоследствии вышли и

выдающийся критик социализма Л.Мизес, и столь же выдающиеся социалисты Р.Гильфердинг и О.Бауэр. Об оригинальной позиции Шумпетера в этом диспуте мы будем говорить ниже.

Оригинальность и самостоятельность Шумпетера, его желание и умение идти против течения проявились и в других моментах. Как известно, австрийская школа принципиально отвергала использование математики в экономическом анализе. Но, учась в Венском университете, Шумпетер самостоятельно (не прослушав ни одной специальной лекции) изучил математику и труды экономистов-математиков от О.Курно

до К.Викселля настолько, что в год защиты диссертации на звание доктора права (1906) опубликовал глубокую статью "О математическом методе в теоретической экономике", в которой к большому неудовольствию своих учителей сделал вывод о перспективности математической экономики, на которой будет основываться будущее экономической науки, Любовь к математике осталась на всю жизнь: Шумпетер считал потерянным всякий день, когда он не читал книг по математике и древнегреческих

авторов.

После окончания университета Шумпетер два года проработал "по специальности" в Международном суде в Каире, но его интерес к экономической теории победил. В 1908 г. в Лейпциге вышла его первая большая книга "Сущность и основное содержание теоретической национальной экономики", в которой Шумпетер познакомил немецкую научную общественность с теоретическими достижениями маржиналистов, и в первую очередь своего любимого автора Л.Вальраса. Но, пожалуй, еще важнее то, что здесь 25-летний автор поставил вопрос о границах статического и сравнительно-статического анализа маржиналистов, которые он затем пытался преодолеть в своей теории экономического развития. Книга встретила весьма прохладный прием немецких экономистов, среди которых в то время практически безраздельно господствовала новая историческая школа Шмоллера, отрицавшая экономическую теорию вообще и маржиналистскую теорию австрийской школы в особенности. Не понравилась она и венским экономистам скептически относившимся к

применению математических приемов в экономическом анализе, хотя Шумпетер специально для немецко-язычной аудитории изложил всю теорию общего равновесия словами, практически не используя формулы (кстати, русский читатель имеет возможность познакомиться с этим изложением в первой главе "Теории экономического развития"). Добрым гением Шумпетера оставался его учитель Бем-Баверк, усилиями которого книга была зачтена Шумпетеру как вторая диссертация (Habilitationsschrift).

Но так или иначе, венская университетская профессура не желала иметь в своих рядах диссидента, и Шумпетеру пришлось на два года отправиться преподавать на окраину империи в далекие Черновцы. Лишь с помощью того же Бем-Баверка, занимавшего в Австро-Венгерской монархии высшие государственные должности, Шумпетеру удалось в 1911 г. получить место профессора в Грацском университете несмотря на то, что факультет проголосовал против его кандидатуры. Здесь, в негостеприимном Граце, он в 1912 г. опубликовал знаменитую книгу "Теория экономического развития". В ней были впервые высказаны идеи, которые важны для понимания второй части "Капитализма, социализма и демократии", в особенности знаменитой главы о "созидательном разрушении", поэтому нам кажется нелишним их упомянуть в этом предисловии. Шумпетер создал теорию экономической динамики, основанную на создании "новых комбинаций", основными видами которых являются: производств новых благ, применение новых способов производства и коммерческого использования благ существующих, освоение новых рынков сбыта, освоение новых источников сырья и изменение отраслевой структуры. Всем этим экономическим новаторством занимаются на практике люди, которых Шумпетер назвал предпринимателями. Экономическая функция предпринимателя (осуществление инноваций) является дискретной и не закреплена на вечно за определенным носителем. Она тесно связана с особенностями личности предпринимателя, специфической мотивацией, своеобразным интеллектом, сильной волей и развитой интуицией. Из новаторской функции предпринимателя Шумпетер выводил существование таких важнейших экономических явлений, как прибыль, процент, экономический цикл.

"Теория экономического развития" принесла 29-летнему автору мировую славу - в 30-40-е годы она уже была переведена на итальянский, английский, французский, японский и испанский языки.

В грацкий период Шумпетер опубликовал и другие сочинения, обозначившие круг его

научных интересов на всю жизнь: книгу "Эпохи истории теорий и методов" (1914) и большую статью по теории денег в журнале "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" (1917).

В 1918 г. в жизни Шумпетера начался семилетний период "хождения в практическую деятельность". Первая мировая война закончилась крушением трех империй: Германской, Российской и Австро-Венгерской. Во всех этих странах к власти пришли

социалисты или коммунисты. Усиливались социалистические партии и в других европейских странах. Дискуссии на семинаре Бем-Баверка на глазах обретали плоть. Напомнили о себе и бывшие коллеги: в 1918 г. Шумпетер был приглашен социалистическим правительством Германии поработать советником при Комиссии по социализации, которая должна была изучить вопрос о национализации германской промышленности и подготовить соответствующие предложения. Комиссию возглавлял Карл Каутский, а членами были венские товарищи Шумпетера Рудольф Гильфердинг и

Эмиль Лечерер. В том, что Шумпетер принял это предложение, сказавшись, очевидно, не только усталость от сверхнапряженной научной работы предыдущего десятилетия и враждебности университет-ских коллег. Шумпетер никогда не был членом никаких социали-стических партий и групп и не придерживался социалистических взглядов. В "Теории экономического развития" он блестяще описал роль частного предпринимателя, придающего динамичность капиталистической экономике. По словам Г.Хаберлера, на вопрос, зачем он консультировал Комиссию по социализации, Шумпетер отвечал: "Если кому-то хочется совершить самоубийство, хорошо, если при этом присутствует врач". Но здесь сказа-на явно не вся правда. Во-первых, марксизм как научная тео-рия, несомненно, обладал для Шумпетера интеллектуальной притягательностью. Во-вторых, с его стороны было вполне естественно подумать, что крушение старой системы даст наконец власть в руки интеллектуальной элите, к которой Шумпетер с полным правом себя причислял, И в-третьих, какому экономисту-теоретику не приходит в голову попробовать реализовать свои идеи и знания на практике? Достаточно вспомнить хотя бы молодых докторов и кандидатов экономических наук, играющих ак-тивную роль в российских реформах. А ведь Шумпетеру было в ту пору 33 года!

Наши догадки подтверждает и тот факт, что в 1919 г., вернув-шись из Берлина, Шумпетер занял пост министра финансов в авс-трийском социалистическом правительстве (министром иностран-ных дел в нем был еще один ученик Бем-Баверка Отто Бауэр). Как известно, всякая социальная революция, ломка, перестройка и т.д., не говоря уже о проигранной войне, сопровождается разрушением финансовой системы. В этой обстановке решение занять пост ми-нистра финансов было самоубийственным, и нет ничего удиви-тельного в том, что через семь месяцев Шумпетер, которому не доверяли ни социалисты, ни буржуазные партии, ни собственные подчиненные - министерские бюрократы, был вынужден подать в отставку, Академическая карьера в Вене была для него по-прежнему не-доступна, искать место в провинции известному ученому, почетному доктору Колумбийского университета, естественно, не хотелось, и Шумпетер решил применить свои познания в области финансов на посту президента частного банка "Бидерман Банк". Результаты были достаточно плачевны: в 1924 г. банк обанкротился, а его пре-зидент потерял все свое личное состояние и еще несколько лет должен был выплачивать долги.

Неудачи на политическом и деловом поприще, видимо, были закономерны. Как писал сам Шумпетер в "Теории экономического развития": "Основательная подготовка и знание дела, глубина ума и способность к логическому анализу в известных обстоя-тельствах могут стать источником неудач". Из не очень многочисленных научных работ этого периода для нас наиболее инте-ресна брошюра "Кризис государства, основанного на налогах", в которой Шумпетер впервые поставил вопрос об исторических судьбах капиталистического рыночного хозяйства и возможности, а точнее, невозможности практического перехода к "истинному" Марксову социализму. Из состояния тяжелого личного кризиса Шумпетера вывело не-ожиданное приглашение в Боннский университет - неожиданное, поскольку на протяжении нескольких десятилетий немецкие уни-верситеты были закрыты для экономистов-теоретиков, оставаясь в безраздельном владении приверженцев исторической школы. Правда, в Бонне Шумпетеру не доверили теоретический курс: он читал финансы, деньги и кредит и историю экономической мыс-ли. В этот период его особенно волновали проблемы монополии и олигополии и влияние их на нестабильность капитализма. Результаты размышлений Шумпетера по этому поводу мы можем найти в гл. VIII "Капитализма, социализма и демократии". Тогда же усилиями Шумпетера, Р.Фриша, И.Фишера, Ф.Дивизиа, Л. фон Борткевича и еще нескольких единомышленников были основаны международное Эконометрическое общество и журнал "Экономет-рика", которые должны были осуществить давнюю мечту Шумпе-тера -- соединить экономическую теорию, математику и стати-стику.

В 1932 г. Шумпетер переезжает за океан и становится профессором Гарвардского университета (курсы экономической теории, теории конъюнктуры, истории экономического анализа и теории социализма). Крупнейшими работами этого периода

явились двух-томник "Экономические циклы" (1939), в котором были развиты идеи "Теории экономического развития", т.е. причиной циклов объявлена неравномерность

инновационного процесса во времени, и дана систематизация циклических колебаний экономики разной длительности: циклов Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева;

"Капитализм, социализм и демократия" (1942) и неоконченный труд "История экономического анализа" (издан после смерти автора в 1954 г.), который до сих пор остается непревзойденным по охвату и глубине проникновения в материал. В 1949 г. Шумпетер первым из иностранных экономистов был избран президентом Американской экономической ассоциации.

Вскоре после этого в ночь с 7 на 8 января 1950 г. Йозефа Шумпетера не стало. На столе его лежала почти законченная рукопись статьи "Движение к социализму", которую читатель также найдет в этой книге.

Книга "Капитализм, социализм и демократия" стала бестселлером практически сразу

же, что, впрочем, не может вызвать удивления. По замыслу автора, она была написана для непрофессионального читателя, сравнительно простым языком (со скидкой на при-сущую шумпетеровскому английскому немецкую тяжеловесность, которую почувствует и читатель русского перевода), а момент ее выхода в свет совпал с очередной грандиозной ломкой мироустройства - второй мировой войной, поставившей вопрос о судьбе капиталистической цивилизации (да и цивилизации вообще) в практическую плоскость. Но и для искушенного в экономической и социологической теории читателя книга представляла и пред-ставляет огромный интерес. В своей оценке перспектив капитализма и социализма, марксистского учения, феномена демократии и политики социалистических партий Шумпетер последовательно придерживается объективных, строго научных аргументов, старательно исключая свои личные симпатии и антипатии. Поэтому его предпосылки и аргументы, даже если мы с ними не согласны, гораздо полезнее для исследователя, чем эмоциональные, перегру-женные идеологией и политикой дискуссии наших дней о рыноч-ной экономике и социализме.

Как предупреждает читателя сам автор в предисловии к первому изданию, пять частей книги в принципе самостоятельны, хотя и взаимосвязаны. Первая часть содержит краткий крити-ческий очерк марксизма. Этот текст, в равной степени непри-емлемый и для правоверных последователей Маркса, и для его неразборчивых ниспровергателей, должен, на наш взгляд, изучить каждый, кто хочет осознать реальное значение Маркса в истории мировой общественной мысли. Автору предисловия оста-ется пожалеть, что в студенческие годы книга Шумпетера "Капитализм, социализм и демократия" (и особенно первая часть) не могла быть включена в список литературы для спецсемина-ров по "Капиталу".

Нынешних комментаторов западных экономистов никто не за-ставляет спорить с автором в каждом месте, где он непочтительно высказывается по поводу той или иной "святыни", и противопоставлять ему повсеместно "правильную точку зрения". Читатель сможет сам сопоставить критику Шумпетера с содержанием марксистской экономической и социологической теории. Обратим лишь внимание на несомненное сходство общего "видения" Шум-петером и Марксом объекта своего исследования - капиталистиче-ской системы - как непрерывно развивающегося и изменяющегося по своим собственным законам организма, а также на их стремление рассматривать экономические и социальные факторы во взаимосвязи, хотя характер этой взаимосвязи они понимали, как убедится читатель, по-разному.

Вторая - центральная и, пожалуй, наиболее интересная часть книги непосредственно посвящена судьбе капиталистического строя. Читая ее, необходимо помнить, что она

была написана по горячим следам Великой депрессии, т.е. в период, когда выжива-ние капитализма в его традиционной форме казалось сомнительным не только некоторым советским экономистам, решившим, что он вступил в период перманентного

кризиса, но и таким авторам, как Дж.М.Кейнс, а также экономистам, обосновавшим Новый курс Ф.Рузвельта. Однако Шумпетер и здесь проявил оригинальность (его гений смело может быть назван "другом парадоксов"). Он не стал связывать нежизнеспособность капитализма с экономи-ческими барьерами, в частности с

ограничением конкуренции и господством монополий. Напротив, и на чисто теоретическом (гл. VI, VII), и на практическом уровне (гл. VIII) он доказывал, что ограничение конкуренции, если понимать ее в духе статической модели совершенной конкуренции, не может быть существенным фактором замедления экономического роста, поскольку значительно большую роль в капиталистической экономике играет процесс "созидательного разрушения" - динамической конкуренции,

связанной с внедрением новых комбинаций (см. выше). Ей не могут помешать монопольные барьеры, и даже наоборот. В гл. VIII Шумпетер разворачивает перед глазами изумленного западного читателя, привыкшего к тому, что с монополией связаны лишь потери в общественном благосостоянии, широкую панораму преимуществ (с точки зрения динамической эффективности, т.е. создания условий для процесса "созидательного разрушения") большого монополистического бизнеса над экономикой, близкой к модели совершенной конкуренции. (В условиях активной антitrustовской политики в США эта мысль звучала, да и по сей день звучит, как вызов общественному мнению.)

Великий кризис 1929-1933 гг. и последовавшая за ним затяжная депрессия также не произвели на Шумпетера большого впечатления, так как вполне укладывались в его концепцию циклов деловой активности.

Итак, по мнению Шумпетера, опасность капитализму угрожает не с экономической стороны: низкие темпы роста, неэффективность, высокая безработица - все это преодолимо в рамках капиталистической системы. Сложнее обстоит дело с другими, менее осязаемыми аспектами капиталистической цивилизации, которые подвергаются разрушению именно благодаря ее успешному функционированию. Некоторые из этих инструментов: семья, дисциплина труда, романтика и героизм свободного предпринимательства, и даже частная собственность, свобода контрактов и пр. - становятся жертвой процесса рационализации, обезличивания, "дегероизации", основным двигателем которого являются крупные концерны - акционерные общества с бюрократическим механизмом управления, преуспевшие на ниве "созидательного разрушения". Таким образом, развитие капитализма повсеместно ослабляет капиталистическую мотивацию, он теряет свою "эмоциональную" привлекательность. Гл. IX и XII захватывающе интересны с точки зрения цивилизационного подхода к капиталистической системе, который получает в нашей литературе все большее распространение. Это, по сути дела, та самая теория надстройки и ее обратного влияния на базис, о необходимости которых говорил в последних письмах Ф.Энгельс.

Одновременно капитализм готовит и армию собственных могильщиков. Только в отличие от марксистов Шумпетер видел в этой роли не пролетариат (этот "венский джентльмен старой школы", как характеризуют его друзья и ученики, любил и ценил данный класс не больше, чем профессор Преображенский в "Собачем сердце" Булгакова), а безработных интеллектуалов, свободных от всех традиций и подвергающих рациональной критике самые основы капитализма - частную собственность и неравенство в распределении.

Подмеченная Шумпетером "идеологическая беззащитность" капитализма перед радикализирующейся интеллигенцией - явление, абсолютно противоречащее марксистской вере в "продажность" буржуазных литераторов. Оказывается, в эпоху средств массовой информации выгоднее "продаваться" не буржуазному классу, а массовому читателю (а сегодня еще и зрителю), который часто враждебно настроен к

капиталистическим интересам. Массы только по недоразумению можно увлечь лозунгом

"рыночной экономики" или "строительства капитализма" - этому нас тоже учит Йозеф Шумпетер. (Однако, как мы знаем, капиталистические ценности на какое-то время могут завоевать широкую поддержку вследствие неудачи социалистических мер экономической политики, как, например, национализация в Англии и Франции. В еще

большей мере это, конечно, применимо к ситуации, возникшей после крушения "реального" социализма в нашей стране.)

Предпринятое Шумпетером исследование исторической судьбы капитализма - одна из наиболее глубоких попыток такого рода на протяжении нашего века. Но это не значит, что у него не было предшественников и последователей. Рисуя картину гибели капитализма от обобществления производства и рационализации общественной жизни, Шумпетер с оговорками и значительными модификациями

объединил две традиции, идущие соответственно от К.Маркса и М.Вебера. Эту же линию аргументации развивали и американские институционалисты, начиная с книги Т.Веблена "Теория делового предприятия" и включая хорошо знакомые на-шему читателю книги Дж.К.Гэлбрейта "Новое индустриальное общество" и "Экономическая теория и цель общества". Примерно в том же духе (по крайней мере, в той части, которая касалась будущего капитализма) высказывались и теоретики смешанной экономики, и сторонники теории конвергенции. Вплоть до 1970-х годов на Западе повсеместно нарастало убеждение, что трансформация стихийного частнохозяйственного капитализма в некое подобие того, что в нашей литературе называлось ГМК, - процесс необратимый и линейный. Однако в наши дни, спустя полвека после вы-хода в свет книги Шумпетера, очевидно, что описанные им тенден-ции в какой-то мере отступили на второй план. Разумеется, сам автор многократно подчеркивал, что он не занимается пророчест-вами и лишь показывает, что может произойти, если имеющиеся тенденции получают продолжение. Можно найти в

его тексте и упоминание о том, что столетие - слишком краткий срок для подобных прогнозов. И все же интересно, что помешало экстраполяционному развитию капитализма "по Шумпетеру"?

1970-е годы ознаменовались для капитализма не только циклическим и структурным,

но и системным кризисом. Перестройка структуры относительных цен в результате нефтяного кризиса, резкое усиление инфляционных процессов и их сочетание с паде-нием производства, разрушение Бреттон-Вудской системы фиксиро-ванных курсов

валют, крах старых методов государственной экономической политики - все это создало качественно новую и быстро меняющуюся ситуацию, а эти условия как раз благоприят-ствуют развитию предпринимательского духа: смелые индивидуальные новаторы - герои шумпетеровской "Теории экономического развития" гораздо лучше приспособляются к резким измене-ниям среды, чем неповоротливые промышленные гиганты. Развитию предпринимательства способствовали и изменения в ха-рактере научно-технического прогресса, в результате которых ин-дивидуализированное мелкосерийное производство стало не ме-нее, а часто и более выгодным, чем концентрация производства на огромных предприятиях, которые могли построить лишь

крупные концерны. Сказалась и переориентация на предпринимателя госу-дарственной экономической политики.

В результате темпы возникновения новых предприятий, их вклад в прирост производства и занятости достигли новых высот, а индивидуальный предприниматель вытеснил из центра внимания героя 50-60-х годов: менеджера-технократа, планирующего буду-щее своей крупной корпорации. (См. Предпринимательство в кон-це XX века / Под ред. А.А.Дынкина, А.Р.Стерлина. М.: Наука, 1992.) Конечно, "предпринимательская революция" 1970-1980-х годов не дает нам гарантии,

что постиндустриальный капитализм навеч-но останется благоприятной средой для развития предпринима-тельства. Однако опыта этой революции, кажется, вполне достаточ-но, чтобы сделать предположение о том, что отмеченное Шумпете-ром затухание предпринимательского духа может быть не вековой тенденцией, а фазой какого-то исторического цикла, в ходе которого периоды гладкого инерционного развития сменяются периодами резких изменений и активизации предпринимательства.

По крайней мере, такое предположение полностью соответствовало бы взглядам Йозефа Шумпетера, высказанным в "Теории экономического развития" и "Экономических циклах".

Если при анализе капитализма Шумпетер смело комбинирует чисто теоретический экономический анализ с исследованием ре-альных институтов капиталистического хозяйства и общества в це-лом, то его описание социализма носит преимущественно абстрак-тный характер.

Третью часть "Капитализма, социализма и демократии" следует воспринимать в контексте теоретической дискуссии о возможности рационального хозяйствования при

социализме, развернувшейся в 1920-1930-е годы. Ее началом послужила статья Э.Бароне "Ми-нистр производства коллективистского государства", в которой автор доказывал, что при централизованном планировании можно достичь оптимального

функционирования экономики, в административном порядке приравняв цены предельным издержкам. Аргументацию Бароне в дальнейшем развили А.Лернер и О.Ланге (см. подробное описание в кн.: Блауг М. Экономическая теория в ретроспективе. М.: Дело, 1994. Гл. 13). Оппонентами выступили Мизес и Хайек, утверждавшие, что оптимизация при социализме невозможна, поскольку цены не могут

отражать реальных предпочтений людей. (Читатель может составить представление о

сущности этой позиции, прочитав переведенные на русский язык книги Хайека "Дорога к рабству" и "Пагубная самонадеянность".)

В этом споре Шумпетер встал на сторону Бароне. Принятие рациональных решений, максимизирующих предпочтения (правда, не потребителей, а самих "плановиков") при

социализме он считал возможным. В отличие от Мизеса и Хайека Шумпетер сопоставлял "социалистический проект" не с конкурентной моделью, а с капитализмом большого бизнеса, достаточно далеко продвинувшимся в сторону обобществления и рационализации (см. выше). В таком случае доведение этих процессов до их логического завершения при осуществлении социалистического проекта должно привести лишь к дополнительному росту эффективности. Шумпетер разбирает "по косточкам" теоретический социализм и каждый раз обнаруживает его преимущество перед капитализмом.

В частности, он берет под защиту еще один жупел западного общественного мнения -

бюрократию и доказывает, что централизованная и дисциплинированная социалистическая бюрократия будет эффективнее капиталистической.

Что же касается "реального" социализма в советском исполнении, то Шумпетер, естественно, считает его преждевременной и, следовательно, сильно искаженной формой социализма, которая, однако, в дальнейшем умеет возможность выправиться, а пока вполне успешно решает экономические задачи диктаторскими методами. Впрочем, как явствует из пятой части самому Шумпетеру ближе английский лейбористский и скандинавский социал-демократический социализм как наименьшее неизбежное зло.

То, что Шумпетер пишет о социализме, заставляет еще раз вспомнить широко обсуждавшуюся у нас в перестроенные годы проблему: симпатии западных интеллектуалов к социализму вообще и к советскому в частности. Случай Шумпетера,

может быть, наиболее показателен, поскольку в политических симпатиях к социализму он никогда замечен не был. Дело, видимо, заключалось в том, что на высокоабстрактном теоретическом уровне социализм действительно может показаться исследователю набором "правильных" элементов. Но при любой попытке собрать из этого конструктора реальную постройку неизменно оказывается, что скрепить ее можно только цементом насилия. Последовательное осуществление социалистического проекта неизбежно ведет к тоталитаризму - этот вывод человечество смогло сделать лишь обогатившись историческим опытом нашей многострадальной страны и ее вольных и невольных последователей, Исследуя перспективы капитализма, Шумпетер, как мы помним, учитывал культурные и

социально-психологические факторы. При рассмотрении социализма теоретический каркас так и не был наполнен живой плотью.

Большой самостоятельный интерес представляет шумпетеровский анализ демократии, предпринятый в четвертой части. Здесь автор продолжает играть привычную для себя

роль "срывателя всех и всяческих масок". В противовес "классической доктрине" демократии, исходившей из идеи "общего блага" и политической системы, предназначенной для его реализации, Шумпетер трактует демократию как чисто буржуазный феномен, но не в марксистском классовом духе - как комитет по делам буржуазии. Просто при капитализме политика как бы становится отраслью экономики,

в которой действуют законы конкуренции: люди, желающие получить политическую власть, вступают между собой в конкурентную борьбу за голоса избирателей. Такое

экономическое толкование политической сферы, впервые предпринятое Шумпетером, получило мощное развитие в рамках западной экономической науки, стремящейся применить свой инструментарий к сопредельным областям знания: социологии,

политологии, праву и т.д. Достаточно упомянуть теорию "общественного выбора" Кеннета Эрроу, теорию политических циклов Энтони Даунса и, конечно, многочисленные и разнообразные труды Нобелевского лауреата 1992 г. Гэри Беккера, который признавал, что стремление написать работу об экономическом подходе к политическому поведению у него возникло под влиянием прочтения "Капитализма, социализма и демократии". (Capitalism and Democracy: Schumpeter Revisited. Ed. by R.D. Coe, C.K. Wilber. Notre Dame, Indiana, 1985. P. 120). В данной трактовке демократия может в принципе существовать и при достаточно абстрактно понятом социализме, хотя Шумпетер делает оговорку о том, что в условиях социализма власть государства над обществом становится слишком большой,

а потому правительство легко может поддасться искушению ограничить демократию. (Естественно, что в СССР Шумпетер не видел демократии ни в какой ее форме.) Наконец, мысли Шумпетера о демократии как о политическом методе, который не может быть самостоятельной целью общества, иллюстрируются сегодняшними российскими политическими дебатами, в которых требования соблюдать демократию и

конституционность украшают платформы политических сил противоположных направлений.

В пятой части Шумпетер анализирует историю социалистических партий. Особое внимание обращает на себя его анализ пребывания этих партий у власти. Беря на себя реальную ответственность, отмечает Шумпетер, социалисты быстро сбрасывают груз марксистских догм и идеологии классовой борьбы и начинают делать дела, причем достаточно неплохо, учитывая, что власть им, как правило, достается только в экстремальных ситуациях. Шумпетер видит проблему этих партий в том, что им приходится "управлять капитализмом" - сейчас мы бы увидели в этом их преимущество: внедрять отдельные социалистические или квазисоциалистические меры в условиях работающей капиталистической экономики оказалось гораздо более многообещающим путем, чем разрушать ее до основания, а затем создавать нечто ранее не бывавшее.

В предисловиях Шумпетера ко второму и третьему изданиям книги и лекции "Движение

к социализму" читатель найдет помимо пояснения основных тезисов книги анализ послевоенной экономической ситуации в Англии и США и, может быть, удивится сходству описанных там проблем структурной перестройки на фоне инфляции с теми, что испытывает в настоящее время российская экономика.

И это заставляет нас вернуться к нашему заголовку. Действительно, идеи настоящего мыслителя всегда несвоевременны на политическом митинге, под какими бы знаменами он ни проходил. Но каждый, кто хочет составить по "коренному вопросу нашей эпохи" собственное непредвзятое мнение, не сможет обойти вниманием

книгу Йозефа Шумпетера "Капитализм, социализм и демократия".

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Предисловие

Настоящий труд - результат работы автора по приданию приемымой для чтения формы почти сорокалетним его размышлениям, наблюдениям и исследованиям о природе социализма. Проблема демократии заняла видное место в данной работе именно потому, что стало ясно: определить позицию по вопросу об отношении между социалистическим способом организации общества и демократической формой правления невозможно без достаточно глубокого анализа последней.

Моя задача оказалась более трудной, чем я предполагал. Часть разнородного материала, который пришлось упорядочить в рамках этой книги, отражала взгляды и

опыт человека, который на разных этапах своей жизни имел больше возможностей для

наблюдения за социалистическими экспериментами, чем обычно имеют исследователи несоциалистического направления, и который оценивал виденное не общепринятыми мерками. Мне не хотелось устранять следы этого: если бы я попытался сгладить эти

моменты, то книга утратила бы значительную часть того интереса, который она

способна вызвать. Кроме того, хотя автор всегда стремился не ограничиваться поверхностным анализом, представленный материал отражает тот факт, что проблемы социализма ни-когда не были главным объектом его профессиональных занятий в течение каких-то длительных периодов времени, и поэтому по одним проблемам он высказывается пространнее, чем по другим. Чтобы избежать впечатления, что я собирался написать достаточно сбалансированное исследование, я решил, что лучше всего сгруппировать материал вокруг пяти центральных тем. Связки и мосты между ними конечно же сделаны, и некое подобие систематического изложения, я надеюсь, получилось. Однако по существу эти разделы представляют собой хотя и связанные друг с другом, но почти самостоятельные исследования.

В первой части достаточно простым языком излагается моя точка зрения на содержание марксистской доктрины - предмет, который я преподавал в течение нескольких десятилетий. Предварить обсуждение главных проблем социализма изложением самого Евангелия было бы естественно для марксиста. Но какова цель этого изложения в рамках системы, которая создана отнюдь не сторонником марксизма? Оно дается здесь для доказательства той не-марксистской идеи, что эта

доктрина имеет уникальное значение - значение, абсолютно не зависящее от того, признаете вы ее или нет. Но это и затрудняет чтение. Ни одна из марксистских категорий анализа в дальнейшем исследовании не используется. И хотя наши результаты вновь и вновь сравниваются с учением одного из величайших представителей социалистической мысли, читатели, не интересующиеся марксизмом, могут начать чтение со второй части.

Во второй части "Может ли капитализм выжить" я попытался показать, что социалистическая организация общества неизбежно вырастает из такого же неизбежного процесса разложения общества капиталистического. У многих читателей

может возникнуть вопрос: почему я произвел столь трудоемкий и сложный анализ того, что столь быстро становится общим местом даже среди консерваторов. Причина

в том, что многие из нас хотя и соглашались с результатом, но по-разному понимают сам процесс, убивающий капитализм, а также значение слова "неизбежный" в данном контексте. Полагая, что большинство выдвигаемых объяснений - как марксистских, так и более распространенных - неверны, я считал своим долгом заставить читателя задуматься, нарушить его покой, с тем чтобы подвести его к моему парадоксальному выводу: капитализм губит его собственные достижения. Предвидя, - а я думаю, так оно и будет, - что социализм станет той практической альтернативой, которая немедленно может начать воплощаться в жизнь в результате

этой войны, в третьей части книги "Может ли социализм работать?" мы рассматриваем обширный круг проблем, связанных с условиями, при которых успешное

его функционирование возможно. Эта часть представляет собой, пожалуй, наиболее сбалансированный анализ различных обсуждаемых проблем, включая проблемы "перехода". Любовь и ненависть настолько исказили предпринимавшиеся до сих пор исследования этой темы - а их не так уж и много, - что даже простое изложение некоторых широко известных концепций в отдельных местах оправдано.

Четвертая часть "Социализм и демократия" представляет собой вклад в ту дискуссию, которая в течение некоторого времени шла в этой стране [США. - Прим. ред.]. Однако следует заметить, что в этой части рассматривается лишь постановка

проблемы в принципе. Факты и комментарии, имеющие отношение к данной теме, разбросаны по всей книге, в особенности в третьей и пятой частях.

Пятая часть является тем, чем ей и следует быть, - кратким очерком. Здесь более чем в других частях я стремился ограничить себя тем, что мне хотелось сказать на

основе личных наблюдений и крайне фрагментарного анализа. Поэтому включенный сюда материал, к большому сожалению, очень неполный. Но то, что включено, продиктовано моим жизненным опытом.

Ни одна часть этой работы никогда еще не появлялась в печати. Первоначальный набросок второй части некогда составил основу лекции, прочитанной в Высшей школе

Министерства сельского хозяйства США 18 января 1936 г. и опубликованной в виде mimeографического издания этой школой. Я благодарю председателя Организационного

комитета А.С.Эдвардса за разрешение включить расширенную версию этой лекции в данную книгу.

Й.Шумпетер

Таконик, Коннектикут, март 1942.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Предисловие ко второму изданию, 1946 г.

Это издание воспроизводит издание 1942 г. без каких-либо изменений, за исключением добавления одной новой главы. Причи-на, по которой я воздержался от явно напрашивавшихся в ряде мест текстуальных изменений, состояла в том, что в вопросах, рассматриваемых в этой книге, невозможно изменить фразы, не меняя смысла или, во всяком случае, не вызывая подозрений, буд-то вы намереваетесь сделать это. Я же придаю значение тому, что ни события четырех последних лет, ни

высказанная в рецензиях критика не затронули мой диагноз и мои прогнозы; напротив, я считаю, что в свете новых событий они полностью подтвердились. Главная цель новой главы - развить на базе этих новых фактов оп-ределенные соображения, выдвинутые в старом тексте, особенно вгл. XIX и XXVII, и показать,

что современная ситуация соответствует той философии истории, которой я придерживаюсь в этой ра-боте. В данном предисловии я намереваюсь сделать замечания по поводу той критики или, скорее, видов критики, которая была высказана против моей концепции. Я хочу сделать это, ибо надеюсь, что предлагаемые мной возражения окажутся полезными для чи-тателя, а не потому, что я недоволен приемом, который нашла моя книга. Напротив, мне хочется использовать

эту возможность, чтобы выразить благодарность рецензентам за их неизменную доброжелательность и такт, а также переводчикам, осуществившим пе-ревод книги на

семь языков, за их самоотверженный труд.

Прежде всего позвольте мне сделать два критических замеча-ния профессионального свойства. Один известный экономист с международной репутацией выразил несогласие

с моим предположением, согласно которому частью социального процесса, описан-ного в этой книге, является долгосрочная тенденция к исчезнове-нию прибыли: усилия, направленные на продажу, говорил он, всег-да будут оплачены. Я не думаю, что в этом вопросе между нами су-ществуют какие-либо реальные расхождения, мы лишь в разных смыслах используем термин "прибыль". Усилия, связанные с продажей, по-прежнему необходимые для экономики, но превратившиеся в

устойчивые рутинные действия, конечно же, должны получать свой доход, как и любой другой вид деятельности, связан-ный с ведением дел. Но я объединяю его с зарплатой, получаемой за управление, чтобы выделить и придать особое значение тому, что, по моему мнению, является фундаментальным источником дохода в промышленности, т.е. прибыли, которая в капиталисти-ческой системе связана с успешным внедрением новых благ, новых методов производства или новых форм организации. Я не понимаю, как можно отрицать значение этого элемента капиталисти-ческих доходов, которое убедительно подтверждает вся промыш-ленная история. И я считаю, что с растущей механизацией индуст-риального "прогресса" (коллективный труд в исследовательских отделах и т.п.) именно этот элемент, который является самой важной опорой экономической позиции капиталистического класса, со временем должен рухнуть.

Чаще всего критика чисто экономических аргументов этой кни-ги - порой она превращалась в подлинное обвинение - касалась того, что многие читатели рассматривали как защиту монополистической практики. Да, я по-прежнему считаю, что большая часть разговоров о монополии, подобно всем нынешним разговорам об

отрицательном эффекте сбережений, есть не что иное, как порождение радикальной идеологии, не имеющее под собой никаких реальных оснований. Будучи в менее серьезном настроении, я иногда выражаюсь по этому поводу гораздо сильнее, особенно в отношении фактической и предлагаемой "политики", базирующейся на этой идеологии. Здесь же я считаю своим профессиональным долгом заявить, что все, что читатель найдет в этой книге относительно монополии, сводится в конечном счете к следующим положениям, которые ни один компетентный экономист не может отрицать.

1. Классическая теория монополистического ценообразования (теория Курно-Маршалла)

в целом не бесполезна, особенно если ее переформулировать так, чтобы она относилась не только к максимизации монопольной прибыли в данный момент, но и к максимизации прибыли во времени. Однако она предполагает столь строгие ограничения, что ее непосредственное применение в реальной действительности исключено. В частности, ее нельзя использовать для цели, для которой ее используют в современном преподавании, а именно для сопоставления функционирования чисто конкурентной экономики и экономики, в которой имеются существенные монополистические элементы. Главная причина этого состоит в том, что указанная теория предполагает постоянные спрос и издержки, одинаковые и для конкурентного, и для монополистического случая, в то время как суть современного

крупного бизнеса как раз и состоит в том, что спрос и издержки для него формируются при гораздо более благоприятных условиях - и это неизбежно, - в же отраслях при режиме совершенной конкуренции.

2. Нынешняя экономическая теория почти целиком является теорией управления данным индустриальным аппаратом. Однако гораздо важнее знать, как капитализм создает свои индустриальные структуры, чем понимать, как он ими управляет (см. гл. VII и VIII). Как раз в этот процесс созидания неизбежно включается монополистический элемент, а это дает нам совершенно другой взгляд и на проблему монополии, и на законодательные и административные методы ее регулирования.

3. Экономисты, которые мечут громы и молнии против картелей и других методов индустриального самоуправления, часто не говорят ничего неверного. Однако они избегают необходимых уточнений. А избегать необходимых уточнений - значит не выявлять полной правды. Есть и другие замечания, заслуживающие упоминания, но я воздержусь от них, чтобы перейти к группе возражений.

Мне казалось, что я принял все предосторожности, чтобы было ясно, что данная книга не носит политического характера и что я ничего не желаю защищать. Тем не менее, к моему удивлению, мне приписывали намерение - и не раз, хотя, насколько я знаю, не в печати - встать на "защиту зарубежного коллективизма". Я упоминаю этот факт не ради него самого, но чтобы подойти к другому возражению, которое кроется за этим. Если я не собирался защищать коллективизм, зарубежный или отечественный, или что-либо другое, зачем я тогда вообще написал все это? Не является ли напрасной тратой усилий тщательно исследовать факты и делать на их основе выводы, не доводя до практических рекомендаций? Когда я столкнулся с этим

возражением, оно меня чрезвычайно заинтересовало - ведь это замечательный симптом той установки, которая многое объясняет в современной жизни. Мы все время слишком много планируем и слишком мало думаем. Нам не нравится призыв к размышлению и ненавистны незнакомые аргументы, которые не совпадают с тем, во что уже верим или готовы поверить. Мы вступаем в наше будущее, как мы вступили в

войну, - с завязанными глазами. Но именно здесь я и хотел оказать услугу читателю. Я хотел заставить его думать, и чтобы сделать это, важно было не отвлекать его внимания дискуссиями о том, что "следовало бы делать", исходя из данной позиции, - дискуссиями, которые бы полностью захватили его внимание. Анализ имеет совсем другую цель, и этой цели я хотел придерживаться, хотя полностью осознавал тот факт, что это решение будет стоить мне гораздо дороже, нежели несколько страничек практических рекомендаций.

Это в свою очередь ведет к обвинению в пораженчестве. Но я полностью отвергаю применимость этого термина к любой части анализа. Пораженчество обозначает обозначает определенное психологическое состояние, имеющее смысл только в отношении к действию. Факты сами по себе и выводы, сделанные на их основе,

никогда не жмут быть пораженческими, или наоборот, о бы ни шла речь. Сообщение о том, что корабль тонет, не является пораженческим. Лишь настроение, с которым принимается это сообщение, может быть пораженческим: экипаж может сложить руки и пьянствовать. Но он может броситься к насосам. Если человек уклоняется от того, чтобы делать выводы, хотя они и тщательно обоснованы, его можно упрекнуть в эскейпизме. Кроме того, даже мои выводы о тенденциях развития давали бы основание для более определенных прогнозов, чем я сам собирался делать, то и тогда им нельзя было бы приписать пораженчество. Какой нормальный человек откажется защищать свою жизнь только потому, что он совершен-но убежден, что рано или поздно все равно умрет? Это относится к обеим группам, от которых исходят обвинения: и к сторонникам частнопредпринимательского общества, и к защитникам демокра-тического социализма. И те, и другие только выиграют, если будут более ясно понимать природу тех социальных институтов, в которых им выпало

действовать.

Честное изображение зловещих фактов никогда не было на-столько необходимым, как сейчас, потому что, как мне кажется, мы превратили уход от реальностей жизни (эскейпизм) в систему нашего мышления. В этом и состоит причина и в то же время оп-равдание того, что я пишу это новое предисловие. Представленные здесь факты и

следующие из них выводы, конечно, неприятны и неудобны. Но они сами по себе не являются пораженческими. Пораженец тот, кто, служа на словах христианству и всем

прочим ценностям нашей цивилизации, отказывается встать на его защи-ту - неважно, признает ли он их поражение в качестве свершивше-гося факта или обманывает себя вопреки всему напрасной надеж-дой. Потому что это как раз те ситуации, когда оптимизм - не что иное, как форма отступничества.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Предисловие ко третьему изданию [Издание осуществлено в Англии, поэтому в предисловии обсуждаются проблемы именно этой страны. - Прим. ред.], 1949 г.

Новое издание дает мне возможность с позиций этой книги прокомментировать процессы, происходившие в Англии в послед-ние два года, дабы ввести их в общую структуру моего анализа. Учитывая время и пространство, имеющиеся в моем распоряже-нии, я могу предложить здесь всего лишь *membra disjecta* [отдельные моменты - лат.]. Но есть и другой момент, который мне хоте-лось бы с самого начала подчеркнуть. Я никогда не намеревался критиковать политику какой-либо страны или предлагать какие-либо "советы", ничего похожего в моих мыслях никогда

не было. Я считаю все это совершенно неуместным. Если же некоторые выра-жения читаются таким образом, будто я вынашивал подобные на-мерения, пусть читатель поймет, что это всего лишь одно из многих нежелательных последствий чрезвычайной краткости.

Прежде, чем начать, пусть читатель еще раз посмотрит гл. XIX и XXVIII, которые я оставил неизменными, как и всю остальную книгу.

1. С нашей, как, впрочем, и любой точки зрения, картина проис-ходящего в Англии сложна и основные ее контуры смазаны тем, что в процесс социальной трансформации

вмешивается и с ним взаимодействует другой переходный процесс, который, - поскольку едва ли возможно, учитывая существующие международные отношения, говорить просто о переходе от военной экономики к мирной, - лучше всего назвать процессом переналадки экономики (*readjust ment*) в условиях подавленной инфляции.

Хотя их логика различна, эти два процесса слишком переплетены, чтобы рассмат-ривать их отдельно. И все же мы разрубим гордиев узел и разде-лим их. Мы можем сделать это с относительно чистой совестью, поскольку новому правительству

консерваторов, если следующие выборы приведут его к власти, придется продолжить переналадку экономики в обществе, где доминируют интересы рабочего класса, а свободное предпринимательство постепенно угасает. Другими словами: если лейбористское правительство будет заменено правительством консерваторов, - здесь я не могу дать компетентного прогноза, - это будет означать гораздо меньшие перемены, нежели те, на которые рассчитывают наиболее рьяные сторонники

консервативной партии, за исключением, конечно, того, что дальнейшая национализация будет приостановлена.

2. Посмотрим теперь на тот компонент английской экономической политики последних двух лет, который можно интерпретировать как "социалистическая политика до перехода к социализму" в том смысле, какой придается этому выражению

в гл. XIX. Читатель заметит, что до сих пор лейбористское правительство придерживалось описанной там программы национализации, а что касается наиболее спорного пункта программы, - а именно пункта 6, - социализации металлургической промышленности, - то оно, проявив умеренность, отложило определенные акции в этой области вплоть до следующих выборов. Я охотно признаю свободу существования различных точек зрения относительно того, можно ли вообще называть эту программу национализации или социализации социалистической. Но я твердо уверен, что никакая другая из осуществленных мер не вправе претендовать на это название. В большинстве случаев "планирование", которое имело место или предлагалось, не было специфически социалистическим, если только не определять социализм настолько широко, что термин этот теряет всякое аналитическое значение. Некоторые из систем планирования, в особенности некоторые виды исследовательской работы, способной помочь планированию, конечно, указывают в направлении социализма, но много еще времени пройдет, прежде чем от национального счетоводства и анализа таблицы затрат-выпуска (оба эти метода больше развиты в Соединенных Штатах, нежели в Англии) можно ожидать каких-то ощутимых социалистических плодов.

Более важное значение имеет другой аспект нынешней ситуации. Из всего, что произошло в Англии в последние два года, ничто не поразило меня так сильно, как

слабость сопротивления социалистическим тенденциям развития. Консервативная оппозиция в парламенте строго держалась в рамках обычной парламентской рутин, а вопрос социальной перестройки вызвал меньше страстей, чем некоторые относительно второстепенные вопросы последнего времени - такие, как свобода торговли, Ирландия и национальный бюджет. И в парламенте, и в стране в целом прочные позиции завоевала та часть консервативной партии, которая отнеслась к проблемам социального переустройства с завидным хладнокровием. Консервативная пресса конечно же выступила с критикой; она убеждала, отвергала, издевалась - как она делала это не раз в прежние времена, но не более того. Критический поток

книг и памфлетов хлынул, как и прежде, когда обсуждались важные вопросы, но если бы какому-нибудь склонному к статистике наблюдателю захотелось бы измерить

значимость этих вопросов числом томов и страниц, отвергающих социалистическую политику, вряд ли ему удалось бы оценить важность проблемы социализма очень высоко. Здоровая нация вряд ли бы согласилась с подобной атакой на принципы, которых она твердо придерживается. Отсюда я делаю вывод, что принцип свободного

предпринимательства к их числу уже не относится. Социализму перестали сопротивляться с той страстью, какую вызывает иной тип морали. Он стал тем вопросом, который обсуждают на базе утилитарных доводов. Остались, конечно, отдельные твердокаменные, но вряд ли они имеют достаточную поддержку, чтобы иметь политическое влияние. Это как раз и есть то, что висит в воздухе, - доказательство, что самый дух капитализма ушел в прошлое.

3. Как мне представляется, эта ситуация подтверждает мой диагноз, сделанный в 1942 г., и позволяет верифицировать - в той мере, в какой верификация в таком виде возможна, - аргументы, с помощью которых он был поставлен. Я прочитал блестящую книгу моего знаменитого коллеги проф. Джукса с уважением и восхищением [Jewkes John. Ordeal by Planning, .1948. Выражая соответствующую благодарность за его тактичную критику, я должен признаться, что в ряде мест в критикуемых взглядах я не узнавал своих собственных. К примеру, я бы предпочел

скорее говорить о том, что предпринимательская функция благодаря неуклонному расширению сферы учитываемых явлений должна постепенно обесцениваться, нежели о том, что она уже отошла в прошлое. Не собирался я отрицать и того факта, что в настоящее время остается простор для военного лидерства. Другое дело, что это лидерство вовсе не означает того, что оно значило тогда, когда Наполеон среди свистящих вокруг него пуль стоял на Аркольском мосту.], но должен признаться, что мое искреннее желание быть убежденным в обратном не осуществилось. Сам подход проф. Джукса к этой проблеме - подход, который представляет собой скорее придирчивую критику политики переналадки, чем самого социализма, - может даже дополнить накапливающиеся свидетельства в пользу основного тезиса данной книги.

Возможность решения вопроса о социализации с помощью аппарата парламентской демократии подтверждена, так что появился особый метод, соответствующий этой политической системе, т.е. метод постепенной социализации. Положенное начало, возможно, означает только это, не более того, и свидетельствует всего лишь о долговременной тенденции. Тем не менее оно, по всей видимости, должно ясно продемонстрировать, что следует понимать не только под демократической социализацией, но и под демократическим социализмом. Оно показывает, что социализм и демократия могут быть совместимы при условии, если последняя определена в том смысле, как это сделано в гл. XXII этой книги. В гл. XXIII указывалось, что принцип политической демократии - принцип, согласно которому правительства должны складываться в результате конкурентной борьбы за голоса избирателей, - в известной степени гарантирует свободу слова и свободу печати и

что в остальном демократия не имеет ничего общего с понятием "свобода". Что же касается тех "свобод", в которых заинтересован экономист, - свобода инвестирования, свобода потребительского выбора, свобода профессионального выбора, то отныне мы имеем интересный экспериментальный материал, который свидетельствует, что эти "свободы" могут быть ограничены в такой же степени, а иногда и в большей мере, чем этого способны потребовать правительства социалистов в обычных условиях. Свобода частного инвестирования в условиях современного налогообложения, во всяком случае, потеряла лучшую долю своего содержания; мы видим также, каким образом инвестиции можно перекачивать - что бы мы как индивиды не думали по этому поводу - из частной сферы в общественную. Свободы потребительского выбора в социалистическом обществе, функционирующем в нормальных условиях, может быть гораздо больше, чем сейчас; но к тому же мы видим, что и регулируемость вкусов на деле гораздо выше, чем можно поверить, поскольку люди при введении тех или иных ограничений не склонны возмущаться вплоть до активного сопротивления, даже если необходимость подобных ограничений не кажется им очевидной. Да и ограничения на профессиональный выбор обычно не принимают форму "принуждения", за исключением немногих случаев, в особенности если список доступных видов занятости рационально сочетается с перечнем дифференцированных вознаграждений; в итоге мы видим, что люди, соответственно подготовленные к принятию государственного "управления", особенно против него не возражают.

Позвольте мне повторить еще раз, хотя в этом и нет необходимости: таковы выводы, которые следуют из установленных фактов, но ни в коем случае не мои собственные предпочтения. Лично я предпочитаю другую культуру.

4. Как уже отмечалось, критика экономической политики лейбористского правительства направлена прежде всего против проводимого им "процесса переналадки в условиях подавленной инфляции". Правительство и бюрократический аппарат действительно предоставили богатый материал: целый поток мер по детальному регулированию (например, где следует выращивать зеленый лук и т.п.), а также плохо подготовленные административные решения и нелепые официальные заявления. Они запретили многие виды деятельности, в том числе в области предпринимательства, которые могли бы улучшить экономическое положение страны. Но им же удалось избежать и катастрофы при послевоенной переналадке экономики и провести трудящихся через критические годы без безработицы и при растущем уровне

реального дохода. И если это - единственная признанная цель экономической политики, как считают многие экономисты, то в таком случае так же правомерно говорить об успехе, как и о неудаче (если встать на другую точку зрения). Следовало бы добавить, что подобная политика осуществлялась, а такое могло бы

случиться, вовсе не при полном игнорировании будущего: можно критиковать отдельные виды огромных общественных инвестиций, которые были осуществлены, но остается фактом, что необходимость обновления национального экономического аппарата не игнорировалась, несмотря на все протесты против чрезмерного инвестирования, которые выражались многи-ми в том числе и известными экономистами. Однако нас в данном случае занимает только один вопрос: каким образом постепенное устранение - в течение периода действия плана Маршалла - отрицательных моментов нынешней ситуации будет влиять на перспективы соотношения капитализма и социализма. Другими словами встает вопрос: поскольку решение, которое мог бы предложить непосредственно социализм, очевидно, не стоит

в повестке дня практической политики, и потому нужное решение приходится искать

в противоположном направлении, будет ли социализм в Англии или где-либо еще отброшен назад и не получит ли система частного предпринимательства новый стимул к жизни?

Я не думаю, что на этот вопрос трудно ответить. Сразу после мировой войны произойдет откат, но не серьезный и не длительный. Частное предпринимательство кое-где восстановит утраченные позиции, но не повсюду. В основе своей сохранится

та же социальная ситуация, и маловероятно, чтобы оковы, надетые на частное предприятие, будут ослаблены до такой степени, что оно станет действовать в соответствии с собственной природой. Обоснование подобного вывода дается в двух последующих частях этого предисловия. Однако оно относится только к Англии. Очевидно, что для США диагноз и прогноз будут совершенно иными. Некоторые европейские экономисты выражают благочестивую надежду на то, что эта страна испытает не просто кризис адаптации, а такое потрясение, которое будет означать окончательный удар по капитализму (*coup de grace*). Это пожелание скорее всего не осуществится, что бы ни предпринимали американские политики в отношении тех

огромных возможностей, которые открывает им близкое будущее.

5. В число неприемлемых аспектов положения в Англии я не включаю рacionamento и детальное регулирование поведения как потребителей, так и производителей. Это

всего лишь методы подавления инфляции, они исчезнут, как только сослужат свою службу, кое-где они уже исчезают. Однако состояние подавленной инфляции само по себе есть следствие более фундаментальных трудностей и, кроме того, могло бы быть успешно преодолено с помощью хорошо известных традиционных способов - таких, как бюджетный избыток, полученный на основе специальных налогов, сокращающих избыточную покупательную способность, и соответствующей кредитно-денежной политики. Фактически эти способы уже используются - и не без успеха, - хотя в данных обстоятельствах они не могут использоваться в полной мере, поскольку невозможно иметь большое положительное сальдо доходов и расходов, пока остаются такие субсидии на продовольственные товары, и поскольку

возможности налогообложения групп с более высокими доходами уже исчерпаны, - в Англии уже нет людей, которых можно назвать "богатыми после уплаты налогов", - и

поскольку более высокие процентные ставки встречаются с явным неодобрением. Но главная трудность - это избыточное потребление, т.е. реальная зарплата плюс реальная стоимость социальных услуг, которые, с одной стороны, несовместимы с прочими условиями английской экономики при современном уровне производительности, а с другой - представляют собой решающее препятствие для ее

дальнейшего роста. Обычно эта проблема формулируется другим, менее неприятным образом. Есть и другая отрицательная черта экономической ситуации Англии - это ее между-народный платежный баланс, так что цель, которую следовало бы достичь, пока действует план Маршалла, - это превышение экспорта над импортом, которое вернет Англию в мировую экономику и обеспечит эффективный обменный курс между фунтом и долларом. Такая постановка проблемы не является ошибочной. Ошибочным является вывод, что данное положение предполагает диагноз, отличный от нашего. Потому что для достижения этой цели и дальнейшего функционирования экономики без

иностранной помощи или внешнего давления необходимо нормализовать внутреннюю

ситуацию в Англии - для понимания этого достаточно некоторых размышлений и элементарных познаний в экономической теории. Кое-чего действительно можно достичь с помощью более или менее меркантилистского использования сильных сторон

в международном положении Англии, а также с помощью политики регулирования экспорта и импорта. Во всяком случае, когда цель станет близка, девальвация фунта сможет способствовать последним шагам на пути к ее достижению. Однако фундаментальным условием длительного успеха является переналадка ее экономики в

направлении большего объема производства - производства товаров для внутреннего потребления, товаров и услуг, необходимых для оплаты импорта, а также для получения чистого избытка для инвестирования внутри страны и за рубежом. Это не может быть осуществлено без временного снижения потребления и постоянного роста производства; а последнее, в свою очередь, невозможно достичь без непопулярного сокращения общественных расходов и еще более непопулярного сдвига на-логового бремени.

6. Взвешивая все это, читателю нетрудно будет понять масштаб возникающих политических проблем. Какую бы цель ни пытались осуществить, она может быть достигнута только путем трудного маневрирования. Разумно предположить, что успех

в любом случае не может быть больше абсолютно необходимого минимума, поскольку,

учитывая существующее положение вещей, каждое действие правительства будет рассматриваться как предательство жизненных интересов рабочего класса. Но этот абсолютно необходимый минимум недостаточен для того, чтобы реконструировать общество свободного предпринимательства и показать, на что оно способно. Если это нуждается в доказательствах, достаточно посмотреть на опыт 20-х годов. А потому мы не можем ожидать прекращения социальных тенденций. Вдохнуть жизнь в частное предпринимательство можно не только при консервативном, но и при лейбористском правительстве. Но если это и случится, оно будет скорее результатом аналогичного сочетания социалистической политики и превратностей послевоенного периода, чем результатом отхода, логически оправданного или нет, от самой социалистической политики.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Часть первая.  
Марксистская доктрина. - Пролог.

Порождения интеллекта или фантазии в большинстве случаев завершают свое существование в течение периода, который колеблется от часа послеобеденного отдыха до жизни целого поколения. Но с некоторыми этого не происходит. Они переживают упадок и вновь возвращаются, возвращаются не как неузнанные элементы культурного наследия, но в собственном индивидуальном облике, со своими особыми приметами, которые люди могут видеть и трогать. Их с полным основанием можно называть великими, никакого изъяна в этом определении, связывающем величие с жизнеспособностью, я не вижу. В этом смысле это определение, несомненно, применимо к учению Маркса. Есть еще одно преимущество в определении величия способностью к возрождению: тем самым оно перестает зависеть от нашей любви или ненависти. Нам совсем не нужно верить, что великие открытия непременно должны быть источником света или не содержать ошибок в своих основах или деталях. Напротив, мы можем считать их воплощением тьмы; мы можем признавать их в корне неверными или не соглашаться с отдельными частностями. Что до Марксовой системы, то подобные отрицательные оценки и даже полное ее опровержение самой неспособностью нанести этой системе смертельный удар только свидетельствуют об ее силе.

В последние десятилетия мы стали свидетелями самого интересного возрождения

Марксовой теории. В том, что великий вдохновитель социалистической идеи должен был обрести себя в Советской России, нет ничего удивительного. И чрезвычайно характерно, что в процессе происходящей здесь канонизации между истинным значением Марксовой теории, с одной стороны, и большевистской практикой и идеологией - с другой, образуется пропасть такого же масштаба, как между религией жалких галилеян и идеологией и практикой князей в церкви или средневековых военачальников.

Другое явление - возрождение марксизма в США - объяснить труднее. Этот феномен интересен тем, что вплоть до 20-х годов ни в американском рабочем движении, ни среди американских интеллектуалов не было сколько-нибудь серьезного марксистского движения. То, что здесь называлось марксизмом, всегда было искусственным, незначительным, не имело корней. Кроме того, большевистский тип возрождения марксизма вызвал отнюдь не одинаковые сдвиги в странах, прежде наиболее сильно приверженных марксизму. Примечательно, что в Германии, которая из всех стран имела самую сильную марксистскую традицию, в течение послевоенного

социалистического бума, как и в предшествующий период депрессии, продолжала существовать маленькая секта ортодоксов. Однако лидеры социалистической мысли (не только приверженцы Социал-демократической партии, но и те, кто в практических вопросах пошел гораздо дальше ее осторожного консерватизма) не обнаружили особого стремления к возврату к старым догмам и, проявляя уважение к своему божеству, сделали все, чтобы дистанцироваться от него, а экономические проблемы решали теми же способами, что и прочие экономисты. Следовательно, если не считать России, американский феномен остается уникальным. Мы не собираемся выяснять его причины. Стоит сделать другое - рассмотреть общие черты и суть того учения, которое стало близким столь многим американцам [Ссылки на работы Маркса будут сведены к минимуму, никакие данные о его жизни также не даются. Видимо, в этом нет нужды, поскольку любой читатель, пожелавший ознакомиться со списком этих работ или с его жизнеописанием, найдет все необходимое в любом словаре, особенно в Британской энциклопедии или в Энциклопедии социальных наук. Изучение Маркса лучше всего начинать с первого тома "Капитала". Несмотря на огромное число работ, появившихся в последнее время, я по-прежнему считаю биографию, написанную Ф.Мерингом, лучшей, во всяком случае с точки зрения обычного читателя.].

Глава первая. Маркс - пророк

Аналогия из области религии попала в название этой главы не случайно. На самом деле это больше, чем аналогия. В определенном смысле марксизм и есть религия. Для верующего он предоставляет, во-первых, систему конечных целей, определяющих смысл жизни, и абсолютных критериев для оценки событий и действий; и, во-вторых, руководство к осуществлению целей, содержащее не только путь к спасению, но и определение того зла, от которого человечество или избранная часть человечества должна быть спасена. Можно добавить и следующее: марксистский

социализм принадлежит к той разновидности религий, которая обещает рай уже при жизни. Я думаю, что если бы за определение марксизма взялся богослов, это позволило бы дать гораздо более глубокую характеристику социальной сущности марксизма, чем та, которую может сделать экономист. То, что это обстоятельство объясняет успех марксизма [Религиозные свойства марксизма объясняют и характер отношений ортодоксального марксиста к своим оппонентам. Для него, как и для всякого сторонника определенной Веры, оппонент не просто ошибается, он греховен.

Инакомыслие осуждается не только с интеллектуальных позиций, но и с позиций морали. Раз провозглашено Учение, никакого оправдания для инакомыслия быть не может.], пожалуй, наименее важно. Чисто научные достижения, будь они даже намного более совершенными, чем у Маркса, никогда бы не обрели подобного исторического бессмертия. Этому не способствовал и весь арсенал его партийных лозунгов. Частично его успех, хотя и в очень небольшой степени, действительно обязан тому набору жарких фраз, страстных обвинений, гневных жестов, который он предоставил в распоряжение своей паствы и которые могут быть использованы с любой трибуны. Все, что следует сказать по данному поводу, заключается в том, что указанное боевое снаряжение очень хорошо служило и служит своим целям, однако его производство породило и свои убытки: чтобы выковать подобное оружие социальной борьбы, Марксу временами приходилось приспособляться или даже отступать от тех концепций, которые логически вытекали из его теоретической

системы. Однако если бы Маркс был простым поставщиком фразеологии, он был бы сегодня мертв. Человечество не благодарит за этот сорт услуг и быстро забывает имена людей, которые пишут либретто для политических опер. Он был пророком, и для того, чтобы понять природу его системы, мы должны рассмотреть ее в контексте времени ее создания. Это была высшая точка самореализации буржуазии и низшая точка буржуазной цивилизации, время механистического материализма, время культурной среды, предававшейся самому пошлому разгулу, в то время как в ее недрах таились зародыши нового искусства и нового образа жизни. Вера в любом реальном значении этого слова быстро улетучивалась из сознания всех классов общества, а вместе с ней умирал и единственный луч света, освещавший жизнь рабочих (если не считать Рочдэйльского кооперативного движения и возникновения сберегательных банков), в то время как интеллектуалы заявили, что их вполне устраивает "Логика" Милля и Закон о бедных.

Итак, для миллионов человеческих сердец учение Маркса о земном социалистическом рае означало новый луч света и новый смысл жизни. Называйте марксизм, если угодно, подделкой под религию или карикатурой на нее, на этот счет многое можно сказать, но нельзя не восхититься его величием. Неважно что почти все эти миллионы были не в состоянии понять и оценить учение в его истинном значении. Такова судьба всех учений. Важно то, что учение было создано и изложено в соответствии с позитивистским мышлением своего времени - несомненно буржуазным по своей сути, и потому не будет парадоксом, если мы скажем, что по существу марксизм - продукт буржуазного образа мышления. Он, с одной стороны, с непревзойденной силой выразил страстные чувства всех тех, кому не повезло и плохо жилось, что было целительным для многих неудачников, а с другой стороны, провозгласил, что избавление от этих болезней с помощью социализма вполне поддается рациональному обоснованию.

Заметьте, с каким чрезвычайным искусством здесь удалось соединить иррациональные

чаяния страждущих, которые, лишившись религии, бродили во тьме подобно бездомным собакам, с неизбежными для того времени рационалистическими и материалистическими тенденциями, сторонники которых не признали бы ни одного утверждения, не подкрепленного научным или псевдонаучным доказательством. Проповедь одной лишь цели не дала бы эффекта, анализ социального процесса был бы

интересен всего лишь для нескольких сотен специалистов. Но проповедь в одежде научного анализа и анализ в интересах достижения выстрадавших целей - вот что обеспечило страстную приверженность марксизму, вооружило марксиста высшим преимуществом - убежденностью, что он и его доктрина никогда не потерпят поражения и в конце концов обязательно победят. Конечно, этим смысл учения не исчерпывается. Личное влияние и пророческие прозрения действуют независимо от содержания учения. Без этого невозможно призвать ни к новому образу жизни, ни к новому ее смыслу. Но не это нас здесь интересует.

Несколько слов следует сказать о другом - об убедительности и корректности попыток Маркса доказать неизбежность достижения социалистической цели. Одно замечание, однако, следует сделать по поводу того, что выше мы определили как отражение чаяний многих неудачников. Конечно, это не было подлинным отражением их истинных стремлений, сознательных или подсознательных. Скорее, мы могли бы назвать это попыткой подменить истинные чувства правильным или неправильным изложением логики социальной эволюции. Осуществляя это и приписывая, вопреки истине, народным массам свое собственное "классовое сознание", Маркс, несомненно, фальсифицировал подлинную психологию рабочего (который стремится стать мелким буржуа, опираясь на помощь политической силы); но по мере того, как

его учение приобретало влияние, он расширял и облагораживал его. Он не проливал сентиментальных слез по поводу красоты социалистической идеи. В этом, как он считал, заключалось его превосходство над тем, что именовалось им "утопическим социализмом". Не занимался он и прославлением героизма трудящихся, как это делают буржуа, когда они дрожат за свои дивиденды. Он был абсолютно свободен от склонности пресмыкаться перед рабочим классом, свойственной некоторым его более слабым последователям. По-видимому, он достаточно ясно осознавал, что такое народные массы, и глядел гораздо выше их голов в направлении достижения социальных целей, даже если это было не то, о чем они думали и мечтали. Кроме

того, он никогда не проповедовал собственных идеалов. Подобное тщеславие было ему чуждо. Как всякий истинный пророк изображает себя простым глашатаем своего бога, так Маркс претендовал всего лишь на то, чтобы рассказать о логике диалектического процесса исторического развития. Во всем этом есть некое благородство, перекрывающее в ряде случаев мелочность и вульгарность, с которыми на протяжении его жизни и деятельности это благородство вступало в столь странный союз.

Наконец, еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. Сам Маркс был слишком образованным человеком, чтобы солидаризироваться с теми вульгарными социалистами, которые не способны узнать храма, даже когда он высится перед ними. Он отчетливо понимал значение цивилизации и "относительно абсолютную" ценность ее ценностей, как бы чужда она ни была для него самого. В этом отношении нет лучшего доказательства широты его мышления, чем "Коммунистический манифест", который представляет собой, хотя и краткий, отчет о блестящих [Возможно, это преувеличение. Но давайте процитируем: "Буржуазия впервые показала, чего может достичь человеческая деятельность. Она создала чудеса искусства, но совсем иного рода, чем египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы... Буржуазия... вовлекает в цивилизацию все нации... Она создала огромные города... и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма (sic!) деревенской жизни... Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения вместе взятые". (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т-4. С.427-428). Заметьте, что все отмеченные достижения приписываются только буржуазии - это больше того, на что могли бы претендовать многие самые буржуазные экономисты. В этом суть того, что я имел в виду в вышеприведенном абзаце, - и именно здесь я резко расхожусь с сегодняшними

вульгарными марксистами или с вебленовскими идеями, взятыми на вооружение нынешними немарксистскими радикалами. Сразу же скажу: именно это будет исходным пунктом всего того, о чем я буду говорить во второй части относительно экономических достижений капитализма.] достижениях капитализма. Даже вынося капитализму profuturo [в будущем - лат.] смертный приговор, Маркс не упускает случая признать его историческую необходимость. Подобное отношение, конечно, подразумевает многое такое, чего лично Маркс не желал бы признавать. Однако, без сомнения, это его убеждение было чрезвычайно крепким, тем более что оно соответствовало тому пониманию естественной логики вещей, частным проявлением которой была его теория исторического процесса. Социальные явления выстраивались для Маркса в определенный порядок, и хотя в некоторых аспектах своей жизни он вел себя как "ресторанный заговорщик", его истинное "я" презирало

такого рода вещи. Социализм не был для него навязчивой идеей, стирающей все краски жизни и порождающей нездоровую и тупую ненависть или презрение к иным цивилизациям. Во многих смыслах присущий Марксу тип социалистического мышления и социалистического выбора, соединенные вместе в его фундаментальной позиции, действительно заслужили название научного социализма.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава вторая. Маркс - социолог.

Теперь нам надо сделать то, против чего стали бы протестовать все правоверные марксисты. Ведь они отвергают любое применение трезвого анализа к тому, что для них является просто светочем истины. Особенно сильно они стали бы протестовать против дробления наследия Маркса на отдельные части и последовательного их обсуждения. Они стали бы говорить, что самый этот акт обнаруживает неспособность

буржуазии понять великолепие целого, все части которого дополняют и объясняют друг друга, так что истинное значение этого целого исчезает, как только одна его

часть или аспект рассматривается обособленно. Однако у нас нет выбора. Совершив преступление и рассматривая Маркса как социолога, - после того как мы рассмотрели его как пророка, - я вовсе не отрицаю ни наличия в работе Маркса цельности социального видения, которое обеспечило в известной мере аналитическую

цельность и в еще большей степени видимость такой цельности, ни того факта, что каждая ее часть, хотя и внутренне независимая, была увязана автором со всеми другими. Тем не менее каждая часть этого обширного целого сохранила достаточно самостоятельности, что позволяет исследователю признать плодотворной одну из них, отвергая другие. Многое от величия веры теряется при подобной процедуре, но

кое-что удается и выиграть, спасая важное и стимулируя поиски истины, что само по себе принесло бы больше пользы, чем в том случае, если бы она погибла вместе с крушением целого.

Это относится прежде всего к Марксовой философии, которую мы можем отринуть раз и навсегда. Получив образование в Германии и имея склонность к теоретическим размышлениям, он имел основательные знания в области философии и питал к ней страстный интерес. Чистая философия германского типа была его началом, его юношеской любовью. В течение некоторого времени он даже полагал, что это его истинное призвание. Он был неогегельянцем, что означает примерно следующее: признавая фундаментальные положения и методы своего учителя, он и его группа устранили и заменяли на противоположные те консервативные элементы, которые были внесены в гегелевскую философию многими из других его приверженцев. Этот философский фундамент обнаруживается во всех его произведениях, где только появляется такая возможность. Не удивительно, что его немецкие и русские читатели - по аналогичной склонности и в силу схожего образования - ухватились прежде всего за эти аспекты его учения, сделав их ключевыми для всей системы. Я же полагаю, что это было ошибочным и несправедливым по отношению к научным возможностям Маркса. Он сохранял свою раннюю любовь на протяжении всей своей жизни. Ему доставляли удовольствие те формальные аналогии, которые можно было обнаружить между его аргументацией и гегельянской. Ему нравилось подтверждать свое гегельянство и использовать гегельянскую фразеологию. Но это в общем-то и все. Нигде не изменял он позитивной науке ради метафизики. Именно об этом он говорит сам в предисловии ко второму изданию первого тома "Капитала"; то, что он там говорит, действительно верно, а его самообман не подтверждается анализом его аргументации, которая всюду опирается на факты социальной действительности и на исходные предпосылки, ни одна из которых не является собственно философской. Конечно, те комментаторы или критики, которые сами шли от философии, не могли поступать так же, поскольку мало что смыслили в общественных науках. К тому же склонность Маркса к построению философских систем отвращала их от любой интерпретации, кроме той, что выводит все его учение из философских принципов. В итоге они усматривали философию в самых обычных утверждениях Маркса, касающихся экономической действительности, направляя тем самым дискуссию по ложному следу и сбивая с толку одновременно и друзей, и врагов.

Инструментарий Маркса как социолога заключался в первую очередь в овладении обширным историческим и современным фактическим материалом. Знание последнего было у него всегда немного устаревшим, поскольку он был самым книжным из людей, и потому материалы фундаментальных исследований в отличие от газетных долго ждали своей очереди и всегда доходили до него с опозданием. Однако едва ли существовало хоть сколько-нибудь значительное по своему содержанию и посвященное

общим вопросам историческое исследование его времени, которое бы ускользнуло от его внимания, хотя эта участь постигла значительную часть монографической литературы по отдельным проблемам. И хотя мы не можем превозносить полноту его информации в области истории в той же степени, в какой это касается его эрудиции

в сфере экономической теории, тем не менее он мог иллюстрировать свою социальную

концепцию не только масштабными историческими фресками, но и многими деталями, достоверность которых была скорее выше, чем ниже, среднего уровня

социологических исследований его времени. Взгляд Маркса, охватывая разом эти факты, проникал через случайную нерегулярность поверхностных явлений и устремлялся вглубь - к грандиозной логике исторического процесса. Здесь страстность сочеталась с аналитическим порывом. Итог его попытки сформулировать эту логику, так называемая "экономическая интерпретация истории" [Впервые опубликована в связи с его уничтожающей критикой "Философии нищеты" Прудона в работе, названной "Нищета философии" (1847). Другая версия была включена в "Коммунистический манифест" (1848).], несомненно, является одним из величайших открытий современной социологии, совершенных каким-либо исследователем. В свете этого не имеет значения, является ли это открытие полностью оригинальным и в какой мере следует отдать должное предшественникам - немцам и французам. Экономическая интерпретация истории не означает, что люди сознательно или бессознательно, полностью или в первую очередь руководствуются экономическими мотивами. Напротив, объяснение роли и механизма неэкономических мотивов и анализ

того, как социальная реальность отражается в индивидуальной психике, являются существенным элементом теории и одним из самых важных ее достижений. Маркс не считал, что религия, философия, разные направления искусства, этические идеи и политические устремления могут быть сведены к экономическим мотивам и не имеют самостоятельного значения. Он лишь стремился вскрыть экономические условия, которые формируют их и которые обуславливают их взлет и падение. Вся система фактов и аргументов Макса Вебера [Вышесказанное относится к веберовскому исследованию социологии религии и в особенности к его знаменитой работе "Протестантская этика и дух капитализма", переизданной в его собрании сочинений (см. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 61-272).] отлично вписывается в систему Маркса. Конечно, больше всего его интересовали социальные группы и классы и способ, каким эти группы или классы объясняют себе свое собственное существование, место в обществе и поведение. Он изливал свой самый яростный гнев на тех историков, которые брали эти представления и их словесное выражение (т.е. идеологию, или, как сказал бы Парето, деривацию) в буквальном значении и пытались с их помощью объяснить социальную реальность. Но хотя идеи и

ценности не были для него главным двигателем социального процесса, он не считал их и пустым звуком. Если использовать аналогию, то в его социальной машине они играют роль приводных ремней. Мы не можем рассматривать здесь наиболее интересное послевоенное направление, развивающее эти принципы анализа и лучше всего объясняющее данное явление, а именно "социологию знания" [Немецкий термин - *Wissensoziologie*. Лучшие авторы, достойные упоминания, - это Макс Шелер и Карл Маннгейм. Статья последнего в Немецком Социологическом словаре (*Handwörterbuch der Soziologie*) может служить введением в тему.]. Но об этом надо было сказать, поскольку Маркса в этом плане постоянно интерпретируют неверно. Даже его друг Энгельс у открытой могилы Маркса так изобразил эту его теорию, будто индивиды и группы подвержены воздействию главным образом экономических мотивов, что в некоторых важных аспектах неверно, а в остальном, к

сожалению, тривиально.

Говоря об этом, нам следует защитить Маркса и от другого недоразумения: экономическую интерпретацию истории часто называют материалистической интерпретацией. Так было сказано самим Марксом. Эта фраза чрезвычайно увеличила популярность данной концепции у одних и непопулярность у других. На самом деле она абсолютно бессмысленна. Философия Маркса не более материалистична, чем философия Гегеля, а его историческая теория не более материалистична, чем любая другая попытка объяснить исторический процесс средствами, имеющимися в распоряжении эмпирических наук. Следует понять, что логически это совместимо с любой метафизической или религиозной верой - точно так же, как последняя совместима с любой физической картиной мира. Средневековая теология сама дает методы, с помощью которых можно обосновать подобную совместимость [Я встречал немало радикалов-католиков, среди них одного священника, и все они, будучи правоверными католиками, придерживались этой точки зрения и фактически провозглашали себя марксистами во всем, кроме вопросов, относящихся к их вере.].

То, о чем на самом деле говорит эта теория, можно свести к двум положениям: (1) формы или условия производства являются базисными детерминантами социальных структур, которые в свою очередь определяют оценки людей, их поведение, типы

цивилизаций. Маркс иллюстрирует это своим знаменитым утверждением, что "ручная мельница" создает феодальное, а "паровая мельница" - капиталистическое общество.

Здесь подчеркивание важности технологического элемента доводится до опасных пределов, но с этим можно согласиться при условии, что технология - это далеко не все. Немного упрощая и признавая, что при этом многое из существенного утрачивается, можно сказать, что именно наш повседневный труд формирует наше сознание; наше место в производственном процессе - это как раз то, что определяет наш взгляд на вещи - или ту сторону явления, которую мы выделяем, - и

то социальное окружение, в котором находится каждый из нас. (2) Сами формы производства имеют собственную логику развития, т.е. они меняются в соответствии

с внутренне присущей им необходимостью, так что то, что является им на смену, есть исключительно следствие их собственного функционирования. Проиллюстрировать

можно тем же примером Маркса: система, характеризовавшаяся применением "ручной мельницы", создает такие экономические и социальные институты, которые делают неизбежным использование механических методов помола, и эту неизбежность ни индивиды, ни группы не в состоянии изменить. Распространение и работа "паровой мельницы" в свою очередь порождают новые социальные функции и места размещения производства, новые группы и взгляды, которые развиваются и взаимодействуют таким образом, что перерастают собственные рамки. В итоге мы имеем тот двигатель, который в первую очередь обуславливает экономические, а вследствие этого и все прочие социальные изменения, двигатель, работа которого сама по себе

не требует никакого внешнего воздействия.

Оба положения, несомненно, содержат значительную долю правды и являются, как мы увидим впоследствии, бесценной рабочей гипотезой. Большинство существующих возражений абсолютно несостоятельны, в частности те, которые в качестве опровержения указывают на влияние этических или религиозных факторов; или такое,

с которым выступил Эдуард Бернштейн, последний с восхитительной простотой утверждает, что "люди имеют голову на плечах" и, следовательно, действуют так, как им заблагорассудится. После всего, что было сказано выше, едва ли необходимо

подробно останавливаться на слабостях подобных аргументов: конечно, люди "выбирают" свой образ действий, который непосредственно не навязывается им объективными условиями окружающей среды; но они выбирают, исходя из таких позиций, оценок и склонностей, которые не только не принадлежат к числу независимых переменных, но сами формируются под влиянием объективных факторов. Тем не менее возникает вопрос: не является ли экономическая интерпретация истории всего лишь удобной аппроксимацией, которая в одних случаях работает менее удовлетворительно, чем в других. Очевидное уточнение следует внести с самого начала. Социальные структуры, социальные типы и взгляды, подобно монетам,

не стираются быстро. Однажды возникнув, они могут существовать столетиями, а поскольку разные структуры и типы обнаруживают различные способности к выживанию, мы почти всегда обнаруживаем, что фактически существующие группы и реальное национальное поведение более или менее отклоняются от того, какими им следовало быть, если бы мы попытались вывести их из господствующих форм производственного процесса. Хотя это имеет место повсюду, особенно наглядно это видно, когда в высшей степени устойчивая структура полностью переносится из одной страны в другую. Общественная ситуация, возникшая в Сицилии в результате норманнского завоевания, может служить иллюстрацией того, что я имею в виду. Подобные факты Маркс не игнорировал, но вряд ли представлял все их значение. Еще более пагубную роль играют следующие обстоятельства, схожие с только что упомянутыми. Рассмотрим возникновение феодального типа землевладения в Королевстве франков в шестом - седьмом столетиях. Наверняка это было самым важным явлением которое сформировало общественную структуру на многие века и в то же время оказало влияние на условия производства, включая потребности и технологию.

Но самое простое объяснение его возникновения можно найти в функции военного лидерства, ранее выполнявшейся отдельными семьями или индивидами, которые

(сохраняя эту функцию) становились после окончательного завоевания новой территории феодальными ленд-лордами. Подобное объяснение совсем не укладывается в Марксову схему и легко может быть истолковано противоположным образом. Факты подобного рода, несомненно, можно включить в общую теорию с помощью вспомогательных гипотез, однако необходимость включения подобных гипотез обычно означает начало конца самой теории.

Многие другие трудности, возникающие при попытках исторической интерпретации на основе Марксовой схемы, могут быть преодолены, если признать некоторую степень взаимодействия между сферой производства и прочими сферами общественной жизни [На склоне жизни Энгельс это признал открыто, Плеханов же пошел еще дальше в этом направлении.]. Однако чары, окружающие фундаментальную истину, зависят как раз от точности и простоты утверждаемого ею одностороннего отношения. Если же оно ставится под вопрос, то экономическая интерпретация истории должна будет занять свое место среди прочих теорий такого же рода - в качестве одной из многих частичных истин - или уступить дорогу другой, способной возвестить более фундаментальную истину. Однако ни ее ранг в качестве научного открытия, ни ее операбельность в качестве рабочей гипотезы от этого не страдают.

Конечно, для правоверного марксиста эта концепция представляет собой универсальный ключ ко всем секретам человеческой истории. И хотя временами такой наивный способ ее применения вызывает улыбку, нам не следует забывать, какие концепции она заменила. Даже убогая сестра экономической интерпретации истории - Марксова "теория общественных классов" - выступает в более благоприятном свете, как только мы вспоминаем об этом.

В первую очередь следует подчеркнуть научное значение этой теории. Экономисты удивительно запоздали с признанием феномена общественных классов. Конечно, они всегда классифицировали экономических субъектов, взаимодействие которых порождало изучаемые ими процессы. Но эти классы представляли собой лишь совокупности индивидов, обнаруживающих некоторые общие черты: так, отдельные индивиды классифицировались как землевладельцы или рабочие, поскольку они владели землей или продавали услуги своего труда. Однако общественные классы не являются порождением классифицирующего наблюдателя, это живые организмы, существующие сами по себе. Их существование вызывает последствия, которые полностью игнорируются схемой, рассматривающей общество как аморфную совокупность индивидов или семей. С точки зрения чистой экономической теории вопрос о значении феномена общественных классов остается открытым. То, что он имеет очень важное значение с точки зрения практической жизни, а также для всех более широких аспектов социального процесса в целом, не вызывает никаких сомнений.

Не вдаваясь в детали, можно сказать, что общественные классы совершили свой торжественный выход на сцену благодаря известному тезису, содержащемуся в "Коммунистическом манифесте", согласно которому история общества есть история классовой борьбы. Конечно, это сильное преувеличение. Но даже если ослабить этот

тезис до предположения о том, что исторические события нередко можно объяснить на основе классовых интересов и классовых позиций и что существующие классовые структуры всегда важны как фактор исторической интерпретации, - этого достаточно, чтобы иметь основание говорить о концепции столь же ценной, как и сама экономическая интерпретация истории.

Очевидно, успех этого направления анализа, исходным пунктом которого является принцип классовой борьбы, зависит от верности выбранной нами теории классов. Наша картина истории, вся наша интерпретация культурных форм и механизма общественных изменений будет изменяться в зависимости от того, изберем ли мы, к примеру, расовую теорию классов и подобно Гобино (Gobineau) сведем человеческую историю к истории борьбы рас или, скажем, основанную на разделении труда теорию классов в духе Шмоллера или Дюркгейма и сведем классовые антагонизмы к антагонистическим интересам профессиональных групп. Разница точек зрения может объясняться не только различными определениями классов.

Какую бы точку зрения мы не приняли в этом вопросе, мы все равно будем иметь различные интерпретации в зависимости от определения классового интереса [Читателю надо понять, что любая концепция классов и их происхождения вовсе неоднозначно определяет, каковы интересы этих классов и как каждый из них будет действовать, преследуя то, что в представлении и ощущении его вождей и рядовых членов в долгосрочной или краткосрочной перспективе верно или ошибочно считается

его интересами. Проблема группового интереса полна собственных преград и ловушек

совершенно независимо от природы тех групп, которые мы исследуем.] и представления о том, в чем выражаются сами классовые действия. Эта тема по сей день полна предрассудков и вряд ли находится на стадии научного исследования. Довольно любопытно, что Маркс, - насколько нам известно, - никогда последовательно не разрабатывал того, что совершенно очевидно являлось одним из центральных пунктов его теории. Возможно потому, что он откладывал эту работу так долго, что уже было поздно этим заниматься, а скорее потому, что его мышление настолько естественно оперировало концепцией классов, что он вовсе не чувствовал необходимости ее точного определения. Вполне возможно, что отдельные ее моменты в его собственном сознании оставались непроясненными; а путь ко всеобъемлющей теории классов преграждали созданные им самим трудности, а именно упор на чисто экономическую и свехупрощенную трактовку этого феномена. И сам Маркс, и его последователи применяли эту недостаточно разработанную теорию

к отдельным случаям; из них самым выдающимся примером является его собственная работа "Классовая борьба во Франции" [Другим примером является социалистическая теория империализма, на которой мы остановимся ниже. Интересная попытка О.Бауэра

антагонизм между различными расами, населявшими Австро-Венгерскую империю, интерпретировать на основе классовой борьбы между капиталистами и рабочими (Die Nationalitätenfrage, 1905) также заслуживает упоминания, хотя искусство анализа лишь подтверждает неадекватность этого инструмента анализа.]. Кроме этого никакого реального прогресса достигнуто не было. Теория его главного соратника Энгельса была по сути своей немарксистской разновидностью теории, выводящей классы из разделения труда. За исключением этого мы имеем лишь отдельные и мимолетные проблески - некоторые из них потрясающей силы и яркости, - которые разбросаны по всем произведениям мастера, особенно в "Капитале" и "Коммунистическом манифесте".

Задача сведения воедино этих фрагментов является весьма сложной, и мы не можем ее здесь осуществить. Однако главная идея достаточно ясна. Разделение общества на классы основывается на собственности или отстранении от собственности на средства производства - такие, как фабричные здания, оборудование, сырье и потребительские товары, которые входят в потребление рабочих. Мы имеем поэтому в

принципе только два класса - собственников, капиталистов, и неимущих, вынужденных продавать свой труд, т.е. рабочий класс, или пролетариат. Существование промежуточных групп - таких, как фермеры или ремесленники, которые

нанимают труд и в то же время занимаются физической работой, служащие, лица свободных профессий, - конечно не отрицается; но они рассматриваются как отклонения, которые постепенно исчезнут в ходе капиталистического развития. Эти два основных класса в соответствии с логикой их положения и совершенно независимо от желаний их отдельных представителей являются глубокими антагонистами. Раскол внутри класса и столкновение между отдельными подгруппами случаются и даже способны иметь исторически важное значение. Но в конечном счете

подобные расколы и коллизии преходящи. Единственный антагонизм, который не носит

преходящего характера и встроен в основу капиталистического общества, коренится в частном контроле над средствами производства, а потому отношение между капиталистическим классом и пролетариатом по природе своей - это борьба, война классов.

Далее, как мы увидим, Маркс пытается показать, что в этой классовой борьбе капиталисты уничтожают друг друга, а заодно уничтожают и капиталистическую систему. Он старается также показать, как собственность на капитал ведет ко все большему его накоплению. Но эта линия доказательства, так же как и само определение, делающее собственность конституирующей характеристикой общественного класса, только усиливает важность проблемы первоначального накопления, т.е. проблемы того, как капиталисты становятся капиталистами в самом

начале и приобретают тот запас товаров, который согласно Марксовой доктрине необходим для того, чтобы дать им возможность начать эксплуатацию. На этот

вопрос Маркс отвечает гораздо менее ясно [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 725-773.]. Он презрительно отвергает буржуазную сказочку (Kinderfibel) о

том, что некоторые люди стали и становятся капиталистами благодаря большим умственным способностям и энергии, проявляемым в работе и сбережении. Он намеренно глумился над этой историей о хороших мальчиках, потому что нет лучшего

способа дискредитировать неудобную правду, - и это знают все политики, - как поднять ее на смех.

Те же, кто изучает историю и современность без предубеждений, не могут не обратить внимания на то, что эта сказочка, хотя и не говорит всей правды, все же

многое раскрывает. В девяти случаях из десяти экономический успех, в особенности при основании промышленного предприятия, действительно обязан незаурядным умственным способностям и энергии. Как раз в начальной стадии капитализма в целом и каждой индивидуальной карьеры в отдельности сбережения были и остаются важным элементом процесса, хотя и не в том смысле, как считала классическая экономическая теория. Действительно, стать капиталистом (промышленником - нанимателем рабочей силы) путем сбережений из заработной платы или жалованья, чтобы основать собственную фабрику с помощью накопленного таким образом фонда, чрезвычайно трудно. Источником большей части накоплений являются прибыли, следовательно, накопление предполагает прибыль, и это разумная

причина для того, чтобы отличать сбережение от накопления. Необходимые для основания предприятия средства можно обеспечить либо взяв займы сбережения других лиц, наличие которых в виде мелких сумм легко объяснить, либо с помощью депозитов, которые создаются банками для будущего предпринимателя. Как бы то ни было, последний сберегает почти всегда: сбережения нужны ему для того, чтобы подняться над необходимостью ежедневной рутинной работы ради куска хлеба, обеспечить жизненное пространство, чтобы оглядеться вокруг, осуществить свои планы, войти в кооперацию с другими. Следовательно, с точки зрения экономической теории у Маркса было реальное основание - хотя он и преувеличил его значение для того, чтобы отрицать ту роль сбережений, которую им приписывали

классики. Однако его собственный вывод отсюда никак не вытекает, так что смех здесь вряд ли уместен [Я не собираюсь останавливаться на этом, но хотел бы упомянуть, что даже классическая теория не так уж неверна, как об этом писал Маркс. "Сбережение" в самом буквальном смысле этого слова было, особенно на ранних стадиях капитализма, отнюдь не второстепенным методом "первоначального накопления". Кроме того, существовал и другой метод, родственному этому, но не идентичный ему. Многие фабрики в семнадцатом и восемнадцатом столетиях представляли собой навес, под которым человек, работавший вручную, мог укрыться, и требовали простейшего оборудования. В этих случаях физический труд будущего капиталиста и совсем небольшой фонд сбережений - необходимое для создания предприятия, если не считая, разумеется, головы на плечах.]. Насмешки, однако, сделали свое дело и помогли расчистить путь для альтернативной

теории первоначального накопления Маркса. Эта альтернативная теория сформулирована не столь определенно, как нам бы хотелось. Насилие, ограбление, подчинение народных масс, усугубляющие их отделение от собственности, и как результат - еще большее ограбление, усиливающее подчинение, - конечно все это звучало хорошо и замечательно совпадало с идеями, распространенными среди интеллектуалов всех мастей, причем в наши дни еще сильнее, чем во времена Маркса. Но очевидно, это не решает проблему, состоящую в том, чтобы объяснить, как некоторые люди приобретают такую власть, чтобы подчинять и грабить других. Популярную литературу это не тревожит, и я не собираюсь адресовать этот вопрос произведениям Джона Рида. Но мы имеем дело с Марксом.

По крайней мере, некоторое подобие решения можно получить благодаря историзму всех основных теорий Маркса. По его мнению, тот исторический факт, что капитализм вырастает из феодального общества, имеет существенное значение для логики его развития. Конечно, и в этом случае встает тот же самый вопрос о причинах и механизме социальной стратификации. Но Маркс по существу принимает буржуазную точку зрения, согласно которой феодализм был царством насилия [У многих писателей-социалистов, помимо Маркса, обнаруживается та же некритическая

вера в познавательную ценность таких категории, как сила и контроль над физическими средствами применения силы. Фердинанд Лассаль, например, в качестве объяснения государственной власти не мог предложить ничего иного, кроме пушек и штыков. У меня всегда вызывало удивление, что столь многие люди были слепы к слабостям подобной социологии и не понимали, что гораздо вернее сказать, что именно власть дает контроль над пушками (и людьми, жаждущими использовать их), чем утверждать, что контроль над пушками порождает власть.], в котором подчинение и эксплуатация народных масс были уже свершившимся фактом. Классовая теория, приспособленная главным образом к условиям капиталистического общества, была распространена на его феодального предшественника, так же как и многое из концептуального аппарата экономической теории капитализма [В этом учение Маркса сближается с учением К. Родбертуса.]; при этом некоторые из самых щекотливых проблем были просто перенесены на феодальную территорию, с тем чтобы появиться вновь уже в готовой форме, в виде исходных данных, при анализе капиталистической системы. Феодальный эксплуататор был просто заменен эксплуататором капиталистическим. В тех случаях, когда феодальные землевладельцы действительно превращались в промышленников, это могло служить решением проблемы. История дает немало подтверждений верности подобной точки зрения: многие помещики особенно в Германии, действительно строили фабрики и управляли ими, нередко используя в качестве финансовых источников свою феодальную ренту, а в качестве рабочей силы - сельскохозяйственное население (не обязательно крепостных, но иногда и их) [В.Зомбарт в первом издании своей "Теории современного капитализма" пытался возвести такие случаи в принцип. Однако его попытка обосновать теорию первоначального накопления исключительно накоплением земельной ренты оказалась безуспешной, что в конце концов признал и сам Зомбарт.]. Во всех других случаях марксистская теория первоначального накопления не согласуется с имеющимися фактами. Единственно честный способ выйти из этого положения - заявить, что с марксистской точки зрения удовлетворительного объяснения этого процесса нет; иными словами, сказать, что мы не можем объяснить первоначальное накопление, не обратившись к немарксистским концепциям, порождающим в свою очередь немарксистские выводы [Этот вывод будет справедливым, даже если отвести максимально возможное значение грабежу (разумеется, не принимая на веру откровенный вымысел). Ограбления нередко вносили свой вклад в создание торгового

капитала. Богатство финикийцев и англичан - знакомые примеры. Но даже и тогда Марксова теория недостаточна, ибо в конечном счете успешное ограбление должно основываться на личном превосходстве грабителя. И как только мы это признали, сразу появляется совершенно иная теория социальной стратификации.]. Это, однако, опровергает марксистскую теорию как в историческом, так и в логическом аспекте. Поскольку большая часть методов первоначального накопления определяет и последующее накопление, - первоначальное накопление как таковое продолжается в течение всей эры капитализма, - то мы не можем утверждать, что Марксова теория общественных классов в полном порядке, если не считать тех трудностей, с которыми она сталкивается, когда речь идет об отдаленном прошлом. Но, видимо, нет смысла говорить об отдельных недостатках теории, которая даже в самых благоприятных случаях не доходит скольнибудь близко до сути тех явлений, которые она стремится объяснить, и которую никогда не следовало принимать всерьез. Эти благоприятные случаи можно найти главным образом в тот период развития капитализма, который определялся преобладанием предприятий среднего размера, принадлежавших отдельным собственникам и управлявшимся ими. За пределами этого общественного слоя классовые позиции, хотя, как правило, и отражались в более или менее соответствующем экономическом положении, скорее были причиной, чем следствием, последнего: экономический успех, очевидно, не всегда является единственным путем к социальному возвышению, но только там, где это становится возможным, собственность на средства производства однозначно определяет позицию данной группы в общественной структуре. Но даже тогда считать

собственность определяющим элементом столь же правомерно, как называть солдатом человека, которому удалось заполучить ружье. Жесткое деление, при котором одни (вместе со своими наследниками) якобы навсегда остаются капиталистами, а другие (тоже вместе с их наследниками) навсегда остаются пролетариями, не только, как уже неоднократно указывалось, нереалистично: при этом упускается из виду решающий момент, касающийся формирования общественного класса, - непрерывное

перемещение отдельных семей в верхние слои и одновременное непрерывное выпадение из них других семей. Факты, о которых я говорю, очевидны и неоспоримы.

И если они не упоминаются в марксистской схеме, то причина всего лишь в том, что

они противоречат марксистской теории общественных классов.

Нелишне, однако, рассмотреть, какую роль играет эта теория в рамках общей теоретической системы Маркса, задав себе вопрос об аналитических целях, которым она должна была служить, в отличие от использования ее в качестве части агитационного снаряжения.

С одной стороны, мы должны иметь в виду, что для Маркса теория общественных классов и экономическая интерпретация истории не были тем, чем они являются для нас, а именно двумя независимыми друг от друга доктринами. У Маркса первая связана со второй совершенно особым образом и поэтому ограничивает - делает более определенным - *modus operandi* [Способ действия (лат.)] условий или форм производства. Эти последние определяют социальную структуру, а через социальную структуру - все формы цивилизации и все развитие культурной и политической истории. Сама же социальная структура для всех несоциалистических эпох определялась им в терминах классов - тех двух классов, которые являются подлинными участниками драмы и в то же время прямыми порождениями логики развития капиталистической системы производства, которая через них воздействует и на все остальное. Это объясняет, почему Маркс вынужден был определить свои классы как чисто экономический феномен, причем экономический в очень узком смысле слова. Тем самым он отрезал себе путь к более глубокому их анализу, но то

место, на которое он поместил классы в своей аналитической схеме, не позволило ему сделать иного выбора.

С другой стороны, Маркс хотел определить капитализм на основе тех же характерных черт, что и деление общества на классы. Небольшое размышление должно

убедить читателя, что подобная взаимосвязь не является ни неизбежной, ни естественной. На деле это было смелым ходом в аналитической стратегии, который связал судьбу феномена классов с судьбой капитализма таким образом, что социализм, который в действительности не имеет ничего общего ни с наличием, ни с

отсутствием общественных классов, становится, по определению, единственным видом

бесклассового общества, за исключением первобытного племени. Эту бесхитростную тавтологию нельзя было бы столь же удачно сформулировать, если выбрать какие-либо иные определения классов и капитализма, а не те, что избрал Маркс, а именно определения, основывающиеся на частной собственности на средства производства. Из Марксовых определений следовало, что в обществе должны существовать только два класса - имущие и неимущие, а все прочие принципы классового деления, причем гораздо более важные, игнорировались, недооценивались либо сводились к данному.

Преувеличение Марксом определенности и значимости разделительной линии между характеризуемым таким образом классом капиталистов и пролетариатом уступает по масштабам лишь его абсолютизации антагонизма между ними. Для любого ума, не извращенного привычкой перебирать марксистские четки, совершенно очевидно, что отношения классов в обычное время характеризуются прежде всего сотрудничеством и что любая теория противоположного характера должна базироваться преимущественно на патологических случаях.

В общественной жизни антагонизм и сотрудничество встречаются всюду и фактически неразделимы, за исключением редчайших случаев. Но я почти убежден, что в старой теории гармонии интересов было гораздо меньше полных нелепостей, - хотя и в ней их хватало, - чем в Марксовой конструкции, предполагающей непреодолимую пропасть

между собственниками орудий труда и теми, кто их применяет. Однако мы подчеркиваем еще раз: у него не было выбора не потому, что он стремился к революционным выводам, - последние могли быть получены с таким же успехом на основе дюжины других возможных схем, - а потому, что так требовал его собственный анализ. Если классовая борьба была решающим фактором исторического развития, а также способом приближения социалистического будущего и если предполагалось существование только этих двух классов, то их отношения обязаны

были бы антагонистическими в принципе, в противном случае его теория социальной динамики утратила бы свою силу. Далее. Хотя Маркс определяет капитализм социологически, т.е. на основе института

частного контроля над средствами производства, механику функционирования капиталистического общества он объясняет с помощью своей экономической теории. Эта экономическая теория призвана показать, как социологические категории класс, классовый интерес, классовое поведение, обмен между классами проявляются через посредство экономических категорий - стоимости, прибыли, заработной платы,

инвестиций и т.п. - и как они порождают такой экономический процесс, который в конце концов разрушает свою собственную институциональную структуру и в то же время создает условия для возникновения иного социального порядка. Эта особая теория общественных классов является тем аналитическим инструментом, который, соединяя экономическую интерпретацию истории с концепцией экономики, основанной на прибыли, определяет все общественные события, сводит воедино все явления. Следовательно, это не просто теория какого-то индивидуального явления, призванная объяснить именно это явление и больше ничего. Ее внутрисистемная функция в Марксовой системе в целом гораздо более важна, чем мера успеха, с которой она решает свою собственную задачу. Эту внутрисистемную функцию следует иметь в виду, если мы хотим понять, как исследователь такой силы, как Маркс, мог мириться с ее недостатками.

Всегда были и по-прежнему существуют энтузиасты, которые восхищались Марксовой теорией общественных классов как таковой. Но более понятны чувства тех, кто настолько восхищается силой и величию общей концепции, что готовы простить все недостатки ее составных частей. Мы постараемся дать свою собственную оценку (в гл. IV). Но сначала следует посмотреть, каким образом экономический механизм, описываемый Марксом, осуществляет ту задачу, которая возложена на него общей концепцией.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава третья. Маркс - экономист.

Как экономист-теоретик Маркс был прежде всего очень эрудированным человеком. Может показаться странным, что я считаю необходимым подчеркнуть эту особенность автора, которого я называл гением и пророком. И тем не менее это важно отметить.

Гении и пророки обычно не отличаются профессиональными познаниями и оригинальны - если они действительно оригинальны - зачастую именно потому, что этих познаний

у них нет. Однако в Марксовой экономической теории нет ничего, что говорило бы о

каком-либо стремлении к учености как таковой или об упражнениях в технике теоретического анализа. Он был ненасытным читателем и неутомимым тружеником и оставил без внимания лишь немного из того, что имело значение. И что бы он ни читал, он усваивал прочитанное, бросаясь в схватку по поводу каждого факта или аргумента с пристрастием к отдельным частностям, совершенно необычным для человека, который способен был охватывать своим взглядом целые цивилизации и вековые тенденции. Критикуя и отвергая одно, признавая и обобщая другое, он всегда доходил до сути любого вопроса. Выдающимся доказательством этого является его работа "Теории прибавочной стоимости", являющаяся памятником теоретическому энтузиазму. Это непрерывное стремление к самообразованию, к овладению всем, чем только можно было овладеть, в какой-то мере способствовало освобождению его от предрассудков и вненаучных целей, хотя он, конечно, работал для того, чтобы подтвердить определенное видение реальности.

Для его могучего интеллекта интерес к проблеме как таковой имел первостепенное значение вопреки его собственному намерению, и как бы сильно не искажал он смысл своих конечных выводов, в процессе самой работы он занимался прежде всего оттачиванием инструментов анализа, предлагаемых современной ему наукой, решением логических трудностей и строительством на основе созданного таким образом фундамента теории, которая по своей природе и намерениям была подлинно научной, несмотря на все ее недостатки.

Легко понять, почему и друзья, и враги исказили смысл его достижений в чисто экономической области. Друзья считали его больше, чем просто профессиональным теоретиком, что, с их точки зрения, было бы просто оскорблением придавать слишком большое значение этому аспекту его деятельности. Для противников же, возражавших против его позиций и теоретической аргументации, оказывалось почти невозможным признать, что в некоторых частях своей работы он по сути делал то же

самое, что ценилось ими так высоко, когда исходило из других рук. Кроме того, холодный металл экономической теории на страницах Марксовых работ погружен в такой котел кипящих фраз, что приобрел температуру, ему несвойственную. Всякий лишь пожмет плечами по поводу предложения считать Маркса аналитиком в научном смысле, имея в виду, конечно, эти фразы, а не мысли, этот полный страсти язык, эти пылающие обвинения в "эксплуатации" и "обнищании" (*imimiserization*) (вероятно, последнее - лучший перевод слова *Verelendung*, которое на немецком звучит не намного лучше, чем на английском такой монстр, как "*immiserization*". На итальянский это переводится как *immiserimento*). Эти инвективы, как и многое другое - грубые выпады или вульгарные замечания, вроде ссылки на Леди Оркни [Подруга Вильгельма III (1650-1702) - короля, который, будучи столь непопулярным

в свое время, стал в тот период идиолом английской буржуазии.], - все это существенные компоненты спектакля как для самого Маркса, так и для тех, кто верил или не верил ему. Это частично объясняет, почему многие упорно желают видеть в Марксовых теоремах нечто большее, чем в аналогичных концепциях его учителя, и даже нечто совершенно противоположное им. Однако все это не влияет на

природу его анализа.

Значит, у Маркса есть учитель? Да. Настоящее понимание его экономической теории начинается с признания того, что как теоретик он был учеником Рикардо. Он был его учеником не только в том смысле, что его собственные аргументы явно берут свое начало от рикардианских предпосылок, но и в гораздо более существенном смысле - у Рикардо он научился искусству теоретизирования. Он всегда пользовался

рикардианским инструментарием, а каждая теоретическая проблема выступала у него либо в форме трудностей, с которыми он столкнулся при глубоком изучении работ Рикардо, либо в виде тех требующих дальнейшей разработки положений, которые он оттуда тщательно отбирал. Многие из этого признавал сам Маркс, хотя, конечно, он не согласился бы с тем, что его отношение к Рикардо было типичным отношением ученика, который ходит к своему профессору, слушает, как тот повторяет одни и те

же сентенции об избыточности населения, о населении, которое избыточно, и вновь о машинах, которые делают население избыточным, а затем идет домой и старается усвоить все это. То, что обе стороны в споре о Марксе не склонны были признавать

это, вполне объяснимо.

Рикардо не единственный, кто повлиял на экономическую теорию Маркса; но в настоящем очерке упоминания заслуживает лишь Кенэ, у которого Маркс взял свою фундаментальную концепцию экономического процесса в целом. Группа английских экономистов, пытавшихся в период 1800-1840 гг. развить теорию стоимости, возможно, повлияла на некоторые положения и частности, но это влияние охватывается в данном случае ссылкой на рикардианское направление в экономической мысли. Ряд других авторов, работы которых во многих отношениях параллельны его собственной (Сисмонди, Родбертус, Джон Стюарт Милль), - враждебность Маркса в отношении некоторых из них была обратна пропорциональна расстоянию между их теориями и его собственной - принимать в расчет не следует, как и все, что прямо не относилось к главной линии его аргументации, как, например, крайне слабую область денежной теории, в которой ему не удалось подняться даже до рикардианского уровня.

Теперь обратимся к чрезвычайно краткому изложению Марксовой экономической теории, которое неизбежно будет во многих отношениях несправедливым по отношению к структуре "Капитала", который, пусть где-то незаконченный, а где-то потрепанный успешными атаками противников, все еще сохраняет свои могучие очертания.

1. Маркс начинает с обычной для теоретиков своего времени, как и более ранних периодов, попытки сделать теорию стоимости [При переводе этой главы, посвященной

Марксовой экономической теории, мы сочли необходимым употреблять термин "стоимость" в соответствии с традицией русских переводов работ Маркса, а не "ценность", несмотря на то, что последний лучше передает смысл английского слова "value" и немецкого "wert". - Прим. ред.] краеугольным камнем всей теоретической

структуры. Его теория стоимости - рикардианская. Я знаю, что такой выдающийся авторитет, как проф. Тауссиг, не согласен с этим и всегда подчеркивал различия этих теорий. Да, есть масса различий в словах, в методах дедукции и социологических выводах, но никаких различий в самой теореме, которая одна только и имеет значение для современного теоретика, не существует [Остается, однако, открытым вопрос, только ли это имело значение для самого Маркса. Он был во власти того же заблуждения, что и Аристотель, а именно, что стоимость, хотя и

является фактором, определяющим относительные цены, в то же время есть нечто, отличное от них, существует независимо от относительных цен или меновых отношений. Положение, согласно которому стоимость товара есть количество труда, воплощенного в нем, вряд ли означает что-либо другое. Но если это так, то между Рикардо и Марксом различия есть, поскольку стоимость у Рикардо - это просто меновые стоимости или относительные цены. Об этом стоит упомянуть, поскольку, если мы примем эту концепцию стоимости, многое в теории Маркса, кажущееся нам неприемлемым или даже бессмысленным, перестает быть таковым. Но, конечно, мы не можем сделать это. Ситуация не улучшится и в том случае, если, следуя некоторым марксологам, мы согласимся с точкой зрения, согласно которой - независимо от того, существует отличная от меновой стоимости "субстанция" или нет - Марксовы стоимости, определяемые количеством труда, предназначены лишь для того, чтобы служить инструментом для разделения совокупного общественного дохода на трудовой

доход и доход на капитал (при том, что теория индивидуальных относительных цен имеет второстепенное значение). Потому что, как мы увидим, теория стоимости Маркса не справляется и с этой задачей (при условии, что мы можем отделить эту задачу от проблемы индивидуальных цен).]

И Рикардо, и Маркс утверждают, что стоимость каждого товара (в условиях совершенного равновесия и совершенной конкуренции) пропорциональна количеству труда, содержащегося в этом товаре, при условии, что этот труд соответствует существующим стандартам эффективности производства ("общественно необходимому количеству труда"). Оба измеряют это количество часами труда и используют тот же

самый метод сведения различных свойств труда к единому стандарту. Оба одинаково относятся к фундаментальным трудностям, внутренне присущим этому подходу (т.е. Маркс относится к ним так, как он усвоил это у Рикардо). Ни один из них не сказал ничего толкового относительно монополии или того, что мы называем сегодня несовершенной конкуренцией. Оба отвечают на критику одинаковыми аргументами. Только Марксовы аргументы менее вежливы, более многословны и более "философичны" в самом худшем смысле этого слова.

Все знают, что эта теория стоимости неудовлетворительна. Однако в бесчисленных дискуссиях на эту тему правда вовсе не всегда принадлежит одной стороне, и оппоненты трудовой теории высказали немало ошибочных аргументов. Коренной вопрос состоит вовсе не в том, является ли труд истинным "источником" или "причиной" экономической стоимости. Этот вопрос может быть предметом первостепенной важности для социального философа, который стремится вывести из него этическое притязание на продукт, и сам Маркс, конечно, не был безразличным к этому аспекту проблемы. Для экономической же теории как позитивной науки, которая призвана описать или объяснить фактический процесс, гораздо важнее ответить на вопрос, как трудовая теория стоимости выполняет свою функцию инструмента анализа и каковы те реальные причины, в силу которых она выполняет ее столь плохо.

Начнем с того, что она вовсе не работает вне условий совершенной конкуренции. Во-вторых, даже в условиях совершенной конкуренции она никогда не работает гладко, за исключением того случая, когда труд является единственным фактором производства в притом весь труд выступает как труд одного вида [Необходимость второй предпосылки является особенно губительной для трудовой теории стоимости. Она способна справиться с различиями качества труда, обусловленными обучением (приобретенной квалификацией): соответствующие количества труда, которые затрачиваются на обучение, следует добавить к каждому часу квалифицированного труда; так что мы можем, не нарушая принципов, считать час труда, совершаемого квалифицированным рабочим, равным часу неквалифицированного труда, умноженному на определенный коэффициент. Однако этот метод не срабатывает в случае "естественных" различий в качестве, обусловленных различиями в умственных способностях, силе воли, в физической силе или ловкости. В этом случае необходимо учесть различия в стоимости часов, отработанных рабочими, которые обладают разной работоспособностью в силу своих естественных особенностей, но это явление не может быть объяснено в соответствии с принципом трудовых затрат. Фактически Рикардо поступает следующим образом: он просто говорит, что эти качественные различия каким-то образом воплотятся в правильные соотношения благодаря игре рыночных сил, так что мы можем в конце концов сказать, что час труда работника А равен умноженному на определенный коэффициент часу труда работника В. Однако он полностью упускает из вида, что, следуя этой логике доказательства, он апеллирует к иному принципу оценки стоимости и фактически отказывается от принципа трудовых затрат, который таким образом с самого начала оказывается несостоятельным в рамках своих собственных предпосылок, прежде чем он потерпит неудачу из-за наличия иных факторов, не относящихся к труду.]. Если любое и; этих условий не выполняется, приходится вводить дополнительные предпосылки; при этом аналитические трудности возрастают в такой степени, что вскоре становятся неуправляемыми. Следовательно, аргументация, основанная на трудовой теории стоимости, является объяснением очень специального случая, не имеющего практического значения, хотя кое-что можно сказать и в ее пользу, если интерпретировать ее в смысле аппроксимации к историческим тенденциям в движении относительных стоимостей. Теория, которая пришла ей на смену, - в ее самой ранней и ныне уже устаревшей форме, известная как теория предельной полезности, - может претендовать на превосходство по разным причинам. Но реальным аргументом

в ее пользу является то, что она носит более общий характер. С одной стороны, она равным образом применима к условиям монополии и совершенной конкуренции, а с другой - к наличию других производственных факторов, помимо труда, а также к труду разных видов и различного качества. Более того, если мы введем в эту теорию упомянутые выше ограничения, то из нее будет вытекать пропорциональность между стоимостью и количеством затраченного труда [Фактически из теории предельной полезности вытекает следующее: для существования равновесия каждый фактор должен быть так распределен между различными, открытыми для него видами производства, чтобы последняя единица этого фактора, где бы она не использовалась для производственных целей, производила ту же величину стоимости,

что и последняя единица, использующаяся в каждом из любых других видов производства. Если не существует других производственных факторов, кроме труда одного вида и качества, то из этого с очевидностью следует, что относительные стоимости или цены всех товаров должны быть пропорциональны количеству человеко-часов, содержащихся в них, при условии существования совершенной конкуренции и мобильности.]. Отсюда должно быть ясно, что со стороны марксистов совершенно абсурдно ставить под сомнение противостоящую им теорию предельной полезности, что они пытались делать вначале. Столь же некорректно называть трудовую теорию стоимости "неправильной". В любом случае она умерла и похоронена.

2. Хотя ни Рикардо, ни Маркс, по всей видимости, до конца не осознавали всех слабостей положения, в которое они ставили себя этими исходными посылками, некоторые трудности они понимали достаточно четко. В частности, оба они пытались справиться с проблемой устранения такого элемента, как услуги естественных агентов производства, которые, конечно же, не находят своего места в процессе производства и распределения, описываемого теорией стоимости, базирующейся только на количестве затраченного труда. Знакомая нам рикардианская

теория земельной ренты по существу является попыткой подобного устранения, то же самое пытается осуществить и теория Маркса. Как только мы обретаем аналитический аппарат, позволяющий рассматривать ренту так же естественно, как и оплату труда, все затруднения исчезают. После этого ничего уже более не нужно говорить о внутренних достоинствах или недостатках Марксовой доктрины абсолютной ренты в отличие от дифференциальной или о ее соотношении с подобной доктриной Родбертуса.

Но даже если мы оставим это без внимания, у нас все еще остаются трудности, связанные с наличием капитала в смысле запаса средств производства, производимых самими средствами производства. Для Рикардо здесь все очень просто; в знаменитой

IV части первой главы своих "Начал" он без всяких объяснений вводит и принимает следующий факт: там, где капитальные блага, такие, как производственные постройки, оборудование и сырье, используются для производства товаров, эти товары продаются по ценам, которые будут приносить чистый доход собственникам средств производства. Он понимал, что это явление каким-то образом связано с периодом времени, который протекает от инвестирования до появления готового к продаже продукта, и оно-то и будет вызывать отклонения фактических стоимостей от

тех, которые были бы пропорциональны количеству "содержащихся" в них рабочих часов, включая человеко-часы, затраченные на производство самих капитальных товаров, в том случае, когда эти периоды в разных отраслях различны. На это явление он указывает так спокойно, как будто оно следует из его фундаментальной теории стоимости, а не противоречит ей, и дальше этого не идет, ограничиваясь рядом второстепенных проблем и, очевидно, полагая, что его теория по-прежнему описывает базисные детерминанты стоимости.

Маркс также ввел, признал и рассмотрел самое явление, нигде не подвергая сомнению его существование. Он сознавал также, что это явление, по всей видимости, противоречит трудовой теории стоимости. Однако он считал рикардовский

подход к решению этой проблемы неприемлемым и, признавая ее в том виде, как ее сформулировал Рикардо, всерьез ринулся в бой против его решения, посвятив этому примерно столько же сотен страниц, сколько предложений затратил Рикардо на свои доказательства.

3. В процессе этой критики он не только обнаружил более глубокое понимание характера проблемы, но и усовершенствовал унаследованный им концептуальный аппарат. К примеру, Маркс заменил введенное Рикардо различие между основным и оборотным капиталом различием между постоянным и переменным (заработная плата) капиталом, а его рудиментарное понятие длительности процесса производства - гораздо более строгой концепцией "органического строения капитала", которая основывается на соотношении постоянного и переменного капитала. Он внес также целый ряд других усовершенствований в теорию капитала. Однако мы ограничимся здесь его объяснением чистого дохода на капитал, его "теорией эксплуатации". Трудящиеся массы далеко не всегда чувствуют себя угнетенными и эксплуатируемыми. Однако интеллектуалы, формулирующие для них свои концепции, всегда убеждали их в этом, никогда не уточняя, что при этом имеется в виду. И Марксу не удалось избежать этой фразеологии, даже если он хотел этого. Его заслугой и достижением было то, что он понимал слабость различных аргументов, с помощью которых духовные наставники трудящихся масс до него пытались показать, как возникает эксплуатация, и которые по сей день поставляют этот товар для среднего радикала. Ни одно из стандартных объяснений, ссылающихся либо на силу той или иной стороны в переговорах между капиталистами и рабочими либо просто на

обман, его не удовлетворяло. Он как раз и хотел доказать, что эксплуатация возникает не из индивидуальных ситуаций, случайно или неожиданно; что она есть результат самой логики капиталистической системы, неизбежный и не зависящий от индивидуальных намерений.

Вот как он это делает. Ум, мускулы и нервы рабочего образуют, как таковые, фонд или запас потенциального труда (Arbeitskraft - термин, не всегда правильно переводимый как рабочая сила). Этот фонд или запас Маркс рассматривает в виде

некоей субстанции определенного количества, которая в капиталистическом обществе является таким же- товаром, как и все прочие. Мы можем пояснить для себя эту мысль, рассмотрев ситуацию в условиях рабства. Марксова идея состоит в том, что существенного отличия, за исключением некоторых частных, между трудовым контрактом, определяющим заработную плату, и покупкой раба нет, хотя то, что покупает наниматель "свободного" труда, в действительности не сам трудящийся, как это было в условиях рабства, а определенная часть общей суммы потенциального труда.

Далее, поскольку труд в этом смысле (не услуги труда и не фактические затраты человеко-часов) является товаром, к нему должен быть применен и закон стоимости. То есть в условиях равновесия и совершенной конкуренции он должен обеспечить пропорциональность зарплаты количеству рабочих часов, затраченных на его "производство". Какое же количество рабочих часов затрачивается на "производство" запаса потенциального труда, накапливаемого под кожей рабочего человека? Такое количество рабочих часов, которое необходимо для того, чтобы вырастить, накормить, одеть рабочего и обеспечить его жилищем [Это различие между "рабочей силой" и трудом С.Бэйли (Bailey S. A Critical Discourse on the Nature, Measure and Causes of Value. 1825) заранее объявил абсурдным, что не преминул отметить сам Маркс. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 561-569).]. Они-то и определяют стоимость этого запаса, и если он продает часть его, выраженную в днях или неделях, он получает зарплату, соответствующую трудовой стоимости этой части, так же как работорговец, продавая раба, в условиях равновесия получает цену, пропорциональную общему количеству этих трудовых часов. Следует заметить еще раз, что Маркс, таким образом, дистанцируется от всех тех популярных лозунгов, которые в той или иной форме утверждают, что капиталистический рынок грабит или обманывает рабочего или благодаря его достойной сожалею слабости вынуждает принимать любые навязываемые ему условия. Действительность не так проста: на самом деле он получает полную стоимость своего трудового потенциала.

Однако как только "капиталисты" заполучили этот запас потенциальных услуг, они в состоянии заставить рабочего трудиться гораздо дольше - оказывать большее количество фактических услуг, чем нужно для создания этого потенциального запаса. В этом смысле они в состоянии извлечь больше фактических часов труда, чем ими оплачено. Поскольку созданная продукция продается также по ценам, пропорциональным затраченному на нее количеству человеко-часов, то появляется разница между двумя стоимостями - возникающая просто-напросто как следствие *modus operandi* Марксова закона стоимости, которая неизбежно благодаря действию механизма капиталистических рынков поступает капиталистам. Это и есть "прибавочная стоимость" (Mehrwert) [Норма прибавочной стоимости (степень эксплуатации) определяется как отношение между прибавочной стоимостью и переменным капиталом (затрачиваемым на заработную плату)]. Присваивая ее, капиталист "эксплуатирует" труд, хотя он платит рабочим не меньше полной стоимости их трудового потенциала и получает от потребителей не больше, чем полную стоимость продаваемых продуктов. И вновь следует отметить, что Маркс не обращается к таким фактам, как нечестные цены, ограничение производства или обман на рынках товаров. Конечно, он не намеревался отрицать существование подобной практики, однако видел истинное значение этих явлений и никогда не основывал на них фундаментальных выводов.

Между прочим эта теория дает нам восхитительный урок: какое бы специальное значение ни приобрел в итоге термин "эксплуатация", каким бы далеким ни было оно от обычного словоупотребления, каким бы сомнительным ни было его выведение из требований естественного права и философии учителей и писателей эпохи просвещения, в конце концов он был включен в круг научных аргументов и в этом качестве служит опорой ученикам, ведущим борьбу за дело своих учителей. Что касается достоинств этой научной аргументации, то мы должны тщательно различать два ее аспекта, один из которых упорно игнорировался критиками. На уровне обычной теории стационарного экономического процесса легко показать, что теория прибавочной стоимости несостоятельна, если исходить из собственных Марксовых предпосылок. Трудовую теорию стоимости, даже если допустить, что она имеет силу для любого другого товара, ни в коей мере нельзя применить к товару по имени труд, поскольку это бы означало, что рабочие, подобно машинам, производятся в соответствии с рациональным расчетом издержек. Поскольку это не так, нет никаких оснований полагать, что стоимость рабочей силы будет пропорциональна количеству человеко-часов, затраченных на ее "производство".

Логически Маркс должен был бы улучшить свою позицию, приняв "железный закон заработной платы" Лассалля или просто рассуждая в духе Мальтуса, как это делал Рикардо. Но поскольку он весьма мудро отказался поступить таким образом, его теория эксплуатации с самого начала теряет одну из своих существенных опор [Ниже

мы увидим, чем Маркс пытается заменить эту опору.]

Более того, можно показать, что равновесие, характеризующееся совершенной конкуренцией, не может существовать в условиях, когда наниматели-капиталисты получают прибыли от эксплуатации. Потому что в этом случае каждый из них будет стремиться расширить производство и всеобщим результатом этого будет неизбежная тенденция к увеличению зарплаты и к сокращению их доходов до нуля. Без сомнения,

ситуацию можно было бы как-то поправить, обратившись к теории несовершенной конкуренции, вводя "трения" и институциональные ограничения, препятствующие свободной конкуренции, подчеркивая всевозможные помехи в сфере денег, кредита и т.д. Однако таким способом можно было бы объяснить лишь частный случай, что для Маркса было абсолютно неприемлемо.

Но есть и другой аспект проблемы. Стоит только взглянуть на ту цель, которую поставил перед собой Маркс, чтобы понять, что ему вовсе не следовало принимать бой там, где его легко могли разбить. Все так просто только до той поры, пока мы

видим в теории прибавочной стоимости лишь концепцию, связанную со стационарными экономическими процессами в условиях совершенного равновесия. Поскольку же желаемым объектом его анализа было не состояние равновесия, которого, как он считал, капиталистическое общество никогда не в состоянии достигнуть, а, наоборот, процесс непрерывного изменения экономической структуры, то вышеприведенные критические аргументы не являются в полной мере решающими. Прибавочная стоимость не может существовать в условиях совершенного равновесия, но она может возникать, если установление такого равновесия не допускается. Она всегда имеет тенденцию к исчезновению и в то же время всегда наличествует, поскольку вновь и вновь возникает. Подобного рода защитный аргумент не спасает трудовую теорию стоимости, в особенности в применении к самому труду как товару,

не спасает он и теорию эксплуатации в ее обычной формулировке. Но он позволяет дать более приемлемую интерпретацию самого результата, хотя удовлетворительная теория этих излишков вовсе избавляет их от специфически марксистского толкования. Этот аспект особенно важен. Он по-новому освещает другие элементы аппарата экономического анализа Маркса и помогает объяснить, почему этот аппарат не был столь сильно разрушен той успешной критикой, которая была направлена против самых основ его теории.

4. Если же мы будем продолжать наше обсуждение на том уровне, на котором обычно ведутся дискуссии вокруг Марксовой доктрины, то трудности будут все более возрастать; и нам станут понятнее проблемы верных сторонников Маркса, старающихся следовать по пути своего учителя. Начнем с того, что доктрина "прибавочной стоимости не облегчает решение упомянутых выше проблем, порожденных расхождением между трудовой теорией стоимости и обычными фактами экономической реальности. Напротив, она затрудняет его, поскольку согласно этой теории постоянный капитал, т.е. капитал, не воплощенный в заработной плате, переносит в

продукт не больше стоимости, чем теряет ее в процессе производства; больше переносит только тот капитал, который воплощен в заработной плате, и, следовательно, полученная прибыль должна колебаться в той мере, в какой это касается фирм, в соответствии с органическим строением капитала. Маркс полагает,

что перераспределение общей "массы" прибавочной стоимости таким образом, чтобы каждая фирма получила прибыль, пропорциональную ее общему капиталу, или чтобы индивидуальные нормы прибыли были равны, осуществляется с помощью конкуренции между капиталистами. Мы легко увидим, что эта трудность принадлежит к классу надуманных проблем, которые всегда возникают при попытках создать недостаточно обоснованную теорию. В ней существует, однако, один элемент, который не является неверным и понимание которого, каким бы туманным оно ни было, следует отнести к заслугам Маркса. Вопреки мнению почти всех сегодняшних экономистов, тезис, согласно которому произведенные средства производства приносят доход в условиях совершенно стационарной экономики, не является бесспорным. То, что на практике

это, как правило, действительно происходит, может объясняться тем фактом, что экономика никогда не бывает стационарной. Марксом теория чистого дохода на капитал могла бы быть истолкована как косвенный способ признания этого.], а ее предлагаемое решение - к числу решений, продиктованных отчаянием. Маркс, однако, не только полагал, что его решение способно объяснить установление единой нормы прибыли и тот факт, что относительные цены товаров отклоняются от их стоимостей, выраженных в трудовых затратах [Решение этой проблемы он дал в рукописях, из которых его друг Энгельс собрал посмертный третий том "Капитала". Следовательно, перед нами нет того, что Маркс, по всей вероятности, в конечном счете хотел сказать. Благодаря этому большинство критиков не испытывали колебаний, обвиняя его в том, что третий том явно противоречит доктрине, изложенной в первом томе. На самом деле этот приговор несправедлив. Если мы поставим себя на место Маркса, в чем и состоит наш долг при анализе подобного вопроса, то нет ничего абсурдного в том, чтобы рассматривать прибавочную стоимость как "массу", производимую общественным процессом производства в его единстве, а все остальное - как процесс распределения этой массы. И если это не является абсурдным, то вполне можно утверждать, что относительные цены товаров, - как они выводятся в третьем томе, - вытекают из трудовой теории, изложенной в первом томе. Следовательно, неверно утверждать, как это делают некоторые авторы от Лексиса до Коула, что Марксова теория стоимости полностью оторвана от его теории цен и ничего в нее не вносит. Однако Маркс, будучи оправдан в этом пункте, мало что выигрывает от этого. Остаются еще достаточно серьезные обвинения. Наилучшим вкладом в анализ всей проблемы соотношения стоимостей и цен

в Марксовой системе, - причем автор ссылается и на более успешные, хотя и не столь захватывающие примеры решения этой контroversы, - является труд Л. фон Ворткевича "Определение стоимостей и цен в Марксовой системе" (L. von Bortkiewicz. Wert rechnung und Preisrechnung in Marxschen System. "Archiv fur Sozietwissenschaft und Sozialpolitik", 1907).]. Он считал, что его теория дает объяснение и другому "закону", который занимал важное место в классической доктрине, а именно положению о том, что норма прибыли имеет закономерную тенденцию к понижению. Это логично следует из увеличения относительного значения

постоянной части совокупного капитала (т.е. зданий и оборудования) в отраслях, производящих те товары, на которые расходуется зарплата: если оно действительно возрастает, как это и происходит в ходе капиталистической эволюции, а норма прибавочной стоимости или степень эксплуатации остается прежней, тогда норма дохода на совокупный капитал будет в целом понижаться. Этот аргумент вызвал неимоверное восхищение и, возможно, сам Маркс относился к нему с тем чувством удовлетворения, которое мы испытываем, когда оказывается, что наша теория объясняет явление, которое не учитывалось при ее создании.

Было бы интересно обсудить это особо, независимо от тех ошибок, которые Маркс делает при выведении этого закона. Но нам не стоит задерживаться на этом, поскольку, чтобы опровергнуть этот аргумент, достаточно взглянуть на его предпосылки. Однако сходное, хотя и не идентичное, утверждение характеризует одну из важнейших "движущих сил" в Марксовой теории общественной динамики и одновременно связывает теорию эксплуатации и другую часть Марксовой аналитической системы, обычно именуемую "теорией накопления".

Основную часть несправедливых доходов, выжатых из эксплуатируемого труда (по мнению некоторых последователей - все доходы), капиталисты превращают в капитал - в средства производства. Если отбросить ассоциации, которые навязываются Марксовой терминологией, речь, конечно, идет всего лишь об очень знакомом явлении, описываемом обычно в терминах сбережений и инвестиций. Для Маркса же этого простого факта было недостаточно: если капиталистический процесс призван был разворачиваться с неумолимой последовательностью, то этот факт должен был стать частью этой последовательности, а это практически означало, что он должен был стать необходимостью. И совсем недостаточно было допустить, чтобы эта необходимость выростала из социальной психологии капиталистического класса, например, как у Макса Вебера, который сделал пуританскую жизненную позицию - а воздержание от растраты прибылей на жизненные удовольствия, по всей видимости, отлично вписывается в нее - причиной капиталистического поведения. Маркс никогда не отвергал той поддержки, которую он мог извлечь из такого рода аргументов [К примеру, он превосходит самого себя в разглагольствовании на эту тему, заходя, на мой взгляд, гораздо дальше, чем это позволительно автору

экономической интерпретации истории. Для класса капиталистов накопление может быть "Моисеем и всеми пророками" (!), а может и не быть, в свою очередь подобные

пассажи способны поражать нас своей нелепостью, а могут и не поражать, но что касается Маркса, то аргументы такого типа и выраженные в таком стиле свидетельствуют об определенной их слабости, которую следовало бы скрывать [См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 608].]. Однако для его системы нужно было нечто более существенное, что принуждало бы капиталистов накапливать независимо от того, что они по этому поводу чувствуют, и что было бы достаточно могущественным, чтобы определять самую их психологию. И он находит эту причину.

Рассматривая далее природу этого принуждения к накоплению, я в целях удобства соглашусь с одним пунктом Марксова учения: как и он, я буду исходить из того, что сбережение, осуществляемое классом капиталистов, *ipso facto* (фактически - лат.) означает соответствующее увеличение реального капитала [Для Маркса сбережение или накопление идентично превращению "прибавочной стоимости в капитал". Это положение я не собираюсь оспаривать, хотя индивидуальное стремление к сбережению совсем не обязательно автоматически увеличивает Реальный

капитал. Марксова позиция представляется мне настолько более близкой к истине, чем противоположная точка зрения, отстаиваемая многими моими современниками, что я не думаю, что здесь стоит подвергать ее сомнению.]. Подобное всегда происходит в первую очередь с переменной частью совокупного капитала, воплощаемого в заработной плате, даже если целью при этом является прост постоянная части, в особенности той части, воплощенной главным образом в оборудовании, которую Рикардо называл основным капиталом. Обсуждая Марксову теорию эксплуатации, я указывал, что в условиях совершенной конкуренции доходы от эксплуатации будут побуждать капиталистов расширять или хотя бы пытаться расширять производство, поскольку, с точки зрения каждого из них, это будет означать увеличение прибыли.

Чтобы осуществить это, им надо накапливать. При этом массовым результатом такого расширения станет тенденция к снижению прибавочной стоимости вследствие растущей заработной платы, а также, возможно, в результате одновременного падения цен на продукцию, что является прекрасным примером внутренне присущих капитализму противоречий, столь любезных сердцу Маркса. Эта тенденция сама по себе, в том числе и для индивидуального капиталиста, образует другую причину, которая принуждает его накапливать [Вообще, конечно, из малого дохода сберегаться будет меньше, чем из большого. Но из любой данной величины дохода будет сберегаться больше тогда, когда не ожидается, что его уровень удержится надолго,

или предполагается его снижение, нежели в том случае, если известно, что этот доход будет по крайней мере устойчиво держаться на данном уровне.], хотя в конечном счете положение всего класса капиталистов в целом еще более ухудшается.

Возникает своего рода принуждение к накоплению даже в условиях стационарного - в

иных отношениях - процесса, который, как я говорил выше, не может достичь устойчивого равновесия до тех пор, пока прибавочная стоимость не сократится до нуля, вследствие чего разрушится сам капитализм [До некоторой степени Маркс признает это. Однако он полагает, что если зарплата растет и тем самым нарушает процесс накопления, темпы последнего будут снижаться, "потому что этим притупляется стимулирующее действие прибыли". Следовательно, механизм капиталистического процесса производства сам устраняет те преходящие препятствия, которые он создает" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 633]. Итак, эта тенденция механизма капиталистического производства к достижению

равновесия отнюдь не бесспорна, и любое суждение о ней требует по меньшей мере тщательных уточнений. Но вот что интересно - мы посчитали бы подобное утверждение самым что ни на есть немарксистским, если бы наткнулись на него в работе какого-либо другого экономиста. В той мере, в какой оно выдерживает критику, оно чрезвычайно ослабляет главное направление Марксовой аргументации. В

этом пункте, как и во многих других, Маркс обнаруживает, в какой поразительной степени сохранил он на себе оковы современной ему буржуазной экономической

теории, от которых, по его представлениям, он избавился.]. Однако гораздо более важным и значительно более убедительным является совсем другое. На самом деле капиталистическая экономика, разумеется, не является и не может быть стационарной, и растет она вовсе не устойчивыми темпами. Она непрерывно революционизируется изнутри благодаря новому предпринимательству, т.е. благодаря внедрению в существующую на каждый данный момент времени промышленную структуру новых товаров, новых методов производства или новых коммерческих возможностей. Любые существующие структуры, как и все условия функционирования бизнеса, находятся в непрерывном процессе изменения. Любая сложившаяся ситуация подрывается, прежде чем проходит время, достаточное, чтобы она исчерпала себя. Экономический прогресс в капиталистическом обществе означает

беспорядок. И, как мы увидим в следующем разделе, в этом беспорядке конкуренция действует абсолютно иным образом, нежели в условиях стационарного процесса, даже если последний характеризуется совершенной конкуренцией. Возможности получения доходов благодаря производству новых предметов или тех же предметов, но более дешевым способом непрерывно материализуются и требуют новых инвестиций. Эти новые продукты и новые методы конкурируют со старыми продуктами и методами не на равных условиях; первые имеют решающие преимущества, означающие возможную смерть для вторых. Так осуществляется "прогресс" в капиталистическом обществе. Чтобы не оказаться с непроданной продукцией, каждая фирма в конце концов вынуждена следовать этому образцу, в свою очередь инвестировать, и чтобы быть в состоянии делать это - вкладывать в производство часть своих прибылей, т.е. накапливать [Это, конечно, не единственный способ финансирования технологических улучшений. Но только он рассматривается Марксом. Поскольку на самом деле он очень важен, мы можем следовать здесь за Марксом, хотя другие методы, в особенности займы в банках, т.е. создание депозитов, вызывают самостоятельные последствия, введение которых в исследование будет действительно необходимым, для того чтобы нарисовать верную картину капиталистического процесса.]. В итоге накапливают все.

Итак, Маркс видел этот процесс индустриальных изменений более ясно, чем любой другой экономист его времени. Еще более полно осознавал он его основополагающее значение. Но это не означает, что он правильно понимал его природу и верно анализировал его механизм. У него этот механизм проявлялся только лишь в механике движения масс капитала. У него не было адекватной теории предпринимательства, а неспособность отличить предпринимателя от капиталиста вместе с ошибочной теоретической методологией является источником многих ошибок и *non sequitur* [Вывод, не соответствующий посылкам, нелогичное заключение (лат.)]. Но само по себе видение процесса было достаточным для достижения ряда целей.

*Non sequitur* перестает быть убийственным недостатком, если то, что не вытекает из Марксовой аргументации, может быть обосновано с помощью других предпосылок. Даже явные ошибки и недоразумения часто устраняются благодаря истинности общего направления аргументации, по ходу которой они возникают, в частности, их можно свести на нет на следующих этапах анализа, которые, с точки зрения критика, не способного понять эту парадоксальную ситуацию, видимо, заранее осуждены без права на апелляцию.

Ранее мы уже приводили подобный пример. Взятая сама по себе, Марксова теория прибавочной стоимости не выдерживает критики. Но поскольку капиталистический процесс вызывает повторяющиеся волны временных избыточных доходов над издержками, - доходов, которые с точки зрения других теорий, придерживающихся совсем немарксовой методологии, являются абсолютно правомерными, - то оказывается, что следующий шаг в анализе Маркса, посвященный накоплению, не обесценивается полностью его предыдущими ошибками. Равным образом не дает сам Маркс удовлетворительного объяснения неизбежности накопления, которая столь существенна для его аргументации. Однако большого вреда из недостатков его объяснения не проистекает, поскольку мы можем сами, как это было показано выше, предложить более удовлетворительный вариант, в котором среди прочего процесс снижения нормы прибыли попадает на подобающее ему место. Совокупной норме прибыли на весь промышленный капитал в долгосрочном плане нет необходимости падать ни от того, что постоянный капитал растет по отношению к переменному, как

считал Маркс [Согласно Марксу, прибыли, конечно же, могут снижаться и по другой причине, а именно вследствие падения нормы прибавочной стоимости. Это может

происходить либо вследствие увеличения ставок заработной платы, либо сокращения,

например, благодаря законодательству о продолжительности рабочего дня. Можно доказать, даже исходя из Марксовой теории, что это будет побуждать "капиталистов" заменять Труд трудосберегающими капитальными благами и, следовательно, также временно увеличивать инвестиции независимо от воздействия со стороны новых товаров и технического прогресса. Однако в эти проблемы мы не можем вникать. Отметим лишь такой любопытный момент. В 1837 г. Нассау У.Сениор опубликовал памфлет под названием "Письма о фабричном законодательстве", в котором он попытался доказать, что предлагаемое сокращение продолжительности рабочего дня приведет к уничтожению прибыли в текстильной промышленности. В "Капитале" (Т. I. Гл. VII. § 3) Маркс превосходит самого себя в яростных обвинениях, направленных против подобной трактовки последствий этого законодательства. Аргументация Сениора на самом деле весьма нелепа. Но Марксу не следовало бы так ожесточенно с ней сражаться, поскольку она совершенно в духе его собственной теории эксплуатации.], ни по какой другой причине. Достаточно того, как мы видели выше, что прибыли каждого индивидуального предприятия непрерывно угрожает реальная или потенциальная конкуренция со стороны новых товаров или методов производства, которые рано или поздно превратят ее в убыток. Так мы получаем требуемую движущую силу и даже нечто сходное с тем утверждением Маркса, согласно которому постоянный капитал не создает прибавочной стоимости, поскольку никакое конкретное скопление капитальных товаров никогда не является источником дополнительных доходов. При этом нам не надо опираться на сомнительную часть его аргументации. Другой пример дает следующее звено в цепи Марксовой аргументации, его "теория концентрации", т.е. его рассмотрение тенденции капиталистического процесса производства одновременно к увеличению размеров промышленных предприятий и формированию центров контроля. Все, что он в состоянии предложить в качестве объяснения [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 398-406.], - если очистить его от всевозможных фигуральных выражений, - сводится к малоинтересным утверждениям о том, что "конкурентная борьба ведется посредством удешевления товаров", которое "зависит *ceteris paribus* [при прочих равных условиях] от производительности труда"; что последняя определяется масштабами производства и что "мелкие капиталы побиваются более крупными"[Этот вывод, часто определяемый как теория экспроприации, является у Маркса единственной чисто экономической основой той борьбы, посредством которой капиталисты уничтожают друг друга.]. Почти то же самое сообщают по этому вопросу нынешние учебники, и это само по себе не является ни глубоким по содержанию, ни заслуживающим восхищения. Этого недостаточно особенно потому, что Маркс делает в своем исследовании исключительный акцент на размере индивидуальных "капиталов". Что же касается описания последствий, Маркс оказывается скованным своей собственной техникой анализа, которая не позволяет эффективно анализировать ни монополию, ни олигополию.

И все же восхищение этой теорией, проявляемое со стороны столь большого числа экономистов, не принадлежащих к его последователям, вполне оправданно. По одной только причине: предсказать пришествие крупного бизнеса, учитывая времена, в которые писал Маркс, было само по себе научным достижением. Но он сделал больше этого. Он искусно связал концентрацию с процессом накопления; точнее, концентрацию он рассматривал как часть накопления и не только как часть процесса, идущего в реальной действительности, но и как его логику. Многие последствия - пусть в односторонней или искаженной интерпретации - он уловил верно - например то, что "растущий размер индивидуальных капиталов становится материальной основой непрерывной революции в самом способе производства" и т.п. Он наэлектризовал атмосферу, окружающую этот феномен, наполнив ее классовый борьбой и политикой. Одного этого было бы достаточно, в особенности для людей без всякого собственного воображения, чтобы возвысить его концепцию над сухими экономическими теоремами, имеющими отношение к той же теме. И самое главное, он был способен идти напролом, не обращая внимание на несоответствующие его теории мотивы поведения отдельных участников этого представления, что с точки зрения профессионалов свидетельствует об отсутствии строгости в его аргументации, поскольку в конце концов индустриальные гиганты фактически были уже на подходе, а вместе с ними и та общественная ситуация, которую им предстояло создать.

5. Две другие темы завершают этот очерк: Марксова теория обнищания (*Verelendung*,

или по-английски - immiserization) и его (и Энгельса) теория экономического цикла. Что касается первой, то здесь и анализ, и само видение безнадежно неадекватны; лучше обстоит дело со второй.

Маркс был убежден, что в ходе капиталистической эволюции реальная зарплата и уровень жизни трудящихся масс будут снижаться для лучше оплачиваемых слоев и не смогут улучшаться для тех, кто находится в худших условиях, причем это будет происходить не благодаря случайным или внешним обстоятельствам, но в силу самой логики капиталистического развития [Передовая линия обороны, обычно занимаемая марксистами, как и большинство апологетов, против возможной критики, вызываемой подобными прямолинейными утверждениями, состоит в том, что Маркс не видел другой

стороны медали, он очень часто "признавал\* случаи повышения зарплаты и т.д. - это и никто не мог бы отрицать - и таким образом полностью предвидел все, что могли высказать его критики. Разумеется, столь многословный автор, снабжавший свою аргументацию такой богатой начинкой из исторических фактов, обеспечивает гораздо больше простора для подобной обороны, чем это сделал бы любой из отцов церкви. Но что толку от "признания" упрямых фактов, если им не позволено влиять на выводы?]. Это был исключительно неудачный прогноз, и марксисты всех сортов вынуждены были делать все возможное, чтобы примирить его с явно противоположными фактами реальной действительности. На первых порах, а в некоторых случаях даже и в наши дни они проявляли редкое упрямство, пытались спасти этот "закон", представив его как якобы фактическую тенденцию, подтвержденную статистикой заработной платы. Затем делались попытки вложить в него другое содержание, а именно отнести его не к уровню реальной заработной платы или к той абсолютной величине, которая идет рабочему классу, а к относительной доле трудовых доходов в совокупном национальном доходе. Хотя некоторые места у Маркса фактически допускают подобную интерпретацию, это явно нарушает главный смысл его теории. Кроме того, эта интерпретация мало что дает, поскольку основной вывод Маркса предполагает, что абсолютная величина трудового дохода на одного работающего должна падать или, во всяком случае, не увеличиваться: если бы он действительно думал об относительной доле, то это только бы увеличило трудности марксистской теории. В конце концов и само это предположение неверно, поскольку относительная доля зарплаты рабочих и служащих в совокупном доходе мало меняется от года к году и заметно устойчива на протяжении длительного периода времени - она явно не обнаруживает какой-либо тенденции к понижению.

Возможен, однако, другой способ выхода из этого затруднения. Эта тенденция может

не проявить себя в статистических рядах - последние могут даже показывать противоположную тенденцию, что они и делают в данном случае, - и все же она может быть внутренне присуща исследуемой системе, поскольку ее могут подавлять какие-то исключительные обстоятельства. Фактически это та линия доказательств, которой придерживаются большинство современных марксистов. Исключительные обстоятельства находят в колониальной экспансии или вообще в открытии новых стран в течение XIX столетия, что, как считают, повлекло за собой "передышку" для жертв эксплуатации [Эта идея была высказана самим Марксом, хотя и была развита неомарксистами.]. В следующей части у нас будет возможность коснуться этого вопроса. Пока же просто отметим, что данные факты на первый взгляд в известной мере подкрепляют эту, не лишенную логики аргументацию, способную разрешить вышеупомянутое затруднение, если бы тенденцию к обнищанию можно было обнаружить в иных обстоятельствах.

Однако подлинная беда состоит в том, что теоретический аппарат, который использует здесь Маркс, вообще не заслуживает доверия: наряду с видением порочна и сама аналитическая основа. Теория обнищания базируется на теории "промышленной резервной армии", т.е. безработицы, порождаемой механизацией процесса производства [Этот вид безработицы, конечно, следует отличать от других. В частности, Маркс отмечает и такой вид, который обязан своему существованию циклическим колебаниям деловой активности. Поскольку оба вида не существуют независимо друг от друга и поскольку в своей аргументации он часто ссылается скорее на второй, чем на первый, то возникают трудности для соответствующей интерпретации, что не все критики полностью осознают.]. А теория

резервной армии в свою очередь основывается на доктрине, развитой Рикардо в главе о машинном производстве. Ни в каком другом месте - за исключением,

конечно, теории стоимости - Марксова аргументация не зависит в такой мере от аргументации Рикардо, не внося в нее чего-либо существенного [Для любого теоретика это должно быть очевидным при изучении не только *sedes material* (места

изложения вопроса - лат.) - см. Капитал, т. I. гл. XIII, 8 3,4, 5 и особенно 6, где Маркс рассматривает теорию компенсации относительно рабочих, вытесняемых машинами, но и гл. XXII и XXIII, в которых, хотя и в другой связи, повторяются и

разбираются те же вопросы.]. Конечно, я говорю только о чистой теории. Маркс, как всегда, дополнил ее множеством менее значительных подробностей: например, вполне уместным выводом о том, что такое явление, как замена квалифицированных рабочих неквалифицированными, может быть включено в концепцию безработицы; он добавил также несметное количество иллюстраций и пояснений; и что самое главное - он снабдил ее производящей огромное впечатление декорацией, богатым фоном социального процесса.

На первых порах Рикардо был склонен разделять очень распространенную в его время

точку зрения, что введение машин в производственный процесс скорее всего принесет пользу трудящимся массам. Когда он начал сомневаться в этом или, во всяком случае, во всеобщей значимости подобного результата, он с присущей ему честностью пересмотрел свою позицию. Не менее характерно и то, что, возвращаясь вновь к этому вопросу и используя свой обычный метод "мысленных экспериментов", он привел численный пример, хорошо известный всем экономистам, чтобы показать, что результат может оказаться и совершенно иным. С одной стороны, он не собирався отрицать того, что речь идет всего лишь о возможности, хотя и довольно

вероятной. С другой стороны, он не отрицал, что в конце концов механизация принесет чистую выгоду трудящимся через свое конечное воздействие на совокупный продукт, цены и т.п.

Пример, приведенный Рикардо, корректен, но это только пример [Либо его можно сделать корректным без ущерба для его смысла. Есть несколько сомнительных пунктов в системе доказательства, обусловленных, по всей видимости, несовершенной техникой анализа, которая продолжает нравиться столь многим экономистам.]. Несколько более рафинированные, современные методы анализа подтверждают его результат в той мере, в какой они признают возможность, лежащую в его основе, но в равной мере они могут давать и противоположный результат. Они выходят за рамки этого примера, определяя формальные условия, при которых будут наступать те или иные последствия. Это, конечно, все, что может сделать чистая теория. Нужны дополнительные данные, чтобы предсказать реальный эффект. Но для наших целей пример, предложенный Рикардо, обнаруживает другую интересную черту. Он рассматривает фирму, владеющую данным количеством капитала и нанимающую данное число работников, которая решает сделать шаг в сторону механизации своего производства. Соответственно она направляет группу работников на установку машин, применение которых затем позволит фирме расстаться с частью этой группы. Прибыли могут временно остаться теми же (после того, как конкуренция устранил все временные доходы), но валовой доход сократится ровно на ту величину, которая ранее выплачивалась работникам, которые

теперь оказались высвобожденными. Марксова идея замещения переменного капитала (зарплаты) постоянным является почти точной копией этого хода рассуждения. Акцент, который делает Рикардо на существовании избыточного населения, равным образом является точной параллелью того, что Маркс говорит об относительном перенаселении, - термин, который он использует как синоним термина "промышленная резервная армия". Поистине учение Рикардо проглочено здесь вместе с крючком, леской и грузилом.

Но то, что может сойти за образец, - пока мы находимся в рамках тех целей, которые ставил перед собой Рикардо, - становится в высшей степени неверным, а фактически источником другого *non sequitur*, не оправдываемого на этот раз правильным видением конечных результатов, как только мы переходим к рассмотрению

надстройки, которую Маркс воздвиг на этом хлипком фундаменте. Кое-какие чувства подобного рода, видимо, испытывал и сам Маркс. Потому что с энергией, в которой было что-то от отчаяния, он ухватился за пессимистический вывод, полученный Рикардо на основе данного примера, как будто последний характеризовал

единственную возможность. С еще большим отчаянием он набрасывался на тех авторов, которые развивали рикардовские идеи о компенсации, которую эпоха машин могла принести рабочим, даже если непосредственный эффект от введения машин был для них неблагоприятным (теория компенсации - самая неприятная вещь для всех марксистов).

У него были все основания избрать этот курс. Ведь он страшно нуждался в прочном обосновании своей теории резервной армии, которая должна была служить двум фундаментально важным целям наряду с прочими менее существенными. Во-первых, как мы видели, он лишил свою теорию эксплуатации того, что я назвал основательной ее опоркой, отказавшись по совершенно понятным причинам от использования мальтузианской теории народонаселения. Эта опорка была заменена промышленной резервной армией, всегда имеющейся в наличии вследствие постоянного

ее возобновления [Конечно, необходимо подчеркнуть именно эту непрерывность ее образования. Было бы совершенно несправедливо по отношению к тому, что Маркс писал или имел в виду, как это делают некоторые критики, считать, будто он предполагал, что введение машин лишает людей работы, и они, каждый в отдельности, остаются безработными навсегда. Он не отрицал обратного поглощения.

И критики Маркса, базирующиеся на утверждении, что любая возникшая безработица всякий раз будет вновь поглощаться производством, бьют абсолютно мимо цели.]. Во-вторых, именно то узкое понимание процесса механизации, которое он избрал, было необходимо для того, чтобы оправдать звучные фразы гл. XXIV первого тома "Капитала", в определенном смысле венчающие не только этот том, но и всю работу Маркса. Я процитирую их полностью - более полно, чем это заслуживает рассматриваемая проблема, - чтобы дать моим читателям хотя бы мимолетное представление о той позиции Маркса, которая вызвала такой же энтузиазм одних, как и неприятие других. Что бы это ни было - набор слов, не соответствующих действительности, или сама суть пророческой истины, вот эти фразы: "Рука об руку

с этой централизацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается... влечение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем и возмущения' рабочего класса, который обучается, объединяется и организуется<sup>5</sup> механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 772-773. ].

6. Достижения Маркса в области теории экономического цикла оценить чрезвычайно трудно. По-настоящему ценная часть ее состоит из десятков наблюдений и замечаний, большинство из них - случайного характера, они разбросаны почти во всех его работах, включая и многие из писем. Попытки реконструкции из подобных *membra disjecta* [Отдельных элементов (лат.).] чего-то целого, нигде не являвшегося во плоти и, возможно, существовавшего лишь в зародышевой форме в голове у Маркса, может в разных руках легко дать разные результаты. К тому же эти результаты могут быть искажены вполне понятным стремлением почитателя Маркса

фактически подогнать их посредством соответствующей интерпретации под результаты более поздних исследований, с которыми согласен сам почитатель. И друзья, и противники Маркса даже не представляют, насколько трудна задача, стоящая перед комментатором, вызванная калейдоскопическим характером анализа этой проблемы. Учитывая, что Маркс очень часто упоминал о ней и что она вполне очевидно имела прямое отношение к его фундаментальной теме, они принимали за данное, что должна существовать простая и ясно выраженная марксистская теория цикла, которая вытекала бы из самой логики капиталистического процесса, так же как, например, теория эксплуатации вытекает из трудовой теории стоимости. Соответственно они отправлялись искать такую теорию, и легко догадаться, что с ними случалось.

С одной стороны, Маркс, без сомнения, превозносит - хотя и не приводит

достаточно адекватной мотивировки - колоссальные способности капитализма развивать производственные возможности общества. С другой стороны, он без конца подчеркивает растущую нищету трудящихся масс. Следует ли сделать отсюда естественный вывод, что кризисы или депрессии вызваны тем фактом, что эксплуатируемые массы не в состоянии купить то, что выдает или готов выдать непрерывно расширяющийся производственный аппарат, и что по этой, а также прочим причинам, которые не стоит здесь повторять, норма прибыли падает, порождая банкротства? Таким образом мы причаливаем к берегам - в зависимости от того, какие элементы нам желательно подчеркнуть, - либо теорий недопотребления, либо теории перепроизводства - обе самого сомнительного свойства. Фактически Марксово объяснение кризисов относят к разряду теорий недопотребления

[Хотя подобная интерпретация стала привычной, я упомяну только двух авторов; одному из них мы обязаны модификацией этой версии, в то время как другому - устойчивому ее существованию. Первый это Туган-Барановский, который в своей работе "Theoretische Grundlagen des Marxismus" (1905) именно на этой основе осудил Марксову теорию кризисов; второй - это М.Добб, который в работе "Political economy and Capitalism" (1937) высказал более благожелательное отношение к ней.]. Есть два обстоятельства, способные подтвердить это. Во-первых, в теории прибавочной стоимости и в других местах близость учения Маркса к учению Сисмонди и Родбертуса очевидна. Эти авторы придерживались концепции недопотребления. И нет ничего неестественного в том, чтобы сделать из этого вывод, что Маркс мог думать так же, как они. Во-вторых, некоторые места в работах Маркса, особенно краткое заявление относительно кризисов в "Коммунистическом манифесте", несомненно, дают основание для подобной интерпретации, хотя к рассуждениям Энгельса это относится в гораздо большей степени [Довольно банальная концепция Энгельса по этому вопросу лучше всего сформулирована в его полемической книге, названной "Анти-Дюринг", соответствующие абзацы которой стали самыми цитируемыми во всей социалистической

литературе. Он дает здесь самое точное описание морфологии кризиса, несомненно, достаточно хорошее для использования в популярной лекции, а также свое объяснение причины кризиса - как раз такое, какое и следовало ожидать, - а именно, что "расширение Рынка не может идти в ногу с расширением производства". Кроме того, он одобрительно относится и к мнению Фурье, выраженному термином, который говорит сам за себя - crises pléthoriques [кризис от изобилия - фр.]. Нельзя, однако, отрицать, что Маркс написал часть главы X и разделяет ответственность за книгу в целом.

Замечу, что те несколько пассажей данного очерка, которые касаются Энгельса, несколько снижают его значение. Это вызывает сожаление. Они не связаны с намерением умалить заслуги этого великого человека. Однако я думаю, что следовало бы честно признать, что интеллектуально и в особенности как теоретик он стоял значительно ниже Маркса. Нельзя даже быть уверенным в том, что он всегда понимал смысл его учения. Поэтому к его интерпретации следует подходить осторожно.].

Но тем не менее Маркс, проявив незаурядную тонкость, явно отверг эту теорию [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 464.].

Реальность состоит в том, что у него не было простой теории экономического цикла. И ни одна из них не могла логически вытекать из его "законов" капиталистического процесса производства. Даже если мы признаем его объяснение причин возникновения прибавочной стоимости и согласимся допустить, что накопление капитала, механизация (относительное увеличение постоянного капитала)

и избыточное население, неумолимо усугубляющее массовую нищету, увязываются в единую логическую цепь, которая завершается катастрофой капиталистической системы, - даже тоща у нас не будет фактора, который неизбежно бы порождал циклические колебания производства и был бы имманентной причиной смены периодов процветания и депрессий [Для неспециалиста противоположное, по-видимому, настолько очевидно, что не так-то легко обосновать подобное утверждение, даже если бы у нас имелись для этого все возможности. Лучший способ для читателя убедиться в том, что это так, - это изучить аргументацию Рикардо по поводу машинного производства. Описываемый им процесс может породить любое количество безработных и тем не менее продолжаться неопределенно долго, не вызывая никаких срывов, за исключением конечного краха самой системы. С таким выводом Маркс бы

согласился.]

Несомненно, под рукой всегда имеется масса случаев и событий, позволяющих восполнить недостающее фундаментальное объяснение. Существуют неправильные расчеты, неоправданные ожидания и прочие ошибки, волны оптимизма и пессимизма, спекулятивные эксцессы и реакции на эти эксцессы, существует также неисчерпаемый поток "внешних факторов". Все равно, из самой логики Марксова механического процесса накопления, осуществляющегося равномерным темпом, - а в принципе нет ничего, что мешало бы ему быть таковым, - следует, что он в основе своей лишен и процветаний, и депрессий.

Конечно, это не обязательно означает недостаток теории.

Многие теоретики считали и считают, что кризисы возникают просто всякий раз, когда что-то существенно важное выходит из строя. Это не является недостатком и в теории Маркса, поскольку освобождает его из плена собственной системы и позволяет свободно анализировать реальные факты, не совершая над ними насилия. Соответственно он рассматривает широкое разнообразие факторов, более или менее относящихся к данному вопросу.

К примеру, он весьма поверхностно пытается опровергнуть концепцию Сэя о невозможности общего перепроизводства, ссылаясь только лишь на участие денег в товарных сделках, используя тезис о доступности кредита для объяснения диспропорционального развития отраслей, характеризующихся крупными долгосрочными

капиталовложениями. Он использует особые стимулы, такие, как открытие новых рынков или возникновение новых социальных потребностей, чтобы объяснить внезапные ускорения "накопления". Он пытается, не слишком успешно, превратить и рост населения в фактор, порождающий колебания производства [И в этом он не одинок. Однако что касается Маркса, то следовало ожидать, что со временем он обнаружит слабость этого подхода. В этой связи надо отметить, что подобные замечания на эту тему появляются в незавершенном третьем томе; поэтому трудно судить, какова была бы его окончательная точка зрения.]. Он отмечает, хотя и не дает этому объяснений, что "внезапное и конвульсивное расширение масштаба производства является предпосылкой его внезапного сокращения". Справедливо пишет он и о том, что "поверхностность политической экономии обнаруживается между прочим в том, что расширение и сокращение кредита, простые симптомы сменяющихся периодов промышленного цикла, она признает их причинами" [[Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 647.] Сразу после этого абзаца он

делает шаг в направлении, очень знакомом исследователям современных теорий цикла: "Следствия в свою очередь становятся причинами, и сменяющиеся фазы всего процесса, который постоянно воспроизводит свои собственные условия, принимают форму периодичности" [с. 648].].

Разумеется, он активно использовал материал главы, посвященной описанию конкретных фактов и событий.

Все это соответствует здравому смыслу и по существу верно. Мы находим здесь практически все элементы, которые когда-либо включались в любой серьезный анализ

экономического цикла, и в целом здесь очень мало ошибок. Кроме того, нельзя забывать, что одно лишь признание существования циклического движения было огромным достижением своего времени. Многие экономисты до Маркса имели слабое представление об этом. В основном, однако, они фокусировали свое внимание на эффектных спадах производства, получивших название "кризисы". Но они были не способны увидеть эти кризисы в их истинном свете, т.е. в контексте циклического процесса, элементами которого они являются. Они изучали кризисы, не глядя на то, что предшествует им или следует за ними; они видели в них отдельные неприятности, возникающие вследствие ошибок, эксцессов, неправильного руководства или плохого функционирования кредитной системы. Маркс, как я думаю, был первым экономистом, который возвысился над этой традицией и предвосхитил, - не считая статистиков, - работу Клеман Жюглара. Хотя, как мы уже видели, он не дал адекватного объяснения экономического цикла, сам феномен был для него ясен и

он многое понимал в его механизме. Так же как и Жюглар, он без колебаний говорил

о десятилетнем цикле, "прерываемом слабыми колебаниями" [Энгельс пошел еще дальше. Некоторые из его заметок к третьему тому "Капитала" Маркса показывают, что он предполагал также существование длинных волн. И хотя он был склонен

объяснять относительную слабость периодов процветания и относительную интенсивность депрессий в 70-х и 80-х годах скорее структурными изменениями, чем воздействием депрессивной фазы волны более длительной протяженности (именно так многие современные экономисты объясняют послевоенное развитие, в особенности его последнее (т.е. 50-е годы. - Прим. ред.) десятилетие), тем не менее в этом можно

видеть определенное предвосхищение работы Кондратьева о "длинных циклах".] Маркса занимал вопрос, что может быть причиной такой продолжительности, и он полагал, что она, вероятно, имеет какое-то отношение к продолжительности жизни оборудования в текстильной промышленности. Есть и множество других признаков его предпочтительного интереса к проблеме экономического цикла в отличие от проблемы кризисов. Этого достаточно, чтобы присвоить ему высокий ранг среди отцов - основателей современной теории этого вопроса. Следует отметить и другой аспект. В большинстве случаев Маркс использовал термин

"кризис" в обычном смысле, говоря о кризисе 1825 г. или кризисе 1847 г., как и все прочие исследователи. Но он употреблял его и в другом значении. Полагая, что

эволюция капитализма в один прекрасный день разрушит его институциональную структуру, Маркс считал, что прежде чем произойдет фактический крах, функционирование капитализма будет наталкиваться на растущие трудности, обнаруживая симптомы смертельной болезни. Вот к этой стадии, рассматриваемой, конечно, как более или менее продолжительный исторический период, он и применял тот же термин. Маркс стремился увязать повторяющиеся кризисы с этим единственным

кризисом капиталистической системы. Он даже высказывает мысль, что циклические кризисы можно в каком-то смысле рассматривать в качестве предвестников окончательного краха. Поскольку для многих читателей это может выглядеть как ключ к Марксовой теории кризисов в обычном смысле этого слова, то необходимо указать, что факторы, ответственные, по мнению Маркса, за конечный крах системы,

не могут без достаточной порции дополнительных гипотез объяснить повторяющиеся периоды депрессии [Чтобы убедиться в этом, читателю достаточно взглянуть еще раз

на цитату, приведенную ранее. Хотя Маркс частенько и забавлялся этой идеей, на самом деле он старается не связываться с ней; это важно отметить, поскольку не в

его манере было упустить возможность для обобщений.], и этот ключ не выводит нас

за пределы тривиального утверждения, согласно которому "экспроприация экспроприаторов" - дело более простое в условиях депрессии, чем в период подъема.

7. Наконец, идея, согласно которой эволюция капитализма ведет к развалу институтов капиталистического общества или к перерастанию этими институтами рамок капиталистического общества (*Zusammenbruchstheorie*, или теория неизбежного

краха), дает последний пример сочетания *non sequitur* с глубоким пониманием проблемы, благодаря которому можно спасти сам результат. Основанная в соответствии с Марксовой "диалектической дедукцией" на росте нищеты и угнетения трудящихся масс, побуждающих их к восстанию против системы, эта идея обесценивается вследствие *non sequitur*, заложенного в доказательстве неизбежного

роста нищеты. Кроме того, марксисты, ортодоксальные в других вопросах, давно уже стали сомневаться в правильности того положения, что концентрация промышленного контроля в любом случае несовместима с "капиталистической оболочкой". Первым, кто высказал свои сомнения и достаточно умело их аргументировал, был Рудольф Гильфердинг [См. его работу "Финансовый капитал" (1931)]. Сомнения, основанные на некоторых вторичных обстоятельствах, из которых следовало, что Маркс слишком полагался на тенденции, которые, как ему казалось, он открыл, и что общественное развитие было гораздо более сложным и менее последовательным процессом, возникали, конечно, и прежде. Достаточно упомянуть Э.Бернштейна (см. гл. XXVI). Однако Гильфердинг в своем исследовании не

прибегает к смягчающим обстоятельствам, а сражается с этим выводом в принципе и на почве самой Марксовой теории.], один из лидеров значительной группы неомарксистов, которые фактически склонялись к противоположному выводу, а именно, что благодаря концентрации капитализм способен приобрести дополнительную

стабильность [Это утверждение Гильфердинга зачастую смешивается (даже его собственным автором) с другим - что экономические колебания со временем становятся все слабее. Это может быть так, а может и нет (кризис 1929-1932 г. ничего не доказывает), однако большая стабильность капиталистической системы, т.е. несколько менее темпераментное поведение временных рядов, характеризующих динамику цен и объемов производства, не обязательно предполагает и вовсе не обуславливается большей стабильностью, т.е. большей способностью капиталистического порядка противостоять атакам извне. Система и порядок, конечно, связаны друг с другом, но это не одно и то же.]. Откладывая до следующей части то, что я мог бы сказать по этому вопросу, отмечу лишь, что Гильфердинг, по-моему, сильно преувеличивает, хотя, как мы увидим, нет оснований

полагать, - в настоящее время и в данной стране, - что крупный бизнес "становится оковами для способа производства". А сделанный Марксом вывод фактически не вытекает из его собственных предпосылок. Однако, даже если приводимые Марксом факты и рассуждения содержали бы гораздо больше ошибок, чем на самом деле, тем не менее его вывод оказывается верен в той

мере, в какой он является простой констатацией того, что капиталистическая эволюция разрушает основы капиталистического общества. Я думаю, что так оно и есть. И я не считаю преувеличением назвать это видение, высказанное без малейших сомнений в 1847 г., глубоким. Сегодня это общепризнано. Но первый, кто сказал об этом, был Густав Шмоллер. Его превосходительство, профессор фон Шмоллер, прусский тайный советник и член верхней палаты Пруссии не был революционером и не занимался агитацией. Но он спокойно утверждал то же самое. Почему и как - эти вопросы он также оставил без ответа. Вряд ли необходимо подробно суммировать сказанное. Каким бы несовершенным ни был

наш очерк, он достаточен, чтобы установить: во-первых, никто, кого интересует чисто экономический анализ, не может говорить о безоговорочном успехе Марксовой теории; во-вторых, никто, кого интересует эта смелая конструкция, не может констатировать безусловную неудачу. В суде, который рассмотрел технику его теоретического анализа, приговор был бы неблагоприятным. Приверженность аналитическому аппарату, который всегда был неадекватным и уже во времена Маркса

стремительно устаревал; длинный список выводов, которые не следуют из предпосылок или просто неверны; ошибки, которые если их исправить, существенно меняют или превращают в противоположные построенные на их основе выводы, - все это может быть справедливо поставлено в вину Марксу как аналитику. Но даже в этом суде потребуются смягчение приговора по двум следующим причинам. Во-первых, хотя Маркс так часто и иногда столь безнадежно ошибался, его критики не всегда были правы. Поскольку среди них были отличные экономисты, этот факт следует записать в его пользу, особенно потому, что с большинством из них он не мог встретиться лично. Во-вторых, следует отметить вклад Маркса, как критический, так и позитивный, в разработку огромного числа индивидуальных проблем. В очерке, подобном этому, невозможно перечислить все эти проблемы, не говоря уже о том, чтобы отдать этому

должное. Но мы касались некоторых из них, когда обсуждали его подход к анализу экономического цикла. Я упоминал также о некоторых из тех проблем, которые улучшили нашу теорию физической структуры капитала. Схемы, которые он сконструировал в связи с этим вопросом, хотя и не безукоризненные, также доказали свою полезность, будучи использованными в работах последнего времени, которые местами очень напоминают Марксову теорию.

Но апелляционный суд, даже если он ограничится теоретическими проблемами, может склониться к тому, чтобы полностью отменить обвинительный приговор. Потому что всем мелким прегрешениям Маркса противостоит одно поистине великое достижение. Через все, что есть ошибочного и даже ненаучного в его анализе, проходит одна фундаментальная идея, в которой нет ничего ошибочного или ненаучного, идея

теории, построенной не на некотором числе отдельных индивидуальных форм или на логике развития количественных экономических показателей в целом, но на действительной последовательности этих форм, на развитии экономического процесса

как такового, движимого собственной энергией, в условиях исторического времени, порождающего в каждый данный момент такое состояние, которое само определяет то,

что будет следовать за ним. Вот почему автор столь многих неверных концепций оказался в то же время первым, кто представил себе то, что до сих пор все еще остается экономической теорией будущего, для которой мы медленно и упорно копили строительный материал, статистические факты и функциональные уравнения. Маркс не просто задумался над этой идеей, он попытался ее воплотить. Учитывая великую цель, которой пыталась служить его аргументация, все искажающие его труд

недостатки должны оцениваться иначе даже там, где они - а в ряде случаев так оно

и есть - не полностью этой целью оправдываются. Существует, однако, один вопрос, имеющий фундаментальное значение с точки зрения методологии экономической теории, которую он действительно создал. Экономисты обычно либо сами делали работу в области экономической истории, либо использовали исторические труды других. Но факты экономической истории отправлялись ими в особое подразделение. Они включались в теорию, если вообще включались, только в роли иллюстраций или, возможно, для проверки результатов. Они смешивались с ней только механически. Смесь же, созданная Марксом, является химической; другими словами, он ввел их непосредственно в аргументацию, с помощью которой обосновываются его выводы. Он был первым экономистом высокого ранга, увидевшим и

последовательно учившим других тому, как экономическую теорию можно превратить в исторический анализ и как историческое повествование можно обратить в *histoire raisonne'e* (обоснование истории - фр.) [Если верные его последователи станут на этом основании доказывать, что он обосновал цели исследования исторической школы в экономической теории, то это притязание нелегко отвергнуть,

хотя работы школы Шмоллера велись совершенно независимо от влияния Маркса. Но если они будут настаивать на том, что Маркс и только Маркс знал, какую теорию подвести под исторический процесс, в то время как сторонники исторической школы знали только, как описывать факты без понимания их значения, то они только навредят своему делу. Потому что эти люди на самом деле знали, как надо анализировать. И если их обобщения были менее широкими, а изложение - менее избирательным, это это говорит только в их пользу.]. Аналогичную проблему в отношении статистики он не пытался решать. Но в каком-то смысле она подразумевалась при решении проблемы с историей. Это является и ответом на вопрос, в какой мере - в том аспекте, в каком это разъяснялось в конце предыдущей главы, - экономической теории Маркса удалось вписаться в его социологическую систему. Этой цели добиться не удалось, но сама эта неудача выдвинула одновременно и цель, и метод ее достижения.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава четвертая. Маркс - учитель.

Итак, главные составляющие теоретической структуры Маркса перед нами. Что же можно сказать относительно их впечатляющего синтеза как целого? Вопрос не праздный. Если это вообще возможно, то именно в данном случае целое превышает сумму частей. Более того, синтез способен в такой мере испортить зерна или, наоборот, утилизировать плевелы, которые присутствуют почти всюду, что целое

может оказаться более верным или, напротив, более ошибочным, чем любая его отдельно взятая часть. Наконец, существует учение, которое вытекает только из целого. Однако о последнем мы ничего больше не скажем. Пусть каждый решает сам, что оно значит для него.

Наше время восстает против безжалостной неизбежности специализации, а потому вопиет о синтезе, причем нигде так громко, как в общественных науках, в которых так велик удельный вес непрофессионального элемента [Этого непрофессионального элемента особенно много в работах тех поклонников Маркса, которые, не являясь типичными экономистами-марксистами до сих пор принимают всерьез все, что написал

учитель. Это очень важно. В каждой стране на одного грамотного экономиста приходится по меньшей мере три непрофессионала, и даже этот экономист, как правило, является марксистом в том специфическом смысле, о котором мы говорили во введении к этой части: он молится перед этим алтарем, но поворачивается к нему спиной, как только приступает к исследованию.]. Однако система Маркса является хорошей иллюстрацией того, что, хотя синтез способен нести но вый свет,

он может означать и новые оковы.

Мы уже видели, как в Марксовой теории социология и экономическая теория пронизывают друг друга. По замыслу Маркса, а в некоторой степени и в реальной действительности они едины. Следовательно, все основные концепции и положения являются здесь одновременно экономическими и социологическими и имеют одинаковое

значение на обоих уровнях, если, с нашей точки зрения, мы все же можем говорить о двух уровнях аргументации. Так, экономическая категория "труд" и общественная - класс "пролетариат" в принципе соответствуют друг другу, а фактически идентичны. Другой пример. Функциональное распределение дохода в экономической теории, т.е. объяснение того, как образуются доходы в качестве вознаграждения за

производственные услуги независимо от того, к какому социальному классу получатель подобного дохода может принадлежать, выступает в Марксовой системе только в форме распределения между общественными классами и таким образом приобретает иное, дополнительное значение. Еще пример. Капитал в системе Маркса становится капиталом только в руках особого капиталистического класса. Те же предметы, но в руках рабочих капиталом не являются.

Не может быть никакого сомнения в том, что тем самым в анализ вливается живительная сила. Воображаемые концепции экономической теории начинают дышать. Бескровная теорема погружается в *agmen, pilverem at clamorem* [Движение толп, пыль и грохот (лат.)]: не теряя своей логической природы, она перестает быть только положением, характеризующим логические свойства системы абстракций; она превращается в мазок художника, рисующего дикий беспорядок общественной жизни. В

подобном анализе не только заключено более глубокое содержание, нежели в обычном

экономическом анализе, но он охватывает и более широкую сферу - он включает в рассмотрение любой вид классового действия, независимо от того, соответствует ли

это классовое действие обычным правилам бизнеса или нет. Войны, революции, законодательство всех видов, изменения в структуре правительств, короче все явления, которые немарксистская экономическая теория рассматривает просто как внешние возмущения, находят свое место наряду, скажем, с инвестициями в оборудование или с трудовыми договорами, - все охвачено единой объясняющей схемой.

В то же время подобная процедура имеет и свои недостатки. Концептуальная структура, на которую надето такого рода ярмо, может легко терять в эффективности по мере усиления ее "жизненности". Спаренная категория рабочий-пролетарий может служить наглядным, хотя и банальным примером. В немарксистской экономической теории все доходы от услуг отдельных лиц по своей природе становятся заработной платой, являются ли эти лица первоклассными юристами, кинозвездами, служащими компаний или дворниками. Поскольку все эти доходы с точки зрения связанных с ними экономических процессов имеют много сходного, то подобное обобщение не является ни бесполезным, ни искусственно сконструированным. Напротив, оно может нести определенную информацию даже с точки зрения социологии. Но уравнивая трудящегося и пролетария, мы искажаем эту

информацию; фактически выбрасываем ее из нашей картины. Равным образом полезная экономическая теорема благодаря ее социологической метаморфозе может вместо обогащения содержания внести ошибку, и наоборот. Таким образом синтез экономической теории и социологии в принципе и марксистский его вариант в частности может легко привести к ухудшению как экономической теории, так и социологии.

Синтез как таковой, т.е. координация методов и результатов различных направлений

анализа, является трудным делом, за которое не каждый способен взяться. В итоге за него обычно вовсе никто не берется; от студентов же, которых учат видеть только отдельные деревья, мы слышим гневные требования показать им лес в целом. Однако они не могут представить себе, что проблема частично состоит в *embarras de richesse* [Шок от изобилия (фр.).] и что синтезированный лес может стать для исследователя концентрационным лагерем.

Синтезу по-марксистски, т.е. координации экономического и социологического анализа в интересах сведения и того и другого к единой цели, конечно же, особенно присущи подобного рода черты. Цель - *histoire raisonnee*, т.е. объяснение истории капиталистического общества, - носит достаточно широкий характер, но не такова аналитическая основа. Действительно, перед нами грандиозное сочетание политических фактов и экономических теорем; но они соединены насильственно, в итоге ни одна из сторон не в состоянии дышать. Марксисты претендуют на то, что их система решает все великие проблемы, с которыми не могла справиться немарксистская экономическая теория. Да, она их решает, но только путем выхолащивания содержания. Однако здесь требуется некоторое разъяснение.

Несколько выше я говорил, что Марксов синтез охватывает все те исторические события, такие, как войны, революции, изменения в законодательстве, и все те институциональные моменты, такие, как собственность, контрактные отношения, формы государственного правления, которые экономисты, не являющиеся сторонниками марксизма, предполагают рассматривать как дестабилизирующие факторы либо как исходные данные. Это значит, что они предполагают не объяснять их, а только анализировать их *modi operandi* [Способы функционирования (лат.).] и

последствия. Это необходимо для того, чтобы ограничить предмет и границы анализа, о какой бы исследовательской программе ни шла речь. Если же эти предпосылки не всегда явно обозначены, то лишь потому, что считается, что они всем известны. Особенность Марксовой системы состоит в том, что она подчиняет сами эти исторические события и социальные институты процессу объяснения, основанному на экономическом анализе, или, если использовать специальную терминологию, она рассматривает их не в качестве исходных данных, а в качестве переменных величин.

Поэтому Наполеоновские войны, Крымская война, Гражданская война в Америке, мировая война 1914 г., Французская фронда, Великая Французская революция, революции 1830 и 1848 гг., Свобода торговли в Англии, рабочее движение в целом и

в отдельных его проявлениях, колониальная экспансия, институциональные изменения, национальная и партийная политика во все времена и во всех странах - все это включено в сферу Марксовой экономической теории, претендующей на открытие теоретического объяснения всех этих явлений на основе классовой борьбы, стремления к эксплуатации и протеста против эксплуатации, накопления капитала и качественных изменений в его структуре, изменений нормы прибавочной стоимости и нормы прибыли. Экономист не должен более удовлетворяться чисто техническими ответами на технические вопросы; вместо этого он учит человечество познавать скрытый смысл его борений. "Политика" не рассматривается более как независимый фактор, от которого можно и должно абстрагироваться в анализе фундаментальных величин. Ее вторжение в традиционную экономическую теорию либо играет роль мальчика, который злонамеренно портит машину, стоит лишь инженеру повернуться к ней спиной; либо, наоборот, роль *deus ex machina* [Бог из машины; перен. неожиданное спасение (благодаря божественному вмешательству) - лат.], т.е. неожиданного спасителя (благодаря таинственной мудрости, присущей сомнительной разновидности млекопитающих, называемых "государственными деятелями". У Маркса сама политика определяется структурой и состоянием экономического процесса, становится проводником экономических эффектов и так же полностью включается в сферу экономической теории, как обычная покупка или

продажа.

Вновь повторим: нет ничего легче, чем понять очарование подобного синтеза. Особенно это понятно в отношении молодежи, а также тех интеллектуальных обитателей нашего читающего газеты мира, которым боги, видимо, даровали вечную молодость. Страстно желая выразить собственное "я", мечтая от чего-нибудь спасти мир, испытывая отвращение к неопишуемой скуке учебников, разочарованные эмоционально и интеллектуально, неспособные создать собственный синтез, они отыскивают страстно желаемое у Маркса. Вот он - ключ ко всем самым сокровенным тайнам; вот та волшебная палочка, которая управляет и великими и малыми событиями. Именно они владеют объяснением, которое - на мгновение я позволю себе

удариться в гегельянство - одновременно является и самым общим, и самым конкретным. Им не нужно больше выискивать его среди многообразия жизненных явлений - они насквозь видят всех этих претенциозных марионеток от политики и бизнеса, которые ничего не понимают в окружающем. И кто может их обвинять, зная,

какие существуют альтернативы?

Да, конечно, это так. Но кроме этого: какова все же в конечном счете польза от Марксова синтеза? - спрашиваю я. Обычный экономист, описывающий переход Англии к

свободе торговли или первые достижения английского фабричного законодательства, не забывает и, видимо, никогда и не забывал упомянуть о тех структурных особенностях английской экономики, которые породили подобную политику. Если он не делает этого в учебном курсе или в книге, посвященной чистой теории, то только потому, что он ставит своей целью более тонкий и более эффективный анализ. Марксисту же остается добавить лишь одно - отстаивать сам принцип, и в особенности ту узкую, искаженную теорию того, как этот принцип следует внедрять.

Эта теория, несомненно, дает результаты, к тому же достаточно простые и определенные. Но начните систематически применять ее к отдельным случаям, и вам быстро наскучит этот бесконечный трезвон по поводу классовой борьбы между собственниками и теми, у кого собственности нет. Вы начнете испытывать болезненное чувство неадекватности этой теории, если не присягали на верность лежащей в ее основе схеме; или еще хуже - ее тривиальности в том случае, если вы

исповедуете марксистскую веру.

Марксисты обычно с торжеством указывают на успех Марксова диагноза экономических

и социальных тенденций, которые, как полагают, внутренне присущи капиталистической эволюции. Как мы уже видели, в этом есть доля правды: более ясно, чем любой другой автор своего времени, Маркс разглядел тенденцию к росту крупного производства и не только это, но и некоторые особенности последующей ситуации. Мы видели также, что в этом случае общее видение помогло анализу, исправив некоторые недостатки последнего и сделав синтез более верным, чем сами составляющие его элементы анализа. Но на этом все и кончается. Этому достижению следует противопоставить ошибочный прогноз относительно растущей нищеты, являющийся объединенным результатом неправильного видения и неверного анализа - результатом, на котором базируется огромное множество марксистских спекуляций относительно будущего развития общественной жизни. Тот, кто в своем стремлении понять современную ситуацию и ее проблемы делает ставку на Марксов синтез в целом, к несчастью, оказывается неправ[На это некоторые марксисты ответили бы, что экономисты-немарксисты вообще ничего не внесли в понимание нашего времени, так что последователи Маркса в этом отношении находятся все же в лучшем положении. Избегая обсуждения вопроса о том, что лучше - ничего не говорить или изрекать ошибочные вещи, следует иметь в виду, что это утверждение неверно, потому что и экономисты, и социологи немарксистского направления на самом деле внесли немалый научный вклад, правда, в разработку отдельных проблем. Меньше всего это притязание марксистов должно базироваться на сравнении учения Маркса с

теориями австрийской, вальрасовской или маршаллианской школ. Приверженцы этих школ целиком или по преимуществу интересовались чисто экономической теорией. Их теории, следовательно, несопоставимы с Марксовым синтезом. Их можно сравнивать только с теоретическим аппаратом Маркса, и в этой области сравнение полностью в их пользу.]. Фактически это понимают теперь многие марксисты. В частности, нет

никаких оснований испытывать гордость по поводу того, как с помощью Марксова синтеза объясняется опыт последнего десятилетия [Речь идет о длительной депрессии после Великого кризиса 1929-1933 гг. - Прим. ред.]. Каждый продолжительный период депрессии или слабого оживления будет служить подтверждением любого пессимистического прогноза в той же мере, в какой он будет

подтверждать и марксистский прогноз. В этом случае впечатление, что он подтверждает именно марксистский прогноз, создается болтовней лишившихся мужества буржуа и ликующих интеллектуалов, которые благодаря своим страхам и надеждам, естественно, перекарасились в марксистов. Однако ни один реальный факт не подтверждает ни одного специфически марксистского диагноза. В еще меньшей степени подтверждается общая оценка ситуации, согласно которой все, чему мы являемся свидетелями, представляет собой не просто депрессию, но свидетельствует о структурных изменениях в капиталистическом развитии, предсказанных Марксом. Потому что, как будет отмечено в следующей части, все наблюдаемые явления, такие, как сверхнормальная безработица, отсутствие инвестиционных возможностей, снижение стоимости денег, банкротства и т.п., всегда происходят в рамках периодов глубокой депрессии, подобных тем, которые наблюдались в 70-е и 80-е годы и которые Энгельс комментировал со сдержанностью,

заслуживающей подражания со стороны его сегодняшних пламенных последователей. Достоинства и недостатки Марксова синтеза как способа решения всех проблем мы покажем на двух исключительно важных примерах.

Рассмотрим вначале марксистскую теорию империализма. Все ее корни можно обнаружить в главной работе Маркса, но развита она была неомарксистской школой, которая процветала в первые два десятилетия нашего времени и которая, не отрицая

своей общности со старыми защитниками веры, такими, как Карл Каутский, много сделала для ревизии всей системы. Их центром была Вена, их лидерами - Отто Бауэр, Рудольф Гильфердинг. Макс Адлер. Работа последних в области теории империализма была продолжена с небольшими второстепенными изменениями многими другими авторами; самыми известными среди них были Роза Люксембург и Фриц Штернберг. Их аргументация такова.

Поскольку капиталистическое общество не может существовать, а его экономическая система не может функционировать без прибыли, и в то же время, поскольку прибыли

непрерывно исчезают благодаря самому функционированию этой системы, центральной задачей класса капиталистов становятся неустанные усилия по поддержанию жизнеспособности этого общества. Накопление, сопровождаемое количественными изменениями в структуре капитала, является, как мы видели, тем лекарством, которое, хотя и облегчает на какой-то момент положение отдельного капиталиста, в конечном счете ухудшает ситуацию в целом. В итоге под давлением падающей нормы прибыли (а падает она, как мы помним, по двум причинам: вследствие роста постоянного капитала по отношению к переменному и снижения нормы прибавочной стоимости, поскольку зарплата имеет тенденцию повышаться, а рабочий день сокращаться) капитал ищет применения в странах, где все еще имеется

рабочая сила, которую можно безжалостно эксплуатировать, и где процесс механизации еще не зашел достаточно далеко. Так мы получаем экспорт капитала в слаборазвитые страны, который по сути представляет собой экспорт капитального оборудования либо потребительских товаров, предназначенных для покупки рабочей силы или для приобретения вещей, посредством которых можно купить рабочую силу [Я имею в виду предметы роскоши, предназначенные на продажу вождям племен в обмен на рабов или в обмен на товары, покупаемые на заработную плату, - товары, необходимые для найма местной рабочей силы. Ради краткости я не принимаю в расчет тот факт, что экспорт капитала, - в том смысле, в каком мы его здесь понимаем, - вообще возникает как часть торговых отношений двух стран, которые включают и обмен товарами, не связанный с тем особым процессом, о котором здесь идет речь. Эти отношения, конечно, чрезвычайно стимулируют экспорт капитала, но не затрагивают его сути. Я игнорирую также другие виды экспорта капитала. Рассматриваемая теория не является, да и не предназначена для того, чтобы быть общей теорией международной торговли и финансов.]. Но в то же время это есть и экспорт капитала в обычном смысле слова, поскольку экспортируемые товары не оплачиваются - по крайней мере немедленно - товарами, услугами или деньгами

импортирующей страны. Экспорт капитала превращается в колонизацию, если в целях защиты инвестиций как от враждебной реакции местного окружения или, если угодно, от сопротивления эксплуатации, так и от конкуренции со стороны других капиталистических стран слаборазвитая страна становится объектом политического подчинения. Как правило, оно происходит с помощью военной силы, поставляемой либо самими капиталистами-колонизаторами, либо правительствами их стран, которые

таким образом соответствуют определению, данному в "Коммунистическом манифесте", где сказано, что "исполнительные власти современного государства... представляют собой комитет по управлению общими делами буржуазии". Конечно, эта сила используется не только в оборонительных целях. Происходят завоевания, возникают противоречия между капиталистическими странами, ведутся разрушительные

войны между соперничающими группами буржуазии.

Следующий элемент завершает эту теорию империализма в ее теперешнем виде. Поскольку колониальная эксплуатация вызывается падением нормы прибыли в капиталистических странах, она должна иметь место на более поздних стадиях капиталистической эволюции - фактически марксисты говорят об империализме как о стадии капитализма желательной последней. Следовательно, она должна сочетаться с высокой степенью концентрации капиталистического контроля над промышленностью и с упадком того типа конкуренции, который был присущ периоду господства средних

и мелких фирм. Сам Маркс не слишком подчеркивал итоговую тенденцию к монополистическому ограничению производства и вытекающую отсюда тенденцию к защите своих охотничьих угодий от вторжения браконьеров из других капиталистических стран. Может быть, он был слишком знающим экономистом, чтобы злоупотреблять этой линией аргументации. Однако неомарксисты с радостью использовали ее. Так мы получили не только еще одно объяснение империалистической политики и империалистических неурядиц, но и, как побочный продукт, теорию того явления, которое само по себе не обязательно является империалистическим, - теорию современного протекционизма.

Отметим еще одну особенность этого процесса, которая используется марксистом для объяснения дальнейших трудностей капитализма. Когда слаборазвитые страны становятся развитыми, экспорт вышеупомянутого капитала снижается. Тогда может наступить период, в течение которого материнская страна и колония будут обменивать, скажем, промышленные товары на сырье. Но в конце концов и экспорт промышленных товаров также должен снизиться по мере того, как конкуренция товаров из колонии начнет заявлять о себе в материнской стране. Попытки затормозить наступление такой ситуации создают новый источник противоречий, на этот раз между каждой из старых капиталистических стран и ее колониями вплоть до войн за независимость и т.д. Но в любом случае двери колоний в конце концов закроются для капитала, который уже больше не сможет спастись от исчезающих прибылей у себя дома, убегая на более богатые заграничные пастбища. Отсутствие сфер приложения капитала, избыток мощностей, полный паралич, в конечном счете регулярное повторение национальных банкротств и прочих бедствий, - возможно, и мировых войн как результат полного отчаяния буржуазии, - все это можно уверенно предвидеть. Такая вот простая история.

Эта теория является честным и, возможно, лучшим примером того, каким образом марксистский синтез стремится решить теоретические проблемы и заработать на этом

авторитет. Вся аргументация, как видим, превосходно вытекает из двух фундаментальных предпосылок, прочно вмонтированных в основу системы: из теории классов и теории накопления капитала. Кажется, что целый ряд существенных явлений нашего времени отлично объясняется ею. Представляется, что все хитросплетения международной политики можно распутать одним мощным ударом этого анализа. С его помощью мы видим, как и почему поведение класса, всегда остающееся по существу одним и тем же, приобретает форму политического или экономического действия в зависимости от обстоятельств, которые определяют лишь его тактические методы и фразеологию. Если средства и возможности, находящиеся в

распоряжении группы капиталистов таковы, что более выгодно отдать их в займы, будут вестись переговоры о займе. Если средства и возможности таковы, что прибыльнее вести войну, будет объявлена война. Последняя альтернатива имеет не меньше прав стать частью экономической теории, чем первая. Даже протекционизм

отныне прекрасно произрастает из самой логики эволюции капитализма. Кроме того, эта теория использует все преимущества, которые присущи ей, как и большинству других марксистских концепций, в той области, которую обычно называют прикладной экономической теорией. Она тесно связана с исторической и современной действительностью. Вероятно, нет такого читателя, внимательно изучавшего мое резюме, который не был бы поражен тем обилием подтверждающих эту теорию фактов, которые буквально наваливаются на него в ходе нашего анализа. Разве не слышал он об угнетении европейцами местных рабочих во многих частях света; о том, как страдали индейцы Южной и Центральной Америки, к примеру, от испанцев; об охоте на рабов и работорговле, о несчастных кули? Разве экспорт капитала до сих пор не происходит из капиталистических стран? Разве не сопровождается он почти неизменно войнами и завоеваниями, которые направлены на подчинение местного населения этих стран и на борьбу с другими европейскими державами? Разве колонизация, как правило, не сопровождалась сомнительными военными акциями, даже когда она осуществлялась исключительно экономическими методами, такими компаниями, как Ост-Индская компания или Компания Британской Южной Африки? Мог бы сам Маркс пожелать лучшую иллюстрацию, чем действия Сесилия Родса или англо-бурская война? Разве не очевидно, что колониальные амбиции были по меньшей мере существенным фактором европейских бед во всяком случае начиная с

1700 года? Что же касается современности, то кто не слышал о "сырьевой стратегии", с одной стороны, и о воздействии на Европу роста национального капитализма в тропических странах? И т.д. Если же говорить о протекционизме, то здесь все ясно, как день.

Однако давайте будем осторожны. Верификация с помощью на первый взгляд подтверждающих, но детально не проанализированных фактов может быть крайне обманчивой. Более того, как знает каждый адвокат и каждый политик, энергичного обращения к известным фактам еще недостаточно, чтобы суд или парламент приняли ту концепцию, которую им стремятся навязать. Марксисты довели этот прием до совершенства. В данном случае этот опыт был особенно удачным, поскольку рассматриваемые факты соединяют в себе два достоинства - поверхностно они известны каждому при том, что их глубинный смысл понятен далеко не многим. На деле же, хотя мы и не можем здесь вдаваться в детальное обсуждение, даже короткого размышления на эту тему достаточно, чтобы заподозрить, что здесь "что-то не то".

В следующей части мы еще выскажемся по поводу отношения между буржуазией и империализмом. Теперь же мы рассмотрим вопрос, является ли марксистская концепция империализма, - даже если соответствующая интерпретация экспорта капитала, колонизации и протекционизма верна, - такой общей теорией, которая бы объясняла все те явления, которые мы имеем в виду, используя этот расплывчатый и не всегда верно употребляемый термин. Конечно, мы можем всегда определить империализм таким образом, как это подразумевается марксистской концепцией; мы можем также всякий раз убеждать себя, что все эти явления должны объясняться в марксистском духе. Но тогда проблема империализма - допуская, что теория сама по себе верна, - может быть "решена" только тавтологически [Опасность навязываемых нам пустых тавтологий лучше всего иллюстрируется отдельными примерами. Так, Франция завоевала Алжир, Тунис и Марокко, а Италия - Абиссинию с

помощью военной силы, без того, чтобы хоть какие-нибудь существенные капиталистические интересы побуждали их к этому. На самом деле наличие подобных интересов было лишь прикрытием, которое весьма трудно соорудить, последующее возникновение подобных интересов происходило медленно, весьма негладко и под давлением правительства. Поскольку все это выглядит не очень по-марксистски, то обычно утверждается, что эти акции были предприняты под воздействием потенциальных интересов, либо интересов, которые можно было предвидеть заранее, или, как об этом говорится в одном из последних исследований, капиталистический интерес или объективная необходимость просто "должны" были лежать в основе этих завоеваний. После этого мы можем выискивать подтверждающие факты, которые есть всегда, поскольку капиталистические интересы, подобно многим другим, проявляются

в любой ситуации, любому состоянию капиталистической системы всегда присущи такие свойства, которые без больших натяжек могут быть увязаны с политикой национальной экспансии. Очевидно, только заранее сложившееся убеждение и ничто другое может заставить нас взяться за осуществление такой неблагоприятной задачи.

Мы можем с полным правом избавить себя от этих хлопот - следует только сказать: "Так должно быть" и все. Вот что я имел в виду, говоря о тавтологическом объяснении.]. Имеет ли марксистский или любой чисто экономический подход к той же проблеме нетавтологическое решение - этот вопрос еще нуждается в рассмотрении. Но здесь нет необходимости его затрагивать, поскольку проблема оказывается исчерпанной прежде, чем мы поставим вопрос таким образом. На первый взгляд марксистская теория достаточно хорошо объясняет некоторые случаи. Самые наглядные примеры - это английские и голландские завоевания в тропиках. Однако другие случаи, как, например, колонизация Новой Англии, она совсем не объясняет. И даже первый тип завоеваний не так уж хорошо описывается марксистской теорией империализма. Признать, что жажда наживы играла какую-то роль в качестве движущей силы колониальной экспансии, очевидно, далеко не достаточно [Недостаточно подчеркивать и тот факт, что каждая страна "эксплуатировала" свои колонии. Потому что тогда мы имели бы эксплуатацию одной страны в целом другой страной в целом (всех классов всеми классами) и это не имело бы ничего общего со специфически Марксовым видом эксплуатации.]. Неомарксисты и не собирались доказывать столь очевидные банальности. Хотя они и принимали в расчет подобные примеры, из их теории неизбежно следовало, что колониальная экспансия, осуществляемая указанным выше способом, происходит под давлением накопления капитала на норму прибыли и, следовательно, является особенностью умирающего или, во всяком случае, вполне зрелого капитализма. Однако героические времена колониальных авантур были временами раннего и незрелого капитализма, когда накопление капитала только начиналось и его давления, так же как и препятствий для эксплуатации труда в собственной стране, просто не существовало. Элементы монополии были. Больше того, они носили

более явный характер, чем сегодня. Но это только усиливает абсурдность той теории, которая делает монополию и колониальные завоевания специфическими чертами позднего капитализма.

К тому же и другая опора этой теории - классовая борьба находится не в лучшем положении. Нужно иметь шоры на глазах, чтобы концентрировать внимание на тех аспектах колониальной экспансии, которые играли скорее вторичную роль, и конструировать на основе идеи классовой борьбы явление, которое представляет собой самый поразительный пример классового сотрудничества. Это был процесс, направленный в такой же мере на увеличение заработной платы, как и на увеличение

прибылей; в долгосрочном плане он оказался более выгодным для пролетариата (частично благодаря эксплуатации труда туземцев), чем для капиталистов. Но я не хочу акцентировать внимание на результатах процесса колонизации. Существенно то,

что причины этого процесса не имели прямого отношения к классовой борьбе, а с классов вой структурой они были связаны лишь в той мере, в какой процесс колониальной экспансии возглавляли группы или отдельные лица, которые принадлежали к классу капиталистов или стали его членами благодаря колониальному

предпринимательству. Если же мы сбросим эти шоры и перестанем рассматривать колонизацию или империализм только как проявление классовой борьбы, то в объяснении этого вопроса остается мало того, что является собственно марксистским. То, что сказал по этому поводу Адам Смит, ничуть не хуже, а, точнее, даже лучше объясняет факты.

Остается рассмотреть побочный продукт теории империализма - неомарксистскую теорию современного протекционизма.

Классическая литература полна негодования по поводу "пагубных интересов" - в основном, но не исключительно - представителей аграрного сектора, протекционистские требования которых означали непростительные преступления против общественного благосостояния. Так что у классиков имелась теория, объясняющая причины протекционизма, а не только его последствия, и если теперь мы добавим к ней протекционистские интересы современного крупного бизнеса, то ничего большего, собственно, не требуется. Современным симпатизирующим марксизму

экономистам не следовало бы утверждать, будто даже теперь их буржуазные коллеги не видят связи между тенденцией к протекционизму и тенденцией к образованию мощных центров контроля (хотя их коллеги могут не считать нужным постоянно подчеркивать этот столь очевидный факт). Не то, чтобы классики и их сегодняшние

последователи были правы относительно протекционизма: их интерпретация последнего была и остается столь же односторонней, как и марксистская, к тому же

они часто неверно оценивали его последствия и связанные с ним интересы. Но по меньшей мере за полвека до появления марксистской теории империализма они уже знали о монопольной компоненте протекционизма все, что удалось выяснить марксистам (что было нетрудно, учитывая банальный характер этого открытия). К тому же позиция классиков превосходила марксистскую теорию в одном очень важном отношении. Какова бы ни была ценность их экономической теории, - возможно, она и не была высока - в основном они оставались в ее рамках [Они не всегда оставались в рамках своей экономической теории. Когда они выходили за эти рамки, результаты были не вдохновляющими. Так, чисто экономические труды Джеймса

Милля, хотя и не очень ценные, не могут быть просто отброшены за безнадежно низкий уровень. Подлинный нонсенс - причем нонсенс на уровне банальности - это его статьи о государственном управлении и связанных с ним проблемах.]. В данном случае это было преимуществом. Утверждение, согласно которому многие протекционистские тарифы обязаны своим существованием крупным концернам, которые

стремятся использовать их в целях поддержания более высоких внутренних цен на свои товары, а возможно, и для того, чтобы продавать их по более дешевым ценам за границей, само по себе является банальным, но верным, хотя ни один тариф никогда не был целиком и даже в основном обусловлен только этой частной причиной. Именно марксистский синтез делает это утверждение неадекватным или вовсе неверным. Если наша цель состоит в том, чтобы просто понять все политические, социальные и экономические причины и следствия современного протекционизма, то марксистское объяснение неадекватно. Например, последовательная поддержка американским народом протекционистской политики всегда, когда ему предоставлялась возможность высказаться по этому поводу, была вызвана не любовью к крупному бизнесу или к его господству, а страстным желанием

построить и сохранить свой собственный мир, отгородиться от всех неприятностей остального света. Теоретический синтез, упускающий подобные элементы анализа, - это не приобретение, а потеря. Если же мы стремимся свести все причины и следствия современного протекционизма, в каких бы формах он ни выступал, к монополистическим элементам современной промышленности как единственной *causa causans* [Первопричина (лат.)], то наша теория становится ошибочной. Крупный бизнес оказался способным использовать народные чувства, он подогревал их; однако абсурдно утверждать, что он их породил. Теоретический синтез, - вынуждены еще раз подчеркнуть это, - который обосновывает подобные утверждения, хуже, чем отсутствие всякого теоретического обобщения. Положение значительно ухудшается, если вопреки фактам и здравому смыслу мы станем использовать данную теорию экспорта капитала и колонизации для объяснения

международной политики, которая таким образом сводится к борьбе монополистических капиталистических групп друг с другом и каждой из них - с собственным пролетариатом. Такое объяснение, возможно, полезно для партийной пропаганды; но оно свидетельствует о том, что детские сказочки не являются монополией буржуазной экономической теории. На самом деле большой бизнес - или *haute finance* [Финансовые воротила (фр.) от Фуггеров до Морганов - оказывал очень слабое влияние на внешнюю политику; и в большинстве случаев, когда крупная промышленность или банковские интересы как таковые были в состоянии предъявить собственные притязания, их наивный дилетантизм завершался поражением. Капиталистические группы скорее приспособляются к политике своих государств, нежели определяют ее, и сегодня в большей степени, чем прежде. К тому же это отношение определяется поразительно краткосрочными соображениями, равно далекими от каких-либо глубоко обоснованных планов и каких-либо определенных "объективных" классовых интересов. В этом пункте марксизм опускается до того, что облекает в теоретические формулировки обывательские предрассудки [Этот предрассудок ничем не лучше другого, распространенного среди многих почтенных и простодушных людей, которые объясняют для себя современную историю на основе гипотезы, согласно которой где-то существует комитет чрезвычайно умных и злых евреев, которые, будучи за сценой, контролируют

международную политику, а может быть, и всякую политику вообще. Марксисты не стали жертвами этого вида предрассудков, но их предрассудки по своему уровню не выше. Должен сказать, что, когда я сталкиваюсь с той или иной из этих доктрин, мне всегда бывает очень трудно возражать удовлетворительным для меня образом. Это вызвано не только тем обстоятельством, что всегда трудно опровергнуть утверждения, якобы основанные на фактах. Главная трудность проистекает из того, что люди, не имеющие знаний из первых рук о международных отношениях и о тех, кто работает в этой области, лишены к тому же и чувства абсурдного.].  
Есть и другие примеры подобного рода во всех частях марксистского учения. Например, определение природы государства в "Коммунистическом манифесте", которое мы цитировали совсем недавно, содержит в себе элемент истины. Во многих случаях эта истина объясняет отношение государства к наиболее очевидным проявлениям классового антагонизма. Однако в той мере, в какой она справедлива, теория, выраженная в данном определении, попросту тривиальна. Подлинная проблема

заключается в том, Почему и Как существует такое огромное количество случаев, когда эта теория либо не соответствует фактам, либо, даже соответствуя им, не способна правильно описать действительное поведение "этих комитетов по управлению общими делами буржуазии". Повторяю, практически во всех случаях эту теорию можно считать тавтологически верной. Потому что не существует государственной политики, если только она не направлена на уничтожение буржуазии, которая не отвечала бы каким-либо экономическим или неэкономическим, краткосрочным или долгосрочным буржуазным интересам, - по крайней мере в том смысле, что она предотвращает еще худшие ситуации. Это, однако, не прибавляет ценности рассматриваемой теории.

Но давайте вернемся к нашему второму примеру, характеризующему возможности марксистского синтеза в решении теоретических проблем.  
Характерная черта "научного социализма", благодаря которой, согласно Марксу, он отличается от "утопического социализма", состоит в доказательстве того, что социализм неизбежен вне зависимости от желания людей. Как уже утверждалось ранее, это означает, что в силу собственной логики капиталистическая эволюция ведет к разрушению капиталистического и созданию социалистического строя [См. также Пролог ко второй части. ]. Насколько Марксу удалось доказать существование

подобных тенденций? Что касается тенденции к самоуничтожению, то этот вопрос уже рассмотрен [См. гл. III.]. Доктрина, согласно которой капиталистическая экономика неизбежно рухнет под влиянием чисто экономических причин, не была доказана Марксом - достаточно сослаться на возражения Гильфердинга. С одной стороны, некоторые из предположений Маркса относительно будущего, столь существенные для ортодоксальной аргументации, в особенности такое, как неизбежный рост нищеты и угнетения, оказались несостоятельными; с другой стороны, тезис о крахе капиталистического строя вовсе не обязательно должен следовать из этих предпосылок, даже если бы они были верными. Но Маркс правильно сформулировал другие факторы, которые развиваются в недрах капиталистического процесса, а также, - и я попытаюсь это показать, - конечный результат этого развития. Что касается конечного результата, то цепочку Марксовых аргументов целесообразно заменить иной, и тогда термин "крушение" может

оказаться неадекватным, в особенности если понимать его как крах, вызванный отказом капиталистического производственного механизма; однако все это не влияет на суть доктрины, как бы сильно не затрагивались отдельные ее формулировки и выводы.

Что же касается тенденции к социализму, то прежде всего мы должны осознать, что это совсем другая проблема. Капиталистический или какой-либо другой порядок может потерпеть явный крах, - либо экономическая и социальная эволюция выведет общество за его пределы, - и все же социалистический феникс может не возродиться

из этого пепла. Во-первых, может возникнуть полный хаос, во-вторых, если только мы не определим социализм как любую нехаотическую альтернативу капитализму, могут быть и другие возможности. Особый тип социальной организации, которую, по всей видимости, представлял в своем воображении средний ортодоксальный марксист, - во всяком случае до наступления большевизма - это только одна из многочисленных возможностей.

Сам Маркс, весьма мудро избегая детального описания социалистического общества,

делал акцент лишь на условиях его возникновения: наличие, с одной стороны, гигантских образований, осуществляющих контроль в промышленности, что, конечно, чрезвычайно усиливало процесс социализации; а с другой - существование угнетенного, поработанного, эксплуатируемого и к тому же очень многочисленного, дисциплинированного, объединенного и организованного пролетариата. Все это говорит о том, что вековая война двух классов должна завершиться окончательным сражением. Кое-что говорится и о том, что за этим последует; выдвигается идея, что пролетариат как таковой "возьмет верх" и с помощью своей диктатуры положит конец "эксплуатации человека человеком", создаст бесклассовое общество. Если бы нашей целью было доказать, что марксизм принадлежит к числу хилиастических учений [Хилиазм - вера в "тысячелетнее царство" Бога и праведников на земле, т.е. в историческое воплощение мистически понятого идеала справедливости. - Прим. ред.], этого было бы совершенно достаточно. Поскольку же нас интересует не этот аспект, а научный прогноз, то этого мало. Шмоллер занимал здесь более здравую позицию. Хотя он также отказывался от описания деталей, он явно представлял себе этот процесс как процесс прогрессивной бюрократизации, национализации и т.п., завершающийся государственным социализмом, который, - нравится он нам или нет, - несет в себе определенный смысл. Итак, Марксу не удастся обратить возможность социализма в неизбежность, даже если мы полностью примем на веру его теорию краха капитализма, тем более если мы этого не сделаем. Независимо от того, признаем ли мы Марксово учение или какое-либо иное, социалистический строй никогда не сможет реализоваться автоматически; даже если капиталистическая эволюция обеспечит для него все условия, предусматриваемые марксизмом, все еще будут необходимы определенные действия, чтобы воплотить его в жизнь [См. гл. V.]. Это, конечно, соответствует учению Маркса. Его "революция"

есть не что иное, как специфическая форма, в которую его воображение любило облекать эти действия. Можно понять упор на насилие у того, кто в годы своего возмужания пережил все волнения 1848 г. и кто, хотя и мог презирать революционную идеологию, тем не менее никогда не смог выбраться из ее сетей. Кроме того, большая часть его аудитории едва ли желала слушать проповедь, в которой не звучал бы призыв к борьбе. Наконец, хотя он и видел возможность мирного перехода к социализму, по крайней мере для Англии, он не верил в его вероятность. В его время поверить в это было нелегко, а его любимая идея двух классов, стоящих в боевом построении друг против друга, еще более препятствовала этому. Его друг Энгельс фактически предпринял усилия по изучению тактики действия. И хотя революцию оказалось возможным зачислить в разряд не столь существенных форм, необходимость каких-то действий все равно остается. С этим связано и решение той проблемы, которая разделила последователей Маркса: революция или эволюция? Если я правильно понял смысл учения Маркса, то ответ дать нетрудно. Эволюция была для него причиной социализма. Он был слишком сильно

пропитан чувством внутренней логики социального развития, чтобы поверить, что революция может заменить какую-либо часть работы эволюции. Революция тем не менее придет. Но она придет только для того, чтобы подписать заключение под целым рядом выполненных условий. Следовательно, революция, по Марксу, по своей природе и функциям от начала до конца отличается как от революции буржуазных радикалов, так и от революции социалистических конспираторов. По существу это революция вследствие того, что "ситуация назрела" [Этот термин следует выделить ввиду последующих ссылок на него. Мы будем постоянно возвращаться к этой теме и среди прочего обсуждать критерии "назревшей ситуации"]. Конечно, те последователи Маркса, которым этот вывод не понравится, особенно в применении к Русской революции [Карл Каутский в своем предисловии к "Теориям прибавочной стоимости" даже революцию 1905 г. готов был назвать социалистической, хотя совершенно очевидно, что все, что было в ней социалистического, - это марксистская фразеология отдельных интеллектуалов.], могут сослаться на многие места в священной книге, которые, видимо, противоречат ему. Но как раз в этих местах сам Маркс противоречит своей самой глубокой и зрелой идее, которая безошибочно вытекает из аналитической структуры "Капитала" и которая - как любая

идея, рожденная чувством внутренней логики развития явлений, - несет в себе под фантастически сверкающей оболочкой из сомнительных драгоценностей исключительно консервативный смысл. В конце концов почему бы и нет? Ни одна серьезная теория

никогда не поддерживала какой-либо "изм" без всяких оговорок [Эту линию доказательства можно развивать и дальше. В частности, нет ничего специфически социалистического в трудовой теории стоимости, с этим согласится каждый, кто знаком с историей развития этой доктрины. То же самое справедливо (за исключением, конечно, фразеологии) в отношении теории эксплуатации. Нам нужно только признать, что существование прибавочного продукта, столь часто поминаемого Марксом, является или по крайней мере являлось неизбежным условием возникновения всего, что мы объединяем термином "цивилизация" (это было бы трудно отрицать). Для того чтобы быть социалистом, совсем не обязательно быть марксистом; но и недостаточно быть марксистом, чтобы стать социалистом. Обоснование социализма или революции можно получить на основе любой научной теории; но любая научная теория вовсе не обязательно предполагает подобные выводы.

Ни одна из них не приведет нас в состояние, которое Бернард Шоу как-то назвал "социологическим ражем", если только ее автор не свернет с пути научного анализа

специально для того, чтобы возбудить аудиторию.]. Сказать, что Маркс, избавленный от фразеологии, допускает интерпретацию в консервативном духе, означает только, что его можно принимать всерьез.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Часть вторая. Может ли капитализм выжить? > Пролог

Может ли капитализм выжить? Нет, не думаю. Но мое мнение, как и мнение любого другого экономиста, высказывавшегося на эту тему, само по себе не представляет никакого интереса. В любом прогнозе общественного развития мы ценим не положительный или отрицательный вывод, сделанный на основе определенных фактов и

аргументов, а только сами эти факты и аргументы. Именно в них содержится все научное, что есть в окончательном выводе. Все остальное - это не наука, а пророчество. Экономический или любой другой анализ может лишь обнаружить тенденции, характерные для наблюдаемого объекта, мы не можем узнать с его помощью, что случится с этим объектом в будущем, в наших силах лишь предположить, что может случиться, если тенденции сохранятся такими же, как в период наблюдения, а никакие иные факторы не будут вмешиваться. В этом, и ни в чем другом, состоит всякая "неизбежность" или "необходимость". Все это следует иметь в виду, читая то, что будет изложено ниже. Но надежность результатов нашего исследования ограничена и другими обстоятельствами. Общественная жизнь зависит от множества переменных, большое число которых вовсе не поддается измерению. В этих условиях весьма сомнительна даже возможность правильного диагноза, не говоря уже о прогнозе. Однако эти сложности тоже не следует преувеличивать. Впоследствии мы убедимся, что основные черты современного общества соответствуют некоторым выводам, которые, хотя и требуют многочисленных уточнений и оговорок, не могут быть отвергнуты на том основании, что их нельзя так же строго доказать, как теоремы Эвклида. И еще один момент, прежде чем мы приступим к делу. Тезис, который я постараюсь доказать, заключается в том, что капиталистическая система не погибает от экономического краха, но зато сам ее успех подрывает защищающие ее общественные институты и "неизбежно" создаст условия, в которых она не сможет выжить и уступит место социализму. Таким образом, мой конечный вывод не отличается оттого, что пишут большинство социалистов и, в частности, все марксисты, хотя моя аргументация совсем не такая, как у них. Но из этого вовсе не следует, что я - социалист. Мой прогноз не подразумевает, что я приветствую такое развитие событий. Если врач говорит, что больной умирает, это не значит, что он желает такого исхода. Можно ненавидеть социализм или, по крайней мере, относиться к

нему с холодным критицизмом, но все же предвидеть его приход. Так поступали и поступают многие консерваторы.

С другой стороны, не всякий социалист может согласиться с нашим выводом. Можно любить социализм, верить в его экономическое, культурное и нравственное превосходство и в то же время не верить, что в капиталистическом обществе действует тенденция к саморазрушению. Есть и такие социалисты, которые верят в то, что капиталистический строй набирает силу и надежды на его крах совершенно беспочвенны.

Глава пятая. Темпы роста совокупного продукта

Окружающая капитализм атмосфера враждебности, существование которой мы сейчас объясним, сильно затрудняет рациональную оценку его экономических и культурных результатов. К настоящему времени общественное мнение настолько рассердилось на капитализм, что осуждение его, всего им созданного стало уже общим местом, чем-то вроде правила хорошего тона. Каждый писатель или оратор, каковы бы ни были его политические убеждения, стремится соответствовать этому этикету, подчеркивать свое критическое отношение, обеспокоенность, сомнение в достижениях капитализма, отвращение к капиталистическому интересу и солидарность с интересами антикапиталистическими.

Всякая другая позиция признается не просто глупой, но и антиобщественной, считается аморальным раболепством. Это, конечно, совершенно естественно. Всякая новая религия утверждается именно таким образом. Но это, понятно, отнюдь не облегчает задачу аналитика: думаю, что в 300 году н.э. было бы непросто растолковать ярому приверженцу христианства, в чем заключаются достижения античной цивилизации. В такое время, с одной стороны, с порога отвергаются самые

очевидные истины [Есть и другой способ отделаться от очевидной, но неудобной истины. Он состоит в том, чтобы презирать ее за тривиальность. Этого вполне достаточно для дискредитации истины, поскольку широкая публика обычно не сознает, что таким способом просто маскируется невозможность ее опровержения. Любопытный феномен социальной психологии!]. С другой стороны, терпимо воспринимаются или даже приветствуются очевидные глупости.

Первым показателем состояния экономики является совокупный продукт - совокупность товаров и услуг, произведенных за единицу времени - год, квартал или месяц. Изменение этого показателя экономисты пытаются измерить с помощью индекса, который строится из показателей производства отдельных товаров. "Если бы мы придерживались строгой логики, никто не стал бы строить или использовать какой-либо индекс производства" [Bums A.F. Production Trends in the United States Since 1870. P. 262.], поскольку не только данные и техника построения такого индекса, но и сама идея совокупного продукта, состоящего из разных товаров, удельный вес которых все время меняется, являются весьма сомнительными [Здесь мы не можем заняться этой проблемой. Кое-что будет сказано в следующей главе. Более полное изложение см. в моей книге "Business Cycles". Ch. IX.]. Тем не менее я считаю, что этот метод достаточно надежен, если мы хотим получить самое общее представление.

Для США достаточно надежные и многочисленные статистические ряды, позволяющие построить такой индекс, существуют со времен Гражданской войны. Используя так называемый индекс совокупного производства Дэя-Персонса [Persons W.W. Forecasting Business Cycles. Ch. XI.], мы можем установить, что с 1870 по 1930 г. среднегодовой темп прироста составил 3,7 %, а в обрабатывающем секторе - 4,3 %. Давайте сосредоточим свое внимание на первой цифре и постараемся наглядно представить, себе, что она означает. Для начала нам придется скорректировать эту

величину: поскольку удельный вес промышленного оборудования в совокупном продукте постоянно рос, то часть последнего, предназначенная для потребления, не

могла расти тем же темпом, что и весь продукт. Это надо учесть. Я думаю, что поправка не должна составлять более 1,7 % [На самом деле эта поправка намного завышена. Ср. также оценки профессора Ф.К.Милла: 3,1 % ежегодного прироста в 1901-1913 гг. и 3,8 % - в 1922-1929 гг. (без учета продукции строительства; см. Mill F.C. Economic Tendencies in the United States.], таким образом получаем двухпроцентный годовой рост "располагаемого продукта" (сложные проценты).

Теперь предположим, что капиталистическая машина продолжает производить продукт с тем же темпом прироста на протяжении следующей половины века начиная с 1928 г. Против этой предпосылки можно выдвинуть несколько возражений, которые будут

рассмотрены впоследствии. Однако ее нельзя отвергнуть на том основании, что в период 1929-1939 гг. капитализм уже не мог выйти на этот уровень роста. Депрессия, продолжавшаяся с четвертого квартала 1929 г. по третий квартал 1932 г., не может означать, что механизм капиталистического производства сломался навсегда: депрессии такой силы регулярно случались в прошлом - примерно каждые 55 лет. Последствия одной из них (1873-1877 годов) были, естественно, учтены при

вычислении среднего темпа прироста, равного 2 %. Медленное оживление (до 1935 г.), слабый подъем (до 1937 г.) и последующий спад можно легко объяснить трудностями приспособления к новой фискальной политике, новому трудовому законодательству и общему пересмотру государственной политики по отношению к частному предпринимательству. Влияние всех этих факторов можно в некотором смысле (см. ниже) отделить от функционирования производственного механизма как такового.

Поскольку здесь особенно важно избежать недопонимания, я хочу подчеркнуть, что последний абзац вовсе не содержит ни критики "Нового курса" [Имеется в виду экономическая политика президента Ф.Д. Рузвельта, - Прим. ред.], ни вывода, который я, кстати, считаю верным, но пока в нем не нуждаюсь, что политика такого

типа в долгосрочном аспекте несовместима с эффективным функционированием системы свободного предпринимательства. Сейчас я хочу лишь сказать, - и думаю, в этом со

мной должны и могут согласиться даже самые ревностные приверженцы "Нового курса", - что такие масштабные и резкие перемены в общественной жизни не могут не влиять на экономику в течение некоторого времени. Иначе я просто не могу объяснить, почему страна, у которой были наилучшие шансы на быстрое оживление, оказалась как раз в наихудшем положении. Наш вывод подтверждает в определенном смысле аналогичный пример Франции. Таким образом, события 1929-1939 гг. сами по себе не могут служить основанием для того, чтобы игнорировать наши аргументы, которые к тому же в любом случае могут оказаться полезными для понимания прошлых

событий.

Итак, если производство потребительских товаров и услуг в условиях капиталистического порядка шло бы после 1928 г. тем же темпом, что и раньше, т.е. возрастало бы в среднем на 2 % в год, то в 1978 г. оно примерно в 2,7 (точнее, в 2,6916) раза превысило бы уровень 1928 г. Для того чтобы определить, каким будет соответствующий прирост реального дохода на душу населения, вначале заметим, что наш темп прироста совокупного продукта можно примерно приравнять темпу прироста совокупного личного денежного дохода, идущего на потребление ["Потребление" включает приобретение потребительских товаров длительного пользования: автомобилей, холодильников, жилых домов. Мы не делаем различия между потребительскими товарами кратковременного пользования и так называемым "потребительским капиталом".], с поправкой на изменение покупательной способности доллара. Во-вторых, мы должны иметь какой-то прогноз ожидаемого роста населения. Мы выберем оценку Слоуна: 160 млн. на 1978 г. Тогда среднедушевой доход возрастет за эти 50 лет более чем в 2 раза (в 1928 г. он составлял 650 долл.) и, значит, в 1978 г. он будет составлять около 1300 долл. покупательной силы 1928 г. [Это означает, что реальный доход на душу населения будет увеличиваться на 1,375 % ежегодно. Выяснилось, что в Англии за сто лет, предшествовавших I мировой войне, этот показатель был точно таким же (см. расчеты лорда Стемпа в кн. *Wealth and Taxable Capacity*). Вряд ли это совпадение может что-то значить. Но, по крайней мере, оно показывает, что вычисленная нами цифра не является заведомо абсурдной. В 241-м номере "National Industrial Conference Board Studies" (табл. 1, строки 6-7) мы обнаруживаем, что "реализованный подушевой национальный доход", вычисленный с учетом изменения индекса стоимости жизни Федерального резервного банка Нью-Йорка и National Industrial Conference Board, в 1929 г. был примерно в 4 раза больше, чем в 1829 г., - аналогичный результат, в надежности которого, правда, есть еще более серьезные сомнения.]

Некоторые читатели, возможно, сочтут, что необходимо сказать несколько слов о распределении совокупного денежного дохода. До начала XX в. многие экономисты, как и Маркс, полагали, что капиталистический процесс изменяет долю различных слоев населения в общем доходе: богатые становятся богаче, а бедные беднее (хотя

бы относительно). Однако такой тенденции не существует. Какие бы статистические показатели ни использовались, придется сделать вывод, что внешний вид пирамиды доходов существенно не изменился за период наблюдений, а для Англии он охватывает весь XIX в. [См. Stamp. Op. cit. Тот же феномен можно наблюдать во всех странах, о которых есть статистические данные, если очистить последние от циклических колебаний различных периодов. Показатель распределения доходов или неравенства доходов, предложенный Вильфредо Парето, может быть подвергнут критике. Но факт остается фактом и не зависит от недостатков индекса.]

Постоянной оставалась и доля в доходе заработной платы работающих по найму. Поэтому, рассуждая о том, что произойдет, если капиталистический механизм будет и в дальнейшем работать без постороннего вмешательства, мы не имеем никаких оснований предполагать, что в 1978 г. распределение доходов или их дисперсия относительно средней будут существенно отличаться от параметров 1928 г.

Полученный нами результат можно интерпретировать следующим образом: если капитализм сможет еще 50 лет развиваться так же, как до сих пор, он покончит с тем, что сегодня называется бедностью, даже в самых низших слоях населения, за исключением отдельных патологических случаев.

И это еще не все. Увеличение нашего индекса, каковы бы ни были его последствия, явно не полностью отражает будущий рост. Прежде всего при его расчете не учитывается благо под названием "добровольный отдых". Базой для исчисления индекса является производство основных потребительских и промежуточных продуктов, появление же новых благ отражается в нем неадекватно или не отражается вовсе. По той же причине не находит в нем отражения повышение качества продуктов, хотя во многих случаях прогресс достигается именно на этом направлении. Невозможно адекватно измерить разницу между автомобилем 1940-го и 1900-го годов и определить, насколько упала цена на единицу полезного эффекта. Может быть, легче было бы оценить степень использования данного количества сырья или полуфабрикатов: стальной слиток или тонна угля сегодня используются во много раз более эффективно, чем шесть-десять лет назад. Но в этом направлении

сделано очень мало. Не знаю, насколько изменился бы наш индекс, если бы мы смогли его скорректировать с учетом всех этих факторов, но ясно одно: он бы увеличился, и это гарантирует наши оценки от какого-либо пересмотра в сторону уменьшения. К тому же, даже если бы мы располагали методом измерения технологической эффективности продуктов промышленности, это все равно не позволило бы нам учесть, какое значение это имело для человеческого достоинства,

интенсивности и приятности человеческой жизни - словом; для всего того, что экономисты прошлого поколения называли "удовлетворением потребностей". Ведь в конце концов именно это имеет для нас решающее значение и является истинным "продуктом" капиталистического производства. Именно отсюда наша заинтересованность в индексе производства, составляющих его фунтах и галлонах, которые сами по себе вряд ли заслуживают нашего внимания.

Но вернемся к нашим двум процентам. Для правильной интерпретации этой цифры важно еще одно обстоятельство. Я уже говорил о том, что доля отдельных групп населения в национальном доходе в течение последней сотни лет оставалась, грубо говоря, постоянной. Однако это справедливо лишь в денежном измерении, если же мерить в реальных величинах, то удельный вес групп с низкими доходами возрос. Капиталистический механизм - это прежде всего механизм массового производства, что означает также и производство для масс. Поднимаясь же вверх по шкале индивидуальных доходов, мы обнаружим, что все большая их часть расходуется на индивидуальные услуги и товары ручного производства, цены которых зависят прежде

всего от ставки заработной платы.

Доказать это очень просто. Современному рабочему доступно кое-что, чем с удовольствием владел бы, если бы мог, сам Людовик XIV, к примеру, услуги современного дантиста. Но в целом король-солнце вряд ли мог бы много выиграть от

достижений капитализма. Даже скорость передвижения была не так уж важна для столь достойного джентльмена. Электрическое освещение не столь привлекательно для того, кто имеет деньги, чтобы купить достаточное количество свечей и заплатить слугам, которые за ними присматривают. Типичные достижения капитализма

- это дешевая ткань: хлопчатобумажная и вискозная, дешевые ботинки, автомобили и т.д., а вовсе не такие усовершенствования, которые нужны богатым людям. У королевы Елизаветы [Естественно, автор имеет в виду Елизавету I (1533-1603). - Прим. ред.] были шелковые чулки. Капиталистическое развитие обычно состоит не в том, чтобы изготовить большое количество чулок для королевы, а в том, чтобы, затрачивая на их изготовление все меньше и меньше усилий, сделать их доступными для девушек-работниц.

Этот факт предстанет перед нами еще более убедительно, если мы рассмотрим длинные волны экономической активности, анализ которых наилучшим образом раскрывает природу и механизм капиталистического процесса. Каждая такая волна состоит из какой-либо "промышленной революции" и периода освоения ее достижений. Например, даже располагая весьма скудной информацией, мы можем статистически и исторически выделить фазу подъема длинной волны в конце 1780-х годов, ее высшую точку около 1800 г., а затем спад и некоторое оживление, которое окончилось к началу 1840-х годов. Это и была "промышленная революция", столь близкая сердцам авторов учебников.

Однако за ней последовала очередная революция, породившая очередную длинную волну, которая набирала силу в 40-е годы и достигла высшей точки незадолго до 1857 г., а затем убывала до 1897 г. За ней - еще одна, достигшая пика около 1911

г. и сходящая на нет в настоящее время [В литературе, посвященной экономическим циклам, эти "длинные волны" связаны прежде всего с именем Н.Д.Кондратьева.]. Эти революции периодически обновляют структуру промышленности, внедряя новые методы производства: механизированные и электрифицированные фабрики, химический синтез и пр.; новые товары; услуги железных дорог, автомобили, электрическое оборудование; новые организационные формы - слияния компаний; новые источники сырья: шерсть с берегов Ла-Платы, американский хлопок, медь из Катанги; новые торговые пути и рынки сбыта. Изменения в промышленности порождают колебания, задающие общий тон деловой жизни: в начале этих перемен происходит оживление инвестиций и наступает "процветание", которое, конечно, прерывается спадом более

короткого цикла, накладывающегося на фоновые долгосрочные колебания. Когда процесс изменений подходит к концу, а их результаты широким потоком поступают на рынок, устаревшие элементы промышленной структуры устраняются и господствует "депрессия".

Так возникают продолжительные периоды роста или падения цен, процентных ставок, занятости и т.д., которые являются составной частью механизма постоянного обновления производственного аппарата.

Этот процесс на первый взгляд ведет к хаосу, убыткам и безработице, однако он всякий раз порождает лавину потребительских благ, поток которых постоянно расширяется и углубляется, увеличивая тем самым реальные доходы потребителей. Хорошенько присмотревшись к этим лавинам, мы установим, что каждая из них состоит из товаров массового потребления и увеличивает покупательную способность

каждого доллара заработной платы в большей степени, чем покупательную способность любого другого доллара. Иными словами, капиталистический процесс не случаен, а в силу самого своего механизма все более поднимает уровень жизни масс. Это происходит через цепь превратностей, тяжесть которых пропорциональна скорости продвижения вперед, но факт остается фактом: капиталистическое производство одну за другой успешно решает все проблемы обеспечения масс различными товарами [Это, разумеется, относится также к сельскохозяйственным продуктам, дешевое массовое производство которых целиком и полностью является заслугой крупных капиталистических предприятий: железных дорог, транспортных компаний, производителей сельскохозяйственных машин и удобрений.]. Наиболее важная из остающихся - проблема жилья - также будет скоро решена посредством сооружения домов из готовых полуфабрикатов.

Но и это еще не все. Наша оценка экономического строя была бы неполной, - и, кстати, немарксистской, - если бы мы остановились на продукте, который соответствующий экономический механизм доставляет различным группам общества, и не упомянули бы те явления, которые конвейер не производит сам, но доставляет для них экономические и политические средства, а также все достижения в области культуры, порождаемые капиталистическим менталитетом. Рассмотрение последних мы отложим до гл. XI, а сейчас обратимся к некоторым аспектам первых.

Тактические соображения и ожесточенная атмосфера борьбы за социально ориентированное законодательство затрудняют понимание двух достаточно очевидных фактов. Во-первых, часть этого законодательства возможна только на базе успешного развития капитализма в предыдущий период (т.е. на основе богатства, созданного ранее капиталистическими предприятиями). Во-вторых, многое из того, что развито и обобщено в социально ориентированном законодательстве, было первоначально внедрено самим капиталистическим классом. Оба факта надо занести в актив капиталистической системе.

Теперь давайте представим, что эта система продолжит свое развитие тем же темпом, что и в шестьдесят лет, предшествовавших 1928 г., и среднегодовой доход на душу населения действительно достигнет уровня 1300 долл. Совершенно очевидно,

что в таких условиях все желания сторонников социальных реформ и даже многие их причуды будут исполнены либо автоматически, либо без заметного вмешательства в капиталистический процесс.

В частности, полностью обеспечить безработных будет тогда не только возможно, но

и легко. Конечно, безответственность, проявляющаяся в создании безработицы и в последующем финансировании ее за общественный счет, всегда будет порождать неразрешимые проблемы. Но при наличии элементарной предусмотрительности выделение в среднем 16 млрд. долл. в год на выплаты 16 миллионам безработных, включая членов их семей (10 % населения), не будет такой уж непосильной задачей,

если национальный доход, идущий на потребление, составит порядка 200 млрд. долл.

(в долларах 1928 года).

Как известно, безработицу все считают одной из самых важных проблем капитализма,

а некоторые критики даже основывают на этом показателе свой приговор капиталистической системе. Поэтому хотел бы объяснить читателю, почему это явление играет сравнительно небольшую роль в моих аргументах. Я не думаю, что безработица - одно из тех зол, которые может устранить само капиталистическое развитие (как, например, бедность). Не думаю также, что существует какая-либо долговременная тенденция роста безработицы. Единственный достаточно длительный статистический ряд - процент безработных среди членов английских тред-юнионов - покрывает 60 лет до I мировой войны. Это типично циклический показатель, не имеющий тренда [Его часто изображают на графиках и анализируют. См., например, Pigou A.C. *Industrial Fluctuations* или мою книгу "Business Cycles". Для любой страны можно выделить некоторый неустраняемый минимум и циклические компоненты, наиболее существенный из которых имеет период колебаний 9-10 лет.]. С точки зрения теории это также вполне объяснимо, и мы можем с полной уверенностью исходить из того, что такое поведение показателя безработицы было характерно для

периода, предшествовавшего 1913 г. В послевоенный период в большинстве стран безработица превышала нормальный уровень даже до 1930 г. Но этот факт и тем более безработицу 30-х годов можно объяснить причинами, не имеющими ничего общего с какой-либо долговременной тенденцией к росту доли безработных, вытекающей из самого капиталистического механизма. Выше я уже упоминал о промышленных революциях, столь характерных для капиталистического процесса. Повышенный уровень безработицы присущ всякому периоду адаптации, который следует после "фазы процветания" этих революций. Так было в 1820-х и 1870-х, после 1920-х годов наступил очередной такой период. [Здесь и далее имеются в виду США. - Прим. ред.] Это явление - чисто временное в том смысле, что из него нельзя сделать никаких выводов на будущее. Его усугубили другие факторы: влияние

войны, нарушение внешнеторговых потоков, политика заработной платы, некоторые институциональные изменения, которые способствовали росту показателя безработицы, фискальная политика в Англии и Германии (а также с 1935 г. в США). Некоторые из них, без сомнения, являются признаками новой "атмосферы", в которой

капитализм будет работать менее эффективно. Но это уже другой вопрос и его мы рассмотрим ниже.

Разумеется, безработица была и остается бичом общества, будь то временная или

длительная, возрастающая или неизменная.

В следующей части книги мы отметим, что возможность ее устранения выдвигается в качестве одного из аргументов в пользу социалистического строя. Но настоящей трагедией, по-моему, является не безработица сама по себе, а безработица плюс невозможность обеспечить безработных, не ставя под угрозу условия дальнейшего экономического развития. Если бы безработица не отражалась на частной жизни безработных, все страдания и деградацию человека, разрушение его ценностей, которые мы связываем с безработицей, но не с растратой производственных ресурсов, можно было бы устранить, и безработица перестала бы быть таким пугалом.

Приговор критиков гласит, что в прошлом примерно до конца XIX столетия капиталистический строй не только не желал, но и не мог обеспечить такой порядок

вещей. Но если он сохранит свой прежний темп развития еще на полвека, то этот приговор отправится на склад забытых вещей вместе с детским трудом, 16-часовым рабочим днем и одной комнатой на пятерых. Все эти вещи уместно вспомнить, говоря

о социальных издержках прошлого капиталистического развития, по их вовсе не обязательно учитывать, обсуждая альтернативы на будущее. Сейчас мы находимся на промежуточной ступени между немощью ранних стадий эволюции капитализма и мощью его зрелой стадии. По крайней мере, в этой стране большая часть данной задачи может быть решена без чрезмерного перенапряжения всей экономической системы.

Трудности, как мне кажется, заключаются не столько в нехватке средств для того, чтобы стереть наиболее мрачные тона картины, сколько в том, что, с одной стороны, антикапиталистическая политика в 30-е годы повела к дополнительному увеличению безработицы, а с другой стороны, в том, что общественное мнение, как только оно осознает проблему безработицы, тут же начинает настаивать на экономически иррациональных методах финансирования пособий и расточительных способах организации помощи безработным.

Аналогичные аргументы можно отнести и к будущим, а в значительной степени и к настоящим возможностям, которые создает эволюция капитализма для заботы о больных и стариках, образования, гигиены и т.д. Вполне разумно было бы также ожидать, что все большее число товаров будут покидать разряды экономических благ

и становиться доступными практически для всех, обеспечивать полное удовлетворение потребностей. Этого можно достичь либо путем соглашения между государственными органами и промышленными концернами, либо путем национализации и муниципализации, которые, несомненно, будут прогрессировать, даже если в остальном экономическая система капитализма останется нетронутой.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава шестая. Возможность капитализма

Аргументы, изложенные в предыдущей главе, казалось бы, можно опровергнуть возражением, столь же убийственным, сколь и очевидным. Мы экстраполировали на будущее средние темпы прироста совокупного производства, полученные для 60 лет, предшествовавших 1928 г. До тех пор, пока с помощью этого приема я иллюстрировал

значение прошлых достижений капитализма, это не смущало меня как статистика. Но предположив, что в ближайшие пять-десять лет мы будем наблюдать примерно такие же темпы прироста, я, очевидно, совершил статистическое преступление: разумеется, состояние производства на протяжении некоего исторического периода само по себе вовсе не дает нам права на какую-либо экстраполяцию (тем более на 50 лет) [Это в принципе относится к любой исторической статистике, поскольку

само понятие исторического процесса предполагает необратимые изменения в структуре экономики, которые неизменно должны были затронуть любые существующие в ней количественные закономерности. Поэтому даже самая скромная экстраполяция требует теоретического оправдания и, как правило, статистической обработки. Однако в нашем случае мы имеем то преимущество, что в рамках нашего всеохватывающего показателя причуды различных статистических рядов могут компенсировать друг друга.]. Поэтому необходимо вновь подчеркнуть, что с помощью

экстраполяции я вовсе не собираюсь прогнозировать будущее движение производства. Она предназначена лишь для того, чтобы, помимо показа прошлых достижений, дать понять, на что способна капиталистическая машина, если она и дальше будет работать в том же духе. Случится ли это в действительности - особый

вопрос, и ответ на него будет дан независимо от экстраполяции. Для этого мы предпримем сейчас долгое и сложное исследование.

Прежде чем обсуждать возможность капитализма повторить свои прошлые успехи, мы должны выяснить, в каком смысле достигнутые темпы прироста действительно отражают эти достижения. Безусловно, период, к которому относятся наши данные, - это период сравнительно беспрепятственного развития капитализма. Но из этого еще не следует, что между темпами роста и капиталистическим механизмом имеется существенная связь. Для того чтобы поверить в то, что это не просто совпадение, мы должны, во-первых, объяснить, какая связь существует между капиталистическим строем и наблюдавшимися темпами прироста производства, и, во-вторых, доказать, что данные темпы прироста следует отнести именно на счет этой связи, а не каких-либо благоприятных внешних условий, к капитализму никакого отношения не имеющих.

Эти две проблемы надо решить до того, как вопрос о "возможности повторить прошлые результаты" вообще может быть поставлен. Лишь после этого имеет смысл обсуждать пункт третий: есть ли какие-либо причины, в силу которых в ближайшие сорок лет капитализм может не достигнуть своих прежних темпов развития. Обсудим все три пункта по очереди.

Первую проблему мы можем сформулировать следующим образом. С одной стороны, у нас есть достаточно статистического материала, свидетельствующего о быстром "прогнесе", которому отдавали должное даже завзятые критики капитализма. С другой стороны, мы располагаем набором фактов о структуре и функционировании экономической системы того периода. Исходя из этих фактов, аналитики создали "модель" капиталистической реальности, т.е. обобщенную картину ее основных свойств.

Нам надо узнать, была ли экономика такого типа благоприятной, нейтральной или неблагоприятной для экономического развития. Если же она была благоприятной, то какими ее свойствами можно адекватно объяснить темпы экономического развития. Избегая, насколько это возможно, технических деталей, мы ответим на эти вопросы с позиций здравого смысла.

1. В отличие от класса землевладельцев-феодалов торговая и промышленная буржуазия достигла высокого положения благодаря своим успехам в делах. Буржуазное общество построено на чисто экономических принципах: его фундамент, несущие конструкции, сигнальные огни - все это сделано из экономического материала. Это здание выходит фасадом на экономическую сторону жизни. Поощрения и наказания измеряются в деньгах. Подъем и спуск по общественной лестнице тождественны с приобретением или потерей денег. Этого, конечно, никто не станет отрицать. Но я хочу добавить, что в своих рамках это общественное устройство отличается или, во всяком случае, отличалось необыкновенной эффективностью. Оно обращается к мотивам, непревзойденным по простоте и силе, а отчасти и само создает такие мотивы. Оно с безжалостной быстротой выполняет свои

обещания богатства и угрозы нищеты. Всюду, где буржуазный образ жизни достаточно укрепляется и заглушает позывные других общественных порядков, эти мотивы являются достаточно сильными, чтобы привлечь подавляющее большинство людей высших интеллектуальных способностей и отождествить успех в жизни с успехом в делах. Нельзя сказать, что выигрываешь здесь выпадают случайно, но при этом в их распределении есть и увлекательная прелесть счастливого случая: игра похожа скорее на покер, чем на рулетку. Награды достаются талантливым, энергичным, работоспособным, но если бы можно было измерить общий уровень конкретной способности или долю личного вклада в коммерческий успех, мы,

наверно, установили бы, что полученный денежный выигрыш не пропорционален ни первому, ни второму показателю. Огромные премии, несоизмеримые с затратой сил, достаются незначительному меньшинству, что стимулирует активность подавляющего большинства бизнесменов, которые получают весьма скромное вознаграждение, либо вовсе ничего, либо даже убытки, но, несмотря на это, прилагают максимум усилий, потому что большие призы у них перед глазами, а свои шансы получить их они переоценивают. Более "справедливое" распределение выполняло бы эту стимулирующую функцию намного хуже. То же самое можно сказать и о наказаниях, которые грозят некомпетентным. Но наряду с устранением - иногда очень быстрым, иногда несколько запоздалым - некомпетентных людей и устаревших способов экономической деятельности банкротство угрожает и многим способным людям, эта угроза подстегивает всех, причем опять-таки более эффективно, чем более "справедливая", уравнивающая система санкций. Наконец, и успех, и неудача в бизнесе определяются с идеальной точностью: их нельзя скрыть никакими словесами.

В особенности следует подчеркнуть один момент, важный не только здесь, но и для будущего изложения. Описанным выше способом (а также некоторыми другими, о которых речь впереди) капиталистическое устройство общества, воплощенное в институте частного предприятия, весьма эффективно прикрепляет буржуазные слои к выполнению их экономической задачи. Но это еще не все, тот же самый механизм, требующий определенных результатов от индивидов и семей, составляющих буржуазный класс, одновременно отбирает индивидов и семьи, которые смогут вступить в этот класс или должны будут его покинуть. Это сочетание поощрения и наказания с отбором - факт далеко не тривиальный. Большинство методов социального отбора (в отличие от "методов" отбора естественного) не могут гарантировать нам, как будет себя вести отобранный индивид. Именно в этом состоит одна из главных проблем социалистической организации общества, которую мы рассмотрим ниже. Пока достаточно заметить, что капиталистическая система замечательно решает эту проблему: в большинстве случаев человек, попадающий в класс бизнесменов и затем поднимающийся вверх в рамках этого класса, является способным бизнесменом и поднимается настолько высоко, насколько это позволяют его способности. Причина проста: в этой системе подниматься вверх и хорошо делать свое дело - это практически одно и то же. Этот факт, который неудачники так часто стараются отрицать в порядке самоутешения, гораздо больше значит для оценки капиталистического общества и капиталистической цивилизации, чем любые выводы из чистой теории капиталистического механизма.

2. Но разве наши выводы, основанные на "максимальных результатах оптимально отобранной группы", не обесцениваются тем фактом, что эти результаты служат не обществу (производство ради потребления), а деланию денег, что целью капиталистического производства является максимизация прибыли, а не благосостояния? Такая точка зрения всегда была популярна за пределами буржуазных кругов. Экономисты временами боролись с ней, а временами поддерживали ее. При этом они создавали нечто гораздо более ценное, чем итоговые

выводы, которые в большинстве случаев отражали их социальное положение, интересы, симпатии или антипатии. Они постепенно накапливали факты и инструменты анализа, что позволяет нам сегодня давать на многие вопросы более правильные ответы (хотя и не такие простые и радикальные), чем давали наши предшественники.

Не станем углубляться слишком далеко в прошлое.

Так называемые экономисты классической школы [Термин "экономисты-классики" в этой книге обозначает английских экономистов, произведения которых вышли в свет с 1776 по 1848 г. Наиболее выдающиеся из них - Адам Смит, Рикардо, Мальтус, Сениор и Джон Стюарт Милль. Это необходимо иметь в виду, поскольку в последнее время этот термин стал употребляться в гораздо более широком значении.] были практически единодушны: большинству из них не нравились современные им общественные институты и способы их функционирования. Они сражались с земельными

собственниками и выступали за социальные реформы - прежде всего фабричное законодательство, - из которых далеко не все соответствовали идеям "laissez-faire". Но они были убеждены, что в системе институтов капитализма действия промышленников и торговцев, движимых собственным интересом, ведут к максимальному результату, который отвечает интересам всех. Столкнувшись с проблемой, которую мы здесь обсуждаем, они без всяких колебаний отнесли бы

наблюдаемые темпы прироста совокупного продукта на счет сравнительно раскрепощенного предпринимательства и мотива извлечения прибыли. Может быть, они упомянули бы о "благоприятном законодательстве" как о необходимом условии, но под этим понималось бы именно снятие оков с производственной и коммерческой деятельности и прежде всего отмена или сокращение протекционистских пошлин в XIX

в.

В настоящее время очень трудно по достоинству оценить эти взгляды. Конечно, это были типичные взгляды английских буржуа: буржуазные шоры заметны на каждой странице, написанной классиками. Не менее очевидно присутствие шор другого рода:

классики мыслили понятиями, характерными для данной исторической эпохи, опыт которой некритически идеализировали и абсолютизировали. Кроме того, большинство из них отстаивали интересы Англии того времени. Поэтому в других странах и в иные времена их теории вызывали антипатию, которая часто мешала их понять. Но отвергать их учение на этом основании было бы неуместно. Предубежденный человек тоже может говорить правду. Выводы, сделанные на основании какого-то частного случая, могут иметь и более широкое применение. Что же касается противников и преемников классиков, то у них были свои предрассудки и свои шоры, они рассматривали другие, но не менее частные случаи.

С точки зрения экономического анализа главная заслуга классиков состоит в том, что наряду с другими серьезными заблуждениями они опровергли наивную идею, согласно которой экономическая деятельность при капитализме, движимая мотивом прибыли, должна уже в силу этого факта противоречить интересам потребителей. Другими словами, делание денег обязательно отвлекает производство от общественных целей, а прибыль частных лиц как сама по себе, так и вследствие тех искажений, которые вносят этот мотив в экономический процесс, представляет собой чистый убыток для всех, кроме ее получателей, и поэтому составит чистый выигрыш при социализации.

Если мы рассмотрим логику этой и подобных ей идей, которые никогда не защищал ни

один серьезный экономист, нам покажется, что их опровержение было для классиков простой задачей. Но достаточно окинуть взглядом все теории и лозунги, сознательно или подсознательно основанные на этой идее и существующие уже в наши

дни, чтобы мы отнеслись к их достижениям с большим почтением. Я хочу также добавить, что классики ясно видели (хотя и несколько преувеличивали) роль сбережений и накопления: они в принципе верно, хотя и не совсем точно установили

связь между сбережениями и темпами экономического "прогресса". Их доктрине была свойственна житейская мудрость, серьезный, долгосрочный подход и мужественный тон, выгодно отличающийся от современных истерик.

Но между осознанием того, что максимизация прибыли и максимизация результата производства могут не противоречить друг другу, и доказательством, что первое с необходимостью или в подавляющем большинстве случаев предполагает второе, - дистанция гораздо большая, чем это представлялось классикам, которые так и не смогли ее преодолеть.

Изучая сегодня учение классиков, не устаешь удивляться, почему они удовлетворялись своими доводами и считали их доказательствами. В свете позднейших достижений в области экономического анализа их теория рассыпается как

карточный домик, хотя в их видении много верного [Читатель, наверно, помнит различие, которое я проводил между теорией Маркса и его видением. Всегда важно помнить, что способность видеть вещи в правильном свете и способность правильно рассуждать о них - это не одно и то же. Поэтому очень хороший теоретик может нести полную чушь, когда его просят оценить конкретную историческую ситуацию в целом.].

3. Из упомянутых последних достижений в области анализа мы рассмотрим два - в той мере, в какой они помогут прояснить нашу проблему. Первое из них относится к

первому десятилетию нашего века, второе - к периоду после I мировой войны.

Честно говоря, я не уверен, что этот материал будет понятен

читателю-неэкономисту: как и всякая отрасль знания, экономическая наука по мере совершенствования ее аналитического аппарата неизбежно удаляется от той

благословенной стадии, когда все проблемы, методы и результаты исследования доступны любому образованному человеку, не получившему специальной подготовки. Но я постараюсь выразиться как можно понятнее.

Первое направление связано с именами двух великих экономистов, которые до сих пор пользуются почетом у многочисленных учеников, если только последние, как нередко бывает, не считают дурным тоном выражать уважение к кому-либо и чему-либо. Это Альфред Маршалл и Кнут Викселль [Я выделяю здесь "Принципы" Маршалла (первое издание - 1890 г.) и "Лекции" Викселля (первое шведское издание

- 1901 г., перевод на английский - 1934 г.) благодаря тому влиянию, которое они оказали на формирование многих ученых, и глубоко практическому подходу к экономической теории. С точки зрения чистой науки преимущество следует отдать работе Леона Вальраса. Среди американцев следует упомянуть Дж. Б.Кларка, Ирвинга

Фишера и Ф. Тауссига.]. Созданная ими теоретическая структура имеет мало общего с теорией классиков - как бы Маршалл не старался это скрыть, - но в ней сохраняется тезис классиков о том, что в условиях совершенной конкуренции стремление производителя к прибыли ведет к максимизации производства.

Здесь можно найти даже почти удовлетворительное доказательство этого тезиса. Однако в процессе более корректного формулирования проблемы и самого доказательства тезис теряет большую часть своего содержания - в итоге он становится доказанным, но в каком-то истощенном, полуживом виде [Коротко поясню смысл сказанного (это пригодится нам в гл. VIII, пункт 6). Анализ механизма экономики, нацеленной на прибыль, позволил не только обнаружить исключение из принципа, согласно которому в конкурентных отраслях максимизируется выпуск продукции, но и выяснить, что для доказательства этого принципа требуется принятие предпосылок, которые сводят его к банальности. В особенности обесценивают его практическое значение следующие два соображения:

1) принцип можно доказать только применительно к состоянию статического равновесия. Капиталистическая же реальность - это прежде всего процесс изменения. Поэтому для оценки деятельности предприятия, находящегося в условиях конкуренции, вопрос о том, будет ли оно максимизировать производство в условиях статического равновесия, не имеет почти никакого значения;

2) принцип в формулировке Викселля - а это то, что осталось от более амбициозного тезиса, который, хотя и редко, встречается у Маршалла, - представляет собой теорему о том, что конкурентная экономика приводит к максимальному удовлетворению потребностей. Но даже если мы абстрагируемся от серьезных возражений, которые вызывает употребление ненаблюдаемых психических величин, эта теорема быстро вырождается в тривиальное утверждение о том, что при

любом институциональном устройстве общества человеческое действие, если оно рационально, всегда будет нацелено на достижение наилучшего результата. Фактически она вырождается в определение рационального действия, что позволяет строить аналогичные теоремы и для социалистического общества. Но то же самое можно сказать и о принципе максимизации производства. В обоих случаях мы не можем доказать, что частное конкурентное предпринимательство обладает какими-то специфическими преимуществами. Это не означает, что таких преимуществ не существует, - просто они не вытекают из самой логики конкуренции.].

Но все же в рамках общих предпосылок анализа Маршалла-Викселля можно показать, что фирмы, которые не могут своими действиями повлиять на цену продаваемого ими продукта или покупаемых факторов производства, - поэтому они не могут сетовать на то, что при увеличении производства первые цены падают, а вторые растут, - будут расширять производство до тех пор, пока добавочные издержки, необходимые для небольшого прироста продукта (предельные издержки), не уравниваются с ценой этого прироста. Таким образом, эти фирмы будут наращивать производство до тех пор, пока это не станет приносить убытки. Можно показать, что достигнутый объем производства будет в общем случае равен "общественно предпочтительному". Говоря более формальным языком, в этом случае цены для отдельной фирмы являются не переменными, а параметрами. Всюду, где справедливо это допущение, существует состояние равновесия, для которого характерно то, что выпуск продукции находится

на максимальном уровне и все факторы производства используются полностью. Эта ситуация обычно называется совершенной конкуренцией.

Вспомнив о том, что было сказано выше о процессе отбора, который происходит

между фирмами (и их управляющими), мы могли бы ждать прекрасных результатов от отобранной таким образом группы людей, которую мотив прибыли заставляет отдавать все силы максимизации производства и минимизации издержек. В частности, на первый взгляд может показаться, что в такой системе отсутствуют главные факторы, которые могли бы вызывать неэффективность. После некоторого размышления становится ясно, что последнее предложение - это просто другая формулировка предпоследнего.

4. Теперь о втором направлении развития экономического анализа. Теория Маршалла-Викселля, конечно, не обходила вниманием многие случаи, которые не описываются моделью совершенной конкуренции. Кстати, не упускали их из виду и классики. Они рассматривали случаи "монополии", и сам Адам Смит тщательно описал различные способы ограничения конкуренции [Разительно сходство между сегодняшними взглядами и его описанием противоречия между интересами отдельных профессий и общества в целом. Смит говорил даже о заговорах против общества, которые возникают на каждой встрече бизнесменов.] и возникающие в результате их применения различия в гибкости цен. Но классики считали эти случаи исключениями и, более того, такими исключениями, которые с течением времени будут устранены. Примерно то же самое можно сказать и о Маршалле. Хотя он развил теорию монополии

Курно [Augustin Cournot. Recherches sur les principes mathematiques de la theorie des richesses. P. 1838. ] и предвосхитил дальнейший прогресс анализа, обратив внимание на то, что большинство фирм продают свои товары на своем собственном специфическом рынке, на котором они могут сами устанавливать цены [Поэтому его можно считать предшественником позднейшей теории несовершенной конкуренции. Он не разрабатывал ее, но видел проблему гораздо правильнее, чем многие, кто ею специально занимался. В частности, он не преувеличивал ее значения.], он, как и Виксель, сформулировал свои общие выводы для случая совершенной конкуренции. Таким образом, для него, как и для классиков, последняя

была правилом. Ни Маршалл и Виксель, ни классики не видели, что на самом деле совершенная конкуренция является исключением. Более того, даже если бы она была правилом, то и тогда здесь не было бы особого повода для радости.

Если мы внимательнее рассмотрим условия, необходимые для совершенной конкуренции, - не все из них были сформулированы и даже осознаны Маршаллом и Викселлем, - сразу же станет понятно, что такие условия редко встречаются за пределами массового производства сельскохозяйственных продуктов. Фермер, действительно, продаст спой хлопок или пшеницу при этих условиях: с его точки зрения, цена хлопка или пшеницы - это заданная извне, хотя и сильно колеблющаяся

величина.

Он не может повлиять на нее своими действиями, а должен сам приспособлять к ней объем выпуска своей продукции. Так как все фермеры ведут себя одинаково, то в конце концов цены и объемы производства будут соответствовать требованиям теории совершенной конкуренции. Однако так дело обстоит даже не со всеми сельскохозяйственными продуктами: например, к производству утиного мяса, колбасы, овощей и многих молочных продуктов модель неприменима. Что же касается практически всех конечных продуктов и услуг промышленности и торговли, то очевидно, что у каждого лавочника, хозяина бензоколонки, изготовителя перчаток, крема для бритья или ручных пил есть свой собственный небольшой рынок, который он пытается - но крайней мере должен пытаться - сохранить и расширить с помощью ценовой стратегии, стратегии качества ("дифференциации продукта") и рекламы. Здесь перед нами иная ситуация, которая никак не вписывается в схему совершенной

конкуренции и гораздо больше напоминает случай монополии. В таких случаях принято говорить о "монополистической конкуренции". Теория монополистической конкуренции является одним из важнейших достижений послевоенной экономической науки [См. в особенности: Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (М.:

Изд-во иностр. лит-ры, 1959); Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. (М.: Прогресс, 1986).].

Остается рассмотреть большую группу относительно однородных продуктов, в основном это промышленное сырье и полуфабрикаты: стальные слитки, цемент,

хлопковые полуфабрикаты и пр. В их производстве, кажется, отсутствуют предпосылки для монополистической конкуренции. В принципе это действительно так. Но на практике в этих отраслях господствуют гигантские фирмы, которые вместе или порознь в состоянии манипулировать ценами, даже не прибегая к дифференциации продукта, т.е. здесь существует "олигополия". И вновь модель монополии с соответствующими поправками гораздо лучше подходит к этому случаю, чем модель совершенной конкуренции.

В тех случаях, когда преобладает монополистическая конкуренция или олигополия, или их комбинация, многие основные положения маршалловско-виксслевской школы либо становятся неприменимыми, либо нуждаются в гораздо более сложных доказательствах. Это относится прежде всего к основополагающему понятию равновесия, т.е. предопределенного состояния экономического организма, к которому он всегда стремится и которое обладает некоторыми простыми свойствами. В случае олигополии предопределенного состояния равновесия, как правило, вообще не существует. Здесь возможны бесконечные выпады и контрвыпады, военные действия

между фирмами, которые неизвестно сколько будут продолжаться. Конечно, есть много специфических случаев, когда состояние равновесия теоретически существует и здесь. Но даже в этих случаях равновесия достичь гораздо труднее. Кроме того, на место "благотворной" конкуренции классиков здесь приходит "хищническая" борьба не на жизнь, а на смерть или состязание за контроль над финансовой сферой. Все это открывает массу возможностей для злоупотреблений и расточительства, а ведь надо учесть еще издержки на проведение рекламных кампаний, препятствия на пути новых методов производства (скупка патентов для того, чтобы их никто не использовал) и т.д. И наконец, самое важное: даже если в

этих условиях чрезвычайно дорогостоящим способом нам удастся добиться равновесия, это вовсе не гарантирует нам ни полной занятости, ни максимального выпуска продукции, как это было в случае совершенной конкуренции. Равновесие здесь может совмещаться с неполной занятостью. И, похоже, неизбежно подразумевает уровень производства, не достигающий максимума, поскольку стратегия сохранения прибыли, невозможная при совершенной конкуренции, в данном случае становится не только возможной, но и неизбежной.

Ну что же, значит, мнение "человека с улицы" (если только это не бизнесмен) о частном предпринимательстве справедливо? Разве современный анализ не опроверг классическую доктрину и не оправдал точку зрения масс? Разве в конце концов мы не выяснили, что производство ради прибыли и производство ради потребления не часто идут параллельными курсами, а частное предприятие представляет собой не более чем средство для сокращения производства с целью извлечения прибылей, которые в свою очередь правильно характеризуются как результат поборов и вымогательства?

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава седьмая. Процесс "созидательного разрушения"

Теории монополистической и олигополистической конкуренции в их доступном варианте могут быть использованы двумя группами оппонентов капитализма. Одни могут утверждать, что капитализм никогда не благоприятствовал максимизации производства и экономический рост происходил вопреки постоянному саботажу со стороны буржуазии. Сторонникам этой точки зрения придется доказать, что наблюдавшиеся темпы экономического роста вызваны некоторой последовательностью благоприятных обстоятельств, не связанных с механизмом частного предпринимательства и достаточно сильных, чтобы победить сопротивление буржуазии.

Этот вопрос мы подробно обсудим в гл. IX. Но приверженцы данного подхода имеют

одно преимущество. В отличие от них представителям второй точки зрения надо объяснить, как капиталистическая действительность, которая вначале благоприятствовала максимальному или, по крайней мере, заметному росту производства, в дальнейшем под влиянием монополистических структур, убивающих конкуренцию, начала действовать в обратном направлении. Для этого, во-первых, требуется придумать воображаемый золотой век совершенной конкуренции, который в определенный момент превратился в монополистический век, хотя очевидно, что совершенная конкуренция всегда была всего лишь абстракцией. Во-вторых, следует учесть, что темпы прироста производства вовсе не сократились после 90-х годов прошлого века, начиная с которых мы можем отметить преобладание

крупнейших концернов (во всяком случае, в обрабатывающей промышленности): никакого "перелома" в поведении показателей производства не отмечено. Самое же важное состоит в том, что современный уровень жизни масс сложился именно в эпоху

сравнительно бесконтрольного господства "большого бизнеса". Если мы составим список предметов, покупка которых входит в потребительский бюджет современного рабочего, и проследим, как изменялись их цены начиная с 1899 г., но не в деньгах, а в часах оплаченного рабочего времени - т.е. индекс в деньгах, деленный на индекс почасовой заработной платы за соответствующие годы, мы будем поражены ростом материального благосостояния рабочих, который, если учесть еще и

повышение качества товаров, не только не уступал, но превосходил все предыдущие показатели. Если бы мы, экономисты, меньше предавались догадкам и больше смотрели на факты, мы сразу же усомнились бы в достоинствах теории, которая предсказывала совершенно противоположные результаты. Но это еще не все. Как только мы посмотрим на показатели производства отдельных товаров, то выяснится, что наибольшего прогресса добились не фирмы, работающие в условиях сравнительно свободной конкуренции, а именно крупные концерны, которые к тому же способствовали прогрессу в конкурентном секторе (как, например, крупные производители сельскохозяйственной техники). В конце концов в наши души закрадывается ужасное подозрение: видимо, большой бизнес в гораздо большей степени способствовал повышению, чем снижению, уровня жизни. Таким образом, выводы, к которым мы пришли в конце предыдущей главы, оказались на поверку неправильными. Однако они следуют из наблюдений и теорем, которые почти безупречны [Именно почти. В частности, теория несовершенной конкуренции не

может объяснить многочисленные и очень важные случаи, в которых даже на уровне статического анализа модели несовершенной и совершенной конкуренции показывают приблизительно одинаковые результаты (объемы производства). В других случаях такого совпадения не наблюдается, но несовершенная конкуренция, хотя и приводит к меньшему объему производства, в то же время производит некоторую компенсацию, которая не учитывается в индексе промышленного производства, но вносит свой вклад в то, что этот индекс в конечном счете призван измерять. Это, например, случаи, в которых фирма защищает свой рынок, создавая себе высокую репутацию как

поставщика высококачественных товаров или услуг. Но чтобы упростить изложение, мы не будем останавливаться на слабых местах самой теории.]. Дело в том, что экономисты и популяризаторы увидели какой-то аспект действительности. Они по большей части увидели его в правильном свете и сделали из этого формально правильные заключения. Но из такого фрагментарного анализа нельзя сделать никаких выводов о капиталистической действительности в целом. Если же мы сделаем

такие выводы, то угадать можем только случайно. Такие попытки предпринимались, но счастливого случая так и не произошло. Важно понять, что, говоря о капитализме, мы имеем дело с эволюционным процессом.

Кажется странным, что кто-то может не замечать столь очевидного факта, важность которого давно уже подчеркивал Карл Маркс. Однако фрагментарный анализ, из которого мы черпаем большую часть наших выводов о функционировании современного капитализма, упорно его игнорирует.

Поясним сказанное и посмотрим, какое значение это имеет с точки зрения нашей проблемы.

Капитализм по самой своей сути - это форма или метод экономических изменений, он

никогда не бывает и не может быть стационарным состоянием. Эволюционный характер капиталистического процесса объясняется не только тем, что экономическая жизнь протекает в социальной и природной среде, которая изменяется

и меняет тем самым параметры, при которых совершаются экономические действия. Этот факт очень важен, и эти изменения (войны, революции и т.д.) часто влияют на

перемены в экономике, но не являются первоисточниками этих перемен. То же самое можно сказать и о квазиавтоматическом росте населения и капитала, и о причудах монетарной политики. Основной импульс, который приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его на ходу, исходит от новых потребительских

благ, новых методов производства и транспортировки товаров, новых рынков и новых

форм экономической организации, которые создают капиталистические предприятия. В предыдущей главе мы видели, что уровень жизни рабочего с 1760 по 1940 г. изменился в первую очередь не количественно, а качественно. Аналогична история развития сельского хозяйства. Начиная с первых попыток рационализировать севооборот, применить плуг и удобрения и кончая сегодняшними механизированными фермами, имеющими прочные связи с элеваторами и железными дорогами, - это история революций. То же самое можно сказать и об истории черной металлургии от печей, работавших на древесном угле, до наших современных печей, об истории энергетики от водяного колеса до современных электростанций, об истории транспорта от почтовой кареты до современных электростанций, об истории внутренних и внешних, и развитие экономической организации от ремесленной мастерской и фабрики до таких концернов, как "Ю.С.Стил", иллюстрируют все тот же процесс экономической мутации, - если можно употребить здесь биологический термин, - который непрерывно революционизирует [Строго говоря, эти революции происходят не

непрерывно, а дискретно и отделяются друг от друга фазами относительного спокойствия. Но весь процесс в целом действительно непрерывен, т.е. в каждый данный момент происходит или революция, или усвоение ее результатов. Обе эти фазы, вместе взятые, образуют так называемый экономический цикл.] экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую. Этот процесс "созидательного разрушения" является самой сущностью капитализма, в его рамках приходится существовать каждому капиталистическому концерну. Данный факт имеет двоякое отношение к нашей проблеме.

Во-первых, поскольку мы имеем дело с процессом, каждый элемент которого требует значительного времени для того, чтобы определить его основные черты и окончательные последствия, бессмысленно оценивать результаты этого процесса на данный момент времени: мы должны делать это за период, состоящий из веков или десятилетий. Любая система - не только экономическая, - полностью использующая все свои возможности для получения наилучшего результата в каждый данный момент времени, может в долгосрочном аспекте уступить системе, которая не делает этого никогда, поскольку краткосрочные преимущества могут обернуться долгосрочными слабостями.

Во-вторых, поскольку мы имеем дело с процессом органическим, то анализ того, что

происходит в отдельном концерне или отрасли, может прояснить, как работают отдельные детали всего механизма, но не более того. Поведение того или иного предприятия следует оценивать только на фоне общего процесса, в контексте порожденной им ситуации. Необходимо выяснить его роль в постоянном потоке "созидательного разрушения", невозможно понять его вне этого потока или на основе гипотезы о неподвижности мира.

Однако именно из этой гипотезы исходят современные экономисты, которые, исследуя, к примеру, ситуацию в олигополистической отрасли (т.е. отрасли, состоящей из нескольких крупных фирм), видят только хорошо известные меры и контрмеры, неизбежно ведущие к высоким ценам и ограничению производства. Они берут текущие величины параметров без учета прошлого и будущего и полагают, что они все поняли, если смогли объяснить поведение этих фирм с помощью принципа максимизации прибыли в данный момент. В работах теоретиков и докладах правительственных комиссий поведение таких фирм практически никогда не рассматривается как результат прошлого и как попытка справиться с ситуацией,

которая быстро меняется, попытка фирм устоять, когда почва уходит у них из-под ног.

Иными словами, обычно проблему видят в том, как капитализм функционирует в рамках существующих структур, тогда как действительная проблема в данном случае состоит в том, как он создаст и разрушает эти структуры.

Пока исследователь не признает этого, его работа бессмысленна. Но как только он это признает, его взгляд на капиталистическую практику и ее социальные результаты претерпевает существенное изменение [Следует отметить, что изменению подвергается только наша оценка экономической эффективности капитализма, а не наше отношение к нему с точки зрения морали. Моральное одобрение или осуждение совершенно независимо от нашей оценки социальной (и любой другой) результативности системы, если только подобно утилитаристам мы не отождествим их по определению.]

Прежде всего надо пересмотреть традиционную концепцию конкуренции. Сейчас экономисты начинают признавать не только ценовую конкуренцию, но и конкуренцию политики сбыта. Как только это происходит, ценовой параметр теряет свое доминирующее положение в экономической теории. Однако до сих пор в центре внимания экономистов все еще находится конкуренция, протекающая в рамках неизменных условий, в частности неизменных методов производства и организационных форм. Но вопреки учебникам в капиталистической действительности преобладающее значение имеет другая конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации (например, крупнейших фирм). Эта конкуренция обеспечивает решительное сокращение

затрат или повышение качества, она угрожает существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей и выпуска, а полным банкротством.

По своим последствиям такая конкуренция относится к традиционной как бомбардировка к взламыванию двери. В этих условиях степень развития традиционной конкуренции не так уж важна: мощный механизм, обеспечивающий прирост производства и снижение цен, все равно имеет иную природу.

Едва ли необходимо упоминать о том, что конкуренция, о которой мы сейчас ведем речь, оказывает влияние не только тогда, когда она уже есть, но и тогда, когда она является всего лишь потенциальной угрозой. Можно сказать, что она дисциплинирует еще до своего наступления. Бизнесмен ощущает себя в конкурентной ситуации даже тогда, когда он является полным монополистом в своей отрасли или когда правительственные эксперты не обнаруживают действенной конкуренции между ним и другими фирмами в его отрасли или смежных областях и делают вывод о том, что он ссылается на наличие конкурентов только для отвода глаз. Во многих случаях, хотя и не всегда, такая ситуация в конце концов порождает поведение очень близкое к тому, которое соответствует модели совершенной конкуренции. Многие теоретики придерживаются противоположной точки зрения, которую легче всего проиллюстрировать на таком примере. Предположим, несколько розничных торговцев, действующих в одном районе, стремятся улучшить свои позиции, повышая качество обслуживания или создавая "дружескую атмосферу", но избегают ценовой конкуренции и торгуют по старинке, как принято в здешних местах. Если на этот рынок приходят новые торговцы, состояние квазиравновесия нарушается, но это вовсе не идет на пользу покупателям. Экономическое пространство для каждого из магазинов сокращается, их владельцам становится трудно свести концы с концами и они пытаются выйти из положения, повысив цены по тайному соглашению. Это еще более сократит их продажи и т.д. В итоге рост потенциального предложения будет сопровождаться ростом цен и падением продаж, а не наоборот.

Такие случаи действительно встречаются и с ними стоит разобраться. Но на практике они встречаются в секторах, наименее типичных для капиталистической экономики [Ср. также теорему, которая часто фигурирует в теории несовершенной конкуренции: теорему о том, что в условиях несовершенной конкуренции производственные и торговые фирмы имеют иррационально малые размеры. Поскольку в

то же время предполагается, что несовершенная конкуренция является наиболее характерным признаком современной экономики, нам остается только удивляться тому, каким видят мир экономисты. Очевидно, они имеют дело с миром, состоящим целиком из исключений.]. Кроме того, они преходящи по самой своей природе. В нашем примере с розничной торговлей настоящая, осязаемая конкуренция возникает не

от появления новых магазинов того же типа, а со стороны универмагов, сетей магазинов, торгующих по почте, и супермаркетов, которые рано или поздно разрушают старую отраслевую структуру [Однако угроза их вторжения не окажет на мелких лавочников обычного дисциплинирующего воздействия: их сильно ограничивает

заданный уровень издержек. Как бы умело они ни вели свое хозяйство, они не смогут бороться с конкурентами, которые могут себе позволить продавать товар по цене, не превышающей закупочную цену мелких магазинов.]

Теория, игнорирующая этот существенный аспект конкуренции, тем самым упускает из виду все, что в ней есть собственно капиталистического. Даже если она не противоречит логике и фактам, она похожа на постановку "Гамлета" без принца датского.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава восьмая.  
Монополистическая практика

Сказанного выше вообще-то достаточно, чтобы читатель смог разобраться в подавляющем большинстве случаев, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, и опровергнуть тех критиков капиталистической экономики, которые явно или

неявно основывают свою аргументацию на отсутствии при капитализме совершенной конкуренции. Однако, поскольку связь между нашими доводами и взглядами некоторых

из этих критиков не столь очевидна, несколько моментов следует разъяснить.

1. Мы только что установили, что воздействие новшеств, например новых технологий, на существующие отраслевые структуры в долгосрочном аспекте препятствует стратегии ограничения производства, сохранению господствующих позиций и максимизации прибыли. Теперь мы узнаем, что такого рода ограничительная стратегия приобретает в процессе созидательного разрушения новое

значение, которым она не обладает в стационарном состоянии или в состоянии медленного и сбалансированного роста. В двух последних случаях ограничительная стратегия ведет лишь к увеличению прибыли за счет покупателей, а в случае сбалансированного роста она может быть также самым простым и эффективным способом накопления средств для финансирования дополнительных инвестиций [Теоретики считают последнее положение грубой ошибкой. Они доказывают, что финансировать капиталовложения за счет кредитов, банков и частных лиц, а для государственных предприятий - за счет сбора подоходного налога гораздо более рационально, чем использовать для этого избыточную прибыль, полученную с помощью

ограничительной политики. Для некоторых случаев это верно. Для других - совершенно неверно. Я считаю, что и капитализм, и коммунизм русского типа относятся ко второй категории. Но главное состоит в том, что с помощью одних лишь теоретических доводов, в особенности краткосрочного характера, мы не сможем

решить проблему, с которой вновь столкнемся в следующей части.]

В процессе же созидательного разрушения ограничительная стратегия может помочь стабилизировать корабль капиталистической экономики, облегчить временные трудности. Этот довод всегда всплывает во времена депрессии и, как известно, пользуется популярностью у правительств и их экономических советников (ср. опыт NRA) [National Recovery Act - закон, легший в основу политики "Нового курса" администрации Ф.Д.Рузвельта - Прим. ред.]. Им много раз злоупотребляли, и это привело к таким неприятностям, что большинство экономистов всем сердцем презирают его. Однако даже те советники, которые им злоупотребляют [В частности,

легко показать, что политика, направленная на сохранение "соотношения цен", бессмысленна и во многом вредна.], не видят более общих аргументов в его пользу.

Практически каждое капиталовложение как необходимый элемент предпринимательского

действия требует некоторых предохраняющих мер: страховки или хеджирования. Долгосрочное инвестирование в обстановке, которая быстро меняется или может измениться в любой момент из-за появления новых товаров или технологий, напоминает стрельбу по мишени, которая не только плохо видна, но и движется, причем движется рывками. Поэтому необходимо прибегать к таким средствам защиты, как патенты, сохранение на какое-то время технологических процессов в тайне, а в

некоторых случаях - заключение контрактов на долгий срок. Но эти защитные средства, которые большинство экономистов считают обычным компонентом рационального менеджмента [Однако некоторые экономисты даже их считают препятствием на пути прогресса, которые необходимы при капитализме, но исчезнут в социалистическом обществе. Доля правды в этом есть. Но это не опровергает того

тезиса, что защита, предоставляемая патентами и т.п. в условиях экономики, основанной на прибыли, в целом является прогрессивным, а не сдерживающим фактором.], - это только частные случаи более широкого класса мер, многие из которых экономисты проклинают, хотя в сущности они ничем не отличаются от "признанных".

Если, к примеру, существует возможность застраховаться на случай войны, никто не

осудит фирму за то, что она включит стоимость страховки в цену своего продукта. Но риск войны входит в долгосрочные издержки и тогда, когда не существует соответствующих страховых институтов. Просто в этом случае стратегия фирмы будет

включать в себя "необоснованное" ограничение производства и приведет к получению

избыточной прибыли. Аналогично, если нельзя приобрести патент или если патентная

защита неэффективна, фирма должна прибегнуть к другим средствам для того, чтобы обезопасить свои инвестиции. К этим средствам относится и такая ценовая политика, которая позволит списать основной капитал быстрее, чем требовалось бы,

или дополнительные инвестиции, которые позволят создать избыточные мощности и на

случай атаки или, напротив, обороны от потенциальных конкурентов. Опять-таки, если бы долгосрочные контракты нельзя было заключать заранее, пришлось бы изобрести другие средства для того, чтобы привязать к инвестирующей фирме будущих покупателей.

Анализируя такие стратегии со статической точки зрения, экономист-исследователь или правительственный чиновник приходит к выводу, что такая ценовая стратегия является хищнической, а ограничение производства означает для общества чистую потерю. Он не видит, что в условиях непрерывного потока нововведений ограничения

такого типа являются всего лишь моментами (часто неизбежными) долгосрочного процесса экспансии, который они скорее поддерживают, чем тормозят.

Этот тезис не более парадоксален, чем, например, такой: автомобиль едет быстрее, потому что у него есть тормоза.

2. Особенно ярко это проявляется в тех секторах экономики, в которых новые продукты и новые методы производства влияют на структуру отрасли постоянно. Для того чтобы живо и наглядно представить себе стратегию фирмы, лучше всего рассмотреть поведение новых концернов или даже новых отраслей, которые направлены на изготовление нового товара или внедрение новой технологии (например, алюминиевой промышленности) либо на частичную или полную реорганизацию существующей отрасли (например, прежняя "Стандарт Оил компани"). Как мы уже отмечали, такие концерны - агрессоры по природе, в их руках находятся

эффективные орудия конкурентной борьбы. Лишь в редчайших случаях их вторжение не

увеличивает количества и не повышает качества производимой продукции. Здесь сказывается как сам новый метод производства, - даже если он никогда не используется на полную мощность, - так и давление, которое он оказывает на уже действующие в отрасли фирмы. Но наступательное и оборонительное орудие агрессора включает не только цену и количество выпускаемого продукта, но и другие стратегические виды вооружений, воздействие которых сказывается за долгий

срок, но в каждый дискретный момент времени сводится, как представляется на первый взгляд, лишь к ограничению производства и удерживанию высоких цен. С одной стороны, далеко идущие планы во многих случаях не смогли бы воплотиться в жизнь, если бы с самого начала не было известно, что потенциальных конкурентов

отпугнет необходимость огромных вложений капитала, или недостаток опыта, или наличие в арсенале фирмы специальных средств для их отпугивания. Все это должно предоставить фирме время и пространство для дальнейших шагов. Даже завоевание финансового контроля над конкурентом, с которым не удастся справиться иными способами, или приобретение привилегий, противоречащих общественному чувству справедливости, например льготные железнодорожные тарифы, предстают перед нами в новом свете постольку, поскольку речь идет об их долговременном влиянии на объем производства. Наше уточнение, как мне кажется, устраняет любые недоразумения, которые может вызвать такая формулировка. Если же его недостаточно, я еще раз повторю, что моральный аспект в данном случае, как и в любом другом, совершенно не затрагивается экономическими доводами. Кроме того, прошу читателя поразмышлять над тем, что, даже имея дело с бесспорными нарушениями закона, цивилизованный судья и цивилизованные присяжные принимают во

внимание конечную цель, ради которой было совершено преступление, и общественные

последствия, которые оно имело. Другое возражение имеет большее значение. Если предприятие может преуспеть только с помощью таких средств, не означает ли это, что оно не может принести пользу обществу? Этот тезис можно весьма просто доказать. Однако он имеет смысл только при весьма строгих оговорках, касающихся "прочих равных". Иными словами, этот довод справедлив только, если абстрагироваться от процесса созидательного разрушения, т.е. от капиталистической действительности. В том, что это действительно так, можно убедиться на аналогичном примере с патентами.]: они могут устранять препятствия,

которые институт частной собственности ставит на пути прогресса.

В социалистическом обществе это время и пространство также понадобятся, но там их обеспечивает приказ центральных властей.

С другой стороны, предприятие в большинстве случаев не сможет возникнуть, если с

самого начала не будет известно, что в будущем его ждут исключительно благоприятные ситуации, которые при правильном манипулировании ценой, качеством и количеством продукта принесут столько прибыли, что она покроет убытки от исключительно неблагоприятных ситуаций, которые могут случиться при том же самом управлении. Это опять же требует стратегии, которая в краткосрочном аспекте является ограничительной. В большинстве удачных случаев такая стратегия с большим трудом достигает цели. Но в некоторых случаях прибыль бывает так велика и настолько превышает минимально необходимый уровень, что это привлекает новые инвестиции. Эти приманки завлекают капитал на неведомые дороги. Их наличие частично объясняет, почему такая большая часть капиталистов работает по существу бесплатно: в середине отмеченных процветанием 20-х годов около половины

всех американских корпораций приносили убытки, нулевую прибыль или же такую прибыль, которая, если бы фирма могла ее предвидеть, никогда не побудила бы ее к

сделанным усилиям и затратам.

Однако наши аргументы относятся не только к новым концернам, технологиям и отраслям. Старые концерны и давно возникшие отрасли независимо от того, подвергаются они прямой атаке или нет, также испытывают на себе влияние потока нововведений. В процессе созидательного разрушения возникают ситуации, когда многие фирмы погибают, хотя если бы они пережили эту бурю, то смогли бы существовать и дальше с немалой пользой для общества.

Помимо этих общих кризисов или депрессий, в отдельных отраслях также возникают ситуации, когда резкая перемена параметров, столь характерная для упомянутого процесса, временно дезорганизует отрасль, что ведет к бессмысленным потерям и безработице, которой можно было бы избежать. Конечно, не следует сохранять устаревшие отрасли бесконечно, но надо постараться избежать краха и превратить хаос, который может породить кумулятивную реакцию во всей экономике, в упорядоченное отступление. Аналогично в отраслях, которые уже "сняли сливки", но

еще продолжают расширяться, может существовать такое явление, как упорядоченное наступление [Хорошим примером, как и для многих других наших общих положений, может послужить послевоенная история американской автомобильной промышленности и

производства синтетических волокон. Первый пример хорошо иллюстрирует сущность и

значение того явления, которое можно назвать "отредактированной" конкуренцией. Период процветания здесь подошел к концу около 1916 г. Тем не менее уже после этого рубежа в отрасль проникло много новых фирм, большинство которых к 1925 г. были ликвидированы. После жесткой борьбы не на жизнь, а на смерть образовались три концерна, к настоящему времени сосредоточившие в своих руках более 80 % продаж. Несмотря на твердые позиции в отрасли, прекрасную организацию сбыта и обслуживания, они находятся под постоянным давлением конкуренции, поскольку любое отставание в качестве продуктов или попытки установить в отрасли монополистическую структуру привлекут в нее новых конкурентов. Между собой три концерна поддерживают отношения, которые можно назвать скорее взаимно уважительными, чем конкурентными: они воздерживаются от некоторых агрессивных приемов (которые, кстати, существуют и в мире совершенной конкуренции), они стремятся держаться вровень друг с другом и набирают очки в пограничных стычках.

Такая ситуация продолжается уже более пятнадцати лет. При этом вовсе не очевидно, что, если бы в этой отрасли господствовала совершенная конкуренция, покупатели получили бы лучшие по качеству или более дешевые машины, а рабочие - более высокую заработную плату и более устойчивую занятость. Страна, производящая синтетические волокна, пережила период расцвета к 1920-е годы. Этот

пример еще более ярко показывает нам, что происходит, когда товар вторгается в отрасль, где все места ранее были заняты. Есть и несколько других различий. По, но сути дела, это тот же случай. То, что объем производства и качество вискозы улучшились, известно всем. Но в ходе этого бума в каждый момент времени господствовала ограничительная политика. ]

Конечно, все это не более чем соображения элементарного здравого смысла. Но его не замечают столь упорно, что поневоле возникает подозрение в неискренности. А из всего сказанного следует, что в рамках процесса созидательного разрушения, все характеристики которого теории обычно отправляют в специальные монографии

и разделы об экономических циклах, мы различали иную сторону экономической самоорганизации, нежели ту, которую созерцают упомянутые теоретики. Ограничения торговли картельного типа, как и неявная координация ценовой политики, могут быть эффективными мерами в условиях депрессии. В конце концов они могут привести

не только к более устойчивому, но и более быстрому росту производства по сравнению с совершенно неконтролируемым движением вперед, которое обязательно сопровождается катастрофами. Конечно, можно утверждать, что эти катастрофы неминуемы в любом случае. Однако мы твердо знаем только то, что на самом деле произошло бы в отсутствие этих "ограждений", особенно если принять во внимание потрясающие темпы, которыми развивался процесс созидательного разрушения. Хотя мы развили и расширили нашу аргументацию, но, конечно, не охватили всех случаев применения ограничительной или регулирующей стратегии. Многие из них, без

сомнения, оказывают на экономический рост долговременное вредное воздействие, которое некритически приписывается всем случаям без исключения. И даже в тех случаях, к которым имеют отношение наши аргументы, результирующее воздействие зависит от привходящих обстоятельств и от той степени, в которой отрасль поддается саморегулированию. Разумеется, можно представить себе такую ситуацию, когда всеохватывающая система картелей парализует всякий прогресс, но точно так

же можно предположить, что она достигает всех целей, которых призвана достичь совершенная конкуренция, но с меньшими общественными и частными издержками. Поэтому наша аргументация вовсе не направлена против государственного антимонополистического регулирования. Мы лишь показали, что поддерживать любой трест столь же неуместно, как осуждать любое ограничение торговли. Рациональное в отличие от эмоционального государственное регулирование оказывается крайне деликатной задачей, которую можно доверить далеко не всякому государственному ведомству, а тем паче тому, которое громогласно обличает большой бизнес [К сожалению, эта откровенно нигилистическая позиция затрудняет достижение согласия

по поводу государственной регулирующей политики. Дискуссия по этим вопросам приобретает ожесточенный характер. Политики, государственные служащие и экономисты могут легко выдержать радикальную оппозицию "экономических роялистов". Гораздо труднее им вынести сомнения в их компетентности, которые в изобилии возникают у нас, в особенности тогда, когда мы наблюдаем законотворческий процесс.]

Из наших рассуждений, опровергающих господствующую теорию и сделанные из нее выводы о влиянии современного капитализма на темпы экономического роста, вытекает другая теория, т.е. иной взгляд на факты и иной принцип их интерпретации. Для наших целей этого достаточно. В остальном же пусть факты говорят сами за себя.

3. Теперь несколько слов о проблеме "жестких цен", которая активно обсуждается в последнее время. На самом деле, это один из аспектов той общей проблемы, которую являюсь здесь рассматривали. Жесткость цен мы определим следующим образом: цена является жесткой, если она менее чувствительна к изменениям спроса и предложения, чем предполагает модель совершенной конкуренции [Это определение достаточно для наших целей, но неудовлетворительно для других. См. статью Д.Д.Хамфри (Journal of Political Economy. 1937. October) и Э.С.Мейсона (Review of Economics and Statistics. 1938. May). Профессор Мейсон среди прочего показал,

что, вопреки широко распространенному убеждению, жесткость цен не возрастает, во

всяком случае она не увеличилась за последние сорок лет. Этот результат сам по себе опровергает некоторые выводы современной теории жестких цен.]

Количественная оценка жесткости цен в нашем смысле зависит от выбора данных и метода измерения и поэтому ненадежна. Но при любых данных и любом методе измерения очевидно, что цены на самом деле не являются настолько жесткими, как это представляется. В силу многих причин некоторые изменения цен не учитываются в статистике и жесткость их оказывается мнимой. Я остановлюсь лишь на одной из этих причин, тесно связанной с такими фактами, которые лежат в центре нашего анализа.

Я подчеркивал важность вторжения новых благ для капиталистического процесса вообще и механизма конкуренции в частности. Но новое благо может уничтожить существовавшую ранее отраслевую структуру и удовлетворить имеющуюся потребность по более низкой цене на единицу полезного эффекта (например, за перемещение груза на данное расстояние) без какого бы то ни было изменения цен существовавших благ, реальная гибкость цен может сочетаться с их формальной жесткостью. Есть и другие случаи, когда новый образец изделия внедряется только ради снижения цены, при этом цены на старые образцы остаются неизменными. Это еще один пример скрытого снижения цен.

Далее, подавляющее большинство новых потребительских товаров, в частности все мелочи современного обихода, вначале появляются в несовершенном виде как опытные

образцы. В таком виде они никогда не смогли бы покорить потенциальный рынок. Поэтому улучшение качества продуктов - это практически всеобщее явление, сопровождающее развитие отдельных концернов и отраслей. Независимо от того, связано это повышение качества с дополнительными издержками или нет, неизменные цены на единицу улучшаемого товара нельзя называть жесткими без дополнительных исследований.

Разумеется, есть множество случаев, когда цены действительно являются жесткими: они держатся на постоянном уровне, поскольку этого требует политика фирмы или поскольку их вообще трудно изменить (например, цена, установленная участниками картеля после долгих и трудных переговоров). Для того чтобы оценить долговременное влияние этого факта на темпы прироста промышленного

производства, надо прежде всего отдавать себе отчет в том, что жесткость цен по самой своей природе - краткосрочный феномен. Мы не сможем найти ни одного существенного примера длительной жесткости цен. Какую бы отрасль или группу товаров мы ни взяли, мы практически всегда установим, что, если взять сравнительно долгий период, цены всегда адаптируются к техническому прогрессу, -

часто они при этом заметно падают [Как правило, их падение бывает меньше, чем предписывает модель совершенной конкуренции. Но это правило действует лишь при прочих равных, что лишает его всякого практического значения. Я уже упоминал об этом моменте выше и вернусь к нему ниже в пункте 5.], - если только этому не препятствуют денежная политика или автономные изменения уровня заработной платы.

Эти последние факторы, разумеется, следует учесть при корректировке данных так же, как и изменение качества продуктов [С точки зрения теории благосостояния целесообразно использовать определение, отличное от нашего, и измерять изменение

цен в часах труда, необходимых для того, чтобы заработать на определенное количество потребительских товаров с учетом изменения в качестве. Мы уже делали так выше. При таком измерителе гибкость цен и процесс их постепенного снижения просматриваются наиболее ясно. Изменения общего уровня цен представляют собой отдельную проблему. Если они отражают чисто монетарные факторы, от них необходимо абстрагироваться при анализе жесткости цен. Но в той мере, в какой в них отражается общий эффект возросшей производительности во всех отраслях производства, их следует учесть.]. Основу этой связи, действующей в процессе капиталистической эволюции, раскрывает весь наш предшествующий анализ. Целью проводимой фирмой стратегии жестких цен на самом деле является избежание сезонных, случайных и циклических колебаний цен, они должны меняться только в ответ на глубокие изменения в экономических условиях. Поскольку эти глубокие изменения проявляются не сразу, такая стратегия должна предусматривать дискретные пересмотры цен: цены поддерживаются на постоянном уровне, пока не станут различимы контуры новой экономической ситуации. Говоря формально, эта стратегия предполагает, что движение цен должно описываться ступенчатой функцией, приближающейся к тренду.

В большинстве случаев истинная и сознательно осуществляемая политика жестких цен сводится именно к этому. Большая часть экономистов признает это хотя бы негласно. Дело в том, что, хотя некоторые их доводы применимы лишь к долгосрочному анализу, - например, аргументы, доказывающие, что жесткие цены мешают потребителям пользоваться плодами технического прогресса, - на практике экономисты измеряют и обсуждают прежде всего жесткость цен в цикле, и в особенности тот факт, что многие цены вовсе не падают или недостаточно быстро падают во время спада и депрессии. Таким образом, на самом деле вопрос должен ставиться так: как эта краткосрочная жесткость цен [Следует, однако, отметить, что "краткий срок" в данном случае может быть дольше, чем это обычно подразумевается, - десять лет или еще дольше. Существует не один цикл, а несколько, происходящих одновременно и имеющих различную длительность. Один из наиболее важных продолжается в среднем девять с половиной лет. Примерно за такой

срок происходят и важные структурные сдвиги, требующие изменения цен. Полное воздействие особенно значительных структурных изменений проявляется на протяжении более длительных периодов. Чтобы разобраться в движении цен на алюминий, вискозу, автомобили, требуется изучить период около 45 лет.] может повлиять на долгосрочный экономический рост.

Причем единственный, на самом деле важный момент здесь состоит в следующем: цены, которые снижаются во время спада и депрессии, несомненно, влияют на экономическую ситуацию в этих фазах цикла. Если влияние это резко отрицательное,

т.е. ухудшающее ситуацию по сравнению с состоянием совершенной конкуренции, то оно должно плохо сказаться и на последующих оживлениях и подъемах и в итоге темп

прироста производства сократится ниже уровня, который существовал бы в отсутствие жестких цен.

В оправдание такой точки зрения выдвигаются два довода. Чтобы как можно яснее изложить первый из них, предположим, что существует отрасль, в которой цены во время спада не понижаются, а количество произведенного продукта остается

неизменным. В этом случае покупателям придется дополнительно раскошелиться на сумму, которая и составляет выигрыш отрасли от жесткости цен. Если же покупатели

тратят все, что могут, а продавцы не расходуют поступившие к ним дополнительные средства, а сберегают их или выплачивают с их помощью долги банкам, то общая величина расходов в экономике сократится. В этом случае пострадают и другое отрасли и фирмы. Если же и они в свою очередь будут проводить ограничительную политику, то мы получим кумулятивный процесс распространения депрессивных явлений. Иными словами, жесткость цен сократит величину национального дохода или увеличит празднично лежащие денежные средства, которые не совсем корректно принято называть сбережениями.

Такой случай в принципе возможен. Но читателю нетрудно убедиться в том, что практическая значимость его очень мала или вовсе отсутствует [Лучший способ убедиться в этом состоит в том, чтобы внимательно рассмотреть смысл всех используемых предпосылок не только в приведенном воображаемом случае, но и в более реалистических вариантах. Кроме того, не следует забывать, что прибыль, полученная от неснижения цен, может быть средством избежать банкротства или, по крайней мере, приостановки операций. И та, и другая напасть может породить "порочный круг спада с гораздо большим "успехом", чем возможное сокращение совокупных расходов. См. также наши рассуждения по поводу второго аргумента.]. Второй аргумент основан на том, что жесткость цен может привести к дополнительному сверхнормальному сокращению производства в отдельной отрасли или

секторе экономики, что в свою очередь вызовет диспропорциональность. Поскольку наиболее важными механизмами в распространении этих эффектов являются рост безработицы - упрек в дестабилизации занятости вообще наиболее часто предъявляется жестким ценам - и соответствующее сокращение совокупных расходов, этот аргумент в дальнейшем совпадает с первым. Его практическую важность значительно сокращает - правда, экономисты расходятся в оценках, насколько значительно, - тот факт, что в наиболее ярких случаях жесткость цен мотивируется именно низкой чувствительностью спроса к краткосрочным изменениям цены в определенных рамках. Люди, которые во время спада беспокоятся о своем будущем, не станут покупать новый автомобиль, даже если он будет продаваться с 25-процентной скидкой, в особенности если покупку можно легко отложить, а падение цен, как ожидается, продолжится и в будущем.

Однако независимо от всего этого данный аргумент неубедителен, поскольку его действие вновь оговорено предпосылкой о "прочих равных", которая неприменима к нашему процессу "созидательного разрушения". Из того факта (в той мере, в какой это действительно факт), что при более гибких ценах можно при прочих равных продать больше товаров, еще не следует, что выпуск данных товаров или совокупное

производство и занятость возрастут. Мы предполагаем, что отказ от снижения цен усиливает позиции соответствующих отраслей, увеличивая получаемую ими прибыль или препятствуя хаосу на рынках, т.е. не является с их стороны простой ошибкой.

Поэтому в результате этой политики на месте возможных очагов опустошения возникают крепости. Как мы уже убедились, рассматривая вопрос с более общей точки зрения, совокупное производство и занятость при ограничительной политике могут быть выше, чем в том случае, когда спад беспрепятственно нарушит установившуюся структуру цен [Теоретик сказал бы, что во время спада кривая спроса может сдвинуться вниз резче, если из-под всех цен будут убраны подпорки.]. Иными словами, в условиях, созданных капиталистической эволюцией, полная и всеобщая гибкость цен во время спада может только дестабилизировать систему, а не наоборот, как считает общая теория. Это часто признают экономисты, симпатизирующие интересам какой-либо части общества, например рабочим или фермерам: они охотно соглашались с тем, что за жесткостью цен на самом деле скрывается целенаправленная адаптация к новым условиям. Возможно, читатель несколько удивлен, что от столь знаменитой в последние годы теории осталось так мало. Ведь некоторые уже поверили, что жесткость цен представляет собой важный дефект капиталистической системы и чуть ли не главную причину спадов. Но удивляться здесь нечему. Люди и группы людей готовы ухватиться за любое "открытие", отвечающее современной политической тенденции. Теория жестких цен, содержащая некоторую долю истины, являет собой далеко не худший пример такого рода.

4. Другую доктрину можно коротко сформулировать так: в эпоху большого бизнеса

главной целью предпринимательской деятельности становится сохранение ценности сделанных инвестиций - сохранение капитала. Это грозит положить конец всем усовершенствованиям, направленным на сокращение издержек. Следовательно, капиталистический строй оказывается несовместимым с прогрессом.

Как мы убедились, прогресс подразумевает разрушение тех капитальных стоимостей, с которыми конкурирует новый товар или новый метод производства. В условиях современной конкуренции старые производственные мощности должны быть приспособлены к новым условиям (процесс, требующий дополнительных издержек) или уничтожены. Но в отраслях, где нет совершенной конкуренции и производство контролируется несколькими крупными концернами, у последних есть достаточно возможностей для того, чтобы отбить атаки, которым подвергаются их капиталы, и избежать убытков на капитальных счетах; короче говоря, они могут потягаться и с самим прогрессом.

До тех пор, пока в этой доктрине речь идет об особом аспекте ограничительной стратегии, нам нет нужды добавлять что-либо к сказанному выше в этой главе. Это относится как к пределам данной стратегии, так и к ее функции в процессе созидательного разрушения. Это еще более очевидно, если мы отметим, что сохранить капитал - это то же самое, что сохранить прибыль. В современной теории

понятие "текущая чистая стоимость активов" (или, что то же самое, капитальная стоимость) часто употребляется вместо понятия "прибыль". Разумеется, и стоимость

активов, и прибыль не просто сохраняются, но и максимизируются.

Но тезис о том, что современные концерны саботируют развитие сокращающих издержки технологий, все же нуждается в комментарии. Немного поразмыслив, мы поймем, что здесь достаточно рассмотреть пример концерна, контролирующего определенный вид технологии - скажем, защищенное патентом изобретение, использование которого вызывает обесценение и списывание полностью или частично имеющихся у фирмы машин и оборудования. Воздержится ли фирма от использования этого изобретения для того, чтобы сохранить свой капитал в случае, если ею управляют социалистические управляющие, движимые не капиталистическим интересом,

которые могут и должны использовать это изобретение ради всеобщего блага?

И вновь возникает естественное искушение обратиться к фактам. Как только современный концерн может себе это позволить, он тут же заводит исследовательский отдел, каждый сотрудник которого получает деньги за изобретение новых усовершенствований. Очевидно, здесь нет никакого стремления замедлить технический прогресс. Нам могут указать на то, что патенты, изобретаемые концернами, часто используются не сразу или не используются вовсе. Но на это могут быть свои причины: например, запатентованный процесс может оказаться не таким уж замечательным или, по крайней мере, не подходящим для коммерческого употребления. Судить об этом не может ни сам изобретатель, ни исследователь-экономист, ни государственный чиновник: их мнения могут дать нам неадекватную оценку [Кстати, заметим, что ограничительная политика этого вида, если она представляет собой достаточно распространенное явление, оказывает положительное воздействие на общественное благосостояние. Ведь те же критики, которые любят говорить о саботаже прогресса, в то же время подчеркивают общественные издержки, в особенности безработицу, с которыми связан быстрый капиталистический прогресс и которые могут быть смягчены, если этот прогресс будет немного медленнее. В конце концов, они должны сами решать, что им больше нравится: ускорение или замедление технического прогресса.]. Но нас интересуют теоретические вопросы. Каждый согласится с тем, что и частное, и социалистическое руководство предприятий будет внедрять новый метод производства, если он сокращает величину совокупных издержек, приходящихся на единицу продукта. Если же это условие не выполняется, то предполагается, что управляющий частного предприятия не станет внедрять метод, сокращающий издержки,

пока имеющиеся машины и оборудование не будут целиком списаны, тогда как социалистический управляющий, действуя на благо общества и не обращая внимания на стоимость капитала, тут же внедрит любой сокращающий издержки метод. Однако это неверно [Следует заметить, что, даже если бы этот аргумент был правильным, с

его помощью нельзя было бы доказать тезис о "несовместимости" капитализма с техническим прогрессом. Единственное, что можно было бы доказать с его помощью,

это существование в некоторых случаях умеренной величины лага в процессе внедрения нового метода.] .

Частный управляющий, если им движет мотив прибыли, заинтересован в сохранении стоимости зданий и машин не более чем гипотетический социалистический управляющий. Частный управляющий стремится максимизировать текущую чистую стоимость совокупных активов, равную дисконтированной стоимости ожидаемых чистых

доходов от них. Это означает, что он всегда внедрит новый метод производства, если он, как предполагается, даст больший поток будущего дохода на единицу будущих вложений - и та, и другая величина дисконтируется и приводится таким образом к настоящему моменту - по сравнению с тем методом, который используется ныне. Стоимость прошлых инвестиций, независимо от того, сопровождалась ли они выпуском облигаций, задолженность по которым следует погасить, не интересует его

вовсе или, по крайней мере, интересует не больше, чем социалистического управляющего в сходной ситуации. Возможно, что использование старых машин позволит сократить будущие издержки по сравнению с тем вариантом, когда новый метод вводится немедленно и полностью. В таком случае их остаточная производственная ценность, конечно, учитывается и капиталистическим, и социалистическим управляющим. Во всех остальных случаях старые инвестиции не учитываются ни тем, ни другим, и любая попытка сохранить их будет противоречить максимизации прибыли, так же как и правилам поведения социалистического управляющего.

Неверно и то, что частные фирмы, оборудованию которых угрожает обесценение, если

будет применен новый метод, который они же сами контролируют, - если не контролируют, то никаких проблем нет и повода для упреков тоже, - внедряют последний лишь тогда, когда совокупные издержки на единицу продукции при новом методе меньше, чем при старом, или тогда, когда старые производственные мощности

полностью списаны в соответствии с нормой списания, существовавшей до появления нового метода. Ведь если новые машины, как ожидается, должны работать и по истечении первоначально рассчитанного срока работы старых, то их остаточная дисконтированная стоимость, приведенная к концу этого срока, является дополнительным активом, стоимость которого надо учитывать. По схожим причинам нельзя утверждать, что социалистический управляющий, действующий рационально, всегда незамедлительно внедрит любой новый метод, если он обещает снижение удельных издержек, и что это всегда принесет пользу обществу. И еще один момент [Разумеется, можно выделить и много других моментов, однако, рассматривая несколько принципиальных вопросов, мы не можем уделить должное внимание всем затронутым темам.], который здесь важно учитывать и который, как правило, упускают из виду. Речь идет о том, что можно было бы назвать сохранением капитала *ex ante* в ожидании будущего улучшения дел. Часто, а может быть, всегда перед концерном не стоит вопрос, внедрять или не внедрять новый метод производства, который является оптимальным и может в данном виде просуществовать

определенный период времени. Как правило, машина нового типа является лишь звеном в общей цепи усовершенствований и в любое время может устареть. Очевидно,

что в подобных случаях было бы нерационально последовательно внедрять всю цепь, звено за звеном, не обращая внимание на потери капитала. Следовательно, главный вопрос состоит в том, с какого звена начать. Ответ на этот вопрос может быть лишь компромиссом между различными соображениями, основанными преимущественно на

догадках. Как известно, для того, чтобы принять решение, требуется немного подождать, чтобы проследить за тем, как будет вести себя вся цепь. Но новичку, смотрящему со стороны, это выжидание может тем временем показаться попыткой удушить нововведение для того, чтобы сохранить стоимость существующего капитала. Однако самый терпеливый товарищ возмутился бы, если бы социалистический управляющий был настолько глуп, чтобы послушаться теоретика, предлагающего ему списывать все сооружения, машины и оборудование каждый год.

5. Большая часть этой главы посвящена фактам и проблемам, которые в обыденном словоупотреблении связываются с монополией и монополистическим поведением. Однако до сих пор я воздерживался от употребления этих терминов, предполагая

обсудить их в специальном пункте, в котором, впрочем, читатель не найдет ничего такого, чего мы уже так или иначе не касались.

(а) Начнем с самого термина. Монополист означает "единственный продавец". Следовательно, монополистом по определению является всякий, кто продает нечто, отличающееся по любому признаку (включая упаковку, расположение торговой точки и способ обслуживания) от того, что продают другие: любой лавочник или продавец мороженого, организационно не связанный с другими продавцами мороженого данного сорта. Однако, говоря о монополистах, мы имеем в виду нечто иное, а именно таких

единственных продавцов, чьи рынки закрыты для потенциальных продавцов того же самого товара и имеющихся продавцов аналогичных товаров. Иными словами, речь идет о таких единственных продавцах, кривая спроса на продукцию которых не зависит ни от их собственных действий, ни от реакции на эти действия других фирм. Традиционная теория монополии Курно-Маршалла, развитая и дополненная более

поздними авторами, справедлива только при данном определении. Называть же монополией что-то другое, к чему эта теория неприменима, видимо, не имеет смысла.

Но при таком определении становится очевидным, что чистые явления длительной монополии крайне редки и даже приближенные к ней ситуации встречаются реже, чем случаи совершенной конкуренции.

В условиях чистого капитализма возможность эксплуатировать по своему усмотрению неизменный уровень спроса - или уровень, изменение которого не зависит от действий монополиста и от реакции, которую они вызывают, - не может существовать

достаточно долго, чтобы оказать влияние на общий объем производства, за исключением тех случаев, когда за такой монополией стоит государственная власть (например, фискальной монополии).

Трудно найти или даже представить себе современный концерн, не пользующийся в полной мере государственной поддержкой (даже если он защищен импортными пошлинами или ограничениями), который обладал бы такой властью в течение длительного времени. Даже железнодорожные и энергетические концерны должны были вначале создать рынок для своих услуг, а затем защищать его от вторжения конкурентов. Что же касается других отраслей, то быть единственным продавцом и оставаться таковым в течение десятилетий можно лишь при условии, что не будешь вести себя как монополист. Что же касается краткосрочной монополии, то о ней будет сказано ниже.

Откуда же взялись все эти разговоры о монополии? Ответ на этот вопрос небезынтересен для тех, кто изучает психологию политических дебатов. Разумеется,

понятие монополии, как и любое другое понятие, часто употребляется не строго. Иногда говорят, что у данной страны есть монополия на что-то [Эти так называемые

монополии недавно вышли на первый план в связи с предложениями не поставлять государствам-агрессорам определенные виды материалов. Уроки этой дискуссии по аналогии имеют некоторое отношение и к нашей проблеме. Сперва эффективность этих

санкций считалась высокой, но затем было установлено, что список запрещенных к вывозу материалов сокращается, поскольку стало ясно, что лишь немногие из них не

могут быть произведены или заменены субститутами в странах, подвергшихся санкциям. В конце концов возникло убеждение, что какое-либо воздействие может быть только краткосрочным, а долгосрочные процессы практически всегда позволяют обойти санкции.], даже если соответствующая отрасль является вполне конкурентной

и т.д. Но это еще не все. Экономисты, государственные служащие, журналисты и политики в этой стране любят употреблять это слово как жупел, способный вызвать неизменно враждебное отношение обществу.

В Англии и Америке монополию проклинали и связывали с бесплодной эксплуатацией еще с XVI-XVII вв., когда английская администрация создавала большое количество монополий, деятельность которых, с одной стороны, полностью соответствовала теоретической модели монополистического поведения, а с другой - по праву вызывала всеобщее возмущение, которое производило впечатление даже на саму

великую Елизавету.

У народов хорошая память. В наши дни мы можем убедиться в этом и на других, более важных примерах. Монополистическая деятельность елизаветинских времен сформировала у англоговорящих народов привычку приписывать этой зловещей силе практически все неприятное, что они находили в сфере бизнеса. Для типичного либерального буржуа монополия - прародительница всех пороков, его главный супостат. Адам Смит, имевший дело с монополиями тюдоровского и стюартовского типов, третировал их с позиций высокой морали [Это не критическое осуждение монополий Адамом Смитом и другими классиками можно оправдать тем, что в их время

еще не существовало большого бизнеса в нашем смысле. Но и с учетом этого они заходили слишком далеко. Отчасти причиной является то, что классики не располагали удовлетворительной теорией монополии и использовали этот термин без разбора (Адам Смит и даже Сениор считали, к примеру, земельную ренту монопольным

доходом). Они также считали, что власть монополиста практически безгранична, что, разумеется, неверно даже для наиболее одиозных случаев.]. Сэр Роберт Пиль [Пиль Р. (1788-1850) - премьер-министр Англии в 1834-1835, 1841-1846 гг. от партии тори. В 1846 г. отменил протекционистские хлебные законы, что вызвало раскол в его партии.], который, как и большинство консерваторов, иногда прибегал

к демагогии, в своей знаменитой последней речи, так обидевшей его коллег, говорил о хлебной или пшеничной монополиях, хотя производство зерна в Англии, несмотря на протекционизм, было отраслью, где господствовала совершенная конкуренция [На этом примере заметно, как термин "монополия" используется совершенно неуместным образом. Протекционистская политика в области импорта сельскохозяйственных продуктов и монополия на их продажу - это совершенно разные

вещи. Борьба шла именно вокруг протекционизма, а не по поводу несуществующего контроля земельных собственников или фермеров. Но чтобы победить протекционизм, надо было получить массовую поддержку, а для этого не было лучшего средства, чем обозвать его сторонников монополистами.]. В США слово "монополия" стало практически синонимом крупной фирмы.

(b) Теория учит нас, что за редким исключением монополия должна быть выше

конкурентной, а объем производства при монополии меньше, чем при конкуренции. Это верно в том случае, если способ производства, его организация и все остальное в обоих случаях одинаковы. На самом деле в распоряжении монополиста могут находиться способы производства, недоступные или труднодоступные для его конкурентов. Дело в том, что существуют преимущества, которых в принципе можно добиться и конкурентному предприятию, но гарантированы они только монополиям. Например, монополия может увеличить сферу действия более умных людей и уменьшить сферу действия менее умных [Отметим, что, хотя это преимущество в принципе несомненно, менее умные управляющие, особенно если они не контролируются собственниками, отрицают его, в чем их поддерживают общественность и экономисты. Это, видимо, связано с недооценкой экономии на издержках и улучшения качества, присущих квазимонополистическим комбинациям. Эта

недооценка столь же распространена сейчас, как завышенная оценка в период создания этих комбинаций (ее обычно давали их организаторы).]. Монополия может также иметь на порядок более устойчивое финансовое положение. Всюду, где действуют эти преимущества, вышеупомянутый принцип не действует, иными словами, данный аргумент в пользу конкуренции не работает, потому что при разных уровнях производственной и организационной эффективности монополиям цены не обязательно

выше конкурентных, а объем производства при монополии ниже, чем при конкуренции.

Вряд ли можно сомневаться, что в наше время превосходство такого рода присуще типичной крупной единице контроля, хотя сам по себе размер не является ни необходимым, ни достаточным его условием. Эти единицы контроля не просто возникают в процессе созидательного разрушения и функционируют способом, совершенно не совпадающим со статической схемой: во многих важных случаях они создают предпосылки для достижений. Они часто сами создают преимущества, которые

эксплуатируют. Поэтому общепринятый вывод об их долгосрочном воздействии на объем производства будет неверным, даже если они являются истинными монополистами в строгом смысле слова. Мотивация здесь безразлична. Даже если единственной целью производителя является возможность устанавливать монопольные цены, наличие усовершенствованных способов

производства и большого управленческого аппарата сдвигает оптимальную для монополиста цену в сторону конкурентной цены в указанном выше смысле. Таким образом монополии частично или полностью выполняют функцию конкуренции, даже если объем производства ограничивается и налицо постоянный избыток производственных мощностей, а иногда справляются с этой функцией лучше, чем сам конкурентный механизм [ "Американская алюминиевая компания" не является монополией в строгом смысле слова хотя бы потому, что ей пришлось самой создавать спрос на свою продукцию, а это никак не укладывается в модель Курно-Маршалла. Однако большинство экономистов называют ее монополией, и мы за недостатком примеров частной монополии поступим так же. С 1890 по 1929 г. цена основного продукта, который продает этот единственный продавец, упала примерно на 12 % или, если сделать поправку на изменение общего уровня цен, на 8, 8 %. При этом производство возросло с 30 до 103400 т. Срок патента истек в 1909 г. Экономисты, критикующие эту "монополию за высокие издержки и большие прибыли, молчаливо предполагают, что множество конкурирующих фирм в данной отрасли смогли бы добиться не меньших успехов в сокращении издержек, внедрении наиболее экономичного производственного аппарата, исследовании новых областей применения алюминия и избежать разорительных банкротств. Таким образом, эти критики абстрагируются от основной движущей силы современного капиталистического развития. ]

Разумеется, если при монополизации не усовершенствуются способы производства и его организации (как это обычно случается при образовании картелей), классическая теорема о монопольной цене и монопольном объеме производства вступает в свои права [См., однако, пункт 1 этой главы.]. То же самое можно сказать и о другой популярной идее об "усыпляющем" воздействии монополизации. Нетрудно найти соответствующие примеры, но построить на них общую теорию нельзя.

Монопольное положение, в особенности в обрабатывающей промышленности, - это не подушка, на которой удобно спать. Как приобрести, так и сохранить его невозможно

без полной концентрации внимания и больших затрат энергии. Вялость современного бизнеса объясняется совсем другой причиной, о которой будет сказано ниже.

(с) В краткосрочном аспекте мы гораздо чаще имеем дело с настоящими монопольными ситуациями или близкими к ним. Лавочник из деревушки на реке Огайо может быть истинным монополистом в течение нескольких часов или даже дней, когда

наводнение отрешет деревню от остального мира. Каждый удачливый спекулянт в определенный момент является монополистом. Фирма, производящая бумажные этикетки

для пивных бутылок, может оказаться в таком положении, - предположим, потенциальные конкуренты понимают, что если они войдут в отрасль, то прибыль тут же исчезнет, - в котором она по своему выбору может свободно передвигаться по некоторому конечному участку кривой спроса, по крайней мере до тех пор, пока внедрение металлических этикеток не разнесет эту кривую вдребезги.

Новые способы производства и особенно новые товары сами по себе совсем не обязательно ведут к монополии, даже если их применяет или производит одна единственная фирма. Продукт, произведенный новым способом, должен конкурировать с продуктом, изготовленным старыми способами, а новый товар надо еще продвинуть на рынок, т.е. создать на него спрос. Как правило, ни владения патентом, ни монополистического поведения недостаточно, чтобы решить эти задачи. Исключениями

могут быть случаи, когда новая техника явно превосходит прежнюю (особенно если ее можно арендовать, как, например, станки для изготовления обуви) или когда устойчивый спрос на новый товар успевает сформироваться до того, как истечет срок патента.

Таким образом, в предпринимательской прибыли, которую в капиталистическом обществе получает удачливый новатор, содержится или может содержаться элемент

монопольного дохода. Однако количественная значимость этого элемента, его кратковременный характер и специфическая функция заставляют выделить его в особый класс. Основная ценность, которую представляет для концерна позиция единственного продавца, обеспечиваемая патентом или монополистической стратегией, состоит не столько в том, что концерн временно получает возможность вести себя как монополист, сколько в том, что эти условия страхуют его от возможной дезорганизации рынка и позволяют применить долгосрочное планирование. Здесь, однако, в наших аргументах начинает повторяться то, что уже было сказано.

6. Подводя итоги этой главы, мы должны сказать, что большая часть фактов и доводов, в ней приведенных, развеивает ореол вокруг совершенной конкуренции и заставляет нас в более благоприятном свете рассматривать ее альтернативу - монополию. Сейчас я переформулирую наши аргументы под этим углом зрения. Даже сама традиционная теория в рамках избранного ею предмета - стационарного состояния экономики или устойчивого роста - со времен Маршалла и Эджуорта обнаружила растущее число исключений из старых правил, касающихся совершенной конкуренции и в некоторой степени свободной торговли. Это поколебало безграничную веру в их достоинства, свойственную поколению экономистов от Рикардо до Маршалла - грубо говоря, поколению Дж.С.Милля в Англии и Франческо Феррары в континентальной Европе. В особенности ослабла прежняя вера в то, что система совершенной конкуренции наиболее экономично расходует ресурсы и распределяет их оптимальным при данном распределении дохода образом. Эта предпосылка тесно связана с проблемой движения объема производства [Поскольку мы

не можем останавливаться на этом предмете более подробно, я отошлю читателя к статье Р.Ф.Кана (Kahn R.F. Some Notes on Ideal Output // Economic Journal. 1935.

March).].

Более серьезную брешь пробили недавние работы в области динамической теории (Фриш, Тинберген, Рус, Хикс и др.). Динамический анализ - это анализ временных последовательностей. Объясняя, почему некоторая экономическая величина, например

цена, именно такова, как она есть, он учитывает не только уровень других экономических величин в данный момент, как это делает статическая теория, но и их прошлые, а также ожидаемые будущие значения. Исследуя взаимосвязи между величинами, относящимися к различным моментам времени [Термин "динамика" употребляется во многих значениях. Приведенное нами определение принадлежит Рагнару Фришу.], мы первым делом убеждаемся, что, если равновесие по какой-либо причине нарушено, процесс установления нового равновесия протекает не так надежно, быстро и экономично, как утверждает старая теория совершенной конкуренции. Более того, возможно, что сами попытки адаптации приведут систему в еще более неравновесное состояние, чем раньше. Так произойдет в большинстве случаев, если возмущающее воздействие достаточно велико. Во многих случаях процесс адаптации с временным лагом неизбежно приведет к таким результатам. Сказанное я могу проиллюстрировать хорошо известным простейшим примером. Предположим, что на совершенном конкурентном рынке пшеницы спрос и ожидаемое предложение находятся в равновесии, но плохая погода сокращает урожай, а значит,

и предложение относительно уровня, запланированного фермерами. Если цена повысится, а фермеры сочтут ее равновесной и увеличат производство, то в будущем

году на рынке произойдет резкое падение цен. Тогда фермеры сократят производство, цена возрастет и может превысить уровень первого года. Это в свою очередь вызовет рост производства больший, чем во второй год. И так далее до бесконечности (по крайней мере, такова логика процесса). Вспомнив предпосылки нашей модели, читатель, конечно, придет к выводу, что на практике все более высокие цены и все более возрастающие объемы производства вряд ли будут чередоваться до судного дня. Но тем не менее сама возможность такого явления обнажает слабости в механизме совершенной конкуренции. И как только мы убедимся в их наличии, наш оптимизм по поводу практической реализации этой теории начнет улетучиваться.

Но мы должны идти дальше [Следует заметить, что характер динамической теории не имеет ничего общего с характером экономической реальности, к которой она применяется. Это не изучение конкретного процесса, а общий метод анализа. Мы

можем использовать динамическую теорию и для анализа стационарной экономики, так же как изменяющуюся экономику можно исследовать с помощью статического метода ("сравнительная статика"). Поэтому динамическая теория вовсе не обязана заниматься процессом созидательного разрушения, который мы признали сущностью капитализма (и, действительно, им еще не занималась). Разумеется, она лучше, чем

статическая теория, подготовлена к рассмотрению многих вопросов, которые возникают при анализе этого процесса. Но сама по себе она анализом этого процесса не является и трактует возникающие в результате него изменения существующих ситуаций и структур как обычные возбуждения. Таким образом, оценивать функционирование совершенной конкуренции с точки зрения капиталистической эволюции и с точки зрения динамической теории - это разные вещи.]

Если мы попробуем представить себе, как функционирует или могла бы функционировать совершенная конкуренция в рамках процесса созидательного разрушения, мы получим еще менее утешительные результаты. Это вряд ли может нас удивить, поскольку в модели экономической жизни, соответствующей предпосылкам совершенной конкуренции, отсутствуют все основные моменты этого процесса. Рискуя

повториться, я все же еще раз проиллюстрирую этот тезис.

Совершенная конкуренция предполагает свободный вход в каждую отрасль. В рамках этой модели свобода входа действительно является условием оптимального размещения ресурсов и, следовательно, максимизации производства. Если бы наша экономика состояла из постоянного набора отраслей, производящих одинаковый ассортимент товаров в принципе неизменными способами, и если бы единственное изменение в ней состояло в том, что новые люди, привлекая дополнительные сбережения, создавали новые фирмы традиционного образца, то барьеры на вход в ту

или иную отрасль действительно причиняли бы обществу убыток. Но совершенно свободный вход в новую отрасль невозможен. Внедрение новых способов производства

и новых товаров с самого начала несовместимо с совершенной (и мгновенной) конкуренцией. Но это означает, что с ними несовместимо то, что мы, собственно говоря, называем экономическим прогрессом. И действительно совершенная конкуренция - автоматически или в результате специальных мер - временно разрушается и всегда разрушалась всюду, где появлялось что-либо новое, даже если

все остальные предпосылки совершенной конкуренции были налицо.

Аналогично в рамках традиционной системы обвинительный приговор жестким ценам вполне справедлив. Жесткость цен препятствует быстрой адаптации, которую предусматривает совершенная конкуренция. Для тех условий и для того типа адаптации, которые фигурируют в традиционной теории, это опять-таки ведет к потерям и сокращению производства. Но мы уже видели, что для переменчивого, прерывистого процесса созидательного разрушения справедливо обратное: совершенная гибкость может, напротив, вести к катастрофам. К тому же выводу приходит и общая динамическая теория, которая, как упоминалось выше, показывает,

что некоторые попытки адаптации лишь усугубляют неравновесие.

Далее, в рамках своих предпосылок традиционная теория справедливо утверждает, что превышение прибылью уровня, достаточного, чтобы привлечь равновесные количества средств производства (включая предпринимательские способности), свидетельствует о потерях для общества, а стратегия, направленная на удержание этих прибылей, препятствует росту объемов производства. Совершенная конкуренция предотвращает или мгновенно устраняет эту избыточную прибыль и не оставляет возможности для названной стратегии. Но поскольку в процессе капиталистической эволюции эти прибыли выполняют новые органичные функции, - я не буду повторять, в чем они состоят, - это факт и его влияние на рост совокупного продукта уже нельзя оценивать, исходя из модели совершенной конкуренции.

Наконец, можно показать, что при тех же предпосылках, исключая наиболее характерные черты капиталистической действительности, экономика, в которой господствует совершенная конкуренция, не является расточительной в отличие от своей противоположности. Но это еще ничего не говорит нам о том, как с этим обстоит дело в процессе созидательного разрушения.

С другой стороны, в этом процессе не может считаться бесцельной растратой ресурсов многое из того, что в иных условиях таковой считается. Например, излишние мощности, создающиеся для того, чтобы "опередить спрос" или иметь запас

в момент циклического максимума спроса, при совершенной конкуренции были бы намного сокращены. Но приняв во внимание все обстоятельства, уже нельзя сказать,

что совершенная конкуренция в данном случае предпочтительна. Хотя концерн, который не может определять цену, а воспринимает ее как данность, действительно использует все свои мощности, если при этом существующая цена покрывает предельные издержки, он никогда не смог бы создать мощности такого размера и качества, как большой бизнес, который может использовать их как стратегический резерв. Избыточные мощности такого рода в некоторых случаях, хотя далеко не во всех, могут быть преимуществом социалистической экономики. Но, во всяком случае,

они никак не могут подтвердить превосходство совершенной конкуренции над "монопоидными" разновидностями капиталистической экономики.

С другой стороны, в условиях капиталистической эволюции механизм совершенной конкуренции порождает свои собственные растраты. Фирмы того типа, который согласуется с предпосылками совершенной конкуренции, во многих случаях менее эффективны с внутрифирменной, в особенности технологической, точки зрения. При этом они растрачивают лучшие возможности. Кроме того, в попытках усовершенствовать технологию они могут неэффективно использовать капитал, поскольку в их положении труднее оценить и использовать новые возможности. Наконец, как мы уже видели, отрасль, в которой условия приближаются к совершенной конкуренции, гораздо более, чем большой бизнес, подвержена кризисам под влиянием прогресса или внешних возмущений и может распространять бациллы депрессии. В конечном счете американское сельское хозяйство, английские угольные

шахты и текстильные фабрики стоят потребителям гораздо больше и влияют на совокупное производство гораздо хуже, чем в том случае, если бы каждая из этих отраслей контролировалась дюжиной умных людей.

Таким образом, недостаточно утверждать, что, поскольку совершенная конкуренция в

условиях современного индустриального общества невозможна, - или всегда была невозможна, - мы должны примириться с крупным предприятием как с неизбежным злом, неотделимым от экономического прогресса. Мы должны признать, что крупное предприятие стало наиболее мощным двигателем этого прогресса и в особенности долговременного наращивания объемов производства не только вопреки, но и благодаря той стратегии, которая в каждом индивидуальном случае и в каждый момент времени выглядит ограничительной.

В этом отношении совершенная конкуренция не только невозможна, но и нежелательна

и никак не может считаться образцом идеальной эффективности.

Следовательно, ошибочно строить теорию государственной промышленной политики исходя из принципа, что большой бизнес надо заставить работать так, как работала

бы данная отрасль в условиях совершенной конкуренции. А социалистам следовало бы

в своей критике современного капитализма опираться не на конкурентную модель, а на достоинства социалистической экономики.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава девятая. Передышка для пролетариата

Достигло ли наше исследование поставленных перед ним задач - решать читателю. Экономическая наука основана на наблюдении и интерпретации и применительно к проблемам, которые мы здесь обсуждаем, разница точек зрения может уменьшиться, но уж никак не исчезнуть. По той же причине решение первой нашей проблемы только

подводит нас к порогу следующей: ситуация, несвойственная экспериментальным наукам.

Первая проблема состояла в том, чтобы выяснить, существует ли связь между структурными характеристиками капитализма, отраженными в различных аналитических "моделях", и показателем экономического развития, которым для эпохи свободного, ничем не ограниченного капитализма является индекс совокупного

общественного продукта. Мой утвердительный ответ на этот вопрос основывался на аргументации, с которой согласились бы большинство экономистов до того момента, когда на сцену выступила так называемая современная тенденция к монополистическому контролю. После этого мой анализ отклонился от проторенных путей в попытке показать, что свойства, единогласно приписываемые капитализму совершенной конкуренции (понимаемому либо как теоретическая схема, либо как историческая реальность, существовавшая когда-то в прошлом), присущи, причем едва ли не в большей степени, капитализму большого бизнеса. Однако, поскольку мы

лишены возможности поместить двигатель капиталистического развития в установку для экспериментов и провести его испытания при строго контролируемых условиях, мы не можем строго доказать, что результатом эксперимента явился бы именно фактический темп роста совокупного продукта. Все, что мы можем, - это констатировать, что этот темп был весьма впечатляющим, а капиталистическая среда этому способствовала. И именно поэтому мы не можем остановиться здесь и должны рассмотреть следующую проблему.

A priori все еще возможно объяснить наблюдавшийся экономический рост чрезвычайными обстоятельствами, влияние которых сказалось бы в любой институциональной среде. Единственный способ исключить эту возможность - рассмотреть экономическую и политическую историю данного периода и проанализировать все имевшиеся чрезвычайные обстоятельства, о которых писали экономисты и историки. Рассмотрим те из них, которые не имеют прямого отношения к капиталистическому процессу. Их всего пять.

Первый фактор - государственная политика. Хотя я согласен с Марксом в том, что политика и политики являются не независимыми факторами, а лишь элементами изучаемого нами общественного процесса, мы рассмотрим их здесь как внешние факторы по отношению к деловому миру. В этом отношении период с 1870 до 1914 г. представляет собой почти идеальный случай. Трудно найти период, столь свободный и от стимулирующего, и от замедляющего воздействия на экономику со стороны политической сферы общественного процесса. Оковы с предпринимательской деятельности и с промышленности и торговли в целом были в основном сняты еще до наступления этого периода. Правда, появлялись новые оковы и тяготы, связанные с социальным законодательством и т.п., однако никому не придет в голову утверждать, что они оказывали существенное влияние на экономическую ситуацию до 1914 г. Шли войны, но ни одна из них не имела жизненно важного экономического значения. Может возникнуть сомнение относительно последствий франко-прусской войны, завершившейся образованием Германской империи. Однако на самом деле экономическое значение имело образование Таможенного союза. Существовали расходы на вооружение. Но на протяжении десятилетия, окончившегося 1914 годом, когда эти расходы приняли действительно значительные размеры, они были скорее помехой, чем стимулом.

Второй фактор - золото. К счастью, нам нет необходимости углубляться в дебри теоретических проблем, связанных с новым притоком золота и его избытком в 1890-е годы. Дело в том, что в 1870-1890-е годы избытка золота еще не наблюдалось, между тем как совокупный продукт рос не менее быстрыми темпами, чем

впоследствии. Следовательно, производство золота не могло быть решающим фактором, влиявшим на экономическое развитие капитализма, хотя его влияние на фазы процветания и депрессии не исключено. То же самое можно сказать о денежной политике, которая в данный период скорее приспособлялась к стихийным изменениям, чем играла активную роль.

Третьим фактором, несомненно оказывающим существенное воздействие на

экономическую ситуацию, был рост населения. Однако не ясно, в какой мере он был причиной, а в какой - следствием экономического прогресса. Если мы не станем утверждать, что он был только следствием, и предполагать, что любое изменение производства влечет за собой соответствующее изменение населения, отвергая всякое обратное влияние (что было бы, конечно, абсурдно), этот фактор следует отнести к бесспорным кандидатам на роль детерминанта экономического развития. Здесь мы лишь кратко сформулируем нашу точку зрения по этому поводу. При любой организации общества большее число работников всегда произведет больше

продукта, чем меньше. Поэтому, поскольку некоторая часть прироста населения в данный период не может быть отнесена на счет самой капиталистической системы, - в том смысле, что она произошла бы при любой системе, - этот фактор следует считать внешним по отношению к последней. В той мере, в какой это действительно так, показатели экономического роста завышают достижения капитализма.

Однако при любой организации общества большее число работников при прочих равных условиях, как правило, производит меньшую величину продукта в расчете на каждого работника или на душу населения. Это следует из того факта, что чем больше число работников, тем меньше величина других факторов производства, приходящихся на одного работника [Эта формулировка не до конца может нас удовлетворить, однако в данном случае ее вполне достаточно. Ко времени, о котором идет речь, капиталистическая часть мира, взятая в целом, безусловно, уже

переступила черту, до которой действует противоположная тенденция.]

Следовательно, если показателем, измеряющим экономический рост при капитализме, мы изберем продукт на душу населения, то наблюдаемый рост занижает достижения капитализма, поскольку часть этих достижений заключалась в том, чтобы компенсировать падение душевого продукта, которое произошло бы в отсутствие капиталистической системы. Другие аспекты этой проблемы будут рассмотрены ниже.

Четвертый и пятый факторы более популярны среди экономистов, но применительно к прошлому экономическому развитию они не играли важной роли. Прежде всего речь идет о новых землях. Большие пространства, вовлеченные в течение данного периода в экономическое использование для стран Америки и Европы; получаемые оттуда обильные потоки продовольствия, сельскохозяйственного и прочего сырья; бурно развивающиеся города и отрасли, перерабатывающие эти потоки, - не было ли все это исключительным, поистине уникальным фактором, определявшим экономическое

развитие? Не могло ли это благоприятное стечение обстоятельств стать источником огромных богатств при любой экономической системе, которой посчастливилось бы воспользоваться его результатами? Одна из школ социалистической мысли придерживается именно такого мнения и объясняет этим обстоятельством тот факт, что, вопреки прогнозу Маркса, постоянное увеличение нищеты так и не наступило. Они считают, что эксплуатация труда не возрастает благодаря эксплуатации новых земель. Этот фактор позволяет пролетариату получить передышку.

Бесспорно, существование новых земель открывало новые важные возможности. Разумеется, эти возможности были уникальны. Но "объективные возможности", т.е. возможности, возникающие независимо от социальной среды, всегда являются предпосылками прогресса, и каждая из них исторически уникальна. Наличие угля и железной руды в Англии или нефти в той или иной стране не менее существенно и представляет собой не менее уникальную возможность. Весь капиталистический процесс, как и любой эволюционный экономический процесс, в сущности и состоит в использовании этих возможностей по мере того, как дни попадают в поле зрения деловых людей. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы выделять именно данную возможность и рассматривать ее как внешний фактор. Тем более если мы вспомним, что открытие новых земель шаг за шагом осуществлял не кто-нибудь, а капиталистические предприятия, которые к тому же создавали и все условия для этого (строительство железных дорог и электростанций, судоходство, ввоз сельскохозяйственной техники и т.д.). Таким образом, этот процесс был одним из капиталистических достижений наравне с прочими. Результаты его внесли свой вклад в достижение двухпроцентного экономического роста, который мы здесь обсуждаем. И вновь за поддержкой нашей точки зрения мы можем обратиться к "Коммунистическому манифесту".

Наконец, последний фактор - технический прогресс. Может быть, экономический рост

был порожден потоком изобретений, революционизировавших производственный аппарат, а вовсе не погоней бизнесменов за прибылью? Мы даем отрицательный ответ

на этот вопрос. Важнейшим, сущностным элементом этой погони за прибылью было как раз воплощение технических новинок. И даже сами изобретения, как будет объяснено

чуть ниже, были функцией капиталистического процесса: он порождал привычку к тем формам умственной деятельности, которые ведут к открытиям. Поэтому совершенно ошибочна - и, кстати, противоречит марксизму - точка зрения многих экономистов, согласно которой капиталистическое предприятие и технический прогресс представляют собой два различных фактора, способствовавших экономическому росту, - это по существу одно и то же или, если мы предпочтем иную формулировку, первый фактор является движущей силой второго. Если мы прибегнем к экстраполяции, то факторы новых земель и технического прогресса будут представлять особую проблему. Хотя они принадлежат к достижениям

капитализма, эти достижения вполне могут больше не повториться. И хотя мы теперь

доказали, что высокий темп роста производства в расчете на душу населения в эпоху полного расцвета капитализма не был случайным, а отражал достижения капиталистической системы, нам надо ответить еще на один вопрос; правомерно ли предполагать, что капиталистическая машина, скажем, в ближайшие сорок лет будет работать (или могла бы работать, если бы ей дали такую возможность) столь же успешно, как в прошлом.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава десятая.  
Исчезновение инвестиционных возможностей

Суть этой проблемы наиболее доходчиво можно пояснить на фоне одной современной дискуссии. Нынешнее поколение экономистов видели не только мировую депрессию небывалой глубины и продолжительности, но и последующий период слабого, то и дело прерывающегося оживления. Я уже изложил свою интерпретацию этих явлений [См. гл. V.] и причины, в силу которых я не считаю, что они обозначают перелом в

эволюции капитализма. Однако вполне естественно, что многие, если не большинство

моих коллег, придерживаются другой точки зрения. Точно так же, как некоторые их предшественники в период между 1873 и 1896 гг., они чувствуют, что в капиталистическом процессе происходят фундаментальные перемены. С их точки зрения, мы являемся свидетелями не просто депрессии и слабого оживления, возможно усугубленных антикапиталистической государственной политикой, но симптомов того, что капитализм навсегда утратил свою жизнеспособность. Эта тема,

по их мнению, станет лейтмотивом всех последующих частей капиталистической симфонии. Следовательно, основываясь на прошлом, мы не можем сделать никаких прогнозов относительно будущего капиталистической системы.

Этой точки зрения придерживаются многие из тех, у кого желания забегают вперед мыслей. Но мы должны понять, почему социалисты, не относящиеся к последней категории, с таким проворством ухватились за этот счастливый случай, причем некоторые из них по этому поводу полностью поменяли свои аргументы против капитализма. Сделав это, они получили дополнительные выгоды от того, что вернулись к Марксовой традиции, которую, как я уже отмечал, квалифицированным экономистам-марксистам все более приходилось отбрасывать за ненадобностью. Дело в том, что, как отмечалось в первой главе, Маркс предсказывал такое развитие событий: капитализм перед своим окончательным крахом должен вступить в стадию

перманентного кризиса, время от времени прерываемого слабыми подъемами или благоприятными случайными событиями. Это еще не все. Один из Марксовых аргументов заключался в том, что концентрация и централизация капитала неблагоприятно скажутся на норме прибыли, а значит, и на инвестиционных возможностях. Поскольку капиталистический процесс всегда в значительной мере приводился в движение с помощью значительных текущих инвестиций, то даже частичная приостановка их будет достаточна для того, чтобы сделать прогноз о том, что дело идет к краху. Этот марксистский аргумент, несомненно, согласуется не только с реальностями последнего десятилетия: безработицей, избыточными резервами, перенасыщением денежных рынков, неудовлетворительными показателями прибыли, стагнацией частных инвестиций, - но и с некоторыми немарксистскими интерпретациями. Между Марксом и Кейнсом явно нет такой пропасти, которая была между Марксом и Маршаллом или Викселлем. И марксистскую, и немарксистскую доктрину здесь можно охарактеризовать как теорию исчезающих инвестиционных возможностей [См. мою работу "Business Cycles". Ch. 15.].

Эта теория в действительности имеет дело с тремя отдельными проблемами. Первая формулируется в точности так же, как заголовок этой части. Поскольку ничто в человеческом обществе не существует вечно и поскольку капиталистический строй образует структуру процесса не только экономических, но и политических изменений, то не трудно представить себе разнообразие ответов на этот вопрос. Второй вопрос состоит в том, следует ли придавать особое значение силам и механизмам, фигурирующим в теории исчезающих инвестиционных возможностей. В следующих главах я собираюсь изложить свою теорию относительно того, что может в конечном счете убить капитализм, но у моей теории есть некоторые сходные черты с той, которую мы рассматриваем сейчас. Но есть и третья проблема. Если даже сил и

механизмов, описанных в теории исчезающих инвестиционных возможностей, вполне достаточно для того, чтобы в капиталистическом процессе существовала долговременная тенденция, ведущая его в тупик, из этого еще не следует, что несчастья последнего десятилетия были связаны именно с ними и - что особенно важно для нас - что сходные неприятности будут продолжаться в течение следующих сорока лет.

В данный момент мы займемся главным образом третьей проблемой, но многое из того, что я хочу сказать, имеет отношение и ко второй. Факторы, которые, как принято считать, оправдывают пессимистические прогнозы относительно развития капитализма в ближайшем будущем и исключают повторение прошлых успехов, могут быть разделены на три группы.

Во-первых, это факторы, характеризующие среду, в которой протекает капиталистический процесс. Мы уже заявили и собираемся доказать наш тезис в дальнейшем, что капиталистический процесс порождает такое распределение политической власти и такую социально-психологическую установку, отражающуюся в соответствующей политике, которые враждебны самому этому процессу. Можно ожидать, что в будущем они наберут силу и приведут к перебоям в работе капиталистической машины. Этот феномен мы рассмотрим ниже. То, что будет сказано сейчас, следует воспринимать с надлежащими оговорками. Но надо отметить, что данная установка и другие родственные факторы влияют и на мотивацию внутри самой буржуазной экономики, основанной на прибыли. Поэтому оговорка более значительна, чем может показаться на первый взгляд, - речь идет не просто о "политике".

Во-вторых, это сама капиталистическая машина. Теория исчезающих инвестиционных возможностей не тождественна, но близка другой теории, согласно которой мир современного большого бизнеса являет собой окостеневшую форму капитализма, которой присущи монополистические барьеры, неподвижность цен, преисполненность сохранением ценности существующего капитала и так далее. С этой теорией мы уже разобрались.

Наконец, в-третьих, мы имеем дело, так сказать, с "топливом" для капиталистической машины, т.е. с возможностями для нового предпринимательства и инвестирования. Теория, которую мы сейчас рассматриваем, уделяет этому пункту настолько большое внимание, что мы сочли возможным дать ей соответствующее название. Предполагается, что основные причины исчезновения возможностей для частного предпринимательства и инвестирования связаны: с насыщением потребностей, замедлением прироста населения, исчерпанием новых земель и

технических возможностей и тем обстоятельством, что многие из существующих инвестиционных возможностей относятся скорее к сфере государственных, а не частных инвестиций.

1. Безусловно, для каждого данного состояния человеческих потребностей и технологии (в самом широком смысле этого слова) при каждой ставке реальной заработной платы существует определенный объем основного и оборотного капитала, который соответствует точке насыщения. Если бы потребности и технология были бы заморожены на уровне 1800 г., эта точка давно бы уже наступила. Можем ли мы представить себе, что в один прекрасный день потребности будут настолько удовлетворены, что их уровень больше никогда не будет расти? Мы рассмотрим некоторые аспекты этого гипотетического случая, но поскольку нас интересует перспектива на ближайшие сорок лет, мы, очевидно, можем игнорировать такую возможность.

Если же она когда-либо материализуется, то имеющее место сокращение рождаемости и тем более падение общей численности населения может стать важным фактором сокращения инвестиционных возможностей, если речь идет об инвестициях на расширение производства, а не на замещение капитала. Ведь если потребности каждого удовлетворены или почти удовлетворены, рост числа потребителей согласно принятой нами гипотезе будет единственным существенным источником дополнительного спроса. Но само по себе замедление прироста населения без связи с гипотезой о насыщении вовсе не угрожает инвестиционным возможностям, темпам роста продукта на душу населения [То же самое справедливо и в отношении некоторого сокращения абсолютной численности населения, которое, например, в недалеком будущем может случиться в Великобритании. (См. Charles E. London and Cambridge Economic Service, Memo N. 40)]. Значительное абсолютное сокращение населения вызовет дополнительные проблемы. Однако здесь мы от них абстрагируемся, поскольку в период времени, о котором идет речь, такая возможность нереальна. Еще один комплекс проблем, как политических и социально-психологических, так и экономических, создаст старение населения. Хотя

эти проблемы уже начинают осязать, - "лобби стариков" практически уже существует на практике - мы не можем ими здесь заняться. Но следует заметить, что пока пенсионный возраст не меняется, процент иждивенцев не обязательно будет

изменяться под воздействием сокращения доли населения моложе пятнадцати лет.]. Мы можем быстро убедиться в этом, рассмотрев аргументы противоположной стороны. С одной стороны, принято считать, что замедление прироста населения автоматически подразумевает замедление роста производства, а значит, и инвестиций, поскольку ограничивается рост спроса. Это совсем не обязательно. Потребности и эффективный спрос - не одно и то же. Если бы это было так, то наиболее бурный рост спроса наблюдался бы в самых бедных странах. На самом деле доход, высвобождаемый благодаря снижению рождаемости, может быть направлен не другому предназначению, в особенности в тех случаях, когда желание увеличить спрос на что-то иное является мотивом бездетности. Можно, конечно, утверждать, что рост спроса, который связан именно с ростом населения, более предсказуем и, следовательно, обеспечивает более надежные инвестиционные возможности. Но при данном уровне удовлетворения потребностей прирост спроса по альтернативным каналам не менее надежен. Разумеется, перспективы развития некоторых отраслей экономики, в особенности сельского хозяйства, не назовешь блестящими. Но это нельзя смешивать с перспективами роста совокупного продукта [Многие экономисты, кажется, считают, что рост населения как таковой является самостоятельным источником спроса на инвестиции. Действительно, разве всех этих новых работников

не следует вооружить средствами производства и обеспечить соответствующим сырьем? Однако это не столь очевидно, как кажется. Если только рост населения не

связан с падением заработной платы, для инвестиций не возникнет никаких особых стимулов. Кроме того, даже в случае снижения зарплаты следует ожидать возможного сокращения инвестиций на одного работника. ]

С другой стороны, можно было бы утверждать, что снижение рождаемости ограничит производство со стороны предложения. Быстрый рост населения в прошлом был одним из условий наблюдавшегося роста производства, и мы можем продолжить аргументацию

в противоположную сторону и предположить, что возрастающая редкость труда может

сдерживать производство. Однако этих аргументов мы что-то не слышим, и тому есть свои причины: достаточно сослаться на то, что в начале 1940 г. выпуск продукции обрабатывающей промышленности США составил примерно 120 % от средней величины за

1913-1925 гг., тогда как количество занятых в этих отраслях осталось на том же уровне, - вот вам и ответ на вопрос о ближайшем будущем! Текущий уровень безработицы; тот факт, что в связи с падением рождаемости все больше женщин высвобождаются для производительного труда, а сокращение смертности означает удлинение рабочего периода; неиссякаемый поток трудосберегающих нововведений; возможность (которой нет при быстром росте населения) отказаться от использования дополнительных факторов производства низкого качества, отчасти нейтрализуя закон убывающей отдачи, - все это заставляет согласиться с прогнозом

Колина Кларка, согласно которому выработка продукта за человеко-час возрастет при жизни следующего поколения [Clark C. National Income and Outlay. P. 21.]. Разумеется, труд можно сделать редким умышленно, проводя политику высокой заработной платы и короткого рабочего дня, а также путем негативного воздействия

политики на дисциплину работников. Сравнив экономическое развитие за период с 1933 по 1940 г. в США и Франции, с одной стороны, и в Японии и Германии - с другой, мы убедимся, что нечто в этом роде уже произошло. Однако этот феномен относится к группе факторов, характеризующих среду.

Как читатель вскоре убедится, я далек от того, чтобы легкомысленно относиться к проблеме роста населения. Снижение рождаемости представляется мне одним из важнейших явлений нашего времени. Мы убедимся в том, что даже с чисто экономической точки зрения оно имеет чрезвычайно важное значение и как симптом, и как причина смены мотивации. Однако это более сложная проблема. Здесь нас интересует только "механический" эффект замедления роста населения, а он, безусловно, не может лежать в основе пессимистических прогнозов роста совокупного продукта на душу населения в ближайшие сорок лет. Те экономисты, которые утверждают обратное, занимаются тем, к чему, к сожалению, всегда были склонны представители этой профессии: когда-то они совершенно безосновательно пугали публику большим количеством голодных ртов [Начиная с XVII в. практически все прогнозы численности населения были ошибочными. Этому есть, однако, некоторые оправдания. Можно оправдать и появление теории Мальтуса. Но я не вижу никаких оправданий тому, что она существует до сих пор. Во второй половине XIX в. всем должно было стать ясно, что единственное, что представляет ценность в Законе народонаселения Мальтуса, - это ограничения его действия. Первое десятилетие двадцатого века однозначно показало, что этот закон не более чем безобидное пугало. Однако не кто-нибудь, а сам Кейнс попытался воскресить его в период после первой мировой войны! В 1925 г. Г. Райт в своей книге о народонаселении писал о "растранжировании завоеваний цивилизации на чисто количественный рост населения". Неужели экономическая наука так никогда и не достигнет совершеннолетия?], теперь столь же безосновательно они пугают ее экономическими последствиями низкой рождаемости.

2. Теперь об открытии новых земель - уникальной инвестиционной возможности, которая никогда больше не повторится. Даже если мы согласимся с тем, что географическая граница дальнейшей экспансии человечества закрыта навсегда, - что

не очевидно, поскольку в настоящее время существуют пустыни, на месте которых некогда были поля и многолюдные города, - и даже если мы предположим, что ничто и никогда не сможет увеличить благосостояние человечества так, как это сделал поток продовольствия и сырья с этих новых земель, - что более правдоподобно - из

этого всего, тем не менее, не следует, что совокупный продукт на душу населения должен сокращаться или замедлить свой рост на протяжении следующей половины столетия. Этого можно было бы ожидать, если бы страны, вовлеченные в капиталистический мир в XIX в., подвергались эксплуатации в том смысле, что их довели бы до стадии убывающей отдачи. Но это не так, и как только что было отмечено, сокращение рождаемости снимает с повестки дня проблему, связанную с тем, что отдача, которую люди получают от природы, становится или уже стала меньшей, чем раньше. Технический прогресс переломил эту тенденцию, и можно с полной уверенностью предсказать, что в обозримом будущем мы будем жить при

изобилии сырья и продовольствия, позволяющем увеличивать производство в любом направлении, которое мы сочтем целесообразным. Это относится и к минеральному сырью.

Остается еще одна возможность. Хотя текущее производство продовольствия и сырья на душу населения не пострадает, а может быть, и возрастет, возможности для предпринимательства и, следовательно, для инвестиций, связанные с самим процессом освоения новых земель, исчезают с окончанием этого процесса.

Происходящее отсюда сокращение области применения сбережений может повлечь за собой всяческие трудности. Что же, давайте вновь предположим, что новые земли освоены до конца, и сбережения, которые не находят себе других областей применения, могут вызвать трудности и привести к расточительству. Оба предположения крайне нереалистичны. Но нам нет необходимости подвергать их сомнению, поскольку выводы относительно будущих темпов роста совокупного продукта основаны на третьем, уж вовсе абсурдном предположении об отсутствии других сфер применения сбережений.

Это третье предположение вызвано лишь недостатком воображения и является примером ошибки, часто искажающей интерпретацию исторических событий. Отдельные черты исторического процесса, поразившие аналитика в наибольшей степени, обоснованно или нет возводятся им в ранг фундаментальных факторов. Например, процесс, который обычно описывается как становление капитализма, примерно совпадает во времени с притоком в Европу серебра с рудников Потоси, а также с политической ситуацией, в которой расходы князей превышали их доходы, так что им

приходилось непрерывно прибегать к займам. Оба эти явления, очевидно, различными

способами повлияли на экономическое развитие того времени, с ними можно связать даже крестьянские восстания и религиозные движения. Поэтому аналитик склонен сделать вывод, что становление капиталистического строя находится в причинно-следственной зависимости с этими явлениями, и без них (а также без некоторых других факторов того же типа) феодальный мир никогда бы не преобразовался в капиталистический. Но это уже совсем другой тезис, для которого нет никаких очевидных оснований. Все, что мы можем утверждать, - это то, что события действительно произошли именно так. Это не означает, что не было никакой другой возможности. В данном случае мы даже не можем утверждать, что названные факторы благоприятствовали развитию капитализма, поскольку это правда лишь отчасти, а в других аспектах влияние их было скорее негативным. Аналогично, как мы убедились в предыдущей главе, возможности для предпринимательства, связанные с освоением новых стран, конечно, были уникальными, но только в том смысле, в каком уникальна каждая возможность. Нелепо предполагать, что "закрытие границ" породит вакуум и всякие попытки найти

другие сферы применения капитала будут заведомо менее значительными в любом смысле этого слова. Завоевание воздушного пространства может быть более значительным, чем завоевание Индии, не следует путать географические границы с экономическими. Конечно, сравнительное значение разных стран и регионов может существенно измениться при переходе от одних инвестиционных возможностей к другим. Чем меньше страна или регион, чем больше их судьба связана с каким-то одним элементом производственного процесса, тем хуже выглядит их перспектива в случае, если этот элемент теряет свое значение. Так, сельскохозяйственные регионы могут навсегда потерять свое значение с внедрением синтетических продуктов (вискозы, синтетических красителей, искусственного каучука и др.). Слабым утешением будет для них то, что если рассматривать весь процесс в целом, то будет зафиксирован прирост совокупного продукта. Возможные последствия этого могут быть усугублены разделением экономического мира на сферы конфликтующих национальных интересов. Все, что мы в конце концов можем утверждать, - это то, что исчезновение инвестиционных возможностей, связанных с освоением новых стран,

- если они действительно исчезают - вовсе не обязательно должно вести к отсутствию возможностей вообще, что неизбежно оказало бы воздействие на темпы роста совокупного продукта. Мы не можем заявлять, что эти возможности будут замещены другими равноценными возможностями. Мы можем отметить, что данный процесс естественно повлияет на будущее развитие этих и других стран; мы можем выразить доверие к способностям капиталистической системы найти или создать новые возможности, поскольку это ей в общем-то присуще, однако полученный нами

отрицательный результат от этого не изменится. А если вспомнить, отчего мы вообще занялись данной проблемой, этого вполне достаточно.

3. Аналогичные возражения можно высказать по поводу широко распространенного мнения, согласно которому в области технического прогресса был сделан прорыв, после которого осталось сделать лишь незначительные усовершенствования. Поскольку эта точка зрения не просто отражает положение дел в ходе и по окончании мирового кризиса, - во время любой глубокой депрессии всегда наблюдается отсутствие новаторских изобретений первой величины - она еще лучше, чем "закрытие границ пространственной экспансии человечества", иллюстрирует ту ошибку интерпретации, к которой так склонны экономисты. В настоящий момент мы находимся в завершающей, понижательной стадии волны предпринимательства, создавшей электростанции, электрифицированную промышленность, сельское хозяйство, домашнее хозяйство и автомобиль. Мы считаем эти достижения выдающимися и не представляем, откуда могут появиться новые столь же значительные возможности. Однако нынешние перспективы одной лишь химической промышленности превосходят все, что можно было ожидать, предположим, в 1880 г., не говоря уже о том, что простого использования достижений эпохи электричества и

массового жилищного строительства вполне достаточно для того, чтобы обеспечить нас инвестиционными возможностями на долгое будущее.

Пространство технических возможностей - это море, не нанесенное на карту. Мы можем исследовать географический регион и оценить при данном уровне техники и сельскохозяйственного производства относительное плодородие отдельных участков земли. Принимая сегодняшний уровень техники как данный и абстрагируясь от его будущих изменений, мы можем предположить, что вначале начинают обрабатываться лучшие участки, затем - следующие по качеству и т.д. (хотя с исторической точки зрения это неверно). В каждый отдельный момент этого процесса необработанными и оставленными на будущее являются сравнительно худшие участки. Однако эту логику нельзя применить к будущим возможностям, связанным с техническим прогрессом. Из того факта, что некоторые из них были использованы раньше других,

вовсе не вытекает, что они были самыми производительными. Те, что еще находятся в сфере возможного, могут быть и более и менее производительны, чем те, которые нам уже доступны. И вновь мы имеем дело лишь с "отрицательным" результатом, который не способен превратить в положительный даже тот факт, что систематизация и рационализация научных исследований и управления ими делают технический прогресс все более эффективным и надежным. Но для нас этого отрицательного результата вполне достаточно: нет никаких оснований ожидать замедления роста производства из-за истощения технологических возможностей.

4. Остается упомянуть еще два варианта теории исчезающих инвестиционных возможностей. Некоторые экономисты утверждали, что рабочую силу в каждой стране за какое-то время необходимо оснастить необходимым производственным оборудованием. Это, по их мнению, произошло приблизительно за XIX в. Пока этот процесс шел, непрерывно возникал новый спрос на капитальные блага, тогда как после того, как он закончился, остался лишь спрос, обусловленный необходимостью замещения капитала. Таким образом, период капиталистического оснащения является уникальным, его характеризует напряжение всех нервов капиталистической экономики, стремящейся создать себе адекватный инструментарий, позволяющий создавать базу для будущего производства таким темпом, который невозможно сохранить в дальнейшем. Это поистине удивительная картина экономического процесса! Может быть, в XVIII в. или в те времена, когда наши предки жили в пещерах, не существовало никакого производственного оборудования? А если оно существовало, то почему добавление, сделанное в XIX в., оказалось более насыщающим, чем все, что имело место раньше? Кроме того, оборудование, добавляемое к инструментарию капиталистической экономики, как правило, конкурирует с существующим оборудованием, лишая его экономической полезности. Поэтому задача обеспечения экономики оборудованием не может быть решена раз и навсегда. Случаи, в которых для решения этой задачи достаточно резервов, оставленных на замещение действующего капитала, - а это может быть только в отсутствие технического прогресса - являются исключениями. Это особенно очевидно тогда, когда новые методы производства воплощены в возникновении новых отраслей экономики: автомобильные заводы явно не финансировались за счет амортизационных отчислений железных дорог.

Читатель, без сомнения, отметит, что, если даже мы примем допущения, лежащие в

основе данного аргумента, из этого вовсе не вытекает пессимистический прогноз темпов экономического роста. Напротив, вполне можно прийти к обратному выводу: наличие большого запаса капитальных благ, который, постоянно обновляясь, обретает экономическое бессмертие, должно скорее способствовать дальнейшему росту производства. И он будет прав. Аргумент, о котором идет речь, предполагает, что, если экономика, движущей силой которой является производство капитальных благ, столкнется с сокращением спроса на них, возникнут трудности. Но размер этих трудностей, которые, к стати, как правило, не бывают неожиданными,

не следует преувеличивать. К примеру, такая отрасль, как металлообработка, довольно легко переключилась с производства одних лишь капитальных благ на выпуск преимущественно потребительских товаров длительного пользования и полуфабрикатов для их производства. И хотя такая компенсация не всегда возможна в рамках каждой отрасли, производящей капитальные блага, в принципе ситуация везде одинакова.

Другой вариант теории заключается в следующем. Большие бумы экономической активности, распространяющиеся на весь экономический организм и несущие с собой всеобщее процветание, всегда были связаны с увеличением расходов производителей,

которые в свою очередь предполагали строительство дополнительных зданий и закупку оборудования. Некоторые экономисты обнаружили, - по крайней мере, они сами так считают, - тенденцию, которая заключается в том, что новые технологические процессы требуют меньше основного капитала, чем прежние (например, относящиеся к эпохе железнодорожного строительства). Отсюда следует вывод, что значение инвестиций в основной капитал будет убывать. А поскольку это

отрицательно скажется на вышеупомянутых бумах экономической активности, которые, очевидно, были связаны с наблюдавшимися высокими темпами роста, то темпы эти должны замедлиться, особенно если норма сбережений останется на прежнем уровне.

Адекватной оценки этой тенденции к внедрению новых, все более капиталосберегающих технологических процессов до сих пор дано не было. Статистические данные до 1929 г. (последующие данные по понятным причинам мы не можем использовать для этой цели) указывают на обратную тенденцию. Сторонники рассматриваемой нами теории предложили несколько изолированных примеров, которым можно противопоставить другие примеры. Но предположим, что данная тенденция действительно существует. Тогда перед нами возникнет та же формальная проблема, с которой сталкивались экономисты прошлого, исследуя трудосберегающие технологические процессы. Последние в зависимости от обстоятельств могут оказывать положительное или отрицательное влияние на положение работников, но никто не сомневается, что в целом они благоприятствуют высоким темпам экономического роста. Точно так же, если не считать возможных перебоев в сберегательно-инвестиционном процессе, значение которых сейчас так модно преувеличивать, обстоит дело с устройствами, позволяющими уменьшать капиталоемкость единицы конечного продукта. Вообще-то мы будем недалеко от истины, если скажем, что почти каждый новый экономически осуществимый технологический процесс сберегает и труд, и капитал. Железные дороги, очевидно, были капиталосберегающими по сравнению с гужевым транспортом в расчете на одного

пассажира или единицу груза. Аналогично производство натурального шелка с помощью шелковичных червей может быть более капиталоемким, - впрочем, я в этом не разбираюсь, - чем производство того же количества искусственного шелка. Этот факт весьма печален для владельцев капитала, вложенного в старые методы производства, но это вовсе не означает, что инвестиционные возможности сокращаются, тем более это не подразумевает замедления экономического роста. Тем, кто ожидает краха капитализма на том основании, что единица капитала становится более производительной, придется ждать очень долго.

5. Наконец, поскольку данная теория обычно выдвигается экономистами, стремящимися убедить публику в необходимости государственных расходов за счет бюджетного дефицита, неизменно выдвигается также следующий аргумент: оставшиеся инвестиционные возможности более подходят государственным предприятиям, чем частным. До некоторой степени с этим можно согласиться. Во-первых, с ростом богатства возникают расходы, которые никак не могут быть включены в калькуляцию

издержек и прибылей: расходы на украшение городов, на здравоохранение и т.д. Во-вторых, расширяется сектор экономики, который обычно находится в сфере государственного управления: связь, порты, производство энергии, страхование и т.д. Эти отрасли просто больше подходят для управления государственной администрацией. Поэтому можно ожидать, что даже в совершенно капиталистическом обществе инвестиции центральных и местных органов власти будут расширяться и абсолютно и относительно, как и прочие формы общественного планирования. Однако это все, что мы можем сказать по данному поводу. Сделанный нами вывод не основывается на какой-либо гипотезе, затрагивающей развитие частного сектора экономики. Более того, нам в данном случае совершенно безразлично, в какой мере будущие инвестиции и экономический рост будут финансироваться и направляться государственными органами и частным бизнесом. Исключение составляет случай, когда государственное финансирование осуществляется потому, что никакие частные инвестиции не могут принести прибыли. Но этот случай мы уже рассмотрели выше.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава одиннадцатая.  
Капиталистическая цивилизация

Оставляя позади область чисто экономических рассуждений, мы переходим теперь к культурному дополнению капиталистической экономики - к ее социопсихологической надстройке, если нам угодно будет воспользоваться марксистской терминологией, - и к тому менталитету, который характерен для капиталистического общества и в особенности для буржуазного класса. В самом сжатом виде наиболее существенные факты можно изложить так.

Пятьдесят тысяч лет тому назад человек относился к опасностям и возможностям, заключенным в окружающем мире, примерно так, как, по мнению некоторых специалистов по истории древнего мира, социологов и этнографов, к ним относятся представители современных первобытных племен [Исследования такого рода имеют давнюю историю, однако я считаю, что начало нового их этапа следует вести от работ Люсьена Леви-Брюля. См., в частности, его работы "F'onctions mentales dans

les societes inferieures" (1909) и "Le sumaturel et la nature dans la mentalite primitive" (1931). Между позициями, которые он занимал в первой и во второй книге, - дистанция огромного размера, и вехи проделанного пути прослеживаются в "Mentalite primitive" (1921) и "L'ame primitive" (1927). Для нас авторитет Леви-Брюля особенно ценен, поскольку он полностью разделяет наш тезис - на самом

деле, его работа им и открывается - о том, что "исполнительные" функции мышления и менталитет человека определяются, по крайней мере частично, структурой того общества, в рамках которого они развиваются. И совершенно несущественно, что в случае Леви-Брюля этот принцип берет свое начало не от Маркса, а от Конта.]. Для

нас особенно важны два элемента этой установки: 1) "коллективная" и "аффективная" природа первобытного мыслительного процесса и 2) роль того, что я,

возможно, не совсем правильно буду называть "магией"; эти два элемента частично пересекаются между собой. Под первым элементом я понимаю то, что в небольших и недифференцированных или слабо дифференцированных социальных группах коллективные идеи овладевают индивидуальным разумом гораздо прочнее, чем это происходит в больших и сложных группах, и что методы, на основе которых первобытный человек делает выводы или принимает решения, применительно к нашей задаче можно охарактеризовать от противного: их отличает несоблюдение того, что мы называем логикой, и в частности требования непротиворечивости. Под вторым элементом я понимаю опору на некоторую совокупность верований, которые, впрочем,

не вполне оторваны от жизненного опыта, - ведь никакая магия не переживет непрерывной цепи неудач, - но включают в цепь наблюдаемых явлений такие сущности или влияния, источником которых опыт не является [Один благожелательный

критик поспорил со мной из-за вышеприведенного пассажа, утверждая, что я никак не мог иметь в виду того, что в нем написано, поскольку в этом случае я должен был бы и "силу", с которой имеет дело физик, считать магией. Но именно это я и имею в виду, если только мы не договорились считать, что термин "сила" обозначает

просто произведение константы на вторую производную пути по времени. См. следующее через одно предложение в тексте.]. На сходство такого рода мыслительного процесса с мышлением неврастеников указывал Г. Дромар (G. Dromar, 1911; особенно красноречив введенный им термин *delire d'interpretation* - "горячка интерпретации") и З. Фрейд (*Totem und Tabu*, 1913). Но откуда вовсе не следует, что это не свойственно мышлению нормального человека нашего времени. Наоборот, любая политическая дискуссия наглядно демонстрирует, что немалая, а судя по результатам - то и большая часть наших собственных мыслительных процессов именно такой природой и обладает.

Таким образом, рациональное мышление или поведение и рационалистическая цивилизация вовсе не означают, что упомянутые критерии перестают действовать, а означает лишь медленное, хотя и непрерывное, расширение того сектора общественной жизни, в рамках которого отдельные люди или группы людей реагируют на сложившиеся обстоятельства: во-первых, пытаясь в меру собственного разумения по возможности обернуть эти обстоятельства себе на пользу; во-вторых, опираясь при этом на те правила непротиворечивости, которые мы именуем логикой; и в-третьих, делая это исходя из постулатов, удовлетворяющих двум условиям: число таких правил должно быть минимальным, и каждое из них должно в принципе выражаться в терминах потенциального опыта [Эта кантовская формулировка выбрана

специально, чтобы заранее предупредить напрашивающиеся возражения.]. Все это, конечно, весьма абстрактно, но с точки зрения нашей задачи этого достаточно. Впрочем, есть еще один момент, касающийся понятия рационалистических

цивилизаций, на котором я хотел бы здесь остановиться, поскольку в дальнейшем мне придется на него ссылаться. Если привычка рационального анализа повседневных

ситуаций и привычка рационального поведения в этих ситуациях утвердилась достаточно прочно, она оборачивается против коллективных идей, подвергает их критике и в определенной мере "рационализирует" их, ставя такие вопросы: зачем нужны короли и попы, десятина и собственность? Кстати, важно заметить, что, хотя

большинство из нас склонно считать, что подобная установка есть признак более "высокой ступени" умственного развития, подобное оценочное суждение не обязательно и не во всех отношениях подтверждается практикой. Рационалистическая

установка может быть претворена в жизнь путем использования настолько неадекватных методов и информации, что вызванные ею действия - и особенно связанная с нею склонность к поиску радикальных решений - позднему наблюдателю покажутся даже с чисто интеллектуальной точки зрения низшими по сравнению со склонностью избегать радикального вмешательства, связанной с установкой, которая когда-то ассоциировалась с низким коэффициентом умственного развития. Общественно-политическая мысль XVII и XVIII вв. во многом служит наглядным подтверждением этой забытой истины. Не только по глубине социального видения, но также и с точки зрения логического анализа позднейший "консервативный" контркритицизм, несомненно, представлял собой значительный шаг вперед, хотя для авторов эпохи Просвещения его положения могли бы послужить лишь

поводом для насмешек.

Рациональная установка утвердилась, по-видимому, в первую очередь в силу экономической необходимости; именно каждодневному решению экономических задач обязано человечество как вид своей начальной подготовкой в области рационального мышления и поведения - не побоюсь сказать, что вся логика строится по образцу экономических решений или, если воспользоваться моей любимой формулировкой, что

экономические образцы образуют матрицу логики. Это представляется мне правдоподобным по следующей причине. Предположим, что некий "первобытный" человек использует простейшую из всех машин, которую по достоинству оценила даже наша кузина - горилла, а именно - палку, и что эта палка у него в руках сломалась. Если он будет пытаться поправить дело с помощью магического заклинания, - например, бормотать: "Спрос и Предложение!" или "Планирование и Контроль!", думая, что если повторить это заклинание ровно девять раз, то обломки вновь срастутся, - значит, он находится во власти дорационального мышления. Если он постарается найти наилучший способ соединить обломки или просто возьмет новую палку, его поведение будет рациональным в нашем понимании. Конечно, обе установки возможны. Но само собой разумеется, что в этом, как и в любых других экономических действиях, бесполезность магических заклинаний будет гораздо более очевидной, чем если бы эти заклинания имели целью добыть победу в бою, принести счастье в любви или спясть грех с души. Объясняется это неумолимой определенностью и тем преимущественно количественным характером, который отличает экономическую область от всех других областей человеческой деятельности, а возможно - и бесстрастным однообразием нескончаемого ритма экономических потребностей и их удовлетворения. Как только рациональность входит

в привычку, она начинает распространяться под педагогическим влиянием положительного опыта и на другие области, и там она также заставляет человека открыть глаза на эту удивительную вещь - факт.

Этот процесс независим от каких бы то ни было конкретных форм, в том числе - капиталистических, которые может при этом принимать экономическая деятельность. То же можно сказать и о стремлении к наживе, и о преследовании собственных интересов. Докапиталистический человек па самом деле был не меньший "хват", чем человек капиталистический. Крепостные, например, или феодалы-военачальники тоже утверждали свои интересы грубой силой, хотя о капитализме в те времена еще не слышали. Однако капитализм развивает рациональность и добавляет к ней новую грань, причем делает это двумя взаимосвязанными путями.

Во-первых, он возвышает денежную единицу, которая сама по себе изобретением капитализма не является, до единицы учета. Иными словами, капиталистическая практика превращает деньги в инструмент рациональной калькуляции прибыли и издержек, над которой монументом высится бухгалтерский учет по методу двойной записи [Этот момент подчеркивался, пожалуй, даже с излишним нажимом Зобастом (Sombart). Двойная (итальянская) бухгалтерия - это последний шаг на долгом и изнурительном пути. Своим происхождением она обязана практике периодически проводить инвентаризацию с подсчетом прибылей и убытков; см. Saporì A. Biblioteca Storica Toscana, VII, 1932. Трактат Луки Пачиоли о бухгалтерии (Luca Pacioli, 1494) был важной для своего времени вехой на этом пути. Для истории и социологии государства весьма важным моментом является то, что рациональная бухгалтерия проникла в практику управления государственным бюджетом только в XVII в., но и это проникновение было весьма несовершенным и происходило в примитивной форме "меркантилистской" бухгалтерии.]. Не углубляясь в этот вопрос,

заметим, что, изначально представляя собой продукт эволюции экономической рациональности, расчет прибылей и издержек в свою очередь оказывает обратное воздействие на эту рациональность; постепенно совершенствуясь и беря на вооружение количественные категории, он мощно продвигает вперед логику предпринимательства. И когда эта логика, метод или установка достигает определенного уровня развития, или квалифицированности, применительно к экономической области, она начинает распространяться дальше, подчиняя себе, т.е. рационализируя, орудия труда человека и его представления, приемы врачевания, картину мироздания, взгляды на жизнь - рационализируя все, включая его идеалы красоты, справедливости и духовные запросы.

В этой связи большое значение имеет тот факт, что современная математически-экспериментальная наука развивалась в XV, XVI и XVII вв. не только

параллельно тому социальному процессу, который обычно именуется "становлением капитализма", но также и за пределами твердыни схоластических учений, идя наперекор их надменной враждебности. В XV в. математика занималась в основном вопросами коммерческой арифметики и архитектурными расчетами. У истоков современной физики стояли утилитарные механические устройства, изобретенные людьми ремесленного склада. Грубый индивидуализм Галилея был индивидуализмом

поднимающегося класса капиталистов. Профессия врача начала выделяться из ремесла

повитух и цирюльников. Художник, который одновременно выступал и как инженер, и как предприниматель, - человеческий тип, вошедший в историю благодаря таким личностям, как Да Винчи, Альберти, Челлини; даже Дюрер находил время разрабатывать планы фортификационных сооружений - лучше всего иллюстрирует мою мысль. Подвергая все это анафеме, схоластические профессора из итальянских университетов обнаруживали куда больший здравый смысл, чем принято считать. Дело было не в отдельных неортодоксальных утверждениях. Можно не сомневаться, что всякий порядочный схоластик без особого труда смог бы так подчистить свои трактаты, чтобы они полностью укладывались в систему Коперника. Но эти профессора безошибочно уловили дух, питавший подобные свершения, - то был дух рационального индивидуализма, дух, порождаемый становлением капитализма. Во-вторых, становление капитализма сформировало не только особый склад ума, характерный для современной науки, который предполагает постановку определенных вопросов и использование определенных подходов к поиску ответов на эти вопросы, оно создало также новых людей и новые средства. Разрушая феодальный уклад и нарушая интеллектуальный покой феодального поместья и деревни (хотя, конечно, для споров и распрей даже в монастырях поводов всегда хватало), и главное - создавая социальное пространство для нового класса, который опирался на индивидуальные достижения в экономической области, оно в свою очередь привлекало к этой области людей сильной воли и мощного интеллекта. Докапиталистический уклад не оставлял простора для достижений, которые позволяли бы преодолевать классовые барьеры, т.е. давали бы возможность занять социальное положение, сравнимое с тем, которое занимали представители правящих классов. Это не означает, что возможность пробитая вверх вообще исключалась [Мы

склонны считать социальную структуру средневековья слишком статичной или жесткой. На самом же деле в ней имела место непрерывная, выражаясь словами Парето, *circulation des aristocracies* (ротация аристократии). Например, кланы, составлявшие социальную верхушку в X веке, к началу XVI века практически сошли со сцены.]. Однако деятельность на поприще бизнеса, вообще говоря, считалась занятием низших классов, - даже если речь шла о тех, кому удавалось пробиться к вершине успеха в рамках ремесленных гильдий, - и не давала возможности вырваться

из своего сословия. Главные пути, обещавшие продвижение по социальной лестнице и

приличный достаток, пролегали через церковь - причем в средние века этот путь был почти так же доступен, как и сейчас, - да, пожалуй, еще через канцелярии крупных землевладельцев и военную службу. Эти возможности были вполне доступны всякому физическому и психически здоровому человеку примерно до середины XII в., да и позже не были полностью перекрыты. Но лишь тогда, когда капиталистическое предпринимательство - сперва в области торговли и финансов, затем в области горнодобычи и, наконец, в промышленности - показало, какие оно сулит перспективы, особо одаренные и дерзновенные личности стали наконец обращаться к бизнесу, увидев в нем третий путь. Успех был скорым и впечатляющим, но то общественное положение, которое он приносил, на первых порах вовсе не было столь

значительным, как принято считать. Если внимательно присмотреться к карьере Якоба Фуггера, например, или Агостино Чиджи, нам не составит труда убедиться, что они не оказывали никакого влияния на ту политику, которую проводил Карл V или Лев X, и что те привилегии, которыми они пользовались, обошлись им недешево [Семейство Медичи не является на самом деле исключением. Ведь хотя их богатство помогло им приобрести контроль над Флорентийской республикой, именно этот контроль, а не само по себе богатство объясняет ту роль, которую играла эта семья. Во всяком случае, это единственная купеческая семья, которой удалось встать вровень с верхушкой феодальной знати. Настоящие исключения мы находим лишь там, где капиталистическая эволюция создала соответствующую среду или полностью разрушила феодальный уклад - например, в Венеции и Нидерландах.]. Тем не менее, предпринимательский успех оказался достаточно заманчивым, чтобы привлечь в сферу бизнеса талантливейших людей из всех слоев общества, за исключением разве что феодальной верхушки, а это породило дальнейший успех, который добавил пару рационалистическому двигателю. Так что в этом смысле именно

капитализм - а не просто экономическая деятельность вообще - был в конечном итоге движущей силой рационализации человеческого поведения. И здесь мы наконец-то подходим к нашей непосредственной цели [Я называю эту цель

непосредственной, поскольку анализ, содержащийся на последних страницах, пригодится нам также и для других нужд. На самом деле он имеет фундаментальное значение для любого серьезного обсуждения этой великой темы - вопроса о Капитализме и Социализме.], ради которой и велись все эти сложные, хотя и недостаточно адекватные сложности вопроса рассуждения. Не только современные механизированные заводы и вся продукция, которую они выдают, не только современная технология и экономическая организация, но все характерные черты и достижения современной цивилизации являются прямо или косвенно продуктами капиталистического процесса, и потому должны приниматься во внимание при подведении баланса заслуг и пороков капитализма и вынесении приговора этому строю.

В ряду этих достижений стоят и успехи рациональной науки, и длинный список ее прикладных результатов. Самолеты, холодильники, телевидение и тому подобное являются общепризнанными плодами экономики, ориентированной на извлечение прибыли. Но и современная больница, хотя она, как правило, работает не ради прибыли, является, тем не менее, продуктом капитализма, и не только, повторяю, потому, что капиталистический процесс создает для нее средства и стимулы, но главным образом потому, что именно капиталистическая рациональность породила тот

склад ума, благодаря которому были созданы методы лечения, используемые в современных больницах. И победы над раком, сифилисом и туберкулезом - пусть даже

не окончательные, пусть только маячащие на горизонте - должны по праву считаться достижениями капитализма наравне с автомобилями, трубопроводами и бессемеровской

сталью. Если говорить о медицине, то за используемыми ею методами стоит капиталистическая профессия, капиталистическая как потому, что в значительной мере медицина работает в духе бизнеса, так и потому, что ее представители являют собой сплав промышленной и коммерческой буржуазии. Но даже если бы это было не так, современная медицина и гигиена все равно были бы побочными продуктами капиталистического процесса, такими же, как и современная система образования.

В том же ряду стоят и капиталистическое искусство, и капиталистический стиль жизни. Рассмотрим только один пример - живопись; так будет короче, и к тому же в

этой области невежество мое все же не такое полное, как в других областях. Если за начало отсчета новой эпохи взять фрески Капеллы дель Арена Джотто (хотя мне кажется, что это не совсем верно) и затем провести линию (хотя подобная "линейная" аргументация заслуживает всяческого осуждения) Джотто - Мазаччо - Да Винчи - Микеланджело - Эль Греко, никакие ссылки на мистический пыл Эль Греко не

смогут опровергнуть мою мысль в глазах того, кто умеет видеть. А сомневающимся, которым хотелось бы, так сказать, пощупать капиталистическую рациональность своими руками, предлагаем вспомнить об экспериментах Да Винчи. Если продолжить эту линию дальше (да, да, я все понимаю), мы завершили бы свой путь (возможно, на последнем издыхании) где-то на противопоставлении Делакруа и Энгра. А дальше все просто - Сезанн, Ван Гог, Пикассо или Матисс доведут дело до конца.

Экспрессионистское устранение объекта образует красивое логическое завершение. История капиталистического романа (кульминацией которого является роман Гонкуров

- "запись документов") проиллюстрировала бы нашу мысль еще лучше. Впрочем, это и

так очевидно. Эволюцию капиталистического стиля жизни можно было бы с легкостью - а возможно, и наиболее наглядно - проследить на примере эволюции современного пиджачного костюма.

И наконец, существует еще все то, что можно объединить вокруг гладстоновского либерализма, поместив его в центр символической композиции. Термин "индивидуалистическая демократия" подошел бы не хуже, а, возможно, и лучше, поскольку мы хотели бы охватить им некоторые вещи, которые Гладстон не одобрил

бы, а также моральную и духовную установку, которую он сам, обитая в цитадели веры, на самом деле ненавидел. На этом можно было бы поставить точку, если бы литургия радикалов не состояла бы главным образом из цветистых отречений от того, что я хотел бы сказать. Радикалы могут сколько угодно твердить, что народные массы вопиют о спасении от невыносимых мук и потрясают своими цепями в темноте и отчаянии, но, конечно, никогда не было так много личной свободы духа и

тела для всех, никогда еще господствующий класс не проявлял такой готовности не только мириться со своими смертельными врагами, но даже и финансировать их, никогда не было столько живого сочувствия к подлинным и надуманным страданиям, столько готовности взять на себя тяжелую ношу, сколько в современном капиталистическом обществе, и вся Демократия, какую только знало человечество, если не считать демократии крестьянских общин, исторически возникла на заре как современного, так и античного капитализма. Конечно, и здесь можно было бы при желании привести множество исторических фактов, свидетельствующих об обратном, и

все подобные контраргументы были бы совершенно справедливы, но несущественны при обсуждении современных условий и будущих альтернатив [Даже Маркс, во времена которого подобные обвинения не казались столь абсурдными, как в наши дни, все же

считал, как видно, необходимым подкреплять свою позицию ссылками на условия, которые уже тогда либо отошли, либо, несомненно, отходили в прошлое.]. Если мы все же решимся пуститься в исторический экскурс, то многие из тех фактов, которые радикальным критикам показались бы самыми подходящими для их цели, часто будут выглядеть совсем иначе, если сравнивать их с соответствующими фактами докапиталистической эпохи. И нельзя возразить, что "времена, мол, тогда были другими", поскольку именно капиталистический процесс заставил их измениться.

Здесь особо следует упомянуть два момента. Во-первых, как я уже говорил, социальное законодательство или, в более общем смысле, институциональные изменения на благо народных масс - это не просто нечто такое, что было навязано капиталистическому обществу неизбежной необходимостью облегчить все более углубляющиеся страдания бедняков; на самом деле, помимо повышения уровня жизни масс благодаря своим побочным эффектам, капиталистический процесс обеспечил и средства, и "волю" к достижению этих перемен. Слово, взятое в кавычки, требует дальнейшего объяснения, и объяснение это заключается в принципе распространения рациональности. Капиталистический процесс рационализирует поведение и идеи и благодаря этому изгоняет из наших голов как метафизические верования, так и всякого рода мистические и романтические идеи. Это преобразует не только методы достижения целей, но и сами эти конечные цели. "Свободомыслие", понимаемое как материалистический монизм, атеизм и прагматическое восприятие земного мира вытекают из этой рационалистической установки пусть не в силу логической необходимости, но тем не менее совершенно естественным образом. С одной стороны,

наше врожденное чувство долга, лишенное своей традиционной основы, сосредоточивается на утилитарных идеях о совершенствовании человечества, которым, как ни странно, удастся противостоять натиску рационалистической критики куда лучше, чем, скажем, идее богобоязненности. С другой стороны, та же рационализация душ срывает всю мишуру богоданности с сословных делений, а уж это

вкуче с типично капиталистическим преклонением перед Самосовершенствованием и Служением - понимаемыми совершенно в ином смысле, чем тот, который обычно вкладывали в эти слова средневековые рыцари, - формирует эту "волю" внутри самой буржуазии. Феминизм, явление преимущественно капиталистическое, иллюстрирует эту мысль еще более наглядно. Читатель, конечно, понимает, что все эти тенденции следует понимать "объективно", и что поэтому никакие антифеминистские или антиреформистские разговоры или даже временная оппозиция по

отношению к той или иной конкретной мере ничего не доказывают. Все эти вещи суть симптомы тех самых тенденций, с которыми они якобы борются. Подробнее об этом мы поговорим в следующих главах.

Во-вторых, капиталистическая цивилизация является рационалистической и "антигероической". Эти свойства, конечно, являются взаимосвязанными. Успех в промышленности и торговле требует большой выносливости, и все же занятия промышленной или торговой деятельностью по существу лишены рыцарской героики, - здесь не скрещиваются мечи, негде проявить физическую удаль, нет возможности врезаться на боевом коне в ряды врагов - предпочтительно еретиков или язычников, - и идеология, которая прославляет идею борьбы ради борьбы и победы ради победы, по понятным причинам увядает в кабинетной тиши среди бесчисленных столбцов цифр. Таким образом, промышленная и торговая буржуазия, владеющая собственностью, на которую может покуситься разве только вор или сборщик налогов, и не только не разделяющая, но прямо отвергающая воинственную идеологию, которая идет вразрез с ее "рациональной" утилитарностью, в основе своей миролюбива и склонна настаивать на применении этических принципов частной жизни к международным отношениям. Правда, подобно некоторым другим принципам капиталистической цивилизации, по в отличие от их большинства, пацифизм и международная этика поддерживались также и в некапиталистических условиях, и докапиталистическими институтами, например Римской церковью в средние века. Тем не менее, современный пацифизм и современная международная этика являются продуктами капитализма. Поскольку марксистская доктрина - в особенности неомарксистская доктрина, и даже

значительная часть несоциалистических учений - относится, как мы убедились в первой части настоящей книги, к этому утверждению резко отрицательно [См. обсуждение марксистской теории капитализма в гл. IV.], необходимо подчеркнуть, что сказанное вовсе не отрицает того, что многие буржуа отчаянно боролись, защищая свой дом и очаг, и что почти чисто буржуазные города-республики часто становились агрессивными, когда это сулило выгоду, - вспомним, например, Афины или Венецию, - а также того, что никакая буржуазия никогда не брезговала военной добычей или расширением возможностей для торговли путем завоеваний и никогда не противилась идеям воинствующего национализма, насаждаемым се феодальными господами или вождями или пропагандируемым некими особо заинтересованными группами. Все, что я хочу сказать, сводится к тому, что, во-первых, подобные случаи капиталистической воинственности не объясняются, в отличие от того, что утверждает по этому поводу марксизм, исключительно или главным образом классовыми интересами или классовой расстановкой сил, которая якобы систематически порождает капиталистические завоевательные войны; во-вторых, имеется различие между тем, когда человек делает то, что он считает основным делом своей жизни, к которому он готовит себя постоянно, которую является для него мерилом личного успеха или неудачи, и тем, когда человек занимается несвойственным ему делом, к которому не располагает ни его обычная работа, ни его менталитет и успех в котором увеличивает престижность самой небуржуазной из всех профессий; в-третьих, что это различие однозначно свидетельствует, как в международных, так и во внутренних делах, против использования военной силы и в пользу мирного урегулирования даже в тех случаях, когда материальные выгоды склоняют чашу весов в пользу войны, что в современных условиях, вообще говоря, не слишком вероятно. На самом деле, чем более полно выражен капиталистический характер в структуре и менталитете нации, тем более эта нация миролюбива и тем более склонна задумываться о потерях, которые несет с собой война. Продемонстрировать это на конкретных примерах вряд ли возможно - слишком сложна природа сил, действующих в каждом отдельном случае,

и чтобы доказать это утверждение, нам потребовалось бы провести подробный исторический анализ. Но буржуазное отношение к военным (регулярным вооруженным силам), характер буржуазных войн и методы их ведения, а также та готовность, с которой в любом серьезном случае затяжных военных действий буржуазия подчиняется небуржуазной власти, сами по себе являются убедительным доказательством. Марксистская идея о том, что империализм является последней стадией капиталистической эволюции, тем самым оказывается несостоятельной совершенно независимо от чисто экономических возражений. Но я не собираюсь делать тот вывод, который, но всей вероятности, ждет от меня читатель. Иначе говоря, я не собираюсь просить его не увлекаться непроверенными теориями, выдвигаемыми непроверенными людьми, а лучше еще раз взглянуть на внушительные экономические и еще более внушительные культурные достижения капиталистического строя и на те необъятные перспективы, которые они сулят. Я не

собираюсь утверждать, что эти достижения и эти перспективы уже сами по себе есть достаточный аргумент в пользу того, чтобы дать капиталистическому процессу возможность развиваться дальше и снять, так сказать, бремя нищеты с плеч человечества.

В подобных призывах не было бы никакого смысла, даже если бы человечество обладало такой же свободой выбора, какой обладает бизнесмен, решающий, какой станок и у какого поставщика ему купить. Из тех фактов и отношений между фактами, которые я пытался изложить, не вытекает никакого определенного оценочного суждения. Что касается экономических достижений, то их наличие в современном индустриальном обществе еще не означает, что люди стали "счастливей"

или "богаче", чем в условиях средневекового поместья или деревни. Что касается культурных достижений, то можно соглашаться с каждым сказанным мною словом, но все же всей душой ненавидеть эти достижения - за их утилитарность и массовое разрушение заложенного в культуре смысла. Кроме того, как мне придется вновь повторить, когда мы перейдем к обсуждению социалистической альтернативы, важно учитывать не только эффективность капиталистического процесса с точки зрения создания экономических и культурных ценностей, но и участь тех людей, которых капитализм формирует, а затем бросает на произвол судьбы, предоставляя им полную свободу бездарно проматывать свою жизнь. Есть радикалы, чьи обвинения в адрес капиталистической цивилизации не имеют под собой никакой другой опоры, кроме глупости, невежества и безответственности их авторов, не способных или не желающих понять самые очевидные вещи, не говоря уже о том, что за ними стоит. Однако обвинительный вердикт капитализму может быть вынесен и на более высоком уровне.

Впрочем, какими бы ни были ценностные суждения об эффективности капитализма - положительными или отрицательными, - особого интереса они не представляют. Дело в том, что человечество не свободно выбирать. И дело не только в том, что массы не способны рационально сравнивать альтернативы и всегда принимают на веру то, что им говорят. Тому существуют и гораздо более глубокие причины. Экономические и социальные процессы развиваются по собственной инерции, и возникающие в результате ситуации вынуждают отдельных людей и социальные группы вести себя определенным образом, хотя бы они того или не хотят, - вынуждают, разумеется, не путем лишения их свободы выбора, но путем формирования менталитета, ответственного за этот выбор, и путем сужения перечня возможностей, из которых этот выбор осуществляется. Если квинтэссенция марксизма заключается именно в этом, тогда нам всем придется признать себя марксистами. А раз так, то эффективность капитализма вообще не играет роли, если речь идет о протезировании

будущего капиталистической цивилизации. Ведь большинство цивилизаций исчезли, так и не успев полностью реализовать свой потенциал. И я не собираюсь, ссылаясь на эту эффективность, утверждать, что капиталистическое интермеццо скорее всего будет иметь продолжение. На самом деле, я собираюсь сделать прямо противоположный вывод.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава двенадцатая.  
Разрушение стен

#### 1. Отмирание предпринимательской функции

Говоря о теории исчезновения инвестиционных возможностей, мы упомянули о возможности такой ситуации, когда экономические потребности человечества удастся удовлетворить настолько полно, что стимулов развивать производство еще дальше практически не останется. Подобное состояние насыщения, несомненно, отстоит от нас еще очень далеко, даже если исходить из сложившейся структуры

потребностей; а если учесть, что рост уровня жизни сопровождается автоматическим расширением этих потребностей и возникновением или созданием новых [Вильгельм Вундт называл это явление "гетерогонией целей" (Heterogonic der Zwecke).], то насыщение превращается в некое подобие бегущей мишени, особенно если к числу потребительских товаров мы относим досуг. Однако давайте все же рассмотрим такую

возможность, предполагая, хотя это еще менее правдоподобно, что методы производства достигли такой степени совершенства, которая не допускает дальнейшего их улучшения.

Возникнет более или менее стационарное состояние. Капитализм, который по существу является эволюционным процессом, истощится. Предпринимателям будет нечем заняться. Они окажутся примерно в таком же положении, как генералы в обществе, которое совершенно уверено, что мир утвердился раз и навсегда. Прибыль, а вместе с прибылью и норма процента будут стремиться к нулю. Буржуазия, живущая за счет прибыли и процента, начнет исчезать. Управление промышленностью и торговлей сведется к рутинному администрированию, а сами управляющие неизбежно обюрократятся. Почти автоматически возникнет самый настоящий социализм. Человеческая энергия отвернется от бизнеса. Иные, неэкономические дали станут увлекать умы и давать простор для приключений. Применительно к обозримому будущему эта картина никакого значения не имеет. Однако все большее значение приобретает то, что многие из тех перемен в структуре общества и организации производственного процесса, которых можно было бы ожидать вследствие почти полного удовлетворения потребностей или абсолютного совершенства технологии, могут быть обусловлены и той тенденцией развития, которая совершенно четко прослеживается уже сегодня. Прогресс можно механизировать точно так же, как и управление в стационарной экономике, и эта механизация прогресса может оказать на предпринимательство и капиталистическое общество влияние не менее сильное, чем остановка экономического прогресса. Чтобы показать, почему это так, давайте еще раз вспомним, во-первых, в чем заключается предпринимательская функция и, во-вторых, что она значит для буржуазного общества и выживания капиталистического строя.

Мы уже видели, что функция предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать или революционизировать производство, используя изобретения или, в более общем смысле, используя новые технологические решения для выпуска новых товаров или производства старых товаров новым способом, открывая новые источники сырья и материалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и т.д. Начало строительства железных дорог, производство электроэнергии перед первой мировой войной, энергия пара и сталь, автомобиль, колониальные предприятия - все это яркие образцы большого семейства явлений, включающего также и бесчисленное множество более скромных представителей - вплоть до выпуска новых сортов колбас и оригинальных зубных щеток. Именно такого рода деятельность и есть главная причина периодических "подъемов", революционизирующих экономический организм, и периодических "спадов", возникающих вследствие нарушения равновесия при производстве новых товаров или применении новых методов. Делать что-то новое всегда трудно, и реализация нововведения образует самостоятельную экономическую функцию, во-первых, поскольку все новое лежит за пределами рутинных, понятных всем задач и, во-вторых, поскольку приходится преодолевать сопротивление среды, которое в зависимости от социальных условий может происходить в самых разных формах, начиная от простого отказа финансировать или покупать новые товары и кончая физической расправой с человеком, который попытается создать что-то новое. Чтобы действовать уверенно за пределами привычных вех и преодолевать это сопротивление, необходимы особые способности, которые присущи лишь небольшой части населения, и именно эти способности определяют как предпринимательский тип, так и предпринимательскую функцию. Но главное в этой функции - не изобретение чего-либо нового и не создание каких-либо условий, которые предприятие затем эксплуатирует. Главное в ней - делать дела. Эта социальная функция уже сегодня утрачивает свое значение, а в будущем, несомненно, будет играть еще меньшую роль, даже если сам экономический процесс, первейшей движущей силой которого является предпринимательство, будет развиваться прежними темпами. Дело в том, что сегодня гораздо проще, чем когда-либо прежде, делать вещи, выходящие за рамки привычного, - новаторство само превращается в рутину. Технологический прогресс все больше становится делом

коллективов высококвалифицированных специалистов, которые выдают то, что требуется, и заставляют это нечто работать предсказуемым образом. Романтика прежних коммерческих авантур отходит в прошлое, поскольку многое из того, что прежде могло дать лишь гениальное озарение, сегодня можно получить в результате строгих расчетов.

С другой стороны, личность и сила воли, по-видимому, уже не играют такой роли в условиях, когда экономические изменения вошли в привычку, - лучшим подтверждением этому служит нескончаемый поток новых потребительских и производственных товаров, которые не только не встречают сопротивления, но воспринимаются как должное. Сопротивление со стороны тех, чьи интересы оказываются под угрозой в результате нововведений в производственном процессе, вряд ли исчезнет до тех пор, пока существует капиталистический уклад. Например, оно стало серьезным препятствием на пути массового производства дешевого жилья, которое предполагает радикальную механизацию и отказ от неэффективных методов работы строителей. Но все другие виды сопротивления - в частности, сопротивление

потребителей и производителей новым видам товаров просто потому, что они новые, - практически уже исчезли.

Таким образом, экономический прогресс имеет тенденцию становиться персонифицированным и автоматизированным. На смену личности приходят бюро и комиссии. Здесь опять будет уместно сослаться на примеры из военной истории. В прежние времена, вплоть до наполеоновских войн включительно, быть генералом означало быть полководцем, а военный успех означал личный успех командующего, который получал соответствующие "дивиденды" в виде высокого социального статуса. При существовавшей тогда технике ведения войны и структуре армий индивидуальные решения и авторитет командующего - даже его личное присутствие верхом на красивом коне - были важными элементами стратегических и тактических ситуаций. Присутствие Наполеона на полях сражений должно было ощущаться и действительно ощущалось. Нынче же все изменилось. Рационализация и специализация

кабинетной работы постепенно вытесняют личность, строгий расчет вытесняет "озарение". Полководец уже не имеет возможности лезть в гущу сражения. Он все более превращается в обыкновенного служащего - и перестает быть незаменимым. Или возьмем другой пример из военной истории. В средние века войны были делом глубоко личным. Искусство закованных в латы рыцарей требовало постоянных упражнений в течение всей жизни, каждый рыцарь был на особом счету и ценился в зависимости от личного искусства и доблести. Нетрудно понять, почему этот род занятий послужил основой для возникновения нового социального класса в самом полном и широком смысле этого слова. Однако социальные перемены и технический прогресс подрывали и со временем разрушили как функцию, так и положение этого класса. Но войны от этого не прекратились. Просто они становились все более механизированными - со временем их механизированность достигла такого уровня, что успех на военном поприще, которое сегодня превратилось в заурядную профессию, уже не несет на себе той печати личной заслуги, которая не только самому человеку, но и социальной группе, к которой он принадлежит, обеспечивала прочное положение социального лидерства.

В наши дни аналогичный, а если разобраться, то и тот же самый - социальный процесс подрывает роль, а вместе с нею и социальное положение капиталистического

предпринимателя. Его роль, хотя она и не может сравниться славой с ролью больших

и малых средневековых военачальников, также есть или была одной из форм индивидуального лидерства, основанной на авторитете личности и личной ответственности за успех. Его положение, как и положение класса военачальников, ставится под угрозу, как только эта функция начинает утрачивать свое значение в социальном процессе, причем не важно, чем это вызвано - отмиранием социальных потребностей, которые эта функция обслуживала, или тем, что эти потребности стали обслуживаться иными, более обезличенными методами.

Однако это сказывается не только на положении предпринимателей, но и на положении всего класса буржуазии в целом. Хотя в начале своего пути предприниматели не обязательно принадлежат к классу буржуазии и даже, как правило, к нему не принадлежат, они тем не менее входят в него в случае успеха. Таким образом, хотя предприниматели сами по себе социального класса не образуют,

класс буржуазии впитывает в себя их самих, их семьи и родственников, укрепляя тем самым свой численный состав и жизненные силы, при этом семьи, которые отстраняются от активного участия в бизнесе, выпадают из этого класса через одно-два поколения. Основную массу составляют те, кого мы называем промышленниками, торговцами, финансистами и банкирами; они находятся на промежуточной стадии между двумя полюсами: предпринимательским началом и рутинным администрированием доставшегося по наследству дела. Доходы, за счет которых класс буржуазии существует, и социальное положение, которое он занимает,

зависят от успеха этого более или менее активного сектора - который необязательно составляет меньшинство, в США, например, его доля в буржуазном классе составляет более 90% - и индивидов, находящихся на пути к вступлению в этот класс. Таким образом, экономически и социологически, прямо и косвенно буржуазия зависит от предпринимателя и как класс живет и по прошествии более или

менее продолжительного переходного периода ото мрет вместе с ним - не исключено,

что это будет период, на протяжении которого буржуазия будет чувствовать, что она не может ни жить, ни умереть, - подобно тому, как это происходило с феодальной цивилизацией.

Подведем итог этой части наших рассуждений: если капиталистическая эволюция - "прогресс" - остановится вообще или будет происходить совершенно автоматически, экономический базис промышленной буржуазии сведется к зарплате, аналогичной той,

которую сегодня платят за рутинную административную работу, если не считать рудименты квазиаренды и прибыли монопольного типа, которые будут, по всей вероятности, в течение некоторого времени сохраняться. Поскольку капиталистическое предпринимательство в силу собственных достижений имеет тенденцию автоматизировать прогресс, мы делаем вывод, что оно имеет тенденцию делать самое себя излишним - рассыпаться под грузом собственного успеха. Совершенно обюрократившиеся индустриальные гиганты не только вытесняют мелкие и средние фирмы и "экспроприируют" их владельцев, но в конечном итоге вытесняют также и предпринимателя и экспроприируют буржуазию как класс, который в этом процессе рискует потерять не только свой доход, но, что гораздо более важно, и свою функцию. Истинными провозвестниками социализма были не интеллектуалы и не агитаторы, которые его проповедовали, но Вандербильты, Карнеги и Рокфеллеры. Результат может оказаться не совсем по вкусу марксистским социалистам, тем более

не по вкусу социалистам в более популярном (Маркс сказал бы - вульгарном) понимании. Но что касается самого прогноза, то здесь наши выводы полностью совпадают.

## 2. Разрушение защитного слоя

До сих пор мы рассматривали влияние капиталистического процесса на экономический

фундамент верхушки капиталистического общества, на ее социальное положение и престиж. Но это влияние простирается и дальше, затрагивая институциональные структуры, которые ее защищали. Термин "институциональные структуры" мы будем употреблять в самом широком смысле, относя сюда не только юридические институты,

но также и сложившиеся установки общественного мнения и государственной политики.

1. Капиталистическая эволюция прежде всего разрушила или, во всяком случае, во многом способствовала разрушению институциональных опор феодального мира - поместья, деревни, ремесленного цеха. История и механизмы этого процесса слишком

хорошо известны, чтобы стоило на них задерживаться. Разрушение происходило тремя

путями. Мир ремесленников был разрушен прежде всего автоматическими эффектами конкуренции, исходившей от капиталистического предпринимателя; политические меры

но отмене отживших организаций и законов лишь зарегистрировали свершившийся факт. Мир феодальных сеньоров и крестьян был разрушен главным образом политическими - в некоторых случаях революционными - мерами, а капитализм просто

руководил адаптивными преобразованиями, как это происходило, например, в Германии, когда поместья юнкеров превращались в крупные сельскохозяйственные предприятия. Но параллельно с этими промышленными и аграрными революциями происходили не менее революционные преобразования в общих установках законодательной власти и общественного мнения. Вместе с прежним экономическим укладом исчезали и экономические и политические привилегии классов и групп, которые раньше играли в нем ведущую роль, в частности, были отменены налоговые льготы и политические прерогативы крупных и мелких помещиков и церкви. Экономически для буржуазии это означало падение многочисленных оков и преград. Политически это означало замену того уклада, при котором буржуа был смиренным подданным, другим укладом, который был ближе по духу его рациональному складу и его непосредственным интересам. Но если взглянуть на этот процесс с позиций сегодняшнего дня, невольно возникает вопрос, пошла ли такая полная эмансипация на пользу буржуазии и ее миру. Ведь эти преграды не только сдерживали буржуазию,

они ее и защищали. Прежде чем мы пойдем дальше, этот момент необходимо пояснить и оценить.

2. Процесс становления капиталистической буржуазии и связанный с ним процесс становления национальных государств в XVI, XVII и XVIII вв. породили социальную структуру, которая может показаться двойственной, хотя она была ничуть не более двойственной или переходной, чем любая другая. Особенно показательна в этом смысле монархия Людовика XIV. Королевская власть подчинила себе поместное дворянство и в то же время привлекла его на свою сторону, предоставив возможность служить и получать пенсию и условно признав ее претензии на положение правящего или ведущего класса. Точно так же королевская власть подчинила себе и церковь и заключила с нею союз [Галликанизм был всего лишь идеологическим отражением этих событий.]. Она окончательно укрепила свою власть над буржуазией, своим старым союзником по борьбе с земельными магнатами, защищая

и продвигая вперед развитие предпринимательства, с тем чтобы в последующем эксплуатировать его еще более эффективно. Точно так же государственная власть - а также землевладельцы и промышленники, действовавшие от ее имени, - усмиряла, эксплуатировала и защищала крестьян и (немногочисленный) промышленный пролетариат - хотя в случае *ancien régime* (старого режима) во Франции эта защита была значительно менее заметна, чем, скажем, в Австрии в эпоху правления Марии-Терезы или Иосифа II. Это было не просто правительство, понимаемое в смысле либерализма XIX в., т.е. социальная структура, существующая ради выполнения некоторого ограниченного круга функций и обязанная уложиться в минимальный бюджет. В принципе монархия руководила всем - начиная от человеческих душ, кончая выбором рисунков на шелках лионских ткачей, а в финансовом отношении стремилась иметь максимальный бюджет. Хотя королевская власть никогда не была поистине абсолютной, государственная власть была всеобъемлющей.

Правильная оценка такого порядка имеет огромное значение для нашего предмета. Король, придворные, армия, церковь и бюрократия жили во все возрастающей степени

за счет доходов, создаваемых капиталистическим процессом, причем вследствие развития капитализма увеличивались даже феодальные источники доходов. Внутренняя

и внешняя политика и институциональные изменения также во все возрастающей степени формировались так, чтобы отвечать требованиям этого развития и двигать его вперед. В этом смысле феодальные элементы в структуре так называемой абсолютной монархии представляются чем-то вроде атавизмов - оценка, которая на первый взгляд кажется совершенно естественной.

Однако, взглянув попристальней, мы увидим, что эти элементы значили нечто большее. Стальной каркас этой структуры по-прежнему состоял из человеческого материала феодального склада, и материал этот по-прежнему вел себя в соответствии с докапиталистическими традициями. Эти люди занимали государственные должности, служили офицерами в армии, разрабатывали политику - они вели себя как *classe dirigeante* (правлящий класс) и, хотя учитывали буржуазные интересы, от самой буржуазии они тщательно дистанцировались. Центр этой композиции - король - был королем милостью Божьей, и корни занимаемого им положения были феодальными не только в историческом, но также и в социологическом смысле, как бы широко он не пользовался экономическими

возможностями, предоставляемыми капитализмом. Это было нечто большее, чем атавизм. Это был активный симбиоз двух социальных слоев, один из которых, несомненно, поддерживал другого экономически, но в свою очередь пользовался политической поддержкой другого. Что бы мы не думали по поводу достоинств или недостатков такого уклада и что бы не думали о нем - а также о повесах и бездельниках-аристократах - сами буржуа, именно в этом была суть того общества. 3. Но только ли того общества? Ответ подсказывает нам последующий ход событий, наилучшей иллюстрацией которого служит история Англии. Аристократия продолжала верховодить вплоть до конца периода девственного и бурно растущего капитализма. Конечно, аристократия, хотя нигде она не была столь эффективной, как в Англии, нередко впитывала в себя выходцев из других слоев, если их заносило в политику, она стала представителем буржуазных интересов и сражалась за дело буржуазии; ей пришлось отказаться от последних своих законных привилегий; но даже в таком разбавленном составе и отстаивая цели, которые уже являлись ее собственными, она

продолжала комплектовать кадрами политический двигатель, руководить государством, править.

Экономически активная часть буржуазного слоя не слишком этому сопротивлялась. Такого рода разделение труда в целом ее вполне устраивало. В тех случаях, когда она все же против него восставала или когда ей удавалось занять главенствующее политическое положение без борьбы, ей ни разу не удалось превратить свое правление в блестящий успех или доказать твердость своих позиций. Возникает вопрос, можем ли мы объяснить все эти неудачи лишь отсутствием необходимого опыта и установок правящего класса?

Нет, не можем. Как показывает исторический опыт Франции и Германии, где буржуазия пыталась установить свою власть, у всех этих неудач есть и более глубокая причина, которую мы сможем лучше всего пояснить, если вновь вернемся к нашему сравнению промышленника или торговца со средневековым землевладельцем. "Профессия" последнего не только хорошо готовила его к защите собственных классовых интересов, - он не только был способен отстаивать их с мечом в руках, - но она также создавала вокруг него некий ореол и делала его повелителем людей.

Первое было важно, но еще важнее был мистический ореол и величественные манеры - эта способность и привычка повелевать и властвовать, перед которой почтительно

склонялись все слои общества. Престиж дворянства был настолько высок, а властность настолько действенной, что в данном случае классовое положение пережило те социальные и материальные условия, которые его породили, и доказало свою приспособляемость путем трансформации классовой функции к совершенно иным социальным и экономическим условиям. С великолепной легкостью и изяществом лорды

и рыцари превратились в судей, администраторов, дипломатов, политиков и военных офицеров того типа, который не имел ничего общего с типом средневековых рыцарей. И самое, если задуматься, удивительное - остатки этого прежнего преклонения живы и по сей день и не только в глазах наших женщин.

О промышленнике или торговце можно сказать прямо противоположное. Он, несомненно, лишен какого бы то ни было мистического ореола, который один только и возвышает правителей над людьми. Фондовая биржа - слабая замена Священному Граалю. Мы уже видели, что промышленник и торговец, поскольку они являются предпринимателями, также выполняют функцию лидерства. Но экономическое лидерство

подобного типа в отличие от военного лидерства средневековых лордов не так-то легко превращается в лидерство политическое. Скорее, наоборот, бухгалтерские книги и расчет себестоимости отнимают все время и держат на приколе.

Я называл буржуа рационалистом, чуждым героики. Чтобы настоять на своем или заставить нацию подчиниться своей воле, он может использовать только рационалистические, чуждые героике средства. Он может поражать воображение своими экономическими достижениями, он может отстаивать свою правоту, он может посулить деньги или пригрозить их попридержать, он может купить продажные услуги наемных убийц, политиков или журналистов. Но это все, что он может, причём политическая значимость всех этих мер сильно преувеличена. Ни жизненный опыт, ни традиции буржуа не делают его личность привлекательной. Даже гений бизнеса вне стен своего кабинета часто и слова никому поперек сказать не решится

- ни у себя в гостиной, ни с трибуны. Зная за собой эту слабость, буржуа хочет, чтобы его оставили в покое, и сам не лезет в политику. Читатель, конечно, и здесь припомнит исключения из правила. Но опять-таки исключений этих не так уж много. Способности к управлению муниципальным хозяйством, интерес к нему и успехи в этой области являются единственным важным исключением в Европе, но это, как мы покажем, не только не противоречит вышесказанному, но даже подтверждает нашу мысль. До появления современных метрополий управление городом было сродни хозяйственному управлению. Понимание городских проблем и авторитет среди жителей давались промышленнику и торговцу естественным образом, а поскольку интересы местной промышленности и торговли составляли главный предмет городской политики, ее вполне можно было проводить с помощью методов, принятых в бизнесе. В исключительно благоприятных условиях эти корни давали исключительные победы - вспомним, например, достижения Венеции и Генуи. В этом же ряду стоят и Нидерланды, причем их пример особенно показателен,

поскольку в великой игре международной политики эта купеческая республика неизменно проигрывала, и практически во всех критических ситуациях ей приходилось передавать бразды правления военачальнику феодального склада. Что касается Соединенных Штатов, то и здесь нетрудно привести перечень исключительно благоприятных условий, - впрочем, быстро идущих на убыль, - которые объясняют их успех [К этому вопросу мы еще вернемся в четвертой части]. 4. Вывод очевиден: если оставить в стороне подобные исключительные условия, мы увидим, что класс буржуазии плохо подготовлен к решению как внутренних, так и внешних проблем, с которыми обычно приходится иметь дело правительству всякой страны, как большой, так и малой. Буржуазия и сама это чувствует, несмотря на все ее заявления, в которых утверждается обратное, чувствуют это и массы. Под прикрытием защитной брони, выполненной из небуржуазного материала, буржуазия может добиваться успеха, причем не только в оборонительных, но и в наступательных действиях, особенно если она выступает как оппозиция. Какое-то время она чувствовала себя настолько защищенной, что стала даже позволять себе нападать на свой защитный панцирь - это великолепно иллюстрируют действия буржуазной оппозиции в имперской Германии. Но без защиты того или иного небуржуазного слоя буржуазия оказывается политически беспомощной и неспособной не только вести за собой нацию, но даже защитить свои собственные классовые интересы. Короче говоря, она нуждается в хозяйской руке. Но капиталистический процесс как благодаря своим экономическим механизмам, так и

своим психосоциологическим эффектам покончил с этим хозяином-защитником, а кое-где, например в США, просто не дал ему или его заместителю шанса встать на ноги. Значение этого усиливается также другим следствием того же процесса. Капиталистическая эволюция устраняет не только короля *Dei Gratia* (Божьей милостью), но и другие политические укрепления, которые могли бы образовать деревня и ремесленные цехи. Конечно, ни та, ни другая организация в той конкретной форме, в какой их застал капитализм, прочными не являлись. Однако капитализм нес с собой разрушения, далеко выходящие за рамки неизбежного. Он атаковал ремесленника в резервациях, в которых он мог бы спокойно существовать неопределенно долгое время. Крестьянину он навязал все блага раннего либерализма - свободное и ничем не защищенное владение своим участком земли и веревку индивидуализма, чтобы на ней повеситься. Разрушая докапиталистический каркас общества, капитализм, таким образом, сломал не только преграды, мешавшие его прогрессу, но и те опоры, на которых он сам держался. Этот процесс, внушительный в своей неумолимой неизбежности, заключался

не просто в расчистке институционального сухостоя, но и в устранении партнеров капиталистического класса, симбиоз с которыми был существенным элементом капиталистической системы. Обнаружив этот факт, скрытый за множеством лозунгов, мы имеем все основания задать вопрос, вполне ли корректно считать капитализм самостоятельно возникшей социальной формой или он является всего лишь последней стадией разложения того, что мы называем феодализмом. В целом, я склонен полагать, что его особенности достаточны, чтобы классифицировать его как самостоятельный тип и считать, что симбиоз классов, которые обязаны своим существованием различным эпохам и процессам, есть скорее правило, чем исключение, - по крайней мере, он был правилом в течение последних шести тысяч лет, т.е. с тех самых пор, как первобытные земледельцы превратились в подданных

конных кочевников. Но и никаких серьезных возражений против сформулированной выше противоположной точки зрения я тоже не вижу.

3. Разрушение институциональной структуры капиталистического общества

Мы возвращаемся теперь к нашей теме с внушительным грузом зловещих фактов. Этих фактов почти, хотя и не совсем, достаточно, чтобы доказать наше следующее утверждение, а именно то, что капиталистический процесс, подобно тому как он разрушил институциональную структуру феодального общества, подрывает также и свою собственную институциональную структуру.

Выше мы уже говорили о том, что самый успех капиталистического предпринимательства парадоксальным образом имеет тенденцию умалять престиж и социальный вес класса, который в первую очередь с этим предпринимательством связан, и что гигантская армия управленцев имеет тенденцию освобождать буржуазию

от той функции, которой она обязана этим социальным весом. Соответствующие изменения в содержании и сопровождающий эти изменения упадок жизненных сил буржуазных институтов и установок нетрудно проследить.

С одной стороны, капиталистический процесс неизбежно подрывает экономическую базу мелких производителей и торговцев. Он делает с нижними слоями

капиталистической индустрии то же, что он сделал с докапиталистическими классами, причем использует для этого тот же механизм - механизм конкурентной борьбы. Здесь, конечно, Марксу трудно возразить. Пусть реальные факты промышленной концентрации не вполне соответствуют тем идеям, которые внушаются публике (см. гл. XIX). Процесс на самом деле зашел не так далеко и не так редко сталкивается с препятствиями и компенсаторными тенденциями, как это представлено во многих популярных изложениях. В частности, крупномасштабное предприятие не только уничтожает, но в определенной мере также и создаст питательную почву для возникновения мелких производственных и особенно торговых фирм. К тому же, что касается фермеров и крестьян, то капиталистический мир наконец доказал, что он хочет и может проводить дорогостоящую, но в целом эффективную политику сохранения этих укладов. Однако в долгосрочном аспекте не может быть никаких сомнений относительно справедливости сделанного вывода или того, к каким последствиям этот процесс приведет. Более того, за пределами аграрной области буржуазия обнаружила лишь слабое понимание этой проблемы [Хотя есть и исключения. Так, правительство империалистической Германии много сделало для борьбы с этим конкретным видом рационализации, а сегодня сильные тенденции такого же рода мы наблюдаем и в США.] и ее важности для выживания капиталистического строя. Прибыль, которую сулит рациональная организация производства, особенно удешевление многотрудного пути товаров от завода до конечного потребителя, - это слишком сильное искушение, противиться которому разум типичного бизнесмена не в состоянии.

Здесь очень важно понимать, в чем именно состоят эти последствия. Широко распространенный вид социальной критики, с которым нам уже приходилось встречаться, оплакивает "закат конкурентной борьбы" и приравнивает его к закату капитализма в силу достоинств, которые приписываются конкуренции, и пороков, которые приписываются современным промышленным "монополиям". В таком понимании монополизация играет роль атеросклероза и подрывает жизнеспособность капиталистического строя, снижая экономическую эффективность. Мы показали, почему такой взгляд следует отвергнуть. С экономической точки зрения ни достоинства конкуренции, ни пороки концентрации экономического контроля и близко

не имеют того значения, какое придается им в подобных теориях. А если бы и имели, все равно в этих рассуждениях упускается из виду одно очень важное обстоятельство. Даже если бы управление гигантскими концернами велось столь безупречно, что ему рукоплескали бы ангелы в раю, политические последствия концентрации все равно оставались бы теми же самыми, какие мы наблюдаем сегодня.

На политическую структуру государства глубокое воздействие оказывает ликвидация множества мелких и средних фирм, владельцы которых вместе со своими семьями, помощниками и партнерами образуют весомую силу у избирательных урн и имеют такую власть над тем, что можно назвать классом мастеров, т.е. верхним слоем рабочих, какой никогда не сможет иметь руководство крупного предприятия; самый фундамент частной собственности и свободных договорных отношений стирается в государстве, в котором с этического горизонта людей исчезают самые энергичные, самые практичные, самые содержательные человеческие типы.

С другой стороны, капиталистический процесс подрывает свою собственную институциональную структуру - давайте по-прежнему считать "собственность" и "свободу контрактов" *partes pro toto* (частями вместо целого - лат.) - и в рамках крупных предприятий. За исключением случаев, которые все еще играют значительную

роль, - когда корпорацией практически владеет один человек или одна семья, - фигура собственника уходит в небытие, а вместе с ней исчезают и характерные интересы собственности. Остаются наемные управляющие высшего и нижнего звена. Остаются крупные и мелкие владельцы акций. Первая группа склонна приобретать установки, свойственные наемным служащим, и практически никогда не отождествляет

свои интересы с интересами держателей акций, даже в самых благоприятных случаях,

т.е. в случаях, когда такая группа отождествляет свои интересы с интересами концерна как такового. Представители второй группы, даже если они считают свою связь с концерном постоянной и действительно ведут себя так, как должны вести себя держатели акций согласно финансовой теории, все же отличаются от истинных хозяев как по своим функциям, так и по своим установкам. Что же касается третьей группы, то мелкие держатели акций, как правило, вообще не интересуются делами компании, акции которой для большинства из них образуют лишь небольшой источник дохода, но даже если они этим интересуются, они практически никогда не ходят на собрания акционеров, если только они или их доверенные лица не хотят кому-то нарочно досадить; поскольку их интересами часто пренебрегают, а сами они думают, что их интересами пренебрегают даже чаще, чем это случается на самом

деле, они, как правило, враждебно относятся и к "своей" корпорации, и к крупному бизнесу вообще, и к капитализму как таковому - особенно если дела идут не слишком хорошо. Ни одна из этих трех групп, которые я выделил как самые типичные, не является безусловным выразителем интересов, характерных для такого любопытного явления, столь содержательного и так быстро исчезающего, которое обозначается понятием "собственность".

То же самое можно сказать и о свободе контракта. В эпоху расцвета договорных отношений это понятие означало свободу заключать индивидуальные договоры на основании индивидуального выбора из бесконечного числа возможностей.

Стандартизированный, лишенный индивидуальных черт, обезличенный и бюрократизированный контракт, который мы имеем сегодня, - в первую очередь мы имеем в виду договор трудового найма, хотя это относится также и ко многим другим контрактам, - который предоставляет весьма ограниченную свободу выбора, в

основном строится по формуле "*c'est a prendre ou a laisser*" [хочешь бери, не хочешь - тебе же хуже - фр.]. Он совершенно лишен прежних характерных черт, большинство из которых стали невозможными в условиях, когда гигантские концерны имеют дело с другими гигантскими концернами или безликими массами рабочих или потребителей. Эта пустота заполняется тропической порослью новых юридических структур - и если подумать, то никак иначе и быть не могло.

Таким образом, капиталистический процесс отодвигает на задний план все те институты, в особенности институт частной собственности и институт свободного контракта, которые выражали потребности и методы истинно "частной" экономической

деятельности. Если он не устраняет их полностью, как это случилось со свободой договорных отношений на рынке труда, он достигает того же результата, изменяя относительную важность существующих юридических форм, - например, усиливая юридические позиции корпоративного бизнеса в противовес тем, которые занимают товарищества или фирмы, находящиеся в индивидуальной собственности, - или изменяя их содержание и смысл. Капиталистический процесс, подменяя стены и оборудование завода пачкой акций, выхолащивает саму идею собственности. Он ослабляет хватку собственника, некогда бывшую такой сильной, - законное право

и фактическую способность распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. В результате держатель титула собственности утрачивает волю к борьбе

- борьбе экономической, физической и политической за "свой" завод и свой контроль над этим заводом, он теряет способность умереть, если потребуется, на

его пороге. И это исчезновение того, что можно назвать материальной субстанцией собственности, - ее видимой и осязаемой реальности - влияет не только на отношение к ней ее держателей, но и на отношение рабочих и общества в целом. Дематериализованная, лишенная своих функций и отстраненная собственность не впечатляет и не внушает чувства преданности, как собственность в период своего расцвета. Со временем не останется никого, кого бы реально заботила ее судьба, ни внутри больших концернов, ни за их пределами.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава тринадцатая.  
Растущая враждебность

#### 1. Социальная атмосфера капитализма

Из анализа, проделанного в двух предыдущих главах, должно быть достаточно ясно, каким образом капиталистический процесс породил ту атмосферу почти всеобщей враждебности по отношению к его собственному социальному строю, о которой я говорил в самом начале этой части. Это явление настолько поразительно, а объяснения, которые ему дают как марксизм, так и расхожие теории, настолько неадекватны, что нам представляется необходимым несколько углубить теорию этого вопроса.

1. Капиталистический процесс, как мы видели, постепенно снижает важность той функции, за счет которой живет класс капиталистов. Мы также видели, что он имеет тенденцию разрушать свой защитный слой, уничтожать свои собственные бастионы и разгонять гарнизоны, держащие линию обороны. И наконец, мы видели, что капитализм создает тот критический склад ума, который, разрушив моральный авторитет столь многих других институтов, в конце концов поворачивается против своих собственных; буржуа к своему удивлению обнаруживает, что рационалистическое отношение не ограничивается вопросом о законности власти королей и попов, но начинает ставить под сомнение и институт частной собственности, и всю систему буржуазных ценностей.

Буржуазная крепость оказывается, таким образом, политически беззащитной. А беззащитные крепости всегда служили приманкой для агрессоров - особенно те, что сулят богатую добычу. Агрессорам остается лишь найти своим враждебным помыслам рациональное объяснение [Надеюсь, что никакой путаницы из-за того, что я использую слово "рациональный" в двух разных смыслах, не возникнет. Завод работает рационально, когда его производственная отдача на единицу затрат высока. Мы находим рациональное объяснение своим действиям, когда придумываем для себя и для окружающих такие причины этих действий, которые отвечают нашим представлениям о добре и зле, независимо от того, каковы истинные мотивы этих действий.], но это им всегда удается. Безусловно, на какое-то время от них можно откупиться. Но и эта последняя уловка перестает срабатывать, как только они поймут, что могут получить все. Отчасти это и есть объяснение того, что мы хотим объяснить. В той мере, в какой это так, - а объяснение такое, конечно, неполно - этот элемент нашей теории подтверждается высокой корреляцией, которая исторически существует между буржуазной беззащитностью и враждебностью по отношению к капиталистическому строю: пока буржуазия занимала прочные позиции, особой враждебности она не вызывала, хотя поводов для враждебности в те времена было гораздо больше; враждебность стала усиливаться одновременно с разрушением защитных стен.

2. Логично, однако, задать вопрос, - и такой вопрос действительно задают в наивном изумлении многие промышленники, которые честно полагают, что выполняют свой долг перед всеми слоями общества, - с какой стати капитализм должен нуждаться в какой-то защите со стороны некапиталистических сил или преданности, выходящей за рамки рационального? Разве он не может с честью выйти из этого испытания? Разве наши предыдущие рассуждения недостаточно показали, что капитализм может предъявить немало утилитарных доводов в свою защиту? Разве

невозможно его полностью оправдать? К тому же вышеупомянутые промышленники, конечно, не упустят возможности подчеркнуть, что здравомыслящий рабочий, взвешивая все "за" и "против" своего контракта, скажем, с крупным сталелитейным или автомобильным концерном, имеет все основания прийти к выводу, что дела его в

конце концов не так уж плохи и что сделка эта выгодна не только противной стороне. Да, конечно, - только все это не имеет никакого отношения к делу. Во-первых, совершенно неправильно считать, что главной причиной политических нападков служит страдание и что для отражения этих нападков достаточно привести доводы в свою защиту. Политическую критику нельзя эффективно отразить разумными доводами. Из того обстоятельства, что критика капиталистического строя обусловлена критическим мышлением, т.е. установкой, отвергающей веру в ценности,

не поддающиеся рациональному объяснению, еще не следует, что рациональное опровержение наветов будет услышано. Подобное опровержение может сорвать с этих наветов покров рациональности, но оно никогда не сможет сразить ту иррациональную движущую силу, которая за ними скрывается. Капиталистическая рациональность не кладет конец иррациональным или внерациональным импульсам. Она

просто позволяет им выйти из-под контроля, снимая путы священных или полусвященных традиций. В цивилизации, где нет ни возможности, ни желания обуздать подобные страсти и подчинить их контролю, они неизбежно выходят из повиновения. А раз уже они вышли из повиновения, то здесь не играет роли, что в рационалистской культуре их проявлениям, как правило, находится какое-нибудь рациональное объяснение. Точно так же как требования обосновать свою утилитарную функцию, предъявляемые королям, лордам и попам, никогда не допускали

возможности удовлетворительного ответа перед лицом беспристрастных судей, так и капитализм предстал перед судьями, в карманах у которых уже лежит его смертный приговор. Они его и вынесут, какие бы доводы не приводила защита; единственный успех, на который может рассчитывать обвиняемый, - это измененная формулировка обвинительного акта. Утилитарный разум, во всяком случае, плохо подходит на роль

главной движущей силы коллективных действий. В этом он никогда не сможет тягаться с внерациональными детерминантами поведения.

Во-вторых, успех обвинения становится вполне объяснимым, как только мы поймем, к

каким последствиям могло бы привести решение дела в пользу капитализма. Оправдание капитализма, даже если доводов в его пользу было бы гораздо больше, чем их есть на самом деле, в любом случае не было бы легкой задачей. Оно потребовало бы от людей в своей массе такой проницательности и таких аналитических способностей, которые совершенно выходят за рамки возможного. Да что говорить, если практически любой вздор, который когда-либо говорился о капитализме, всегда находил своего поборника в лице того или иного претендующего

на ученость экономиста. Но даже если оставить это обстоятельство в стороне, рациональное признание экономической эффективности капитализма и перспектив, которые он сулит, потребовало бы от неимущих совершить почти невозможный моральный подвиг. Ведь эта эффективность заметна лишь в долгосрочной перспективе; таким образом, любые прокапиталистические доводы должны покоиться на долгосрочных соображениях. Если же говорить о ближайшей перспективе, то первое, что бросается в глаза, - это прибыль и неэффективность. Чтобы смириться со своей судьбой, левеллер или чартист прежних эпох должен был бы утешать себя надеждой на то, что его правнуки будут жить лучше. Чтобы идентифицировать себя с капиталистической системой, современному безработному пришлось бы совершенно позабыть про свою личную судьбу, а современному политику - про личные амбиции. Поскольку долгосрочные интересы общества целиком и полностью находятся в руках верхних слоев буржуазного общества, люди совершенно естественно считают их интересами только одного этого класса. А для народных масс важна именно ближайшая перспектива. Как и Людовик XV, они считают: "после нас - хоть потоп". И, считая так, поступают совершенно рационально с точки зрения индивидуалистического утилитаризма.

В-третьих, существуют будничные неурядицы или опасения этих неурядиц, с которыми

людям приходится бороться при любой социальной системе, - это неувязки и разочарования, крупные и мелкие неприятности, которые причиняют боль, раздражают и расстраивают планы. Думаю, что всем нам более или менее-свойственно целиком приписывать их той части реальности, которая лежит за пределами нашего контроля,

и чтобы преодолеть этот стихийно возникающий враждебный импульс, необходима эмоциональная привязанность к социальному строю, т.е. та самая вещь, которую капитализм органически неспособен породить. Если эмоциональной привязанности нет, этот импульс начинает жить своей жизнью и постепенно превращается в неотъемлемую составную часть нашего психического склада.

В-четвертых, постоянно возрастающий жизненный уровень и в особенности возможности проведения досуга, которые современный капитализм предоставляет тем, кто трудится, - впрочем, мне нет необходимости доводить эту фразу до конца и вновь повторять самый избитый, старый и скучный довод, который, к сожалению, совершенно справедлив. От века происходящее улучшение жизни, которое воспринимается как должное, плюс индивидуальная незащищенность, которая вызывает

острое возмущение, - это, конечно, самая лучшая питательная среда для социальных беспорядков.

## 2. Социология Интеллектуалов

Тем не менее, ни наличие возможности для атаки, ни реальные или воображаемые страдания не являются сами по себе достаточными условиями для проявления активной враждебности по отношению к социальному строю, как бы сильно они тому ни способствовали. Чтобы такая атмосфера возникла, необходимо, чтобы были группы, которым было бы выгодно эту враждебность нагнетать и организовывать, лелеять ее, стать ее рупором и лидером. Как будет показано в п. 4, народные массы сами по себе не способны выработать четкие и определенные взгляды. Тем более они не способны связно их сформулировать и превратить в последовательные установки и действия. Все, на что они способны, - это оказать или не оказать поддержку группе, претендующей на лидерство. Пока мы не обнаружим социальные силы, которые подходят на такую роль, вся наша теория враждебной атмосферы вокруг капитализма будет оставаться незавершенной.

Вообще говоря, коль скоро возникают условия, благоприятствующие общей враждебности по отношению к социальной системе или конкретным действиям, направленным против нее, всегда находятся и силы, которые смогут этими условиями

воспользоваться. Но в случае капиталистического общества необходимо отметить еще одно обстоятельство: в отличие от любых других социальных систем капитализм неизбежно и в силу самой логики своей цивилизации порождает, обучает и финансирует социальные группы, прямо заинтересованные в разжигании социальных беспорядков [Любая социальная система боится мятежей, и в каждой социальной системе разжигание мятежей - это занятие, приносящее в случае успеха большие дивиденды, и потому всегда влечет к себе и умы, и мускулы. Так было и в феодальные времена. Однако воины-дворяне, восстававшие против своих начальников,

направляли свой гнев против отдельных людей или должностей. Они не восставали против феодальной системы как таковой. И феодальное общество в целом совсем не склонно было поощрять - будь то вольно или невольно - какие бы то ни было действия, направленные против его социальной системы.]. Объяснение этого явления, которое столь же важно, сколь и любопытно, вытекает из наших рассуждений в гл. XI, но чтобы сделать его еще более убедительным, мы должны совершить небольшой экскурс в социологию Интеллектуалов.

1. Определить людей этого типа не так-то легко. Сама эта трудность на самом деле симптоматична. Интеллектуалы - это не социальный класс в том смысле, в каком им являются крестьяне или промышленные рабочие; они приходят из всех уголков социального мира, а занимаются главным образом тем, что воюют между собой или формируют передовые отряды борьбы за чужие классовые интересы. Тем не менее, у них возникают групповые установки и групповые интересы, причем достаточно сильные, чтобы заставить многих из них вести себя таким образом, который в нашем представлении обычно ассоциируется с понятием социального класса. Опять-таки их нельзя определить просто как совокупность всех людей, получивших высшее образование, - это бы заслонило от нас самые важные черты этого типа. При этом все, кто имеет высшее образование, являются потенциальными

интеллектуалами, и никто из тех, кто его не имеет, таковым за редким исключением не являются; а то обстоятельство, что их головы сходным образом оснащены, облетает взаимопонимание и сплачивает. Не приблизит нас к цели и попытка связать

это понятие с принадлежностью к людям свободных профессий; врачи и юристы, например, не являются интеллектуалами в том смысле, который мы имеем в виду, если они не рассуждают письменно или устно о предметах, лежащих за пределами их профессиональной компетенции, хотя они, безусловно, имеют такую склонность и делают это весьма часто - особенно юристы. И все же между интеллектуалами и свободными профессиями существует очень тесная связь. Дело в том, что некоторые профессии - особенно если считать профессией журналистику - на самом деле действительно почти целиком относятся к сфере обитания интеллектуалов; представители любой свободной профессии имеют возможность стать интеллектуалами;

и многие интеллектуалы зарабатывают себе на жизнь, практикуя ту или иную свободную профессию. Наконец, определение интеллектуалов через противопоставление умственного и физического труда оказалось бы слишком широким [К своему сожалению, я обнаружил, что Оксфордский толковый словарь английского языка не приводит того значения, который мне хотелось бы вложить в это слово. Он

приводит выражение *dinner of intellectuals* ("пиршество интеллектуалов"), но в связи со значением высшие виды умственной деятельности", которое уводит нас в совершенно иную плоскость. Как я ни старался, мне не удалось подыскать другое слово, которое столь же верно отвечало моим целям.]. Выражение же герцога Веллингтона "братия бумагомарателей" представляется слишком узким [Эти слова герцога приведены в "The Croker Papers" (ed. L.J. Jennings, 1884.) То же относится и к термину *hommes de lettres* (литераторы)].

Впрочем, мы не совершили бы слишком большой ошибки, если бы воспользовались определением Железного герцога. На самом деле интеллектуалы - это люди, владеющие устным и письменным словом, а от других людей, делающих то же самое, их отличает отсутствие прямой ответственности за практические дела. Вообще говоря, с этой чертой связана и другая - а именно отсутствие практических знаний, знаний, которые даются только личным опытом. Установка на критику, которая объясняется не только положением интеллектуала как наблюдателя, причем в

большинстве случаев наблюдателя стороннего, но в не меньшей мере и тем, что его главный шанс самоутвердиться заключается в его фактической или потенциальной способности досаждать, добавляет к портрету интеллектуала третий штрих.

Профессия непрофессионалов? Профессиональный дилетантизм? Люди, которые берутся рассуждать обо всем, поскольку они ничего не понимают? Журналист из "Дилеммы доктора" Бернарда Шоу? Нет, нет, я этого не говорил, и я так не считаю. Такого рода ярлыки не только неверны, они еще и оскорбительны. Оставим тщетные попытки дать им словесное определение и определим их по методу подобия: подходящий экспонат, снабженный четкой этикеткой, мы найдем в музее греческой истории. Софисты, философы, риторика V и IV вв. до н.э. - как бы они ни возражали против того, чтобы их всех валили в одну кучу, все они принадлежали к одной породе людей, - идеально иллюстрируют мою мысль. То обстоятельство, что практически все они были учителями, не делает эту иллюстрацию менее ценной.

2. При анализе рационалистической природы капиталистической цивилизации (гл. XI), я подчеркнул, что от возникновения рациональной мысли до становления капитализма прошли тысячи лет; капитализм лишь придал новый импульс и специфический поворот этому процессу. Так и с интеллектуалами - оставляя в стороне греко-римский мир, мы находим их в чисто докапиталистических условиях, например в Королевстве франков и в странах, на которые оно распалось. Однако число их было невелико; это были священнослужители, в основном монахи, а их писания были доступны лишь бесконечно малой части населения. Конечно, время от времени появлялись сильные личности, которым удавалось выработать неортодоксальные взгляды и даже донести их до широкой аудитории. Однако это, как

правило, грозило вызвать враждебность очень жестко организованного окружения, - из которого в то же время трудно было вырваться, - и идя на этот шаг, человек рисковал обречь себя на участь еретика. Но мало было решиться на подобные действия, требовалась еще поддержка или доброе расположение какого-нибудь

влиятельного сеньора или вождя, и тактика миссионеров - убедительнейшее тому свидетельство. В целом, таким образом, интеллектуалов крепко держали в узде, и проявление своего норова было делом нешуточным даже во времена крайнего хаоса и смуты, как это было, например, в эпоху эпидемий чумы (в 1348 г. и позже). Но если колыбелью интеллектуалов средневекового образца служили монастыри, то капитализм отпустил их на волю и снабдил печатным станком. Медленная эволюция интеллектуалов-мирян была лишь одним из аспектов этого процесса; то, что возникновение гуманизма совпало во времени с появлением капитализма - факт весьма примечательный. Большинство гуманистов составляли поначалу филологи, однако - и это прекрасно иллюстрирует высказанную выше мысль - они не замедлили освоить сферы морали, политики, религии и философии. Виной тому было не только содержание классических работ, по которым они изучали свою грамматику, - ведь от

критики текста до критики общества путь короче, чем это может показаться. Как бы

то ни было, типичный интеллектуал не лелеял мечту быть сожженным на костре, который все еще угрожал еретикам. Как правило, почести и комфорт нравились ему гораздо больше. А получить все это можно было в конечном счете лишь из рук властителей, светских или духовных, хотя гуманисты были первыми интеллектуалами,

имевшими массовую аудиторию в современном смысле этого слова. Установка на критику крепчала с каждым днем. Но социальная критика - если не считать того, что содержалось в некоторых нападках на католическую церковь и в особенности на ее главу, - в подобных условиях расцвета не получила.

Однако почестей и приличных доходов можно добиваться разными путями. Лесть и подхалимство часто вознаграждаются хуже, чем их противоположность. Аретино [Пьетро Аретино (1492-1556).] не был первым, кто открыл эту истину, но ни одному

смертному не удалось превзойти его в умении ею пользоваться. Карл V был преданным мужем, но во время своих походов, которые на много месяцев отлучали его от дома, он жил жизнью джентльмена своей эпохи и своего класса. Ну и прекрасно, общество и, что особенно было важно для Карла, императрица не должны были об этом узнать, и великий критик политики и морали своевременно получал убедительные и весомые доводы. Карл откупался. Но дело все в том, что это не был

простой шантаж, который, как правило, одну сторону обогащает, а другой наносит ничем не компенсируемый ущерб. Карл знал, почему он платил, хотя, несомненно, он

мог бы заручиться молчанием более дешевым и радикальным методом. Он не выказывал

недовольства. Напротив, он даже превзошел самого себя и воздал почести этому человеку. Очевидно, ему необходимо было нечто большее, чем просто молчание, и, кстати говоря, его дары воздались ему сторицей.

3. Таким образом, в некотором смысле перо Аретино было действительно сильнее меча. Однако, возможно, виной тому мое невежество, мне неизвестно о случаях такого рода за последующие сто пятьдесят лет [Впрочем, в Англии роль и масштабы такого явления, как сочинение памфлетов, в XVII в. резко возросли.], в течение которых интеллектуалы, похоже, не играли сколько-нибудь заметной роли вне и независимо от устоявшихся профессий, а это были главным образом право и богословие. Характерно, что это затишье примерно совпадает с задержкой в эволюции капитализма, которая имела место в этот период смуты в большинстве стран континентальной Европы. И позже, когда капитализм стал наверстывать упущенное, интеллектуалы не замедлили к нему присоединиться. Дешевые книги, дешевые газеты и памфлеты, а также расширение аудитории, достигнутое отчасти благодаря возросшей доступности печатного слова, но частично представлявшее собой независимое явление, явившееся результатом пришедших к промышленной буржуазии богатства и веса и по времени совпавшего с этим усиления политической значимости анонимного общественного мнения, - все эти блага, равно как и возросшая свобода от всяческих пут, являются побочными продуктами капиталистической машины.

В течение первых трех четвертей XVIII в. утрата той первостепенной важности, которую на первых порах в карьере интеллектуала играл его персональный патрон, происходила неспешно. Но, по крайней мере, в случаях самых ярких удач мы явственно различаем возрастание важности нового элемента - поддержки

коллективного патрона - буржуазной публики. В этом, как и во всех иных отношениях, бесценный пример дает нам Вольтер. Сама его поверхностность, которая позволяла ему охватывать все, начиная от религии, кончая ньютоновой оптикой, в сочетании с неукротимой энергией и ненасытной любознательностью, совершенным отсутствием внутренних тормозов и умением безошибочно угадывать настроения эпохи и безраздельно их воспринимать позволила этому некритичному критику и посредственному поэту и историку заворочить публику - и труды его шли нарасхват. Он также спекулировал, жульничал, принимал дары и назначения, но в нем ощущалась независимость, основанная на прочном фундаменте его успеха у публики. Пример Руссо, хотя случай его совершенно иной и представляет он совершенно иной тип интеллектуала, не менее поучителен.

В последние десятилетия XVIII в. один поразительный эпизод высветил природу могущества независимого интеллектуала, который по характеру своей работы ни с чем иным, кроме как с социопсихологическим механизмом, именуемым "общественное мнение", дела не имеет. Произошло это в Англии, стране, которая в то время намного дальше других продвинулась по пути капиталистического развития. Следует признать, что Джон Уилкс развернул свои атаки против политической системы Англии

при исключительно благоприятном стечении обстоятельств; к тому же нельзя сказать, чтобы именно он опрокинул правительство, возглавляемое герцогом Бьютом,

правительство, у которого и так никогда не было шансов выжить и которое должно было пасть в силу дюжины других причин; однако "Северный бритт" - листок, выпускавшийся Уилксом, - оказался, тем не менее, той последней соломинкой, которая сломала ... политический хребет лорда Бьюта. Номер 45 "Северного бритта"

оказался первым залпом в кампании, которая добилась отмены безымянных ордеров на

арест и сделала огромный шаг вперед по пути к свободной прессе и свободным выборам. Пусть этого недостаточно, чтобы считаться творцом истории или создателем условий, позволивших изменить социальные институты, но этого вполне достаточно, чтобы заслуженно претендовать на роль, скажем, подручного повитухи [Я не боюсь, что какой-либо специалист по истории политики обвинит меня в том, что я преувеличил значение успеха Уилкса. Чего я боюсь, так это возражений против того, что я назвал его независимым деятелем, откуда получается, что он всем был обязан коллективу, и ничем - индивидуальному патрону. В начале своей карьеры он, безусловно, опирался на поддержку coterie (кружка доброжелателей). Но если разобраться, придется, я думаю, признать, что решающего значения это не имело и что вся поддержка, все деньги и почести, которые он впоследствии заслужил, были лишь следствием его предыдущего успеха и данью тому общественному

авторитету, который он приобрел самостоятельно.]. Неспособность врагов Уилкса помешать ему - вот самый значительный факт во всей этой истории. Они имели в своем распоряжении всю мощь организованного государства, и все же что-то заставило их отступить.

Во Франции годы, предшествовавшие революции, и сама революция тоже ознаменовались выпуском мятежного листка (Марат, Демулен), который, однако, в отличие от своего английского аналога не полностью выкинул за борт литературный стиль и грамматику. Но не будем на этом задерживаться, нам пора двигаться дальше. Террор и Первая империя, взявшиеся за дело более методично, положили этому конец. Затем последовал период, ненадолго прерванный периодом правления roi bourgeois (буржуазного короля) [Имеется в виду Луи Филипп Орлеанский. - Прим.ред.], более или менее жестких репрессий, который длился до тех пор, пока Вторая империя не была вынуждена ослабить узду, - произошло это примерно в середине 60-х годов. В центральной и южной Европе этот период длился примерно столько же, а в Англии аналогичные условия преобладали с начала революционных войн до прихода к власти Каннинга.

4. То, что в условиях капитализма противостоять этому натиску невозможно, доказывает неуспех предпринимавшихся в то время правительствами практически всех

европейских государств попыток заставить интеллектуалов повиноваться, некоторые из которых были весьма длительными и упорными. История их побед - это всего лишь

разные перепевы подвигов Уилкса. В капиталистическом обществе или обществе, в

котором капиталистический уклад играет решающую роль, всякая атака против интеллектуалов наталкивается на частные бастионы буржуазного бизнеса, в которых гонимые всегда смогут найти приют. Кроме того, такая атака должна развиваться согласно буржуазным принципам законодательной и административной практики, которые, конечно, допускают определенную свободу толкования, но лишь в определенных пределах, за которыми любые преследования пресекаются. Буржуазия может смириться или даже одобрить беззаконие, но только в качестве временной меры. В условиях чисто буржуазного режима, такого, как правление Луи Филиппа, войска могут расстреливать забастовщиков, но полиция не может устраивать облавы на интеллектуалов, а если и устроит, то должна их тут же отпустить, иначе буржуазия, как бы она ни осуждала некоторые из их деяний, встанет на их защиту, поскольку свободу, которую она не одобряет, нельзя сокрушить, не сокрушая при этом и ту свободу, которую она одобряет.

Заметим, что я вовсе не приписываю буржуазии бескорыстное великодушие или идеализм и не преувеличиваю значение мыслей, настроений и желаний людей - в оценке важности этого фактора я почти полностью, хотя и не во всем, согласен с Марксом. Защищая интеллектуалов как социальную группу, - конечно, речь не идет о каждом конкретном индивиде - буржуазия защищает самое себя и свой жизненный уклад. Только небуржуазное по своей природе и по своей идеологии правительство, - если говорить о нашем времени, то только социалистическое или фашистское правительство, - располагает достаточной силой, чтобы заставить их покориться. Чтобы этого добиться, такое правительство должно изменить типично буржуазные институты и резко ограничить индивидуальные свободы всех слоев населения. И вряд ли оно при этом остановится перед частным предпринимательством - оно просто

не сможет этого сделать.

Именно этим объясняется как нежелание, так и неспособность капиталистического строя эффективно контролировать свой интеллектуальный сектор. Нежелание, о котором здесь идет речь, - это нежелание последовательно использовать методы, несвойственные менталитету, сформированному капиталистическим процессом; неспособность - это неспособность использовать их в институциональных рамках, сформированных капиталистическим процессом, не прибегая к небуржуазным правилам игры. Таким образом, с одной стороны, наступление свободы слова, включая свободу

критики основ капиталистического общества, в долгосрочном плане неизбежно. С другой стороны, интеллектуалы не могут не критиковать, поскольку критика - это их хлеб, само их положение в обществе зависит от язвительности их нападок, а критика людей и текущих событий в условиях, когда нет ничего святого, с роковой неизбежностью приводит к критике классов и институтов.

5. Несколько последних штрихов завершат картину современного положения дел. Уровень жизни народа улучшился, стало больше свободного времени, и это изменило и все еще продолжает изменять состав коллективного патрона, вкусам которого интеллектуалы должны угождать. Книги и газеты продолжают дешеветь, возникли крупные газетные концерны [Появление и развитие крупных газетных концернов иллюстрируют два момента, которые мне хотелось бы особо подчеркнуть: во-первых, множественность аспектов, связей и влияний каждого конкретного элемента социальной структуры, которая не допускает простых и однозначных толкований, и, во-вторых, то, как важно проводить различие между краткосрочными и долгосрочными

явлениями, для которых верны разные, часто прямо противоположные утверждения. В большинстве случаев крупный газетный концерн - это просто деловое капиталистическое предприятие. Это не означает, что он обязательно должен защищать интересы капиталистов или интересы любого другого класса. Он действительно может их защищать, но только руководствуясь одним или несколькими из следующих мотивов, ограниченность которых очевидна: поскольку его финансирует

та или иная капиталистическая группировка, желающая, чтобы этот концерн отстаивал ее интересы и взгляды, - но чем больше концерн и его оборот, тем меньшую роль может играть этот мотив; поскольку он ориентируется на вкусы публики, придерживающейся буржуазных взглядов, - но этот мотив, игравший значительную роль примерно до 1914 г., в настоящее время все чаще выходит другим

боком; поскольку рекламодатели предпочитают пользоваться услугами родственного им по духу издания - но чаще всего они к этому вопросу подходят очень

прагматично; поскольку владельцы газеты настаивают на проведении определенного курса, независимо от того, как это скажется на объемах продаж, - в определенной мере они так и поступают, хотя раньше это происходило чаще, но практика показывает, что если конфликт с их материальными интересами по обеспечению продаж заходит слишком далеко, они идут на попятную. Иными словами, крупный газетный концерн - это мощнейшее орудие укрепления положения и усиления влияния интеллектуальной прослойки, однако и по сей день он не находится под ее полным контролем. Он даст ей работу и выход на более широкую аудиторию, но он же и держит ее в "узде". "Узда" эта имеет значение в основном в краткосрочном аспекте; борясь за большую свободу делать то, что ему нравится, журналист легко может потерпеть поражение. Но именно этот краткосрочный аспект - и коллективная память о прошлых трудностях - не даст интеллектуалу покоя и определяет палитру той картины рабства и мученичества, которую он пишет для публики. На самом деле на этом холсте следовало бы изобразить победу. Победа в этом, как и во многих других случаях, является мозаикой, сложенной из поражений.]. Есть радио. И была,

и есть тенденция к полному устранению ограничений, методично отражающая некомпетентные, а иногда по-детски наивные попытки буржуазного общества оказать сопротивление.

Существует, однако, и другой фактор. Одной из самых важных особенностей позднейших стадий капиталистической цивилизации является бурное развитие образовательного аппарата и в особенности высшего образования. Это развитие было

не менее неизбежно, чем развитие крупнейших промышленных предприятий, но в отличие от последних оно находилось под опекой общественного мнения и государственной власти, благодаря чему продвинулось куда дальше, чем могло бы, если бы опиралось лишь на собственные силы. Что бы мы об этом ни думали и какой бы ни была здесь истинная причинная связь, этот процесс имеет ряд следствий, которые сказываются на численности и настроениях интеллектуальной прослойки.

Во-первых, поскольку высшее образование увеличивает предложение услуг специалистов, квазиспециалистов и, наконец, всякого рода "белых воротничков" сверх пределов, определяемых оптимизацией соотношения затрат и результатов, оно может стать важнейшей причиной структурной безработицы.

Во-вторых, наряду с такой безработицей или вместо нее оно создает неудовлетворительные условия занятости - занятость на работах, не отвечающих стандартам или оплачиваемых хуже, чем труд квалифицированных рабочих, занятых физическим трудом.

В-третьих, оно может порождать безработицу особенно неприятного свойства. Человек, окончивший колледж или университет, часто становится физически непригодным к работе по рабочим специальностям, но при этом "нет никаких гарантий, что он окажется пригодным к работе в профессиональной области. Подобная профнепригодность может быть связана либо с отсутствием природных способностей - вещь вполне возможная даже для тех, кто сумел успешно сдать все экзамены в институте, либо с низким качеством обучения, причем обе эти причины будут возникать все чаще как абсолютно, так и относительно по мере того, как в высшее образование вовлекаются все большие массы людей и по мере того, как потребность в преподавателях растет, никак не соотносясь с тем, какое количество талантливых преподавателей и ученых решит произвести на свет природа.

Результаты того, что мы закрываем на это глаза и действуем так, как если бы вопрос о школах, колледжах и университетах упирался лишь в деньги, слишком очевидны, чтобы на них задерживаться. Примеры, когда среди дюжины претендентов на должность, имеющих дипломы по специальности, не оказывалось ни одного, кто был бы способен удовлетворительно с ней справиться, знакомы всякому, кому когда-либо приходилось принимать людей на работу, - я имею в виду всякому, кто сам способен быть в таких вопросах судьей.

Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к

работе вообще, постепенно оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования наиболее расплывчаты или где ценятся знания и способности совершенно иного рода. Они пополняют собой армию интеллектуалов в строгом смысле этого слова, ряды которых, таким образом, непомерно возрастают. Они вступают в нее, испытывая глубокое недовольство. Недовольство порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую установку на критику общества, которая, как мы уже

видели, является типичной установкой наблюдателя-интеллектуала по отношению к людям, классам и институтам, во всяком случае, в цивилизации, построенной на принципах рациональности и утилитарности. Ну что ж, вот вам и численность; четко определенное классовое положение пролетарского оттенка; групповой интерес,

формирующий групповую установку, которая куда более убедительно объясняет враждебность по отношению к капиталистическим порядкам, чем теория, которая в психологическом смысле сама есть не что иное, как рационализация, в соответствии с которой справедливое негодование интеллектуалов по поводу пороков

капитализма есть лишь логическое следствие возмутительных фактов. Такая теория ничем не лучше, чем вера влюбленных в то, что их чувства есть лишь логическое продолжение достоинств их возлюбленных [Читатель заметит, что любые подобные измышления были бы беспочвенными, даже если бы реалии капитализма или добродетели возлюбленных действительно соответствовали всему тому, что критики социального строя или любовники о них думают. Также важно заметить и то, что в подавляющем большинстве случаев и критики, и любовники совершенно искренни в своих оценках; ни психосоциологический, ни психофизический механизм, как правило, не попадает в центр внимания своего "Я", только в виде сублимаций.]. Кроме того, наша теория объясняет также и то, что враждебность эта не только не убывает, но даже усиливается с каждым новым достижением капиталистической эволюции.

Конечно, враждебность интеллектуалов, которая сводится к моральному осуждению капиталистического строя, - это одно, а атмосфера всеобщей враждебности, которая

окружает капиталистический двигатель, - это другое. Последнее - это действительно существенное явление, и оно не является лишь следствием первого, но проистекает отчасти из независимых источников, о некоторых из которых мы уже упоминали; в той мере, в какой это так, оно доставляет интеллектуалам сырой материал для обработки. Отношения между обоими строятся по принципу взаимного дополнения, но чтобы подробно разобраться в этом вопросе, потребовалось бы больше места, чем то, которым я располагаю. Общий контур такого анализа, однако,

достаточно очевиден, и я думаю, достаточно будет просто еще раз повторить, что роль интеллектуала состоит в первую очередь в поощрении, возбуждении, облачении в словесную форму и организации этого материала и лишь во вторую очередь - в обогащении его. Этот принцип можно проиллюстрировать на некоторых конкретных примерах.

6. Капиталистическая эволюция порождает рабочее движение, которое, очевидно, не является изобретением интеллектуалов. Но естественно, что подобная возможность приложения сил и интеллектуальный гений должны были найти друг друга. Рабочие никогда не покушались на интеллектуальное лидерство, зато интеллектуалы заполнили политику рабочих партий. Им было что в эту политику привнести: они стали рупором этого движения, снабдили его теориями и лозунгами - классическим примером является лозунг классовой борьбы, привили ему самосознание и благодаря этому изменяли самый его смысл. Решая эту задачу со своих собственных позиций, они, естественно, ее радикализировали, сумев со временем придать революционный уклон даже самым буржуазным из тред-юнионистских начинаний, уклон, который поначалу вызывал негодование большинства лидеров, не относившихся к числу интеллектуалов. Но этому была еще и другая причина. Внимая интеллектуалу, рабочий почти неизбежно ощущает непреодолимую пропасть, если не откровенное недоверие. Чтобы завладеть его доверием и тягаться с лидерами-неинтеллектуалами, интеллектуалу приходится пускаться на такие уловки, которые последним совершенно ни к чему. Не имея подлинного авторитета и постоянно ощущая опасность, что ему бесцеремонно укажут на место, интеллектуал вынужден льстить, обещать и воодушевлять, уговаривать левых радикалов и недовольные меньшинства, покровительствовать сомнительным и субмаргинальным идеям, взывать к пограничным группировкам, выказывать свою готовность к повиновению - короче, вести себя по отношению к массам так, как его предшественники вели себя сперва по отношению к своим церковным начальникам, затем по отношению к светским правителям и индивидуальным патронам, а еще позже - по отношению к коллективному хозяину в буржуазном обличье". Таким образом, хотя интеллектуалы и не были создателями рабочего движения, они тем не менее превратили его своими усилиями в нечто такое, что существенно отличается от

того, чем оно могло бы стать без их вмешательства. Социальная атмосфера, под которую мы пытались подвести теоретическую базу, объясняет, почему государственная политика становится со временем все более и более враждебной по отношению к капиталистическим интересам, достигая наконец той стадии, когда она принципиально отказывается учитывать требования капиталистической машины и превращается в серьезную помеху ее функционированию. Однако действия интеллектуалов имеют и более непосредственное отношение к антикапиталистической политике, чем то, которое связано с их функцией рупора этой политики. Интеллектуалы редко встают на стезю профессиональной политики и еще реже добиваются политического признания. Однако именно они укомплектовывают собой политические бюро, сочиняют политические памфлеты и речи, служат референтами и советниками, создают репутацию газетам тех или иных политиков, а этим, хотя само по себе это еще не решает успех дела, немногие могут позволить себе пренебречь. При этом они в определенной мере оставляют отпечаток своего менталитета практически на всем, что делают. Истинная степень оказываемого ими влияния может быть самой разной в зависимости от состояния политической игры - от простой формулировки до превращения того или

иного шага в политически возможный или невозможный. Но для такого влияния всегда

находится достаточно места. Когда мы говорим, что те или иные политики или партии являются глашатаями классовых интересов, мы в лучшем случае говорим лишь одну половину правды. Другая ее половина, которая, по крайней мере, не уступает по важности первой, раскрывается, когда мы отдаем себе отчет в том, что политики

- это профессиональная группа, имеющая собственный интерес, который может противоречить, а может и совпадать с интересами тех группировок, "представителями" которых являются те или иные личности или партии [Все это мы покажем на примерах и обсудим подробнее в пятой части. Это, разумеется, в равной

мере относится и к самим интеллектуалам, и к классу, выходцами из которого они являются, или классу, к которому они примыкают в силу культурных или экономических обстоятельств. К этому вопросу мы еще вернемся в гл. XXIII.] . Мнения индивидов и партий самым чутким образом реагируют на те факторы политической ситуации, которые непосредственно затрагивают карьеру или положение

индивидов или партий. Некоторые из этих факторов контролируются интеллектуалами,

подобно тому, как моральный кодекс эпохи обеспечивает громкую защиту некоторых интересов, а другие молчаливо обходит своим вниманием.

Наконец, социальная атмосфера или кодекс ценностей влияет не только на политику,

- душу законодательства - но также и на административную практику. Но опять-таки

между интеллектуалами и чиновниками существует и более прямая связь. Государственные структуры Европы по происхождению своему являются докапиталистическими и надкапиталистическими. Как бы сильно не изменялся государственный аппарат за прошедшие века, чиновники никогда полностью не отождествляли себя с буржуазией, ее интересами и ее системой ценностей и никогда

не рассматривали ее как нечто большее, чем просто еще один актив, которым следует управлять в интересах монарха или нации. За исключением некоторых внутренних запретов, выработанных в ходе профессиональной подготовки или пришедших с опытом, чиновники, таким образом, открыты для восприятия доктрин интеллектуалов, с которыми, благодаря сходному образованию, они имеют много общего", тогда как ореол аристократизма вокруг современного чиновника, ореол, который в прошлом нередко воздвигал преграды к этому сближению, за последние десятилетия изрядно поблек. Кроме того, во времена быстрой экспансии сферы государственного администрирования значительная часть потребности в дополнительном персонале удовлетворяется непосредственно за счет интеллектуалов - пример США убедительное тому свидетельство.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава четырнадцатая.  
Разложение

1. Сталкиваясь с растущей враждебностью окружения и законодательной, административной и судебской практикой, порожденной этой враждебностью, предприниматели и капиталисты - а на самом деле, весь социальный слой, воспринявший буржуазный уклад жизни, - со временем перестают функционировать. Традиционные цели становятся все более недостижимыми, а усилия - тщетными. Самая

заветная из буржуазных целей - основать собственную промышленную династию - во многих странах уже стала недостижимой, но даже цели поскромнее настолько труднодостижимы, что по мере того, как все осознают, что неблагоприятные условия установились навсегда, они могут перестать бороться за эти цели. Учитывая ту роль, которую играла буржуазная мотивация в экономической истории за

последние два или три столетия, ее подавление вследствие недоброжелательности общества или ее ослабление вследствие неупотребления, несомненно, представляет собой фактор, адекватно объясняющий провал капиталистического процесса, - если нам когда-нибудь доведется наблюдать этот провал как перманентное явление, - причем фактор гораздо более существенный, чем любые из тех, что выдвигаются так называемой "теорией исчезающих инвестиционных возможностей". Интересно поэтому отметить, что этой мотивации угрожают не только силы, являющиеся по отношению к буржуазному складу ума внешними, но и то, что она имеет тенденцию угасать также под воздействием внутренних причин. Между теми и другими существует, разумеется,

тесная взаимосвязь. Но мы сможем поставить правильный диагноз только, если попытаемся их разъединить.

С одной из этих "внутренних" причин мы уже встречались. Я назвал ее "размыванием

субстанции собственности". Мы видели, что современный бизнесмен, будь то предприниматель или директор-распорядитель, принадлежит, как правило, к категории исполнителей. В силу логики занимаемого им положения его психология начинает приобретать некоторые черты, характерные для чиновников. Независимо от того, является такой бизнесмен держателем акций или нет, его воля к борьбе и выживанию уже не та, да и не может быть такой, какой обладал человек, знакомый с

тем, что такое собственность и личная ответственность в первоначальном смысле этих

слов. Его система ценностей и его представление о долге претерпевают глубокое изменение. Рядовые держатели акций, разумеется, теперь вообще не принимаются в расчет - совершенно независимо от урезания их доли регулирующим и взимающим налоги государством. Таким образом, современная акционерная форма организации бизнеса, хотя она и является продуктом капиталистического процесса, социализирует буржуазное мышление; она беспрестанно сужает горизонт капиталистической мотивации; но и это еще не все - в конечном итоге она убивает его корни [См. примеры в гл. XXVI. Многие с этим не согласятся. Отчасти это связано с тем, что люди черпают свои впечатления из прошлого опыта и лозунгов, возникших в прошлом, когда институциональные перемены, привнесенные крупными корпорациями, еще окончательно не утвердились. Кроме того, они могут иметь в виду

тот простор для незаконного удовлетворения капиталистической мотивации, который давала корпорация. Но это только подтверждает мою мысль: тот факт, что акционерный бизнес не оставляет исполнительным менеджерам никаких возможностей для личной наживы сверх зарплаты и премий, за исключением незаконных и полузаконных махинаций, как раз и доказывает, что идея акционерного предприятия противоречит идее личной заинтересованности/].

2. Однако еще важнее другая "внутренняя причина", а именно распад буржуазной

семьи. Факты, на которые я ссылаюсь, слишком хорошо известны, чтобы подробно на них останавливаться. Для мужчин и женщин в современном капиталистическом обществе семейная жизнь и дети значат меньше, чем прежде, и потому их роль в качестве мотивационного фактора снизилась; строптивные сыновья и дочери, осуждающие нормы "викторианской" морали, на самом деле пусть неумело, но выражают непреложную истину. Весомость этих фактов не снижается от того, что мы не умеем измерить их статистически. Коэффициент брачности ничего не доказывает, поскольку сам термин "брак" охватывает так же много социологических значений, как и термин "собственность", и такой союз, какой раньше заключался посредством брачного контракта, может вообще отмереть, никак не затронув при этом ни юридическую форму, ни частоту заключения таких контрактов. Не более содержателен

в этом смысле и коэффициент разводимости. Не важно, сколько именно браков расторгается в судебном порядке, - важно то, сколько браков лишено содержания, составлявшего существо брака прежнего образца. Если в наш статистический век читатели настаивают на том, чтобы им были предъявлены цифры, та доля бездетных или однопородных браков, хотя и этот показатель не вполне адекватен, чтобы количественно выразить то явление, которое я имею в виду, наверное, лучше всего отражает его масштаб. На сегодняшний день это явление в большей или меньшей степени распространилось уже на все классы, но впервые оно возникло в буржуазном

(и интеллектуальном) слое, и его симптоматическое в причинное значение с точки зрения того вопроса, который мы здесь рассматриваем, целиком связано именно с этим слоем. Явление это можно полностью отнести на счет сплошной рационализации жизни, которая, как мы видели, является одним из результатов капиталистической эволюции. На самом деле оно представляет собой лишь один из результатов распространения этой рационализации на сферу частной жизни. Все прочие факторы, на которые обычно ссылаются при объяснении его причин, легко сводятся к этому. Как только урок утилитарного отношения к жизни усвоен и мужчины и женщины перестают принимать как должное традиционные роли, уготованные им их социальным окружением, как только они приобретают привычку взвешивать все плюсы и минусы, связанные с любым предпринятым ими шагом, - иначе говоря, как только они начинают пользоваться в своей личной жизни некой негласной системой учета издержек - они неизбежно начинают понимать, на какие жертвы им придется пойти, если они решатся создать семейные узы и завести детей, а также то, что в современных условиях дети уже не являются экономическим активом, если только речь не идет о семьях крестьян или фермеров. Эти жертвы не ограничиваются теми, которые можно измерить деньгами, но включают также и неизмеримый ущерб комфорту,

беззаботности и возможности наслаждаться альтернативными занятиями, привлекательность и разнообразие которых все время растет, - а радости материнства и отцовства, с которыми эти альтернативы сравниваются, подвергаются все более и более критическому анализу. То обстоятельство, что такое сравнение будет скорее всего неполным, возможно даже принципиально ошибочным, не только не

ослабляет, но даже подтверждает общий вывод. Ведь самый главный плюс, тот вклад, который вносит рождение ребенка в физическое и моральное здоровье - в "нормальность" человека, если можно так выразиться, - особенно, если речь идет о женщине, почти наверняка ускользнет от рационального взгляда современного человека, который как в частной, так и в общественной жизни склонен сосредоточивать свое внимание на достоверно устанавливаемых деталях, имеющих непосредственное утилитарное значение, и презрительно отвергает идею о существовании скрытых потребностей человеческой природы или социального организма. Я думаю, что мысль, которую я пытаюсь сформулировать, уже ясна без дальнейших пояснений. Ее можно кратко выразить в виде вопроса, который столь явно на уме у многих потенциальных родителей: "Почему это мы должны ставить крест на своих мечтах и обеднять свою жизнь ради того, чтобы на старости лет нас оскорбляли и презирали?"

Одновременно с тем, как капиталистический процесс в силу создаваемых им психологических установок все более подрывает идеалы семейной жизни и снимает внутренние барьеры, которые прежняя моральная традиция воздвигла бы на пути к иному жизненному укладу, он прививает и новые вкусы. Что касается бездетности, то капиталистическая изобретательность постоянно создает все более и более эффективные контрацептивные средства, которые устраняют преграды на пути самого

сильного человеческого импульса. Что касается стиля жизни, то капиталистическая эволюция снижает деланность буржуазного семейного очага и обеспечивает альтернативные возможности. Выше я ссылаясь на "размывание промышленной собственности", теперь я должен коснуться "размывания потребительской собственности".

До последних десятилетий XIX в. городской дом и дом в деревне повсюду были не просто приятными и удобными оболочками частной жизни высокодоходных групп населения - без них нельзя было обойтись. Не только возможность принимать у себя

гостей, какого бы уровня и стиля ни были эти приемы, но самый комфорт, достоинство, покой и изысканность семьи зависели от того, имеет ли она собственный, достойный ее домашний очаг с достойным ее штатом прислуги. Соответственно все, что входило в понятие "Дом", и мужчинами и женщинами буржуазного статуса воспринималось как должное, так они относились и к браку, и к детям - "основам семьи".

Итак, с одной стороны, прелести буржуазной семьи становятся все менее очевидными

по сравнению с ее тяготами. Критическому взгляду критической эпохи семья представляется главным образом источником неоправданных неприятностей и расходов. И дело здесь вовсе не в современных налогах, уровне заработной платы и

не в нерадивости современной домашней прислуги, хотя все эти факторы являются типичными результатами капиталистического процесса и, разумеется, значительно подрывают устои того образа жизни, который в недалеком будущем почти все поголовно будут считать старомодным и неэкономичным. В этом, как и в других отношениях, мы переживаем переходный период. Средняя буржуазная семья склонна избегать забот, связанных с содержанием большого дома и большого поместья в деревне, предпочитая небольшие и высокомеханизированные жилища плюс максимум внешних услуг и внешней жизни - в частности, приемы гостей все больше и больше переносятся в ресторан или клуб. С другой стороны, дом традиционного типа более не является необходимым требованием для удобной и изысканной жизни в буржуазных сферах. Многоквартирный дом и дома гостиничного типа представляют собой рационализированный тип человеческой обители и иной стиль жизни, который со временем, когда он получит свое полное развитие, несомненно, окажется на высоте требований, предъявляемых новой ситуацией, и обеспечит все необходимое для удобства и изысканной жизни. Еще раз подчеркну, что ни этот стиль, ни его оболочка до сих пор нигде еще не получила своего полного развития. Они сулят экономию издержек, только если все неприятности и трудности, связанные с содержанием современного дома, окажутся сравнительно менее значительными. На другое преимущества они предлагают уже сейчас - это легкости доступа ко всему разнообразию современных радостей жизни, высокая мобильность, перенос груза текущих мелких жизненных забот на мощные плечи высокоспециализированных организаций.

Нетрудно понять, каким образом это в свою очередь сказывается на проблеме обзаведения детьми в верхних слоях капиталистического общества. Здесь опять имеет место взаимное усиление уход в прошлое просторного жилища, в котором только и может развернуться богатая жизнь многочисленной семьи [Современные отношения между родителями и детьми, разумеется, отчасти обусловлены разрушением

этой прочной основы семейной жизни.], и все усиливающиеся трения в механизме его

функционирования дают еще один аргумент в пользу отказа от забот, связанных с рождением ребенка, однако и снижение рождаемости в свою очередь делает просторный дом все более и более ненужным.

Выше я сказал, что новый стиль буржуазной жизни пока не дает никакой существенной экономии издержек. Но это относится только к текущим или основным затратам на обслуживание потребностей частной жизни. Что же касается накладных расходов, то здесь даже чисто материальное преимущество уже очевидно. И постольку, поскольку затраты на наиболее долгосрочные элементы домашнего уюта - особенно на покупку дома, картин, мебели - прежде финансировались главным образом из прошлых доходов, мы можем сказать, что необходимость в накоплении "потребительского капитала" в результате этого процесса резко сократилась. Это, разумеется, не означает, что спрос на потребительский капитал в настоящее время стал хотя бы относительно меньше, чем раньше; рост спроса на потребительские

товары длительного пользования со стороны низко- и среднедоходных групп более чем компенсирует этот эффект. Но это значит, что если говорить о гедонистской компоненте в структуре мотивов совершения покупок, то за определенным порогом желательность доходов начинает снижаться. Чтобы в этом убедиться, читателю достаточно лишь взглянуть на ситуацию чисто практически: преуспевающий человек (

один или со своей женой) или человек "из общества" (один или со своей женой), которые могут позволить себе снять самый роскошный номер в гостинице (каюту или купе) и покупать самые высококачественные предметы личного потребления - а высококачественных благ конвейер массового производства производит все меньше и меньше [Влияние возрастающей доступности товаров массового производства на потребительские бюджеты усиливается из-за разницы между ценами на эти товары и ценами на соответствующие потребительские блага, выполненными на заказ. Эта разница становится все больше вследствие роста заработной платы, сопровождаемого

относительным снижением ее желанности; капиталистический процесс делает потребление более демократичным.] - при нынешних условиях скорее всего будут приобретать все, что захотят, и в любых количествах, но только для себя. И нетрудно понять, что связанные с этим расходы будут намного меньше тех требований, которые предъявлялись стилем жизни "сеньоров" прошлых лет. 3. Чтобы понять, что все это значит для эффективности капиталистической производственной машины, достаточно лишь вспомнить, что в прежние времена именно семья и семейное гнездо были главной движущей силой того мотива к извлечению прибыли, который был типичен для буржуазии. Экономисты далеко не всегда придавали этому обстоятельству должный вес. Если повнимательней взглянуть

на их идею о личном интересе предпринимателей и капиталистов, станет очевидно, что цели, которые этот интерес должен был, по их мнению, преследовать, не имеют на самом деле ничего общего с теми целями, которые выводятся из рационального личного интереса обособленного индивида или рационального интереса бездетной супружеской пары, которые уже не смотрят на мир из окна семейного дома. Сознательно или неосознанно, они анализировали поведение человека, чьи взгляды и

мотивы формируются таким домом, человека, который работает и сберегает в первую очередь для своей жены и детей. Как только дети исчезают с морального горизонта бизнесмена, мы получаем иной тип homo oeconomicus, который заботится о других вещах и ведет себя иначе. Для такого человека поведение прежнего типа представлялось бы совершенно иррациональным даже с позиций индивидуалистической утилитарности. Он утрачивает тот единственный вид романтики и героизма, который только и оставался в неромантической и негероической цивилизации капитализма, - героизм *navigare necesse est, vivere non est necesse* ["Мореплавание есть необходимость, жизнь не есть необходимость"]. Девиз, начертанный на старинном особняке в Бремене.]. И он утрачивает капиталистическую этику, которая заставляла работать на будущее независимо от того, кому придется собирать урожай.

Последнюю мысль можно подать более убедительно. В предыдущей главе мы отметили, что капиталистический строй возлагает защиту долгосрочных интересов общества на верхние слои буржуазии. На самом деле, он возлагает их на семейный мотив, действующий в этих слоях. Буржуазия работала в первую очередь ради того, чтобы инвестировать, и вовсе не стандарт потребления, а стандарт накопления пыталась она отстоять перед лицом близоруких правительств [Говорят, что в экономических вопросах "государство способно заглядывать далеко вперед". Однако за исключением

отдельных вопросов, лежащих за рамками партийной политики, таких как сохранение природных ресурсов, оно практически нигде этого не делало.]. С затуханием движущей силы, в качестве которой выступал семейный мотив, временной горизонт бизнесмена сужается, грубо говоря, до ожидаемой продолжительности жизни. И потому у него уже не будет такого желания, как прежде, продолжать зарабатывать, сберегать и инвестировать, даже если бы ему не угрожала опасность того, что весь

его материальный интерес будет поглощен налогами. Он приходит в антисберегательное расположение духа и со все большей готовностью поддерживает антисберегательные теории, свидетельствующие о мировоззренческой близорукости. Но антисберегательными теориями дело не ограничивается. Вместе с иным отношением

к концерну, на который он работает, и с иной моделью частной жизни он склонен вырабатывать и новый взгляд на ценности и нормы капиталистического строя. Возможно, самым поразительным здесь является то, что буржуазия не только дает образование своим врагам, но и позволяет им в свою очередь учить себя. Она впитывает в себя лозунги современного радикализма и, похоже, вполне готова обратиться в веру, враждебную самому ее существованию. И все это опять-таки становится вполне объяснимым, как только мы поймем, что социальные условия, в которых она только и могла возникнуть, отходят в небытие.

Это подтверждается и той характерной манерой, в которой представители отдельных капиталистических интересов и буржуазия в целом ведут себя перед лицом непосредственной опасности. Они произносят речи и оправдываются - или нанимают людей, которые делают это за них; они хватаются за каждый шанс достичь компромисса; они в любой момент готовы пойти на уступки; они никогда не идут в бой под знаменем своих собственных идеалов и интересов - в США, например, не было никакого сопротивления ни против непомерных налогов, которые вводились на протяжении последних десяти лет, ни против трудового законодательства, несовместимого с эффективным управлением промышленностью. Как читатель уже наверняка убедился, я вовсе не склонен переоценивать политическую власть как большого бизнеса, так и буржуазии вообще. Более того, я готов многое списать на трусость. Но все же, совсем беззащитной буржуазию тоже не назовешь, а история знает немало примеров, когда даже малые группы, веря в правоту своего дела, решительно отстаивали свои позиции и добивались успеха. Единственное объяснение наблюдаемой нами смиренности заключается в том, что буржуазный строй потерял всякий смысл для самой буржуазии и что ей все стало попросту безразлично. Таким образом, тот же самый экономический процесс, который подрывает положение буржуазии, снижая важность функций предпринимателей и капиталистов, разбивая ее защитный слой и институты, создавая атмосферу враждебности, одновременно разлагает движущие силы капитализма изнутри. Именно это является самым убедительным доказательством того, что капиталистический порядок не только опирается на подпорки, сделанные из некапиталистического материала, но и энергию

свою черпает из некапиталистических моделей поведения, которые в то же время он стремится разрушить.

Мы заново открыли то, что с иных позиций и, как мне кажется, недостаточно обоснованно нередко утверждалось и раньше: что капиталистической системе органически присуща тенденция к саморазрушению, которая на ранних стадиях вполне

может проявляться в виде тенденции к торможению прогресса.

Я не стану задерживаться на повторении того, каким образом объективные и субъективные, экономические и внеэкономические факторы, усиливая друг друга во внушительном аккорде, вносят свой вклад в достижение этого результата, и на доказательстве того, что уже и так ясно, а в последующих главах станет еще яснее, а именно, что все эти факторы ведут не только к разрушению капитализма, но и к возникновению социалистической цивилизации. Все они указывают в этом направлении. Капиталистический процесс не только разрушает свою собственную институциональную структуру, но и создает условия для возникновения иной структуры. Наверное, все-таки разрушение - не совсем удачное слово. Возможно, мне следовало бы говорить о трансформации. Ведь этот процесс ведет не просто к образованию пустоты, которую можно заполнить всем, что ни подвернется; вещи и души трансформируются таким образом, что становятся все более податливыми к социалистической форме жизни. С потерей каждого колышка, на который опиралась капиталистическая система, усиливается возможность осуществления социалистического проекта. В обоих этих отношениях видение Маркса оказалось верным. Мы также можем согласиться с ним и в том, что основной движущей силой той конкретной социальной трансформации, которая происходит у нас на глазах, является экономический процесс. Та часть марксистской аргументации, которую наш анализ, если он верен, опровергает, имеет для нас в конце концов лишь второстепенную важность, как бы ни была велика та роль, которую она играет в социалистическом учении. В конце концов разница между тем утверждением, что загнивание капитализма есть результат его успеха, и тем, что это загнивание есть

результат его несостоятельности, не так уж велика.

Но наш ответ на вопрос, которым открывается настоящая часть, ставит гораздо

больше проблем, чем дает ответов. С учетом того, ° чем мы будем говорить дальше,

читатель должен иметь в виду следующее:

Во-первых, мы еще до сих пор ничего не узнали о том, какого рода социализм маячит впереди. Для Маркса и для большинства его последователей - и в этом заключается один из самых главных недостатков их доктрины - социализм означал нечто вполне определенное. Но эта определенность на самом деле не идет у них дальше национализации промышленности, хотя национализация промышленности может, как мы увидим, сочетаться с бесконечным разнообразием экономических и культурных возможностей.

Во-вторых, мы точно так же еще ничего не знаем о том конкретном пути, которым может прийти социализм, за исключением того, что возможностей таких должно быть немало, начиная от заурядной бюрократизации, кончая самой живописной революцией. Строго говоря, мы не знаем даже, задержится ли социализм надолго. Должен повторить: выявить тенденцию и угадать цель, к которой она ведет, это одно, а предсказать, что цель эта действительно будет достигнута и что возникший

при этом новый порядок вещей будет работоспособным, не говоря уже о том, что он будет перманентным, - это совершенно другое. Прежде, чем человечество задохнется (или познает счастье) в темнице (или раю) социализма, оно вполне может сгореть в пожаре (или лучах славы) империалистических войн [Написано летом 1935 г.] .

В-третьих, многочисленные аспекты той тенденции, которую мы пытались здесь описать, хотя они и наблюдаются повсеместно, еще пока нигде не раскрылись полностью. В разных странах они проделали разный путь, но нигде не достигли той зрелости, которая бы позволила нам с уверенностью судить о том, как далеко они могут зайти, или утверждать, что лежащая в их основе тенденция набрала уже такую

силу, что с пути ее теперь не свернуть, и что речь может идти лишь о каких-то временных отступлениях. Промышленная интеграция еще далека от завершения. Конкуренция, как актуальная, так и потенциальная, до сих пор является главным фактором, определяющим экономическую конъюнктуру. Предпринимательство до сих пор

играет активную роль, а лидерство буржуазного слоя до сих пор является главной движущей силой экономического прогресса. Средний класс до сих пор является политической силой. Буржуазные нормы и стимулы поведения, хотя они все более и более ослабевают, до сих пор еще не исчезли окончательно. Стремление сохранить традиции и семейную собственность на контрольные пакеты акций - до сих пор заставляет многих управляющих вести себя так, как это делали единоличные хозяева

в прежние времена. Буржуазная семья еще не умерла, она цепляется за жизнь настолько упорно, что ни один ответственный политик до сих пор не отважился на нее покуситься, разве что путем налогообложения. С позиций сегодняшней практики,

а также с точки зрения задач краткосрочного прогнозирования - а в таких вещах и столетие считается "коротким сроком" [Именно поэтому факты и доводы, приведенные

в настоящей и в двух предыдущих главах, вовсе не противоречат моим рассуждениям о возможных экономических путях капиталистической эволюции на протяжении последующих пятидесяти лет. Вполне может оказаться, что 30-е годы окажутся последним вздохом капитализма - вероятность этого, конечно, многократно усиливается нынешней войной. Но может случиться и иначе. Во всяком случае, нет никаких чисто экономических причин, по которым капитализм не смог бы взять новый

успешный старт, и именно это я и пытался здесь доказать.] - все эти поверхностные процессы могут оказаться более существенными, чем тенденция движения к иной цивилизации, которая медленно вызревает в глубоких недрах капитализма.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава пятнадцатая.  
Исходные позиции

Жизнеспособен ли социализм? Конечно, да. В этом не приходится сомневаться, если мы допускаем, во-первых, что уже достигнут необходимый уровень индустриального развития и, во-вторых, что проблемы переходного периода могут быть успешно решены. Сложнее ответить на вопрос, насколько верны сами эти послышки, а также понять, может ли социалистическая форма организации общества быть демократичной и сколь эффективно, независимо от демократичности, она способна функционировать.

Обо всем этом речь пойдет ниже. Но если мы примем указанные допущения, отвергнув все сомнения, то ответ на исходный вопрос, безусловно, должен быть утвердительным.

Прежде чем пытаться это доказать, необходимо кое-что уточнить. До сих пор мы не придавали особого значения некоторым дефинициям, теперь же пришло время внести ясность. В дальнейшем я намереваюсь сосредоточиться на двух типах общественных систем, лишь изредка затрагивая остальные. Назовем эти два типа общественного устройства "коммерческим" и "социалистическим".

В институциональной системе коммерческого общества мы ограничимся двумя элементами. Это частная собственность на средства производства и управление производством через систему частных контрактов (или частного менеджмента, частной инициативы). Как правило, такой тип общества не является чисто буржуазным. Во второй части уже шла речь о том, что промышленная и торговая буржуазия просто не могла бы существовать иначе, чем в симбиозе с небуржуазными слоями общества. И в целом коммерческое общество не идентично капиталистическому. Капитализм, как особый случай коммерческого общества, имеет дополнительный определяющий признак - систему кредитования, с которой связаны многие характерные особенности современной экономической жизни, практику финансирования предпринимательства посредством банковских кредитов, т.е. созданных для этого денежных средств (банкнот или депозитов). Но поскольку коммерческое общество, альтернативное социализму, в реальной действительности предстает как определенная форма капитализма, не будет большой погрешности, если

читатель предпочтет придерживаться традиционного противопоставления социализма капитализму.

Социалистическим обществом мы будем именовать институциональную систему, при которой контроль над средствами производства и самим производством находится в руках центральной власти или, иначе говоря, где принадлежность экономики к общественной сфере, а не частной сфере - дело принципа. Социализм - это своего рода интеллектуальный Протей [В древнегреческой мифологии - божество, которому приписывалась способность менять свой вид. - Прим. пер.]. Существует немало различных, притом вполне приемлемых определений этого общества, помимо явно нелепых, вроде того, что социализм - это "хлеб для всех". Я не претендую на то, чтобы мое определение признали лучшим, но хотел бы в связи с ним привлечь внимание к некоторым моментам, даже рискуя быть обвиненным в педантизме. Наше определение оставляет в стороне гильдейский социализм, синдикализм и другие разновидности социализма. Интересующий нас тип общества можно определить как "централистский социализм". Это определение, на наш взгляд, ограничивает поле исследования настолько четко, что рассмотрение других форм было бы неоправданным отклонением в сторону. Однако, используя термин "централистский социализм" применительно к конкретной разновидности социализма, следует проявлять известную осторожность, дабы избежать недоразумений. Сам этот термин призван подчеркнуть определенную мысль: отсутствие множественных центров контроля, каждый из которых мог бы в принципе выражать собственные особые интересы, в частности отсутствие автономных территориальных секторов, которые могли бы привести к воссозданию антагонизмов, присущих капиталистическому обществу. Идея исключения местных интересов может показаться

нереалистичной, тем не менее она принципиально важна. Термин "централистский социализм" не означает, однако, что центральная власть, которую можно именовать Центральным административным органом, либо Министерством производства, непременно имеет абсолютный характер или что вся инициатива, связанная с принятием решений, исходит исключительно от нее. Чтобы предотвратить абсолютизм власти, можно предусмотреть процедуру обязательного представления планов, подготавливаемых исполнительной властью, в конгресс или парламент. Может быть также создан специальный орган по надзору и контролю - своего рода *cour des comptes* [Счетная палата (фр.)], наделенный даже правом вето в отношении конкретных решений. Что касается условий для проявления инициативы, то некоторая свобода действий должна сохраняться. Особенно важно предусмотреть ее для "людей на местах", в частности для тех, кто руководит конкретными отраслями или предприятиями. Можно даже допустить, что рациональные пределы свободы определяются экспериментальным путем и реально гарантируются, так что эффективность производства не страдает ни от неуемных амбиций низовых руководителей, ни от их пассивности, когда решение всех вопросов перекладывается

на высшее руководство. С другой стороны, из центра не должны исходить указания, подобные "Руководству по уборке картофеля", написанному в свое время Марком Твенном.

Я не стал отдельно давать определение терминов "коллективизм" или "коммунизм". Первый я вообще не собираюсь использовать, а второй - только в отдельных случаях, когда речь идет о тех группах, которые сами называют себя коммунистами.

Но там, где мне придется применять эти термины, я буду считать их синонимами понятия "социализм". Изучая историю самих терминов, большинство исследователей пытались разграничить эти понятия. Надо признать, что термин "коммунистический" практически всегда использовался применительно к наиболее радикальным и далеко идущим идеям. Вместе с тем можно напомнить, что одно из классических изложений концепции социализма носит название "Коммунистический манифест". Во всяком случае идейные расхождения никогда не носили фундаментального характера, а различия во взглядах, проявляющиеся среди социалистов, - не меньше, чем те, что разделяют социалистов и коммунистов. Большевики именуют себя коммунистами и в то же время считают, что они единственные истинные поборники социализма. Не будем касаться вопроса о том, насколько истинные и единственные, но что они привержены социализму - это несомненно.

Я избегал употреблять такое понятие, как государственная собственность на природные ресурсы, предприятия и оборудование. В методологическом плане это достаточно существенный момент. В общественных науках есть ряд понятий - такие, как потребность, выбор, экономическое благо, - которые не связаны с определенной исторической эпохой или общественной системой. Существует другая группа категорий, к примеру цена или ценность. В обиходном своем значении они, бесспорно, несут в себе эту связь. Однако в сфере экономического анализа их довели до такой степени рафинированности, что связь с социальным контекстом была

полностью утрачена [Цена в современной экономической теории предстает как всего лишь коэффициент трансформации, а издержки (в смысле издержек упущенной альтернативной возможности использования ресурсов) - как универсальная логическая категория. Подробнее об этом речь пойдет ниже.]. Есть и такие категории, сама природа которых не выносит трансплантации из одной социальной среды в другую, ибо на них неизбежно лежит печать определенной институциональной

системы. Вырывать их из этой системы или из той культуры, которая их породила, и

использовать применительно к другому обществу, значит, идти на риск искажения исторической действительности. По моему мнению, собственность, а также налогообложение - это в такой же мере атрибуты коммерческого общества, в какой рыцари и феодальные поместья - атрибуты феодализма.

К подобного рода категориям относится и государство. Конечно, можно было бы определить его в соответствии с критерием суверенности и применить это определение к социалистическому государству. Но если мы хотим придать конкретное историческое содержание этому понятию, а не довольствоваться юридическими и философскими словесами, то не следует его использовать ни применительно к феодальному строю, ни к социалистическому обществу, ибо как в

том, так и в другом не существовал и не мог проявиться тот водораздел между частной и общественной сферами, который в значительной мере и определяет само содержание понятия "государство" во всем его объеме, т.е. весь диапазон его функций, методов, отношений. Исходя из этого я считаю резонным утверждение, что государство, возникшее как следствие противоборства и компромиссов между феодальными землевладельцами и буржуазией, станет частью того пепла, из которого

предстоит возникнуть Фениксу социализма. Потому я и не использовал понятие государства в моем определении социализма. Конечно, социализм может возникнуть на основании декрета государства. Но само государство в этом своем деянии умирает, как писал Маркс, а за ним повторил и Ленин. У меня эта мысль не вызывает возражений.

В том, что касается собственно экономической стороны дела, мое определение социализма совпадает со всеми другими, которые мне встречались. Каждый социалист

стремится революционизировать общество через его экономику и связывает надежды на успех с преобразованием экономических институтов. Эти представления воплощают

в себе теорию социальной причинности, согласно которой экономическому строю принадлежит решающая роль в сумме элементов, образующей общество. Однако тут напрашиваются два замечания.

Во-первых, - об этом говорилось в предыдущем разделе, когда речь шла о капитализме, и теперь это следует подчеркнуть применительно к социализму, - ни для нас, наблюдателей, ни для тех людей, которые связывают с социализмом свои надежды, экономический аспект - не единственный и даже не наиболее важный. Формулируя свое определение социализма, я вполне сознавал это. Чтобы быть честным по отношению ко всем цивилизованным социалистам, которых я когда-либо знал лично или по публикациям, надо признать, что они придерживаются той же позиции. Они акцентируют роль экономического аспекта, как того требует их понимание причинно-следственных зависимостей, но вовсе не считают заветной целью борьбы изобилие бифштексов или радиоприемников. Встречаются, конечно, безнадежно дремучие люди, которые именно так и думают. А многие, хотя и не столь

дремучие, в погоне за голосами избирателей все же прибегают к усиленному использованию экономических обещаний, поскольку это вызывает непосредственный отклик. Поступая так, они извращают и дискредитируют свое учение. Не будем следовать этому примеру и постараемся не забывать, что социализм имеет более высокие цели, нежели наполнение желудков, подобно тому, как христианство не сводится к вере в рай и ад, имеющей до некоторой степени гедонистическую подоплеку. Главное - социализм это новый тип культуры. Поэтому можно быть пламенным социалистом, даже сознавая, что социалистическая система, вероятно, будет уступать капитализму в экономической эффективности [Возможно, конечно, и обратная ситуация: можно соглашаться с тем, что социализм способен создать высокоэффективную экономику, и тем не менее ненавидеть его по соображениям культурного характера.]. Никакие аргументы чисто экономического характера в пользу или против социализма, сколь бы убедительными сами по себе они ни были, не могут играть решающей роли.

Возникает вопрос: каков этот новый тип культуры? Можно было бы попытаться ответить на него, рассмотрев конкретные высказывания известных идеологов социализма, чтобы выяснить, что ими сделано в этой области. На первый взгляд материала такого рода более чем достаточно. Среди социалистов есть такие, кто проявляет неизменную готовность блаженно предаваться отвлеченным рассуждениям на

этот счет, прославляя справедливость, равенство, свободу вообще и свободу от "эксплуатации человека человеком" в частности, витийствовать о мире и любви, о разбитых оковах и высвобождаемой энергии в сфере культуры, об открывающихся широких горизонтах и новых возможностях самореализации личности. Но все это не выходит за пределы того, о чем говорил Руссо, с добавлением определенных усовершенствований со стороны Бентама. Другие социалисты просто выражают интересы и потребности радикального крыла тред-юнионизма. Но среди социалистов есть и такие, кого отличает исключительная сдержанность. Возможно потому, что, презирая дешевые лозунги, они не в состоянии придумать ничего иного. А может, они и придумали, но не уверены, что это найдет широкий отклик? Или сами сознают,

что безнадежно разошлись со своими товарищами?

Короче говоря, вести исследование по этому пути бесперспективно. Следует признать, что существует, как я называю это, "культурная недетерминированность социализма". В самом деле, если исходить из нашего и большинства других существующих определений, общество может считаться в полной мере социалистическим как в том случае, когда им управляет единоличный диктатор, так и при самой демократической его организации; оно может быть аристократическим или пролетарским; теократическим и иерархическим либо атеистическим или индифферентным в отношении религии; дисциплина в этом обществе может быть куда суровее, чем в современной армии, а может и вовсе отсутствовать; по своему духу это общество может быть аскетичным либо эпикурейским; динамичным либо застойным;

оно может быть всецело ориентированным на будущее либо сосредоточиваться только на текущих интересах; быть воинствующим и националистическим или миролюбивым и интернационалистским; эгалитарным или наоборот; иметь этику господ или этику рабов; его искусство может быть субъективистским либо объективистским [Как это ни парадоксально, индивидуализм и социализм не обязательно исключают друг друга. Можно выдвинуть довод, что именно социалистическая форма организации общества способна гарантировать "подлинное" самовыражение личности. Во всяком случае эта идея вполне отвечала бы логике Марксовой теории.]; формы организации жизни людей - индивидуализированными или стандартизованными и наконец - для многих из нас одного этого было бы достаточно, чтобы социализм привлек к себе либо вызвал резкую неприязнь, - в этом обществе можно управлять процессом воспроизводства людей и, используя соответствующий генофонд, выращивать либо суперменов, либо недочеловеков.

Чем объясняется эта культурная недетерминированность? Пусть сам читатель отвечает на этот вопрос. Возможно, он скажет, что Маркс ошибался и что экономическая система не детерминирует характер цивилизации. Возможен и другой ответ: экономическая система в целостном ее виде определяет тип культуры, но тот

элемент, который мы избрали в качестве конституирующего признака социализма, недостаточен. Нужны дополнительные данные об экономическом строе и расширение круга исходных посылок. Заметим, что и с капитализмом дело обстоит бы не лучше,

если бы мы попытались реконструировать соответствующий ему тип цивилизации только на основе признаков, нашедших отражение в нашем определении капитализма. В отношении капитализма у нас сложилось четкое впечатление, что детерминированность существует, и мы считаем возможным рассуждать о тенденциях развития капиталистической цивилизации. Но это только потому, что мы имеем дело с некой исторической реальностью, которая предоставляет нам всю необходимую дополнительную информацию, и *via facti* [ Само сложившееся положение (лат.) ] исключает массу других потенциально возможных вариантов развития.

Мы используем понятие "детерминированность" в более строгом и техническом смысле

и к тому же в отношении культуры в целом. В нашем понимании недетерминированность не служит препятствием, когда дело касается попыток выявить определенные свойства и тенденции, которые в социалистической системе как таковой имеют большую вероятность, чем в других, особенно если это черты, характеризующие определенный тип культуры. Недетерминированность не препятствует

расширению круга допустимых исходных посылок, связанных с типом культуры, и получению на этой основе определенных выводов. Предлагаемые иллюстрации помогут в этом убедиться. Если, к примеру, мы, как это делают многие социалисты (на мой взгляд, ошибочно), будем исходить из того, что войны - не что иное, как одно из проявлений конфликта интересов капиталистов, то из этого неизбежно следует, что социализм будет отличаться пацифистским и миротворческим характером. А допустив,

что социализм возникает в связи с определенным типом рационализма и неотделим от

него, мы должны сделать вывод о вероятной нерелигиозности, если не антирелигиозности социалистического общества. При случае мы и сами попробуем поиграть в игру с принятием допущений, хотя лучше предоставить это Платону, непревзойденному, истинно великому мастеру в этой области. Все упражнения такого рода не затрагивают сделанного вывода о том, что социализм как тип

цивилизации действительно подобен Протею. Его черты приобретут определенность только при условии, если мы будем рассматривать конкретные разновидности социалистического общества. Каждая из них имеет своих приверженцев, убежденных, что это единственная форма истинного социализма. Для нас же они все - различные возможные варианты.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава шестнадцатая.  
Социалистический проект

Прежде всего необходимо разобраться, что представляет собой проект социалистической экономики с позиций формальной логики. Вряд ли признание логической приемлемости этого проекта способно обратить кого-либо в социалистическую веру или послужить весомым аргументом в пользу возможности практического воплощения социализма. И все же доказательство его логической несостоятельности, а может, и полный провал попыток найти логическое обоснование

проекта социалистической экономики уже сами по себе достаточны для того, чтобы прийти к выводу о его врожденной абсурдности. Сформулируем задачу более четко. Предположим, что дана социалистическая система интересующего нас типа. Существует ли возможность на основе имеющихся данных и пользуясь постулатами рационального поведения получить однозначно детерминированное решение в отношении того, что и как производить? Этот вопрос можно сформулировать и на языке точной экономической теории: дают ли возможность

имеющиеся данные и известные правила рационального поведения получить для социалистической экономики необходимое количество уравнений - независимых и совместных, т.е. не противоречащих друг другу, - чтобы определить единственное значение тех неизвестных, которыми должны оперировать Центральный орган или Министерство производства, решая, что и как производить?

1. На этот вопрос следует ответить утвердительно. С чисто логической стороны проект социалистической экономики не вызывает возражений. Такой вывод столь очевиден, что я не стал бы об этом и говорить, если бы мне не приходилось сталкиваться с противоположной точкой зрения. Задержатся на этом меня вынуждает и еще одно, куда более занятное обстоятельство: ортодоксальные социалисты не могли дать строго научного обоснования социалистического проекта, пока не прошли выучки у экономистов с заведомо буржуазными взглядами и ориентацией. Среди известных экономистов, отрицающих саму идею социалистической системы, назовем только профессора Л. фон Мизеса [Его работа, опубликованная в 1920 г., теперь доступна в английском переводе: см. *Collectivist Economic Planning* (F.A. von Hayek, ed. 1935). См. также *Gemcinwirtschaft*, английский перевод носит название "Socialism" (1937).]. За основу он взял постулат, что рациональное экономическое поведение предполагает рациональную калькуляцию издержек, а следовательно, и существование рациональных цен на факторы производства, что требует рынков со свободным ценообразованием. Мизес сделал вывод, что поскольку в социалистическом обществе таких рынков не будет, не останется и ориентиров для

рационализации производства. В результате социалистическая система, если бы она вообще оказалась способной действовать, действовала бы наобум. Признанные выразители социалистической ортодоксии поначалу мало что могли возразить на эти и подобные критические заявления, а возможно, и на некоторые собственные сомнения, помимо довода о том, что социалистические менеджеры использовали бы в качестве ориентира систему ценностей, сформировавшуюся в предшествующий социализму период. Такой довод, безусловно, уместен, если речь идет о практических проблемах социализма, но он не имеет никакого отношения к решению вопроса в принципе. Другие социалисты принципиальной критике социализма и по

сей день противопоставляют восхваление социалистического рая, где можно будет вообще покончить с такими капиталистическими ухищрениями, как рациональная калькуляция издержек, и где члены общества легко будут решать все проблемы, имея

свободный доступ к изобильным общественным благам. Но такого рода песнопения, по сути, и означают признание правоты критиков.

Первым экономистом, кто исчерпывающим образом рассмотрел эту проблему, оставив на долю своих последователей лишь развитие своих идей и уточнение второстепенных

деталей, был Энрико Бароне. Отсылая заинтересованного читателя к его исследованию [Более дюжины экономистов до Бароне подступали к решению этого вопроса. Среди них такие авторитетные ученые, как Ф. фон Визер (см. его работу *Natural Value*, 1893, немецкий оригинал 1889) и Парето (*Cours d'Economie politique*, vol. II. 1897)]. Оба они осознали, что логика экономического поведения

в основе своей одинакова как для коммерческого, так и для социалистического общества, а это привело к выводу о возможности логического обоснования социализма. Но Бароне - последователь Парето первым сформулировал этот вывод. См. его работы "*Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista*", // *Giornale degli Economisti*. 1908. Английский перевод включен в упоминавшийся выше том "*Collectivist Economic Planning*".

Невозможно, да и нет необходимости всесторонне оценивать здесь изобильную последующую литературу. Отмечу лишь наиболее значительные статьи: Taylor Fred M.

*The Guidance of Production in a Socialist State* // *American Economic Review*, March 1929; Tisch K. *Wirtschaftsrechnung und Verteilung im... sozialistischen Gemeinwesen*, 1932; Zassenhaus H. *Theory der Planwirtschaft*, *Zeitschrift für Nationalökonomie*, 1934; и особенно следует отметить работу Оскара Ланге: Lange Oskar. *On the Economic Theory of Socialism* // *Review of Economic Studies*, 1936/7, под тем же названием перепечатанную в книге "*Lange and Taylor*", 1938; а также работы А. Лернера (Lerner A.P.), ссылки на которые будут даны ниже.], я ограничусь здесь лишь кратким пересказом основных идей.

С точки зрения экономистов, производство - включая транспортировку и все операции, связанные с маркетингом, - не что иное, как рациональное комбинирование имеющихся "факторов" в рамках ограничений, обусловленных технологическими условиями. В коммерческом обществе задача соединения этих факторов предполагает процесс их покупки или найма, в ходе которого и возникают характерные для данного типа общества индивидуальные доходы собственников этих факторов. Иначе говоря, производство и "распределение" общественного продукта - не что иное, как две стороны одного и того же процесса, они происходят одновременно. Самое важное логическое - или чисто теоретическое - различие между

коммерческой и социалистической экономикой, которое в этой связи надо отметить, состоит в том, что в социалистической системе дело обстоит иначе. Поскольку там *prima facie* [На первый взгляд (лат.)] нет рыночной ценности средств производства и, что еще важнее, сами принципы социалистического общества не допускают использования рыночной ценности в качестве критерия распределения, даже если бы эти рыночные оценки и существовали, - то в социалистической экономике в отличие от коммерческого общества автоматизма распределительного процесса не существует. Пробел должен заполняться с помощью политического закона - назовем его конституцией данного государства. Распределение, таким образом, становится самостоятельной операцией и, во всяком случае, по логике вещей полностью отделяется от производства. Принятый политический закон или политическое решение должны соответствовать экономическим и культурным особенностям данного общества. Со временем они сами начинают определять эти особенности, поведенческие нормы общества, его цели и достижения. Но с позиций экономической теории это означает полный произвол. Как было показано выше, такое

государство может осуществлять принцип равенства - опять-таки исходя из того или

иного понимания идеи эгалитаризма, - а может исходить из необходимости неравенства в той или иной степени. Государство может осуществлять распределение, руководствуясь идеей достижения максимального результата в каком-либо избранном направлении, и этот случай представляет особый интерес. Оно

может изучать индивидуальные запросы членов общества, а может руководствоваться идеей наделять людей тем, что, по мнению того или иного полномочного органа, в наибольшей степени отвечает их интересам; сам лозунг "каждому по его потребностям" может интерпретироваться либо в соответствии с первым, либо со вторым принципом. Но какой-то из них должен быть принят. Исходя из наших задач, достаточно будет рассмотреть определенный конкретный случай.

2. Предположим, наше социалистическое государство по своим этическим позициям исповедует идею полного эгалитаризма, и при этом члены общества получают возможность свободно выбирать по собственному желанию потребительские блага из той массы, которую Министерство производства способно или хочет произвести, - ведь социалистическое общество может и отказаться от производства некоторых товаров, например алкогольных напитков. Допустим, далее, что в соответствии с принятым пониманием равенства каждому индивиду - дети и, возможно, некоторые другие категории лиц по решению правомочных инстанций могут наделяться меньшими долями - вручается документ, свидетельствующий о его праве на некое количество потребительских товаров. Доля каждого определяется общим количеством имеющегося в данное время общественного продукта, поделенного на число претендентов. По истечении указанного срока документ считается аннулированным. Такие документы можно считать заявками на n-ю часть всех продуктов питания, одежды, предметов домашнего обихода, жилищ, автомобилей, билетов в кино и т.п. -

всего, что произведено или производится для потребления (предназначено потребителям) в определенный период. Чтобы избежать громоздкой и ненужной процедуры последующих обменов между отдельными членами общества, в этих заявках будут фигурировать не конкретные товары, а соответствующее количество установленных условных единиц - их можно назвать как угодно, просто "единицами",

"лунами", "солнцами" или даже долларами. Можно установить, что для получения каждого товара нужно отдать определенное количество этих единиц. Эти "цены", назначаемые общественными складами, должны, согласно принятым нами исходным посылкам, всегда удовлетворять следующему условию: если цена каждого товара умножается на существующее его количество, то в совокупности все эти суммы должны соответствовать произвольно определяемому фонду потребления. Министерству

нет необходимости устанавливать конкретные "цены" на каждый товар. Оно может ограничиться отправными рекомендациями. Члены общества, располагающие одинаковым "долларовым доходом", основываясь на своих вкусах, дадут понять своей

реакцией на эти исходные предложения, по каким ценам они готовы приобрести весь предназначенный для потребления общественный продукт, за вычетом того, что оказалось никому не нужным. Министерству придется принять эти цены, если оно заинтересовано в реализации всей продукции. Так оно и будет поступать. В результате принцип обеспечения равных долей при распределении будет осуществляться с высокой степенью надежности, приводя к единственному решению. Но это, разумеется, предполагает, что определенное количество каждого товара уже

произведено. Однако действительная проблема, которую, как считали оппоненты, не может решить социалистическое общество, как раз и состоит в том, как достичь этого рациональным образом, т.е. достичь максимального удовлетворения потребителей [Если моя формулировка этой мысли вызовет возражение у современных экономистов-теоретиков, пусть они подумают над тем, насколько многословнее была бы более конкретная формулировка, при том что к нашей аргументации она бы ничего

не прибавила.] в рамках ограничений, обусловленных объемом имеющихся ресурсов, уровнем технологии и внешними по отношению к производству обстоятельствами. Ясно, что планировать производство на основе процедуры голосования - скажем, по большинству поданных голосов членов общества - было бы совершенно нерационально [Это не значит, что такой механизм принятия решений не способен удовлетворять требованиям рациональности, если сама рациональность понимается иначе. Я не делаю сейчас никаких выводов о том, каким образом обсуждаемый механизм соотносится с другими. Кое-что об этом будет сказано ниже.], поскольку при этом неизбежно часть людей, а может быть, и все не удовлетворили бы свои желания и не

получили того, что вполне реально могло бы быть им предоставлено без ущемления интересов других членов общества. Вместе с тем столь же очевидно, что экономической рациональности, в том смысле, как она здесь понимается, можно достичь иначе. Для теоретика это вытекает из элементарного допущения: потребители, оценивая ("запрашивая") потребительские товары, ipso facto [В силу самого этого факта (лат.).] также оценивают и средства производства, участвующие в создании этих товаров. Для непрофессионала доказательством возможности рационального плана производства в нашем гипотетическом социалистическом обществе могут служить следующие соображения.

3. Представим для простоты, что имеется некое количество средств производства, которое на данный период времени не подлежит изменению. Далее предположим, что Центральный орган преобразован в комиссию, управляющую конкретной отраслью производства, или лучше - пусть в каждой отрасли будет такая комиссия, чтобы управлять ею и взаимодействовать с Центральным органом, который контролирует и координирует деятельность отраслевых комиссий. Производственные ресурсы - все они находятся под контролем Центрального органа - распределяются между отраслевыми управлениями в соответствии с определенными правилами. Допустим, принято правило, по которому отраслевые управления могут получить любое затребованное ими количество товаров и услуг производственного назначения, если выполняются следующие три условия. Во-первых, производство должно быть максимально экономичным. Во-вторых, за каждую затребованную единицу каждого товара или услуги Центральный орган должен получить от отраслевых управлений установленное количество потребительских долларов, полученных за ранее произведенные ими потребительские товары. Иными словами, это значит, что Центральный орган заявляет о своей готовности "продать" каждому отраслевому управлению неограниченное количество товаров и услуг производственного назначения по определенным "ценам". В-третьих, отраслевые управления должны запрашивать и использовать такое количество товаров и услуг (и не меньше), которое при максимально экономичном производстве они могут употребить, не создавая при этом ситуации, вынуждающей "продавать" часть произведенной продукции по сниженным "ценам", так что полученные средства оказались бы меньше той суммы, которая должна быть передана Центральному органу за соответствующее количество средств производства. В более строгой формулировке это условие означает, что производство каждого товара должно осуществляться в таком объеме, чтобы "цены" устанавливались на уровне предельных издержек (а не просто были пропорциональны им). [Этот принцип, вытекающий из общей логики выбора, получил всеобщее признание только после публикации ряда работ А.П. Лернера, посвященных обоснованию и защите этих идей. Особенно следует отметить статьи в "Review of Economic Studies" (а также в "Economic Journal" за сентябрь 1937 г.), ставшие весомым вкладом в развитие теории социалистической экономики. Пользуясь случаем,

я хотел бы привлечь к ним внимание читателя. Из логики выбора также следует вывод о том, что сформулированное условие равенства цен предельным издержкам должно главенствовать по отношению к Правилу о равенстве цен полным издержкам на

единицу продукции, если эти два принципа вступают в противоречие друг с другом. Однако необходимо внести некоторую ясность в этот вопрос в связи с возникшей путаницей в понятиях.

Понятие предельных издержек, означающее приращение общих издержек, которое должно произойти при небольшом приросте объема производства, остается неопределенным, если не рассматривать его применительно к конкретному временному

интервалу. Так. если речь идет о том, перевозить ли еще одного пассажира на поезде, который в любом случае отправится по своему маршруту, предельные издержки можно считать нулевыми, ибо при всех условиях они очень малы. Для короткого периода времени - будь то час, день либо неделя - практически все издержки представляют собой накладные расходы, даже затраты на смазочные материалы и уголь, а накладные расходы не включаются в предельные издержки. Но чем продолжительнее рассматриваемый период, тем больше элементов издержек включается в предельные издержки. Прежде всего это те, что обычно именуются прямыми издержками, затем во все большем объеме так называемые накладные расходы, пока наконец в долговременном аспекте или в том случае, когда речь идет

о планировании расходов новой, еще не существующей производственной единицы, все

(или почти все) издержки, включая амортизационные отчисления, перестают быть накладными и должны приниматься в расчет при определении предельных издержек, за исключением тех случаев, когда некоторые факторы, например железнодорожное полотно в железнодорожном транспорте, в силу самой технологии могут быть включены в производственный процесс только целиком (принцип "неделимости"). Поэтому следует всегда отличать предельные издержки от (предельных) прямых издержек.

Это условие зачастую увязывается с определенным правилом, которому должен в каждый данный момент неукоснительно следовать социалистический - так же как и капиталистический - менеджмент, чтобы управление было рациональным. Это правило гласит: "Что прошло, то быльем поросло". Смысл его в том, что в своих решениях менеджеры не исходят из балансовой стоимости существующих инвестиций. Однако этим правилом можно руководствоваться только на небольших отрезках времени в заданных обстоятельствах. Само правило не означает, что *ex ante* (заранее - лат.)

следует игнорировать те компоненты инвестиционных расходов, которые обязательно превратятся в постоянные или накладные издержки. Игнорирование этих компонентов означало бы нерациональное отношение к тому рабочему времени и тем природным ресурсам, которые идут на производство этих компонентов, тогда как существуют и альтернативные возможности их использования. По если принимать в расчет все эти компоненты, то цены должны соответствовать полным издержкам на единицу продукта.

Это при том, что все делается по плану, и отклонения от рациональности в основном связаны либо с технологическими причинами (с неделимостью), либо с тем,

что реальный ход событий отклоняется от запланированного. При таких условиях принцип полных издержек может неплохо соответствовать принятой логике планирования. В краткосрочном аспекте этот принцип может в наибольшей мере отвечать требованиям рациональности, однако им нельзя руководствоваться применительно к какой-либо отрасли, действующей в условиях дефицита. Это важно отметить по двум соображениям.

Первое. Сам принцип полных издержек не признавали. Утверждали даже, что если бы цены всегда соответствовали краткосрочным предельным издержкам, то это дало бы возможность повысить благосостояние (в долгосрочном аспекте). При таком подходе амортизационные отчисления исключались бы из предельных издержек, и накладные расходы (например, стоимость моста) должны были бы финансироваться за счет налогообложения. Из правила, изложенного нами, этого не следует, и отступать от него было бы нерационально.

Второе. Постановление центральных органов России в марте 1936 г., ликвидируя систему субсидий ряду отраслей промышленности, действовавшую прежде, ввело следующее правило формирования цен: цена должна быть равна средней величине полных издержек на единицу продукта плюс надбавка на накопление. В отношении первой части этого правила можно сказать, что, хотя она не строго корректна, степень ее неправильности не так велика, как этого можно ожидать, если судить по

вовсе некорректной второй части. В отношении этой самой второй части надо признать, что безусловные возражения, вызываемые ею, в значительной мере утрачивают основания, если принять в расчет условия, сложившиеся в то время, или

потребность в ускоренном развитии. Читатель в этой связи, видимо, вспомнит аргументы из второй части этой книги, относящиеся к капиталистической экономике.

Поэтому вполне допустим вывод, что советское правительство правильно действовало

в обоих случаях - и когда использовало политику субсидий, вплоть до финансирования инвестиций для убыточных предприятий, и когда частично отказалось

в 1936 г. от этой практики.]

В таком случае задача, которая стоит перед управляющими, имеет единственное решение. Подобно тому, как при капитализме каждой фирме, действующей в высококонкурентной отрасли, известно, что, в каком объеме и каким образом производить при данных технологических условиях, существующих реакциях

потребителей (их вкусах и доходах) и ценах на средства производства, так же и отраслевые управленческие структуры в нашем гипотетическом обществе знали бы, что и как производить, в каком объеме "покупать" факторы производства у Центрального органа, если "цены" факторов опубликованы и потребители выявили свои "запросы".

В каком-то смысле эти цены, в отличие от цен на потребительские товары, устанавливаются односторонним образом, по усмотрению центральной власти. Однако и здесь "спрос" менеджеров на средства производства столь же четко детерминирован, как и спрос потребителей на потребительские товары. Нужно еще только, чтобы правило, которым руководствуется Центральный орган в своей деятельности по установлению цен, соответствовало рациональному критерию максимального удовлетворения. Само это правило очевидно. Центральный орган должен устанавливать единую цену для всех покупателей за товар определенного вида при одинаковом его качестве. Ценовая дискриминация, т.е. назначение различных цен для разных покупателей за товар одного и того же вида и качества, в принципе допустима [Существуют исключения, которые имеют немаловажное значение, но они не затрагивают логики наших рассуждений.], но по соображениям иного, неэкономического характера. Центральный орган также должен следить, чтобы

цена на каждый вид продукции "расчищала рынок", т.е. чтобы не оставалось невостребованных товаров и чтобы весь существующий при данных "ценах" спрос был удовлетворен. В обычных условиях этого правила достаточно для рациональной калькуляции издержек и, следовательно, экономически рационального распределения производственных ресурсов (поскольку первое - не что иное, как метод обеспечения

и осуществления второго), а тем самым и для обеспечения рациональности самого плана производства в социалистическом обществе. В доказательство можно привести следующее соображение: пока выполняется сформулированное выше правило, ни один элемент производственных ресурсов не может быть перемещен в какую-либо другую производственную сферу без того, чтобы это не сопровождалось потерей такой же (или большей) величины ценности (выраженной в потребительских долларах) по сравнению с величиной ценности, которая была бы дополнительно получена при использовании этого элемента в новой сфере. Иными словами, производство в каждой

отрасли должно отвечать требованиям рациональности, при том что при данных общественных условиях перемещение ресурсов может происходить беспрепятственно. Этим выводом завершаются наши соображения, связанные с обоснованием возможности рационального социалистического планирования при стационарном экономическом процессе, где все повторяется в неизменном виде и поддается правильному предвидению, где не происходит ничего, что способно было бы сорвать рациональный

план.

4. Но если мы и выйдем за пределы ограничений, налагаемых теорией стационарного процесса, и включим в анализ явления, связанные с индустриальным развитием, больших осложнений от него не создаст. Поскольку речь идет об экономической логике, нет оснований полагать, что социализм описываемого здесь типа, теоретически способный совладать с повторяющимися задачами по управлению экономикой в стационарных условиях, непременно потерпит крах, если ему придется решать проблемы, связанные с "прогрессом". Ниже будет показано, почему, тем не менее, для успешного развития социалистического общества столь важно, чтобы предшествующий ему капитализм не только в наибольшей мере вооружил его - опытом,

техникой и ресурсами, но и сам успел "перебеситься" и достичь зрелости, приближаясь к стационарному состоянию. Причина здесь, однако, не в том, что невозможно выработать рациональный и однозначно детерминированный курс для социалистической экономики, которому надо следовать, когда появляется возможность усовершенствовать технику и технологию.

Предположим, что разработано новое и более производительное оборудование для производственного процесса в некоей отрасли промышленности X. Чтобы исключить вопросы, связанные с финансированием инвестиций, - к ним мы вернемся чуть позже - и вычленим интересующий нас комплекс проблем, допустим, что новое оборудование может производиться на тех же заводах, которые до сих пор выпускали

менее эффективную технику, причем производиться при тех же затратах

производственных ресурсов. Управленческие структуры отрасли X, следуя важнейшему

требованию инструкции по обеспечению эффективности - производить самым экономичным образом, - возьмут новое оборудование на вооружение, так что производство прежнего объема продукции потребует теперь меньших затрат. Это значит, что появится возможность передать Министерству или Центральному органу меньшее количество потребительских долларов, чем их было получено от потребителей. Эту разницу можно назвать как угодно - буквой D, лопатой или "прибылью". Управленческие структуры нарушили бы третье требование инструкции, если бы получили эту "прибыль". Чтобы выполнить это требование, им пришлось бы незамедлительно увеличить объем производства, но тогда прибыли не возникнет. Но потенциальной возможности возникновения прибыли в расчетах менеджеров уже достаточно для выполнения той единственной функции, которая у прибыли остается в

рассматриваемых условиях: прибыль с однозначной определенностью указывает, куда и в каком объеме должны, исходя из требований рациональности, перемещаться ресурсы.

Если в какой-то период, когда имеющиеся общественные ресурсы полностью используются для поддержания данного уровня потребления, появляется возможность ввести усовершенствование - например, построить новый мост или железную дорогу, - потребуются дополнительные факторы производства, иначе говоря, - дополнительные инвестиции. При этом возможны различные варианты решения: либо придется увеличить продолжительность рабочего времени сверх того, что, как мы исходили до сих пор, было установлено законом; либо сократить потребление; либо сделать и то, и другое. По тогда наши допущения, рассчитанные на самое простейшее решение экономической проблемы, исключают возможность "автоматического" решения, предполагающего, что Центральному органу и отраслевым

управлениям не придется ничего больше делать, как только следовать за объективными показателями в рамках трех сформулированных правил рациональности. Это значит, что несостоятельна наша схема, а вовсе не социалистическая экономика. Если мы хотим, чтобы такое автоматическое решение стало возможным, надо отменить закон, по которому все своевременно не использованные купоны на потребительские товары аннулируются, отказаться от идеи абсолютного равенства доходов и предоставить Центральному органу право выплачивать премии за сверхурочную работу и - как бы это назвать? - за "сбережения". Возможные усовершенствования или инвестиции должны осуществляться в таком объеме, чтобы даже наименее привлекательные из них могли принести "прибыль", равную премиям, которые придется выплатить за необходимую сверхурочную работу или сбережения (или и за то, и за другое). Это условие однозначно определяет все новые переменные, которые включает в себя наша проблема - в том случае, если сверхурочная работа и сбережения в соответствующем временном интервале являются однозначными функциями соответствующих премий [Надо сказать, что эта проблема возникает лишь в случае новых инвестиций. Те же инвестиции, которые постоянно необходимы для поддержания стационарного процесса, могут и должны обеспечиваться

точно так же, как все другие статьи издержек. В частности, здесь не надо будет выплачивать процент. Воспользовавшись случаем, отмечу, что отношение социалистов

к феномену процента неоднозначно. Сен-Симон считал его чем-то, почти само собой разумеющимся. Маркс полагал, что в социалистическом обществе его не будет. Некоторые современные социалисты вновь признали его. В хозяйственной практике Советской России процент используется.]. Допустим, для удобства, что "доллары", расходуемые в качестве премий, суммируются с ранее выданным долларовым доходом. Нет необходимости останавливаться на связанных с этим разного рода поправках. Однако все эти доводы в отношении инвестиций еще больше убеждают в том, что предложенная схема, казалось столь удачная для решения нашей конкретной проблемы, - не единственно возможный проект социалистической экономики, и ему не

обязательно следовать в социалистическом обществе. Социализм не должен быть уравнилельным, но и при любой степени неравенства, допустимой при социализме, едва ли возможна такая норма накопления, которая обеспечивается в капиталистическом обществе в среднем на протяжении экономического цикла. Даже при капитализме неравенство не способно поддерживать инвестиционный процесс на

нужном уровне. Его поддерживают корпоративное накопление и "создаваемые" банками

кредитные ресурсы, а эти механизмы не отличаются ни автоматизмом действия, ни однозначно детерминированным характером. Следовательно, если социалистическое общество стремится достичь такой же или даже большей нормы реальных инвестиций (чего, конечно, ему не требуется), необходимо прибегнуть к иным методам, нежели "бережливость". Вполне возможным было бы накопление за счет "прибыли", которая из потенциальной превратилась бы в реальную, и за счет использования механизма создания кредитных ресурсов, аналогичного тому, о котором говорилось. Впрочем, гораздо более естественно оставить этот вопрос на усмотрение Центрального органа, съезда или парламента, которые сами в состоянии решить его в ходе формирования общественного бюджета. Если голосование по вопросам, связанным с "автоматическими" процессами в экономике общества, носило бы сугубо формальный характер или сводилось бы к функции контроля, то голосование по поводу инвестиций - по крайней мере их объема - потребовало бы реальных решений, наряду

с голосованием о расходах на армию и т.п. Проблема согласования решения об объеме инвестиций с "автоматическими" решениями, касающимися количества и состава потребительских товаров для индивидуального потребления, не содержит особых сложностей. Однако, если мы примем такую лотку действий, нам придется весьма существенно пересмотреть основополагающий принцип нашей схемы. Изменение других частей нашего проекта может происходить в рамках принятой общей

схемы. Например, если речь не идет о сверхурочной работе, я исходил из того, что отдельные лица не могут по своему усмотрению решать, сколько они будут работать,

хотя как избиратели и по другим общественным каналам они могли бы влиять на такие решения в той же мере, в какой они влияют на решения о распределении доходов и т.д. Я также полагал, что отдельные лица пользуются свободой выбора занятия и места работы только в тех рамках, которые считает возможным и необходимым установить Центральный орган, руководствуясь потребностями принятого генерального плана. Эту систему организации легче представить себе, если провести аналогию с обязательной службой в армии. Существо дела неплохо выражает лозунг: "каждому по потребностям, от каждого по способностям". Во всяком случае, достаточно лишь небольших модификаций, чтобы соответствие было обеспечено. А можно вместо этого оставить за отдельными гражданами право решать, сколько и какую именно работу они должны выполнить. Рациональное распределение рабочей силы будет тогда достигаться с помощью системы стимулирования - в этом случае премиальные надбавки должны предоставляться не только за сверхурочный труд, но и за всю работу в целом, чтобы повсеместно обеспечить соответствие "предложения" труда разного типа и различной степени сложности структуре потребительского спроса и принятой программе капиталовложений. Эти премиальные должны очевидным образом соотноситься с привлекательностью или непривлекательностью каждого вида работы и с необходимым для ее выполнения уровнем квалификации, т.е. с тарифными ставками заработной платы, принятыми в капиталистическом обществе. Мы вправе говорить о "рынке труда", хотя аналогии между заработной платой при капитализме и премиальной системой при социализме не следует придавать слишком большое значение. Включение

в предлагаемую нами схему такого механизма, разумеется, во многом ее изменит, однако не затронет характера социалистической системы. Ее формальная рациональность станет в действительности еще более рельефной.

5. Более явным станет и то фамильное сходство между коммерческой и социалистической экономикой, которое читатель не мог не заметить с самого начала. Поскольку это сходство, по-видимому, доставляет удовольствие несоциалистам и некоторым социалистам, а других социалистов раздражает, стоит наконец ясно сформулировать, в чем оно состоит и чем обусловлено. Тогда мы убедимся, сколь малы основания и для удовольствия, и для досады. Пытаясь построить рациональную схему социалистической экономики, мы использовали механизмы и понятия, которые традиционно облекались в термины, знакомые нам по теоретическим работам, рассматривающим проблемы капиталистической экономики. Мы описали механизм, который сразу же становится понятным, стоит лишь ввести слова "рынок", "купля и продажа", "конкурирующий" и т.д. Мы как бы использовали (или с

трудом удерживались от использования) такие отдающие капитализмом термины, как цены, издержки, доходы и даже прибыли, тогда как другие - рента, процент, заработная плата, а также и деньги - терпеливо ждали своей очереди. Рассмотрим одну из бесспорно худших для социалистов ситуаций - наличие ренты, т.е. дохода, получаемого при производительном использовании природных факторов, скажем "земли". Наша схема, разумеется, не предполагает, что всякий землевладелец получал бы земельную ренту. Тогда что же следует из наличия ренты?

Всего лишь то, что всякая земля (а сверхизобилия земли в обозримом будущем не предвидится) должна экономично использоваться или рационально распределяться, так же как труд или другие производственные ресурсы. Для этого каждый участок должен получить экономическую оценку, исходя из которой будет определяться целесообразность тех или иных предлагаемых вариантов использования этой земли. Благодаря этим оценкам земля и включается в систему общественного учета. Без этого социалистическое общество было бы обречено на нерациональное хозяйствование. Но проведение такой оценки земли вовсе не содержит уступки капитализму или капиталистическому духу. Все, что есть коммерческого или капиталистического в земельной ренте - как в экономическом, так и в социологическом смысле, - и все, чему может симпатизировать защитник частной собственности (частный доход, частная собственность на землю и т.д.), здесь полностью устранено.

"Доходы", которыми мы вначале наделили граждан социалистического общества, - это не заработная плата. В действительности, если их проанализировать, то станет

ясно, что этот доход - соединение принципиально разных экономических элементов, из которых лишь один мог бы быть связан с предельной производительностью труда. Премии, о которых затем шла речь, ближе к заработной плате, выплачиваемой в капиталистическом обществе. Но эти премии существуют только в бухгалтерских книгах Центрального органа, где они фигурируют всего лишь как коэффициенты, оценивающие труд разных видов и степеней сложности в целях рационального его распределения. Эти коэффициенты по своему содержанию не имеют в себе ничего схожего с заработной платой при капитализме. По ходу дела заметим, что поскольку

мы можем по своему усмотрению выбрать название для тех единиц, в которых выражаются притязания граждан на потребительские товары, мы можем именовать их и

часами труда. И поскольку общее количество этих единиц в пределах ограничений, определяемых целесообразностью, также устанавливается произвольно, мы можем приравнять их к часам фактически отработанного времени при условии сведения труда всех видов и степеней сложности к некоему стандартному труду в духе Рикардо и Маркса. Наконец, наше гипотетическое общество может взять на вооружение принцип, по которому "доходы" должны быть пропорциональны тому количеству часов стандартной работы, которая была выполнена каждым членом общества. Для осуществления этого принципа пришлось бы ввести систему трудовых чеков. Интересно, что если не принимать в расчет технические трудности, на которых мы сейчас останавливаться не будем, система могла бы быть вполне жизнеспособной. Но, очевидно, и тогда "доходы" не станут "заработной платой". Не

менее ясно также, что жизнеспособность такого механизма не может служить аргументом в пользу трудовой теории стоимости.

Вряд ли есть необходимость проделывать подобную процедуру сопоставления в отношении категорий прибыли, процента, цен и издержек. Причина упомянутого фамильного сходства уже и так ясна: наш социализм ничего не заимствует у капитализма, однако сам капитализм берет многое из совершенно универсальной логики выбора. Всякое рациональное поведение непременно должно иметь определенное формальное сходство с любыми другими проявлениями рационального поведения. А в сфере экономики унифицирующее влияние рациональности как таковой особенно значительно, по крайней мере там, где дело касается экономического поведения, описываемого чистой теорией. Категории, выражающие определенную поведенческую модель, пропитываясь специфическим содержанием, связанным с некой исторической эпохой в сознании рядового человека сохраняют приобретенный облик. Если наше изучение экономики было бы исторически связано с социалистическим обществом, то сейчас все выглядело бы так, будто при анализе капиталистических

процессов мы заимствуем экономические категории социализма. Собственно говоря, у экономистов капиталистической ориентации нет оснований особо ликовать по поводу того открытия, что социализму ничего другого не остается, как использовать механизмы и категории капитализма. Но и у социалистов

столь же мало оснований отрицать это. Только самые наивные люди могут испытать разочарование, осознав, что социалистическое чудо не создаст собственной логики.

И только приверженцы самых грубых и примитивных разновидностей социалистического

учения в самом этом факте видят угрозу, ибо для них капиталистическая экономика - дикий сумбур, где нет никакой логики и порядка. Разумные же люди, как социалисты, так и их оппоненты, в состоянии признать наличие сходства, хотя их позиции при этом ничуть не сближаются. Однако в отношении использования терминологии могут высказываться возражения: ссылаются на то, что неудобно применять термины, несущие дополнительное, но тем не менее очень существенное содержание, от которого не всякий способен эти термины отделить. К тому же нельзя не учитывать и такой вариант: можно признать вывод о наличии глубинного сходства экономической логики в социалистическом и коммерческом обществах, однако отвергнуть конкретную схему или модель, с помощью которой мы пришли к такому выводу (см. ниже).

Но и это еще не все. Некоторые экономисты - как социалистических, так и несоциалистических взглядов - не только хотели, но просто горели желанием обнаружить сильное фамильное сходство между социалистической экономикой, какой она видится в будущем, и коммерческой экономикой с совершенной конкуренцией. Есть даже школа социалистической мысли, готовая прославлять совершенную конкуренцию и отстаивать социализм на том основании, что социализм - единственный способ достижения в современном мире тех результатов, которые несет

с собой совершенная конкуренция. Вполне очевидно, что такая позиция, свидетельствующая на первый взгляд об удивительной широте ума, на самом деле привлекает себе сторонников тактическими преимуществами. Просвещенный социалист,

не хуже всякого грамотного экономиста видящий слабости аргументации марксистской

и других социалистических теорий, может, таким образом, признать то, что, как ему подсказывает чутье, нельзя не признать, и при этом не поступаться своими убеждениями, потому что он признает то, что относится к той исторической стадии,

которая, несомненно, осталась в прошлом (если она вообще когда-нибудь существовала). Такая позиция позволяет, проявляя благоразумие, обращать нападки только на неконкурентную экономику и со знанием дела выдвигать обвинения против современного капитализма, в частности, в том, что он сделал целью производства не удовлетворение потребностей людей, а извлечение прибыли. В отношении конкурентной экономики такого рода обвинения были бы просто нелепы. Просвещенный

социалист может озадачить и смутить добропорядочных буржуа, уверяя их, что только социализм позволит осуществить их собственные давнишние чаяния и то, что проповедовали их экономические наставники. Однако аналитические преимущества, получаемые при акцентировании фамильного сходства двух типов экономики, не столь велики [См. гл. VIII.].

Как мы уже убедились, отвлеченная концепция совершенной конкуренции, которая была сконструирована в рамках экономической теории для решения ее собственных задач, во главу угла ставит вопрос о том, могут ли отдельные фирмы, действуя самостоятельно, оказывать влияние на цены своей продукции и своих факторов производства. Если не могут - то есть если любая фирма - всего лишь капля в море, и потому она вынуждена принимать цены, существующие на рынке, - тогда теоретик говорит о существовании совершенной конкуренции. Можно продемонстрировать, что в этом случае совокупным результатом пассивных реакций всех индивидуальных фирм будут такие рыночные цены и такие объемы выпускаемой продукции, которые имеют определенное формальное сходство с индексами экономической значимости я объемами производства в нашем проекте социалистической экономики. Однако во всех действительно существенных моментах принципах образования доходов, отборе промышленных лидеров, распределении

инициативы и ответственности, определении успехов и неудач - во всем, что формирует действительный облик конкурентного капитализма, представленный проект социализма -противоположность совершенной конкуренции. От совершенной конкуренции он отстоит гораздо дальше, чем от капитализма большого бизнеса. Поэтому я не считаю, что социалистический проект можно отвергнуть на том основании, что он представляет собой заимствование из коммерциализма или что здесь социалистический запал растрачивается на какое-то неблагодельное дело. Мне гораздо ближе взгляды тех социалистов, кто отвергает этот проект по другим причинам. Действительно, я и сам подчеркивал, что предложенный метод создания "рынка" потребительских товаров и ориентирование производства на показатели этого рынка, в большей степени по сравнению со всеми другими (например, с методом принятия решений большинством голосов) удовлетворяет запросы каждого члена общества. Не существует института более демократичного чем рынок, и в этом

смысле наш метод обеспечит "максимальное удовлетворение". Но сам этот максимум имеет краткосрочный характер [Однако это достоверно существующий максимум, и как

таковой он обеспечивает экономическую рациональность данной разновидности социализма точно так же как максимум при конкурентном механизме обеспечивает рациональность конкурентной экономики. Но и в том, и в другом случае это не имеет большого значения.] и вдобавок является относительным, поскольку зависит от того, что именно в данный момент люди включают в круг своих потребностей. Только такая разновидность социализма, которая откровенно ставит во главу угла "сытость" людей ("социализм бифштексов"), может сводить свою цель к достижению "максимального удовлетворения". Я не стал бы осуждать социалистов, презирающих такого рода цель и мечтающих о создании для человека новых форм культуры, а возможно, и о создании человека нового типа. Если социализм действительно внушает какие-то надежды, то они находятся именно в этой области. Социалисты, придерживающиеся такой точки зрения, могут вместе с тем допускать, что их государство будет руководствоваться реально существующими вкусами граждан только в вопросах, относящихся к чисто гедонистической сфере. Но в решении всех других задач, не только в инвестиционной политике, где мы и сами условно прибегли к такому механизму, они признают необходимость Госплана. За гражданами признается право выбора между горохом и бобами. Не исключено, что им будет также

предоставлена возможность выбирать между молоком и виски или покупкой лекарств и

благоустройством жилища. Однако им не позволят выбирать между праздностью и посещением храмов, если последние будут сохранены в качестве того, что немцы неуклюже, но многозначительно называют объектами (или воплощением) культуры. 6. Предположим, что выбрасываем "рынки" за борт. Тогда с необходимостью возникает вопрос, должны ли последовать за ними рациональность и детерминированность. Ответ очевиден. В этом случае потребуются административный орган для оценки, т.е. определения коэффициентов значимости всех потребительских

товаров. Если у административного органа есть своя система ценностей, эти индексы могли бы быть определены столь же однозначно, как у Робинзона Крузо [Вероятно, по этой причине Маркс и проявлял значительный интерес к "экономике Робинзона Крузо".]. А дальше процесс планирования может идти в основном так, как

в нашей исходной схеме. Купоны, цены и условные счетные единицы, как и там, использовались бы в целях контроля и для калькуляции издержек, хотя они и утратили бы родство с располагаемым доходом и его единицами. Все категории, обусловленные общей логикой экономических действий, неизбежно вернулись бы на сцену.

Следовательно, любая разновидность централистского социализма может успешно взять первый барьер - обеспечить логическую определенность и последовательность социалистического планирования. Стало быть, можно сразу же перейти к рассмотрению второго препятствия - "практической неосуществимости". Сегодня, пожалуй, большинство экономистов антисоциалистического толка, признав свое поражение на ниве чистой логики, склонны оперировать именно этим аргументом. По их мнению, перед Центральным органом в нашей гипотетической системе встанет задача неразрешимой сложности [Этой линии придерживаются большинство теоретиков несоциалистических убеждений, признавших чисто логическое обоснование

возможности социализма. Среди наиболее авторитетных экономистов назовем профессоров Роббинса и фон Хайека]. Некоторые добавляют, что функционирование социалистического механизма возможно только при условии коренной переделки душ или поведения людей - назовите как хотите. Однако исторический опыт и здравый смысл говорят о том, что такая перестройка совершенно нереальна. Не будем принимать в расчет это второе соображение, а рассмотрим первое. Во-первых, даже мельком взглянув на предложенное нами решение рассматриваемой теоретической проблемы, читатель не может не оценить высокую степень его нерациональности. В самом деле, оно не только устанавливает логическую возможность решения, но также показывает, каким образом оно может быть реализовано на практике. Оно остается в силе, даже если мы, не прибегая ни к каким уловкам, выдвинем требование, чтобы сам произведет венный план составлялся

ab ovo [С самого начала (лат.)].]. Иначе говоря, план не должен основываться на прошлых объемах производства и ценностях; при его разработке следует опираться лишь на сведения об имеющихся ресурсах и технологиях и на общие представления о том, какого типа люди будут обеспечивать осуществление этого плана. Более того, нельзя упускать из виду, что в нынешних условиях социалистическая экономика нуждается в громоздком бюрократическом аппарате. По крайней мере, социальные условия должны благоприятствовать его формированию и функционированию. Это одна из тех причин, которые требуют учета всего комплекса социальных и исторических факторов при обсуждении экономических проблем социализма. Речь идет сейчас не о том, каков этот административный аппарат, заслуживает или не заслуживает он всех

тех пренебрежительных замечаний, которые многие из нас (да и сам я не исключение) склонны отпускать в адрес бюрократии, и какой мере он соответствует стоящим перед ним задачам. В данном случае важно подчеркнуть другую мысль: нет оснований сомневаться, что административный аппарат, раз уж он существует, так или иначе справляется со своими задачами.

В любой нормальной ситуации он будет располагать достаточной информацией для того, чтобы с большой степенью надежности определить необходимый объем продукции

во всех важнейших отраслях. Тогда все остальное можно было бы урегулировать методом "компетентных" проб и ошибок. В этом отношении нет принципиальных различий [Некоторые авторы, видимо, полагают, что процесс, в результате которого

достигается равновесие, может быть точно таким же, как и при совершенной конкуренции. Однако это не так. Поэтапно утрясая отдельные пункты плана в ответ на изменения цен, можно легко упустить саму цель. Вот почему, рассматривая этот вопрос, я говорил о "компетентных" пробах и ошибках.

Такое согласование, когда оно проводится в капиталистической экономике, означает

важнейший шаг в направлении социализма. Оно в самом деле ведет к постепенному облегчению проблем переходного периода и само является признаком вступления в этот период. Бескомпромиссная борьба с этой тенденцией равносильна борьбе с социализмом.] между социалистической и коммерческой экономикой. Это касается и тех проблем, с которыми сталкивается теоретик, когда выясняет, каким образом экономическая система приходит к некоему "рациональному" или "оптимальному" состоянию (иначе говоря - к достижению условий максимума), и тех, которые приходится решать менеджерам в их практической деятельности. Если же мы с самого

начала будем основываться на опыте предшествующей экономики, - что признают необходимым большинство социалистов и особенно Карл Каутский, всегда стоявший на этой позиции, - то задача, разумеется, намного упростится, в частности, при использовании опыта большого бизнеса.

Во-вторых, вновь обратясь к нашему проекту, нетрудно убедиться в следующем: проблемы, с которыми сталкивается социалистический менеджмент, не только поддаются практическому разрешению, как и аналогичные проблемы в коммерческом обществе, но при социализме решать их было бы легче. Это можно понять, вспомнив,

что одна из главных сложностей управления бизнесом, поглощающая львиную долю энергии высшего руководства, связана с факторами неопределенности, которые должны приниматься в расчет при каждом решении. Среди них очень важную роль играют реакции реальных и потенциальных конкурентов компании, а также изменения

общей экономической ситуации. Хотя в социалистическом обществе другие виды неопределенности, бесспорно, сохраняются, две названные, по всей вероятности, почти полностью исчезнут. Администрация социализированных отраслей и предприятий

имела бы возможность доподлинно знать, как их коллеги собираются действовать, и ничто не помешало бы им достичь согласованности действий". Центральный орган может и даже неизбежно будет собирать, анализировать и распространять информацию, а также координировать процесс принятия решений - во всяком случае не в меньшей степени, чем управленческие органы всеобъемлющих картелей. Это в громадной мере снизит нагрузку на мозги управляющих. В такой системе от менеджеров не потребуется столь высокого интеллекта, как от тех, кто должен вести достаточно большой корабль по бурным волнам капиталистического моря. Этого достаточно, чтобы считать нашу теорему доказанной.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава семнадцатая.  
Сравнительный анализ проектов общественного устройства

#### 1. Предварительные замечания

Читатель, познакомившись с предшествующими главами, вправе ожидать теперь сравнения представленного социалистического проекта с капитализмом. Разумнее, видимо, было бы не идти навстречу ожиданиям, ибо каждый, кто не лишен начисто чувства ответственности, понимает, что сравнивать реально существующую систему с неким умозрительным построением (а ни один социалист не станет утверждать, что в России социалистическая идея нашла полное воплощение) чрезвычайно рискованно. Мы

все же пойдем на этот риск, ни на миг не забывая, что кроме мира фактов и аргументов, которые мы собираемся анализировать, существует мир личных предпочтений, убеждений и оценок, в который нам не следует погружаться. Только предельно сузив свою задачу и ясно осознав все сложности и ловушки на этом пути,

можно рассчитывать на успех.

В частности, мы не будем проводить сопоставление коммерческого и социалистического общества как двух типов цивилизации. Чтобы понять тщетность подобного сравнения, достаточно вспомнить о том свойстве социализма, которое я назвал культурной недетерминированностью. Есть и другая причина, заставляющая воздержаться от такого сравнения. Даже если бы социалистический тип цивилизации был жестко связан с какой-то одной определенной моделью, то и в этом случае сравнительный анализ оставался бы проблематичным делом. Отдельные идеалисты и люди маниакального склада не склонны видеть тут сложности. К тому же они заведомо облегчают себе задачу, вычлняя для сравнения какую-то одну черту, якобы отличающую "их социализм", и игнорируя все прочие его свойства. Но если не вставать на этот путь и попытаться в меру возможностей представить ту или иную цивилизацию всесторонне и притом на всех этапах ее существования, неизбежно

придешь к выводу, что каждая цивилизация - это особый мир, несоизмеримый с любым другим.

Однако в интересующей нас области сопоставительного анализа существует и такой аспект, как сравнение реальных достижений культуры с потенциальными возможностями. Нередко можно услышать утверждение, что социализм, избавив индивида от экономических забот, приведет к небывалому подъему творческих сил, прежде уходивших на добывание хлеба насущного. В какой-то мере это так. Всякое

"плановое" общество может стимулировать развитие культуры, так же как оно может в силу других причин и по другим направлениям подавлять его. Сам тезис о стимулировании вызывает возражение: высказывается мнение, что общественные власти - насколько об этом можно судить - вряд ли будут способны взять на себя ответственность за поиск и пестование талантов, и что нет достаточных оснований верить, что эти власти скорее сумели бы оценить Ван Гога, чем это сделало капиталистическое общество. Но такого рода возражение неправомерно, поскольку в компетенцию общественной власти это и не должно входить. От нее требуется только

одно - обеспечить, чтобы Ван Гог наряду с другими получал свой "доход" и не работал слишком много. Во всех обычных случаях этого было бы достаточно. Правда, когда речь идет о Ван Гоге, нельзя быть уверенным, что создание необходимых условий послужило бы его творческому взлету. Более весомым представляется другое возражение. Оно связано с тем, что в области

культуры, а также и в других поборники социализма склонны недооценивать, а нередко и вообще отрицать то обстоятельство, что в определенной мере социалистические идеалы уже реализованы в современном мире. Капитализм в гораздо большей степени, чем полагает большинство из нас, создаст условия для реализации

талантов. Есть доля истины в жестокой формуле типичного буржуа, столь раздражающей многих достойных людей: если талант не способен использовать предоставляемые ему возможности, он и не заслуживает лучшей участи. Хотя эти возможности и не таковы, как нам хотелось бы, они тем не менее, бесспорно, существуют. Современный капитализм располагает целой системой мер, призванных на

самых ранних стадиях выявлять и развивать самые разные способности. Иногда сложность состоит не в поиске средств для поддержания таланта, а в том, чтобы найти талант, достойный предлагаемой поддержки. Более того, в самой природе капитализма заложено стремление продвигать одаренного индивида и в еще большей степени способную семью. Поэтому, хотя социальные потери возможны [Примеры такого рода при ближайшем рассмотрении часто оказываются надуманными либо из них

делаются предвзятые выводы. Кроме того, часть этих потерь не связана с конкретным типом общественного устройства. Не во всем, что происходит при капитализме, виноват капитализм.] (особенно это касается гениев, чьи способности

граничат с патологией), их вряд ли можно считать значительными.

2. Сравнительный анализ экономической эффективности

Итак, мы не будем выходить за пределы экономической сферы, хотя, как я надеюсь, читатель понял, что для меня она отнюдь не главная.

1. Ограничения, связанные с таким решением, совершенно очевидны, но очевидны и ловушки, хотя они и наименее опасны на первом этапе анализа, где речь идет только о сопоставлении проектов. Как и прежде, отложим на время вопрос о трудностях переходного периода, ибо это отдельная тема. И допустим, что все они были успешно преодолены. Если принять нашу логику доказательства возможности и жизнеспособности социалистической схемы, достаточно было бы даже беглого рассмотрения результатов действий такой системы, чтобы увидеть веские основания в пользу вывода об ее преимуществах в экономической эффективности.

Необходимо доказать, что такое превосходство существует по отношению к капитализму большого бизнеса, или "монополистическому" капитализму, ибо, как явствует из нашего анализа в гл. VIII, в отношении "конкурентного" капитализма этот вывод будет тем более правомерен. Многие экономисты, пользуясь тем, что в отрыве от реальности легко строить любые самые лестные домыслы о конкурентном капитализме, выработали привычку восхвалять его в противовес последующей "монополистической" стадии. Еще раз подчеркну, что даже если бы все эти панегирики были вполне оправданы, - а это не так, - и если бы теоретическая модель совершенной конкуренции когда-либо была реализована в сфере промышленности и транспорта, - чего никогда не было, - и, наконец, если были бы справедливы все обвинения в адрес большого бизнеса, - а они далеки от действительного положения дел, - то и в этом случае нельзя было бы отрицать большую реальную эффективность капиталистического производства в эпоху крупномасштабного производства по сравнению с предшествующей стадией мелких и

средних предприятий. Это статистически установленный факт. Но обратившись к его теоретическому объяснению, мы сможем также осознать, что растущие размеры компаний и разработка ими стратегий деловой активности - это не только неизбежное следствие, но в значительной мере также и предпосылка роста эффективности, фиксируемого статистикой. Иначе говоря, технологические и организационные возможности, которые доступны фирмам, действующие в условиях, близких к условиям совершенной конкуренции, никогда не позволили бы достичь столь же высоких результатов. Следовательно, вопрос о том, как функционировал бы современный капитализм в условиях совершенной конкуренции, бессмыслен. А значит, независимо от того факта, что социализм является наследником "монополистического", а не конкурентного капитализма, нам не стоит уделять последнему слишком большое внимание. Сведем экономическую эффективность системы к эффективности производства, хотя и ее не так-то легко вычленишь. Разумеется, сравнение функционирования двух систем

правомерно только применительно к конкретному моменту времени - идет ли речь о прошлом, настоящем или будущем [Это правило при всей его очевидности часто не соблюдается. Так, экономисты сегодняшнего Советского Союза нередко сравнивают с экономикой царской России накануне первой мировой войны, хотя четверть века, прошедшие с тех пор, делают такое сравнение бессмысленным. Единственное, что, возможно, имеет смысл, это сопоставление с экстраполированной кривой, построенной, например, на основе данных за 1890-1924 гг.]. Но это еще не все, ибо вопрос не в том, как социалистический менеджмент мог бы вообще безотносительно к данному моменту времени распорядиться существующим в этот период капиталистическим производственным аппаратом. Это нас интересует не намного больше, чем вопрос об использовании некоего запаса потребительских товаров, попавшего в руки социалистического руководства. Интересно другое: каким

будет или каким был бы производственный аппарат, если бы он создавался не в условиях капитализма, а при социалистическом управлении. Массив информации о наших реальных или потенциальных производственных ресурсах, накопленный за последние 20 лет, при всей его ценности не может сколько-нибудь существенно помочь в решении нашей задачи. Нам остается представить наиболее полно различия в механизмах функционирования социалистической и коммерческой экономики и постараться определить значимость этих различий.

Условимся, что на момент сравнения двух систем демографические условия - численность населения, его качественные характеристики, вкусы и возрастная структура - одинаковы в обеих системах. В таком случае мы будем считать сравнительно более эффективной ту систему, в отношении которой есть основания полагать, что в долговременном аспекте она произведет больший объем потребительских благ в единицу времени [Поскольку потоки реального дохода при капитализме и социализме в определенной мере складываются из различных товаров, а общие для обеих систем товар включаются в разных пропорциях, без дополнительных гипотез об изменениях в структуре имеющихся доходов невозможно оценить значимость этих различий. Этим связаны достаточно сложные теоретические вопросы. Где поток реальных доходов больше, если в капиталистической системе произведено больше вина, но меньше хлеба, чем в социалистической? При попытке ответить на этот вопрос мы сталкиваемся с теми же трудностями, что и при сопоставлении потока доходов за текущий и следующий год в

рамках одной и той же социальной системы (как при определении любого индекса общего объема производства), только при сопоставлении разных систем эти трудности многократно возрастают. Для нашей задачи, если брать именно теоретическую сторону дела, может оказаться приемлемым следующий критерий: поток

доходов будет считаться больше, чем другой, если (и только если) его общая денежная оценка выше, независимо от того, в какой ценовой системе оба эти потока

оцениваются. Если один поток имеет большую суммарную величину в капиталистической системе цен и в то же время меньшую величину в социалистической системе цен, можно считать, что оба потока равны, как если бы они имели одинаковую величину в обеих ценовых системах. Иначе говоря, можно считать, что различие между обеими величинами в этом случае не очень значительны. Предложенное определение, разумеется, не дает решения

статистической проблемы, поскольку мы не имеем возможности оценить оба эти потока одновременно.

Мотивы, по которым слова "в долговременном аспекте" выделены курсивом были разъяснены в гл. VII.]

2. Это определение эффективности нуждается в комментарии. Как мы увидим, оно не отождествляет экономическую эффективность с экономическим благосостоянием или с той или иной степенью удовлетворения потребностей. Даже если бы любая мыслимая социалистическая экономика была заведомо менее эффективной (в нашем понимании этого термина), чем любая возможная коммерческая, большинство людей - а, по сути,

все, о ком обычно пекутся социалисты, - могли бы все же быть "обеспеченнее", "счастливее" или "довольнее" при социализме. Я прежде всего считал нужным отметить, что относительная эффективность - это самостоятельный фактор, который никогда, даже в подобных случаях не утрачивает своей важной роли. Кроме того, я не считаю, что немного теряем, когда не учитываем эти факторы. Необходимо, видимо, сделать пояснение к этому весьма спорному утверждению.

Во-первых, истинный социалист получает удовлетворение уже от одного того факта, что живет в социалистическом обществе [Порой мы слышим, что не стоит уделять большого внимания явным недостаткам социалистического планирования. Главное - это возможность стать гражданам социалистического общества. Этот довод, откровенно выражающей истинно социалистические чувства, вовсе не такой уж неразумный, каким он может показаться. Во всяком случае, он делает излишней всю прочую аргументацию.]. Для таких людей социалистический хлеб всегда слаще капиталистического просто потому, что он социалистический, даже если он подпорчен мышами. А если к тому же сложившаяся конкретная социалистическая система отвечает моральным требованиям, предъявляемым к ней, - как, к примеру, эгалитарный социализм отвечал бы моральным принципам, разделяемым многими социалистами, - сам этот факт и связанное с ним удовлетворение чувства справедливости, бесспорно, фигурировали бы в списке достоинств, позволяющих социализму претендовать на превосходство. Моральная преданность играет весьма существенную роль в функционировании социалистической системы и даже в обеспечении ее эффективности (как мы ее понимаем), о чем речь пойдет позже. Но независимо ни от чего нам всем стоило бы признать, что в наших рассуждениях по поводу справедливости и т.п. все в основном сгодится к тому, нравится нам или нет какая-либо конкретная форма общества.

Однако существует и чисто экономический аргумент в пользу эгалитарного или любого иного социализма, чья структура предполагает более высокую степень равенства доходов. По крайней мере те экономисты, которые с легким сердцем признают возможность количественной оценки степени удовлетворения потребностей, а также сравнения и суммирования удовлетворения, получаемого разными людьми, имеют право утверждать, что если данный запас или поток потребительских товаров будет распределяться поровну, то в целом это обеспечит максимальное удовлетворение потребностей. Следовательно, эгалитарная система при том же уровне эффективности, что и в коммерческой системе, позволит достичь более высокого уровня благосостояния. Это возможно даже и при несколько меньшей эффективности. Большинство современных теоретиков отвергли бы такого рода допущения на том основании, что степень удовлетворения потребностей нельзя измерить, а сравнение и суммирование удовлетворенности различных индивидов лишено смысла. Но можно обойтись и без этих доводов. Аргументы сторонников уравнительности легко отмести, если вспомнить проведенный нами анализ монополистической практики: не существует отдельной проблемы распределения имеющегося количества товаров, не связанной с определенной системой распределения доходов. Доходы в форме заработной платы в коммерческом обществе, допускающем неограниченное неравенство, вполне могут быть выше, чем они были бы в условиях эгалитарного социализма, где обеспечивается равенство доходов. До тех

пор, пока нет достаточных оснований считать, что социалистическое производство по своей эффективности будет хотя бы приближаться к коммерческому (к какому бы моменту времени в прошлом, настоящем или будущем ни относилось сравнение), ссылка на эгалитарное распределение не может иметь решающего значения) Даже если

мы и решим принять ее во внимание, это само по себе потребует новых разъяснений Этот отвергнутый нами аргумент может быть сформулирован и в таком виде: при прочих равных условиях социалистический максимум выше, чем максимум в

конкурентной экономике. Но поскольку сама природа обоих этих максимумов сугубо формальна, сравнение их не имеет смысла, что с очевидностью следует из предшествующих рассуждений.]. Как только вопрос об эффективности производства будет решен, аргумент, связанный с распределением, отпадет. Если ссылка на распределение не будет всецело подчинена утверждению морального идеала, она может сыграть определенную роль - в основном там, где дело касается спорных случаев.

3. Есть и другая причина, по которой при одинаковой эффективности производства уровни благосостояния могут быть различны. Большинство социалистов уверены, что при одном и том же национальном доходе социалистическое общество будет богаче капиталистического, ибо сумеет использовать доход более экономно. Эта экономия обусловлена тем, что определенные типы обществ благодаря особенностям своей организации могут быть индифферентны или враждебны тем целям, на которые другие типы общества, опять-таки в силу своей организации, расходуют значительные средства. Например, пацифистский социализм может сэкономить на вооружении, атеистический - на церквях, а поэтому и та и другой в состоянии построить больше

больниц. Это, бесспорно так. Но поскольку здесь необходимы оценки, которые нельзя с уверенностью отнести к социализму в целом, а только к конкретным его разновидностям, то мы не будем на этом останавливаться.

Практически любое социалистическое общество - за исключением платоновского варианта - наверняка сможет реализовать еще один тип экономии, а именно экономию

за счет устранения праздного класса, "праздных богачей". С точки зрения социалистов вполне допустимо пренебречь потребностями индивидов, относящихся к этой группе, а ее культурные функции считать равными нулю. (Цивилизованные социалисты всегда умудряются сохранить лицо, делая оговорку, что так дело обстоит только в сегодняшнем мире.) За счет этого, конечно, социалистический строй может получить чистый выигрыш. Какую погрешность мы допускаем, игнорируя этот фактор экономии при оценке эффективности?

Конечно, при современной системе налогообложения доходов и наследства проблема праздного класса быстро теряет прежнюю количественную значимость даже независимо

от методов фискальной политики, применяющихся для финансирования нынешней войны.

Сама эта система налогообложения является выражением антикапиталистического подхода и, возможно, предвестником полного устранения групп населения с типично капиталистическими формами дохода. Поэтому следует рассмотреть данный вопрос на примере капиталистического общества, чьи экономические корни еще не затронуты. Применительно к Соединенным Штатам представляется целесообразным проанализировать данные за 1929 г. [Соединенные Штаты - наиболее подходящая для подобного анализа страна. В большинстве европейских государств дело усложнялось - по крайней мере в XIX в. вплоть до первой мировой войны - наличием высоких доходов, сложившихся в докапиталистический период и увеличившихся в процессе капиталистической эволюции.]

Будем считать богатыми людьми тех, чей годовой доход составляет 50 тыс. долл. и более. В 1929 г. они получили около 13 млрд. из общей суммы национального дохода

примерно в 93 млрд. [См. Moulton H.G., Levin M. and Warburton CA. America's Scarcity to Consume (1934). P. 206. Эти цифры, разумеется, весьма приблизительны. Они включают доход от профессиональной деятельности и вложений в

ценные бумаги, а также от продажи собственности и условно начисленные доходы от владения домами.] Из этих 13 млрд. следует вычесть налоги, сбережения и пожертвования на общественные цели, ибо для социалистического строя устранение этих статей дохода не составит экономии; "сэкономлены" в буквальном смысле слова

будут только расходы богатых людей на их собственное потребление [Как мы убедимся ниже, тот факт, что социалистическая администрация, вероятно, будет использовать эти сбережения и пожертвования для иных целей, не влияет на нашу аргументацию.]. Эти расходы нельзя оценить сколько-нибудь точно. Остается лишь надеяться, что мы не ошиблись в порядке величин. Поскольку большинство экономистов, рискующих заниматься такими расчетами, полагают, что подобные расходы не превышают одной трети от 13 млрд., следовательно, они составляют

заведомо не более 4, 3 млрд., или около 4, 6 % национального дохода. Эти 4, 6 % включают все потребительские расходы социальных групп, относящихся к большому бизнесу и высшим профессиональным слоям, так что праздные богачи поглощают не более 1-2 %. К тому же в той мере, в какой семейные мотивы сохраняют свое значение, и эта часть национального дохода может оказывать воздействие, благоприятствующее эффективности экономического механизма.

Некоторые читатели, без сомнения, решат, что нижняя граница в 50 тыс. долл. неоправданно высока. Вполне очевидно, что можно сэкономить еще больше, элиминируя или значительно сокращая доходы тех людей, кто, будучи богатым или бедным, с экономической точки зрения является праздным [Нужно, однако, отметить,

что доход, состоящий исключительно из прибыли на инвестированный капитал, вовсе не свидетельствует об экономической праздности его получателя, так как в инвестициях может воплощаться его труд. Хрестоматийным примером, а также поводом

для затяжного спора служит следующая ситуация: предположим, что человек собственными руками обработал кусок земли. Доход, получаемый им впоследствии, - это "доход от средства производства, сделанного человеком", или, в экономических

терминах, "квазиарента". Если улучшение земли происходит постоянно, то этот доход

становится неотличим от собственно земельной ренты и, стало быть, выглядит воплощением нетрудового дохода, хотя в действительности он не что иное, как форма заработной платы, если мы определяем ее как доход, зависящий от собственного производительного труда. Обобщая, можно сказать, что для обеспечения доходов, которые могут, хотя и не обязательно, принимать форму заработной платы, надо прилагать усилия.]. Кто-то может подумать, что можно достичь и еще более существенной экономии - стоит лишь рационализировать распределение всех наиболее высоких доходов, приведя их в соответствие с результатами труда. Однако, как будет показано в следующем разделе, надеждам, питаемым на этот счет, вряд ли суждено сбыться.

Впрочем, я не собираюсь настаивать на своем, так как если читатель склонен придавать подобной экономии большее значение, чем она, на мой взгляд, заслуживает, то выводы, к которым мы придем, окажутся тем более справедливыми.

### 3. Обоснование преимуществ социалистического проекта

Итак, используемый нами критерий для определения превосходства или неполноценности системы оказывается более существенным, нежели может показаться.

Каковы же исходящие из него аргументы в пользу того социалистического проекта, о

котором я говорил прежде?

Читатель, внимательно ознакомившийся с анализом, проведенным в гл. VIII, вполне может недоумевать. Большинство аргументов, обычно выдвигаемых в поддержку социалистического строя и против капиталистического, как мы убедились, отпадают,

как только в расчет берутся условия, создаваемые для бизнеса быстрым экономическим прогрессом. Некоторые из этих аргументов при ближайшем рассмотрении играют на руку противоположной стороне. Многие из того, что рассматривалось как патологическое, на проверку оказывается физиологически необходимым для выполнения важных функций в процессе творческого разрушения. Многие из того, что предстает как расточительство, сопровождается эффектами, которые иногда полностью, а порой частично нейтрализуют потери. Социально иррациональное распределение ресурсов отнюдь не столь распространено и не столь значительно, как это нередко представляют. Более того, оно весьма вероятно и в социалистической экономике. Наличие избыточных производственных мощностей, до известной степени неизбежное и в социалистической экономике, часто можно интерпретировать так, что это снимет всякую критику. И даже непреодолимые пороки можно в конечном счете изобразить как мелкие частности, сопутствующие достижению столь великому, что на его фоне меркнут любые недостатки.

Ответ на наш вопрос вытекает из последнего пункта предыдущей главы. Пока капиталистическая эволюция в полном разгаре, этот ответ вызывает сомнения. Окончательный характер он приобретает, когда эта эволюция начнет постоянно замедляться по причинам либо внутренним, либо внешним по отношению к ее экономическому механизму.

В ряде отраслей капиталистической промышленности могут сложиться условия, когда равновесные цены и объем производства становятся теоретически неопределенными. Так может быть, хотя и не обязательно, при олигополии. В социалистической же экономике все однозначно детерминировано, если исключить из рассмотрения частные

случаи, не имеющие практического значения. Но даже если теоретически детерминированное состояние в капиталистической экономике существует, практическое его достижение будет сопряжено с гораздо большими трудностями и затратами, чем это было бы при социализме. В первом случае требуются бесчисленные ходы и контрходы, сами решения приходится принимать в атмосфере неопределенности, сдерживающей рискованные действия. В социалистической экономике такого рода стратегия и такая неопределенность не будут иметь места. Все, о чем говорилось выше, относится не только к "монополистическому" капитализму, но в еще большей степени, хотя и по иным причинам, к конкурентным разновидностям капитализма. Это было продемонстрировано на примере "свиного цикла" [См. гл. VIII.], а также в связи с поведением ряда отраслей промышленности, более или менее отвечающим критерию совершенной конкуренции, в периоды общих циклических спадов или отраслевых кризисов.

Все это более значительно, чем может показаться на первый взгляд. Равновесные решения проблем производства рациональны или оптимальны при заданных обстоятельствах, и, все, что скорее, проще и безопаснее позволяет прийти к ним, означает экономию человеческой энергии и материальных ресурсов, снижение общих издержек, с которыми сопряжено достижение конечного результата. Если экономические в ходе его достижения ресурсы не будут полностью растратены, эффективность в нашем понимании должна неизбежно возрасти.

При рассмотрении под этим углом зрения часть тех распространенных обвинений в адрес капиталистической системы, о которых упоминалось выше, получает веское обоснование. Возьмем, к примеру, избыточные мощности. Неверно, что при социализме их не будет вовсе. Для Центрального органа было бы нелепо настаивать на полной загрузке новой железной дороги, проложенной в еще неосвоенном регионе.

Ошибочно также утверждение, что существование избыточных мощностей непременно связано с потерями. Однако есть и такие формы избыточных мощностей, которые действительно сопряжены с потерями, и с помощью социалистического управления их можно избежать. Это прежде всего относится к резервным мощностям, нацеленным на экономическую войну. Независимо от того, насколько важен этот частный вопрос, - сам я не склонен преувеличивать его значимость - он позволяет еще раз подчеркнуть мою мысль о том, что капиталистическая система в процессе своей эволюции порождает явления, которые для этой системы совершенно рациональны и даже необходимы, а потому их неправомерно относить к порокам капитализма. Их также не стоит считать "изъянами", присущими "монополистическому" капитализму по

сравнению с капитализмом свободной конкуренции - надо учесть, что без этого невозможны были бы достижения монополистического капитализма, недоступные конкурентному. Но даже если все так и обстоит, применительно к социалистическому

проекту эти достижения могут расцениваться как слабости.

Это касается прежде всего большинства явлений, составляющих механизм торгово-промышленных циклов. Капиталистическое предприятие имеет свои регуляторы, и некоторые из них могут быть использованы при социализме в деятельности Министерства производства. Однако планирование прогресса, в частности, систематически координируемое и последовательное внедрение новшеств во всех сферах экономики позволят куда более успешно предотвращать резкие подъемы и спады производства, чем автоматические или направляемые изменения ставки процента или предложения кредита. Действительно, регулирующий механизм в рамках социалистической системы устраняет сами причины циклических взлетов и падений производства, в то время как при капитализме он может лишь смягчить эти явления. Так, процесс избавления от устаревшего оборудования, который при капитализме - а при конкурентном особенно - сопряжен с временным параличом и потерями, в какой-то части неоправданно, происходил бы при социализме проще. Это вполне укладывалось бы в рамки обиходных представлений о том, как надо "избавляться от старья": на основе комплексного плана заранее предусматриваются иные способы использования полезных фрагментов устаревших предприятий или элементов оборудования. Вот конкретный пример: при капитализме кризис,

начавшийся в текстильной промышленности, способен привести к прекращению жилищного строительства. Конечно, и при социализме производство текстильных изделий может подвергнуться кратковременному резкому сокращению, хотя это и маловероятно. Однако это будет основанием для увеличения, а не для сокращения строительства жилья.

Каковы бы ни были экономические цели тех, кто стоит у власти и способен претворять в жизнь свои намерения, социалистическое управление может привести к их достижению с меньшими трудностями и потерями и без тех неминуемых издержек, с

которыми сопряжены попытки планировать прогресс при капиталистических институтах. Одна из причин состоит в том, что социалистический менеджмент сможет

придерживаться курса, более или менее адекватно отражающего долговременную траекторию производства в соответствующих отраслях. Тенденция, проявляющаяся в нынешней политике большого бизнеса, получит дальнейшее развитие. Суть всей нашей

аргументации сводится к следующему: социализация означает следующий шаг вперед по пути, намеченному большим бизнесом. Другими словами, социалистическое управление может по своему уровню настолько же превзойти капитализм большого бизнеса, насколько последний превзошел капитализм эпохи свободной конкуренции, прототипом которого служит английская промышленность прошлого столетия. Вполне возможно, что последующие поколения будут воспринимать соображения по поводу изъянов социалистического планирования так же, как мы воспринимаем низкую оценку

Адамом Смитом акционерных компаний. (Кстати, и в том, и в другом случае мы не имеем дело со сплошным заблуждением.)

Разумеется, все, о чем до сих пор шла речь, относится исключительно к логике проектов, т.е. к "объективным" потенциалам, реализовать которые на практике социализм, возможно, и не сумеет. Если ограничиться сферой логики, то придется признать, что социалистический проект в его абстрактном изложении воплощает в себе более высокий уровень рациональности. Такое утверждение, думается, вполне оправдано. Дело тут не в противопоставлении рационального нерациональному. Фермер, чья реакция на цены свинины и кормов проявляется в "свином цикле", действует вполне рационально, руководствуясь собственными интересами и сообразуясь с конкретными условиями. Столь же рационально поступает и руководство концерна, прибегая в условиях олигополии к тактическому маневрированию. Фирма, повышающая свою активность в периоды бума и сокращающая во время спадов, также ведет себя рационально. Весь вопрос в характере и степени

этой рациональности.

Конечно, это далеко не все, что может быть сказано о социалистическом проекте. Но рассматривая социалистическую экономику в чисто логическом аспекте, мы в своей аргументации, касающейся преимуществ социализма, охватили по сути все, что

заслуживает внимания.

Возьмем, к примеру, проблему безработицы, имеющую первостепенное значение. Что касается самих безработных, то, как было показано во второй части, в развитом капиталистическом обществе, где созданы возможности успешной социализации, видимо, будет делаться достаточно для защиты их интересов. Однако если рассматривать безработицу под углом зрения потерь для общества, кто из предшествующих рассуждений следует, что в социалистическом обществе масштабы безработицы будут меньше главным образом благодаря устранению периодов экономического спада. Когда она, тем не менее, возникает - в основном в результате внедрения технологических новшеств, - Министерство производства будет иметь возможность (сейчас не имеет значения, в какой мере оно воспользуется ею) перераспределять людей, предоставляя им другие рабочие места, которые при адекватном планировании должны быть заранее предусмотрены. Отметим еще одно, пусть и не столь значительное, преимущество, обусловленное более высокой рациональностью социалистической экономики. При капитализме усовершенствования - это, как правило, предмет заботы и результат усилий отдельных лиц. Чтобы распространить эти усовершенствования, требуется затратить время и преодолеть сопротивление. В условиях, когда темпы экономического роста высоки, обычно имеется немало фирм, которые пользуются старыми технологиями или по другим причинам имеют эффективность ниже среднего уровня. В социалистической

экономике каждое усовершенствование теоретически могло бы распространяться посредством распоряжения, и низкая эффективность могла бы быть быстро преодолена. Я не придаю слишком большого значения этому преимуществу, поскольку и капитализм, как правило, достаточно успешно справляется с проблемой неэффективных предприятий. Другой вопрос, способна ли бюрократия реализовать само это преимущество, независимо от степени его важности. Не приходится сомневаться, что профессиональная бюрократия может обеспечить условия, при которых функционирование ее составных частей соответствовало бы ее стандартам. Но это еще ничего не говорит о том, каковы сами стандарты. При рассмотрении всех этих проблем надо постоянно иметь в виду, что потенциальные преимущества на

деле могут обернуться изъянами.

Как правило, каждый менеджер или владелец - управляющий мелкого и среднего предприятия - это прежде всего инженер, либо торговец, либо организатор. Редко кому удастся, даже если это способные люди, совмещать все ипостаси с равным успехом. Как свидетельствуют эксперты по вопросам эффективности, даже в процветающих компаниях управление по тем или иным направлениям их деятельности нередко ведется посредственно, и приходится прибегать к частичной замене руководящего персонала. Социалистическая экономика позволила бы людям, как это и делается в современной системе большого бизнеса, полнее проявить свои возможности и заниматься только тем делом, в котором они действительно специалисты. Но по известным причинам, на которых мы сейчас останавливаться не будем, тешить себя особыми надеждами на этот счет не приходится. Существует, однако, и еще одно весьма серьезное преимущество, которое остается в

тени при изложении социалистического проекта. Важнейшая черта коммерческого общества - это разграничение между частным и государственным секторами, или, если угодно, тот факт, что в коммерческом обществе частная сфера деятельности вбирает в себя гораздо больше, чем ей отводится в феодальном или социалистическом обществе. Частный сектор отделен от общественного не только концептуально, но и в реальной действительности. В значительной степени в этих двух сферах заняты разные люди (явное исключение составляет история местного самоуправления). Принципы их организации и управления также не только не совпадают, но сплошь и рядом противостоят друг другу, что является следствием различных и зачастую несовместимых стандартов, принятых в этих сферах. Все это приводит к почти постоянным экономическим трениям. Только в силу привычки мы перестали удивляться парадоксальности подобной ситуации. На самом деле экономические трения имели место еще задолго до того, как они переросли в антагонизм в результате все большего распространения общественной сферы за счет частной. Сам этот антагонизм сопровождается борьбой. По большей части активность

государства в сфере экономики предстает, но выражению одного старого буржуазного

теоретика, как государственное вмешательство. Это действительно вмешательство, какой бы смысл мы не вкладывали в это слово, и прежде всего потому, что деятельность государства затрудняет и парализует механизм частного производства.

Нередко предпринимаемые государством меры оказываются успешными, они даже могут способствовать повышению эффективности производства. Но добиваясь успеха, центральная власть получает еще более широкие возможности для вмешательства. В социалистической же экономике издержек и потерь, связанных с этой борьбой, можно

полностью избежать. А это значительные потери, особенно если принять во внимание

все, что связано с бесконечными расследованиями и судебными процессами, а также их деморализующим воздействием на предпринимательскую энергию, эту движущую силу

бизнеса.

Об одном компоненте этих издержек следует сказать особо. Я имею в виду поглощение человеческих способностей такими формами деятельности, которые носят всецело защитительный характер. Так, значительная часть всей выполняемой юристами работы обусловлена борьбой бизнеса с государством и его органами. Назовем ли мы такую рода деятельность злостным противодействием общему благу или защитой общего блага против злостной обструкции, - это не меняет дела.

Важно, что в социалистическом обществе не будет ни необходимости, ни возможности

для подобной юридической деятельности. Выигрыш здесь не просто за счет экономии на оплате труда юристов. Это-то как раз мелочь. Существенны социальные потери, порождаемые непродуктивным использованием значительного числа блестящих специалистов. Если учесть, сколь редки такие незаурядные умы, нетрудно понять, что иное их использование могло бы иметь немаловажное значение.

Антагонизм между частной и общественной сферами получил первоначальный толчок еще в тот период, когда феодальные доходы государей утратили главенствующую роль, и государство стало жить на доход, создававшийся в частной сфере и предназначенный для частных целей. Посредством политической силы его надо было

изъять из частного использования [Существование теории, проводящей аналогию между налогами и членскими взносами в клуб или, скажем, оплатой услуг врача, свидетельствует лишь о том, насколько далека эта область обществоведения от научного подхода.]. С одной стороны, налоговая система - это важнейшая черта коммерческого общества или, если принять ту трактовку государства, о которой шла речь в первой главе, - неотъемлемый атрибут самого государства. С другой стороны, налогообложение почти неизбежно [Существующие исключения не имеют практического значения.] отрицательно сказывается на производственном процессе. Примерно до 1914 г. - если мы решим ограничиться только нашим временем - этот отрицательный эффект был ограниченным. Однако с тех пор налоги выросли на порядок и постепенно превратились в основную статью расходов семей и фирм. Они стали также основным фактором, на который ссылаются, когда нужно объяснить причину неудовлетворительного состояния экономики. Кроме того, для насильственного изъятия все возрастающих налоговых сумм потребовалось создать огромный административный аппарат. Его единственная функция - бороться с буржуазией за каждый доллар се дохода. В качестве ответной реакции возникла система обороны и в широких масштабах стала осуществляться самозащита, Издержки, проистекающие из конфликта двух сфер общественного организма, действующих на основе собственных принципов, - это наиболее наглядное проявление расточительства. Все жизнеобеспечение в условиях современного капитализма построено на принципе извлечения прибыли, тем не менее ему не позволяют главенствовать. В социалистическом обществе не существовало бы такого конфликта и связанной с ним растраты ресурсов. Поскольку общество будет осуществлять контроль над всеми источниками доходов, налоги перестанут существовать и исчезнут вместе с государством или, - если моя концепция об исчезновении государства при социализме не получит подтверждения, - вместе с буржуазным государством. Если бы Центральный орган, выплатив доходы, стал бы затем преследовать получателей, чтобы вернуть часть выплаченного, это было бы с точки зрения здравого смысла полной нелепостью. Радикалы, увлекшиеся травлей буржуазии, не видят в налоговой системе иных недостатков, кроме одного - по их мнению, налоги слишком низкие. Будь у них более трезвый взгляд на проблему налогообложения, они прежде всего должны были бы увидеть, что здесь мы имеем один из наиболее веских аргументов в пользу превосходства социалистического проекта.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава восемнадцатая. Человеческий фактор

Предупреждение

Вполне вероятно, многие противники социализма согласятся с тем выводом, к которому мы пришли, однако сделают определенную оговорку. "Да, конечно, - скажут они, - если управлять социалистическим обществом будут полубога, а населять его - архангелы, то, возможно, все пойдет в соответствии с вашей

схемой. Но беда-то в том, что в нашем распоряжении не небесные создания, а простые смертные. А значит, капитализм с его системами мотиваций, разделения ответственности и вознаграждений - это лучшая если и не из всех мыслимых, то, во

всяком случае, из всех практически осуществимых альтернатив".

Тут есть что возразить. С одной стороны, нельзя забывать обо всех опасностях, подстерегающих нас при любых попытках сравнения имеющейся реальности и идеи, а также об ошибках и ловушках, таящихся в сопоставлении реальности и идеала [Любая идея, схема, модель, чертеж тоже воплощает в себе идеал, но только в логическом смысле: такой идеал означает лишь отбрасывание всего несущественного,

представление, так сказать, проекта в чистом виде. Конечно, это не снимает дискуссий по вопросу о том, что именно считать сутью, а что - отклонением от нее. Хотя, по идее, это дело аналитической техники, любовь и ненависть все же и здесь играют свою роль: социалисты склонны приписывать капиталистической модели как можно больше черт, умаляющих ее достоинства; противники социализма проделывают то же самое с социалистической схемой. Каждая сторона стремится приукрасить "свою" модель, изображая большинство ее "изъянов" как несущественные

и, следовательно, потенциально устранимые отклонения. Даже если они единодушно относят те или иные явления к отклонениям от нормы, они могут продолжать спор по

поводу того, насколько характерны эти отклонения для каждой из систем. Так, буржуазные экономисты обычно связывают все негативные, с их точки зрения, черты капитализма с "политическим вмешательством". С другой стороны, социалисты считают экономическую политику государства закономерным итогом исторической эволюции и необходимым условием функционирования капиталистической экономики. Я вполне сознаю сложности, связанные с противостоянием позиций, и все же думаю, что они не отразятся на моем изложении. Читатель-профессионал сможет убедиться, что оно построено с таким расчетом, чтобы их избежать.]. С другой стороны, - хотя я и прежде старался донести мысль о неправомерности рассуждений о социализме вообще, подчеркивая, что речь может идти только о тех или иных формах

социализма как отражении определенных социальных условий и достигнутой исторической стадии развития, - теперь, когда дело касается уже не проектов, а реальных проблем, конкретные условия выходят на первый план.

1. Историческая относительность всякой аргументации

Прибегнем к аналогии. В феодальном обществе многое из того, что сейчас мы, в том

числе и самые рьяные приверженцы частной собственности, считаем исключительной прерогативой государственного управления, управлялось с помощью специфического механизма: на наш взгляд, дело обстояло так, как будто эти общественные функции были превращены в объект частной собственности и стали источником частного дохода. Каждый рыцарь или феодал в иерархии вассальных отношений держал свое поместье ради прибыли, а вовсе не потому, что ему платили за управление им. То, что сейчас стали именовать общественными функциями, связанными с управлением, было не чем иным, как вознаграждением за услуги, предоставляемые сеньору, занимающему более высокую ступеньку в иерархии. Но и это не в полной мере отражает положение дел: рыцарь или лорд владели своими поместьями независимо от того, что они делали или чего не делали, им было просто положено владеть. Люди, лишённые чувства историзма, могут воспринять такую систему как сплошные "злоупотребления". Но это совершенно нелепый взгляд. В тех исторических условиях

- а, как и любая институциональная система, феодализм полностью не исчез с окончанием "собственно феодальной" эпохи - подобный механизм был единственным возможным способом осуществления функций общественного управления. Появился Карл Маркс, скажем, в XIV в. и начини он безрассудно отстаивать другую систему общественного управления, его можно было бы убедить, что существовавшая система достойна восхищения, поскольку она позволяет решать такие вопросы, которые без нее вообще не могли бы быть решены. Главное же состоит в том, что в силу особенностей человеческой природы как таковой мотив прибыли был необходимым условием функционирования системы общественного управления. Устранение этого стимула на практике привело бы к хаосу, а само предложение отказалось от заинтересованности в прибыли воспринималось бы как полный отрыв от реальной

жизни.

Точно так же во времена, когда высшим достижением капиталистической экономики была английская текстильная фабрика, т.е. примерно до 1850 г., социализм не был реальной альтернативой. Ни тогда, ни сейчас ни один разумный приверженец социализма не стал бы доказывать обратное. В те времена доморощенные рассказы о том, как под взглядом хозяина скот набирает вес, песок превращается в золото, гусыня начинает нести золотые яйца, воспринимались тугодумами и простаками как неопровержимая истина. В этой связи я хочу заявить социалистам, что существует более эффективный способ полемики с ними, нежели высмеивание. Сами социалисты используют этот метод в расчете на то, что оппонент, такой же тщеславный и обидчивый интеллектуал, как они сами, перестанет возражать, как только почувствует, что может стать объектом насмешек. Признаем лучше, что простаки, рассказывавшие о чудесах, были но своему правы в тех исторических обстоятельствах, и вернемся в наше время, чтобы обратиться к вопросу, непосредственно нас интересующему: выясним, насколько обоснованы эти предрассудки сегодня и выскажем наши возражения по этому поводу.

Поскольку нам предстоит рассмотреть капитализм как конкретную систему общественного устройства, - если сравнение капиталистической действительности с социалистической возможностью вообще имеет смысл, - возьмем в качестве примера капитализм нынешней эпохи, капитализм большого бизнеса, или, так сказать, капитализм, находящийся "в оковах". Сделаем несколько оговорок. Во-первых, выбрав эпоху и модель капитализма, мы не определяем конкретного временного интервала, даже определенного десятилетия, ибо вопрос о том, насколько характерные особенности капитализма этого тина успели сформироваться и закрепиться к данному моменту, скажем к сегодняшнему дню, нуждается в изучении с использованием фактического материала. Во-вторых, отметим, что для нашей аргументации в этом случае не важно, порождены ли эти "оковы", какими бы они ни были, самим процессом капиталистической эволюции либо навязаны неким органом, внешним по отношению к капиталистическому механизму. В-третьих, следует подчеркнуть, что, хотя теперь мы перейдем к проблемам более практического свойства - а именно посмотрим, насколько вероятно, что социализм сумеет реализовать потенциальные свойства, заложенные в социалистическом проекте, - мы, как и прежде, будем вести речь только о шансах. Все эти оговорки являются оправданием нашей неспособности представить, какого рода социализм уготован нам.

## 2. О полубогах и архангелах

Вернемся к нашему буржуа, толкующему о полубогах и архангелах. С первыми можно разделаться довольно легко: чтобы управлять социалистической экономикой никаких полубогов не потребуется, ибо, как мы уже убедились, если трудности переходного периода преодолены, дальше задача не только не сложнее, но даже проще, чем та, которую приходится решать капитанам индустрии в современном мире. Упоминание об архангелах означает намек на широко распространенное суждение, будто социалистическая форма организации общества требует столь высокого этического уровня, которого в реальности люди вряд ли сумеют достичь.

Социалисты сами виноваты в том, что такого рода аргументы оказались на вооружении у их оппонентов. Они муссировали ужасы капиталистического гнета и эксплуатации, уверяя, что стоит все это устранить, и человеческая природа немедленно расцветет во всей своей красе либо как минимум начнется процесс совершенствования человека, в результате чего и будет достигнут необходимый уровень этики [Из неомарксистов больше всех грешил этим Макс Адлер (не путать с двумя другими венскими лидерами, занимающими видное место в истории австрийского

социализма - Виктором Адлером, выдающимся организатором и руководителем социалистической партии, и его сыном Фрицем, который убил премьер-министра графа

Штюргха).]. В общем, социалисты сами ответственны за то, что оказались беззащитными перед оппонентами, которые получили возможность обвинить их не только в безудержной лести массам, но и в исповедании уже достаточно дискредитировавших себя идей Руссо. Но социалистов ничто не вынуждало действовать подобным образом. Можно было проявить гораздо больше здравомыслия. Докажем это с помощью следующих рассуждений. Предварительно введем разграничение, которое будет нам полезно, хотя психологи, возможно, возражали бы

против него. Во-первых, признаем, что некий набор способов чувствования и

действия может измениться с изменением социальной среды, в то время как основополагающая система ("природа человека") остается неизменной. Мы будем называть это адаптивными изменениями в ответ на новые условия существования ("change by reconditioning"). Во-вторых, будем считать, что, хотя изменение внешних условий, не затрагивающее основополагающую природу человека, и может в конечном счете отразиться на его способах чувствования и действия - особенно

если сами изменения осуществляются рациональным образом, - тем не менее эти способы в течение какого-то времени сопротивляются переменам, порождая дополнительные проблемы. Причиной служит существование "привычек". В-третьих, будем исходить из того, что сама основополагающая природа человека может подвергнуться изменениям. Это может касаться либо всего населения, либо только восприимчивой его части. Человеческая природа, бесспорно, поддастся переделке в какой-то мере, особенно если речь идет о группах, состав которых изменяется. Однако сам вопрос о том, как далеко простирается эта податливость к переменам, нуждается в серьезном изучении. Здесь неуместно, опираясь на какие-то общие принципы, безоговорочно поддерживать либо столь же решительно отвергать какую-то

точку зрения. Что касается нашей позиции, то она в данном случае не имеет значения, поскольку мы исходим из того, что социализму для его функционирования не потребуется коренной переделки человеческой природы.

В этом легко убедиться. Во-первых, можно исключить из рассмотрения аграрный сектор, где вероятны наибольшие сложности. Социализм, как мы его понимаем, был бы социализмом и в том случае, если бы планирование в сельском хозяйстве существенно не отличалось бы от того, которое развивается уже сейчас и включает в себя формирование плана производства, рационализацию землепользования, снабжение фермеров техникой, семенами, поголовьем скота для выращивания, удобрений и т.д. Осталось бы лишь установить цены на продукцию сельского хозяйства и наладить закупку ее у фермеров по этим ценам. А это не изменило бы существенно образом сам аграрный сектор и мотивационную систему, действующую там. Возможны и иные варианты политики. Но для нас в данном случае важно, что есть такой путь, встав на который можно с минимальными трениями идти сколь угодно долго, не посягая на право общества считать себя социалистическим. Во-вторых, имеется мир рабочих и служащих. И здесь не потребуется переделки душ и болезненной адаптации к новым условиям. Их работа останется в основном без изменений. Их труд, хотя и будет в дальнейшем связан с существенным ростом квалификации, не потребует изменений мотивационной системы и привычек. После трудового дня рабочий или служащий будет возвращаться домой и предаваться своим увлечениям, хотя эти занятия могут быть и переименованы в соответствии с социалистической модой. Так, к примеру, они могут играть в пролетарский футбол, тогда как сейчас играют в буржуазный. Но у них будет то же самое увлечение и тот

же по типу дом. По этой части никаких особых сложностей не возникнет. В-третьих, существует проблема, касающаяся тех групп, которые по понятным причинам станут жертвами социалистического переустройства общества. Грубо говоря

- это высший или правящий слой. Не следует решать эту проблему исходя из укоренившейся доктрины, нашедшей множество приверженцев не только среди социалистов. Согласно ей высший слой - это пресыщенные хищники, получившие свой экономический и социальный статус лишь благодаря счастливой случайности и собственной безжалостности, чья "функция" сводится к насильственному изъятию у трудящихся масс (они же потребители) плодов их труда. К тому же эти хищники сами

себе наносят вред своей некомпетентностью и - если обратиться к новейшему времени - вызывают экономические кризисы своей привычкой сберегать слишком много из награбленного. Из всего этого следует, что социалистическому обществу не надо будет особо беспокоиться об этих людях: нужно только сразу же лишить их занимаемого положения и не допускать с их стороны актов саботажа. Каковы бы ни были политические или психотехнические (для тех, кто находится за пределами нормы) достоинства этой доктрины, ее нельзя считать принадлежностью разумного социализма. Ибо любой просвещенный социалист в здравом уме, рассчитывающий на серьезное к себе отношение со стороны серьезных людей, не сможет отрицать множества фактов, говорящих о достоинствах и достижениях этого буржуазного слоя,

несовместимых с подобной доктриной, и будет доказывать, что высшие слои общества вообще не должны быть принесены в жертву: напротив, их следует освободить от оков капиталистической системы, угнетающей их морально не меньше, чем она экономически угнетает трудящиеся массы. От этой позиции, вполне согласующейся с учением Карла Маркса, недалеко до умозаключения о том, что от поддержки со стороны буржуазных элементов зависит успех или поражение социалистического строя.

Проблема высших слоев в таком случае будет выглядеть следующим образом: этот класс, образовавшийся в результате процесса отбора и объединивший человеческий материал более высокого качества [См. гл. VI. Точнее говоря, типичный представитель класса буржуазии по своим интеллектуальным и волевым качествам превосходит типичных представителей любого другого класса индустриального общества. К такому выводу вряд ли можно прийти статистическим путем, и статистически этот вывод никогда не подтверждался, однако он вытекает из анализа

процесса социального отбора в капиталистическом обществе. Сам смысл понятия "превосходство" определяется природой этого процесса. Проведя исторический анализ различных общественных систем, можно показать, что вывод о превосходстве справедлив в отношении всех правящих классов, информацией о которых мы располагаем. Иначе говоря, для всех условий верны следующие утверждения: (1) взлеты и падения отдельных индивидов происходят в пределах того класса, к которому они принадлежат по рождению. Это подтверждает гипотезу, согласно которой подобные перемещения обусловлены индивидуальными способностями конкретного человека; (2) теми же причинами объясняются взлеты и падения, приводящие к перемещению индивида в другой общественный класс. Переход в высшие или низшие классы обычно происходит на протяжении жизни нескольких поколений, поэтому в таких случаях речь должна идти, скорее, о семьях, нежели об отдельных лицах. Именно этим объясняется то обстоятельство, что исследователям, фиксирующим свое внимание на отдельных личностях, зачастую не удается обнаружить

какую-либо связь между способностями и социальным положением: иногда эти факторы даже противопоставляются друг другу. По ведь люди начинают свой жизненный путь в

столь различных условиях, что указанная связь, если не считать примеров действительно выдающихся личных достижений, не так уж заметна. К тому же она проявляется лишь как общая закономерность, оставляющая место для бесчисленных исключений. Необходимо, следовательно, учитывать, что каждый человек - это только одно звено в цепи, состоящей из множества подобных звеньев. Эти соображения вовсе не служат доказательством моей точки зрения, а лишь указывают на возможные пути ее обоснования. Рамки данной книги не позволяют мне остановиться на этом вопросе подробнее, поэтому отсылаю читателя к моей работе "Theorie der sozialen Klassen im ethnisch homogenen Milieu", (Archiv für Sozialwissenschaft, 1927.), представляет собой национальное достояние, подлежащее разумному использованию при любом общественном строе. Уже одно это соображение указывает на то, что недостаточно лишь воздержаться от истребления этих людей. Более того, этот класс выполняет жизненно важные функции, без которых не обойтись и в социалистическом обществе. Как мы убедились, именно этому классу мы обязаны практически всеми культурными достижениями эпохи капитализма и той частью экономических успехов, которая связана не с увеличением

численности работающего населения, а с тем, что обычно именуется повышением производительности труда (количеством продукции, создаваемой в единицу рабочего времени) [Как было показано в первой части, это признавал и сам Маркс в "Коммунистическом манифесте"]. А эти достижения имеют в своей основе уникальную

по эффективности систему вознаграждений и наказаний, которую социализм намеревается уничтожить. В этой связи возникают два вопроса. Во-первых, можно ли

поставить высшие буржуазные слои на службу социалистическому обществу. И во-вторых, могут ли те функции, которые они выполняют и которые социализм должен

у них забрать, выполняться какими-то специальными органами или осуществляться

посредством других, небуржуазных методов либо то и другое вместе.

### 3. Проблема бюрократического управления

Рациональное использование класса буржуазии - это, бесспорно, одна из наиболее сложных задач, которые предстоит решать социалистическому режиму. Нет никакой уверенности, что это удастся. Дело не столько в трудностях объективного порядка,

сколько в том, что социалистам нелегко осознать важность самой проблемы и выработать разумный подход к ней. Их учение о природе и функциях капиталистического класса, о котором шла речь выше, свидетельствует о стойком нежелании это делать. Оно может также играть роль своего рода психотехнической подготовки к отказу от решения этой проблемы. В этом нет ничего удивительного. Кем бы ни был отдельный социалист - свободным художником, партийным функционером или государственным служащим, - он пусть наивно, но вполне естественно воспринимает пришествие социализма как свой собственный приход к власти. Социализация означает для него, что "наша взяла". Замена существующего аппарата управления - важная, может быть, даже важнейшая часть этого процесса. Общаясь с воинствующими социалистами, я, признаться, нередко терзался сомнениями: так ли уж стремились бы некоторые из них, если не большинство, к установлению социалистического строя, будь он даже во всех прочих отношениях хорош, коли бы знали, что у руля окажутся другие люди. Сразу же оговорюсь, что позиция других социалистов была безупречной [По этому поводу см. комментарии к материалам обсуждений Немецкого комитета по социализации (гл. XXIII)]. По существу успешное решение проблемы использования буржуазии предполагает, помимо всего прочего, что ей будет позволено выполнять ту работу, к которой она в силу склонностей и традиций наиболее подготовлена. Следовательно, проводя отбор людей на управленческие посты, нужно исходить лишь из принципа соответствия работника данной должности, не дискриминируя при этом выходцев из буржуазной среды. Такой подход вполне реален, и в ряде случаев он даже может выгодно отличаться от капиталистического метода отбора людей, который действует в эпоху крупных корпораций. Вместе с тем возможность работать предполагает нечто большее, чем просто назначение на соответствующую должность. Вступив на тот или иной пост, руководитель должен получить право действовать по своему усмотрению и под собственную ответственность. Тут-то и возникает вопрос о "бюрократизации экономической жизни" - излюбленной теме антисоциалистических проповедей.

В современных условиях трудно представить себе какую-либо форму организации социалистического общества, не связанную с созданием громоздкого и всеобъемлющего бюрократического аппарата. Любая иная мыслимая модель несет в себе угрозу неэффективности и распада. Впрочем, это соображение не должно напугать тех, кто осознает, насколько далеко уже успела продвинуться бюрократизация экономической жизни - и даже жизни в целом, и кто способен видеть

суть проблемы за теми словесными хитросплетениями, которые вокруг нее нагромождаются. Как и в случае с "монополией", эти слова приобрели в нашем сознании непомерный вес в силу исторических причин. В период становления капитализма буржуазия укрепляла свои позиции прежде всего в борьбе с местной властью, которую представляла монархическая бюрократия. В большинстве своем действия, которые торговец или фабрикант считали докучливым или неразумным вмешательством в свои дела, в коллективном сознании капиталистического класса ассоциировались с государственной бюрократической машиной. Такого рода связь оказалась исключительно устойчивой. Не случайно, даже если сами социалисты боятся этого пугала и без устали заверяют нас, что ничто им так не чуждо, как идея бюрократического строя [В России для подобных заявлений существуют дополнительные причины. Советские лидеры, и прежде всего Троцкий, ловко сумели превратить этот жупел в козла отпущения. Справедливо рассчитывая на доверчивость

публики, - как у себя в стране, так и за рубежом - они попросту списали на "бюрократию" все, что, по их мнению, было в России далеким от совершенства.]. Как мы увидим в следующем разделе, бюрократия - это вовсе не препятствие для демократии, а ее необходимое дополнение. Она неизбежно сопровождает современное экономическое развитие и станет еще более существенным его компонентом в социалистическом государстве. Однако понимание неизбежности всесторонней бюрократизации еще не означает решения связанных с этим процессом проблем. Воспользуемся представившейся возможностью очертить их.

Чаще всего основное значение придается устранению таких поведенческих стимулов, как стремление к прибыли и страх перед потерями. Но это отнюдь не самое существенное. Более того, и ответственность, понимаемая как необходимость расплачиваться за свои ошибки собственными деньгами, так или иначе уходит в прошлое (хотя и не столь быстро, как кому-то хотелось бы), а тот тип ответственности, который существует в крупных корпорациях, как будет показано позже, вполне возможно воспроизвести в социалистическом обществе. Кроме того, способ отбора на руководящие должности, характерный вообще для бюрократии или государственного аппарата, не обязательно столь неэффективен, как это зачастую пытаются изобразить. Правила назначения и продвижения по службе государственных чиновников не лишены определенной рациональности. А на практике они нередко оказываются даже более эффективными, чем на бумаге. К примеру, если в достаточной мере учитывать коллективное мнение сотрудников данного учреждения о том или ином работнике, это может существенно помочь продвижению способных людей, - по крайней мере людей с определенным типом способностей [См. гл. XXIV.]

Гораздо важнее другое. Бюрократический способ ведения бизнеса и создаваемая им нравственная атмосфера нередко оказывают угнетающее действие на наиболее активных людей. Это в основном связано с неизбежной проблемой всякого бюрократического механизма: как совместить индивидуальную инициативу с его отлаженным функционированием. Сплошь и рядом бюрократия оставляет крайне мало места для инициативы и дает широкий простор злонамеренным попыткам задушить ее. Отсюда может возникнуть чувство разочарования и тщетности усилий. А это в свою очередь порождает людей особого умственного склада, упивающихся разностной критикой всякой инициативы, проявляемой другими. Однако все это не неизбежно. Многие бюрократические организации, как выясняется при более тесном знакомстве с

ними, сумели достичь в решении этой проблемы определенных успехов. Но простых рецептов тут не существует.

Вместе с тем не так уж трудно найти внутри бюрократического механизма подходящее

место для выходцев из буржуазной среды и изменить их трудовые навыки. Как мы далее убедимся, к тому времени, когда социализация будет осуществлена (при условии, что это будет делаться без поспешности), скорее всего, появятся условия для морального приятия социалистического строя и лояльности к нему. Не потребуются никаких комиссаров для переубеждения и нажима. При разумном отношении к экс-буржуазным элементам, предусматривающем создание условий для максимально эффективного их использования, не потребуются ничего сверх того, что

обычно делается применительно к управленческому персоналу, каким бы ни было его социальное происхождение. Что именно понимается под "разумным отношением" убедительно и без всякой демагогии объяснили некоторые теоретики-социалисты, и нам остается лишь вкратце повторить их основные тезисы.

Следует с самого начала уяснить, что всецело полагаться на чисто альтруистическое чувство долга столь же нереалистично, как и полностью отрицать его значение и возможности. Высоко ставя чувство долга и родственные ему чувства

удовлетворения от работы и руководящей деятельности, не стоит умалять роль определенной системы вознаграждений, хотя бы в форме общественного признания и престижа. С одной стороны, как учит нас жизненный опыт, трудно найти мужчину или

женщину, даже самого возвышенного склада, которые обладали бы чистым альтруизмом

и чувством долга, совершенно не связанными с той или иной разновидностью эгоизма

или, если угодно, тщеславия, стремления к самоутверждению. С другой стороны, ясно, что корни этого всем знакомого явления лежат не в капиталистической системе, а гораздо глубже, в самой логике существования внутри любой социальной группы. От него нельзя отмахнуться с помощью фраз о капиталистической чуме, заражающей души и коверкающей "природные" склонности человека. Однако совсем нетрудно совладать с этим типом эгоцентризма, если использовать его в интересах общества, а социализм создает для этого особенно благоприятные возможности. В капиталистическом обществе признание достижений и социальный престиж имеют ярко выраженную экономическую подоплеку Во-первых, потому, что именно по

денежному доходу принято судить о жизненном успехе, а кроме того, большинство атрибутов социального престижа, и в частности самое неосоздаемое экономическое благо - общественное положение (social distance), - также приобретаются с помощью денег. Экономисты, разумеется, всегда осознавали связь престижа или общественного положения о личным богатством. Об этом писал еще Джон Стюарт Милль, которому в данном случае не потребовались особая проницательность или необыкновенный дар предвидения. Не приходится сомневаться, что среди движущих сил, заставляющих добиваться неординарных результатов, фактор престижа - один из

основных.

Во второй части книги мы говорили о том, что по мере развития капитализма все более заметной становится тенденция к ослаблению мотива обогащения, как и других, связанных с капитализмом поведенческих мотивов. Следовательно, в наши дни социализм не потребует от высшего слоя общества столь серьезной переоценки жизненных ценностей, которая была бы необходима лет сто назад. Более того, сам мотив престижа легче, чем другие, может подвергнуться трансформации: так, хорошие работники, получающие сегодня удовлетворение от высоких заработков, завтра могут почти так же радоваться предоставленному им нраву украсить свою одежду копеечным ярлычком (конечно, если такие знаки отличия будут выдаваться с должной экономностью), как если бы они приобрели миллион за год. И это можно понять. Ибо если предположить, что подобная привилегия производит достаточно сильное впечатление на окружающих и те начинают иначе себя вести по отношению к ее обладателю, это обеспечит ему те же преимущества, ради которых он сейчас стремится заработать миллион. Впрочем, такая система вознаграждения вовсе не нова, она широко применялась в прошлом и давала прекрасные результаты. Почему бы и нет? Ведь и Троцкий в свое время не отказался от ордена Красного Знамени. Что касается более высоких реальных доходов для определенных категорий работников, то в определенных пределах это вопрос рационального использования имеющегося фонда социальных ресурсов, никак не связанный с принципом стимулирования. Подобно тому как победившие на скачках лошади и быки-рекордсмены

пользуются вниманием, которым неразумно и невозможно обеспечить всех лошадей и всех быков, так и человек, лучше других работающий, заслуживает особого отношения к себе, если во главу угла поставить требования экономической рациональности. Конечно, это не обязательно. В обществе могут возобладать идеалы, которые несовместимы с принципами рациональности и обращением с людьми, как с машинами. В таком случае экономисту остается лишь напомнить обществу, что оно должно в полной мере сознавать издержки, сопряженные с такого рода идеалами. Этот пункт имеет особое значение. Зачастую доходы, оказывающиеся настолько высокими, что вызывают враждебное отношение со стороны Других, обеспечивают их обладателям лишь самые элементарные жизненные удобства, возможность более или менее спокойно жить и продолжать работать так же, как раньше.

С учетом этого обстоятельства можно, хотя бы отчасти, решить проблему чисто экономических стимулов. И все же я полагаю, что социалистическое общество, сообразуясь опять-таки с требованиями рациональности, сможет получить значительный выигрыш за счет того, что не будет относиться к людям так, как если

бы это были скаковые лошади или машины. Еще один довод в пользу такого взгляда вытекает, во-первых, из наблюдения за поведением людей, а во-вторых, из анализа капиталистической экономики и культуры, из которого следует, что существующие у людей побудительные мотивы, которые общество может, прибегая к дополнительной оплате, использовать в своих интересах, не являются продуктом капиталистических условий. Эти побуждения служат движущей силой любой социально значимой деятельности. При отсутствии этих мотивов результаты были бы не столь велики, как могли бы быть, хотя нельзя точно установить, насколько именно они снизятся. Однако надо учесть, что с приходом социализма значение этого фактора будет убывать по мере вхождения экономического процесса в стационарный режим. Правомерность такого рода стимулирования вовсе не означает, что номинальные доходы должны быть так же высоки, как ныне, в условиях капитализма, когда они включают в себя налоги, сбережения и т.п. Однако исключение этих статей сразу резко снизит цифры доходов, кажущиеся сегодня столь оскорбительными для нашего мелкобуржуазного менталитета. Более того, как мы отмечали ранее, люди с высокими

доходами постепенно проникаются идеями умеренности и на деле утрачивают многие побудительные стимулы - кроме соображений престижа - для достижения таких доходов, которые в прошлом считалось необходимым иметь феодалу. В дальнейшем к тому времени, когда можно ожидать прихода социализма, идеи умеренности получат еще большее развитие.

Разумеется, фарисеи от экономики возденут свои руки в священном ужасе. Ради них позволю себе заметить, что существуют способы, которые помогут развеять их сомнения. Это меры, изобретенные в капиталистическом обществе, но значительно усовершенствованные в России. В основном они сходятся к сочетанию платежей натурой с щедрым денежным покрытием тех расходов, которые, как предполагается, обеспечивают должное исполнение соответствующих обязанностей. В большинстве стран высшие государственные чиновники, бесспорно, получают весьма скромное жалование, нередко даже чересчур скромное, и денежные оклады политических деятелей высокого ранга в государственных органах также совсем невелики. Но во многих случаях это компенсируется - иногда частично, иногда даже с лихвой - не только определенными почестями, но также официальными резиденциями, чей персонал

оплачивается за государственный счет, возможностями для проявления "служебного" гостеприимства, использованием адмиральских и прочих яхт, специальной оплатой услуг, связанных с участием в деятельности международных комиссий, генерального штаба армии и т.н.

#### 4. Сбережение и дисциплина

Так, какие же именно функции, ныне исполняемые буржуазией, социалистический строй должен будет отнять у нее? Поговорим о двух - сбережении и дисциплине. Что касается первой из этих функций - сбережения, почти целиком сосредоточенной в руках буржуазии, прежде всего ее высших слоев, я не собираюсь утверждать, будто она является необязательной или антиобщественной, и тем паче призывать читателя уповать на склонность отдельных членов социалистического общества к экономии. Их вклад не стоит недооценивать, однако этого будет явно недостаточно до тех пор, пока социалистическая экономика не вступит в квазистационарное состояние. То, что в условиях капитализма достигается посредством частных сбережений, в социалистическом обществе центральная власть способна осуществить гораздо более эффективно, непосредственно направляя часть национальных ресурсов на создание новых заводов и оборудования. По крайней мере, в этом отношении опыт

России вполне убедителен. Никакое капиталистическое общество не в состоянии было бы навязать подобные тяготы населению и добиться от него такого "воздержания" от потребления. Обществу, находящемуся на более высокой ступени развития и стремящемуся сохранить такие же, как при капитализме, темпы экономического роста, не потребовалось бы прибегать к подобным мерам. Если квазистационарное состояние достигнуто еще предшествующим, капиталистическим, обществом, то и добровольного сбережения при социализме может оказаться достаточно. Короче говоря, хотя эта проблема всегда поддается решению, очевидно, что разные решения предполагают и различные модели социализма. Социалистическую идиллию можно реализовать, но для этого пришлось бы признать, что об экономическом росте не следует беспокоиться, а с экономическими критериями

не обязательно считаться: или, другими словами, что экономический рост раньше был важен, но развитие уже достигло такого уровня, когда дальнейший рост не играет столь существенной роли.

А теперь по поводу дисциплины. Имеется очевидная связь между эффективностью экономического механизма и той властью над наемными работниками, которой коммерческое общество с помощью институтов частной собственности и "свободного" договора наделяет буржуазного работодателя. Это не просто привилегия, позволяющая имущим эксплуатировать неимущих. За непосредственным личным интересом каждого стоит социальная заинтересованность в нормальном функционировании производства. Можно спорить относительно того, насколько в той или иной конкретной ситуации частные интересы обслуживают интересы общества и какова степень тех неоправданных лишений, которые испытывают неимущие вследствие того, что социальные интересы вверяются эгоизму работодателей. Но в историческом плане не может быть двух мнений ни по поводу самого осуществления общественных интересов, ни касательно эффективности метода их осуществления, который, кстати, в эпоху "свободного" капитализма был единственно возможным. Итак, нам предстоит ответить на два вопроса. Будет ли общество в условиях

социализма заинтересовано в том, чтобы производственный механизм функционировал четко? Если да, то способно ли социалистическое планирование обеспечить осуществление всех необходимых властных функций, какими бы они ни были? Пожалуй, вместо термина "власть" лучше использовать дополняющий его термин "авторитарная дисциплина", под которым мы понимаем воспитанную у людей привычку выполнять приказания других, работать под надзором, нормально воспринимать критику. Такого рода дисциплину надо отличать от самодисциплины, хотя она, по крайней мере отчасти, связана с предшествующим и даже унаследованным опытом подчинения дисциплинирующему воздействию власти. Авторитарную дисциплину нельзя отождествлять и с групповой дисциплиной, являющейся результатом давления коллективного мнения на каждого индивида и тоже в определенной мере обусловленной выработанными в прошлом навыками подчинения.

В распоряжении социалистического общества имеются два фактора, использование которых может позволить укрепить самодисциплину и групповую дисциплину. Правда, здесь, как и во многих других случаях, не обходится без глупейшей идеализации - рисуются нелепые картины, когда рабочие в перерывах между приятными развлечениями ведут интеллектуальные дискуссии, позволяющие выработать верные решения, реализуемые затем в процессе жизнерадостного соревнования. Однако существование такого рода фантазий не означает, что с социализмом не могут быть связаны и ожидания вполне реалистического свойства.

Во-первых, предполагается, что социалистический строй будет располагать моральной поддержкой большинства населения, тогда как капитализм ее постепенно утрачивает. Само собой разумеется, что в этих условиях рабочий будет лучше выполнять свои обязанности, нежели при общественной системе, не вызывающей у него одобрения. Надо добавить, что само это неодобрение, как правило, следствие подверженности внешнему влиянию. Рабочий осуждает систему, поскольку ему внушают

эту идею. Его лояльность и чувство гордости от хорошо выполненного дела систематически разрушаются посредством словесной обработки его сознания. Все его мировоззрение искажается комплексом классово-борьбы. Но то, что я прежде назвал устойчивой заинтересованностью в социальной напряженности - такой интерес

в основном исчезнет или, как мы вскоре увидим, он будет устранен, как и некоторые другие устойчивые интересы. Конечно, наряду с ними будем странен и тот

позитивный эффект, который связан с дисциплинирующим чувством ответственности за свое собственное экономическое положение.

Во-вторых, одно из основных достижений социалистического строя состоит в том, что он позволяет экономическим явлениям продемонстрировать свою социальную природу с абсолютной наглядностью, тогда как при капитализме она скрыта под маской заинтересованности в получении прибыли. Можно как угодно относиться к преступным действиям и безрассудствам, которые, как считают социалисты, совершаются под этим прикрытием, но нельзя недооценивать значения самого прикрытия. Например, в социалистическом обществе вряд ли кто-нибудь усомнится, что польза, извлекаемая страной из международной торговли, заключается в импорте, а экспорт - не более чем жертва, на которую приходится идти ради обеспечения возможности импорта. В коммерческом обществе подобная здравая точка зрения зачастую полностью скрыта от рядового гражданина, и в результате он бездумно поддерживает политику, идущую ему во вред. Сколь бы неумелой ни была социалистическая администрация, она заведомо не станет открыто поощрять кого-либо премией за то, что он не будет производить ту или иную продукцию. Никого не обманут и сказки о сбережениях. Таким образом, экономическая политика станет более дальновидной и рациональной. Некоторые из самых существенных источников потерь можно будет устранить просто потому, что экономический смысл предпринимаемых мер и происходящих процессов окажется общепонятным. Кроме всего прочего, каждый член общества осознает истинные последствия отлынивания от работы и особенно забастовок. Придя к выводу, что "теперь" забастовки являются антиобщественными попытками подорвать общественное благосостояние, он, разумеется, не обязательно задним числом станет осуждать забастовки эпохи капитализма. Решившийся на забастовку при социализме сделает это с нелегким сердцем и столкнется с общественным осуждением. В частности, в новых условиях не будет места действующим из лучших побуждений буржуа обоих полов, упоенно восхваляющим бастующих рабочих и их лидеров.

5. Авторитарная дисциплина при социализме: урок, преподанный Россией

По мере того, как роль двух рассмотренных выше факторов будет возрастать, более надежной станет самодисциплина и групповая дисциплина в социалистическом обществе, а следовательно, потребность в авторитарной дисциплине по сравнению с эпохой позднего капитализма уменьшится. Однако анализ этих факторов позволяет сделать и более широкие выводы, в том числе и такой: если возникнет необходимость ужесточить авторитарную дисциплину, достичь этого будет легче в социалистическом обществе [Если это утверждение окажется справедливым хотя бы для некоторых моделей социализма, то его значимость трудно переоценить.

Дисциплина дает возможность повысить производительность труда, а при необходимости и увеличить продолжительность рабочего времени. Независимо от этого, дисциплина является важнейшим фактором экономии затрат. Она выполняет роль смазки в экономическом механизме, позволяя значительно снизить потери и общие расходы на единицу полезного эффекта. В частности, дисциплина способна резко повысить эффективность планирования и текущего управления и вывести их на уровень, недостижимый при нынешних условиях.]. Прежде чем приступить к обоснованию данного утверждения, я должен объяснить, почему социалистическое общество не сможет обойтись без авторитарной дисциплины вообще.

Первое. Самодисциплина и групповая дисциплина - это в значительной мере результат предшествующего, а возможно, и полученного по наследству опыта, выработанного под воздействием авторитарной дисциплины. Если такое воздействие прекратится на достаточно длительный период времени, то и эти формы дисциплины будут постепенно утрачены независимо от того, существуют ли в социалистическом обществе также и другие мотивы поддержания дисциплины, связанные с соображениями

рациональности либо с моральной поддержкой системы со стороны отдельных лиц и групп. Такие мотивы, если они получают широкое распространение, становятся важным средством побуждения людей к дисциплине и к подчинению существующей системе санкций, а не своим собственным установкам. Все это имеет немаловажное значение, особенно если учесть, что речь идет о дисциплине повседневного, утомительного и однообразного труда, а не о восхваляемых проявлениях энтузиазма.

К тому же нельзя забывать, что при социализме будет устранено, по крайней мере частично, то давление, связанное с мотивом выживания, которое в условиях капиталистического общества служит главным побудителем самодисциплины.

Второе. Наряду с необходимостью постоянно приучать к дисциплине обычных людей существует еще и проблема плохих работников. Мы имеем в виду не отдельные патологические случаи, а значительный слой, охватывающий не менее 25 % трудоспособного населения. Поскольку низкая производительность труда в определенной мере обуславливается морально-волевыми изъянами, совершенно нереалистично ожидать, что с устранением капитализма исчезнут и неэффективные работники. Это большая проблема для человечества, которая и в будущем не утратит своей остроты. Вряд ли ее можно решить, всецело уповая на групповую дисциплину и не применяя других средств. Сам механизм авторитарной дисциплины можно использовать таким образом, чтобы он, хотя бы частично, воздействовал на плохих работников через те группы, к которым они принадлежат.

Третье. Хотя устойчивая заинтересованность в социальной напряженности в значительной мере, видимо, исчезнет, есть основания полагать, что полностью она устранена не будет. Для кого-то по-прежнему важнейшим делом или кратчайшим путем

к карьере будет провоцирование недовольства и создание всяческих помех в функционировании системы. В этом в неменьшей степени, чем при капитализме, станет проявляться недовольство как идеалистов, так и карьеристов своим положением и их недовольство общим ходом дел. Более того, в социалистическом обществе не будет недостатка в конфликтах. Ведь устраненным окажется только один

из многих источников противоречий. Явно сохранятся, хотя бы частично, конфликты территориальных и отраслевых интересов. Неизбежно будут и столкновения мнений по

различным вопросам - например, насчет того, в какой мере следует поступаться сегодняшними интересами людей ради благосостояния будущих поколений.

Администрация, склоняющаяся в пользу будущего, может натолкнуться на позицию, в чем-то схожую с той, которую ныне занимают рабочие и широкие слои общества в целом в отношении большого бизнеса и его политики накопления. Наконец, еще одно немаловажное соображение. Вспомнив все сказанное по поводу культурной

недетерминированности социализма, мы должны будем прийти к выводу, что многие из крупных проблем, которые ныне стоят перед каждой страной, в полной мере сохраняют свою актуальность и при социализме. Очень мало оснований надеяться, что борьба вокруг них прекратится.

Когда мы размышляем о том, способна ли будет социалистическая администрация решить три группы проблем, изложенных выше, надо иметь в виду, что мы сравниваем

социализм с нынешним капитализмом либо даже с тем, который в будущем, как можно предполагать, продемонстрирует еще более высокую стадию дезинтеграции. Говоря ранее [См. гл. XI.] о значении безусловной субординации в рамках фирмы, - многие экономисты со времен Иеремии Бентама ее явно недооценивали - мы пришли к заключению, что по мере эволюции капитализма усиливается тенденция к ослаблению его социально-психологической базы. Готовность рабочего подчиняться приказам никогда не была обусловлена разумной убежденностью в преимуществах капиталистического общества или рациональным ожиданием какой-либо выгоды для себя лично, а объяснялась дисциплиной, воспитанной еще феодальным предшественником его нынешнего хозяина-капиталиста. На капиталиста пролетарии - хотя и далеко не полностью - перенесли то уважение, которое в обычных условиях полагалось испытывать их предкам в отношении своих феодальных господ. Задача буржуазии была облегчена еще и тем, что наследники феодалов сохраняли политическую власть на протяжении значительной части капиталистической эпохи. Буржуазия, ведя борьбу с тем слоем, который был над ними, и провозгласив равенство в политической сфере, объясняя рабочим, что у них такие же гражданские

права, как и у остальных членов общества, поплатилась этим своим преимуществом. Но какое-то время сохраняющейся у нес власти еще было достаточно, и постепенные,

но неуклонные изменения, ведущие к разложению дисциплины на отдельном предприятии, были незаметны. Теперь положение существенно иное. Способы поддержания дисциплины по большей части утрачены, вдобавок нет силы, способной их применять. Потеряна моральная поддержка общества, которой в былые времена пользовался наниматель, борющийся с нарушениями дисциплины. Наконец, - в основном из-за утраты этой поддержки - изменили свое отношение и государственные

органы: от отстаивания интересов хозяина они постепенно перешли к нейтралитету, а далее, пройдя через разные степени нейтральности, они стали защищать права рабочего как равноправного участника договора, затем поддерживать профсоюзы в конфликтах как с нанимателями, так и с отдельными работниками [О том, что этот процесс идет, хотя и не прямолинейно, может свидетельствовать терпимость со стороны государства, доходящая до одобрения таких действий, как пикетирование. В

Соединенных Штатах законодательство и в еще большей степени административная практика представляют особый интерес, ибо все рассматриваемые нами тенденции проявились там с исключительной силой: они долгое время сдерживались, и потому развернулись в очень сжатые сроки. Для США характерно было полное отсутствие понимания того, что государство в регулировании трудовых отношений может исходить не только из сиюминутных потребностей рабочих, но также принимать в расчет и другие общественные интересы. Столь же характерно для этой страны вполне определенное, хоть и неохотное, признание методов классовой борьбы. Во многом это связано со специфической расстановкой политических сил и отсутствием в этих условиях другой возможности загнать рабочих в эффективную организацию. Тем не менее пример США вполне пригоден как иллюстрация к нашему анализу.]. Картину довершает позиция наемного управляющего. Он знает, что, провозгласив себя борцом за общественные интересы, он рискует вызвать даже не возмущение, а всего лишь улыбку. Естественно, он предпочтет, чтобы его похвалили за прогрессивность, или уйдет в отпуск, нежели станет объектом поношений и подвергнется опасности, беря на себя заботы, которые никто не вменяет ему в обязанность.

При обсуждении этих проблем не стоит пытаться слишком далеко экстраполировать проявляющиеся тенденции, мысленно представляя себе ситуации, когда социализм может оказаться единственным средством восстановления общественной дисциплины. Тем не менее очевидно, что в любом случае социалистический способ управления имеет в этом отношении преимущества, способные существенно повлиять на

экономическую эффективность.

Во-первых, менеджеры при социализме будут иметь в своем распоряжении гораздо больше средств поддержания авторитарной дисциплины, чем когда-либо имели капиталистические управляющие. Единственный реальный инструмент, которым они ныне располагают, - это угроза увольнения (что соответствует идее Бентама о контракте, который на основе рациональных соображений заключают или расторгают равноправные партнеры). Но применение и этого инструмента поставлено в такие рамки, которые сводят к минимуму попытки воспользоваться им. В условиях же социализма угроза увольнения, используемая менеджерами, может означать угрозу лишения средств существования без гарантирования какой-либо другой работы. Более

того, в капиталистическом обществе угроза увольнения, как правило, либо реализуется, либо нет, ибо общественное мнение в принципе против того, чтобы одна из договаривающихся сторон могла использовать такого рода дисциплинарные санкции в отношении другой. Что же касается социалистических менеджеров - они имеют возможность применять эту угрозу в той степени, которая представляется им целесообразной, а также прибегать к другим санкциям. Часть из них - менее суровые - капиталистическим менеджерам вообще недоступны, поскольку эти меры не имеют морального авторитета. В новой общественной атмосфере простое предупреждение способно оказать такое воздействие, которое вряд ли было бы возможно в условиях капитализма.

Во-вторых, социалистическим менеджерам будет гораздо легче использовать находящиеся в их распоряжении инструменты поддержания авторитарной дисциплины. Государства, которое вмешивалось бы в эту сферу, не будем. Интеллектуалы как общественная группа перестанут занимать враждебные позиции: что же касается отдельных негативно настроенных личностей, то общество в целом, глубоко приверженное своим собственным ценностям, сумеет их обуздать. Наибольшую твердость это общество будет проявлять в воспитании молодежи. Наконец, как уже говорилось, общественное мнение не потерпит того, что представляется ему полукриминальной деятельностью. Забастовка будет равнозначна бунту.

В-третьих, правящая группа при социализме будет несравненно больше заинтересована в том, чтобы оставаться у власти, чем правительство в условиях буржуазной демократии. При капитализме отношение правительств к бизнесу сходно тому, которое в политической жизни ассоциируется с оппозицией: они критикуют, используют средства сдерживания и в принципе не несут никакой ответственности. При социализме так быть не может. Министерство производства будет отвечать за функционирование экономики. Конечно, это будет ответственность в сугубо политическом смысле, и тут многие грехи можно скрыть с помощью ораторских ухищрений. Тем не менее государство, без сомнения, перестанет играть оппозиционную роль и, напротив, будет постоянно заинтересовано в успешной работе

экономического механизма. Экономические потребности уже не будут высмеиваться. Попытки парализовать хозяйственную деятельность, настроить людей против работы расценивались бы как посягательство на правительство. И оно, скорее всего, реагировало бы на это соответствующим образом.

Здесь, как и в том случае, когда речь шла о сбережениях, возможные возражения против того, чтобы на основе опыта России делались широкие обобщения, не могут породить сомнений в ценности преподанных Россией уроков. Ведь в более зрелом или близком к нормальному состоянию социалистическом обществе трудностей с дисциплиной будет меньше. Поэтому именно опыт этой страны позволяет наиболее убедительно проиллюстрировать основные пункты нашей аргументации.

Большевистская революция 1917 г. завершила дезорганизацию небольшого, но концентрированно проживающего промышленного пролетариата России. Массы полностью

вышли из-под контроля. Их представления о новом порядке выразились в бесчисленных забастовках - своего рода самовольных отпусках - и захватах фабрик [При подобных исторических обстоятельствах распад дисциплины происходил в большинстве случаев. В частности, именно это было непосредственной причиной поражения квазисоциалистических экспериментов в Париже во время революции 1848 г.]. Управление осуществляли советы рабочих или профсоюзы, и многие их лидеры принимали это как должное. Благодаря достигнутому в начале 1918 г. компромиссу минимум власти с трудом удалось сохранить за инженерами и Высшим советом народного хозяйства, но совершенно неудовлетворительные результаты этого компромисса явились одной из главных причин введения в 1921 г. новой

экономической политики. На непродолжительное время профсоюзы вновь обрели положение и функции, присущие им в условиях позднего капитализма. Однако первый пятилетний план (1928) все изменил. К 1932 г. промышленный пролетариат оказался под большим контролем, чем в период правления последнего царя. В чем- в чем, а в

этом большевики с тех пор явно преуспели. Способ, позволивший это сделать, весьма поучителен.

Профсоюзы не были запрещены. Наоборот, государство их поощряло: число их членов стремительно возрастало и к началу 1932 г. достигло почти 17 млн. человек. Но из

защитников групповых интересов, сдерживающих нажим управляющих, профсоюзы превратились в выразителей интересов общества, в средство укрепления дисциплины и повышения производительности. Их позиция настолько изменилась по сравнению с той, которую обычно занимают профсоюзы в капиталистических странах, что некоторые западные профсоюзные деятели вообще отказались считать эти советские организации профсоюзами. Они не протестовали против тягот, связанных с ускоренной индустриализацией; с готовностью соглашались на увеличение продолжительности рабочего дня без дополнительной оплаты; отказались от принципа

равной оплаты за равный труд и одобрили систему премиальных надбавок и других стимулов интенсификации труда, стахановское движение и т.п. Они признали - или их заставили признать - право управленческого персонала увольнять рабочих по собственному усмотрению. Они препятствовали практике "демократической митинговщины", когда рабочие обсуждали получаемые приказы и исполняли их только после одобрения. Наконец, профсоюзы вместе с "товарищескими судами" и "комиссиями по чистке" принимали достаточно жесткие меры в отношении прогульщиков и нерадивых работников. О праве на забастовку и контроле над производством уже не было и речи.

Идеологически обосновать все это было нетрудно. Можно потешаться над эксцентричной терминологией, объявляющей контрреволюционным и антимарксистским все, что не полностью согласуется с интересами государства, состоящими в максимальном использовании рабочей силы. Однако по существу в этой позиции не было ничего антисоциалистического: вполне логично, что вместе с прежней классовой борьбой должна уйти и практика профсоюзного обструкционизма, должен измениться и сам характер коллективных договоров. Критики допускают ошибку, недооценивая резкий рост самодисциплины и групповой дисциплины, который, как мы и ожидали, стал возможен при новой системе. Однако не меньшей ошибкой была бы недооценка роли, которую в этом процессе сыграла дисциплина авторитарного типа, обеспечившая мощную поддержку и столь же мощное дополнение других разновидностей

дисциплины.

Отдельные профессиональные схемы, как и их руководящий орган - Центральный совет, были взяты под контроль государства и коммунистической партии. То, что впоследствии получило название рабочей оппозиции в партии, было запрещено, а профсоюзные лидеры, продолжавшие доказывать наличие у рабочих собственных специфических интересов, смещены со своих постов. Таким образом, еще со времени реорганизации государственных структур в 1921 г., и тем более после 1929 г., профсоюзы фактически не имели возможностей ни на словах, ни на деле противостоять воле правящих сил. Они превратились в органы поддержания авторитарной дисциплины. Сам этот факт служит вполне убедительной иллюстрацией высказанного нами выше тезиса.

Отметим еще одно важное обстоятельство. Поскольку нездоровое отношение современного рабочего к своему труду зависит от тех или иных внешних влияний, далеко не безразлично, внушают ли рабочему чувство долга и рабочей гордости или, наоборот, постоянно дискредитируют эти понятия. Российское государство в отличие от капиталистического имеет возможность жестко направлять воспитание и обучение молодежи в соответствии со своими целями и конструктивными идеями. Это значительно облетает задачу создания атмосферы, способствующей укреплению производственной дисциплины. Интеллектуалы, разумеется, не имеют возможности вмешиваться, и общественное мнение не поддерживает нарушение производственной дисциплины.

Кроме того, государство может фактически произвольно (как бы это не оформлялось юридически) применять такие меры по поддержанию производственной дисциплины, как

увольнение, влекущее за собой нищету; принудительное переселение населения вплоть до депортаций: "визиты" ударных бригад, а иногда и красноармейцев. Всегда

есть повод использовать подобные методы, и, как хорошо известно, они действительно применялись со всей решительностью. В капиталистическом обществе о

таких санкциях ни один работодатель и помыслить не мог бы, владеет он даже кроме тонких психотехнических средств достаточным арсеналом репрессивных методов. Мрачный подтекст этих реалий - не главное в наших рассуждениях. В том, что я пытаюсь изложить, нет ничего зловещего. Все эти проявления жестокости в отношении отдельных лиц и целых групп объясняются в основном незрелостью новой системы, общей обстановкой в стране или человеческими особенностями руководящих кадров. В других обстоятельствах, на других ступенях развития и с другим руководством их могло бы и не быть. Конечно, если оказалось бы, что в применении

каких-либо санкций вообще нет необходимости, было бы лучше. Но основная мысль, которую я хочу донести до читателя, такова: по крайней мере одному социалистическому режиму действительно удалось поднять групповую дисциплину и обеспечить авторитарную. Главное - это, а не те специфические формы, в которых все происходило на практике.

Итак, на уровне проектов, каковы бы ни были их достоинства или недостатки, социалистическая альтернатива выдерживает сравнение с поздним капитализмом. При этом мы снова подчеркиваем, что речь, как и прежде, идет только о потенциальных возможностях социалистической системы, хотя они рассматриваются в несколько ином

ракурсе, нежели при обсуждении социалистического проекта. Для того чтобы эти возможности приобрели реальный характер, а тем более - чтобы они получили практическую реализацию, нужен целый ряд предпосылок. При иных предпосылках, а они столь же правомерны, как и принятые нами, выводы были бы иными. В самом деле, стоит только предположить, что верх взяли идеи "идиллического социализма",

и придется сделать вывод о вероятности полного краха такой нелепой системы. И это еще был бы не худший вариант. Поражение столь убедительное могло бы вызвать меры, направленные на исправление ситуации. Более опасно, а также и более вероятно поражение иного рода, не столь явное и полное, которое с помощью политической психотехники можно было бы представить как победу и заставить людей

поверить в это. Кроме того, при социализме отклонения от схемы функционирования экономики и принципов управления этой системой, конечно, столь же вероятны, как в коммерческом обществе, но они имеют более серьезный характер и хуже поддаются самокорректировке. И все же я надеюсь, что читатель, еще раз взглянув на ход наших рассуждений, убедится, что те возражения, которые могут возникнуть в связи

с рассматриваемым нами кругом проблем, не затрагивают существенным образом наши выводы. Точнее говоря, эти возражения направлены не против социализма как такового или той модели, которую мы использовали в своем анализе, а против определенных черт, которые присущи тому или иному типу социализма. На основе этих возражений нельзя сделать вывод о том, что борьба за социализм бессмысленна или преступна. Но можно однозначно утверждать, что борьба за социализм - это нечто неопределенное, если она не сочетается с ясным представлением о том, какой именно тип социализма будет жизнеспособным. Совместим ли такой социализм с тем, что мы обычно понимаем под демократией, - это другой вопрос.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" > Глава девятнадцатая. Переход к социализму

## 1. Две самостоятельные проблемы

Вряд ли кто-нибудь, особенно среди правоверных социалистов, будет отрицать, что переход от капиталистического строя к социалистическому всегда порождает проблемы sui generis [Своего рода (лат.)], независимо от того, в каких условиях

совершается этот переход. Но природа и степень возникающих при этом сложностей существенно разнятся в зависимости от того, на какой стадии капитализма происходит переход и какими методами поборники социализма могут и хотят его осуществить. Выделим две схемы, характеризующие две различные ситуации.

Предлагаемая типологизация удобна еще и потому, что в ней учтена очевидная взаимосвязь между "Когда" и "Как". Однако обе эти схемы относятся исключительно к высокоразвитому и "несвободному" капитализму, и потому я не буду останавливаться на рассмотрении возможностей или ограничений, свойственных его более ранним стадиям. Исходя из этого, назовем предлагаемые схемы перехода к социализму "назревшей социализацией" и "преждевременной социализацией".

Большую часть приведенных во второй части книги аргументов можно свести к марксистскому тезису о том, что экономический процесс, как и сама человеческая душа, имеет тенденцию социализироваться. Иначе говоря, постепенно складывается все больше технологических, организационных, коммерческих, административных и психологических предпосылок социализма. Стоит еще раз напомнить, что нас ждет в будущем, если эта тенденция и дальше будет развиваться. Бизнес, за исключением аграрного сектора, будет контролироваться небольшим слоем бюрократизированных корпораций. Экономический рост замедлится, он станет предсказуемым и планируемым. Процентные ставки будут поддерживаться на уровне, приближающемся к нулю, причем не только временно, под воздействием государственной политики, а постоянно, вследствие сокращения инвестиционных возможностей. Промышленная собственность и управление деперсонифицируются - право собственности постепенно сведется к владению акциями и облигациями, а управленческая верхушка по складу мышления все больше сблизится с государственными служащими. Капиталистическая мотивация и капиталистические стандарты неуклонно сойдут на нет. Вывод о неизбежности перехода к социалистическому строю в этих условиях напрашивается сам собой. Однако здесь необходимо отметить два момента.

Во-первых, разные люди - даже среди социалистов - расходятся во взглядах на то, насколько следует приблизиться к описанной выше ситуации для того, чтобы начался

переход к социализму. Расходятся они и в оценках текущего положения дел в каждый

данный период. Это вполне естественно, ибо движение к социализму, заложенное в самом развитии капитализма, происходит постепенно, небольшими шагами. На этом пути нет светофора, который недвусмысленно и убедительно для всех покажет, что путь открыт. Возможности для вполне оправданных различий во взглядах увеличиваются еще и потому, что предпосылки, необходимые для успешного перехода к социализму, не обязательно возникают *rap passu* [Одновременно (лат.)].

Например, если судить лишь по уровню промышленного развития, то в 1913 г. Соединенные Штаты были, возможно, более "зрелой" страной, чем Германия. Однако вряд ли можно сомневаться, что если бы социалистический эксперимент был предпринят в обеих странах, несравненно большие шансы на успех имели бы немцы, оказавшиеся в дестабилизированной стране и вымуштрованные лучшей из всех известных бюрократических систем и превосходными профсоюзами. Но, помимо оправданных несовпадений во взглядах, включая те, что связаны с различиями в темпераментах (ведь одинаково честные и компетентные врачи тоже зачастую расходятся во мнениях о необходимости хирургического вмешательства), всегда присутствует и другой фактор. Это подозрение, часто вполне обоснованное, что одна из дискутирующих сторон не хочет и никогда не захочет признать, что достигнута достаточная степень зрелости, так как на самом деле не желает социализма, а другая сторона вследствие излишнего идеализма или по какой-нибудь иной причине при любых обстоятельствах будет утверждать, что необходимая степень

зрелости уже наступила.

Во-вторых, даже если допустить, что состояние зрелости несомненно достигнуто, переход к социализму все же потребует определенных действий и поставит ряд проблем.

Процесс капиталистической эволюции формирует материальные условия и души людей, готовя почву для социализма. В предельном случае почва будет подготовлена настолько, что последний шаг станет простой формальностью. Но даже тогда капиталистический строй сам собой не превратится в социалистический, и заключительная мера, своего рода официальное введение социализма как закона общественной жизни, скажем, в форме поправки к конституции, все же будет необходима. Однако в реальной действительности люди не станут ждать этого предельного случая. Это было бы и нерационально, ибо полная зрелость может быть фактически достигнута в то время, когда капиталистические отношения и интересы еще не полностью изгнаны из всех укромных уголков и закоулков социальной структуры. И тогда принятие конституционной поправки не сведется к простой формальности. Будут и определенное сопротивление, и свои трудности. Перед тем как перейти к их рассмотрению, введем еще одно принципиальное разграничение. Процесс подготовки необходимых для социализма условий и самих людей в основе своей идет автоматически, т.е. независимо от чьей-либо воли и каких-либо социальных мер. Но этот процесс, наряду с другими следствиями, также порождает и

эту волю, а затем и соответствующие меры - законодательные акты, административные решения и т.п. Совокупность этих мер составляет часть политики социализации, реализация которой требует длительного времени, во всяком случае, многих десятилетий. Однако декретом о провозглашении и организации социалистического строя этот исторический период естественным образом делится на

два отрезка. До декрета социализация - проводимая намеренно или ненамеренно - носит подготовительный характер, после него она становится целенаправленной политикой. Первого из этих исторических отрезков мы коснемся в конце главы, а сейчас сосредоточимся на втором.

## 2. Социализация в условиях зрелости

В этом случае первоочередные проблемы, возникающие в связи с социализацией после

"провозглашения" социализма, не только преодолимы, но и не особенно сложны. Само

понятие "зрелость" предполагает, что сопротивление переменам не будет серьезным,

и большинство населения из всех классов общества поддержит новый порядок. Одним из проявлений этой поддержки будет сама возможность мирного перехода к социализму, с соблюдением юридических норм, путем принятия поправки к конституции. Резонно предположить, что люди поймут такой шаг, и большинство, даже среди тех, кто его не одобряет, будут проявлять терпимость по отношению к нему. Ни у кого не возникнет ощущения тупика и крушения мира.

Разумеется, нельзя целиком сбрасывать со счетов возможность революции. И все же она маловероятна. Дело не только в том, что полное или почти полное отсутствие организованного сопротивления в одном лагере и страсти к насилию в другом снизят

вероятность революционных событий. Будет существовать группа опытных и ответственных людей, готовых стать у кормила власти; у них будут желание и способности поддерживать дисциплину и использовать рациональные методы, позволяющие свести возможность потрясения к минимуму. Им помогут хорошо подготовленные административные структуры в сфере государственного управления и бизнеса, которые привыкли исполнять приказы законной власти, какова бы она ни были, и не испытывают особой преданности капиталистическим ценностям.

Начнем с того, что упростим проблемы переходного периода, стоящие перед новым Министерством или Центральным органом, так же, как это было нами сделано при рассмотрении обычных функций, выполняемых этими органами. Допустим, что фермеров в основном оставят в покое. Это позволит не только избежать сложностей,

которые могут иметь фатальный характер (ибо нигде вопрос об имущественных интересах не стоит так остро, как среди фермеров или крестьян: русские крестьяне

скорее являются исключением), но и обеспечит усиленную поддержку переменам, - ведь никто не ненавидит крупную промышленность и капиталистические интересы так,

как фермер. Центральный орган мог бы также снискать доверие и других категорий "маленьких людей": рядом с национализированными предприятиями мелкий

ремесленник продолжал бы, по крайней мере какое-то время, выполнять свою работу и получать прибыль, а мелкий независимый продавец табачных изделий по-прежнему торговал бы, как это происходит сегодня в тех странах, где существует монополия государства на табак и табачные изделия. На противоположном конце шкалы - личные интересы человека, чей труд имеет индивидуальную ценность, назовем его руководителем. Эти интересы также легко соблюсти, если следовать названному выше принципам. Тем самым можно будет избежать каких-либо серьезных сбоев в функционировании экономической системы. Решительное осуществление идеалов равенства может, без сомнения, все испортить.

А как же обстоит дело с капиталистическими интересами? В долгосрочной перспективе их с известным приближением можно уподобить интересам акционеров и держателей облигаций, а к последним приравнять также и держателей вкладных на недвижимость и владельцев страховых полисов. Ортодоксального социалиста, который ничего не желает знать, кроме текста Священного писания, и представляющего эту группу собственников как кучку безмерно богатых бездельников, ожидает сюрприз: на стадии зрелости в них не могут входить большинство избирателей, и им вряд ли придутся по душе предложения о конфискации

их доходов, какими бы небольшими они ни были. Но проблема не в том, может ли ("должен ли") социалистический строй экспроприировать их без всякой компенсации.

Главное для нас - что в этом не будет никакой экономической необходимости, и коли дело дойдет до конфискации, она произойдет не из-за отсутствия иного выхода, а в силу добровольного выбора, сделанного обществом, предположим, в соответствии с принятыми им этическими принципами. Ведь, как свидетельствуют статистические данные, выплата индивидуальным владельцам процентов по облигациям

и вкладным плюс проценты по облигациям, которые Центральный орган вместо дивидендов будет выплачивать прежним владельцам акций (чтобы, потеряв право голоса в корпорациях, те по-прежнему могли бы получать доход, приблизительно равный средним получаемым в прошлом дивидендам), - все это и совокупности не будет непосильной ношей. Поскольку социалистическое государство будет использовать частные сбережения, оно вполне могло бы взять на себя и эти выплаты. Им можно было бы придать временный характер, либо превратив их в ежегодную ренту, выплачиваемую в течение определенного срока, либо введя соответствующее налогообложение доходов и наследства. Налоги сослужили бы тем самым последнюю службу, перед тем как исчезнуть навеки.

Этого, думается, достаточно, чтобы представить себе возможный путь "социализации после провозглашения социализма". Он позволил бы в заданных обстоятельствах преодолеть переходный период уверенно, благополучно и спокойно, с минимальными затратами энергии и минимальным ущербом для культурных и экономических ценностей. Администрацию крупных концернов следовало бы заменять лишь в тех случаях, когда на это имеются особые причины. Если ко времени перехода к социализму среди подлежащих социализации компаний сохранятся частные партнерства, то эти фирмы должны быть сначала преобразованы в акционерные общества, а затем социализированы тем же путем, что и остальные. Создание новых частных фирм, конечно, будет запрещено. Структура связей между корпорациями - в особенности через холдинговые компании - будет рационализирована, т.е. ограничена лишь теми отношениями, которые повышают эффективность управления. Все

банковские учреждения станут отделениями Центрального банка и в этом качестве смогут сохранить за собой не только некоторые из своих обычных функций (на банки

почти наверняка будет возложена, хотя бы частично, общественная бухгалтерия), но, вероятно, и играть определенную роль в управлении промышленностью - посредством выдачи "кредитов" или отказов и них. В этом случае Центральный банк мог бы оставаться независимым даже от Министерства промышленности и осуществлять

своего рода общий контроль.

Таким образом, Центральный орган, действуя поначалу без спешки, постепенно брал бы правление в свои руки. Экономическая система могла бы в это время сформироваться и начать функционировать по-новому. Что касается менее значительных отдельных проблем, связанных с переходным периодом, их можно было бы решать последовательно, одну за другой. Вначале можно ограничиться небольшой

корректировкой производства - самое большое в пределах 5 % общего объема выпускаемой продукции, ибо, если идеи эгалитаризма не получат большего размаха, чем мы предполагаем, структура спроса не должна измениться особенно сильно. Более значимым окажется перераспределение людей, к примеру юристов, в другие сферы занятости, ибо в социалистической экономике отпадет нужда в выполнении ряда функций, требовавшихся капиталистическому производству. Но и это не составит серьезной проблемы. Трудности более высокого порядка - связанные с устранением низкоэффективных предприятий, перемещением средств в наиболее перспективные отрасли, рациональным размещением производства в соответствии с происходящим территориальным перераспределением населения, стандартизацией потребительских товаров и средств производства и т.п. - не возникнут или, во всяком случае, не должны возникнуть до тех пор, пока не завершится коренное преобразование общественной системы и не наладится нормальное функционирование экономики по прежним направлениям. Есть все основания предполагать, что заложенные в социалистическом проекте возможности более высокой эффективности могут быть достаточно быстро реализованы, если будет создан такого рода социализм.

### 3. Социализация на стадии незрелости

1. Что касается второго варианта - преждевременного провозглашения принципов социализма, - то тут прогноз, подобный сделанному выше, невозможен. Здесь переход от капиталистического строя к социалистическому происходит в условиях, когда социалистам удалось взять в руки контроль над центральными органами капиталистического государства, хотя объективных предпосылок социализма и психологической готовности к нему у людей нет. Следует еще раз подчеркнуть, что речь не идет о незрелости, при которой саму надежду на успешный переход к социализму любой нормальный человек оценил бы как фантастику. В этих условиях попытка захватить власть с целью создания социализма была бы всего лишь нелепым путем. Поэтому я не стану утверждать, что "незрелая" социализация неизбежно обречена на полный провал или что сложившиеся в результате структуры будут нежизнеспособны. Мы имеем в виду современный капитализм, применительно к которому постановка вопроса о социализации вполне обоснованна. Сам этот вопрос наверняка возникнет в подобного рода ситуации. Исторические условия в долговременном аспекте становятся все более благоприятными для проявления социалистических амбиций. К тому же - и это еще важнее - в отдельные периоды могут возникнуть такие ситуации, когда временное оцепенение капиталистических слоев и государственных органов управления создает заманчивые возможности для поборников социализма. Именно так дело обстояло в Германии в 1918 и в 1919 гг., а также, как считают некоторые авторы, в Соединенных Штатах в 1932 г.

2. Что именно подразумевается под неготовностью или незрелостью обстоятельств и людей, читатель легко поймет, если вернется на несколько страниц назад, где дано

описание ситуации "зрелости". Тем не менее я добавлю несколько штрихов, касающихся положения дел в Америке в 1932 г.

Экономическому спаду предшествовал период мощного (хотя вовсе не аномального, если судить по темпам роста) подъема производства. Сами масштабы депрессии свидетельствовали о том, насколько назрели изменения, связанные с необходимостью

адаптации к результатам "прогресса". На многих важнейших направлениях этот прогресс, бесспорно, не закончился - достаточно упомянуть такие области, как электрификация сельской местности, электрификация домашнего хозяйства, новейшие открытия в химии, возможности, открывающиеся в строительной индустрии. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что если бы в это время началась бюрократическая социализация, это привело бы к значительной потере предпринимательской энергии, снижению эффективности в сфере производства, ущербу для будущего благосостояния общества. Любопытно, что в атмосфере истерии,

сопутствующей депрессии, интеллектуалы социалистического толка сумели внушить широкой публике прямо противоположную точку зрения. Но этот парадокс нуждается скорее в социально-психологическом диагнозе, нежели в экономической интерпретации.

Незрелость проявилась также в организации промышленности и торговли. Дело не только в том, что число мелких и средних фирм оставалось еще весьма значительным, а их сотрудничество в торгово-промышленных и иных ассоциациях было

далеки от совершенства. Но и развитие большого бизнеса, хотя он и стал объектом как безудержных восхвалений, так и безудержной враждебности, еще не достигло той ступени, когда можно было бы с легкостью и надежностью применить описанный нами метод социализации. Если отнести к большому бизнесу фирмы с активами от 50 млн. долл., то окажется, что на их долю в то время приходилось лишь 53, 2 % всех активов в американской экономике, а если исключить финансовые корпорации и компании в сфере коммунальных услуг - 36, 2 %. Из общего объема промышленных активов крупные компании имели 46, 3 % [См. Crum W.L. Concentration of Corporate Control // Journal of Business. Vol.VIII. P.275]. Но и менее крупные компании не

легко было бы подвергнуть социализации. К тому же вряд ли можно ожидать, что будучи социализированы, они смогли бы по-прежнему продолжать свою деятельность. Если же снизить до 10 млн. долл. планку, отсекающую крупные корпорации, то и тогда их доля в активах будет равна соответственно 67,5, 52,7 и 64,5 %. Даже простое "овладение" экономикой с такой структурой было бы делом невероятно трудным. Еще сложнее было бы заставить ее функционировать и совершенствоваться в

новых условиях. Эти задачи пришлось бы решать в условиях, когда не существует опытной бюрократии, а рабочая сила плохо организована и в любой момент может выйти из-под контроля.

Сами люди были еще менее готовы к социализму, чем материальные условия. Несмотря

на потрясение, вызванное депрессией, не только бизнесмены, но также подавляющее большинство рабочих и фермеров в своих мыслях и чувствах не выходили за пределы буржуазной системы ценностей и на самом деле не имели ясного представления о какой-либо альтернативе. Саму концепцию социализации и все, что так или иначе с ней связано, они по-прежнему воспринимали как нечто "антиамериканское". В стране

не было влиятельной социалистической партии, и никакие официальные социалистические группы, кроме коммунистов сталинистской ориентации, не пользовались значительной поддержкой. Фермеры, несмотря на все усилия их переубедить, ненавидели социализм почти так же, как они ненавидели большой бизнес в целом и железнодорожные компании в частности. В то время как поддержка социализма в обществе была бы слабой и, за исключением некоторых крикливых энтузиастов, вполне пассивной, сопротивление социализму было бы сильным. Его оказали бы люди, искренне уверенные, что никто (а тем более государство) не способен выполнить их работу лучше их самих. Они считали бы, что сражаются не только за собственные интересы, но и за общее благо - за торжество света против власти тьмы. Американская буржуазия начала терять свою жизненную энергию, но полностью ее не утратила. Сопротивление буржуазии носило бы осознанный характер,

исключающий всякие компромиссы и сотрудничество. В такой ситуации, во-первых, возникла бы необходимость применения силы не против отдельных лиц, а в отношении

групп и классов; а во-вторых, нельзя было принять социалистические принципы путем внесения поправки в конституцию, т.е. без нарушения преемственности в законодательстве. Новый порядок мог бы быть установлен только посредством революции, причем, вероятнее всего, не бескровной. Этот конкретный пример "незрелости" можно было отвергнуть на том основании, что он относится к категории абсурдных безнадежных случаев. Но здесь отразились основные черты, характерные для всех случаев преждевременной социализации, и потому его можно использовать при рассмотрении проблем общего характера.

Разумеется, этот случай изучают и ортодоксальные социалисты, большинство из которых не в состоянии примириться с чем-либо менее впечатляющим, чем эффективное умерщвление капиталистического змея пролетарским св. Георгием. Однако пример США

привлекает нас вовсе не потому, что там сохранились от прошлой эпохи какие-то пережитки буржуазной революционной идеологии. Мы намереваемся рассмотреть последствия, вытекающие из особых условий - сочетания политической возможности введения социализма с его экономической неподготовленностью. Только в таких обстоятельствах проведение социализации сопряжено со специфическими проблемами.

3. Допустим, что революционный народ (большевистская революция сделала это словосочетание чем-то вроде официального титула, наподобие титула французских королей - "Его христианнейшее величество") овладел центральными государственными

учреждениями, одержал победу над несоциалистическими партиями, несоциалистической прессой и т.д. и всюду разместил своих людей. Часть сотрудников государственных органов, а также промышленных и торговых концернов, как можно предположить, принуждается к сотрудничеству, а часть заменяется рабочими лидерами и интеллектуалами, которые прежде проводили время в кафе, а теперь устремились в эти офисы. Новый Центральный орган должен будет в этих условиях взять на себя решение двух задач. Во-первых, создать достаточно сильную красную армию, чтобы обуздать прямое сопротивление и подавить эксцессы -

в частности, дикую социализацию [Термин "дикая социализация" уже получил официальное признание. Под ним понимают попытки рабочих отдельных предприятия сместить администрацию и взять управление в свои руки. Для каждого здравомыслящего социалиста это подлинный кошмар.], хладнокровно расправляясь как

с правыми, так и с левыми. Во-вторых, в соответствии с описанным выше подходом обеспечить возможность крестьянам или фермерам действовать по своему усмотрению.

Не будем делать предположений относительно того, насколько рационально или в какой мере гуманно обойдутся с теми, кто принадлежит к правящим слоям. В данных обстоятельствах с ними наверняка обойдутся беспощадно. Люди, знающие, что в глазах противника их действия не что иное, как злонамеренная агрессия, и понимающие, что для них вполне реальна угроза разделить судьбу Карла Либкнехта и

Розы Люксембург, неминуемо вскоре придут к политике более жестокой по сравнению с их первоначальными намерениями. Они вряд ли сумеют избежать преступной свирепости в отношении своих оппонентов - тех, кто все еще отстаивает старые порядки, и тех, кто войдет в новую левацкую партию, которая неминуемо возникнет,

будут воспринимать как неисправимых преступников. Однако насилие и беспощадность проблем не решат. Что еще должен будет предпринять Центральный орган, кроме сетований по поводу саботажа и требований о выделении дополнительных возможностей для борьбы с заговорщиками и вредителями? Первое, что необходимо сделать - прибегнуть к инфляции. Банки должны быть национализированы и объединены (или должны координировать свою деятельность) с казначейством. Экономический совет или Министерство должны создавать возможно больше депозитов или банкнот, опираясь на традиционные методы. Я полагаю, что инфляция неизбежна. Все без исключения социалисты сами признают, что в рассматриваемой нами ситуации социалистическая революция неминуемо вызвала бы как минимум временную приостановку экономического процесса. В результате казначейство и финансовые центры на какое-то время будут испытывать нехватку денежных средств. До того, как будет налажена социалистическая система учета, у власти не будет иного выбора, кроме политической линии, подобной той, которая осуществлялась в Германии до первой мировой войны и после нее или во Франции во время и после революции 1789 г. Правда, в тех условиях именно нежелание отказаться от частной собственности и методов, свойственных коммерческому обществу, усилило инфляцию и значительно продлило ее. Но "на следующий день после социалистической революции", когда ничего еще не устоялось, ситуация была бы аналогичной.

Следует добавить, что не только необходимость побуждает проводить такую политику. Для этого есть и иного рода мотив. Инфляция сама по себе является отличным средством сглаживания некоторых трудностей переходного периода и осуществления частичной экспроприации. Что касается первой функции, то очевидно, в частности, что резкое увеличение ставок номинальной заработной платы

позволит на какое-то время отсрочить возможные вспышки недовольства, связанные с

неминуемым, пусть даже непродолжительным, снижением реальных заработков. Вторая функция также важна: инфляция удивительно легко экспроприрует обладателей прав на получение доходов в денежной форме. Центральная власть может даже упростить себе задачу и выплатить собственникам реального капитала - фабрик и т.п. - любые

суммы денежной компенсации, сознавая при этом, что эти деньги скоро обесценятся.

Наконец, не следует забывать, что инфляция стала бы мощным средством сокрушения тех островков частного бизнеса, которые еще сохранились к тому времени. По словам Ленина, ничто не дезорганизует так, как инфляция: "чтобы разрушить буржуазное общество, необходимо расстроить его денежную систему",

4. Далее, конечно, необходимо приступить к осуществлению социализации. Дискуссии

по проблемам переходного периода своими корнями уходят в старые разногласия среди социалистов - точнее, между социалистами и теми, кого правильнее было бы называть лейбористами. Спор шел о том, что предпочтительнее - полная, т.е. единовременная социализация, либо частичная и постепенная. Многие социалисты, видимо, полагают, что чистоте социалистической веры и подлинной приверженности социалистическому идеалу соответствует первый вариант, который следует отстаивать при всех обстоятельствах. Они презирают малодушных лейбористов, которым в этом вопросе, как и во многих других, очень мешает сковывающее чувство

ответственности. Я в данном случае собираюсь высказаться в поддержку истинно верующих [Однако "священное писание" социалистов не поддерживает со всей определенностью именно этот подход. Обратившись к "Коммунистическому манифесту", читатель может прийти в сильное замешательство, ибо там в этой связи употребляется слово "постепенно".]. Мы сейчас не обсуждаем политику переходного периода, проводимую в пределах капиталистической системы. Это иная проблема, которой мы займемся позже, убедившись, что постепенная социализация а рамках капитализма не только возможна, но и наиболее вероятна. Здесь же речь идет совершенно о другом - политике переходного периода, которую следует проводить после установления социалистического режима в результате политической революции.

В этом случае, даже если неминуемые эксцессы будут минимальными и с помощью сильной руки удастся установить относительный порядок, трудно представить себе ситуацию, когда некоторые крупные отрасли промышленности оказались бы социализированными, а другие продолжали бы работать как ни в чем не бывало. При революционном правительстве, которому придется хотя бы частично следовать идеям,

выдвинутым в те времена, когда это не предполагало никакой ответственности, любые частные предприятия, скорее всего, прекратят существование. Я не имею в виду обструкцию, которую могли бы устроить предприниматели и вообще выразители капиталистических интересов. Их могущество, и сейчас преувеличиваемое, в решающей мере было бы утрачено в присутствии комиссаров. К тому же духу буржуазных традиций скорее соответствует строгое следование своим текущим обязанностям, чем отказ от их выполнения. Сопrotивление будет, но оно будет проявляться в политической сфере, т.е. не в рамках отдельного предприятия, а за его пределами. Несоциализированные отрасли прекратят свое существование просто потому, что контроль со стороны комиссаров и настроения как собственных рабочих,

так и широкой общественности не дадут им возможности действовать по своему усмотрению - а иначе капиталистическое производство функционировать не способно.

Однако этот аргумент относится только к крупной промышленности и тем секторам, где легко могут быть созданы крупные организационные единицы, поддающиеся контролю. Он не в полной мере справедлив в отношении отраслей, занимающих промежуточное положение между аграрной сферой, которую мы не рассматриваем, и крупной промышленностью. В этой сфере, состоящей в основном из предприятий малого и среднего бизнеса, Центральный орган мог бы маневрировать, исходя из требований практической целесообразности, и, в частности, расширять социализацию или отступать назад в зависимости от изменяющихся условий. Такой вариант вполне укладывается в наше понимание термина "полная социализация". И еще одно добавление. Не приходится сомневаться, что проведение социализации в недостаточно подготовленных условиях, что требует осуществления революции, - понимаемой не только как разрыв правовой преемственности, но и как последующая власть террора, - не может ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане пойти кому бы то ни было на пользу, за исключением самих ее организаторов.

Профессиональные агитаторы могут возбуждать энтузиазм в отношении социализации и прославлять смелость тех, кто готов идти на связанный с нею риск. Что же касается интеллектуала, то единственная форма проявления мужества, которая может

сделать ему честь, - это смелость критиковать, предостерегать и сдерживать.

4. Политика социалистов до провозглашения социализма: пример Англии

Возникает вопрос, следует ли из всего сказанного, что сейчас и в ближайшие пятьдесят или сто лет социалистам не остается ничего другого, кроме как проповедовать и ждать? Конечно, такого поведения трудно ожидать от партии, желающей сохранить своих членов, но все доводы и упреки, проистекающие из этого по-человечески понятного соображения, не должны заслонить от нас другой весомый аргумент в пользу нашего вывода. Не вступая в противоречие с логикой, можно доказать, что социалисты заинтересованы в том, чтобы те тенденции в капитализме,

которые им на руку, могли и дальше беспрепятственно развиваться.

И все же, думается, это не означает, что в наше время социалистам вообще нечего делать. Конечно, сегодня попытки установления социалистического строя в большинстве крупных и во многих небольших странах, несомненно, закончились бы неудачей, - возможно, поражением идеи социализма как таковой и уж наверняка поражением тех групп социалистов, которые пошли на этот решительный шаг. Но тогда другая группа, не обязательно социалистическая в обычном смысле этого слова, могла бы с легкостью овладеть их багажом. Если политика социализации после декрета о провозглашении нового строя - дело весьма проблематичное, то проведение этой политики в предшествующий период имеет куда большие шансы. Участвуя в осуществлении социализации наряду с другими партиями, но лучше представляя ее смысл, социалисты не приносят в жертву идею полной социализации. Поясню свои соображения поданному вопросу конкретным примером.

Все интересующие нас особенности общественного развития хорошо прослеживаются на

примере современной Англии. С одной стороны, структура ее промышленности и торговли, безусловно, не созрела для успешной единовременной социализации, в частности, потому, что концентрация контроля в руках крупных корпораций не достигла необходимого уровня. Соответственно ни менеджмент, ни капиталисты, ни рабочие не готовы принять социализацию - во всяком случае, они сохранили немало жизнеспособного "индивидуализма", чтобы противодействовать социализации. С другой стороны, примерно с начала нынешнего столетия в Англии наблюдалось заметное снижение предпринимательской активности, в результате чего, в частности, все политические партии не только допускали, но и требовали, чтобы государство взяло в свои руки управление и контроль в важнейших отраслях (например, в производстве электроэнергии). Можно утверждать, что в Англии, как ни в одной другой стране, капитализм в основном выполнил свое предназначение. Более того, к настоящему времени в Англии сформировалось зрелое гражданское общество. Английские рабочие хорошо организованы, а их лидеры, как правило, обладают должным чувством ответственности. Опытная бюрократия с ее безупречными культурными и нравственными стандартами наверняка сумела бы организовать новые структуры, необходимые для расширения сферы государственного влияния. Непревзойденная честность английских политических деятелей и наличие исключительно умелого и цивилизованного правящего класса позволяют здесь с легкостью делать то, что было бы невозможно в других странах. В частности, правящий класс оптимальным образом сочетает приверженность закрепленным традициям и чрезвычайную приспособляемость к новым принципам, обстоятельствам и людям. Он стремится управлять, но готов делать это от имени различных - сегодня одних, а завтра других - заинтересованных кругов. Он управляет промышленной Англией так же хорошо, как раньше Англией аграрной, протекционистской Англией так же хорошо, как фритредерской. Он обладает непревзойденным умением присваивать не только политические программы своих оппонентов, но и их интеллектуальные способности. Правящий класс ассимилировал Дизраэли, который в другой стране мог бы стать вторым Лассалем. Если бы потребовалось, он сумел бы ассимилировать самого Троцкого, или, вернее, герцога Принкино, рыцаря ордена подвязки [Остров в Мраморном море, на котором Троцкий жил в эмиграции.], кем, несомненно, стал бы Троцкий, окажись он в Англии.

В этих условиях возможна такая политика социализации, которая, с одной стороны, посредством широкой программы национализации способна обеспечить значительное продвижение по пути социализма, а с другой - может на неопределенное время

сохранить в неприкосновенности те сферы деятельности и интересы, которые не охвачены программой. Их даже можно было бы освободить от многих регламентации и тягот (фискальных и иных), мешающих им сегодня.

Перечислим сферы деятельности, где социализация может происходить без существенных потерь в эффективности или серьезного влияния на отрасли, оставляемые в частном управлении. Вопрос о компенсации собственникам может быть решен примерно так, как предлагалось выше, когда речь шла о "зрелой" социализации. При нынешних налоговых ставках на доходы и наследство компенсация не станет серьезной проблемой.

Первое. Бесспорно, созрела для социализации английская банковская система. Английский банк мало чем отличается от казначейства, и в действительности у него меньше независимости, чем должно было бы быть у такого финансового органа в

хорошо организованном социалистическом обществе. В коммерческих банковских структурах концентрация и бюрократизация, видимо, достигли необходимого уровня. Крупные банковские концерны можно было бы обязать поглотить все оставшиеся независимые банки, а затем они вместе с Английским банком образовали бы Национальную банковскую администрацию, которая включила бы в себя также сберегательные банки, строительные общества и т.п. Все эти преобразования никак не затронули бы непосредственно интересы клиентов, и последние узнали бы о том, что произошло, только из газет. Выигрыш от рационализации всех связей в сфере банковских услуг может быть весьма значительным. Другим ценным, с точки зрения социалистов, следствием, явится усиление государственного влияния в ненационализированных секторах экономики.

Второе. Страховой бизнес давно уже является кандидатом на национализацию, и к настоящему времени он в значительной мере механизирован. Может оказаться вполне реальным делом объединение его хотя бы с некоторыми видами социального страхования; издержки по продаже страховых полисов могли бы быть заметно снижены, и социалисты могли бы поздравить себя, поскольку государство, установив

контроль над фондами страховых компаний, получило бы дополнительный инструмент власти.

Третье. Мало найдется людей, которые видели бы серьезные проблемы в социализации

железнодорожного и даже автогрузового транспорта. Внутривосточные перевозки - это наиболее явный пример экономической деятельности, которой может успешно управлять государство.

Четвертое. Национализация горнодобывающей промышленности, в особенности добычи угля и производства продуктов его переработки, включая бензол, а также продажи угля и его производных, может сразу же повысить экономическую эффективность этих отраслей и в случае удовлетворительного решения проблемы оплаты и условий труда рабочих обеспечить успешное развитие производства. С точки зрения технологии и коммерции тут все ясно. Впрочем, не менее очевидно и то, что в химической промышленности, где частному предпринимательству принадлежит активная роль, национализация вряд ли имела бы подобный успех.

Пятое. Национализация производства, передачи и распределения электроэнергии в значительной мере уже осуществлена. Остается добавить, что электротехническая промышленность - это типичный пример отрасли, успешно демонстрирующей возможности частного предпринимательства и позволяющей убедиться, сколь бессмысленно с точки зрения интересов экономики как выступать за всеобщую социализацию, так и вообще отвергать любые шаги в этом направлении. Но на примере производства энергии отчетливо видны и сложности получения прибыли в социализированной отрасли. Ведь прибыльность по-прежнему останется существенным условием успешного развития, если государственный сектор включит в себя столь значительную часть экономики, и в то же время за государством сохранятся все его

нынешние функции.

Шестое. Социализация черной металлургии, думается, более проблематична сравнительно с теми отраслями, о которых шла речь выше. Однако эта отрасль, бесспорно, уже "перебесилась", и ею можно управлять. Разумеется, это управление должно охватить и мощные исследовательские подразделения. Координация принесет определенные плоды, и вряд ли возникнет реальная угроза потерь из-за ослабления стимулов предпринимательства.

Седьмое. Как представляется, управление строительством и производством

строительных материалов (за исключением, пожалуй, того, что относится к области архитектуры) может успешно осуществляться соответствующими правительственными органами. Уже сегодня настолько значительная часть этой сферы так или иначе регулируется, субсидируется и контролируется, что выигрыш в эффективности в связи с социализацией, возможно, с лихвой перекроет потенциальные потери. Программа национализации не обязательно должна ограничиваться указанными отраслями. Однако любой выход за эти пределы (речь может идти, к примеру, о производстве вооружений или ключевых отраслях промышленности, киноиндустрии, кораблестроении, торговле продовольствием) должен быть обоснован особыми, по большей части неэкономическими причинами. В любом случае национализация может на достаточно длительный период времени ограничиться перечисленными выше отраслями.

Этого хватит для того, чтобы каждый социалист, имеющий чувство ответственности, испытывал удовлетворение от проделанной работы и пошел на диктуемые соображениями рациональности уступки в отношении других сфер экономики, не вошедших в национализированный сектор. Если национализация распространилась бы и

на землю - при условии, что эта мера не затронула бы статус фермера, - т.е. государству было бы передано все, что относилось к земельной ренте и арендным платежам, то у меня как экономиста это также не вызвало бы возражений [Здесь не место говорить о личных предпочтениях. Однако я хотел бы пояснить, что это замечание является данью профессиональному долгу и вовсе не свидетельствует о моем одобрении такого варианта. Напротив, будь я англичанином, я бы всеми возможными способами противился ему.]

Конечно, идущая сейчас война внесет изменения в социальный, политический и экономический контекст обсуждаемой нами проблемы. То, что прежде было невозможным, станет достижимым, и наоборот. Я посвящу этому вопросу несколько страниц в конце книги. Но мне представляется важным ради ясности политической концепции рассмотреть эту проблему независимо от последствий войны. Иначе суть дела не сможет быть должным образом понята. Поэтому я и оставил эту главу в том виде, как она была написана летом 1938 г., не изменив ни ее форму, ни содержание.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" Часть четвертая. Социализм и демократия - Глава двадцатая. Постановка проблемы

#### 1. Диктатура пролетариата

Нет ничего более обманчивого, чем очевидное. События последних 20-25 лет научили

нас видеть проблему, сформулированную в заголовке этой части книги. Примерно до 1916 г. подавляющему большинству людей взаимосвязь между социализмом и демократией казалась совершенно бесспорной, в особенности официальным представителям социалистической ортодоксии. В это время вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову оспаривать притязания социалистов на членство в демократическом клубе. Сами социалисты, за исключением некоторых синдикалистских

групп, неоднократно заявляли о своей приверженности демократии, провозглашали себя исключительными хранителями истинной демократической идеи, которую ни в коей мере не следует смешивать с буржуазной фальсификацией этого понятия. Тем самым социалисты не просто пытались усилить притягательность своего учения с помощью апелляции к демократическим ценностям, совершенно естественным для них

было пойти дальше и предложить теорию, согласно которой социализм и демократия неразрывно связаны друг с другом. В соответствии с этой теорией частный контроль

над средствами производства лежит в основе как капиталистической эксплуатации труда, так и классового господства в политической сфере. Политическая власть класса капиталистов оказывается таким образом лишь особой формой их экономической власти. Выводы из этой теории сводятся к следующим положениям: с одной стороны, не может быть демократии, покуда существует власть капитала (в условиях буржуазного общества политическая демократия неизбежно становится ширмой, прикрывающей эти реальные экономические отношения), и, с другой стороны,

ликвидация этой власти положит в то же самое время конец "эксплуатации человека человеком" и приведет "к правлению народа", реальному народовластию. Этот аргумент, конечно же, является чисто марксистским по своей сути. Фактически

он лишь логически следует из определений, закрепленных за всеми этими понятиями в марксистской схеме, а то и просто повторяет их. Именно поэтому (из-за неразрывной связи с марксистской схемой) этот тезис неизбежно постигнет судьба доктрины об "эксплуатации человека человеком" [Тот факт, что власть отдельного индивида или группы лиц не может быть определена исключительно в экономических терминах, как это делает марксистская теория классов, является еще более веским доводом против этого аргумента.].

Ниже будет представлено то, что представляется мне более обоснованным анализом отношений между социалистическими группами и демократическим кредо. Мы также хотели бы получить более реалистичную теорию взаимоотношений между собственно социализмом и демократией, т.е. таких отношений, которые, независимо от чьих бы то ни было желаний и лозунгов момента, складываются между социалистическим строем, как мы его определили, и *modus operandi* [способом действия - лат.] демократического правления. А для того чтобы решить эту проблему, мы должны прежде всего исследовать, в чем же состоит сущность демократии. Однако предварительно необходимо разъяснить еще один момент.

В принципе социализм как таковой не противоречит идеалу истинной демократии. Беда заключается в том, что социалисты далеко не всегда разборчивы в средствах, какими они пытаются провести этот идеал в жизнь. Слова "революция" и "диктатура" смотрят на нас с обложек священных для них текстов, а многие из современных социалистов открыто демонстрируют, что у них нет возражений против того, чтобы взломать ворота в социалистический рай с помощью насилия и террора, которые должны дополнить более демократичные способы перехода в новое качественное состояние общества. Собственная позиция Маркса по этой проблеме может быть интерпретирована самыми разными способами, в том числе и таким, который полностью обеляет его (восстанавливает его авторитет) в глазах последовательных демократов. В первой части было продемонстрировано, как могут быть согласованы и примирены его воззрения на эволюцию общества и социальную революцию. Революция в его понимании означает не попытку меньшинства навязать свою волю непокорному народу, а не что иное, как устранение препятствий, стоящих

на пути его свободного волеизъявления путем разрушения социальных институтов, контролируемых группами людей, заинтересованными в их консервации. Диктатура пролетариата получает схожее истолкование. В подтверждение я могу снова сослаться на соответствующие пассажи из "Коммунистического манифеста", где Маркс

говорит о постепенном лишении буржуазии ее собственности и об исчезновении "в процессе развития" классовых различий, фразы, хотя и не исключающие возможности применения силы, но, по-видимому, указывающие в сторону процедуры, которая вполне могла бы соответствовать традиционному пониманию демократии [В гл. XXV я еще вернусь к вопросу о том, как проблема демократии понималась лично Марксом.].

Однако при всем при том основания для подобного неортодоксального истолкования марксистского учения, которое чуть ли не целиком сводит концепции социальной революции и диктатуры пролетариата только к неизбежным издержкам агитационной работы, призванной разжечь воображение масс, не слишком убедительны. Многие социалисты, являвшиеся или во всяком случае провозглашавшие себя учениками Маркса, придерживались иного мнения. Принимая во внимание высказывания на этот счет признанных авторитетов в данной области, которым по должности следовало бы знать Закон лучше, чем мне, и исходя из впечатления, основанного на внимательном

прочтении томов "Neue Zeit", я должен отметить, что при всей неоднозначности истолкования марксистского теоретического наследия, если бы Марксу пришлось выбирать между социализмом и демократией, он, вероятно, предпочел бы первый и поставил бы социализм выше формального следования демократической процедуре. В этом случае он, несомненно, провозгласил бы, как много раз делалось и после него, что он нисколько не отходит от реальной демократии, ибо для того, чтобы дать ей жизнь, необходимо прежде всего устранить ядовитые испарения капитализма,

которые душат ее в зародыше. Для приверженца демократии важность следования демократической процедуре, очевидно, возрастает пропорционально важности предмета рассмотрения. Отсюда вытекает, что следование демократической процедуре

должно быть наиболее ревностным как раз в момент фундаментальной социальной реконструкции общества. Если кто-то готов проигнорировать это требование и воспользоваться хотя бы отчасти недемократичными средствами для претворения в жизнь формально объявленного демократическим решения, то в конце концов окажется, что этот человек ставит какие-то другие вещи выше ценностей демократии. Последовательный демократ будет рассматривать любую попытку социальной реконструкции, связанную с нарушением демократических процедур, как порочную в своей основе, как бы ни казалась она ему привлекательной со всех других точек зрения. Попытка навязать народу нечто, пусть даже и представляющееся кому-то весьма привлекательным, но не желаемое самими людьми, -

даже в том случае, если ожидается, что это новшество со временем придется им по вкусу и принесет результаты, которые они смогут по достоинству оценить, - является отличительным признаком антидемократических убеждений. Дело казуистов рассуждать о том, можно ли сделать исключение для антидемократических действий, совершаемых с единственной целью установления истинной демократии, если при определенных обстоятельствах ее можно будет обеспечить только таким способом. Даже в том случае, если это действительно так, подобная постановка вопроса не имеет никакого отношения к социализму, который, как мы видели, вполне достижим и

демократическим путем, если можно ожидать, что он будет практически эффективен.

В любом случае очевидно, что всякие рассуждения в пользу ограничения демократии на переходный период дают великолепную возможность уклониться от ответственности за последствия этого шага. Такие временные, промежуточные периоды вполне могут длиться целые столетия, а средства, полученные правящей группой в результате победоносной революции, используются для того, чтобы неограниченно продлить собственное пребывание у власти или чтобы принять такие внешние формы демократии, которые полностью выхолащивают само содержание этого термина.

## 2. Опыт социалистических партий

Поскольку мы обратились к изучению опыта социалистических партий, неизбежно возникнут сомнения в декларируемой социалистами неизменной приверженности демократии в прошлом и настоящем.

Прежде всего существует огромное социалистическое государство, где безраздельно господствует одна партия, представляющая меньшинство населения. И делегаты от этой партии, собранные на ее XVIII съезд, слушающие доклады и принимающие резолюции, обошлись при этом без всего, что хотя бы отдаленно напоминало дискуссию в общепринятом смысле слова. Они закрыли съезд, проголосовав, как официально заявлено, за резолюцию о том, что "русский народ (?), безусловно преданный партии Ленина - Сталина и лично великому вождю, принимает программу великих свершений, которой предначертано стать величайшим документом эпохи, единодушно одобряет доклад тов. Сталина и выражает готовность неколебимо претворить его в жизнь", а "наша большевистская партия под водительством гения великого Сталина вступает в новую фазу своего развития" [Я не знаю русского языка. Вышеприведенные отрывки без каких-либо изменений взяты мной из газеты, выходящей в Москве на немецком языке, и, возможно, вызовут возражения с точки зрения перевода русского текста, хотя при этом следует учитывать, что эта газета, разумеется, не могла публиковать ничего из того, что не было полностью одобрено официальными властями.]. Все это, как и выборы из единственного кандидата, в сочетании с показательными процессами и методами ГПУ не оставляет никаких сомнений в том, что в этой стране создается "самая совершенная в мире

демократия", если придать термину "демократия" соответствующее значение. Но это, конечно же, не совсем то, что понимают под словом "демократия" большинство американцев.

Тем не менее, несмотря на свой очевидный антидемократизм, это государство является социалистическим. Именно такой характер носили и недолговечные Баварская и особенно Венгерская республики. С другой стороны, без сомнения, существуют и социалистические группы, которые по сей день хранят приверженность демократическим идеалам. В их число входят, например, английские социалисты, социалистические партии Бельгии, Нидерландов, Скандинавских стран, американская социалистическая партия под руководством Н.Томаса и немецкие группы в изгнании. С их точки зрения, как зачастую и с точки зрения стороннего наблюдателя, чрезвычайно привлекательно утверждать, что в Советской России установилась система, которая далека от "истинного социализма", является досадным "отклонением" от предначертанного классиками пути, по крайней мере в том, что касается принципов демократии. Но что же в таком случае означает термин "истинный социализм", кроме благого пожелания, того умозрительного "социализма, который нам нравится"? И, следовательно, что же на самом деле подтверждают эти заявления, кроме того факта, что существуют некие формы социализма, приверженцами которых являются отнюдь не все социалисты, и в число этих форм входят явно недемократические его разновидности? Таким образом, как мы только что убедились, отрицание возможности существования социалистического режима, не имеющего ничего общего с демократией, становится просто абсурдным. Из этого логично вытекает, что следование общепринятой демократической политической процедуре отнюдь не является определяющей чертой социализма. А отсюда возникает естественный вопрос: может ли вообще в таком случае социализм быть демократическим, и если да, то в каком именно смысле?

Те социалистические группы, которые последовательно поддерживают веру в демократию, никогда не имели возможности или побудительного мотива для исповедания какого-либо иного кредо. Они существовали в социальной среде, которая начисто отторгала антидемократическую риторику, не говоря уже о действиях, и фактически всегда противилась синдикализму. Кроме того, в некоторых случаях социалистические группы имели все основания для поддержки демократических принципов, которые служили надежным прикрытием их деятельности. В других случаях большинство активных членов таких групп были полностью удовлетворены политическими и иными результатами, уже достигнутыми или вполне достижимыми на основании демократических принципов. Легко представить, что произошло бы с социалистическими партиями Англии или, скажем, Швеции, если бы они проявили серьезную склонность к антидемократическим методам. В то же время социалисты явно ощущали, что их влияние растет и ответственные должности становятся для них все более доступными. Таким образом, исповедуя приверженность

демократии, названные социалистические группы придерживались всего-навсего самой

естественной линии поведения. Тот факт, что их политика не доставляла удовольствия Ленину, еще не означает, что, будь последний поставлен в подобные же условия, он повел бы себя иначе. В Германии, где партия росла и развивалась значительно более впечатляющими темпами, чем где бы то ни было, но где до 1918 г. путь к политически ответственным постам был для нее наглухо закрыт, социалисты, сталкиваясь с сильным и враждебным им государством, вынуждены были обращаться за поддержкой к симпатиям буржуазного общественного мнения и влиянию профсоюзов, которые в лучшем случае лишь частично разделяли социалистическую программу. А потому немецкие социалисты были еще менее свободны в выборе линии своего поведения и просто не могли себе позволить пренебрегать демократической риторикой, поскольку, действуя иначе, они только сыграли бы на руку своим противникам [Эта ситуация будет более полно обсуждена в пятой части.]. Называть себя, "социал-демократами" для них, строго говоря, было вопросом не тактики, а выживания и проявлением элементарного здравого смысла.

Ярких примеров, которые демонстрировали бы безусловную приверженность социалистов демократии, мало и они не слишком убедительны [Мы собираемся ограничиться анализом участия социалистических партий в политике. Отношение этих

партий и профсоюзов к рабочим, в них не входящим, конечно, еще более показательно.]. Общеизвестно, что в 1918 г. Социал-демократическая партия

Германии имела реальный выбор и сделала его в пользу демократии, что она с необычайной энергией включилась в беспощадную борьбу с коммунистами (если это может служить доказательством приверженности демократическим идеалам). Но именно

по этому вопросу в партии произошел раскол. Она потеряла значительную часть своего левого крыла. При этом выходящие из партии недовольные ее политикой члены

заявляли не о разрыве с социалистической идеей, а о том, что их приверженность социалистическому знамени больше, чем у тех, кто остался в рядах партии. Более того, большинство последних хотя и остались верны партийной дисциплине, но в целом не одобряли избранной тактики. А многие из тех, кто всецело солидаризировался с этим курсом, делали это только на том основании, что по крайней мере с 1919 г. шансы на успех более радикального (т.е. в данном случае антидемократического) курса стали совершенно незначительными и, в частности, левацкая политика в Берлине означала бы серьезную опасность массового отхода от партии ее сторонников в Рейнланде и в южно-германских землях, даже если бы она и

не потерпела там немедленно сокрушительного поражения. Наконец, для большинства членов партии или, во всяком случае, для тех из них, кто был тесно связан с профсоюзами, демократия давала все, к чему они стремились, включая должности и положение в обществе. Неудивительно, что в подобной ситуации социалистам пришлось поделиться завоеванными политическими трофеями с центристской (католической) партией. Такая сделка, надо сказать, оказалась приемлемой для обеих сторон. В наше время социалисты все более шумно и громогласно заявляют о своей неизменной приверженности демократии. Но надо помнить, что окончательный поворот к демократии в их политике произошел лишь тогда, когда они сами стали объектом атаки со стороны оппозиции, придерживающейся антидемократических убеждений.

Я не собираюсь осуждать немецких социал-демократов за то чувство ответственности, которое они проявили, или даже за то благодушие, с которым они обосновались в комфортабельных чиновничьих креслах. Последнее является обычной человеческой слабостью, первое же только делает им честь, что я и попытаюсь продемонстрировать в последней части этой книги. Однако надо быть большим оптимистом, чтобы принимать перечисленное выше в качестве свидетельства глубокой и неизменной приверженности социалистов демократической процедуре. В то

же время мне трудно придумать более удачные примеры, которые бы лучше иллюстрировали отношение социалистов к демократии, если только мы не согласимся принять в качестве таковых русский и венгерский случаи, каждый из которых представляет собой критическую комбинацию возможности захвата власти силой с невозможностью сделать это демократическими средствами. Трудности, неизбежно вырастающие перед нами, когда мы пытаемся отыскать проявления ничем незамутненной приверженности социалистов демократическим идеалам, хорошо видны на примере Австрии. Важность стоявших перед австрийскими социалистами проблем далеко выходит за рамки значимости самой страны благодаря исключительному положению ведущей (неомарксистской) группы австрийской социал-демократии. Австрийские социалисты действительно были привержены демократии в 1918 и 1919 гг., когда она еще не была, как это вскоре стало, средством самозащиты. Однако в

течение нескольких месяцев, когда перспектива монополизации ими власти казалась вполне достижимой, позиция многих из них была не столь однозначной. В то время Фриц Адлер называл принцип большинства фетишизацией "капризов арифметики" (Zufall der Arithmetik), а многие другие скептически пожимали плечами в адрес демократических правил политической игры и демократических процедур. И все эти люди отнюдь не были коммунистами, а подолгу состояли в рядах социалистической партии. Когда большевизм установился в Венгрии, вопрос о выборе курса австрийских социалистов стал особенно жгучим. Невозможно верно понять смысл дискуссии того времени без учета того, что курс партии неплохо описывался следующим высказыванием: "Мы отнюдь не испытываем восторга от перспективы вынужденного сдвига влево (= принятия советских методов). Но если уж нам придется идти этим путем, мы пойдем по нему все как один" [На простом английском

языке это заявление одного из самых известных лидеров австрийских социалистов означает, что они осознавали риск, связанный с установлением большевизма в

стране, полностью зависимой от капиталистических держав из-за остроты продовольственного вопроса, стране, на пороге которой стояли французские и итальянские войска, но если бы давление со стороны России через Венгрию стало слишком сильным, они не допустили бы раскола в партии, а попытались бы привести в большевистский лагерь все стадо.]. Эта оценка общей ситуации в стране и грозящей партии опасностью была вполне разумной. Тем не менее здесь не слишком заметна твердая приверженность демократическим принципам, приписываемая социалистам. В конце концов их отношение к демократической процедуре в корне изменилось. Но эта перемена стала не результатом признания собственных ошибок и заблуждений и отказа от них, а лишь следствием венгерской контрреволюции. Пожалуйста, не подумайте, что я обвиняю социалистов в неискренности или хочу представить их в качестве никудышних демократов или исключительно беспринципных интриганов и приспособленцев. Я убежден, что, несмотря на весь ребяческий макиавеллизм, которому предаются некоторые их пророки, в основе своей большинство социалистов были вполне искренни в своих убеждениях, особенно в том,

что касается пафоса их социальной борьбы. В конце концов людям свойственно верить в то, во что они хотят верить и в чем непрерывно убеждают других. Что касается демократии, то социалистические партии являются в этом плане не большими оппортунистами, чем любые другие; они просто поддерживают демократию, если и когда она служит их идеалам или интересам и не более того. Чтобы читатели

не были шокированы подобными рассуждениями и не подумали бы, что подобная аморальность воззрений достойна только черствых политических функционеров, мы сейчас проведем в уме некий мысленный эксперимент, который в то же самое время станет отправным пунктом нашего исследования сущности демократии.

### 3. Мысленный эксперимент

Предположим, что какое-либо общество пришло к решению преследовать, скажем, некую религиозную секту, причем достигло его путем, полностью соответствующим представлениям читателей о демократии. Это вовсе не такой уж фантастический пример, как может показаться на первый взгляд. Общества, которые многие из нас с

готовностью признали бы демократическими, жгли еретиков у позорного столба (этим отличалась, например, Женева во времена Кальвина) или преследовали их способами,

отвратительными исходя из наших современных моральных стандартов (хорошим примером тому может служить колониальный Массачусетс). Случаи подобного рода имеют значение и тогда, когда они происходят в странах с откровенно недемократическими политическими режимами. Наивно полагать, что демократический процесс полностью исчезает, прекращает работать при автократии, что правитель, обладающий властью, сознательно пренебрегает волей собственного народа и ни при каких обстоятельствах не стремится ей следовать. Анализируя деятельность таких правителей в самые разные периоды времени, мы можем прийти к заключению, что аналогичные их поступкам действия зачастую предпринимались бы даже в том случае,

если бы господствовал не автократический режим, а самая демократическая мораль. Например, по крайней мере ранние гонения на христиан вполне благосклонно воспринимались римским общественным мнением и, вероятно, были бы несколько не мягче, если бы римское общество было совершенной демократией [Существует пример,

который демонстрирует это со всей очевидностью. Светоний в своем жизнеописании Нерона (Жизнь двенадцати цезарей, книга IV) сначала перечислил акты, рассматривавшиеся им как незаслуживающие сурового осуждения, а отчасти даже похвальные (*partim nulla reprehensione, partim etiam non mediocri laude digna*), и только затем описал явные преступления (*probra ac scelera*) этого периода. Преследование Нероном христиан он ставил на первое место в череде самых достойных административных деяний императора (*afficti suppliciiis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae*). Нет причин сомневаться в том, что Светоний выражал не что иное, как мнение (а в более широком смысле даже волю) народа по данному вопросу. Отсюда вполне естественно предположить, что основным мотивом Нерона при осуществлении гонений на христиан было не что иное, как стремление утолить низменные страсти, потакать инстинктам собственного народа).].

Охота на ведьм представляет собой другой пример подобного рода. Она выросла из народных суеверий, из самой глубины души народных масс и вовсе не была дьявольским изобретением священников и князей, которые, напротив, по мере сил и возможностей старались бороться с этим явлением. Хорошо известно, что католическая церковь сурово карала за колдовство. Но если мы сравним эти действия с теми мерами, которые предпринимались против ересей (что было главной заботой Рима), у нас немедленно сложится впечатление, что, преследуя ведьм, Святой престол скорее шел на поводу общественного мнения, нежели сам на него влиял. Даже иезуиты одно время довольно активно боролись с охотой на ведьм, но не слишком в этом преуспели, особенно на первом этапе. С конца XVII и в XVIII вв. (это было время окончательного утверждения абсолютизма на всем Европейском континенте) преобладание в конце концов получили правительственные запреты. Показательно то, с какой осторожностью действовала во всем, что касалось запрещения преследования ведьм, столь сильная и властная правительница, как императрица Мария-Терезия. Этот факт косвенно подтверждает, что она отчетливо сознавала, что в этом отношении идет против воли своего народа. Наконец, возьмем пример, который имеет определенную связь с современными проблемами. Антисемитизм был одним из самых глубоко укоренившихся в душе народных масс предрассудков в большинстве стран, где жило сколь нибудь значительное число евреев относительно общего населения. В наши дни этот род ксенофобии под рационализирующим влиянием капиталистической эволюции частично сдал свои позиции. Однако и сегодня остается немало людей, которые могут обеспечить успех любому политическому деятелю, обращающемуся к ним с антисемитской риторикой, способной затронуть самые чувствительные струны их ушур. (Большая часть антикапиталистических движений нашего времени хорошо усвоила этот урок воздействия на массы.) Тем не менее в средние века евреи выжили благодаря (и это не преувеличение) защите церкви и королей, которые оградили их от неблагоприятного общественного мнения и в конце концов добились их эмансипации [Покровительственное отношение римских пап может быть проиллюстрировано на примере буллы Etsi Judaeis (1120 г.), повторное подтверждение которой преемниками папы Каликста указывало как на продолжение этой политики, так и на сопротивление ей со стороны прихожан. Покровительство европейских монархов легко объяснимо, если припомнить, что изгнание или массовое

уничтожение евреев означало для них прежде всего потерю дохода, в котором они всегда так нуждались.]

А теперь вернемся к нашему эксперименту. Давайте перенесемся в гипотетическую страну, которая, руководствуясь демократическими принципами в управлении, практикует тем не менее преследование христиан, сожжение на кострах ведьм и резню евреев. Мы, конечно, не одобряли бы таких действий, хотя они предпринимались бы в полном соответствии со всеми тонкостями демократической процедуры. Основной вопрос заключается в следующем: можем ли мы одобрить демократическое устройство как таковое, если оно приносит столь плачевные результаты, и отдать ему предпочтение перед недемократическим, которое избежало бы их? Если нет, мы поведем себя в точности как правоверные социалисты, для которых капитализм еще хуже, чем охота на ведьм, и которые ради того, чтобы покончить с ним, готовы использовать какие угодно антидемократические методы. Поскольку дело обстоит именно таким образом, то в этом отношении мы и они находимся в одной лодке. Несомненно, существуют фундаментальные идеалы, которые даже наиболее стойкий демократ в душе ставит выше самой идеи демократии. Все, что он понимает под демократией, заключается для него в убеждении, что именно она-то и будет надежной гарантией таких идеалов, как свобода мысли и слова, справедливость, ответственное правительство и т.д.

Причина, почему дело обстоит именно так, лежит на поверхности. Демократия - это всего лишь метод, так сказать, определенный тип институционального устройства для достижения законодательных и административных политических решений. Отсюда -

она не способна быть целью сама по себе, безотносительно к тем решениям, которые

будут приниматься в конкретных обстоятельствах при ее посредстве. Это положение должно быть отправным пунктом любой попытки дать ее точное определение.

Какой бы ни была главная отличительная черта демократического метода, только что

рассмотренные исторические примеры учат нас нескольким достаточно важным вещам.

Во-первых, эти примеры позволяют нам отклонить любую попытку опровергнуть наше исходное положение о том, что, будучи политическим методом, демократия, как и любой другой метод, не может быть конечной целью сама по себе. Вполне возможно возражение, что демократия является совершенно особым, исключительным методом, который все-таки можно рассматривать в качестве абсолютного идеала или непреходящей ценности. В принципе действительно можно. Несомненно, есть люди, способные полагать, что, как бы ни была преступна или глупа вещь, которую можно насадить с помощью демократической процедуры, воля народа без всяких исключений должна преобладать или, во всяком случае, ей нельзя противодействовать иначе как способом, освященным теми же демократическими принципами. Но в подобных обстоятельствах (о которых речь шла выше) гораздо более естественным кажется говорить о толпе вместо народа и бороться с ее преступными инстинктами или глупостью всеми средствами, находящимися в нашем распоряжении. Во-вторых, если мы соглашаемся с тем, что безусловная приверженность демократии может означать лишь безусловную приверженность определенным интересам и идеалам, которым, как ожидается, она служит, то из этого вытекает, что хотя демократия, возможно, и не является абсолютным идеалом в полном смысле этого слова, но заменяет, замещает его в силу того факта, что она с необходимостью всегда и везде служит определенным интересам или идеалам, за которые мы готовы бороться и ради которых, безусловно, готовы умереть. Очевидно, что это не так [В особенности неверно, что демократия всегда, при любых обстоятельствах будет защищать свободу совести лучше, чем автократия. Об этом, в частности, свидетельствует наиболее известный из всех судебных процессов, когда-либо происходивших на земле. С точки зрения евреев, Пилат, несомненно, был представителем римской автократии. Тем не менее именно он пытался оказать покровительство свободе. Однако в конце концов ему пришлось "умыть руки", уступив разнузданной демократии.]. Как и всякий другой метод, не больше и не меньше, демократия всегда нацелена на достижение соответствующих результатов и обеспечивает определенные интересы и идеалы. Рационально обоснованная приверженность демократии таким образом предполагает не только наличие системы надрациональных ценностей, но также достижение обществом такого состояния, такой фазы своего развития, при которой демократия сможет приемлемо функционировать. Предложения о совершенствовании демократии лишены всякого смысла без ссылки на определенное время и конкретные обстоятельства [См. гл. XXIV.]. К этому, собственно, во многом сводятся и аргументы ее противников. В конце концов все это очевидно, и никого не должно удивлять или, хуже того, шокировать. Страсти и достоинства, с которыми выражались демократические убеждения в любой из рассмотренных выше конкретных ситуаций, это никоим образом не обесценивает. Ясно осознавать относительную обоснованность собственных убеждений и в то же время уметь непоколебимо отстаивать их в случае необходимости - в этом и состоит отличие цивилизованного человека от варвара.

#### 4. В поисках определения

Итак, мы имеем отправной пункт для продолжения нашего исследования. Однако само определение демократии, без которого невозможен дальнейший анализ проблемы, до сих пор выпадало из нашего поля зрения. Предварительно мы должны устранить несколько препятствий

Нам не слишком поможет обращение к Аристотелю, который использовал термин "демократия" для того, чтобы определить одну из разновидностей своего идеала хорошо организованного общества. Некоторый свет может быть пролит на все наши сложности, если вспомнить, какое значение мы придавали термину "политический метод". Под ним подразумевался такой метод, который используется для принятия решений на государственном уровне. Он характеризуется указанием на то, кем и как

принимаются соответствующие политические решения. Приравнивая понятие "принятие решений" и "правление", мы могли бы определить демократию как правление народа. Почему же такое определение не является достаточно точным?

Отнюдь не столько из-за многозначности понятия "народ" (греческий *demos*, римский

*populus* (до Сервия Туллия - плебс, толпа, затем гражданское общество, народ в широком смысле)) и наличия огромного количества концепций "правления" (*kratein*) самих по себе, сколько потому, что все эти определения и концепции напрямую связаны со спором о сущности демократии. Что касается первого из перечисленных выше понятий, то из состава этого самого "народа" (*populus*) могут произвольно полностью исключаться, например, рабы, а отчасти и другие члены данного

общества. Закон может признавать любое количество классов, статусных групп (status), находящихся между рабством и полным или даже привилегированным гражданством. Не обращая внимание на эту узаконенную дискриминацию, различные группы населения в разное время отождествляли с этим термином и считали "народом" именно себя [Смотри в связи с этим определение, данное Вольтером в его "Letters Concerning the English Nation" (опубликованных в Англии в 1733 г.; репринт первого издания опубликован П.Дэвисом в 1926 г. С. 49): "наиболее многочисленная, полезнейшая, можно сказать самая добродетельная и, наконец, почитаемая часть человечества состоит из тех, кто изучает науки и законы, из торговцев, ремесленников, одним словом, из тех, кто не является тиранами; именно

они и составляют то огромное целое, которое называется словом народ". В настоящее время термин "народ" означает скорее массы", однако определение, данное Вольтером, ближе подходит к обозначению того круга людей, для которых написана Конституция этой страны (США. - Прим.ред.).].

Конечно, мы могли бы сказать, что невозможно назвать демократическим общество, которое по крайней мере в государственных делах, таких, как, например, предоставление права на участие в выборах, руководствуется подобным узким толкованием понятия "народ". Но, во-первых, существовали государства, открыто практиковавшие дискриминацию различных статусных групп населения, о многочисленных проявлениях которой выше уже упоминалось, и тем не менее демонстрировавшие большинство характеристик, обычно связываемых с понятием "демократия". Во-вторых, дискриминации в той или иной форме вообще невозможно полностью избежать. Например, ни в одной стране, какой бы демократической она ни

была, право голоса не распространяется на все население, а лишь на определенную возрастную группу. Если мы пристальнее взглянем в причины такого рода ограничений, то обнаружим, что они распространяются на неопределенно большое количество граждан выше данного возрастного рубежа. Если в данном государстве не

позволяют голосовать лицам моложе определенного возраста, мы не можем назвать его недемократическим, как это происходит в случае, если аналогичные ограничения

распространяются на более широкие слои населения. Следует заметить, что не имеет

значения, признаем ли мы, сторонние наблюдатели, значимость причин или обоснованность тех или иных практических правил, которые приводят к существенному увеличению доли населения, не участвующего в политической жизни. Проблема заключается в том, что принимает и признает их общество, о котором идет

речь. Не следует также утверждать, что эти ограничения применяются исключительно

на основании личного несоответствия определенной возрастной группы (в данном случае несовершеннолетних) и неприменимы в массовом масштабе на каких-либо иных основаниях помимо неспособности человека разумно использовать свое право голоса.

На самом деле критерии политической дееспособности отнюдь не однозначны. В принципе определение соответствия им конкретного индивида должно основываться на

своде обычаев и правил. Безусловно, можно сказать, что универсальным критерием является способность человека поддерживать свое существование. Однако в государстве с сильными религиозными убеждениями несогласие с ними, как и принадлежность к женскому полу в случае ярко выраженной антифеминистской направленности общества, столь же безусловно исключают людей из круга наделенных правом избирать или быть избранным. Нетерпимое в расовом отношении общество может связывать право голоса с расовой принадлежностью и т.д. [Так, США

исключают из числа голосующих выходцев из азиатских стран, а Германия лишает гражданских прав евреев; в южной части США негры также зачастую лишены права голоса.]

Основной вопрос, повторим, заключается не в том, что мы думаем о некоторых или даже обо всех перечисленных видах политических ограничений. Основная проблема заключается в том, что при соответствующих взглядах общества на те или иные аспекты своего существования лишение прав на основании низкого экономического

статуса, неподходящего вероисповедания или по признаку пола воспринимается как само собой разумеющееся и относится к тому же классу правовых ограничений, которые всем нам представляются вполне совместимыми с демократией. Мы можем, конечно, их осуждать. Но если мы так поступаем, то, руководствуясь подобной логикой, мы должны осудить теории, утверждающие важность собственности, принадлежности к той или иной религии, расе, полу, а не именовать подобные общества недемократическими. Религиозный фанатизм, например, представляется нам вполне совместимым с существованием демократии, как бы мы не определяли последнюю. Подобный тип глубоко религиозного отношения к миру нередко характеризуется тем, что для его носителя еретик представляется большим злом, чем сумасшедший. Однако из этого факта не должно вытекать, что еретика нужно лишить возможности участвовать в принятии политических решений, так же как человека невменяемого [Для большевика любой не большевик то же самое, что еретик для религиозного фанатика. Отсюда господство партии большевиков per se (само по себе) не дает нам права называть советский строй антидемократическим, мы можем назвать его так только в том случае, если самой этой партией руководят совершенно антидемократическим способом - что, собственно, и происходит на самом деле.].

Не должны ли мы в таком случае предоставить каждому народу (populus) самому определить, что же он из себя представляет?

Этого заключения обычно избегают, вводя произвольные дополнения в теорию демократического процесса; некоторые из них будут обсуждены в последующих главах. Тем временем мы лишь отметим, что подобное заключение существенно проясняет ситуацию. Вдруг обнаруживается, что отношения между демократией и свободой на деле являются более сложными, чем мы привыкли считать.

Еще большие трудности встают в отношении ко второму элементу, входящему в определение демократии, к правлению (kratein). Всегда трудно четко объяснить, в чем заключаются сущность и modus operandi (способ действия) той или иной формы правления. Законной властью не всегда можно реально воспользоваться, но она всегда задает важные ограничения. Определенное, хотя отнюдь не решающее значение

для ее нормального функционирования всегда имеет традиционный престиж. Личный успех и отчасти независимый от успеха личный вес того или иного лица реализуется

как через правовые, так и через традиционные компоненты институциональной структуры и в свою очередь находится под их воздействием. Ни монарх, ни диктатор, ни группа олигархов никогда не обладают абсолютной властью. Они правят

не только сообразуясь с общей ситуацией в государстве, но и исходя из необходимости активно сотрудничать с определенными людьми, ладить с другими, нейтрализовывать активность третьих и подавлять остальных. Все это достигается самыми разными конкретными действиями, совокупность которых и должна определять,

что означает данный тип государственного устройства для страны, в которой он принят, и для исследователя. В этом смысле говорить о монархии так, будто это понятие в любых обстоятельствах означает совершенно определенную форму правления

с присущим ей обязательным набором методов властвования и управления, является просто проявлением элементарного дилетантизма. И если уж именно народ, каким бы образом его не определять, должен осуществлять правление, возникает еще один неудобный вопрос. Как технически возможно правление "народа"?

Существует целый ряд случаев, в которых эта проблема не встает по крайней мере в острой форме. В небольших и примитивных сообществах с простой социальной структурой [Небольшое количество членов и концентрация людей на небольшом пространстве имеют в данном случае существенное значение. Примитивность цивилизации и простота структуры важны в меньшей степени, но наличие этих условий значительно облегчает функционирование механизма демократии.] не существует больших разногласий между ее составляющими. В данном случае все индивиды, составляющие народ, как его определяет конституция, участвуют во всех делах законодательства и управления. Конечно, определенные трудности остаются даже в таких случаях, и специалист, занимающийся психологией группового поведения, добавил бы к сказанному еще кое-что о лидерстве, способах манипулирования общественным мнением и других существенных отличиях реальной

модели от популярного идеала демократии. Тем не менее здесь, очевидно, имело бы смысл говорить о воле и о правлении народа, особенно в тех случаях, когда люди приходят к политическим решениям посредством публичных дебатов, осуществляемых в присутствии каждого члена сообщества, как это было, скажем, в греческом полисе

или на городских собраниях Новой Англии. Эти последние примеры, иногда квалифицируемые как проявления "прямой", "непосредственной" демократии, послужили отправным пунктом для размышлений на эту тему многих политологов. Во всех остальных случаях неизбежно встает уже названная нами проблема - как технически осуществить правление народа и осуществимо ли оно вообще. Можно было бы несколько ослабить ее остроту, но при условии, что мы готовы отбросить в сторону термин "правление народа" и заменить его понятием "правления, одобренного народом". Многого нужно еще сказать по этому поводу. Значительное число утверждений, привычно относимых нами на счет демократии, на самом деле верны по отношению к самым разным формам правления, при которых власти обладают поддержкой значительного большинства граждан или, еще лучше, подавляющего большинства в каждой социальной группе или классе населения. Это же относится, в частности, и к преимуществам, как правило, приписываемым исключительно демократическому методу. В их число входят обеспечение достоинства

личности, удовлетворение от чувства сопричастности к решению сложных политических проблем, от согласования большой политики с общественным мнением, доверие граждан своему правительству и сотрудничество с ним и одновременно возможность последнего положиться на ответственность и поддержку человека с улицы. Все это и многое другое, что зачастую кажется нам самым существом демократии, достаточно полно описывается понятием "правления, одобренного народом". И поскольку совершенно очевидно, что, исключая случаи "прямой демократии", народ как таковой не в состоянии на практике непосредственно управлять или руководить страной, это определение, казалось бы, не нуждается в дополнительном обосновании.

И тем не менее мы не можем принять его. Большинство реальных исторических случаев автократического правления (и освященного божьей милостью (*Dei gratia*), и диктаторского), конституционных монархий или аристократических и плутократических олигархий, как правило, характеризовались безусловной, часто горячей и ревностной поддержкой подавляющего большинства всех классов общества. Из этого следует, что применительно к конкретным историческим условиям они преуспевали в защите того, что, по убеждению большинства из нас, должен отстаивать только демократический строй. Нам следует подчеркнуть это обстоятельство и признать наличие значительного элемента демократии - в данном смысле - даже в самых автократических на первый взгляд режимах. Такое противоядие от культа слишком простых и ясных форм и упрощенной фразеологии было

бы весьма кстати. Но принимая все эти рассуждения, мы окончательно потеряли бы тот феномен, который хотим определить: демократией станет называться гораздо более широкий класс форм государственного и политического устройства, среди которых есть и значительное количество форм явно недемократического оттенка. Наша неудача учит нас по крайней мере одной вещи. За пределами "прямой", "непосредственной" демократии лежит бесконечное множество возможных форм, в рамках которых народ способен принимать участие в делах государственного управления или же влиять на него и контролировать тех, кто на самом деле его осуществляет. Ни одной из таких форм, особенно это касается реально функционирующих, не может быть предоставлено исключительное право носить название "правление народа". Можно присвоить этот титул некоторым из них, только

оговорив предварительно значение, какое мы придаем в таком случае термину "правление". И хотя в действительности народ никогда не правит, в принципе мы можем договориться, что он, по определению, делает это всегда. Правовые (*legal*) теории демократии, появившиеся в XVII-XVIII вв., были ориентированы исключительно на то, чтобы дать такое определение, которое связало

бы реальные и идеальные формы политического устройства с исповедуемой авторами идеологией "народовластия". Почему эта идеология оставила такой заметный след в европейской общественно-политической мысли, понять несложно. В это самое время, по крайней мере в том, что касается государств Западной Европы, мистический

покров божественного помазания и предназначения быстро спадал с плеч абсолютных монархий ["Patriarcha" сэра Роберта Филмера (опубликован в 1680 г.) можно рассматривать в качестве последнего заметного проявления доктрины божественного права в английской политической философии.].

Этот процесс, разумеется, начался гораздо раньше, а закончился он тем, что после падения авторитета абсолютизма "воля народа", или "суверенная власть" народа, заняла освободившееся место. Для такого склада мышления, который уже мог

расстаться с харизмой абсолютной власти, но не был в состоянии существовать без всякой харизмы вообще, подобная замена оказалась наиболее приемлемой одновременно и с этической точки зрения, и в качестве объяснительного принципа. Итак, проблема была поставлена, и правовая мысль начала поиск средств, с помощью

которых она могла бы примирить базовый постулат о верховенстве "воли народа" с существующими моделями политического устройства. Воображаемый общественный договор о подчинении государю свободного земледельца [Эти договоры были искусственно созданной юристами конструкцией (*fictions juris et de jure*). Но они имели реальную историческую аналогию, а именно добровольное подчинение фригольдера средневековому феодалу, широко практиковавшееся в Англии между VI и XII вв. Фригольдер принимал на себя определенные экономические обязательства и находился под юрисдикцией феодала. Он терял при этом свой статус абсолютно свободного человека, а в обмен получал защиту со стороны феодала и некоторые другие преимущества.], посредством которого, как подразумевалось, суверенный народ уступил свою свободу и власть, или не менее фиктивное соглашение о делегировании властных полномочий или, во всяком случае, ряда прерогатив избранным представителям - вот к чему свелось философски-правовое творчество ученых мужей того времени. Как бы хорошо ни служили все эти выдумки определенным

практическим целям, они абсолютно лишены для нас какой-либо научной или практической ценности. Их невозможно даже серьезно защищать с юридической точки зрения.

Для того чтобы придать всем этим концепциям делегирования и представительства какой-то смысл, приходится апеллировать не к отдельным гражданам, а к народу как

целому. Предполагается, что этот самый народ делегирует свою власть, скажем, парламенту, который и является органом представительства. Однако только отдельная личность, автономная физически и морально, способна на основании закона передать свои полномочия или быть кем-то представленной. Таким образом, на Континентальных конгрессах, проходивших с 1774 г. в Филадельфии (так называемые "революционные конгрессы"), фактически были представлены американские

колонии (штаты), пославшие своих делегатов, а отнюдь не народ этих самых колоний, поскольку народ как таковой не является субъектом права. Сказать, что делегаты народа властвуют от его имени или представляют его в парламенте, - это все равно, что заявить нечто, лишненное всякого юридического (*legal*) смысла [Как нет никакого юридического смысла в общественном обвинении от имени народа на судебном процессе, например, "народ против такого-то и такого-то". Правовым субъектом (*legal person*), осуществляющим судебное преследование и представляющим

обвинение, выступает государство.].

Что же в таком случае представляет собой парламент? Ответ лежит на поверхности: это государственный орган, такой же, как правительство или суд. Если парламент и

представляет народ, то делает это в несколько ином, отличном от обыденного смысле, который нам еще предстоит рассмотреть в последующих главах книги. Однако все эти "теории" о суверенитете народа, о делегировании им своих полномочий и о представительстве отражают нечто большее, чем просто идеологический постулат или образцы правовой техники. Они дополняют социологию или социальную философию "политического тела", которая отчасти под влиянием возрождения воззрений древних греков, отчасти под влиянием событий своего времени [Это особенно заметно в Англии прежде всего на примере творчества Джона Локка. Как политический мыслитель, под видом общих философских рассуждений он просто выступал против Якова II и активно поддерживал своих друзей - виггов, которые провозгласили себя творцами "славной" революции. Это обстоятельство

объясняет шумный успех его рассуждений, которые без такого практического доверка были бы ниже всякой критики. Цель правительства - благо народа, а это благо состоит в защите частной собственности, наличие которой делает людей полноценными членами общества. Ради этой самой цели (общественного блага) граждане собираются вместе и заключают Общественный договор о своем добровольном

подчинении королевской власти. Этот договор ныне нарушен королем, собственность и свобода нагло попираются, а потому сопротивление такой власти вполне оправдано, поскольку так считают виги - аристократы и представители лондонского торгового класса.] бурно развивалась, достигнув своего расцвета к концу XVIII в., и предприняла попытку решить извечную проблему правления народа. Хотя столь общие понятия вообще никогда не бывают абсолютно точными и неоспоримыми, я все же рискну описать эту концепцию как рационалистическую, гедонистскую и индивидуалистическую. Толкуемое в гедонистическом духе понятие счастья отдельных людей предполагает, что эта цель и средства ее достижения ясно всеми понимаются или, во всяком случае, получают ясное истолкование в процессе воспитания индивидов; в нем стали видеть смысл жизни и воспринимать его в качестве универсального принципа, лежащего в основе как частной жизни, так и политической сферы. Мы можем определить эту социологию или социальную философию,

продукт раннего капитализма, термином "утилитаризм", который был введен в научный оборот Джоном Стюартом Миллем. В соответствии с этим учением поведение, согласующееся с подобным принципом, признавалось не только рациональным и в целом оправданным, но тем самым (*ipso facto*) еще и "естественным" поведением. Это положение явилось своеобразным соединительным мостиком между совершенно разными социальными теориями чистого утилитариста И. Бентама и Ж.-Ж. Руссо с его

идеей общественного договора (*central social*) - имена, которые подобно маякам останутся в поле нашего зрения, в то время как многие другие нам просто придется

опустить в рамках данного исследования.

Если такая вынужденная, искусственная краткость изложения не мешает читателям следить за ходом моей мысли и следовать моим аргументам, то утверждение о распространении этой философии на весь комплекс вопросов, связанных с определением демократии, не станет для них неожиданностью. Совершенно очевидно, что кроме прочих последствий этот процесс привел к возникновению новой теории сущности государства и целей его существования. Более того, благодаря акценту на роли рационального и гедонистического индивида с его этической автономией эта теория, казалось, была в состоянии дать верные политические методы для быстрого распространения государства подобного образца (модели) и для достижения таких целей, как величайшее счастье для максимально возможного числа людей и т.п. Наконец, она на первый взгляд обеспечила рациональное обоснование веры в "волю народа" (*volonte generale*) и воплотилась в

рекомендации, суммирующие все, что демократия означала для группы авторов, ставших известными в качестве "Философских радикалов" [Для общей ориентации смотри работы: Kent. *The Philosophical Radical*, Graham Wallas-*The Life of Francis Place*, Leslie Stephen. *The English Utilitarians*.]: воспитывать людей, привить им определенные ценности и затем дать им свободно голосовать. Ожесточенная критика этой концепции поднялась почти одновременно с ее появлением

как часть общей реакции против рационализма XVIII в., наступившей после французской революции и наполеоновских войн. Что бы мы ни думали о достоинствах и недостатках движения, обычно называемого романтизмом, оно, конечно, выражало более глубокое понимание докапиталистического общества и исторической эволюции вообще и таким образом выявляло некоторые фундаментальные ошибки утилитаризма, а

также той политической теории, для которой служило основой. Последующий исторический, социологический, биологический, психологический и экономический анализ оказался разрушительным и для утилитаризма, и для романтизма, и сегодня трудно найти исследователя социальных процессов, который хорошо отозвался бы о них. Каким бы странным это не казалось, но работа в русле утилитаризма продолжалась, хотя она и полностью разбита. Однако чем более неустойчивой она

оказывалась, тем более полно доминировала в официальной фразеологии и риторике политических деятелей. Поэтому в следующей главе нам придется вновь обратиться к дискуссии о том, что же в конце концов можно назвать "Классической теорией демократии".

Нельзя сказать, что какой-либо институт, способ поведения или религиозная вера существуют лишь благодаря теории, которая некогда активно выступила в их поддержку. Демократия в этом смысле не является исключением. Создание теории демократического процесса, которая учитывала бы все реалии взаимодействия на общественной арене различных социальных групп и роль общественного сознания (public mind), на самом деле вполне возможно.

Именно такая теория и будет представлена в гл. XXII, после чего мы наконец сможем ответить на вопрос о том, что случится с демократией при социализме.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать первая.  
Классическая доктрина демократии

#### 1. Общее благо и воля народа

Философия демократии XVIII в. может быть определена следующим образом: демократический метод есть такая совокупность институциональных средств принятия

политических решений, с помощью которых осуществляется общее благо путем предоставления самому народу возможности решать проблемы через выборы индивидов,

которые собираются для того, чтобы выполнить его волю. На практике это означает следующее.

Предполагается, что существует Общее Благо, достижение которого является очевидной целью любой политики. Оно легко поддается определению и пониманию со стороны любого нормального человека, если ему предъявить рациональные доводы. Таким образом, нет оправдания тому, кто не понимает общего блага, и другого объяснения, кроме незнания (которое можно преодолеть), глупости и антисоциального интереса, существованию людей. Кроме того, наличие общего блага требует определенных ответов на все вопросы, так что любой факт социальной жизни, любое действие, которое предпринято или которое предполагается предпринять, можно безошибочно оценить как "хорошее" или "плохое". Все люди должны, следовательно, прийти к согласию, но крайней мере принципиального характера, что существует общая воля народа (=воле всех разумных индивидов), которая соответствует общему благу, интересу, благосостоянию или счастью. Единственное обстоятельство, если не принимать во внимание глупость и злонамеренные интересы, которое может привести к разногласиям и объяснить наличие оппозиции, - это разница во мнениях, касающихся скорости, с которой поставленные общие для всех цели должны быть достигнуты. Так, каждый член общества, имея в виду общие цели, зная свои собственные интересы и оценивая, что

хорошо, а что плохо, принимает активное и ответственное участие в увеличении хорошего и борьбе против плохого, а все члены общества, вместе взятые, контролируют общественные дела.

Ведение многих дел такого рода требует специальных навыков и, следовательно, должно быть возложено на соответствующих специалистов. Это, однако, не касается принципиальной стороны вопроса, поскольку эти специалисты просто действуют в целях выполнения воли народа точно так же, как врач действует в соответствии с желанием пациента поправиться. Кроме того, в сообществе любого масштаба, особенно если в нем существует разделение труда, для каждого гражданина в отдельности было бы крайне неудобным вступать в контакт со всеми другими гражданами по любому вопросу для того, чтобы принять надлежащее участие в управлении. Удобнее оставить наиболее важные решения за индивидуальными

гражданами - например, посредством участия в референдуме, - а решение остальных оставить за комитетом, ими назначенным, ассамблеей или парламентом, члены которого избираются всенародным голосованием. Этот комитет или орган, состоящий из делегатов, как мы уже видели, не будет представлять народ в правовом смысле, но в менее техническом плане он будет являться представителем народа, поскольку будет формулировать, отражать или представлять волю электората. Опять же в целях

удобства этот большой комитет может разделиться на меньшие для рассмотрения различных по содержанию государственных дел. Наконец, в числе этих небольших комитетов должен быть создан комитет для решения общих задач, в основном связанных с текущим управлением, в виде кабинета или правительства, возможно возглавляемого генеральным секретарем - иными словами, козлом отпущения, так называемым премьер-министром [Официальная теория, описывающая функции министра кабинета, утверждает, что он назначается с целью контроля за тем, чтобы на направлении, находящемся в его ведении, выполнялась воля народа.].

Как только мы примем за данность все послылки данной теории государственного устройства - или последствия, которые из нее вытекают, - так демократия приобретает совершенно недвусмысленное значение, и других проблем, кроме той, как добиться ее установления, не возникнет. Более того, если отвлечься от нескольких логических противоречий, можно добавить, что в этом случае демократическое устройство не только будет лучшим из возможных, но большинство людей даже не будут рассматривать иные возможности.

Однако не менее очевидно, что, если мы хотим прийти к такому выводу, каждая из этих посылок потребует доказательств, между тем гораздо легче привести доказательства противоположного.

Во-первых, не существует однозначно определенного понятия общего блага, которое устроило бы всех, если только будут приведены рациональные доводы. Это связано не только с тем обстоятельством, что некоторые личности имеют устремления, не совпадающие с общим благом, но в первую очередь с тем основополагающим моментом,

что разные индивиды и группы вкладывают в понятие общего блага различное содержание. Этот факт, скрытый от утилитариста узостью его взгляда на мир человеческих мнений, порождает принципиальные противоречия, которые нельзя разрешить с помощью рациональной аргументации, потому что высшие ценности - наши

взгляды по поводу того, как должна быть устроена жизнь и общество, - нельзя втиснуть в рамки простой логики. В ряде случаев здесь можно достичь компромисса,

но американцы, говорящие: "Мы хотим, чтобы наша страна вооружилась до зубов и затем боролась за то, что мы считаем правильным, в масштабе всей планеты", и американцы, говорящие: "Мы хотим, чтобы наша страна наилучшим образом решала свои проблемы, ибо только тем она может служить всему человечеству", придерживаются непреодолимо разных ценностей, что компромисс может привести к ущербу.

Во-вторых, даже если достаточно определенное общее благо, такое, как максимум экономического удовлетворения в утилитаристском понимании [Сам смысл "наибольшего счастья" весьма сомнителен. Но даже если это сомнение можно было бы

развеять и придать общей сумме экономического удовлетворения группы людей вполне

определенное содержание, этот максимум все равно будет относиться к определенным

ситуациям и оценкам, изменить которые или найти компромисс в отношении которых демократическим путем может оказаться невозможным.], оказалось как бы приемлемым

для всех, это не повлекло бы столь же определенных ответов на конкретные вопросы. Здесь мнения могли бы разделиться настолько, что породили бы фундаментальные расхождения по поводу самих целей. Проблемы, связанные с сопоставлением настоящего и будущего удовлетворения и даже со сравнением социализма и капитализма, остались бы нерешенными, даже если бы каждого гражданина удалось обратить в утилитаристскую веру. "Здоровья" могут хотеть все,

но у людей по-прежнему не было бы единого мнения по поводу целесообразности вакцинации или операции на сосудах. И так далее.

Утилитаристы - отцы демократической доктрины не поняли до конца значения этой аргументации, потому что никто из них серьезно не рассматривал возможности коренных изменений в экономической системе и привычках буржуазного общества. Они

в общем-то недалеко ушли от миропонимания мелкого лавочника XVIII столетия. В-третьих, как следствие двух предыдущих рассуждений, концепция воли народа или всеобщей воли, которую эти мыслители взяли на вооружение, не имеет под собой реальной почвы. Эта концепция предполагает существование однозначно определяемого общего блага, приемлемого для всех. В отличие от романтиков утилитаристы не имели понятия о полумистической, облеченной собственной волей "душе народа", о которой так много говорит историческая школа юриспруденции. Они

прямодушно выводили волю народа из суммы воль индивидов. А если нет ядра, общего

блага, к которому, по крайней мере в долгосрочной перспективе, тяготеют все отдельно взятые воли индивидов, мы не сможем выявить этот конкретный тип естественной общей воли. Утилитаристский центр притяжения, с одной стороны, объединяет индивидуальные воли и пытается слить их с помощью рациональной дискуссии в волю народа и, с другой стороны, возлагает на последнюю исключительное этическое значение, которое приписывается демократии классической

концепцией. Эта концепция не состоит лишь в поклонении воли народа как таковой, но основывается на определенных представлениях о "естественном" объекте такой воли, выбор которого продиктован утилитаристскими соображениями. Самое существование и высшее значение такого рода "всеобщей воли" исчезают, как только

исчезает понятие общего блага. Так оба столпа классической доктрины демократии рассыпаются в прах.

## 2. Воля народа и воля индивида

Конечно, приведенные аргументы свидетельствуют против именно данной концепции воли народа, они не мешают нам попытаться выработать другую, более реалистическую концепцию. Я не намерен ставить под сомнение ни истинность, ни важность социально-психологических фактов, которые мы имеем в виду, говоря о воле нации. Их анализ - первоначальное условие для разработки проблем, связанных с пониманием демократии. Однако лучше не настаивать на этом термине, потому что он затушевывает то обстоятельство, что, как только мы освободим понятие воли народа от утилитаристских ассоциаций, мы будем создавать не иную теорию того же самого вопроса, но теорию совершенно иной проблемы. У нас есть все основания опасаться подводных камней, которые лежат на пути тех защитников демократии, которые, принимая под давлением растущего количества доказательств факты демократического процесса, пытаются умаслить результаты этого процесса маслом из сосудов, наполненных еще в XVIII в.!

Но, хотя мы можем попробовать выделить общую волю или общественное мнение определенного рода из сложного переплетения индивидуальных и групповых ситуаций,

воль, влияний, действий и реакций со стороны "демократического процесса", результат будет страдать отсутствием не только рационального единства, но и рационального обоснования.

Первое означает, что хотя с точки зрения анализа демократический процесс не просто хаотичен - для аналитика не хаотично то, что может быть в какой-то степени объяснено, - однако результаты могут иметь какой-то рациональный смысл лишь случайно - как, например, имеет смысл осуществление определенной цели или определенного идеала. Последнее означает, что поскольку такая воля более не тождественна достижению какого-либо блага, то для того, чтобы результат был достойным с этической точки зрения, необходимо опираться на безусловную веру в демократические формы правления как таковые - веру, которая в принципе не должна

зависеть от желаемости результатов. Нелегко, как мы видели, встать на такую позицию. Но даже если мы это сделаем, отказ от утилитаристского общего блага оставляет нам немало трудностей и проблем.

В частности, мы по-прежнему стоим перед практической необходимостью приписывать воле индивида совершенно нереалистичную степень независимости и рациональности. Если мы исходим из того, что воля граждан сама по себе - политический фактор, требующий уважения, то в таком случае эта воля должна прежде всего существовать.

То есть она должна быть чем-то большим, чем неопределенным набором неких импульсов, возникающих на почве заданных лозунгов и неправильных впечатлений. Каждый должен в таком случае знать, каких взглядов он придерживается. Эта определенная воля должна проводиться в жизнь при помощи способности наблюдать и правильно интерпретировать факты, доступные всем, и критически отбирать информацию, связанную с фактами необщедоступными. Наконец, из этой определенной воли и проверенных фактов необходимо будет в соответствии с правилами логики сделать ясный и скорый вывод о том, что касается конкретных вопросов, - с такой высокой степенью эффективности, что мнение каждого отдельного человека (если оно

не является явно абсурдным) будет приниматься наряду с мнением всех остальных [Это объясняет откровенно уравнилельный характер и классической доктрины демократии, и широко распространенных демократических убеждений. Я далее останавливаюсь на том, как Равенство может приобрести статус этической постулата. Как фактическая характеристика человеческой природы постулат равенства

ни в каком аспекте не может быть верным. Имея это в виду. сам этот постулат часто переформулируется в понятие "равенство возможностей". Но даже закрывая глаза на трудности, кроющиеся в толковании возможностей, такая переформулировка немного нам даст, потому что, когда речь идет об определении политического поведения, нам важны действительные, а не потенциальные возможности человека, если мы хотим, чтобы голос отдельно взятого индивида имел одинаковый вес при решении тех или иных проблем. Кроме того, следует иметь в виду, что благодаря демократической фразеологии какое бы то ни было неравенство ассоциируется с "несправедливостью". Эта ассоциация является важным элементом психологии неудачников и входит в арсенал политиков, на них опирающихся. Интереснейшим примером в этом плане был принятый в Афинах институт остракизма или, скорее, то,

как его иногда использовали. Речь идет о том, что всеобщим голосованием индивид подвергался остракизму, причем необязательно под влиянием каких-то определенных причин. Иногда такая мера давала возможность умерить притязания слишком влиятельных граждан, которые претендовали на то, что они имеют больше прав, чем остальные.]. И все это образцовый гражданин должен будет делать самостоятельно, независимо от групп давления и пропаганды [Этот термин используется здесь в своем первоначальном значении, а не в том значении, которое он все чаще получает

сегодня и которое предполагает следующее определение: пропагандой является заявление, исходящее из источника, который мы не приемлем. Я думаю, что сам термин происходит от названия комитета кардиналов, рассматривающего вопросы, связанные с распространением католической веры, (congregatio de propaganda fide). Сам по себе он не несет уничижительного оттенка и не предполагает передергивания фактов. Можно, например, пропагандировать научный метод. Пропагандировать означает представлять факты и аргументацию таким образом, чтобы

повлиять в определенном направлении на действия или мнения людей.], так как воля

и выводы, ненавязанные электорату, не согласуются с понятием демократического процесса. На вопрос о том, выполняются ли эти условия в той степени, чтобы можно

было говорить о функционировании демократии, нельзя сразу ответить "да" или "нет". На него можно ответить, только дав тщательную оценку противоречивых свидетельств.

Перед тем как приступить к этому вопросу, я хотел бы убедиться в том, что читатель хорошо представляет себе еще один вопрос, о котором шла речь выше. Поэтому я повторяю, что, даже если бы мнения и желания каждого отдельного гражданина представляли бы совершенно определенную и независимую основу для развертывания демократического процесса и каждый рационально и своевременно поступал бы в соответствии с ними, отсюда еще не следовало бы, что политические решения, принимаемые в рамках этого процесса, представляли бы собой нечто такое,

что с большой долей убедительности может быть названо волей народа. Можно предполагать и даже считать очень вероятным, что когда воли индивидов в значительной мере разнятся, то принимаемые политические решения не будут

соответствовать тому, чего "действительно хочет народ". И нельзя сказать, что если они не соответствуют тому, чего "народ действительно хочет", то народ получит "приемлемый компромисс". Так может произойти особенно при решении тех вопросов, которые носят количественный характер или поддаются градуации, как, например, вопрос о том, сколько средств следует отпустить на решение проблем безработицы при том, что с необходимостью отпустить на решение этого вопроса определенные средства согласны все. Но в том, что касается качественных вопросов, таких, как вопрос о том, надо ли преследовать еретиков или ввязываться

в войны, полученный результат может оказаться в силу различных причин неприемлемым для всех, в то время как навязанное недемократической инстанцией решение может оказаться гораздо более приемлемым. Приведу пример. По моему мнению, можно определить правление Наполеона в бытность

его Первым Консулом как военную диктатуру. Одной из насущных проблем тогдашнего политического момента было достижение согласия по религиозным вопросам, которое преодолело бы оставленный революцией и Директорией хаос и принесло бы мир в сердца миллионов людей. Наполеон добился этого, приняв ряд блестящих решений, апофеозом которых был конкордат с папой (1801 г.) и "органические статьи" (1802 г.), которые, примиря непримиримое, дали необходимую степень свободы различным вероисповеданиям, укрепляя при этом власть государства. Он также реорганизовал французскую католическую церковь и пересмотрел вопрос о ее финансировании, решил

деликатный вопрос о "конституционных" священнослужителях и претворил в жизнь эти новые решения с минимумом трений. Эти действия Наполеона, безусловно, важнейшее историческое подтверждение тому, что люди иногда действительно хотят вполне определенных решений. Для всех, изучающих классовую структуру того периода, это достаточно очевидно, в меньшей степени это подтверждается и всеобщей поддержкой режима Консулов, в возникновении которой религиозная политика Наполеона сыграла немалую роль. Но с трудом можно представить себе, чтобы такого результата можно было достичь демократическим путем. Антицерковные настроения к тому времени не были преодолены, и их распространение не ограничивалось побежденными якобинцами. Люди, придерживающиеся таких убеждений, или их лидеры не пошли бы на такой широкомасштабный компромисс [Законодательные органы, как бы запуганы они ни были, не смогли обеспечить Наполеону поддержку в этом вопросе. А многие из его верных сторонников были противниками компромисса.]. На другом полюсе общества росли непримиримые католические настроения. Разделявшие такие убеждения люди или лидеры, зависевшие от поддержки

таких людей, не остановились бы на тех рубежах, которые определил Наполеон; в частности, они не предприняли столь твердых шагов в отношении папского престола,

для которых, кстати, не было особых оснований, учитывая то, как развивались события. А воля крестьян, которые требовали своих священников, церкви, церковные процессии, была бы парализована более чем естественным страхом перед тем, что революционное решение вопроса о земле будет поставлено под сомнение, как только церковные иерархи, в частности епископы, восстановят утраченные позиции. Тупик или непрекращающаяся борьба, влекущая за собой рост раздражения, были бы наиболее вероятным исходом любых попыток решить вопрос демократическим путем. Но Наполеон смог разумно решить его в значительной степени потому, что все эти группы, которые сами добровольно не могли сдать свои позиции, могли и были готовы принять навязанные сверху решения.

Это не единственный пример такого рода [Из опыта Наполеона можно сделать и другие выводы. Он был автократом, который, когда дело не касалось его династических интересов или внешней политики, старался делать то, что, как он считал, необходимо или находится в соответствии с пожеланиями народа. Такого рода советы он давал Евгению Богарне в отношении управления Северной Италией.]. Если правительством для народа можно назвать такое правительство, результаты политики которого в долгосрочной перспективе окажутся приемлемыми для народа в целом, то правительство, сформированное самим народом в трактовке классической доктрины демократии, часто не соответствует этому критерию.

### 3. Человеческая природа в политике

Остается ответить на наш вопрос об определенности и независимости воли избирателя, его способности наблюдать и интерпретировать и делать своевременно

и быстро необходимые выводы. Этот предмет относится к той главе социальной психологии, которую можно озаглавить "Человеческая природа в политике" [Так называется откровенная, очаровательная книга одного из выдающихся представителей

английской радикальной мысли Г.Уоллеса Невзирая на все, что было потом написано на эту тему, и особенно невзирая на детальные конкретные исследования, которые теперь дают гораздо больше возможностей лучше понять вопрос, эту книгу по-прежнему можно рекомендовать как лучшее введение в политическую психологию. Однако, после того как с удивительной и достойной всяческих похвал честностью автор ратует против не критического принятия классической доктрины, он не делает очевидного вывода. Это тем более удивительно, что он с полным правом отстаивает необходимость научного подхода и призывает к ответу лорда Брайса за то, что он в

книге об Америке ратовал за то, чтобы любой ценой увидеть просвет в море необнадеживающих фактов. Г.Уоллес восклицает. "Что же мы подумаем о метеорологе,

который с самого начала, не прибегая к изучению фактов, говорит о том, что он видит голубое небо". Тем не менее, излагая собственную концепцию, он в значительной мере идет по тому же пути.]

В течение второй половины прошлого века идея об однородности человеческой личности и об определенной воле как главной движущей силе ее действий постепенно

теряла привлекательность, еще до того, как Теодюль Рибо и Зигмунд Фрейд сформулировали свои теории. В частности, эти идеи постепенно и неуклонно отбрасывались в социальных науках, где внерациональному и иррациональному элементам в нашем поведении придавалось все возрастающее значение (например, в работе Парето "Мысль и общество"). Из числа источников, свидетельствующих против

гипотезы рациональности, приведу лишь два.

Один, - несмотря на то, что в дальнейшем проводились более подробные изыскания на эту тему, - связан с именем Густава Ле Бона, основателя или, по крайней мере,

первого последовательного излагается теории психологии толпы (psychologic des foules) [Немецкий термин (Massenpsychologie) предостерегает: понятие психологии толпы и психологии масс не следует смешивать. Первое не несет никакого классового содержания и само по себе не имеет ничего общего с изучением характера мышления и самоощущения, например, рабочего класса.]. Демонстрируя, хотя и переоценивая, реалии человеческого поведения под влиянием агломерации - в

особенности внезапное исчезновение в состоянии возбуждения моральных ограничителей и цивилизованных способов думать и чувствовать, внезапные взрывы примитивных импульсов, инфантилизма и криминальных наклонностей, - Ле Бон поставил нас перед лицом нелицеприятного известного всем факта, на который ранее

закрывали глаза, и тем самым нанес серьезный удар по картине человеческой природы, которая лежит в основе классической доктрины демократии, и демократическому фольклору о революциях. Без сомнения, следует подчеркнуть узость фактологической базы рассуждений Ле Бона, которые, например, не очень согласуются с нормальным поведением английской или англо-американской толпы. Критики, особенно те, для которых выводы этого направления социальной психологии

не согласовывались с их собственными, хорошо использовали к своей выгоде уязвимые стороны его рассуждений. Но, с другой стороны, следует помнить, что феномен психологии толпы не следует сводить к картинам массовых столкновений на узких улочках городов Южной Европы. Каждый парламент, комитет, военный Совет в составе дюжины генералов преклонного возраста демонстрирует, пусть в приглушенной форме, некоторые из тех характерных черт, которые присущи вышеупомянутой толпе, в частности пониженное чувство ответственности, более низкий уровень энергии мысли и большую подверженность влиянию нелогичных аргументов. Более того, такие феномены присущи не только толпе, понимаемой как физический конгломерат многих людей. Читатели газет, аудитория радио, члены какой-либо партии, даже если физически они не находятся вместе, могут быть очень легко объединены в психологическую толпу и приведены в безумное психическое состояние, когда любая попытка привести рациональные аргументы лишь

будит звериные инстинкты.

Другой источник, который я приведу, более скромный по характеру - последствия у него не связаны с кровопролитием. Экономисты, начавшие более внимательно относиться к фактам, находящимся в их распоряжении, стали приходить к выводу о том, что даже в самых повседневных делах поведение потребителей не в полной мере

соответствует постулатам, которые содержатся в учебниках экономики. С одной стороны, их желания не столь определенны, а действия, направленные на выполнение

желаний, не столь рациональны и быстры. С другой стороны, они столь подвержены рекламе и другим методам убеждения, что производители чаще диктуют условия вместо того, чтобы самим руководствоваться желаниями потребителей. Техника успешной рекламы в этом смысле наиболее поучительна. Почти всегда присутствует какая-то доля апелляции к разуму. Но простое утверждение, часто повторяемое, имеет большее воздействие, чем рациональная аргументация, так же, впрочем, как и

прямое наступление на подсознание, которое принимает формы попыток возбудить приятные ассоциации чисто внерационального, очень часто сексуального характера.

Вывод, хотя и очевидный, следует делать весьма осторожно. Принимая часто повторяемые решения, индивид подвергается благотворному, рационализирующему влиянию положительного или отрицательного опыта. Он также находится под влиянием

относительно простых, не вызывающих проблем мотиваций и интересов, на которые лишь иногда оказывают влияние эмоции. С исторической точки зрения желание потребителей приобрести ботинки может хотя бы отчасти формироваться под влиянием

действий производителей, предлагающих привлекательную обувь и проводящих соответствующие рекламные кампании; вместе с тем во все времена такое желание составляет жизненную необходимость, определенно выраженную и выходящую за рамки требования "ботинок вообще", причем длительное экспериментирование в этой области очищает ее от тех элементов иррационального, которые могли ее ранее окружать [В нашем контексте иррациональность означает неумение действовать рационально в соответствии с определенным желанием. Речь не идет об оценке разумности желания как такового в соответствии с мнением наблюдателя. Это важно подчеркнуть, ибо экономисты, оценивая степень иррационального поведения потребителей, часто переоценивают его, смешивая первое и второе. Так, желание фабричной работницы хорошо одеваться (в рамках своего понимания) может показаться профессору показателем иррационального поведения, у которого нет другого объяснения, кроме как воздействие рекламы. На самом деле это может быть пределом ее мечтаний. В этом смысле ее затраты на выполнение этого желания могут

быть строго рациональны в вышеприведенном смысле.]. Более того, под влиянием таких простых мотивов потребители учатся действовать, основываясь на непредвзятом мнении экспертов по ряду вопросов (жилище, машина) и сами становятся экспертами в некоторых областях. Неправда, что домохозяйка легко обмануть в вопросах продуктов питания, известных предметов домашнего обихода или

одежды. И как знает каждый коммивояжер на своем печальном опыте, они в большинстве своем умеют настоять и получить именно то, что они хотят. Это, конечно, еще более верно применительно к производителю. Без сомнения, производитель может быть ленивым, может плохо оценивать различные возможности, некомпетентным в других вопросах. Но есть эффективный механизм, который его переделает либо вовсе устраним. Тейлоризм зиждется на том, что человек может делать простейшие операции вручную в течение тысяч лет и тем не менее делать их неэффективно. Но, однако, намерение действовать как можно более рационально и последовательное давление в целях добиться такой рациональности, бесспорно, существуют вне зависимости от того, какой уровень производственной или коммерческой деятельности мы анализируем [Этот уровень, конечно, разнится не только в зависимости от времени и места, но и в данном времени и месте между различными отраслями и классами. Такого понятия, как универсальная рациональность, не существует.].

И это касается большинства повседневных решений, принадлежащих области, которую может охватить сознание каждого индивидуального гражданина. В общем эта область

состоит из проблем, касающихся лично его, его семьи, работы, увлечений, его друзей и врагов, его квартала, клана, церкви, профсоюза или иной социальной группы, активным членом которой он является, т.е. проблем, находящихся в сфере его непосредственного внимания. Эти проблемы ему хорошо знакомы независимо от той информации, которую он получает из своей газеты, на их решение он может прямо повлиять и относительно них он имеет чувство ответственности, проистекающее из того факта, что благоприятные или неблагоприятные последствия того или иного действия имеют к нему прямое отношение.

Еще раз повторю: близкое знакомство с людьми и делами, чувство реальности или ответственности еще не гарантирует определенности и рациональности действия [Рациональность мысли и рациональность действия - два различных понятия. Первое не всегда гарантирует второе. И наоборот, последнее может присутствовать без каких-либо сознательных выводов и независимо от умения рационально обосновать собственные действия. Наблюдатель, особенно использующий интервью и опросы как источник информации, часто закрывает на это глаза и потому получает гипертрофированное представление о важности иррациональных начал в поведении. Это еще один источник часто встречающихся оценок подобного рода.]. Для этого необходим ряд других условий, которые часто не соблюдаются.

Например, поколение за поколением могут страдать от нерационального поведения в вопросах гигиены и вместе с тем не связывать свои страдания со своими же вредными привычками. До тех пор, пока это не будет сделано, объективные последствия, какими бы регулярными они не были, конечно же, не отражаются в субъективном опыте. Так, человечество с огромным трудом осознало связь между инфекцией и эпидемиями. Факты указывали на эту связь, казалось бы, с исчерпывающей очевидностью, однако до конца XVIII в. доктора почти ничего не делали для того, чтобы предотвратить общение людей, зараженных инфекционными болезнями, такими, например, как корь или оспа, со здоровыми людьми. И разумеется, что дела будут обстоять еще хуже, когда налицо не только неумение, но и нежелание признать причинно-следственные связи или существует заинтересованность в том, чтобы не признавать их. Однако, несмотря на все это, в широких рамках человеческого поведения существует

более ограниченное поле - различное по размерам у разных групп и индивидов и ограниченное скорее широкими полосами, чем четко проведенной линией, - для которого характерны хорошая осведомленность, чувство реальности и ответственности. В границах этого поля существуют достаточно определенные индивидуальные устремления. Они часто могут казаться нам неумными, узкими и эгоистичными. Неясно, почему, когда дело касается политических решений, мы должны молиться у их алтаря, и еще менее понятно, почему мы должны считать всех их равноправными. Если, однако, мы сделаем такой выбор, то этот алтарь, по крайней мере, не будет пустым [Следует отметить, что, говоря об определенных и подлинных устремлениях, я не хочу возводить их в ранг единственно возможных данных для социального анализа любого рода. Естественно, сами они - продукты социальных процессов и социального окружения. Я имею в виду, что этими данными может оперировать специальный экономический анализ, выводящий цены из вкусов или

желаний, которые в любой конкретный момент являются заданными и не нуждаются в дальнейшем анализе. Аналогично мы можем в наших целях говорить о подлинных и определенных желаниях, которые в каждый конкретный момент независимы от попыток формировать их, хотя мы и признаем, что сами эти желания - результат прошлого влияния среды, в том числе пропагандистского. Различение подлинных и привнесенных, сформулированных желаний (см. ниже) - трудное дело, его нельзя осуществить во всех случаях, применительно к любой цели. В наших целях, однако, достаточно указать на соображения очевидного здравого смысла.]. Эта относительная определенность желаний и рациональность поведения не исчезают вдруг, как только мы от повседневных забот дома и на работе, которые воспитывают

и дисциплинируют нас, переходим к заботам иным. В области государственных дел есть области, которые более поддаются анализу со стороны граждан, чем другие. Это касается, во-первых, дел местного масштаба. Даже здесь воля выявлять факты и

действовать в соответствии с ними и чувство ответственности ослаблены. Мы все знакомы с людьми - и часто вполне достойными, - которые заявляют, что местное управление - не их дело, и лишь пожимают плечами при виде действий, которые он

ни за что не допустил бы на его работе. Возвышенно мыслящие граждане, увещающие избирателя и налогоплательщика проявить ответственность, всегда обнаруживают, что избиратель не чувствует ответственности за действия местных властей. Несмотря на это, особенно в небольших по числу людей общностях, где все

друг друга знают, местный патриотизм может быть важнейшим "двигателем демократического процесса". И проблемы города во многих отношениях сродни проблемам производственного предприятия. Человек, понимающий последнее, часто до какой-то степени понимает и первое. Фабрикант, торговец или рабочий не должен

выходить за рамки привычного мира для того, чтобы иметь рационально обоснованное

мнение (правильное или нет) относительно уборки улиц или деятельности муниципалитета.

Во-вторых, существует ряд вопросов национального масштаба, касающихся групп и отдельных лиц непосредственно и поэтому пробуждающих вполне определенные, истинные желания. В первую очередь речь идет о вопросах, непосредственно касающихся денежных доходов индивидуальных избирателей и их групп, таких, как прямые выплаты, защитные тарифы и т.п. Исторический опыт еще со времен античности свидетельствует о том, что в целом избиратели быстро и рационально реагируют в таких случаях. Но такого рода проявления рациональности мало что дают для поддержки классической доктрины демократии. Избиратели таким образом оказываются плохими, коррумпированными судьями в такого рода вопросах, и часто даже в вопросах [Причина, по которой бентамиты проглядели это обстоятельство, состоит в том, что они не видели возможности массовой коррупции, реализовавшейся

в условиях современного капитализма. Делая в своей политической теории ту же ошибку, что и в экономической, они уверенно провозглашали, что люди - лучшие судьи своих индивидуальных интересов, которые обязательно должны совпадать с интересами всех людей, вместе взятых. Им было тем легче это сделать, что фактически, хотя и не преднамеренно, они рассуждали с позиции буржуазных интересов, которые более выигрывали от бережливости государства, чем от прямого подкупа.], связанных с их долгосрочными интересами, потому что только обещания, выполнение которых рассчитано на короткие сроки, имеют политическое значение, и, следовательно, здесь проявляется только рациональность краткосрочного характера.

Если, однако, мы еще более удалимся от частных проблем семьи и работы в те области национальных и международных отношений, которые напрямую и непосредственно не связаны с частными заботами, то индивидуальные желания, знание фактов и логики быстро перестают отвечать требованиям классической доктрины. Что меня удивляет более всего и кажется мне ядром проблемы - так это то, что полностью теряется чувство реальности ["Острое чувство реальности" по Уильяму Джеймсу. Важность этого обстоятельства особенно подчеркивалась Грэхемом Уоллесом.]. Обычно крупные политические вопросы в сознании рядового, типичного гражданина занимают место наряду со способами проведения свободного времени, которые не достигли ранга хобби, и с темами малозначительных разговоров. Эти проблемы кажутся далекими; они совершенно непохожи по характеру на деловые предложения; опасности могут вовсе не материализоваться, а если это и произойдет, то они могут оказаться не столь серьезными; у человека возникает ощущение, что он живет в воображаемом мире.

Это ограниченное чувство реальности влечет за собой не только ограниченное чувство ответственности, но и отсутствие определенной воли. У каждого, конечно, есть любимые фразы, желания, мечты, поводы для раздражения и в особенности симпатии и антипатии. Но обычно они не складываются в то, что принято называть волей - психическим явлением, соответствующим целенаправленному ответственному действию. Действительно, для частного гражданина, озабоченного дедами государства, нет предмета для формирования такой воли, нет задачи, вокруг которой она могла бы выкристаллизоваться. Он - член недееспособного комитета, комитета, включающего в себя всю нацию, и поэтому на политические проблемы он тратит меньше целенаправленных усилий, чем на партию в бридж [Нам легче будет прояснить эту проблему, если мы зададимся вопросом, почему же партия в бридж демонстрирует нам настолько больше ума и ясности мысли, чем, например, политическая дискуссия между неполитиками. Игроки в бридж имеют определенную задачу; дисциплинирующие их правила; при этом успех или неуспех четко определены

и от безответственного поведения удерживает то обстоятельство, что каждая ошибка тут же скажется и будет немедленно отнесена на счет того, кто ее сделал. Эти условия, неприменимые к политическому поведению рядового гражданина, показывают,

почему в политике ему не хватает той живости ума и рассудительности, которые он демонстрирует в своей профессии.]

Ограниченное чувство ответственности и отсутствие четко определенной воли в свою

очередь объясняют, почему рядовой гражданин не знает и не может судить о внутри- и внешнеполитических проблемах, что еще более потрясает в случае людей образованных и людей, преуспевающих в неполитических делах, чем тогда, когда речь идет о людях необразованных, занимающих в жизни скромное положение. Информации много, и она легко доступна. Но это ничего не меняет, и не стоит этому удивляться. Стоит только сравнить отношение адвоката к резюме ведущихся им

дел и его же отношение к политическим новостям, изложенным в газете, чтобы понять, в чем дело. В одном случае адвокат годами целенаправленной, стимулируемой его собственными интересами профессиональной деятельности доказал что он может правильно оцепить значение имеющихся в его распоряжении фактов; и теперь под влиянием стимула не менее мощного он использует свои знания, интеллект, волю для анализа дела. В другом случае он не даст себе труда достичь необходимого для суждений уровня; он не дает себе труда поглощать информацию или

применять к ней те каноны критического подхода, которыми он умеет пользоваться; у него не хватает терпения на длинные или запутанные доводы. Все это показывает,

что без инициативы, которая проистекает из непосредственной ответственности, несмотря на все обилие точной информации, будет преобладать незнание. Оно будет преобладать даже в условиях, когда в обществе предпринимаются заслуживающие всяческих похвал усилия выйти за рамки простого изложения информации и организовать обучение тому, как ее использовать посредством лекций, классов, дискуссионных групп. Результаты этих усилий не равны нулю. Но они малы. Людей нельзя внести вверх по лестнице - они должны карабкаться сами.

Поэтому, как только обычный гражданин затрагивает политические вопросы, он опускается на более низкий уровень умственной деятельности. Он аргументирует и анализирует так, что это показалось бы ему самому инфантильным применительно к сфере его собственных интересов. Он вновь становится дикарем: его мышление становится ассоциативным и эффективным [См. гл. XII.]. И это влечет за собой два

серьезных последствия.

Во-первых, даже если бы не было политических групп, пытающихся оказать на него влияние, то рядовой гражданин в вопросах политических скорее всего поддавался бы

нерациональным или иррациональным предрассудкам и импульсам. Недостаточно рационального осмысления политических событий и отсутствия эффективной логической проверки получаемых им выводов вполне хватит, чтобы это объяснить. Более того, потому что он не до конца "вовлечен в это", он может ослабить обычные нормы морали и может поддаться влиянию темных импульсов, которые условия

его частной жизни помогают ему подавлять. Но, что касается мудрости или рациональности его выводов и заключений, то, если он будет пылать праведным гневом, это будет иметь столь же негативные последствия. Это помещает ему видеть правильный масштаб вещей, рассматривать их не с одной, а с нескольких сторон одновременно. Следовательно, если однажды он выйдет из обычного состояния

неопределенности и проявит определенно выраженную волю, постулированную классической доктриной демократии, то он может превратиться в еще более неумного

и безответственного субъекта. В определенных случаях это может оказаться роковым

для всей нации [Важность таких взрывов не вызывает сомнений. Но можно усомниться

в их истинности. Анализ во многих случаях показывает, что они вызываются действием какой-либо группы и не исходят спонтанно от волеизъявления народа. В этом случае они являются феноменом иного рода, который мы будем анализировать. Лично я думаю, что истинные взрывы существуют. Но я не уверен в том, что скрупулезный анализ не откроет какого-либо психотехнического усилия, лежащего в основе этого явления.]

Во-вторых, при слабости логического элемента в общественном мыслительном процессе, отсутствии рациональной критики и принуждающего к рациональности влияния собственного опыта и ответственности возрастают возможности групп, которые преследуют свои корыстные цели. Такие группы могут состоять из профессиональных политиков, представителей экономических интересов или даже разного рода идеалистов, которые попросту заинтересованы в постановке политических шоу. Социология таких групп не имеет отношения к нашей проблеме. Здесь имеет значение только то, что, поскольку человеческая природа в политике такова, какая она есть, они могут формировать их в очень широких пределах, влиять на волю народа и даже создавать ее. При анализе политических процессов мы

в большей степени сталкиваемся не с подлинной, а со сфабрикованной волей. И часто эта последняя и составляет ту общую волю, о которой говорит классическая доктрина. До тех пор, пока это так, воля народа есть продукт, а не движущая сила

политического процесса.

Пути, с помощью которых формируется воля общества по тем или иным вопросам, и сами эти вопросы в точности совпадают со способами воздействия коммерческой рекламы. В обоих случаях речь идет о попытках воздействия на подсознание. И здесь, и там одни и те же способы создания приятных или неприятных ассоциаций, которые тем более эффективны, чем менее рациональны. И здесь, и там те же оговорки и умалчивания, тот же способ формирования общественного мнения с помощью постоянно повторяемых утверждений, которые лучше всего достигают цели тогда, когда они обходят рациональные аргументы и не рискуют разбудить критические способности людей. И так далее. Все эти средства более применимы в сфере политической, чем в сфере частной и профессиональной жизни.

Так, портрет красивейшей из девушек на обертке в конечном счете не сможет поддержать на неизменном уровне продажу плохих сигарет. В области политических решений столь же эффективных средств защиты нет. Многие решения жизненной важности носят такой характер, что общество не может позволить себе на досуге поразмыслить и поэкспериментировать с ними. Даже если это оказывается возможным,

суждение не так просто вынести, как в случае с сигаретами, потому что здесь не так просто оценить последствия.

Но эти психотехнические трюки в степени, которая совершенно нехарактерна для коммерческой рекламы, проникают в такие формы политической рекламы, которые апеллируют к разуму. Беззащитная жертва вызывает у наблюдателя иррациональное или во всяком случае нерациональное сочувствие, которое вовсе не становится сильнее, когда оно подкреплено аргументацией и различного рода фактами. Мы уже говорили выше о том, что почему так трудно дать общественности беспристрастную информацию о политических проблемах и сделать из нее необходимые

выводы и почему происходит так, что информация и аргументы, касающиеся политических вопросов, попадут в цель, только если они соответствуют уже сложившимся взглядам гражданина. Как правило, однако, эти взгляды недостаточно определены для того, чтобы предопределить конкретные выводы. Поскольку сами эти

выводы можно сфабриковать, то эффективная политическая аргументация почти неизбежно предполагает попытки придать определенные очертания уже существующим волевым проявлениям, а не просто провести их в жизнь или помочь гражданину составить собственное мнение. Поскольку в своих интересах или для достижения своих целей человек легко солжет, то мы предполагаем и на самом деле находим, что эффективная аргументация в политике всегда является фальсифицированной или выборочной [Выборочная информация, правильная сама по себе, есть попытка солгать, говоря правду.] и состоит в том, чтобы превратить некоторые положения в

аксиомы, а иные, наоборот, замолчать; таким образом, она сводится к психотехническим приемам, о которых говорилось выше. Читателю, считающему меня

слишком большим пессимистом, стоит только вспомнить о том, что он сам слышал - или говорил, - что о тех или иных неудобных фактах не стоит говорить открыто, а те или иные аргументы, хотя и правильные, приводить нежелательно. Если люди, которые по общепринятым оценкам достойны всяческого уважения, мирятся с этим, то разве они тем самым не выказывают своего отношения к достоинствам и даже к самому существованию воли народа?

Конечно, всему этому есть пределы [Вероятно, их можно было бы более четко очертить, если те или иные вопросы решались бы на референдумах. Вероятно, политики прекрасно знают, почему они почти всегда отрицательно относятся к этому институту.]. И есть правда в мысли Джефферсона о том, что в конечном счете народ

мудрее каждого отдельно взятого индивида, или в высказывании Линкольна о невозможности "дурачить всех все время". Но оба эти высказывания не случайно подчеркивают долгосрочный аспект. Без сомнения, можно утверждать, что со временем коллективное сознание людей вырабатывает мнения, которые весьма часто представляются в высшей степени разумными и даже пронзительными. История, однако, состоит из последовательных краткосрочных ситуаций, которые могут в корне изменить ход событий. Если в краткосрочной перспективе можно одурачить всех и заставить их принять то, чего они на самом деле не хотят, и если это не исключение, на которое можно закрыть глаза, то никакое количество ретроспективного здравого смысла не меняет главного вывода: не народ в действительности поднимает и решает вопросы, эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него. Приверженец демократии более, чем кто бы

то ни было, должен принять этот факт как данность, тогда никто не сможет утверждать, что его вера в демократию основана на притворстве.

#### 4. Причины выживания классической доктрины

Но почему доктрина, в такой степени противоречащая фактам, до сего дня смогла выжить и продолжает удерживать свое место в сердцах людей и в официальной фразеологии правительств? Опровергающие ее факты всем известны; все признают их с абсолютной, часто циничной откровенностью. Теоретическая база, утилитарный рационализм мертв, никто не принимает его за правильную теорию политического организма. Несмотря на кажущийся парадокс, на этот вопрос нетрудно ответить. Во-первых, хотя политическая доктрина коллективного действия может не подтверждаться результатами эмпирического анализа, она подтверждается той опорой на религиозные представления, о которой уже шла речь. На первый взгляд это может не показаться очевидным. Утилитаристские лидеры были далеки от религии

в общепринятом понимании. Напротив, они считали себя антирелигиозными и почти все считали их таковыми. Они гордились своим, как они считали, неметафизическим мировоззрением и не симпатизировали религиозным институтам и движениям своего времени. Но стоит еще раз взглянуть на ту картину социального развития, которую они нарисовали, чтобы открыть, что она воплощает в себе ключевые элементы протестантизма и, более того, сама основывается на этой вере. Для интеллектуала,

который отказался от своей веры, утилитаристские убеждения заменили ее. Для многих из тех, кто остался при своих религиозных убеждениях, классическая доктрина стала их политическим дополнением [Обратите внимание на аналогию с социалистическими убеждениями, которые также заменяли для одних и дополняли для других их христианские убеждения.].

Переформулированные в категориях религии, эта доктрина и, как следствие, демократические убеждения, которые на ней основаны, изменяют саму свою природу. Больше нет места логическим сомнениям относительно Общего блага и Высших ценностей. Все эти проблемы решены за нас Творцом, цели которого определяют и санкционируют все. Все то, что раньше казалось неопределенным или немотивированным, вдруг становится вполне определенным и убедительным. Например, глас народа есть глас Божий. Или возьмем Равенство. Само значение этого понятия сомнительно, и вряд ли есть какое-либо рациональное основание для того, чтобы принять его как постулат, до тех пор пока мы находимся в сфере эмпирического анализа. Но в христианстве есть сильный эгалитаристский элемент. Спаситель умер за всех: он не делал различия между людьми различного социального

статуса. Поступив так, он подтвердил непреходящее значение каждой отдельно

взятой души, без всяких различий. Разве это не обоснование, - как мне представляется, единственно возможное [Можно возразить, что, как ни трудно придать общее значение понятию Равенства, такое значение почти всегда можно вывести из контекста. Например, из анализа условий Геттисбергской речи можно заключить, что, заявляя, что все люди созданы свободными и равными, Линкольн просто имел в виду равенство статуса в противовес рабству. Такое значение вполне

определенно. Но если на вопрос, почему такое заявление должно обязывать нас в моральном и политическом плане, не ответить: "Потому что все люди по природе одинаковы", то мы можем апеллировать лишь к божественной воле, в соответствии с христианской верой такое решение подразумевается словом "созданы".], того, что "каждый значит столько же, сколько другой, никто не значит больше другого", - обоснование, которое придает неземное содержание демократическому кредо, которому трудно подобрать какое-либо другое содержание. Эта интерпретация, конечно, не исчерпывает всего. Однако она может объяснить многие вещи, которые кажутся необъяснимыми и даже лишены смысла. В частности, она объясняет отношение верующего к критике: опять, как и в случае с социализмом, фундаментальные расхождения во взглядах расцениваются не как ошибка, а как грех;

они вызывают не просто логические контраргументы, но моральное осуждение. Можно иначе поставить вопрос и заявить, что демократия, обосновываемая таким образом, перестает быть просто методом, который можно рационально обсуждать, как устройство паровоза или свойства дезинфицирующих средств. Она становится тем, что я с других позиций считал невозможным, т.е. идеалом или, скорее, частью идеального устройства вещей. Само слово может стать знаменем, символом всего, что дорого человеку, что дорого ему в своей нации, независимо от того, рационально это или нет. С одной стороны, вопрос о том, как различные тезисы, предусматриваемые демократическими убеждениями, связаны с фактами политической жизни, станут ему столь же безразличны, как верующему католику безразлично, как совмещаются действия папы Александра VI [Александр Борджиа (1431-1503). Прославился организованной им серией убийств своих политических противников.] со

сверхъестественным ореолом, окружающим институт папства. С другой стороны, демократ такого типа, принимая постулат равенства и братства, сможет принять, причем искренне, любую долю отклонений от них в собственном поведении или взглядах. Это даже не нелогично. Простое несоответствие с фактами - не аргумент против этической максимы или мистической надежды.

Во-вторых, следует иметь в виду то обстоятельство, что формы и фразы классической демократии для многих наций ассоциируются с событиями их истории, которые с энтузиазмом воспринимает подавляющее большинство населения. Любая оппозиция установленному режиму скорее всего будет их использовать вне зависимости от того, какие намерения и социальные корни она имеет [Может показаться, что следует сделать исключение для оппозиций, победы которых привели

к возникновению откровенно автократических режимов. Но большинство этих режимов,

как показывает исторический анализ, родились демократическим путем и правила, опираясь на поддержку народа. Цезаря убили не плебеи. Но аристократы-олигархи, убившие его, также использовали демократическую фразеологию.]. Если она одержит победу и последующий ход событий окажется благоприятным, то эти формы укоренятся

в идеологии нации.

Соединенные Штаты - яркий тому пример. Само их существование как суверенного государства связано с борьбой против монархической и аристократической Англии. За исключением меньшинства роялистов, американцы во время администрации Гренвилля [Джордж Гренвилль (1712-1770) - английский государственный деятель, государственный секретарь и канцлер казначейства. Он был автором закона о почтовых сборах в Американских колониях, который послужил одной из причин Войны за независимость этих колоний от Англии.], по-видимому, перестали считать английского монарха своим королем, а английскую аристократию - своей аристократией. В войну за независимость они воевали против тех, кто и фактически, и по их внутреннему ощущению стал для них иностранным монархом и иностранной аристократией, препятствовавшими осуществлению их экономических и политических интересов. Однако с самого начала они представляли войну за свои

национальные интересы как противостояние "народа" и "правителей" в терминах неотъемлемых Прав Человека и в свете основных принципов классической доктрины демократии. В тексте Декларации независимости и Конституции эти принципы приняты на вооружение. Поразительное развитие этой страны увлекло и удовлетворило большинство ее граждан и тем самым, казалось, подтвердило истинность доктрины, лежавшей в основе священных документов нации. Оппозиции редко удается одержать победу, когда правящие группы находятся в зените власти и успехов. В первой половине XIX в. оппозиционные силы, придерживавшиеся классических принципов демократии, укрепились и постепенно одержали победу над правительствами, некоторые из которых, как, например, в Италии, явно находились в состоянии упадка, стали воплощением некомпетентности, грубой силы и коррупции. Естественно, хотя и не в силу логических доводов, это усилило позиции самих этих принципов, которые смотрелись в выгодном свете, особенно при сопоставлении с невежеством и предрассудками, которые отстаивали данные правительства. В этих обстоятельствах демократическая революция означала наступление свободы и порядочности, а демократические принципы представлялись святыней разума и человеческого рода. Ясно, что это преимущество в дальнейшем было утеряно, и разрыв между доктриной и практикой демократии неизбежно был обнаружен. Но ореол вокруг демократии угасал очень медленно. В-третьих, нельзя забывать о том, что существуют социальные структуры, в которых

классическая доктрина демократии может со значительной долей приближения соответствовать фактам. Как уже подчеркивалось, это относится в первую очередь ко многим небольшим и примитивным обществам, которые, между прочим, служили для авторов этой доктрины прототипами. Это может также касаться и непримитивных обществ при условии, что в них нет глубокого расслоения и серьезных проблем. Швейцария - лучший пример такого рода. Почти все спорных вопросов в той стране крестьян, где, за исключением гостиниц и банков, почти нет капиталистической индустрии и проблемы государственной политики настолько просты и стабильны, что подавляющее большинство может понять их и достичь согласия. Но сделав вывод о том, что в таких случаях классическая доктрина приближается к реальности, мы должны немедленно добавить, что это происходит не потому, что она описывает эффективный механизм принятия политических решений, но лишь потому, что нет необходимости принимать важные решения. Наконец, случай с Соединенными Штатами можно опять взять в качестве доказательства того, что классическая доктрина иногда, похоже, совпадает с фактическим развитием событий даже в большом обществе с высокой степенью расслоения, перед которым встают крупные проблемы, требующие решения при условии, что благоприятное стечение обстоятельств лишает эти проблемы остроты. До вступления этой страны в первую мировую войну общественное мнение было в основном озабочено эксплуатацией экономических возможностей окружающей среды. До тех пор, пока ничто серьезное этому не препятствовало, ничто и не имело жизненно важного значения для рядового гражданина, который добродушно презирал проделки политиков. Какая-то часть общества могла волноваться по поводу тарифов, серебра, проблем местного управления, очередной стычки с Англией. Народ в целом оставался равнодушным, кроме единственного случая серьезных разногласий, который породил национальное бедствие, Гражданскую войну. И в-четвертых, политики любят фразеологию, которая льстит массам и даст прекрасную возможность не только для того, чтобы избежать ответственности, но и для того, чтобы во имя народа сокрушить противников.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать вторая. Другая теория демократии

## 1. Борьба за политическое лидерство

Думаю, что большинство изучающих политику к настоящему времени уже согласились с критикой классической доктрины демократии, содержащейся в предыдущей главе. Я думаю также, что большинство из них согласны или вскоре согласятся принять иную теорию, которая гораздо более правдоподобна и в то же время включает в себя очень многое из того, что приверженцы демократического метода в действительности имеют в виду под этим термином. Как и классической теории, ей можно дать краткое определение.

Будем помнить, что основной проблемой классической теории было утверждение, что у "народа" есть определенное и рациональное мнение по каждому отдельному вопросу

и что мнение это реализуется в условиях демократии путем выбора "представителей", которые следят за тем, чтобы это мнение последовательно претворялось в жизнь. Таким образом, выбор представителей вторичен по отношению к первичной цели демократического устройства, а именно: наделить избирателей властью принимать политические решения. Предположим, мы поменяем роли этих двух элементов и сделаем решение проблем избирателями вторичным по отношению к избранию тех, кто будет принимать решения. Другими словами, будем считать, что роль народа состоит в создании правительства или посреднического органа, который в свою очередь формирует национальный исполнительный орган или правительство [Неискреннее слово "исполнительный" на деле указывает в неверном направлении. Однако этого не произойдет, если мы будем использовать его в том смысле, в каком мы говорим об "управляющих" в корпорации, которые делают значительно больше, нежели просто "исполняют" волю держателей акций.

(По-английски термины "исполняющий" и "управляющий" в данном контексте передаются одним и тем же словом - "executive". - Прим.ред.)]. Итак, определим: демократический метод - это такое институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей.

Объясняя и обосновывая эту идею, мы незамедлительно покажем, что оно как в силу правдоподобности посылок, так и благодаря логической обоснованности предположений значительно улучшает теорию демократического процесса.

Прежде всего у нас есть достаточно эффективный критерий, при помощи которого демократические правительства можно отличить от прочих. Мы видели, что классическая теория сталкивается с трудностями в подобном разграничении, поскольку воле и благу народа могут служить, и во многих исторических ситуациях служили, правительства, которые нельзя назвать демократическими в соответствии с

любым из общепринятых смыслов этого слова. Теперь мы в несколько лучшем положении, поскольку решили делать акцент на *modus procedendi* [процедуре - лат.], наличие или отсутствие которого в большинстве случаев легко проверить [Однако ниже обратите внимание на пункт 4.].

Например, при парламентарной монархии типа английской наш критерий демократии выполняется, поскольку монарх может назначить членами кабинета лишь тех людей, которых выберет парламент. В то же время "конституционная" монархия не является демократической, поскольку электорат и парламент обладают всеми правами, которые

у них есть при парламентарной монархии, но с одним решающим исключением: у них нет власти назначать правительство. Министры в данном случае являются слугами монарха и по названию, и по сути и в принципе могут быть им назначены или уволены. Такое устройство может удовлетворять народ. Избиратели могут подтвердить этот факт, голосуя против любых изменений. Монарх может быть настолько популярен, что сумеет нанести поражение любому сопернику в борьбе за верховную власть. Но поскольку не существует механизма, делающего такую борьбу эффективной, данный случай не подпадает под наше определение.

Во-вторых, теория, заключенная в этой дефиниции, дает нам возможность воздать должное жизненно важному феномену лидерства. Классическая теория этого не делает. Вместо этого она, как мы видели, приписывает избирателям совершенно нереальную степень инициативы, практически игнорируя лидерство. Но почти во всех

случаях коллективное действие предполагает лидерство - это доминирующий механизм

почти любого коллективного действия, более значительного, чем простой рефлекс. Утверждения о функционировании и результатах демократического метода, которые принимают это во внимание, гораздо реалистичнее тех, которые этого не делают. Они не ограничиваются исполнением *volonte generale* [общей воли?], но продвигаются к объяснению того, откуда она возникает и как подменяется или подделывается. То, что мы обозначили термином "Подделанная воля", не находится более за рамками теории, отклонением, отсутствием которого мы так страстно желаем. Он входит в основу, как это и должно быть.

В-третьих, поскольку вообще существует воля группы, - например, желание безработных получить пособия по безработице или стремление других групп помочь им, - наша теория ее не отрицает. Напротив, теперь мы можем рассматривать именно ту роль, которую эти волеизъявления играют на самом деле. Они, как правило, не предъявляются непосредственно. Даже если групповые устремления сильны и определены, они остаются скрытыми часто на протяжении десятилетий, до тех пор, пока их не вызовет к жизни какой-нибудь политический лидер, превращая в

политические факторы. Он делает это, точнее, его агенты делают это для него, организуя волеизъявления, усиливая их и в конце концов включая в соответствующие

пункты своих предложений. Взаимодействия между групповыми интересами и общественным мнением и способом, которым они создают то, что мы называем политической ситуацией, под таким углом зрения видны в новом, более ясном свете.

В-четвертых, наша теория, конечно, не более определена, чем само понятие борьбы

за лидерство. Это понятие представляет трудности, аналогичные тем, которые вызывает понятие конкуренции в экономической сфере; их не без пользы можно сравнить. В экономической жизни конкуренция никогда полностью не отсутствует, но

едва ли когда-либо существует в совершенном виде [ Во второй части книги мы приводим примеры проблем, возникающих на этой почве.]. Точно так же в политической сфере постоянно идет борьба, хотя, возможно, лишь потенциальная, за

лояльность избирателей. Объяснить это можно тем, что демократия использует некий

признанный метод ведения конкурентной борьбы, а система выборов - практически единственно возможный способ борьбы за лидерство для общества любого размера. Хотя это и исключает многие из способов обеспечения лидерства, которые и следует

исключить [Это также исключает методы, которыми не следует пренебрегать, например завоевание политического лидерства в результате молчаливого согласия людей или путем выборов *quasi per inspirationem* [как бы по вдохновению - лат.]. Последний случай отличается от выборов путем голосования только технически, но и первый способ имеет определенное значение даже в современной политике; власть,

необходимая партийному боссу внутри его партии, основана на молчаливом признании его лидерства. Однако эти детали можно опустить в подобной схеме.], например борьбу за власть путем вооруженного восстания; это не исключает случаев, весьма похожих на экономические явления, которые мы обозначаем как "несправедливую" или "мошенническую" конкуренцию или ограничения конкуренции. Исключить их мы не можем, поскольку если бы мы это сделали, то остались бы с неким весьма далеким от реальности идеалом [Как и в экономической сфере, некоторые ограничения включены в правовые и моральные принципы общества.]. Между этим идеальным случаем и случаями, когда любая конкуренция с существующим лидером предотвращается силой, существует непрерывный ряд вариантов, в пределах которого

демократический метод правления незаметно, мельчайшими шагами, переходит в авторитарный. Но если мы стремимся к пониманию, а не к философствованию, это так и должно быть. Таким образом, ценность нашего критерия существенно не снижается.

В-пятых, наша теория, похоже, объясняет существующее отношение между демократией

и индивидуальной свободой. Если под последней мы понимаем существование сферы индивидуального самоуправления, границы которого исторически изменяются, - ни

одно общество не терпит абсолютной свободы, даже абсолютной свободы сознания или слова, и ни одно общество не ограничивает ее до нуля, - то в данном случае речь идет о степени свободы. Мы видели, что демократический метод не обязательно гарантирует больший объем индивидуальной свободы, чем любой другой позволил бы в

аналогичных обстоятельствах. Это вполне может быть и наоборот, но тем не менее эти два явления соотносятся друг с другом. Если по крайней мере в принципе каждый волен бороться за политическое лидерство [Волен в данном случае, в том же

смысле, в котором каждый волен открыть еще одну прядильную фабрику.], выставляя свою кандидатуру перед избирателями, это в большинстве случаев, хотя и не всегда, означает значительную долю свободы дискуссий для всех. В частности, это,

как правило, подразумевает значительную свободу прессы. Это соотношение между демократией и свободой не является абсолютно строгим, им можно манипулировать. Однако, с точки зрения интеллектуала, оно тем не менее очень важно. В то же время об этом соотношении практически больше нечего сказать.

В-шестых, следует учитывать, что, считая формирование правительства первичной функцией избирателей (прямо или через посреднический орган), я предполагал включить в эту фразу также и функцию его роспуска. Первая означает просто согласие принять лидера или группу лидеров, вторая - отказ от этого согласия. Это обращает внимание на один элемент, которого читатель, возможно, не заметил. Он мог подумать, что избиратели контролируют правительство точно так же, как и приводят его к власти. Но поскольку избиратели, как правило, могут контролировать своих политических лидеров лишь через отказ переизбрать их или парламентское большинство, их поддерживающее, это, по-видимому, ограничивает возможность контроля до уровня, зафиксированного в нашем определении. Время от времени происходят внезапные резкие изменения, приводящие к падению правительства или отдельного министра либо вынуждающие предпринять определенные действия. Но подобные случаи не только исключительны, они, как мы увидим, противоречат духу демократического метода.

В-седьмых, наша теория проливает столь необходимый свет на старое противоречие. Любой, кто принимает классическую доктрину демократии и, следовательно, полагает, что демократический метод должен гарантировать, что проблемы решаются в соответствии с волей народа, должен быть поражен тем фактом, что, даже если эта воля выражена вполне определенно, принятие решений простым большинством во многих случаях исказит ее, а не воплотит в жизнь. Вполне очевидно, что воля большинства есть воля большинства, а не воля "народа". Приравнять в определении одно к другому не означает решить проблему. Однако попытки прийти к действительному решению были сделаны авторами различных планов "пропорционального представительства".

Планы эти подверглись резкой критике из практических соображений. В самом деле, очевидно, что пропорциональное представительство не только сделает возможными утверждение разных типов идиосинкразии, но в условиях демократии может помешать формированию эффективного правительства и, таким образом, оказывается опасным в периоды напряженности [Данный аргумент против пропорционального представительства был обоснован профессором Ф.А.Херменсом (F.A. Hermens) в статье "Троянский конь демократии" в "Social Research" за ноябрь 1938 г.]. Но прежде чем делать заключение о том, что демократия становится недееспособной, если се принцип соблюдается последовательно, хорошо было бы задать себе вопрос, действительно ли этот принцип предполагает пропорциональное представительство. На самом деле это не так. Если признание лидерства является истинной функцией голосования избирателей, доводы в пользу пропорционального представительства рушатся, поскольку его предпосылки более не действуют. Принцип демократии в таком случае означает просто, что бразды правления должны быть переданы тем, кто

имеет поддержку большую, чем другие конкурирующие индивиды или группы. В свою очередь это гарантирует статус системы большинства в рамках логики демократического метода, хотя мы можем ее критиковать с точки зрения, выходящей за пределы этой логики.

## 2. Применение нашего принципа

Выше приведено описание теории, теперь мы попробуем выделить наиболее важные характеристики структуры и действия политической машины в демократических

странах.

1. В условиях демократии, как я уже говорил, первичная функция голосования избирателей - формирование правительства. Это может означать выборы всех представителей администрации. Подобная практика, однако, свойственна главным образом выборам местного правительства и впредь мы будем ее игнорировать [Мы сделаем это только для простоты. Это явление прекрасно ложится в нашу схему.]. Рассматривая только национальное правительство, мы можем сказать, что формирование правительства практически сводится к решению, кто будет лидером [Это верно лишь приблизительно. Хотя есть основания ожидать, что человек, который восходит к верховной власти, как правило, будет сильной личностью, каковы бы ни были его другие качества, - к этому мы вернемся позже - это вовсе не всегда так. Следовательно, термин "лидер" не предполагает, что люди, которых так называют, обязательно одарены качествами лидера, или что они всегда осуществляют некое личное руководство. Существуют политические ситуации, благоприятные для возвышения людей, лишенных качеств лидера (и прочих качеств), и неблагоприятные для создания сильных индивидуальных позиций. Партия или группа

партий может, следовательно, быть лишена лидера. Однако все признают, что это патологическое состояние и одна из частых причин поражения.]. Как и раньше, мы будем называть его премьер-министром.

Есть только одна демократическая система, в которой этот выбор является прямым результатом голосования избирателей, - Соединенные Штаты Я полагаю, что мы можем

не принимать во внимание коллегия выборщиков. Называя президента Соединенных Штатов премьер-министром, я хочу подчеркнуть фундаментальное сходство его поста с постом премьер-министра в других демократических системах. Но я не хочу свести

к минимуму различия, хотя многие из них скорее формальны, чем действительны. Наименее важное из них состоит в том, что президент выполняет также те, в основном церемониальные, функции, которые есть, скажем, у президента Франции. Гораздо более важно, что он не может распустить конгресс - но этого не может и премьер-министр Франции. С другой стороны, его позиция сильнее, чем у английского премьер-министра, благодаря тому, что его президентство не зависит от поддержки большинства в конгрессе - по крайней мере юридически, поскольку он может попасть в тупик, если у него нет поддержки большинства. Он также может назначать и увольнять членов кабинета министров (почти) по своей воле. Последних

едва ли можно назвать министрами в английском смысле слова. Они скорее "секретари" в повседневном значении этого слова. Таким образом, мы можем сказать, что президент - не премьер-министр, он единственный министр, если только мы не сможем провести аналогии между функциями министра английского кабинета и лидерами фракции правящей партии в конгрессе.

Несложно интерпретировать и объяснить эти и многие другие особенности в той или иной стране с демократическим методом правления. Но в целях экономии места мы будем рассматривать преимущественно английскую модель и трактовать остальные случаи как большие или меньшие "отклонения", исходя из того, что логика демократического правления наиболее полно проявляется в английской практике, хотя и не в ее правовых формах.]. Во всех остальных случаях голосование избирателей формирует не непосредственно правительство, но посреднический орган - впредь будем называть его парламентом [В дальнейшем нам придется вспомнить, что я определял парламент как орган государства. Хотя это было сделано просто из

соображений формальной (правовой) логики, это определение особенно подходит к нашей концепции демократического метода. Членство в парламенте является, таким образом, государственной службой.], которому передастся функция формирования правительства. Может показаться, что принятие или, скорее, эволюцию такого рода,

а также различные формы, которые он принимает в различных моделях общества, легко объяснить как исторически, так и с точки зрения целесообразности. Но это не логическое построение; это естественное развитие, едва различимые оттенки и результаты которого совершенно ускользают из официальных доктрин, не говоря уже о правовых.

Каким образом парламент формирует правительство? Самый очевидный способ - избрать его или, что более реалистично, избрать премьер-министра и затем

голосовать за список министров, который он представляет. Этот способ используется редко [Например, он был принят в Австрии после краха в 1918 г.]. Но

он раскрывает природу данной процедуры лучше, чем любой другой. Более того, все остальные способы можно свести к нему, поскольку премьер-министром обычно становится тот человек, которого избрал бы парламент. То, как он в действительности назначается на должность - монархом, как в Англии, президентом,

как во Франции, или специальным органом или комитетом, как в Свободном Прусском государстве Веймарского периода, - просто вопрос формы.

Классическая английская практика такова. После всеобщих выборов победившая партия обычно получает большинство мест в парламенте и, таким образом, может проголосовать за резолюцию о вотуме недоверия любому лицу, кроме ее собственного

лидера, который таким "негативным" способом назначается "парламентом" на пост главы государства. Он получает полномочия от монарха - "целует руки" - и представляет монарху список министров, частью которого является список членов кабинета. В список он включает, во-первых, нескольких ветеранов партии, которые получают то, что можно назвать почетным постом; во-вторых, лидеров более низкого

ранга - тех, на кого он рассчитывает в ходе борьбы в парламенте и которые обязаны отанным им предпочтением как своей политической ценности, так и тем, что могут стать помехой; в-третьих, восходящих политиков, которых он приглашает в заколдованный круг власти, чтобы "привлечь свежую кровь"; и иногда, в-четвертых, несколько человек из тех, кто, по его мнению, особенно хорошо профессионально подготовлен для занятия определенных постов [Сетование на то, сколь малое значение имеет соответствие посту при подобном устройстве, выходит за рамки нашего описания; самая суть демократической власти в том, что в первую очередь имеют значение политические качества, а соответствие посту - лишь иногда. См. гл. XXIII.]. Но опять же в нормальных случаях эта практика дает такие же результаты, какие дали бы выборы правительства парламентом. Читатель увидит также, что там, где, как в Англии, у премьер-министра есть реальная власть распустить ("назначить новые выборы"), результаты будут в какой-то степени схожи с теми, которые мы могли бы ожидать при прямых выборах кабинета избирателями, если, конечно, последние его поддерживают [Если, как во Франции, у премьер-министра нет такой власти, парламентские круги приобретают такую независимость, что параллелизм между принятием министра парламентом и электоратом ослабевает или разрушается. Это та ситуация, в которой кабинетная игра парламентских политиков выходит за установленные рамки. С нашей точки зрения, это отклонение от нормы. Раймон Пуанкаре был того же мнения. Конечно, подобные ситуации бывают и в Англии, поскольку премьер-министр не воспользуется своей властью распустить парламент, - строго говоря, в его власти "посоветовать" монарху распустить палату общин, - если партийные круги этому Противятся либо если выборы, скорее всего, не смогут усилить его контроль над парламентом. Это означает, что он может иметь более сильные позиции в парламенте, чем в стране. Такая ситуация довольно регулярно создается после нескольких лет пребывания правительства у власти. Но при английской системе это отклонение от нормы не может быть очень долгим.]. Это можно проиллюстрировать на

известном примере.

2. В 1879 г., когда правительство Биконсфилда (Дизраэли) после почти шести лет успешного пребывания у власти, кульминацией которого был эффектный успех Берлинского Конгресса [ Я не имею в виду, что временное урегулирование вопросов,

вызванных русско-турецкой войной и присоединением совершенно ненужного острова Кипр, было само по себе шедевром внешней политики. Но я имею в виду, что с точки

зрения политики внутренней это были такого рода эффектные успехи, которые, как правило, тешат тщеславие среднего гражданина и сильно улучшают перспективы правительства в атмосфере шовинистического патриотизма. Существовало всеобщее мнение, что Дизраэли победил бы, если бы распустил парламент сразу после возвращения из Берлина.], по всем обычным расчетам могло бы ожидать успеха на выборах, Gladstone неожиданно взбудоражил страну серией обращений непревзойденной

силы (Мидлотианская кампания), которая раздула злодеяния турок так успешно, что вознесла лично его на гребень волны народной поддержки. Его партия не имела с этим ничего общего. Некоторые ее лидеры не одобряли эту кампанию. Гладстон оставил руководство партии за много лет до этого и захватил страну в одиночку. Но когда Либеральная партия в результате этой кампании одержала потрясающую победу, для всех было очевидно, что его опять нужно признать лидером партии - более того, он стал лидером партии в силу его власти в стране - никто другой просто не имел шансов. Он пришел к власти в ореоле славы.

Этот пример много говорит нам о том, как работает демократический метод. Прежде всего отметим, что этот пример хотя и чрезвычайно драматичен, но вовсе не уникален. Это исключительный пример нормального гения. Назовем обоих Питтов, Пиля, Пальмерстона, Дизраэли, Кэмпбелла Баннермана и других.

Во-первых, о политическом лидерстве премьер-министра [Для английской политической практики характерно, что официальное признание поста премьер-министра задержалось до 1907 г., когда он был разрешен в суде в соответствии с прецедентом. Но он так же стар, как и демократическая система правления в этой стране. Однако, поскольку демократическое правление не было введено конкретным законом, но медленно развивалось как часть всеобъемлющего социального процесса, нелегко даже приблизительно указать дату или даже период его "рождения". В течение довольно длительного срока это были лишь зародыши демократии. Есть соблазн отнести рождение данного института ко времени правления

Вильгельма III, поскольку его положение было несравненно более слабым, чем у правителей английского происхождения. Однако с этим можно поспорить. Дело не столько в том, что Англия тогда не была "демократией" - читатель вспомнит, что мы не определяем демократию исходя из распространенности привилегий, - сколько в

том, что, с одной стороны, эмбриональный случай с Денби [Томас Осборн, герцог Денби (1631-1712), - влиятельный английский политический деятель, лорд-хранитель

казначейства] относится ко времени правления Карла II, а с другой стороны, Вильгельм III никогда не мирился с подобным положением и успешно держал в руках некоторые дела. Мы не должны, конечно, путать премьер-министров с простыми советниками, сколь бы ни были последние могущественны при своих монархах и сколь

бы сильны ни были их позиции в самом средоточии государственной власти - как, например, Ришелье, Мазарини или Страффорд. Годолфин и Харли при королеве Анне - это явно переходные случаи. Первый человек, которого, безусловно, признавали как

современники, так и историки, был сэръ Роберт Уолпол. Но он, так же как и герцог Ньюкаслский (или его брат Генри Пелэм, или оба вместе), и по сути все лидеры вплоть до лорда Суинберна (включая Питта-старшего, который, даже будучи министром иностранных дел, по сути подошел очень близко к выполнению наших критериев), не имеют тех или иных характеристик премьер-министра. Первым полноценным экземпляром был Питт-младший.

Интересно отметить, что в случае с сэром Робертом Уолполом (а позднее - с лордом

Картеретом /герцогом Гранвиллом/) общественное мнение тех лет не признавало, что

эти люди осуществляют функцию, важную для демократического правления. Напротив, для современников это явление было подобно раковой опухоли, рост которой был бы угрозой государственному благосостоянию и демократии - единственный министр или "первый министр" было оскорблением, которое бросали Уолполу его враги. Этот факт

примечателен. Он не только указывает на сопротивление, с которым обычно сталкивается новый институт. Более того, существовало ощущение, что этот институт несовместим с классической доктриной демократии, в которой, по сути дела, нет места политическому лидерству в нашем смысле и, следовательно, нет места для поста премьер-министра. Наш пример свидетельствует, что оно состоит из трех различных элементов, которые не следует путать и которые в каждом отдельном случае сочетаются в разных пропорциях. Именно это сочетание характеризует правление данного премьер-министра. Казалось бы, он получает пост как глава своей партии в парламенте. Однако как только он введен в должность, он

становится лидером парламента, непосредственно той палаты, членом которой он является, и косвенно - другой палаты. Это не просто эвфемизм, и это, несомненно,

больше, чем предполагает функция руководства партией. Он приобретает влияние и на другие партии и их членов или вызывает их антипатию, и это имеет очень важное значение для его шансов на успех. В крайнем случае - лучшим примером тут служит сэра Роберт Пиль - он может принудить свою партию к повиновению тем или иным способом. Наконец, хотя во всех нормальных случаях он также является лидером партии во всей стране, сильный премьер-министр занимает в стране позицию, отличную от той, которую он автоматически получает, возглавляя партию. Он творчески руководит мнением партии - формирует его - и в конце концов поднимается до управления общественным мнением за пределами партии, к лидерству на уровне страны, которое до некоторой степени становится независимым от мнения партии. Нет нужды говорить, насколько подобные достижения определяются свойствами личности и насколько велика роль опоры премьер-министра вне партии и парламента. Это даст в руки премьер-министра кнут, удар которого может заставить

подчиниться непослушных и заговорщиков внутри его партии, однако кнутовище может больно ударить по неумелой руке.

Теперь мы можем уточнить наше утверждение, что в парламентской системе функция формирования правительства ложится на парламент. Как правило, парламент решает, кто будет премьер-министром, но в этом решении он не полностью свободен. Он скорее соглашается с кандидатурой, нежели выдвигает ее. Исключая паталогические случаи, такие, как французская *chambre* [палата - фр.], воля членов парламента, как правило, не является единственным фактором при создании правительства. Члены

парламента скованы не только партийными обязательствами. Их также ведет тот человек, которого они "избирают", - ведет к самим "выборам" и после них. Каждая лошадь, конечно, вольна сойти с дистанции и не слушаться узды. Но такие исключения, как восстание или пассивное сопротивление руководству лидера, только

подчеркивают норму. И эта норма относится к сущности демократического метода. Личная победа Гладстона в 1880 г. - аргумент против официальной теории, согласно

которой парламент создает и низлагает правительство [Сам Гладстон очень поддерживал эту теорию. В 1874 г., когда он проиграл на выборах, он все еще хотел выступить в парламенте, поскольку парламент должен был вынести решение об отставке. Конечно, это еще ничего не значит. Точно так же он упорно говорил о безграничном почтении к короне. Один биограф за другим восхищался этим почтением

к монархии со стороны великого демократического лидера. Но, без сомнения, королева Виктория обладала большей проницательностью, чем эти биографы, если сулить по ее резко отрицательному отношению к Гладстону начиная с 1879 г., которое биографы приписывают просто пагубному влиянию Дизраэли. Неужели не ясно,

что проявления почтения могут означать две разные вещи? Мужчина, который относится к своей жене с изысканной вежливостью, как правило, не относится к числу тех, кто признает дружбу между полами на основах равенства. Между прочим, вежливость - верный способ от этого уклониться.].

3. Далее, о природе и роли кабинета [Даже больше, чем эволюция поста премьер-министра, эволюция кабинета замаскирована изменениями в природе этого института в ходе истории. До сего времени английский кабинет юридически является

действующей частью Тайного совета, который был инструментом правления в безусловно додемократические времена. Но под этой крышей образовался совершенно иной орган. Как только мы это поймем, задача датировать его возникновение покажется нам значительно легче аналогичной задачи в случае с премьер-министром.

Хотя в эмбриональном состоянии кабинеты существовали во времена Карла II (одним из них был "кабальный" совет ["cabal counsel" - буквально "совет заговорщиков" -

прозвище комитета по иностранным делам Тайного совета при короле Карле II.], другим - комитет четырех, сформированный в связи с экспериментом Темпля [Сэр Уильям Темпл (1628-1699) - английский государственный деятель и дипломат, автор

неудавшегося плана реорганизации Тайного совета.]), первым кабинетом в истории Англии скорее всего была "хунта" вигов при Вильгельме III. Со времен правления Анны разногласия возникали лишь по незначительным вопросам, связанным с составом

или функционированием кабинета.], Это удивительно двойственный орган, совместный

продукт парламента и премьер-министра. Последний, как мы видели, предлагает кандидатуры его членов, а первый соглашается с его выбором, одновременно влияя на него. Если посмотреть на это с точки зрения партии, это собрание лидеров более или менее напоминает ее собственную структуру. С точки зрения премьер-министра, это собрание не только товарищей по оружию, но и членов партии, у которых есть собственные интересы и перспективы - парламента в миниатюре. Для того чтобы такая комбинация сложилась и работала, будущему кабинету министров следует решить - не обязательно из страстной любви, - служить

под руководством мистера X, а мистеру X сформировать свою программу таким образом, чтобы его коллеги в кабинете не слишком часто хотели "пересмотреть свои

позиции", как это называется в официальной фразеологии, или устроить сидячую забастовку. Таким образом кабинет - это относится и более широко к министерскому корпусу, в который входят министры, не являющиеся членами кабинета, - имеет определенную функцию в демократическом процессе в отличие от функции премьер-министра, партии, парламента и избирателей. Эта функция промежуточного руководства связана с текущими делами, которые выполняют отдельные члены кабинета в различных департаментах, куда они назначены, чтобы обеспечивать контроль руководящей группы над бюрократической машиной, но ни в каком случае не вытекает из них. Это имеет весьма отдаленное отношение (а может, и вовсе никакого) к "обеспечению того, чтобы воля народа выполнялась в каждом из

департаментов". Как раз в самых лучших случаях народу в конце концов представляют результаты, о которых он и не думал, и не одобрил бы их заранее.

4. Снова о парламенте. Я выделил то, что, на мой взгляд, является его первичной функцией, и упрочил эту дефиницию. Можно возразить, что мое определение неверно по отношению к другим его функциям. Очевидно, парламента делает многое другое, кроме формирования и роспуска правительства. Он издает законы. Он даже управляет. Хотя любой парламентский акт, кроме резолюций и политических деклараций, является "законом" в формальном смысле, существует много актов, которые можно рассматривать как административные меры. Бюджет - наиболее важный пример. Формирование бюджета - управленческая функция. Однако в США его разрабатывает конгресс. Даже там, где его составляет министр финансов и одобряет кабинет, как в Англии, парламента должен утвердить его, и в результате этого голосования он становится Актом парламента. Не опровергает ли это нашу теорию?

Когда две армии воюют друг с другом, их отдельные боевые действия всегда сосредоточены на конкретных объектах, которые определяются в зависимости от их стратегического или тактического положения. Они могут сражаться за конкретную полосу земли или конкретный холм. Но желательность завоевания этой полосы или холма должна определяться стратегической или тактической задачей, а именно - победить врага. Очевидно, абсурдно было бы пытаться вывести эти действия из особых качеств, которые могут быть у этой полосы или холма. Точно так же первая и главная цель любой политической партии - подавить других, чтобы получить власть или остаться у власти. Как и завоевание полосы земли или холма, решение политических вопросов, с точки зрения политика, не цель, но лишь материал парламентской деятельности. Поскольку политики стреляют словами, а не пулями, и поскольку эти слова неизбежно связаны с обсуждаемыми проблемами, ситуация не всегда бывает такой же ясной, как на войне. Но победа над противником, тем не менее, является сутью обеих игр [Иногда истинные цели политиков проглядывают из словесного тумана. Приведем пример, который, надеюсь, не может быть сочтен легкомысленным: такой крупный политик, как сэръ Роберт Пиль, так охарактеризовал природу своего ремесла, когда сказал после парламентской победы над правительством вигов по вопросу о политике последнего на Ямайке: "Ямайка была хорошей лошадей для первой ставки". Читателю следует над этим задуматься.]. Таким образом, по сути дела текущее производство парламентских решений но

острым вопросам жизни страны и есть тот метод, путем которого парламент оставляет или отказывается оставлять правительство у власти, принимает или отказывается принимать руководство премьер-министра [Конечно, это относится к довишистской французской и дофашистской итальянской практике точно так же, как и к английской. Можно возразить, однако, что в Соединенных Штатах, где поражение

правительства по основному вопросу не влечет за собой отставки президента. Но это лишь потому, что американская Конституция, основанная на иной политической теории, не позволяла парламентской практике развиваться по законам ее внутренней

логики. В действительности эта логика проявилась и в Америке. Поражения по основным вопросам хотя и не могут привести к смещению президента, в целом настолько ослабляют его престиж, что он вытесняется с позиций лидера. Временно это создаст ненормальную ситуацию. По независимо от победы или поражения на последующих президентских выборах конфликт в таком случае улаживается способом, который фундаментально не отличается от способа действий английского премьер-министра в аналогичной ситуации, когда он распускает парламент.]. С некоторыми исключениями, которые вы сейчас заметите, каждое голосование - это голосование за доверие или недоверие, а то, что мы называем голосованием о доверии или недоверии в техническом смысле этого слова, просто обнаруживает *in abstract* [в абстрактном выражении - лат.] существенный элемент, общий для всех голосований. Этим мы можем удовлетвориться, отметив, что инициатива в выдвижении

вопросов на парламентское обсуждение, как правило, принадлежит правительству или теневого кабинету оппозиции, а не отдельным депутатам.

Именно премьер-министр выделяет из нескончаемого потока текущих дел те, которые он хочет сделать предметом парламентских слушаний, т.е. те, по которым его правительство предполагает провести законопроекты или, если он не чувствует твердой почвы под ногами, хотя бы резолюции. Конечно, любое правительство получает от своих предшественников наследство из нерешенных вопросов, которые, возможно, нельзя отложить в долгий ящик; другие вопросы относятся к области рутинной политики; особо выдающимся достижением премьер-министра является такое положение, когда он может навязать принятие мер по политическому вопросу, поднятому им самим. В любом случае, однако, выбор или инициатива правительства, свободная или нет, есть тот фактор, который доминирует в парламентской деятельности. Если законопроект выносится оппозицией, это означает, что она предлагает сражение: подобный ход есть атака, которую правительство может либо сорвать, перехватив инициативу, либо отбить при голосовании. Если важный законопроект, которого нет в парламентском списке, предлагается группой представителей правительственной партии, это означает бунт, и министры рассматривают его с этой точки зрения, а не с точки зрения наличия у него дополнительных тактических преимуществ. Иногда это приводит к дебатам. Если эти дебаты не предложены либо не санкционированы правительством, - это симптом выхода парламентских сил из-под его контроля. Наконец, если мера принимается в результате внутрипартийного соглашения, это означает, что сражение кончилось вничью или произошел отказ от битвы из тактических соображений [В связи с этим можно упомянуть еще одну очень существенную составляющую английской технологии власти. Важный законопроект не проходил, если большинство голосов, поданных за него, во втором чтении снижалось до незначительного. Прежде всего эту практику считают важным ограничением принципа большинства в развитых демократических обществах: неверно было бы утверждать, что в условиях демократии меньшинство всегда вынуждено уступать. По здесь есть и второй момент. В то время как меньшинство не всегда должно уступать большинству по конкретным обсуждаемым вопросам, оно практически всегда - но даже и тут есть исключения - должно уступить при решении вопроса о том, останется ли кабинет у власти. Можно сказать, что голосование за важные правительственные законопроекты во втором чтении всегда сочетает в себе вотум доверия с голосованием за то, чтобы отложить

законопроект. Если бы содержание законопроекта было единственным смыслом голосования, едва ли был бы смысл вообще за него голосовать, если только речь не

идет о создании свода законов. Но если парламент озабочен в первую очередь вопросом о том, останется ли кабинет у власти, такая тактика сразу становится понятной.].

5. Исключения из этого принципа правительственного лидерства в "представительных" ассамблеях служат лишь доказательством его реалистичности. Они могут быть двух типов.

Во-первых, никакое лидерство не является абсолютным. Политическое лидерство, которое проявляется в рамках демократического метода, еще менее абсолютно из-за элемента конкуренции, который является сутью демократии. Поскольку теоретически каждый сторонник обладает правом сместить лидера и поскольку всегда есть несколько сторонников, которые имеют реальную возможность это сделать, депутат парламента или министр, принадлежащий или не принадлежащий к узкому кругу наиболее влиятельных лиц, - если он чувствует, что у него есть шансы занять место лидера, - придерживается среднего курса между безусловной лояльностью к лидеру и безоговорочным поднятием своего собственного знамени, балансируя между риском и возможностями с тонкостью, воистину достойной восхищения [Один из самых поучительных примеров, при помощи которого можно проиллюстрировать сказанное выше, даст нам курс, которого придерживался Джозеф Чемберлен по ирландскому вопросу в 1880-х годах. В конце концов он переиграл Гладстона, но он

начал кампанию, когда еще официально считался ревностным сторонником последнего.

И этот случай можно считать исключительным разве что благодаря силе и блестящим способностям этого человека. Как известно, каждому политику рассчитывать на лояльность можно только имея дело с посредственностью. Вот почему самые выдающиеся из политиков - Дизраэли, например, - окружали себя только посредственными людьми.]. Лидер в свою очередь также придерживается среднего курса: он требует дисциплины и позволяет ее нарушать. Он сочетает давление с более или менее разумными уступками, неодобрение с похвалами, наказание с поощрением. Результатом этой игры в зависимости от относительной силы индивидов и их позиций является для них различная, но во многих случаях значительная степень свободы. В частности, возьмем те группы, которые достаточно сильны для того, чтобы их негодование могли почувствовать, но недостаточно сильны, чтобы извлечь выгоду из включения своих приверженцев и своих программ в правительственные структуры. Им могут разрешить иметь свою позицию по незначительным вопросам или, во всяком случае, по тем вопросам, относительно которых премьер-министра можно убедить, что они частные или не очень важные. Таким образом, у групп или даже отдельных членов парламента от правящей партии время от времени может появляться возможность выдвигать собственные законопроекты, и еще большее снисхождение будет проявляться к тем, кто критикует

политику правительства и не голосует механически за любую правительственную меру. Но достаточно посмотреть на это в практическом ключе, чтобы, видя ограничения, которые есть у этой свободы, установить, что она представляет собой

не принцип работы парламента, а отклонения от нею.

Во-вторых, бывают случаи, когда политическая машина не может воспринять определенных проблем, поскольку высшее руководство правительственных и оппозиционных сил не видит их политической ценности или эта ценность и вправду сомнительна [Вопрос, который так никогда и не рассматривался, это типичный пример такого рода проблем. Типичные причины, по которым правительство и теневой

кабинет из тактических соображений соглашаются оставить этот вопрос без внимания, несмотря на то, что сознают его потенциальное значение, - технические трудности его решения и нежелание вызвать трудности внутри фракций.]. Такие вопросы берут себе аутсайдеры, которые предпочитают индивидуальную борьбу за власть служению в рядах одной из существующих партий. Конечно, это совершенно нормальная политика. Но есть и другая возможность. Человек может быть настолько затронут конкретной проблемой, что может выйти на политическую арену специально для того, чтобы решить ее своим способом, не имея при этом желания начать нормальную политическую карьеру. Однако это настолько необычно, что трудно найти

сколько-нибудь важные примеры. Может быть, таким человеком был Ричард Кобден [Ричард Кобден (1804-1865) - английский фабрикант и политический деятель, член палаты общин, один из руководителей "Лиги против хлебных законов", выступавшей против привилегий земельной аристократии.]. Конечно, вопросы второстепенной важности встречаются более часто. Однако все согласятся, что это всего лишь

отклонения от стандартной практики.

Мы можем подвести итоги следующим образом. Рассматривая человеческие общества, мы, как правило, без труда выделяем, по крайней мере на уровне здравого смысла, различные цели, которых изучаемые общества хотят достигнуть. Можно сказать, что эти цели придают смысл соответствующим действиям индивидов. Но отсюда не следует, что общественный смысл данного типа деятельности обязательно обеспечит мотивацию деятельности и, следовательно, объяснение последней. Следовательно, в этом случае теория, которая ограничивается анализом социальных целей и потребностей, не может считаться адекватным объяснением деятельности, которая этим целям служит. Например, причина существования такого явления, как экономическая деятельность, безусловно, состоит в том, что люди хотят есть, одеваться и т.д. Обеспечить средства удовлетворения этих нужд - это общественная

цель или смысл производства. Тем не менее мы все согласны, что этот тезис был бы самым нереалистичным исходным моментом для теории экономической деятельности в коммерческом обществе и что у нас гораздо лучше получится, если мы начнем с прибыли. Аналогично социальное значение или функция парламентской деятельности, без сомнения, состоит в производстве законов и частично в административных мерах. Но для того чтобы понять, как демократическая политика служит этой социальной цели, мы должны начать с конкурентной борьбы за власть и посты и осознать, что социальная функция выполняется, как мы видели, "случайно" - в том смысле, в котором производство является случайным по отношению к получению прибыли.

б. Наконец, что касается роли избирателей, следует дополнительно упомянуть еще об одной вещи. Мы видели, что желания членов парламента - не единственный фактор

в процессе формирования правительства. То же самое можно сказать и об избирателях. Их выбор - идеологически возведенный в ранг "воли народа" - не вытекает из их инициативы, но формируется, и его формирование - важнейшая часть демократического процесса. Избиратели не принимают политических решений. Но нельзя сказать, что они непредвзято выбирают членов парламента из числа людей, имеющих право быть избранными. Во всех нормальных случаях инициатива принадлежит кандидату, который борется за пост члена парламента и лидерство на местном уровне, которое предполагает этот пост. Избиратели ограничиваются тем, что поддерживают эту попытку, отдавая ему предпочтение, или отказываются ее поддержать. Даже те исключительные случаи, когда кандидата действительно выдвигают сами избиратели, попадают в ту же категорию в силу одной из двух следующих причин. Во-первых, если кандидат уже осуществляет лидерство, ему уже не нужно за него бороться. Во-вторых, может случиться так, что местный лидер, который имеет возможность контролировать или влиять на голосование, не может или

не хочет сам участвовать в выборах и назначает другого человека, который, как кажется, был избран по инициативе избирателей.

Но если инициатива избирателей, большей частью состоящая лишь в принятии одного из конкурирующих кандидатов, еще более ограничена существованием партий. Партия,

вопреки классической доктрине (или Эдмунду Берку), это не группа людей, которая намеревается заботиться о благосостоянии народа "исходя из некоторого принципа, но которому все ее члены пришли к согласию". Такая рационализация соблазнительна и именно поэтому опасна. Конечно, в определенное время все партии

формулируют свои принципы или программы; эти принципы и программы характерны для

партии, которая принимает их на вооружение как виды товаров, которые продаются в

универмаге, характерны для него и важны для его успеха. Но как универмаг нельзя определить через товары, так партию нельзя определить через ее принципы. Партия - это такая группа, члены которой предполагают действовать сообща в конкурентной

борьбе за политическую власть. Если бы это было не так, то различные партии не могли бы иметь почти совершенно одинаковые программы. Тем не менее, как всем известно, такое случается. Существование партий и политиков свидетельствует о том, что массы избирателей не способны на какие-либо другие действия, кроме паники. Они регулируют политическую конкуренцию точно так же, как это делают

профессиональные ассоциации. Психотехника управления партией, ее рекламная кампания, лозунги и марши - это все не украшения. Это и есть суть политики. Так же как и политический лидер.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать третья.  
Заключение

#### 1. Некоторые выводы из предыдущего анализа

Теория конкурентного лидерства дала удовлетворительное объяснение фактам демократического процесса. Поэтому естественно, что мы будем ее использовать для

того, чтобы разгадать тайну соотношения демократии и социалистического порядка. Как было сказано выше, социалисты утверждают не только то, что они совместимы; они заявляют, что демократия предполагает социализм и что не может быть подлинной демократии кроме как при социализме. С другой стороны, читатель не может не знать по крайней мере нескольких из многочисленных памфлетов, опубликованных в этой стране за последние несколько лет и говорящих о том, что плановая экономика, не говоря уже о полном социализме, совершенно несовместима с

демократией. Обе точки зрения, конечно, легко понять, помня о психологической подоплеке спора и естественном желании спорящих сторон обеспечить поддержку людей, громадное большинство которых пламенно верит в демократию. Но давайте зададим вопрос: где же истина?

Анализ, проведенный в этой и предыдущих частях книги, легко дает нам ответ. Между социализмом, как мы его определили, и демократией в нашем определении не существует обязательных отношений: одно может существовать без другого. В то же время нет и несовместимости: при соответствующей социальной среде социалистическая машина может работать на демократических принципах.

Но отметим, что эти простые утверждения зависят от того, как мы определяем социализм и демократию. Следовательно, наши выводы означают меньше, чем то, или не совсем то, что имеют в виду обе спорящие стороны. Кроме того, неизбежно возникает следующий вопрос: будет ли демократический метод работать лучше при социалистическом режиме по сравнению с капиталистическим? По этому вопросу нам предстоит дать еще немало объяснений. Это будет сделано во второй части этой главы. Сейчас мы рассмотрим некоторые следствия из нашего анализа демократического процесса.

В первую очередь в соответствии с принятой нами точкой зрения демократия не означает и не может означать, что народ непосредственно управляет, если употреблять слова "народ" и "управлять" в любом из известных значений.

Демократия значит лишь то, что у народа есть возможность принять или не принять тех людей, которые должны им управлять. Но поскольку народ может это решить совершенно недемократическими способами, мы вынуждены были сузить наше определение, добавив дополнительный критерий, определяющий демократический метод, а именно свободную конкуренцию за голоса избирателей между претендентами на роль лидеров. Один из аспектов этого можно выразить, сказав, что демократия -

это правление политиков. Необычайно важно ясно понимать, что под этим подразумевается.

Многие толкователи демократической доктрины из всех сил отрицали профессиональный характер политической деятельности. Они упорно и подчас страстно утверждали, что политика не должна быть профессией и что демократия вырождается, если она становится таковой. Но это лишь идеология. Верно, что, скажем, бизнесмены или юристы могут быть избраны в парламент и даже иногда занимать в нем посты и при этом оставаться прежде всего бизнесменами или юристами. Верно и то, что многие, став в первую очередь политиками, продолжают

зарабатывать на жизнь другим способом [Тому, конечно, есть множество примеров. Особенно поучителен пример юристов во французских *chambre* [палате депутатов] и *senat* [сенате]. Некоторые из выдающихся политических лидеров были также великими адвокатами: вспомните, например, Вальдека-Руссо и Пуанкаре. Но, как правило (если мы решим игнорировать случаи, когда юридические фирмы чудесным образом работают сами по себе, когда один из партнеров фирмы - везунчик политик и

часто избирается на политические посты) успех в суде и политический успех не сочетаются.]. Но обычно личный успех в политике больше, чем случайное возвышение

на пост в кабинете, предполагает сосредоточение сил и профессионализацию и оттесняет другие виды деятельности политика на второй план. Если мы хотим честно

взглянуть в лицо фактам, мы должны признать, что в современных демократиях любого типа, кроме швейцарской, политика неизбежно является профессиональным занятием. Это в свою очередь влечет за собой признание ясного профессионального интереса у отдельного политика и группового интереса у всех профессиональных политиков как таковых. Очень важно ввести этот фактор в нашу теорию. Если мы примем это во внимание, многие загадки будут разгаданы [Следует обратить внимание, как этот спор связан с нашим анализом позиции и поведения интеллектуалов в главе XII.]. В частности, мы немедленно перестанем удивляться, почему политики перестают служить групповым интересам своего класса или групп, с

которыми они лично связаны. Не может быть серьезным политиком тот, кто не выучил

на всю жизнь изречение, приписываемое одному из наиболее преуспевших политиков в

истории: "Чего не понимают бизнесмены, так это того, что я торгую голосами точно так же, как они торгуют нефтью" [Такую точку зрения часто не одобряют как поверхностную и циничную. Я, напротив, считаю, что легкомысленно или цинично высказывать неискренне почтение к лозунгам, по поводу которых политики в своем кругу обмениваются улыбкой авгуров. Наша точка зрения не столь уничижительна для политика, как это может показаться. Она не исключает идеалов или чувства долга. Аналогия с бизнесменом снова поможет нам внести ясность. Как я говорил в другом месте, каждый экономист, который знает реальную жизнь бизнеса, прекрасно знает, что чувство долга и идеалы общественной пользы и эффективности играют определенную роль в формировании поведения бизнесмена. И все же экономисты имеют

право основывать свои объяснения на схеме, в основе которой лежат мотивы прибыли.].

У нас нет никаких причин полагать, что положение улучшится или ухудшится при социалистической организации общества. Врач или инженер, который хочет преуспеть

в роли врача или инженера, представляет один тип человека с определенными интересами; врач или инженер, который хочет реформировать институты своей страны, представляет другой тип с другими интересами.

Во-вторых, изучающие политические организации всегда испытывали сомнения относительно административной эффективности демократии в больших и сложных обществах. Эти сомнения, в частности, были вызваны тем, что по сравнению с другими способами устройства эффективность демократического правительства неизбежно снижается из-за гигантских вынужденных потерь энергии, которые навязываются лидерам нескончаемой борьбой в парламенте и вне его. Она снижается еще больше из-за необходимости приспособлять политику к требованиям политической борьбы. Оба утверждения не вызывают сомнений. Оба они всего лишь следствия, вытекающие из наших предыдущих утверждений относительно того, что демократический метод производит законодательство и управление только как побочный продукт борьбы за политическую власть.

Представьте себе, например, положение премьер-министра. Там, где правительства столь нестабильны, как во Франции с 1871 г. до краха 1940 г., его внимание должно быть почти исключительно поглощено задачей, которая похожа на построение пирамиды из бильярдных шаров. Только наиболее выдающиеся личности в таких условиях имеют силы на текущую административную работу над законопроектами и т.д.; только такие исключительные люди могут завоевать авторитет у подчиненных им чиновников, которым, как и всем остальным, известно, что их начальник долго

не продержится. Конечно, в английской модели все отнюдь не так плохо. Нестабильные коалиционные правительства являются исключением, обычно правительство может рассчитывать на пять или шесть лет жизни. Министры могут обосноваться в своих кабинетах, и парламенту не так-то легко выбить их из седла. Но это не означает, что они не принимают участия в борьбе. Конкуренция всегда присутствует, и если правительства постоянно не борются за свою жизнь, то

это только потому, что, как правило, им удастся отбить текущие атаки, не допустив их до опасного рубежа. Премьер-министр должен постоянно пристально наблюдать за своими оппонентами, постоянно руководить своими последователями, быть готовым закрыть брешь, которая может образоваться в любую минуту, держать под контролем обсуждение законопроектов, контролировать свой кабинет - и все это

в таких объемах, что можно сказать, что во время сессии парламента у него в лучшем случае остается пара утренних часов на то, чтобы обдумать положение вещей, и на реальную работу. Отдельные неудачи и поражения правительства в целом

нередко происходят из-за перегруженности и усталости лидера или лидеров [Приведем зловещий пример: ни один из изучающих причины мировой войны 1914-1918 гг. не может не поразиться пассивности английского правительства с момента убийства эрцгерцога до объявления войны. Не то, чтобы не предпринималось попыток

избежать пожара. Но они были исключительно неэффективны и совершенно не соответствовали имевшимся возможностям. Конечно, это можно объяснить тем, что правительство Асквита на самом деле не стремилось избежать войны. Но если признать эту гипотезу неудовлетворительной, - а я считаю, что это следует сделать, - то мы приходим к другой гипотезе: возможно, господа со скамьи министров были так заняты своей политической игрой, что не почувствовали опасности международного положения до тех пор, пока не стало уже слишком поздно.]. Вполне правомерен вопрос, как лидер может взять на себя руководство и наблюдение за административным организмом, т.е., по сути дела, охватить все проблемы экономической жизни?

Но пустая трата энергии правительства - это еще не все. Непрекращающаяся конкурентная борьба за получение поста или удержание его входит во все политические соображения и приводит к искажению, столь блестяще названному "торговлей голосами". Дело в том, что в условиях демократии правительство должно в первую очередь заботиться о политической ценности политики, законопроекта или административного акта, - это означает, что сам факт, который обеспечивает соблюдение демократического принципа зависимости правительства от голосования парламента и избирателей, вполне может исказить и отношение голосов "за" и "против". В частности, это навязывает людям, которые находятся у руля или

около него, краткосрочный взгляд на все проблемы и делает необычайно трудным для

них служение перспективным интересам нации, которые могут потребовать упорной работы ради далеких целей; например, есть опасность вырождения внешней политики в продолжение внутренней. И это, конечно, не облегчает проведение рациональной политики. Меры, которые принимает правительство, имея в виду политические возможности, не обязательно приведут к результатам, наилучшим для нации. Таким образом, премьер-министра в условиях демократии можно уподобить всаднику, который так старается удержаться в седле, что не может спланировать свой путь, или генералу, настолько озабоченному тем, чтобы заставить армию выполнять его приказы, что он вынужден позабыть о стратегии. И это факт, который не могут опровергнуть никакие оправдания, необходимо честно признать, что в некоторых странах, таких, как Франция и Италия, это было одним из источников распространения антидемократических настроений.

Для начала отметим, что те случаи, в которых эти последствия оказываются невыносимыми, часто пытаются объяснить тем, что данная структура общества якобы не доросла до демократических институтов. Как показывают примеры Италии и Франции, эти неприятности могут случиться в странах, которые гораздо более цивилизованны, чем некоторые другие страны, которые успешно справились с этой задачей. Но тем не менее тяжесть критики сводится здесь к утверждению, что удовлетворительная работа демократического метода возможна при выполнении определенных условий. Ниже мы рассмотрим этот вопрос.

Далее, стоит вопрос об альтернативе. Описанные нами слабости, очевидно, присутствуют и в недемократических моделях. Прокладывание дороги к руководящим постам, скажем, в суде может потребовать почти столько же энергии и исказить взгляды человека на некоторые вопросы почти так же сильно, как политическая борьба в условиях демократии, хотя эти потери энергии или изменения взглядов не проявляются так открыто. Таким образом, пытаясь сравнить различные механизмы правления, мы должны учитывать многие другие факторы, помимо институциональных принципов.

Более того, некоторые из нас скажут в ответ на критику, что более низкий уровень эффективности правительства может быть и есть то, что нам нужно. Мы, конечно, не

хотим быть объектами эффективной диктатуры, простым материалом для сложных игр. Такой орган, как Госплан, вероятно, невозможен сейчас в Соединенных Штатах. Но не доказывает ли это, что, как и русский Госплан, его гипотетический аналог в этой стране нарушил бы дух и органическую структуру общества?

Наконец, можно ослабить давление на лидеров с помощью соответствующих институциональных структур. Хорошим примером является здесь американская система. Американский "премьер-министр", без сомнения, должен следить за ходами на политической шахматной доске. Но он не несет ответственность за каждый отдельный шаг. Не принимая участия в заседаниях конгресса, он по крайней мере свободен от связанного с этим физического напряжения. У него есть все возможности беречь свои силы.

В-третьих, наш анализ в предыдущей главе рельефно очерчивает проблему качеств человека, который избирается на позицию лидера в соответствии с демократической процедурой. Едва ли стоит напоминать хорошо известный аргумент по этому поводу: демократический метод создаст политиков-профессионалов, которых затем превращает

в администраторов-любителей и "государственных деятелей". Поскольку они сами не обладают всеми качествами, необходимыми для решения стоящих перед ними задач, они, говоря словами лорда Маколея, назначают "судей, не знающих законов, и дипломатов, не говорящих по-французски", которые разрушают государственную службу и мешают лучшим людям, в ней работающим. Однако еще печальнее другое: те свойства интеллекта и характера, которые присущи хорошему кандидату, не обязательно необходимы хорошему администратору, и отбор на основании успехов на выборах может не дать дороги людям, которые могли бы добиться успеха на вершине власти. И даже если победители на выборах сумеют добиться успехов на своих постах, эти успехи вполне могут быть неудачами для нации. Политик, если он

силен в тактике, в состоянии успешно пережить любое число сделанных им административных ошибок.

Во всем этом есть элементы истины, но есть и смягчающие обстоятельства. В частности, в пользу демократии говорит возможность рассмотрения альтернатив: ни одна система отбора людей в любой социальной сфере - возможно, за исключением конкурентной капиталистической экономики - не основана исключительно на проверке

деловых способностей, подобно тому, как из беговых лошадей выбирают участников скачек в Дерби. Хотя и в разной степени, все общественные системы высоко оценивают и другие качества, которые часто препятствуют выполнению работы. Но мы, пожалуй, можем пойти и дальше. То, что обычно политический успех ничего не говорит о человеке, и каждый политик - это всего лишь дилетант, не совсем верно.

Есть одна вещь, которую он знает профессионально, а именно как обращаться с людьми. И по крайней мере в большинстве случаев способность завоевать позицию политического лидера связана с сильным характером и другими способностями, которые полезны премьер-министру. В конце концов в потоке, который несет человека к управлению страной, много подводных камней, которые довольно эффективно препятствуют продвижению идиота или болтуна.

В таких вопросах абстрактные доводы обычно не приводят к определенным результатам - этого нам и следовало ожидать. Гораздо более любопытно и важно, что фактические свидетельства, по крайней мере на первый взгляд, не являются убедительными. Нет ничего легче, чем составить впечатляющий список неудач демократического метода, особенно если мы включим в рассмотрение не только случаи развала или крушения планов, но и те ситуации, когда страна жила здоровой

и процветающей жизнью, но политический сектор явно работал хуже других. Но столь же легко привести не менее впечатляющие свидетельства в пользу политиков. Можно привести выдающийся пример: во времена античности война не была "делом техники", каковым она стала в последнее время. Тем не менее можно подумать, что способность добиться успеха в войне даже и тогда была очень мало связана со способностью добиться избрания на политический пост. Все римские военачальники времен Республики, однако, были политиками и все они получали командование непосредственно через выборные должности, которые они занимали в то время или ранее. С этим было связано несколько ужасных поражений. Но в целом эти политики-солдаты замечательно делали свое дело.

В чем причина этого? На этот вопрос может быть только один ответ.

## 2. Условия успеха демократического метода

Если физик наблюдает, что один и тот же механизм работает по-разному в разных местах и в разное время, он приходит к выводу, что функционирование механизма зависит от внешних условий. Мы не можем не прийти к такому же выводу. И увидеть,

что это за условия, так же легко, как и установить, при каких условиях классическая доктрина демократии будет приблизительно соответствовать реальной ситуации.

Это заключение неизбежно подводит нас к тому строго релятивистскому взгляду, которого мы все время придерживались. Как нет никаких доводов за или против социализма, которые были бы справедливы во все времена и везде, точно так же мы не можем вынести и окончательный вердикт за или против демократического метода. Здесь так же, как и в случае с социализмом, трудно использовать аргумент *ceteris*

*paribus* [при прочих равных] условиях, поскольку "прочие" не могут быть равными в

ситуациях, в которых демократический порядок является осуществимым или единственно осуществимым порядком, и в ситуациях, когда дело обстоит наоборот. Демократия процветает тогда, когда модель общества обладает определенными характеристиками, и бессмысленно спрашивать, как она будет существовать при других социальных моделях, не обладающих этими характеристиками, или как будут жить люди в таких обществах в условиях демократии. Условия, которые, как я считаю, должны быть выполнены для успешного функционирования демократического метода [Под "успешным функционированием" я имею в виду то, что демократический процесс воспроизводится без возникновения ситуаций, которые толкают к недемократическим методам, и текущие проблемы решаются таким образом, который в конечном счете находят приемлемым все политически значимые заинтересованные круги. Я не хочу сказать, что каждый отдельный наблюдатель обязательно должен одобрить эти результаты со своей точки зрения.], - в обществах, где вообще возможно его действие, - я объединю в четыре рубрики; я ограничусь крупными индустриальными странами современного типа.

Первое условие - человеческий материал политики - люди, которые составляют партийный аппарат, избираются в парламент, возвышаются до министерских постов - должен быть достаточно высокого качества. Это значит не только то, что количество людей, обладающих достаточными способностями и моральными свойствами, должно быть довольно большим. Как уже говорилось раньше, демократический метод отбирает кандидатов не просто из всего населения, но только из тех частей населения, для которых доступна профессия политика, точнее говоря, из тех, которые выставляют на выборах свои кандидатуры. Это, конечно, происходит при любом способе отбора. Любой из них, в зависимости от того, насколько данная профессия привлекает талантливых и выдающихся людей, может производить политиков на уровне выше или ниже среднего для данной страны. Но, с одной стороны, конкурентная борьба за ответственный пост означает пустую трату людей и энергии. С другой стороны, демократический процесс может легко создать в

политическом секторе такие условия, которые, установившись однажды, будут отвращать большинство из тех, кто может достичь успеха в какой-либо другой сфере. По этим причинам адекватность человеческого материала особенно важна для успеха демократического правления. Неверно, что в условиях демократии люди всегда получают правительство такого типа и качества, которое они хотят или заслуживают.

Есть довольно много путей обеспечения политиков достаточно хорошего качества.

Однако до сих пор опыт, похоже, подсказывает, что единственной эффективной гарантией является существование особого социального слоя, для которого занятия политикой естественны и который сам по себе является продуктом жесткого процесса

отбора. Если такой слой не слишком недоступен, а с другой стороны, не слишком доступен людям со стороны и если он достаточно силен, чтобы ассимилировать большинство включенных в него элементов, он не только поставит для политической карьеры людей, успешно прошедших испытания в других областях, - как бы пройдя ученичество в частных делах, - но и повысит степень их соответствия государственной службе, дав им традиции, которые включают опыт, кодекс профессиональной чести, и общие взгляды.

Едва ли простым совпадением является то, что Англия, единственная из стран, полностью выполняющая наши условия, является также единственной страной, в которой есть политическое общество в этом смысле слова. Еще более поучителен опыт Германии периода Веймарской республики (1918-1933). Как я надеюсь показать в пятой части, в германских политиках того периода не было ничего такого, что можно было бы счесть вопиющим недостатком. Средний член парламента и средний премьер-министр и член кабинета были честными, разумными и добросовестными. Это относится ко всем партиям. Однако при должном уважении к проявлениям таланта, возникавшим то тут, то там, хотя у занимающих высшие или близкие к высшим посты талант проявлялся редко, нужно добавить, что большинство политиков были явно ниже нормы, в некоторых случаях к большому сожалению. Очевидно, это нельзя объяснить недостатком способностей и энергии у нации в целом. Но способные и энергичные просто отказывались от политической карьеры. Не было и класса или группы, которые бы рассматривали политику как предопределенную карьеру. Та политическая система потерпела неудачу по многим причинам. Но тот факт, что в конце концов она потерпела сокрушительное поражение от рук антидемократического лидера, тем не менее указывает на отсутствие вдохновляющего демократического руководства.

Второе условие успеха демократии состоит в том, чтобы сфера действия политического решения не простиралась слишком далеко. Допустимый ее размер зависит не только от общих ограничений демократического метода, которые вытекают

из анализа, представленного в предыдущей части, но и от конкретных обстоятельств в каждом отдельном случае. Выразимся более конкретно: сфера действия зависит не только от вида и количества вопросов, которые правительство может успешно решить в условиях постоянной напряженной борьбы за свое политическое существование. Она зависит также всегда и везде от качеств людей, входящих в правительство, от типа политического механизма и общественного мнения, с которыми им приходится работать. С точки зрения нашей теории демократии нет необходимости требовать, как это делает классическая теория, чтобы политический аппарат занимался только такими вопросами, которые народ в целом может полностью осознать и по которым он может иметь обоснованное мнение. Но менее обязывающее требование той же природы все же сохраняется. Это требует дополнительных разъяснений.

Конечно, не может быть никаких правовых ограничений относительно сферы, на которую парламент во главе с премьер-министром мог бы распространить свои решения, принимая в случае необходимости поправки к конституции. Но, как утверждал Эдмунд Берк, говоря о поведении английского правительства и парламента

в отношении американских колоний, для того, чтобы правильно функционировать, этот всемогущий парламент должен ограничить сам себя. Аналогично мы можем считать, что даже среди вопросов, которые должны решаться путем парламентского голосования, парламенту и правительству часто необходимо обсуждать такие вопросы, по которым решение будет чисто формальным или контролирующим. В противном случае демократический метод приведет к уродливым явлениям. Возьмите, например, такой трудоемкий и сложный случай, как принятие уголовного законодательства. Демократическим методом следует решить вопрос, нужно ли стране вообще такое законодательство или нет. Он будет также применен к определенным "вопросам", по которым, как считает правительство, необходимо политическое, а не формальное решение - например, должна ли считаться незаконной

практика тех или иных профсоюзов или ассоциаций работодателей. Но по остальным вопросам правительство или парламент должны будут принять рекомендации

специалиста, что бы они ни думали при этом сами, поскольку преступление - явление сложное. Этот термин в действительности охватывает многие явления, которые имеют очень мало общего. Популярное мнение по этому вопросу почти всегда неверно. И разумное его рассмотрение требует, чтобы законодательство по этому вопросу было защищено как от уклона в карательные меры, так и от сентиментальности, в которые поочередно склонны впадать непрофессионалы в правительстве и парламенте. Вот что я хотел сказать, подчеркивая значение ограничения эффективной области действия политических решений - области, внутри которой политики принимают решения по форме и по сути. Опять же рассматриваемое условие может на самом деле быть выполнено с помощью соответствующих ограничений деятельности государства. Но было бы серьезной ошибкой, если бы читатель заключил, что такие ограничения существуют автоматически. Демократия не требует, чтобы любая функция государства осуществлялась посредством данного политического метода. Например, в большинстве

демократических стран судьям дана большая степень независимости от политических учреждений. Другой пример - положение Английского банка до 1914 г. Некоторые из его функций были по сути государственными. Тем не менее эти функции были переданы организации, которая была просто деловой корпорацией, достаточно независимой от политического сектора, чтобы проводить свою собственную политику.

Некоторые Федеральные агентства в этой стране тоже могут быть отнесены к этой категории. Комиссия по торговле между штатами (Interstate commerce commission) представляет собой попытку расширить сферу государственного влияния, не расширяя

при этом сферу политических решений. Или другой пример, некоторые из штатов финансируют университеты штатов "без всяких условий", другими словами, не ограничивая их в ряде случаев полную автономию. Таким образом, почти любой тип человеческой деятельности можно ввести в сферу государства без того, чтобы она превратилась в арену конкурентной борьбы за политическое лидерство. Лидерство требуется здесь лишь для того, чтобы принять решение о создании государственного ведомства и придании ему определенной власти, а также для выполнения роли правительства как общего контролирующего органа. Конечно, этот контроль может вырождаться во вредное влияние. Если политик

бесконтрольно пользуется своей властью назначать персонал неполитических государственных учреждений, этого часто может быть достаточно для коррумпирования последних. Но это не влияет на рассматриваемый принцип. Третье условие состоит в том, что демократическое правительство в современном индустриальном обществе должно иметь возможность контролировать во всех сферах государственной деятельности - независимо от того, насколько они многочисленны. - хорошо подготовленную бюрократию, имеющую высокий статус и исторические традиции, обладающую сильно развитым чувством долга и чувством чести мундира. Существование такой бюрократии - главный ответ на возражения против правительства дилетантов. Это единственный ответ на вопрос, который так часто задают в этой стране: демократия оказалась неспособной создать приличное городское правительство; как мы можем ожидать, что народ будет процветать, если все, включая в конечном счете и весь производственный процесс, будет отдано на откуп демократическому принципу? И наконец, это принципиальный ответ на вопрос о

том, как можно выполнить наше второе условие [Ссылки на некоторые комментарии относительно бюрократии в гл. XVIII убедят читателя в том, что ответ, который дает бюрократия на все три вопроса, не идеален ни в каком смысле. С другой стороны, читатель не должен допускать, чтобы на него чрезмерно влияли ассоциации, связанные с этим словом в обыденной речи. В любом случае этот ответ единственно реалистичный.], когда сфера государственного контроля широка. Недостаточно, чтобы бюрократия была эффективна в текущем административном управлении и давала квалифицированные советы. Она должна также быть достаточно сильной, чтобы направлять и в случае необходимости обучать политиков, которые руководят министерствами. Для того чтобы быть в состоянии это делать, она должна занимать положение, которое дает возможность вырабатывать собственные принципы, и быть достаточно независимой, чтобы их утверждать. Она сама должна быть властью. Это равнозначно тому, чтобы сказать, что на деле, хотя и не формально, назначение на должность и продвижение по службе должно существенно

зависеть - в соответствии с правилами государственной службы, которые политики не отваживаются нарушать, - от ее (бюрократии) собственного корпоративного мнения, несмотря на все возмущение, которое, естественно, часто поднимается по этому поводу среди политиков или обывателей.

И снова, как и в случае с кадрами политиков, первостепенным является вопрос о имеющемся человеческом материале. Обучение хотя и важно, но второстепенно. И вновь как необходимый материал, так и традиционный кодекс, необходимый для функционирования класса государственных служащих этого рода, легче всего обеспечить, если существует социальный слой нужного качества с соответствующим престижем, который может привлечь добровольцев, - не слишком богатый и не слишком бедный, не слишком закрытый и не слишком доступный. Бюрократии Европы, несмотря на то, что довольно резкая критика в их адрес испортила им репутацию, являются примером того, что я стараюсь объяснить. Они являются продуктом длительного развития, которое началось с *ministeriales* средневековых вельмож (первоначально - слуг, которых выбирали для административных и военных целей и которые таким образом приобретали статус мелкого дворянства) и шло на протяжении

столетий до тех пор, пока не возник мощный механизм, который мы видим сейчас. Его нельзя создать в спешке. Его нельзя "нанять" за деньги, но он растет везде, какой бы политический строй не избрала нация. Его расширение - это тенденция, которую без риска можно предсказать на будущее.

Четвертый набор условий можно суммировать выражением "демократический самоконтроль". Все, конечно, согласятся, что демократический метод не может работать гладко до тех пор, пока все группы, которые имеют значение в данной стране, согласны принять любую законодательную меру, если она включена в свод законов, и все распоряжения, изданные законными властями. Но демократический самоконтроль означает нечто большее.

Прежде всего избиратели и парламенты должны находиться на нравственном и интеллектуальном уровне, достаточно высоком, чтобы противостоять предложениям обманщиков и маньяков, иначе простые люди попадут в их сети. Кроме того, ошибки,

которые дискредитируют демократию и подрывают преданность ей, возникают тогда, когда правительственные меры проводятся без учета требований оппозиции или ситуации в стране. Индивидуальные предложения по законодательной реформе или правительственным мерам должны быть согласны стоять в очереди за хлебом; они не должны пытаться ворваться в магазин. Вспоминая то, что было сказано в предыдущей

главе о *modus operandi* демократического метода, читатель поймет, что это требует

большой степени добровольной самодисциплины.

В частности, политики в парламенте должны противиться искушению наносить поражение правительству или стеснять его каждый раз, когда у них есть возможность это сделать. Если они будут это делать, никакая успешная политика невозможна. Это означает, что сторонники правительства должны принимать его руководство и позволять ему вырабатывать программу и действовать в соответствии с ней, а оппозиция должна принимать руководство "теневых кабинетов" и позволять ему удерживать политическую борьбу в рамках определенных правил. Выполнение этого требования, привычное нарушение которого означает начало конца демократии, очевидно, требует необходимой доли традиционализма, не слишком большой, но и не слишком малой. Защитить этот традиционализм является в действительности одной из целей, ради которых и существуют правила парламентской процедуры и этикета.

Избиратели вне парламента должны уважать разделение труда между ними самими и политиками, которых они избирают. Они не должны слишком легко отказывать в доверии депутатам в промежутке между выборами и должны понимать, что раз они избрали индивида, то политические действия - это его дело, а не их. Это означает, что они должны удерживаться от поучений и инструкций, - принцип, который и был повсеместно признан в конституциях и политической теории уже со времен Эдмунда Берка. Но смысл этого принципа понимают не все. С одной стороны, не многие понимают, что этот принцип не вписывается в классическую доктрину демократии и фактически требует от нее отказаться. Поскольку, если народ должен управлять в смысле принятия решений по отдельным вопросам, что могло бы быть более естественным, чем давать инструкции своим представителям, как делали избиратели на выборах во французские Генеральные Штаты в 1789 г. и раньше? С

другой стороны, еще реже сознают, что, если бы данный принцип был принят, не только формальные инструкции, подобные французским cahiers ("наказам"), но также и менее формальные попытки ограничить свободу действий членов парламента -

например, практику бомбардирования их письмами и телеграммами - следует также запретить.

Мы не можем входить здесь в различные деликатные вопросы, которые возникают в связи с подлинной природой демократии, как мы ее определяем. Значение имеет только то, что успешной демократической практике в больших и сложных обществах присуща неизменная враждебность политиков к "подсказкам с заднего сиденья" со стороны своих избирателей, вплоть до того, что они предпочитают прибегать к тайной дипломатии и лгут о своих намерениях. Чтобы удержаться от этого вмешательства, от гражданина требуется высокая степень самоконтроля. Наконец, эффективная борьба за лидерство требует большой терпимости к разнице во

мнениях. Выше подчеркивалось, что эта терпимость никогда не является и никогда не может быть абсолютной. Но каждый потенциальный лидер, который не стоит вне закона, должен иметь возможность изложить свою позицию, не создавая беспорядка. Это может означать, что люди терпеливо стоят рядом, пока кто-то атакует их самые жизненно важные интересы и оскорбляет самые дорогие идеалы, или, напротив,

потенциальный лидер, который имеет такие взгляды, сдерживает себя. Ни одна из этих ситуаций невозможна без подлинного уважения к мнениям сограждан, предполагающего даже подчинение им собственного мнения.

Любая система может выдержать искажения до определенной степени. Но даже для необходимого минимума демократического самоконтроля, очевидно, требуются определенный национальный характер и национальные привычки, для возникновения которых не везде были условия; нельзя надеяться, что сам по себе демократический

метод произведет их. И повсюду этот самоконтроль существует лишь до определенных

пределов. В самом деле, читателю нужно только вновь обратиться к нашим условиям, чтобы убедиться, что демократическое правительство будет работать наилучшим образом только, если все значимые интересы практически одинаковы не только в своей преданности стране, но также в лояльности основным принципам существующего общества. Когда эти принципы подвергаются сомнению и возникают проблемы, которые раскалывают нацию на два враждебных лагеря, демократия работает в невыгодных условиях. И она может совсем прекратить работать, как только люди перестают видеть почву для компромисса между интересами и идеалами, о которых идет речь.

Обобщенно говоря, демократический метод находится в невыгодных условиях в неспокойные времена. В действительности демократии всех типов единодушно признают, что бывают ситуации, когда разумнее отказаться от конкурентного лидерства и принять монопольное. В Древнем Риме такой невыборный пост, осуществляющий монополию на лидерство в экстренных случаях, был оговорен в конституции. Человек, на которого возлагались эти обязанности, назывался *magister populi* или диктатор. Такое положение предусмотрено почти во всех конституциях, включая и нашу собственную: президент Соединенных Штатов при определенных условиях получает власть, которая делает его диктатором в римском смысле, как бы велики ни были различия в правовом устройстве и в практических деталях. Если монополия власти эффективно ограничена и дается на определенный срок (как это было в Риме) или ограничена кратковременной экстренной ситуацией, действие демократического принципа конкурентного лидерства просто временно приостанавливается. Если монополия, предусмотренная законом или фактическая, не ограничена во времени - и если она не ограничена во времени, то она будет стремиться стать неограниченной и во всем остальном, - демократический принцип аннулируется и мы имеем дело с диктатурой в современном смысле [В Древнем Риме, термины которого мы имеем привычку неправильно употреблять, развилась автократия, которая на протяжении нескольких столетий обнаруживала определенные черты, сходные с чертами современной диктатуры, хотя аналогию и не следует проводить слишком далеко. Но римская автократия использовала республиканский пост диктатора только в единственном случае - с Гаем Юлием Цезарем. Диктатура Суллы была лишь временным магистратом, созданным для определенной цели (конституционной реформы). Других случаев нет, кроме самых "обычных".].

### 3. Демократия при социалистическом строе

1. Формулируя заключения, начнем лучше с отношения между демократией и капиталистическим строем.

Идеология демократии, как она отражена в классической доктрине, основана на рационалистической трактовке человеческих действий и жизненных ценностей. В силу

предыдущих аргументов (гл. XI) одного этого факта было бы достаточно, чтобы предположить ее буржуазную природу. История ясно подтверждает это предположение:

исторически современная демократия росла вместе с капитализмом и в причинной связи с ним. Но верно и обратное: демократия в том смысле, который придает ей наша теория конкурентного лидерства, главенствовала в процессе политических и институциональных изменений, посредством которых буржуазия изменила форму социальной и политической структуры, предшествовавшей ее господству, и, с ее точки зрения, сделала ее более рациональной: демократический метод был практическим инструментом этой реконструкции. Мы видели, что демократический метод работает особенно хорошо в некоторых некапиталистических и докапиталистических обществах. Но современная демократия - продукт капиталистического процесса.

Является ли демократия одним из тех продуктов капиталистического режима, которые вымрут вместе с ним, это, конечно, другой вопрос. И еще один вопрос, насколько капиталистическое общество подходит для использования демократического

метода, который оно породило.

Что касается последнего вопроса, очевидно, что капиталистическое общество благоприятствует демократии по крайней мере в одном смысле. Буржуазия располагает специфическим средством, которое позволяет сузить сферу политических

решений до таких пропорций, где ею можно управлять методом конкурентного лидерства. Буржуазная система ограничивает сферу политики, ограничивая сферу государственной власти; она выдвигает идеал ограниченного государства, которое существует в первую очередь для того, чтобы гарантировать законные права буржуазии и обеспечивать жесткие рамки для независимых индивидуальных усилий во всех областях. Если сверх того учесть пацифистские - по крайней мере антивоенные

- тенденции и тенденции к свободной торговле, которые, как мы видели, присущи буржуазному обществу, будет видно, что важность роли политического решения в буржуазном обществе может, по крайней мере в принципе, быть постепенно сокращена

почти до любой степени, которая может требоваться исходя из немощности политического сектора.

Теперь этот тип государства, несомненно, потерял для нас привлекательность. Буржуазная демократия - это весьма специфический исторический случай, и любые заявления от ее имени, очевидно, зависят от принятия стандартов, от которых мы уже отказались. Но абсурдно отрицать то, что политическое решение, которое нам не нравится, все же является политическим решением, а буржуазная демократия - демократией. Напротив, поскольку ныне его краски померкли, еще важнее осознать, как многоцветно оно было в лучшие времена; насколько широки и равны возможности,

предоставляемые семьям (если не индивидам); насколько велика личная свобода, даваемая тем, кто прошел испытания этого строя (или их детям). Важно осознать также, насколько хорошо, но крайней мере на протяжении некоторых десятилетий, оно выдерживало давление неблагоприятных обстоятельств и насколько хорошо оно функционировало, когда сталкивалось с требованиями, которые выходили за рамки буржуазных интересов и были враждебны им.

Капиталистическое общество в период расцвета хорошо подходило для обеспечения успеха демократии еще и в другом смысле. Жить в нем легче тому классу, интересы которого лучше всего обслуживаются практикой демократического самоограничения, чем классам, которые по своей природе стараются жить за счет государства.

Буржуа, который в первую очередь поглощен своими частными интересами, в целом - если только нет серьезной угрозы этим интересам - скорее будет обнаруживать терпимость к политическим различиям и уважение к мнениям, которые он не разделяет, чем любой другой человеческий тип. Более того, пока буржуазные стандарты господствуют в обществе, такое мироощущение имеет тенденцию

распространяться и на другие классы. Английские земельные собственники приняли поражение 1845 г. [отмену хлебных законов. - Прим. ред.] с относительной благосклонностью; английские лейбористы боролись за устранение несправедливостей, но до начала нынешнего столетия не торопились требовать привилегий. Конечно, в других странах было значительно меньше примеров такого самоограничения. Эти отклонения от принципа не всегда были серьезными или связанными только с капиталистическими интересами. Но в некоторых случаях политическая жизнь сводилась к борьбе групп давления, и во многих случаях практика, которая была не в духе демократического метода, становилась достаточно

существенной, чтобы исказить его *modus operandi* (образ действия). Тем не менее заявление о том, что подлинной демократии "не может быть" при капиталистическом строе, - это очевидное преувеличение [Следует сказать, что существуют некоторые отклонения от принципа демократии, связанные с наличием организованных капиталистических интересов. Но исправленное таким образом утверждение справедливо и с точки зрения классической теории, и с точки зрения нашей теории демократии. В первом случае результат означает, что средства, которые есть в распоряжении частных интересов, часто используются для того, чтобы препятствовать исполнению воли народа. С нашей точки зрения, результат состоит в

том, что эти частные средства часто используются для того, чтобы вмешиваться в механизм конкурентного лидерства.].

Однако в обоих отношениях капитализм быстро теряет преимущества, которые у него были. Буржуазная демократия, обреченная с упомянутым идеалом государства, уже некоторое время испытывала возрастающие трудности. Частично это происходило в силу того обстоятельства, что, как мы видели раньше, демократический метод никогда не работает наилучшим образом, если нация сильно разделена по фундаментальным вопросам социальной структуры. И эта трудность в свою очередь оказалась особенно серьезной, поскольку буржуазное общество явно не смогло выполнить еще одно условие для обеспечения эффективного функционирования демократического метода. Буржуазия порождает индивидов, которые достигали успехов в политическом лидерстве, входя в политический класс небуржуазного происхождения, но не породила своего собственного лидирующего политического слоя, хотя третье поколение семей промышленников, по всей видимости, имело все возможности сформировать его. Почему так произошло, было подробно объяснено во второй части. Все эти факты вместе взятые, похоже, дают почву для пессимистических прогнозов относительно будущего данного типа демократии. Они также объясняют ту очевидную легкость, с которой в некоторых случаях она уступает диктатуре.

2. Идеология классического социализма - отпрыск буржуазной идеологии. В частности, она полностью разделяет рационалистическую и утилитарную подоплеку последней, и многие идеи и идеалы, вошедшие в классическую доктрину демократии. Социалисты действительно не испытали трудностей, присвоив эту часть буржуазного наследия и заявив, что те элементы классической доктрины, которые социализм не смог воспринять, - упор на защиту частной собственности, например, - в действительности противоречат ее фундаментальным принципам. Подобные доктрины могут сохраняться даже при совершенно недемократических формах социализма, и мы можем быть уверены, что писатели и фарисеи построят мостик из соответствующих фраз

через любую пропасть между доктриной и действительностью. Но нас интересует практика, а именно судьба демократической практики при социализме с точки зрения доктрины конкурентного лидерства. Следовательно, поскольку мы видели, что

недемократический социализм вполне возможен, вопрос опять-таки состоит в том, насколько социализм подходит для демократического метода, если будет сделана попытка его применения.

Главное - понять следующее. Ни один ответственный человек не может невозмутимо взирать на последствия распространения демократического метода, т.е., так сказать, сферы "политики", на все экономические дела. Веря, что демократический социализм означает именно это, такой человек, естественно, придет к выводу, что демократический социализм должен потерпеть поражение. Но это не обязательно. Как

отмечалось выше, расширение области государственного управления не обязательно предполагает соответствующее расширение сферы политического управления.

Предположительно, государственное управление может быть настолько расширено, что поглотит экономическую жизнь нации, тогда как политическое управление все еще останется в рамках, определенных ограничениями демократического метода. Отсюда, однако, следует, что в социалистическом обществе эти ограничения вызовут

гораздо более серьезную проблему. Дело в том, что в социалистическом обществе не хватает автоматических ограничений, налагаемых на политическую сферу в буржуазной системе. Кроме того, в социалистическом обществе невозможно будет долее утешаться мыслью, что недостатки политической процедуры в конечном итоге являются оборотной стороной гарантированной свободы. Отсутствие эффективного управления приведет к отсутствию хлеба. Однако агенты, которые должны запускать экономическую машину, - Центральный орган, который мы упомянули в третьей части,

как и подчиненные органы, которым доверено управление отдельными отраслями промышленности или концернами, - могут быть организованы и укомплектованы кадрами таким образом, чтобы в выполнении текущих обязанностей быть достаточно независимыми от вмешательства политиков, или, если на то пошло, беспокойных комитетов граждан, или, наконец, их собственных работников. Иначе говоря, они могут быть достаточно далеки от атмосферы политической борьбы, так что им присущи лишь те недостатки, которые ассоциируются у нас с понятием "бюрократия".

И даже они могут быть значительно ограничены при должной концентрации ответственности индивидов и системе хорошо продуманных стимулов и наказаний, среди которых важнейшая часть - назначения и продвижение по службе. Серьезные социалисты, когда они не занимались агитацией и были настроены ответственно, всегда осознавали эту проблему и тот факт, что "демократия" ее не решает. Любопытную иллюстрацию представляют дискуссии в Германской комиссии по социализации (Sozialisierungs Kommission). В 1919 г., когда Социал-демократическая партия Германии решительно выступила против большевизма, наиболее радикальные из ее членов все еще верили, что некоторая степень социализации неизбежна в силу практической необходимости, и в связи с этим была назначена комиссия для того, чтобы определить ее цели и методы. Она не состояла исключительно из социалистов, но социалистическое влияние было доминирующим. Председателем был Карл Каутский. Конкретные рекомендации были выработаны только по угольной промышленности, но принятые под собирающимися тучами антисоциалистических настроений, не очень интересны. Гораздо интереснее точки зрения, которые возникли в ходе обсуждения, тогда, когда все еще преобладали более честолобивые надежды. Идея, что управляющие заводов должны избираться их работниками, была откровенно и единодушно осуждена. Рабочие комитеты, возникшие во время общего развала, были объектами неприязни и подозрения. Комиссия, которая старалась как можно дальше отойти от популярных идей "промышленной демократии" [Промышленная или экономическая демократия - это словосочетание фигурирует в стольких квазиутопиях, что в нем сохранилось очень немного точного смысла. В основном, я думаю, этот термин означает две вещи: во-первых, господство профсоюзов в промышленных отношениях; во-вторых, демократическое преобразование монархической организации фабрики через представительство рабочих

в советах или другие меры, рассчитанные на обеспечение их влияния при внедрении технических новшеств, общую политику предприятия и, конечно, дисциплину на конкретном заводе, включая методы найма и увольнения. Излюбленным приемом является здесь разделение прибылей между предпринимателем и рабочим. С уверенностью можно сказать, что многое из этой экономической демократии растворится без следа при социалистическом режиме. Это не так опасно, как может показаться, поскольку многие из интересов, которые должен защищать этот тип демократии, тогда просто перестанут существовать.], постаралась придать им безобидную форму и не слишком беспокоилась о развитии их функций. Намного больше она была обеспокоена усилением власти и обеспечением независимости управленческих кадров. Было высказано много мыслей о том, как не дать управляющим утратить капиталистическую живость и погрязнуть в бюрократических колеях. В действительности - если возможно говорить о результатах обсуждений, которые вскоре утратили практическую значимость, - эти социалистические управленцы не отличались бы от своих капиталистических предшественников, и во

многих случаях на посты были бы вновь назначены те же самые люди. Таким образом мы пришли, только иным путем, к заключению, полученному в третьей части. Но сейчас мы в состоянии связать этот вывод с вопросом относительно демократии в

условиях социализма. В определенном смысле, конечно, нынешние формы и органы демократической процедуры являются в такой же степени продуктом буржуазного мира, как и самого фундаментального принципа демократии. Но это не причина для их исчезновения вместе с капитализмом. Всеобщие выборы, партии, парламенты, кабинеты и премьер-министры могут по-прежнему оказаться самыми удобными инструментами для решения тех вопросов в повестке дня, которые при социалистическом строе останутся в сфере политических решений. Эта повестка будет свободна от всех тех вопросов, которые в настоящее время возникают из-за столкновений частных интересов и необходимости их регулировать. Вместо них появятся новые. Политическое решение будет приниматься по вопросам о том, каким должен быть объем инвестиций, каким образом следует изменить существующие правила распределения общественного продукта и так далее. Общие парламентские дебаты об эффективности экономики, комиссии по расследованию, подобные королевским комиссиям в Англии, будут продолжать выполнять их нынешние функции. Таким образом, политики в кабинете, в особенности политики во главе Министерства

производства, без сомнения, будут утверждать влияние политического элемента как при помощи законодательных мер, касающихся общих принципов управления экономическим механизмом, так и власти назначать исполнителей, которая будет вполне реальной. Но они должны делать это только до тех пор, пока это продиктовано соображениями эффективности. И министру производства не нужно будет

вмешиваться во внутреннюю работу отдельных отраслей промышленности больше, чем английский министр здравоохранения или министр обороны вмешивается в работу соответствующих учреждений.

3. Совершенно очевидно, что управлять социалистической демократией указанным способом будет совершенно безнадежной задачей, за исключением случая, когда общество удовлетворяет всем требованиям "зрелости", перечисленным в третьей части, в частности, обладает способностью установить социалистический порядок демократическим путем и бюрократией соответствующего уровня и опыта. Но общество, которое удовлетворяет этим требованиям, - я не буду рассматривать никакие другие - в первую очередь будет располагать преимуществом, возможно, решающей важности.

Я подчеркивал, что нельзя ожидать эффективного функционирования демократии до тех пор, пока подавляющее большинство людей во всех классах не согласится подчиняться правилам демократической игры, что в свою очередь означает, что они в основном согласны с фундаментальными принципами институциональной структуры. В

настоящий момент последнее условие не удастся выполнить. Очень много людей отказались и еще большее число собирается отказаться от лояльности к нормам капиталистического общества. Уже по одному этому демократия обречена на возрастающие трудности. На рассматриваемой стадии, однако, социализм может устранить раскол. Он может вновь установить согласие об основном принципе построения общественного строя. Если он сделает это, оставшиеся антагонизмы будут как раз такого типа, с которыми вполне может справиться демократический метод.

В третьей части указывалось также, что число и важность этих антагонизмов будут уменьшаться путем устранения столкновений капиталистических интересов. Отношения

между сельским хозяйством и промышленностью, мелкими и крупными предприятиями, сталепроизводящей и сталепотребляющими отраслями, отраслями, заинтересованными в протекционизме и ориентированными на экспорт, возможно, перестанут быть политическими вопросами, которые улаживаются на основании относительного веса групп давления, и станут техническими вопросами, на которые специалисты смогут дать беспристрастные и недвусмысленные ответы. Хотя, может быть, утопично ожидать отсутствия четких экономических интересов и конфликтов между ними и еще более утопично ожидать, что вне сферы экономики будут вопросы, по которым будут разногласия, вполне можно ожидать, что общее количество спорных вопросов будет уменьшаться по сравнению с тем, что было при чистом капитализме. Не будет, например, политических красноречивых, обещающих людям золотые горы. Политическая

жизнь будет очищена.

На первый взгляд социализм не может предложить очевидного решения проблемы, которая в других формах общества решается благодаря наличию политического класса, имеющего устойчивые традиции. Я говорил раньше, что при социализме будут

профессиональные политики. Может возникнуть и политическая элита, размышлять сейчас о качестве которой было бы беспредметно.

Таким образом, социализм имеет преимущества. Еще можно спорить о том, что это преимущество легко уравнивается вероятностью возможных важных искажений. До некоторой степени мы это предусмотрели, настаивая на экономической зрелости, которая среди прочего предполагает, что ни от какого поколения не потребуются великие жертвы ради следующего поколения. Но даже если нет необходимости принуждать людей к самопожертвованию средствами Госплана, демократического курса

может быть очень сложно придерживаться. Обстоятельства, в которых индивиды, стоящие у руля, успешно будут с этим справляться, не легче себе представить, чем

обстоятельства, в которых перед лицом паралича, распространяющегося с политической сферы на всю национальную экономику, они будут вынуждены придерживаться недемократического образа действий, который всегда представляет собой искушение для человека, сосредоточивающего в своих руках огромную власть над людьми, свойственную социалистической организации. В конце концов эффективное управление социалистической экономикой означает диктатуру не пролетариата, но над пролетариатом. Правда, люди, подчиненные столь жесткой производственной дисциплине, будут независимы на выборах. Но так же, как они могут использовать свою независимость, чтобы ослабить дисциплину на фабрике, так

и правительство - а именно правительство, которое заботится о будущем нации, - может использовать дисциплину, чтобы ограничить их независимость. На практике социалистическая демократия может в конце концов оказаться более лицемерной, чем

когда-либо была капиталистическая.

В любом случае эта демократия не будет означать увеличения личной свободы. И, уж

конечно, она не будет означать приближения к идеалу, заложенному в классической доктрине.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Часть пятая. Очерк истории социалистических партий - Глава двадцать четвертая. Юность социализма

Пролог

Не мне писать историю социалистических партий. Исторический контекст, в котором происходили взлеты и падения, и методы их борьбы требуют более масштабного полотна и более мощной кисти, чем моя. К тому же еще не время браться за такую задачу: хотя за последние 20 лет вышло много интересных работ, достаточно полно освещающих конкретные ситуации или фазы, предстоит проделать еще большую работу,

прежде чем можно будет написать историю современного социализма в действии, удовлетворяющую требованиям научной полноты. Однако для того, чтобы дополнить и представить в должной перспективе многое из того, о чем говорилось в предыдущих разделах, некоторые факты все же следует привести. Кроме того, мне хотелось бы также поделиться с читателем некоторыми своими соображениями, родившимися в процессе научной работы и из личных наблюдений [Об одном таком соображении я уже

говорил в другом месте (см. гл. XX).], поскольку они представляются мне

интересными сами по себе. Нижеследующие фрагменты были отобраны мною с учетом этой двойной цели, и я надеюсь, что, хотя они и разрозненны, читатель сможет угадать за ними контуры целого.

Не всякий читатель - даже не всякий читатель-социалист - одобрит то центральное положение, которое отводится в настоящем разделе Марксу и его учению. Не стану отрицать, в этом сказались мои личные пристрастия. По-моему, самым интересным моментом в социалистической политике - тем, что составляет ее своеобразие и придает ей особое достоинство, как интеллектуальное, так и моральное, - является

тесная связь этой политики с лежащей в ее основе доктриной. Социализм представляет собой (по крайней мере в принципе) теорию, реализованную на практике посредством действий или бездействия людей, основанную на истинных или ложных представлениях об исторической необходимости (см. первую часть). Этот character indelibilis [Неизгладимое свойство (лат.).] отличает даже практические

и тактические соображения, которые социалисты всегда оценивали в свете данного принципа. Но все это справедливо лишь для марксистского течения, а также, если говорить о буржуазной составляющей социализма, для радикалов-бентамитов, которых недаром называли "философскими" радикалами. Что же касается немарксистских социалистических течений, то все они более или менее похожи на другие течения или партии; только марксисты, исповедующие истинную веру, твердо шли по пути, освещаемому доктриной, которая давала им ответы на все вопросы. Как

будет ясно из дальнейшего, я вовсе не считаю, что такая установка является безусловно правильной. Ее можно называть узколобой или даже наивной. Но доктринеры всех мастей, как бы ни были они беспомощны на практике, как правило, более симпатичны нам, чем обыкновенные практики от политики. К тому же они обладают такими источниками внутренней силы, которых практикам никогда не понять.

Глава XXIV. Юность социализма

Социалистические учения, отдельные корни которых, по-видимому, так же стары, как

сама человеческая мысль, первоначально были всего лишь фантазиями, порожденными стремлением к справедливости или ненавистью, умозрительным прожектерством, оторванным от социальных реалий, поскольку они не могли никого убедить в том, что социальный прогресс способствует их реализации. Подвижничество ранних социалистов сводилось к проповедям в пустыне, поскольку они не имели прочных связей ни с одной существующей или потенциальной социальной силой, к разговорам платонического толка, до которых не было дела политикам и которых ни один исследователь социальных процессов не отнес бы к числу действенных факторов. Именно в этом и заключается суть Марксовой критики большинства предшествующих или современных ему социалистических учений и основная причина того, почему он называл эти теории утопическими. Дело не столько в том, что многие проекты ранних социалистов были явно недоношенными или во всяком случае не слишком продуманными, а в том, что в большинстве своем они не только никогда не были осуществлены, но и в принципе были неосуществимы. На этот счет существует обширная литература, но мы приведем лишь несколько примеров, иллюстрирующих это положение и одновременно показывающих, что Маркс был несправедлив в своей оценке

ранних социалистов.

"Утопия" сэра Томаса Мора (1478-1535), книга, которую в XIX в. читали, любили и которой пытались даже подражать (вспомните успех Кабе и Беллами) [Кабе Этьен (1788-1856) - французский публицист, идеолог утопического "мирного коммунизма"; социально-философский роман "Путешествие в Икарию" изображает устройство утопического коммунистического общества; Беллами Эдуард (1850-1898) - американский писатель; социально-утопический роман "Взгляд из прошлого" рисует достигнутое путем мирной эволюции социалистическое общество в США.], разворачивает перед читателем картину скудного, но высоконравственного общества,

построенного на принципах равенства, которое было прямой противоположностью современной Мору Англии. Не исключено, что к этому идеалу следует относиться именно как к социальной критике, облаченной в литературную форму, а не как к выражению истинных взглядов Мора на цели практического социального планирования.

Однако если понимать его работу в последнем смысле, - а именно так она и была воспринята, - то главный недостаток "Утопии" Мора заключается даже не в ее непрактичности. В некоторых отношениях она даже не так непрактична, как отдельные современные формы идилического социализма. Так, она прямо ставит вопрос о власти и неприкрыто рисует перспективу, - разумеется, возводя ее в ранг

добродетели, - скромного образа жизни. Главная беда в том, что Мор не делает ни малейшей попытки показать, каким образом развитие общества придет к такому идеальному состоянию (разве только путем чудесного превращения) или каковы реальные факторы, на которые можно было бы воздействовать, чтобы привести его к этому идеалу. Сам по себе идеал мог нравиться или не нравиться, но он не мог служить руководством к действию. Чтобы поставить практически точку над "i", скажем, что в этом идеале не было ничего такого, на чем можно было бы основать партию и выработать программу.

К иному типу относится социализм Роберта Оуэна (1771-1858). Ему, фабриканту и реформатору-практику, недостаточно было выдвинуть - или перенять - идею небольших самообеспечивающихся общин, производящих и потребляющих свои жизненные

средства в соответствии с общепринятыми коммунистическими принципами: он решил ее реализовать. Поначалу он надеялся на содействие государства, потом решил попробовать пробудить интерес к своей идее путем создания показательных коммун. Может, таким образом, показаться, что его план был более приближенным к реальности, чем план Мора: ведь Оуэн не просто предложил идею, но и попытался навести мосты между нею и реальностью. В действительности, однако, подобные мосты годятся лишь на то, чтобы служить наглядным пособием, раскрывающим глубинную природу утопизма, поскольку как правительственные меры, так и личные усилия преподносились его программой как *dei ex machina* ["Боги из машины" (лат.), появление которых никак не обусловлено предыдущим ходом событий.], т.е. как нечто такое, что нужно сделать только потому, что кто-то решил, что так надо. Оуэн не указал, да и не смог бы указать никакой социальной силы, которая действовала бы в направлении провозглашенной цели. Сажая розовые кусты своих идей, Оуэн не позаботился о почве для них, - они должны были питаться одной лишь

собственной красотой [То же самое можно сказать и применительно к аналогичному плану Шарля Фурье (1772-1837), который, однако, вполне социалистическим не назовешь, поскольку по этому плану трудящиеся должны были получать лишь 5/12 общественного продукта, а остальное должно было идти на накопление и управление.

Хотя сама по себе эта попытка сделать объективный расчет весьма похвальна, нельзя не отметить то любопытное обстоятельство, что при таком "идеальном", с точки зрения Фурье, порядке вещей трудящиеся оказались бы в менее выгодном положении, чем при реальном капитализме. Так, в довоенной Англии совокупная заработная плата по ставке ниже 160 фунтов стерлингов соответствовала 62% чистого продукта, а если включить и более высокие жалованья - 68% (см.: Bowley A., *The division of the product of Industry*. 1921. P.37). Разумеется, идеалы Фурье отнюдь не сводились к одной только экономике, но в той мере, в какой они ее затрагивают, они наглядно показывают, насколько силен элемент незнания капиталистических реалий в учениях иных реформаторов.]

То же верно и применительно к анархизму Прудона (1809-1865), за тем исключением,

что экономическая ошибка в его трудах гораздо более заметна, чем в работах других классиков анархизма, которые с презрением относились к экономической аргументации. Отстаивая свой идеал свободной и институционально неформальной кооперации между отдельными индивидами или идею разрушения, необходимого, чтобы проложить для этой кооперации дорогу, они избегали логических ошибок главным образом благодаря тому, что вообще не прибегали к логике. Как шекспировские "безумные, любовники, поэты", которые "все из фантазий созданы одних", они были неопределимы неспособны ни на что другое, кроме как расстраивать социалистические планы и усиливать неразбериху в ситуациях революционного подъема. Можно легко понять негодование Маркса, к которому нередко примешивалась

горечь отчаяния, если вспомнить деяния г-на Бакунина.

Однако анархизм был не просто утопией, а утопией с идеей отмщения. Мы упомянули об одном из мрачных его представителей только для того, чтобы дать понять, что

подобные всплески менталитета XIV в. не следует путать с подлинной линией утопического социализма, которая лучше всего проявляется в работах Сен-Симона (1760-1825). В них мы находим и здравый смысл, и ответственное отношение, и аналитическую глубину. Выдвигаемая им цель не была ни абсурдной, ни умозрительной. Не хватало только одного - пути реализации: единственным предложенным методом вновь оказались государственные меры, т.е. действия правительств, которые в то время все были по существу буржуазными. Если согласится с такой точкой зрения, то великий перелом, означавший вступление

социализма в пору зрелости, следует связать с именем и деятельностью Карла Маркса. Событие это, следовательно, можно датировать (если в подобных вопросах сколько-нибудь точная датировка вообще возможна) выходом в свет "Коммунистического манифеста" (1848) или основанием Первого Интернационала (1864): именно в этот период социализм и теоретически, и практически стало возможным принимать всерьез. Однако достижение это, с одной стороны, всего лишь подводило итог наработкам социалистической мысли за все предыдущие века, с другой стороны, оно формулировало их таким специфическим образом, который практически (но, уж конечно, не логически) был в то время единственно возможным.

Следовательно, оценка, данная Марксом ранним социалистам, должна быть в известной мере пересмотрена. Прежде всего, даже если согласиться с тем, что социалистические теории предыдущих веков были не более, чем грезы, то грезы эти в большинстве своем были

вполне аргументированными. Причем то, что более или менее логично удавалось сформулировать отдельным мыслителям, было не просто их личными фантазиями, а выражением мечтаний всех неправящих классов. Таким образом, мыслители эти не только витали в облаках - они помогали также вытащить на поверхность то, что дремало внизу и готово было пробудиться. В этом смысле даже анархисты, включая их

средневековых предшественников, процветавших во многих монастырях, в особенности

францисканских, приобретают значение, которое марксисты им обычно не придают. Какими бы беспомощными ни казались эти учения ортодоксальным социалистам, - но притягательность социализма даже сегодня во многом определяется этими неразумными желаниями голодной души - именно души, а не живота, рупором которой они были [Именно поэтому попытки высокоученых социалистов откреститься от всего того, что кажется им абсурдным и призрачным в вере своих непросвещенных собратьев, никогда не смогут увенчаться полным успехом. Популярность социализма объясняется вовсе не логическими аргументами, а как раз теми мистическими ересями, которые с негодованием осуждают как буржуазные, так и социалистические экономисты. Пытаясь отмежеваться от них, вышеупомянутые социалисты не только проявляют неблагодарность породившему их древу, но и кличут на себя беду - ведь эти стихийные силы можно переманить на службу к другому господину.].

Во-вторых, ранние социалисты оставили после себя много инструментов и строительного материала. В конце концов даже сама идея социалистического общества была их детищем, и именно благодаря их подвижничеству Маркс и его современники могли рассуждать о социализме как о чем-то таком, что всем известно. Но многие утописты пошли гораздо дальше. Они прорабатывали детали социалистического плана или некоторых его вариантов, формулируя тем самым проблемы (пусть даже формулировки эти были неадекватны) и расчищая площадку под будущее строительство. Даже их вклад в чисто экономический анализ заслуживает доброго слова: он сыграл роль закваски, которая заставила подняться, казалось бы, безнадежно тяжелое тесто. К тому же эти работы в большинстве своем были выполнены на хорошем профессиональном уровне и не только обогатили существующую теорию, но и самому Марксу пришлось очень кстати. Английские социалисты и квазисоциалисты, которые разработали трудовую теорию стоимости, например Уильям Томпсон, дают тому прекрасный пример.

В-третьих, далеко не все из тех, кого Маркс относит к утопистам, творили в отрыве от массовых движений. Некая связь неизбежно присутствовала хотя бы потому, что те самые социальные и экономические условия, которые заставляли мыслителей братья за перо, толкали на действия и социальные группы или классы людей - крестьян, ремесленников, батраков или просто бродяг и нищих. Однако для многих утопистов эта связь была значительно более тесной. Уже во время революций

XIV в. требования крестьян были сформулированы интеллигенцией, а с течением веков связи и сотрудничество между ними становились все теснее. Граф Бабеф (1760-1797), вождь и вдохновитель единственного чисто социалистического движения

во время Великой французской революции, в глазах правительства был настолько значительной фигурой, что оно сочло необходимым приговорить его в 1797 г. к смертной казни. Множество примеров сотрудничества между интеллигентами и массами

дает также история Англии. Достаточно только провести с этой точки зрения сравнение между движением левеллеров в XVII в. и движением чартистов в XIX в. В первом случае Джерард Уинстэнли (Winstanley, 1609-1652) присоединился к движению

и возглавил его в индивидуальном порядке, во втором - группы интеллигенции выступили как единое целое, и хотя в конечном итоге их сотрудничество свелось к христианскому социализму, это никак нельзя считать затеей кабинетных ученых, совершенно оторванных от массовых движений тех времен. Во Франции наилучшим примером может служить деятельность Луи Блана (Blanc, 1811-1882) в период революции 1848 г. Таким образом, в этом, как и в других отношениях, утопический социализм отличался от социализма "научного" скорее по степени, нежели по существу: отношение ранних социалистов к классовым движениям было случайным и, как правило, не возводилось в принцип, тогда как у Маркса и у постмарксистских социалистов оно было именно возведено в основополагающий принцип и по сути напоминало отношение стратегов к действующей армии.

Остается сделать еще одно очень важное замечание - надеюсь, оно не окажется камнем преткновения. Я уже сказал, что доктрина, которая постулирует наличие объективной исторической тенденции движения к социализму [Желающих понять точный

смысл этой фразы отсылаем к первой и второй частям. Здесь же она означает только

две вещи: во-первых, что, хотим мы этого или не хотим, к социализму склоняются реальные социальные силы, следовательно, он будет все больше приобретать характер практической задачи, во-вторых, раз так, то в данный момент уже имеется

поле деятельности для партий с социалистической ориентацией. Последнее положение

более подробно обсуждается в гл. XXV.] и постоянная связь с существующим или потенциальным источником социальной энергии - два необходимых условия, превращающих социализм в серьезный политический фактор, - к середине XIX в. уже,

несомненно, сложились, причем сложились в такой форме, которая логически была отнюдь не единственно возможной. Маркс и большинство его современников придали своему учению новую грань, объявив, что рабочие - это единственный класс, который служит активным проводником этой тенденции и, следовательно, является единственным источником энергии, в котором социализм может черпать свои силы. Для них социализм означал в первую очередь освобождение труда от эксплуатации, а

"освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом". Теперь нам нетрудно будет понять, почему в качестве практической задачи Маркс выбрал не что-нибудь, а именно привлечение на свою сторону рабочего класса, и почему его доктрина была выстроена соответственно. Но сама идея настолько глубоко укоренилась, причем не только в представлениях социалистов, но также и в

головах несоциалистических мыслителей, что совершенно заслонила собой некоторые факты, которые не так-то просто объяснить с позиций социализма - например, то, что рабочее движение, которое, действительно, часто связано с социализмом, до сего дня не слилось с ним, а существует само по себе, и что социалистам оказалось не так-то легко установить в рабочей среде сферы своего влияния, в которых их учение воспринималось бы как нечто само собой разумеющееся. Как бы мы

ни объясняли подобные факты, должно быть ясно, что рабочее движение по сути своей не является социалистическим точно так же, как и социализм необязательно является учением рабочих или пролетариата. Да это и неудивительно. Ведь во второй части мы видели, что капиталистический процесс мало-помалу обобществляет

экономику и многое другое, что означает преобразование в равной мере всех частей единого общественного организма. Реальный доход и вес рабочего класса в обществе

в ходе этого процесса увеличиваются, а капиталистическое общество все более и более утрачивает способность держать рабочих в узде. Но такая картина вряд ли сможет служить достойной заменой созданному Марксом полотну, живописующему рабочих, толкаемых па великую революцию страданиями, невыносимость которых постоянно возрастает. Если отвлечься от этой картины и осознать, что реально возрастает лишь вклад рабочего класса в капиталистическую систему, то значение данного призыва, обращенного к рабочему классу и подразумевающего определенную логику эволюции, неизбежно снизится. Еще менее обоснованной покажется тогда и та

роль, которую отводит марксизм пролетариату в развязке социальной драмы. Ему вообще там нечего будет делать, если преобразования будут происходить постепенно. А если случится великая революция, пролетариат можно уговорить или угрозами добиться его согласия. Ударная группа все равно будет сформирована не из рабочих, а из представителей интеллигенции с участием околоуголовных элементов. А Марксовы идеи по этому вопросу - это чистая "идеология", столь же утопичная, как и фантазии ранних социалистов.

Таким образом, хотя на существу нельзя отрицать, что в отличие от большинства своих предшественников Маркс ставил перед собой задачу подвести фундамент под уже существующее движение, а не под выдуманную сказку, а также то, что он и его преемники добились частичного контроля над этим движением, разница между Марксом

и утопистами на самом деле куда меньше, чем марксисты пытаются нас убедить. Как мы видели, в мыслях утопистов гораздо больше реализма, а в мыслях Маркса - гораздо больше нереалистичных мечтаний, чем они считают. В свете этого факта мы должны переменить свое мнение о ранних социалистах именно

потому, что они не делали какого-то особого упора на пролетарский фактор. В частности, их призывы к правительствам или к другим классам, помимо пролетариата, покажутся нам тогда менее иллюзорными и более реалистичными, чем они представлялись Марксу. Ведь государство, его бюрократия и группы людей, из которых состоит политическая машина, не могут не привлечь внимания социалистов, ищущих источники общественной энергии. Сегодня уже должно стать очевидным, что перечисленные силы готовы двигаться в желательном направлении с не менее "диалектической" необходимостью, чем массы. И даже само появление внутри социализма такого "буржуазного" течения, которое мы предпочитаем называть "фабианским социализмом" [См. гл. XXVI. Марксисты, естественно, возражат, что подобные явления - не более, чем отклонения от подлинной тенденции, побочные эффекты, сопровождающие победный марш пролетариата. С этим утверждением еще можно было бы согласиться, если считать наступление пролетариата одним из факторов в ситуации, которая породила и порождает подобные явления. Но, будучи понято в этом смысле, это утверждение уже не может быть использовано марксистами

в качестве контраргумента. Если же оно означает, что пролетариат и государственный социализм связывает улица с односторонним движением или что связь между ними носит чисто причинно-следственный характер, тогда это действительно был бы контраргумент, хотя и неверный. Социально-психологический процесс, описанный во второй части, сам, без всякого давления снизу, порождает государственный и фабианский социализм, который даже помогает это давление создать. Как мы вскоре увидим, можно задать резонный вопрос, где был бы сейчас социализм без своих попутчиков. Можно со всей определенностью утверждать, что социализм (в отличие от рабочего движения профсоюзного типа) без своих идеологов

буржуазного происхождения далеко бы не ушел.], также наводит на определенные размышления. Таким образом, выбор Марксом в качестве источника социальной энергии рабочего класса был лишь одним из возможных вариантов, который, будучи самым важным практически, ничем не лучше и не хуже выбора, сделанного другими социалистами, которых ортодоксальные марксисты считали мошенниками и еретиками.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать пятая.  
Условия, в которых сформировались взгляды Маркса

1. По словам Энгельса, в 1847 г. Маркс вместо термина "социализм" стал употреблять термин "коммунизм", поскольку социализм к этому времени приобрел уже

налет буржуазной респектабельности. Как бы то ни было и какое бы объяснение мы не давали этому факту, если он действительно имел место, - у нас ведь неоднократно были основания считать социализм продуктом буржуазной мысли - не может быть никакого сомнения в том, что сами Маркс и Энгельс были типичными представителями буржуазной интеллигенции. Изгой своей страны, буржуа по происхождению и по воспитанию - вот кто такие были Маркс и Энгельс, и формула эта многое проясняет как в идеях Маркса, так и в той политике и тактических шагах, которые он рекомендовал. Самым поразительным является то, что идеи его получили такое большое распространение.

Во-первых, этот лишенный корней интеллигент, в душе которого на всю жизнь неизгладимым следом отложился опыт 1848 г., отверг свой собственный класс и сам был этим классом отвергнут. С тех пор он мог иметь дело только с другими отверженными интеллигентами, такими же изгоями, как он сам, а также с пролетарскими массами, и только им мог доверять. Именно здесь следует искать объяснение его доктрины, которая, как мы видели в предыдущей главе, несомненно, нуждается в объяснении, а именно его утверждение о том, что "освобождение рабочих есть дело самих рабочих".

Во-вторых, будучи лишенным корней интеллигентом, он, естественно, стал интернационалистом по своему мироощущению. Это означало не только и не столько то, что проблемы и превратности судьбы любой отдельно взятой страны - даже пролетариата отдельно взятой страны - никогда не стояли для него на первом месте, а находились скорее на периферии его интересов. Это означало, что для него было куда легче создать наднациональную социалистическую религию и размышлять о международном пролетариате, отдельные отряды которого, по крайней мере в теории, были гораздо более тесно связаны между собой, чем с другими классами в своих же странах. Чисто логически придумать такую откровенно нереальную концепцию и все, что из нее вытекает с точки зрения понимания прошлой

истории и взглядов марксистских партий на внешнюю политику, мог кто угодно, однако любому другому пришлось бы для этого преодолеть в себе субъективные пристрастия, порожденные национальным окружением, и ни один человек, связанный со своей страной тысячами нитей, не смог бы отдать ей столько страсти, сколько вложил в нее Маркс, у которого такие нити отсутствовали. Сам не имея отечества, он сумел легко убедить себя, что его нет и у пролетариата.

Чуть ниже мы увидим, почему и в какой мере это учение выжило и какой смысл вкладывался в него при разных обстоятельствах. Сам Маркс, несомненно, был согласен с вытекающими из него выводами о неучастии в войнах и пацифизме. Он, безусловно, считал, что пролетариат не только не заинтересован в "капиталистических войнах", но что войны эти служат средством его еще более полного порабощения. Уступка, на которую ему пришлось пойти, а именно тезис о том, что участие в обороне собственной страны против иноземных захватчиков не является для правоверного социалиста делом зазорным, несомненно, была всего лишь

вынужденной тактической уловкой.

В-третьих, какой бы ни была его доктрина [См. гл. XX и XXIII.], но этот лишенный

корней буржуа все же впитал демократию вместе с молоком матери. Иными словами, приятие буржуазной системы ценностей в той ее части, которая касалась демократии, было для него не просто вопросом рационального понимания условий, характерных для современного ему общества или общества любой другой эпохи. Не было оно для него и просто вопросом тактики. Действительно, он не смог бы

заниматься социалистической деятельностью (и своей личной работой) - во всяком случае не смог бы заниматься ею в сколько-нибудь комфортных условиях - в обществе, не исповедующем принципы демократии в том виде, в каком их понимали во

времена Маркса. За крайне редким исключением всякая оппозиция должна бороться за

свободу, которая для Маркса была синонимом демократии, и отдаваться на милость "народа". Разумеется, этот момент был, а в некоторых странах и до сих пор остается весьма важным. Именно в этом заключается объяснение того, почему демократические заявления социалистических партий недорого стоят, пока политическая власть этих партий не возрастет настолько, что у них появится возможность выбора, и почему они не пользуются случаем принципиально решить вопрос о соотношении между логикой социализма и логикой демократии. Тем не менее

мы имеем все основания утверждать, что Маркс не подвергал сомнению необходимость демократии, и любое иное политическое устройство считал ниже демократии - в этом

революционеру образца 1848 г. следует отдать должное [Эмоциональная установка, сложившаяся у Маркса под влиянием событий 1848 г., совершенно исключала для него

возможность хотя бы понять, не говоря уж о том, чтобы воздать должное тому недемократическому режиму, который отверг его. Беспристрастный анализ, несомненно, отметил бы и достижения, и потенциальные возможности, но в данном случае Маркс никак не мог быть беспристрастным.]. Разумеется, такой важный элемент буржуазной политической культуры никак нельзя было принять без всяких оговорок - это сразу выявило бы, что у Маркса было слишком много общего с этой культурой. Но в предыдущей части книги мы уже убедились, что Маркс сумел преодолеть эту трудность, смело заявив, что единственно истинной является только

социалистическая демократия, а буржуазная демократия - это не демократия вовсе.

2. Таково было Марксово политическое априори [Ни в одном языке, из тех, которые я знаю, это слово официально существительным не считается, но это настолько удобно, что я все-таки рискну употребить его в данной форме.]. Нет нужды лишний раз говорить о том, что оно принципиально отличалось от априори рядовых английских социалистов, не только живших во времена Маркса, но и в любые другие времена, - отличалось настолько сильно, что взаимная симпатия и уж тем более полное взаимопонимание практически исключались, независимо от гегельянства и других идеологических барьеров. Это различие станет еще более наглядным, если сравнить Маркса с другим немецким мыслителем, очень близким ему по происхождению, - Фердинандом Лассалем (1825-1864). Человек той же национальности, продукт того же социального слоя, что и Маркс, воспитанный на очень близких культурных традициях, па которого также оказала большое влияние французская революция 1848 г. и идеология буржуазной демократии, Лассаль, однако, отличается от Маркса, причем отличие это невозможно объяснить одним только несходством характеров. Гораздо важнее было то, что Маркс был изгоем, а Лассаль - нет. Лассаль никогда не оказывался в изоляции ни от своей страны, ни от какого-либо сословия, включая пролетариат. В отличие от Маркса он никогда не был интернационалистом. Когда он говорил "пролетариат", он прежде всего имел в виду немецкий пролетариат. Он не имел ничего против сотрудничества с существующим государством. Ему не претило общение с Бисмарком или с королем Баварии. Подобные мелочи играют большую роль - большую, возможно, чем многие мировоззренческие разногласия, во всяком случае достаточно большую, чтобы породить разные учения о социализме и непримиримую вражду между их авторами. Попробуем теперь с позиций Марксова априори взглянуть на те факты политической жизни, с которыми ему приходилось иметь дело.

Возьмем хотя бы обширную армию промышленного пролетариата, о которой писал Маркс, считая, что она существует только в Англии. Даже в Англии к тому моменту,

когда он сформулировал основные положения своей теории, движение чартистов уже сошло на нет, а рабочий класс становился все более трезвомыслящим и консервативным. Неудача радикальных действий разочаровала пролетариат и он стал отходить от броских лозунгов и гимнов, прославляющих право рабочих на неурезанный продукт. Трезво поразмыслив, пролетариат решили сделать ставку просто

на увеличение своей доли в этом продукте. Их вожди стали осторожно пытаться установить, укрепить и усилить юридический статус и экономическую власть профсоюзов в политических рамках буржуазного общества. Из принципиальных, а также из очевидных тактических соображений они неизбежно должны были относиться к революционным идеям и революционной деятельности, как к помехе, диверсии против серьезного дела трудового класса, допущенной то ли по глупости, то ли по легкомыслию. К тому же они имели дело в основном с верхними слоями рабочего класса; что касается его низов, то по отношению к ним они испытывали чувства, близкие к презрению.

Во всяком случае ни условия, в которых они оказались, ни личные качества никогда

бы не позволили Марксу и Энгельсу организовывать промышленный пролетариат или любую конкретную его группу в соответствии с собственными идеями. В лучшем случае они могли надеяться на связи с вождями пролетарского движения и профсоюзной бюрократией. Учитывая, с одной стороны, позицию "респектабельных" представителей рабочего класса, с другой - точку зрения не поддающихся организации низов в больших городах, с которыми они не очень-то жаждали иметь дело [Не будем забывать, в каком тоне марксисты обычно говорят о люмпен-пролетариате (Lumpen proletariat).], они оказались перед лицом весьма щекотливой дилеммы. Они не могли не оценить значения профсоюзного движения, которое медленно, но верно шло к решению титанической задачи объединения масс в некое подобие организованного класса, иначе говоря - к решению той проблемы, которую сами Маркс и Энгельс считали наиважнейшей. Однако не имея возможности влиять на это движение и вполне сознавая ту опасность, что ведомый профсоюзами рабочий класс может обуржуазиться и выработать в себе буржуазные установки, они не любили профсоюзы и не доверяли им, а те платили им той же монетой - в той мере, в какой они их вообще замечали. Таким образом, Марксу и Энгельсу пришлось отступить на позицию, которая стала характерной для классического социализма и которая, хотя значение ее существенно уменьшилось, и по сей день выражает фундаментальный антагонизм между теоретиками социализма и рабочим классом (который в важных случаях можно условно приравнять к антагонизму между социалистическими партиями и профсоюзами). Для социалистов профсоюзное движение было чем-то таким, что необходимо обратить в веру классовой борьбы; в качестве средства такого обращения приверженцам истинного вероучения приходилось идти на сотрудничество с профсоюзами всякий раз, когда рабочие волнения радикализировали

массы и беспокойство или волнение профсоюзных лидеров достигало такой степени, что они готовы были выслушивать проповеди. Но поскольку обращение в истинную веру все равно было неполным и поскольку профсоюзы оставались в принципе нерасположенными ни к революционным, ни даже просто к политическим действиям, для социалистов это движение не только не было носителем божественной истины, напротив, оно шло по ложному пути, неправильно понимало свои истинные цели, обманывая себя пустыми сказками, которые не просто бесполезны, но даже вредны, а

потому правоверным не следовало до него опускаться, разве что затем, чтобы подтачивать его изнутри.

Эта ситуация начала меняться уже при жизни Маркса и изменилась еще больше после его кончины, но еще при жизни Энгельса. Рост численности промышленного пролетариата, который постепенно сделал его реальной силой не только в Англии, но и на континенте, и сопутствующая экономическим спадам того периода безработица увеличили влияние Маркса и Энгельса на лидеров рабочего движения, но

они никогда так и не добились прямого влияния на пролетарские массы. Впрочем, главным материалом для работы всегда оставалась интеллигенция. И хотя успехи их на данном фронте были весьма значительны, интеллигенты доставляли им еще больше беспокойств, чем безразличие трудящихся, временами перерастающее во враждебность. Была, например, прослойка интеллигентов-социалистов, которые не считали зазорным отождествлять себя с профсоюзами или с социальным реформаторском буржуазно-радикального или даже консервативного толка. И разумеется, они исповедовали совершенно иной социализм, который, обещая быстрые блага, был опасным соперником. Были также интеллигенты, в первую очередь Лассаль, которые завоевали в массах позиции, представлявшие уже прямую угрозу идеям марксизма. И наконец, были интеллигенты, которым было не занимать

революционного пыла, но которых Маркс и Энгельс вполне справедливо считали худшими врагами социализма - это путчисты вроде Бланки [Blanqui, 1805-1881], досужие мечтатели, анархисты и т.д. Идеологические и тактические соображения требовали сказать всем этим группам твердое "Нет".

3. На таком идеологическом фоне и в такой тактической ситуации Марксу было чрезвычайно трудно найти ответ на два жизненно важных вопроса, которые неизбежно

задавал каждый его последователь или потенциальный сторонник: вопрос об отношении к политике буржуазных партий и вопрос о программе ближайших действий. Что касается первого вопроса, то социалистическим партиям нельзя было посоветовать молча взирать на буржуазную политику. Их непосредственной задачей было критиковать капиталистическое общество, выявлять замаскированные классовые интересы, подчеркивать, насколько лучше все будет в социалистическом раю, охотиться за новобранцами: критиковать и организовывать. Однако сохранять чисто негативное отношение, хотя в принципе оно вполне допустимо, для любой мало-мальски влиятельной партии было бы невозможно. Оно неизбежно вступило бы в противоречие с реальными целями организованного труда и, если бы оно сохранялось

сколь нибудь долго, отпугнуло бы всех последователей, за исключением разве что горстки политических аскетов. Учитывая то влияние, которое вплоть до 1914 г. оказывало учение Маркса на великую германскую Социал-демократическую партию и на

многие другие политические группы меньших размеров, интересно посмотреть, как он

разрешил эту трудность.

Пока это было возможно, он сохранял единственную логически безупречную позицию: социалисты должны отказаться от участия в бутафорских реформах, с помощью которых буржуазия пытается обмануть пролетариат. Такое участие - позже оно было названо "реформизмом" - означало бы вероотступничество, предательство истинных целей, коварную попытку подлатать то, что должно быть разрушено. Ослушники вроде

Бebelя, вернувшегося с повинной головой к прежним святыням после того, как он соблазнился было реформизмом и сбился с пути истинного, подвергались ожесточенной критике. Надо сказать, что во времена Союза коммунистов 1847 г. Маркс и Энгельс сами подумывали о том, чтобы скооперироваться с левыми буржуазными группировками, да и в "Коммунистическом манифесте" признавалась необходимость в отдельных случаях идти на компромиссы и создавать союзы, а также

говорилось, что тактику следует выбирать с учетом времени и места. Тот же вывод следовал и из правила, обязательного для всех правоверных, о том, что нужно использовать любые раздоры между национальной буржуазией разных стран и между буржуазными группировками внутри одной страны: ведь без сотрудничества, по крайней мере с некоторыми из этих группировок, при этом не обойтись. Но все эти послабления нужны были Марксу только для того, чтобы еще выше поднять главный принцип, и по сути ничего не меняли. В каждом конкретном случае целесообразность

отступления от правила должна была тщательно взвешиваться, причем изначальная установка всегда была "против". К тому же под "сотрудничеством" Маркс понимал не

столько нормальные рабочие отношения с другими политическими течениями, поскольку при таких отношениях неизбежно пришлось бы идти на компромисс, а это могло бы подорвать чистоту учения, а союз, заключенный на время каких-то чрезвычайных событий, предпочтительно революций.

О том, как должен поступать истинный марксист, если буржуазный супостат проводит

политику, безусловно совпадающую с интересами пролетариата, можно судить по примеру, показанному самим Метром, в очень важном вопросе. Дело в том, что одной

из главных опор политической платформы английского либерализма была политика свободной торговли. Маркс был слишком хорошим экономистом, чтобы не понимать, какие выгоды в тех условиях это сулило рабочему классу. Можно было бы попытаться

преуменьшить эти выгоды или найти злой умысел в намерениях буржуазных сторонников свободной торговли, по проблеме бы это не решило, поскольку

социалисты, конечно, должны были бы поддержать свободную торговлю, особенно продуктами питания. Ну, что же, раз надо - они ее поддержат, но только, разумеется, не потому, что дешевый хлеб - это благо, - упаси бог! - а потому, что свободная торговля ускоряет темпы социальной эволюции, а следовательно, приближает социальную революцию. Это очень красивый тактический ход. К тому же аргумент, которым воспользовался Маркс, совершенно справедлив и может быть с равным успехом использован во многих других случаях. Пророк позабыл, правда, сказать, что делать социалистам, когда принимаемые буржуазным правительством решения улучшают положение пролетариата, но не ускоряют эволюцию капитализма - а

именно таковы большинство мер по социальной защите населения, социальному страхованию и т.п., или, наоборот, ускоряют эволюцию капитализма, непосредственно не улучшая положения пролетариата. Но если подобные вопросы вызовут разнотолки в буржуазном лагере, то социалисты не растеряются - следуя заветам Учителя, они постараются обратить капиталистические разногласия себе на пользу. Несомненно, что именно в этом ключе Маркс решал бы и вопрос о реформах, финансируемых в противовес буржуазии небуржуазными силами, в частности земельной

аристократией и мелкопоместным дворянством, хотя в его учении для подобных казусов просто не было места.

Второй вопрос был не менее заковыристым. Ни одна партия не может существовать без программы, которая обещает народу скорые блага. Но марксизм, строго говоря, не мог ничего подобного предложить. В отравленной атмосфере капитализма любое доброе дело было заведомо запятнано. Маркса и Энгельса это действительно беспокоило, и они никогда не одобряли программ, которые предусматривали проведение конструктивной политики в рамках капиталистического порядка и, следовательно, попахивали буржуазным радикализмом. Однако когда они сами столкнулись с этой проблемой в 1847 г., они решительно разрубили Гордиев узел и без всякой логики включили в "Коммунистический манифест" список неотложных мер социалистической политики, пришвартовав тем самым социалистическую баржу к либеральному лайнеру.

Бесплатное образование, всеобщее избирательное право, запрет на эксплуатацию детского труда, прогрессивный налог, национализация земли, банков и транспорта, развитие государственной промышленности, расчистка под пашню и улучшение земель,

всеобщая трудовая повинность, создание промышленных центров по всей стране - все

это ясно показывает, до какой степени (в то время) Маркс и Энгельс позволяли себе пускаться в оппортунизм (чего они никогда не разрешали делать другим социалистам). Самое поразительное в этой программе - это то, что в ней не было ни единого пункта, который однозначно трактовался бы как типично или чисто социалистический, попадись он в ином контексте; какое требование из этого списка могло бы фигурировать и в несоциалистической программе - в ряде случаев от вполне буржуазных авторов исходило даже требование национализировать землю, а

большинство этих требований были просто позаимствованы с кухни радикалов. Разумеется, это было единственно разумное решение, но все же оно было лишь паллиативом, единственной задачей которого было прикрыть постыдный практический изъян. Если бы Маркса действительно интересовали эти вопросы, ему бы не оставалось ничего другого, кроме как принять сторону радикального крыла буржуазного либерализма. Однако на самом деле они очень мало его волновали, и он

не чувствовал себя обязанным ничем ради них жертвовать; если бы буржуазные радикалы вдруг выполнили все эти требования, Маркс, по всей вероятности, был бы неприятно удивлен.

4. Те же принципы, та же тактика и похожие политические установки содержались и в обращении Маркса к учредительному съезду Международного товарищества рабочих (Первый Интернационал) в 1864 г. Создание его означало поистине громадный шаг вперед по сравнению с немецким союзом просвещения рабочих (Arbetscrbildungsverein) 1847 г. или небольшой международной группой, основанной в том же году [имеется в виду Союз коммунистов, по поручению которого Маркс и Энгельс написали свой "Манифест". - Прим. ред.]. Первый Интернационал, конечно, не был организацией социалистических партий, хотя, например, обе немецкие социалистические партии в него вошли (правда, лассальянская партия Всеобщий

немецкий рабочий союз тут же и вышла), и уж тем более он не был международной организацией пролетариата. Однако в нем были представлены лейбористские группы многих стран и многих направлений, и даже английские тред-юнионы проявили достаточный интерес, чтобы на некоторое время согласиться - пусть уклончиво, пусть в надежде получить какую-то выгоду для себя - на такой несколько странный для них альянс. Одним из основателей Первого Интернационала был Джордж Оджер [Odger, 1813-1877, секретарь лондонского совета тред-юнионов в 1862-1872 гг., в 1864-1867 гг. - председатель Генсовета Первого Интернационала. - Прим. ред.][Он даже выполнял обязанности председателя Генсовета Интернационала, а это кое-что да значило, поскольку он был одним из самых известных сторонников создания федерации и объединения тред-юнионов, организатором лондонского совета по торговле и одним из вожаков лиги реформаторов, выступавших за предоставление городским рабочим прав представительства в парламенте.]. Все притязания на какую-то исключительную роль в революционных движениях и крупных рабочих беспорядках, исходившие как от самой Ассоциации, так и от ее летописцев, совершенно беспочвенны. Но хотя Товарищество это никогда ничего не возглавляло, не решало и ничем не руководило, оно по крайней мере помогло своим членам выработать единую фразеологию. А еще оно помогло наладить связи, которые в конечном итоге и позволили ему занять действительно важное положение благодаря любезной помощи буржуазных супостатов, по глупости своей этому способствовавших.

В начале все шло довольно гладко, и первые четыре "конгресса" прошли исключительно успешно, если к тому же учесть, что отдельные несоциалистические выпады, как то: одобрение права наследования, которое прошло большинством голосов, были тактично "не замечены" правоверными членами. Вторжение Бакунина (1869 г.) и его выдворение (1872 г.) нанесли, однако, удар, от которого Товарищество уже не смогло оправиться, хотя оно просуществовало вплоть до 1874 г.

Маркс с самого начала отдавал себе отчет о возможностях и опасностях, которые таил в себе этот караван-сарай, под крышей которого были и интеллигенты с сомнительной репутацией, и рабочие, полные неприкрытой решимости использовать Товарищество в своих интересах или отречься от него - смотря по обстоятельствам.

Они заключали в себе те самые возможности и те самые опасности, за и соответственно против которых он всю жизнь боролся. Первоочередной задачей было сохранить организацию как единое целое, второй - придать ей марксистский уклон, причем обе эти задачи приходилось решать в условиях, когда Маркс и его соратники

постоянно оказывались в меньшинстве и когда влияние его на других членов было куда меньше, чем можно было бы заключить на основании того факта, что ему было поручено, а вернее сказано - позволено сделать программное обращение на учредительном съезде. Вследствие этого упомянутое обращение пестрело уступками немарксистским взглядам - уступками, очень похожими на те, которые позже Маркс с

негодованием обнаружит в Готской программе Германской социал-демократической партии (1875). Сознательное маневрирование и компромисс были присущи Марксу и позже - именно это заставило его однажды воскликнуть с полушутливым отчаяньем: "Je ne suis pas Marxiste!" ("Я не марксист!" - фр.). Однако сущность компромисса

зависит от человека, который на него пошел, и от идеи, ради которой этот компромисс был сделан. Тот, кто заботится только о генеральной линии, может смириться со многими отклонениями от нее. По всей видимости, Маркс никогда не упускал генеральную линию из вида и умел вернуться к ней после каждого очередного "отклонения". Но можно понять его горечь, когда он видел, что и другие играют в эту игру. Таким образом, и в собственных тактических подтасовках, и в его гневном осуждении подтасовок, сделанных другими, скрывалось

нечто большее, чем просто эгоизм.

Можно, разумеется, критиковать и тактику, и принцип того, что с тех самых пор остается классической политикой ортодоксального социализма. Тактический ход, предпринятый Марксом, предоставил его последователям полную свободу обосновывать

любое свое действие или бездействие делом или словом Метра. Сам принцип не раз подвергался критике за то, что он указывает путь в никуда. Гораздо важнее

извлечь из него рациональное зерно. Маркс верил в пролетарскую революцию. Он также верил, хотя собственное учение должно было посеять в его душе определенные

сомнения, что подходящий момент наступит совсем скоро, точно так же, как ранние христиане верили, что Судный день не за горами. Таким образом, его политический метод, строго говоря, был основан на ошибочном диагнозе. Те интеллигенты, которые превозносят его политическую мудрость [См., например, работу Benedetto Croce "Materialismo Storico ed Economia Marxista" в переводе С.М. Meredith, 1914.], совершенно не замечают того, в какой мере в его взгляды прокрался корыстный элемент. Однако если исходить из доступных ему фактов и не подвергать сомнению те выводы, которые он из этих фактов делал, этот метод действительно представляется оправданным, так же как оправданными представляются и его взгляды

по вопросу о ближайших целях и о сотрудничестве с буржуазными реформистами. Создание однородной партии, основой которой был бы организованный пролетариат всех стран, который шел бы к цели, не теряя революционной веры и держа порох сухим, с этих позиций было поистине задачей первоочередной важности, по сравнению с которой все остальное отступало на второй план.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать шестая. С 1875-го по 1914-й

#### 1. События в Англии и дух фабианства

В этих двух датах есть некий символический смысл. Год 1875-й стал свидетелем рождения первой чисто социалистической партии, которая оказалась достаточно влиятельной, чтобы стать признанным политическим фактором. Это знаменательное событие произошло в результате слияния двух немецких партий - группы Лассалья и группы, основанной в 1869 г. Бебелем и Либкнехтом - и создания на их основе Социал-демократической партии, которая хотя в то время и делала существенные уступки лассальянству (Готская программа) [Главной идеей Лассалья была организация рабочих в производительные ассоциации, поддерживаемые государством, которые, по его мысли, должны были бы конкурировать и в конечном итоге ликвидировать частную промышленность. Это настолько сильно отдаст утопизмом, что

отвращение Маркса нетрудно понять.], со временем приняла марксизм (Эрфуртская программа 1891 г.) и медленно, но верно пробивала себе дорогу к тому завидному положению, которое ей удалось занять к 1914 г. [В тот год она получила 110 из 397 мест в рейхстаге, причем благодаря неспособности буржуазных группировок организовать массовые и однородные по своему составу партии, влияние социалистов

было даже большим, чем можно было бы заключить судя по этим цифрам.], когда в ее

судьбе, как и в судьбе всех социалистических партий, наступил критический перелом. Прежде, чем мы попробуем объяснить, благодаря какому чуду марксистская партия, которой даже не пришлось ради этого поступаться своими принципами, чуть было не получила парламентское большинство, мы обратимся к опыту других стран, и

прежде всего к английскому социализму той эпохи, который при поверхностном взгляде составляет резкий и поучительный контраст немецкому социализму. Взглянув же чуть глубже, мы, разумеется, обнаружим весьма похожие социальные процессы и как их следствие - весьма похожие рабочие движения. Различия между английскими и германскими социалистами в том, что касается общего тона, идеологии и тактики, легко объяснимы. После того, как в 1834 г. Оуэновский Великий национальный объединенный профсоюз [Owenite Grand National Consolidated Trade Union] раскололся и чартизм пошел на убыль, лейбористское движение в

Англии более уже не вызывало открытой враждебности. Некоторые из его экономических целей были поддержаны либералами, другие - консерваторами [Особенно поражает возникновение пролейбористских установок в консервативном лагере. С одной стороны, в качестве примера можно сослаться на группу, возглавляемую лордом Эшли (Ashley), и на группу Молодая Англия" (тори-демократы под предводительством Дизраэли)]. Законодательные акты, регламентирующие деятельность профсоюзов (1871, 1875 и 1876 гг.), например, были приняты без каких-либо проволочек, которые могли бы спровоцировать рабочий класс на борьбу. Более того, битва за право представительства рабочего класса в парламенте велась

несоциалистическими группировками, а роль рабочих в ней сводилась лишь к одобрительным и осуждающим выкрикам. Все это убедительно свидетельствует о превосходных качествах английских рабочих. Впрочем, то же самое можно сказать и о превосходных качествах английского политического общества. Доказав, что оно способно избежать повторения Французской революции и устранить угрозу, проистекающую от дороговизны хлеба, оно затем долго демонстрировало свою способность держать под контролем социальные ситуации возрастающей сложности и идти на уступки, не теряя лица, - сошлемся хотя бы на Закон о трудовых конфликтах 1906 г. [Сегодня нам не так-то просто представить, какое ошеломляющее

впечатление произвела эта мера на людей, которые все еще верили в государство и в правовую систему, построенную вокруг института частной собственности. Ведь такие меры, как ослабление ответственности за сговор применительно к мирному пикетированию, - что практически означало легализацию действий профсоюзов, несущих в себе угрозу применения силы, - и освобождение профсоюзной кассы от ответственности за приносимый ущерб, - что практически означало законодательно признание того факта, что профсоюзы всегда правы, - фактически передавали профсоюзам часть полномочий государства и ставили их в привилегированное положение, чему не могло помешать формальное распространение освобождения от ответственности за ущерб также и на работодателей. Однако этот законодательный акт был принят по результатам отчета, представленного Королевской комиссией 1903

г., когда у власти находилась консервативная партия, а консервативный лидер (Бальфур) в своей речи при третьем чтении этого закона одобрил его, не выказывая

ни малейшего неудовольствия. Несомненно, такое отношение во многом объясняется политической ситуацией, сложившейся в 1905 г., однако мое утверждение все равно остается в силе.] Вследствие этого английскому пролетариату потребовалось больше

времени, чтобы выработать в себе "классовое сознание" и повторить путь, который пришлось пройти Кейру Харди (Hardy), прежде чем он пришел к идее создания Независимой рабочей партии Великобритании (1893). Однако подъем нового юнионизма

[Новый юнионизм означал распространение в середине 90-х годов XIX в. устойчивых организаций, объединявших в своих рядах в основном лишь представителей высококвалифицированных профессий и потому отличавшихся некоей клановой гордостью и буржуазной респектабельностью (некоторые из лидеров 80-х годов, в частности Кроуфорд (Crowford), всячески подчеркивали ту пропасть, которая отделяет уважаемых людей в тред-юнионах от пролетарских масс) и противопоставлявших себя менее квалифицированным слоям, занимавшим более низкое положение. Эти последние были куда менее уверены в своих способностях чего-то для себя добиться и, следовательно, более восприимчивы к социалистической пропаганде и тому ее тезису, что сами по себе забастовки - оружие ненадежное и они должны сопровождаться политическими требованиями. Есть, таким образом, прямая связь между сплочением более низких слоев трудящихся и переменной отношения профсоюзов к политическим требованиям, с одной стороны, и к социализму, с другой. Именно тогда - всего несколько лет спустя после всеобщей забастовки докеров в 1889 г. - профсоюзные съезды начали принимать социалистические резолюции] фактически ознаменовал собой наступление такого положения вещей, которое мало чем отличалось от немецкого - разве что на словах.

Природа и степень подобных различий может быть продемонстрирована особенно отчетливо на примере Фабианского общества, чьи идеи и методы в этом смысле

чрезвычайно характерны. Марксисты наверняка презрительно усмехнутся, поскольку им это покажется чрезмерным преувеличением роли небольшой горстки интеллигентов,

которые просто не пожелали стать чем-то большим. На самом деле фабианство в Англии или по крайней мере взгляды, которые оно выражало, играло не меньшую роль, чем марксизм в Германии.

Фабианское общество возникло в 1883 г. и на протяжении всего рассматриваемого здесь периода оставалось группировкой буржуазной интеллигенции [Эта группа, численность которой никогда не превосходила 3-4 тыс. членов, на самом деле была еще малочисленной, поскольку ее активное ядро составляло не более 10-20 процентов. Ядро это было буржуазным как по происхождению, так и по установкам, а

также по тому, что большинство его членов были экономически независимы, по крайней мере в том смысле, что все они имели хотя бы скромный, но постоянный доход.]. Фабианство было вскормлено на идеях Бентама и Джеймса Милля и продолжило их традицию. Его представители сулили человечеству точно такое же радужное будущее, как и их предшественники - философские радикалы, и принялись за дело рациональной реконструкции и усовершенствования общества в том же духе практического прогрессизма.

Надо сказать, что фабианцы с величайшим уважением относились к фактам, не останавливаясь даже перед проведением обширных исследований, чтобы эти факты добыть, и если кого-то критиковали или предлагали какие-то меры, то позиция их всегда была надежно аргументирована. Однако они совершенно некритично относились

к тем основам - культурным и экономическим, - на которых строились их собственные цели. Цели свои они воспринимали как должное, что на самом деле является лишь иным проявлением того, что, будучи добрыми англичанами, они и самих себя воспринимали как должное. Они не в состоянии были понять разницу между трущобой и палатой лордов. Почему и то, и другое - "зло", ясно ведь каждому, разве не так? А большее экономическое равенство, самоуправление в Индии, профсоюзы и свободная торговля - это не менее неоспоримое "добро", и никаких сомнений. Единственной их заботой было устранение зла и сохранение добра, остальное представлялось им пустой тратой сил. Во всем этом сквозило преданное служение государству и нетерпимость к иным взглядам на индивидуальные или национальные ценности - здесь фабианцы, пожалуй, не уступали марксистам, - а

также мелкобуржуазное отвращение ко всему аристократическому, включая красоту. Вначале за фабианцами не стояла никакая социальная сила. Они готовы были убеждать всех, кто согласен был их слушать. Они выступали со своими речами и перед рабочей, и перед буржуазной аудиторией. Полемизировали они весьма талантливо и много. Они отстаивали или осуждали конкретные правительственные меры, планы, законы. Однако главным средством завоевания авторитета были для них

связи с отдельными ключевыми фигурами, вернее - с людьми из окружения политических, промышленных и рабочих лидеров. Их страна и их собственное социальное и политическое положение в этой стране давали уникальную возможность для установления и использования подобных контактов.

Английское политическое общество не торопилось выполнять советы посторонних, однако в значительно большей степени, чем любое другое общество, оно готово было

эти советы выслушивать. А среди фабианцев были не только посторонние. Некоторым из них удалось заручиться связями, сформированными еще в студенческих союзах и общежитиях Оксфорда и Кембриджа. По своему моральному складу они не были пришельцами с другой планеты. Большинство из них не были заклятыми врагами существующего государственного порядка. Все они гораздо чаще подчеркивали свое желание сотрудничать, чем враждебность. Они вовсе не ставили своей задачей создание партии и очень не любили фразеологию классово-борьбы и революции. Они всегда предпочитали в чем-то помочь, а не быть помехой. И у них было что сказать

парламентариям и официальным лицам, которые часто были не прочь получить дельный совет о том, что и как нужно делать. Сегодня каждый министр может получить любую нужную ему информацию и советы любых специалистов непосредственно в стенах

своего министерства. В частности, ни один современный министр не испытывает недостатка в статистических данных. Однако в 80-е и 90-е годы XIX в. все было иначе. За редким исключением должностные лица любого ранга знали лишь то, что соответствовало установившейся практике. Вне рамок сложившегося порядка парламентарии, даже входящие в правящий кабинет, а уже тем более парламентарии, в него не входящие, нередко испытывали большую нужду в информации и новых идеях,

особенно по вопросам "новых" социальных проблем. Группа, у которой в запасе всегда имелись свежие факты и идеи и которая была рада подать их аккуратно выложенными на блюдо и готовыми к употреблению министром финансов или другими депутатами английского парламента, могла заведомо рассчитывать на благосклонный прием (особенно через заднюю дверь). Государственные мужи не видели в этом ничего зазорного. Более того, питая симпатию если не ко всем, то хотя бы к ближайшим целям фабианцев, они позволяли им себя поучать. Фабианцев в свою очередь также устраивала их роль неофициальных слуг народа. На самом деле она устраивала их как нельзя лучше. Они не искали себе личной славы. Им нравилось действовать за сценой. Работа через бюрократию, рост численности и могущества которой они предвидели и одобряли, очень хорошо вписывалась в общую схему их демократического государственного социализма.

Но, как спросил бы Маркс и как действительно спросила небольшая группа английских марксистов (Демократическая федерация Гайндмана, основанная в 1881 г.), чем конкретно может похвастаться партия, имеющая подобные достижения, - разве только тем, что она вступила в сговор с представителями буржуазных интересов в политике? Как может такая партия называться социалистической, а если

допустить, что это все же так, то не был ли их социализм очередным вариантом утопического социализма (в вышеопределенном марксистском понимании)? Легко представить себе, с каким отвращением относились друг к другу фабианцы и марксисты и как гневно они осуждали иллюзии друг друга, хотя фабианцы обычно старались избегать прямых дискуссий по основополагающим и тактическим вопросам (а марксисты их, наоборот, просто обожали) и относились к этим марксистам с чуть

высокомерной симпатией. Тем не менее для непредвзятого наблюдателя не составит труда ответить на эти вопросы.

В любое другое время социалистическое движение фабианского толка не смогло бы ничего достичь, однако за три десятилетия, предшествовавшие 1914 г., оно достигло очень многого, поскольку и обстановка, и настроения - все было готово именно к подобной миссии, никак не менее и не более радикальной. Все, что требовалось, чтобы превратить возможности в четкую политику, - это сформулировать и организовать уже существующее общественное мнение, и эту миссию

фабианцы взяли на себя. Они были реформаторами. Дух эпохи сделал их социалистами. Они были подлинными социалистами, поскольку они стремились приблизить фундаментальную перестройку общества, которая в конечном итоге должна

была возложить заботу об экономике на государство. Они были социалистами-волюнтаристами, и потому, появившись чуть раньше, они попали бы под Марксово определение утопистов, но они твердо знали, чего хотели, и потому никакие выводы из этого определения к их случаю не подходили. С их точки зрения,

было бы чистым безумием заранее тревожить буржуазию разговорами о революциях и классовой борьбе. Всеми силами они хотели не допустить пробуждения классового сознания, по крайней мере на первых порах, поскольку это сделало бы невозможным мирное, но эффективное распространение их принципов по всем политическим и административным органам буржуазного общества. Когда сложились подходящие условия, они не колеблясь помогли появиться на свет Независимой лейбористской партии, пошли на сотрудничество с Комитетом рабочих представителей (1900 г.), помогли профсоюзам сделать первые шаги в политике, сформировали курс Прогрессивной партии в Совете Лондонского округа, стали проповедовать сперва муниципальный, затем общественный социализм, а вместе с ним и достоинства советской системы.

Во всем этом, безусловно, прослеживается черта, которую легко подвергнуть критике. Действительно, они не объявляли открытой войны в марксистском духе, не кричали на всех углах о том, что они хотели бы сделать со своими противниками,

но они и ничего не предпринимали для их защиты. Другое критическое замечание, которое могло бы быть выдвинуто против фабианцев их политическими противниками, а именно, что благодаря своему образу действий они могут увязнуть еще на далеких

подступах к линии обороны капиталистической системы и никогда не довести дело до

великой схватки, не учитывает особенностей их установки. Они могли бы со своей стороны возразить, что даже если на минуту допустить, что их наступление на капиталистическую систему привело бы к достаточно глубоким преобразованиям в рамках этого строя, но не разрушило сам строй, то и этим можно было бы гордиться. А что касается схватки, то они заранее ответили своим революционно настроенным критикам, исключительно удачно выбрав себе имя - они назывались в честь римского полководца Фабия [Квинт Фабий Максим по прозвищу Кунктатор (медлительный) (275-203 гг. до н.э.)], который хоть и действовал исключительно осторожно, но сделал больше, чем любой из его пылких предшественников, чтобы выгнать Ганнибала из Италии.

Таким образом, хотя можно с полным основанием утверждать, что как по вопросу о классовой борьбе, так и по другим вопросам фабианство было прямой противоположностью марксизму, с не меньшим основанием можно также утверждать, что в некотором смысле фабианцы были более последовательными марксистами, чем сам Маркс. Сосредоточение внимания на проблемах, лежащих в сфере практической политики, движение вперед вместе с развитием общества и предоставление конечной цели свободы осуществиться самой по себе - на самом деле такая установка лучше согласуется с основами учения Маркса, чем та революционная идеология, которую он

на нее навесил. Твердая вера в неминуемую гибель капитализма, понимание того, что уничтожение частной собственности - это медленный процесс, который имеет тенденцию изменять позиции всех классов в обществе - в этих фундаментальных вопросах Марксовой доктрины фабианцы заслуживают более высокой оценки, чем сам Маркс.

2. Две крайности: Швеция и Россия

У каждой страны свой социализм. Однако в тех странах континентальной Европы, вклад которых в культурную копилку человечества совершенно непропорционален их скромным размерам, в частности в Голландии и Скандинавских странах, дела не слишком сильно отличались от английской модели. Возьмем, например, Швецию. Как шведское искусство, наука, политика, общественные институты и многое другое, социализм и социалисты этой страны обязаны своими особенностями не столько своеобразию своих принципов или намерений, сколько тому материалу, из которого вылеплены шведская нация, и ее исключительно уравновешенной социальной структуре. Именно поэтому другим нациям совершенно бессмысленно даже пытаться копировать шведские образцы, разве только пригласить к себе всех шведов и доверить это дело им самим.

Учитывая специфику шведской науки и социальной структуры, нам нетрудно будет понять две самые существенные характеристики шведского социализма.

Социалистическая партия, которой почти всегда руководили весьма способные и честные политики, медленно набирала силу в соответствии с совершенно нормальным процессом социального развития, не пытаясь ни опередить его, ни вступить с ним в

борьбу ради борьбы, поэтому приход этой партии к власти не вызвал никаких социальных потрясений. Ответственные посты в государстве, естественно, перешли к

ее лидерам, которые стали строить свои отношения с лидерами других партий на условиях равенства в поисках общей платформы: до сих пор, хотя в стране, конечно, появилась коммунистическая группа, все разногласия в Швеции по поводу текущей политики сводятся к тому, что кто-то предлагает потратить на некую социальную программу на несколько миллионов крон больше, другие - меньше, но сама эта программа возражений ни у кого не вызывает. А что касается разногласий внутри социалистической партии, то противоречия между интеллигенцией и рабочими можно разглядеть только в микроскоп - отчасти потому, что благодаря высокому культурному уровню тех и других между ними нет пропасти, отчасти потому, что шведский социальный организм производит на свет относительно меньше хронически безработных интеллигентов, чем социальные организмы других стран, и раздраженных

интеллектуалов, изводящих себя и других в этой стране меньше, чем в других.

Некоторые усматривают в этом разлагающее влияние профсоюзов на социалистическое движение в целом и на партию в частности. Тем, кто клюнул на удочку современного

радикализма, может показаться, что так оно и есть. Однако этот диагноз совершенно не воздает должного социальной и национальной среде, продуктом которой являются и шведские рабочие, и шведские интеллигенты и которая не дает ни тем, ни другим превращать свой социализм в религию. Хотя в учении Маркса можно при желании отыскать место для подобных структур, от среднего марксиста, разумеется, нельзя ожидать благосклонного отношения к социалистической партии шведского типа или хотя бы признания, что в лице такой партии мы имеем дело с подлинно социалистическим движением. Шведские же социалисты в свою очередь лишь незначительно были затронуты марксизмом, хотя они часто использовали его лексикон, который соответствовал принятым в то время представлениям о социалистическом этикете, особенно в своих международных контактах с другими социалистическими группами.

Пример другой крайности дает нам Россия, социализм которой был почти чисто марксистским и потому в полной мере пользовался благосклонным отношением ортодоксальных социалистов. Причины его возникновения весьма трудно объяснить, исходя из российских условий. Царская Россия была аграрной страной с преимущественно докапиталистическим укладом. Промышленный Пролетариат, поскольку

он вообще был досягаем для профессиональных социалистов, составлял лишь небольшую часть 150-миллионного населения [В 1905 г численность фабричных рабочих в России составила примерно 1,5 млн. человек.]. Предприятия торговой и промышленной буржуазии, также весьма малочисленной, по своей эффективности не слишком превосходили прочие уклады, хотя развитие капитализма, поощряемое правительством, быстро набирало темпы. В этой социальной структуре интеллигенция

была инородным телом: ее идеи были так же чужды русской почве, как и парижские платья светских красавиц.

Преобладавшая в то время форма государственного устройства, при которой абсолютный монарх (автократ) возглавлял разросшийся бюрократический аппарат и выступал в союзе с земельной аристократией и церковью, была, безусловно, отвратительна многим интеллектуалам. И общественное мнение всего мира согласилось с их пониманием истории. Даже авторы, весьма враждебно настроенные по отношению к тому режиму, который установился после падения царизма, всегда торопятся заверить своих читателей, что и они должным образом возмущены ужасами царизма. Так за частоколом расхожих штампов совершенно потерялась та простая истина, что эта форма правления не менее точно соответствовала породившей ее социальной структуре, чем парламентская монархия в Англии или демократическая республика в Соединенных Штатах. Достижения российской бюрократии, принимая во внимание условия, в которых ей приходилось действовать, были значительно выше, чем принято считать. Ничего другого, кроме проводимых ею социальных реформ, как в сельском хозяйстве, так и в других областях, и ее нетвердого движения по пути к выхолащенному варианту конституционного строя, в тех условиях и нельзя было ожидать. Духу нации противоречил вовсе не царизм, который как раз имел широкую опору среди огромного большинства всех классов, а привнесенный извне радикализм и групповой интерес интеллектуалов.

Из этого можно сделать два вывода, которые на первый взгляд могут показаться парадоксальными, хотя ни один серьезный историк их таковыми не сочтет. С одной стороны, никакие крупные или внезапные шаги в направлении, указываемом теми либерально настроенными юристами, докторами, профессорами и государственными служащими, которые образовали партию кадетов (конституционно-демократическую партию), были невозможны не столько потому, что их программа была неприемлема для монархии, сколько потому, что партия эта была слишком слабой. Допустить их до власти - означало бы поставить во главе страны политическую группировку, которая пользовалась не большей, а меньшей поддержкой народных масс, которая не лучше, а хуже выражала их настроения и интересы, чем политические силы, которые делали ставку на царизм. Для буржуазного режима, не говоря уже о режиме социалистическом, в этой стране попросту не было места. Не было также ничего общего между ситуацией 1789 г. во Франции и ситуацией 1905 г. в России. Рухнувшая в 1789 г. во Франции социальная структура была устаревшей, мешала развитию почти всего, что было жизнеспособного в этой нации, и не смогла справиться со стоявшими перед ней финансовыми, экономическими и социальными

проблемами. Ничего похожего в России 1905 г. не наблюдалось. Конечно, национальная гордость была уязвлена в связи с поражением в войне с Японией, а отсюда и недовольство и беспорядки. Но государство успешно справлялось со своими

задачами - оно не просто подавляло волнения, оно пыталось решать вызвавшие их проблемы. Если в итоге событий во Франции к власти пришел Робеспьер, то в России

- Столыпин. Это было бы невозможно, если бы царизм исчерпал свои силы, как исчерпал их французский ancien régime ["старый режим" - фр.]. Нет никаких причин

полагать, что, если бы не мировая война, тяжелым грузом легшая на социальную ткань, русская монархия не сумела бы мирно и успешно трансформироваться под влиянием и по ходу экономического развития страны [Этот анализ, разумеется, поднимает весьма интересные вопросы относительно природы того, что обычно именуется "исторической необходимостью", с одной стороны, и роли личности в истории - с другой. Мне кажется, что говорить о том, что Россию привела к войне неумолимая необходимость, оснований нет. Интересы, поставленные на карту сербским конфликтом, не были для России жизненно важными, если не сказать больше. Внутренняя ситуация в стране в 1914 г. вовсе не была настолько тяжелой, чтобы правительство было вынуждено прибегнуть к политике военной агрессии в качестве последней отчаянной меры. Ситуация эта, конечно, была непростой - она привела в действие националистов, те - некоторых (не всех) крайних реакционеров,

а потом и те и другие вместе разбудили низы, которые уже стали хвататься за топоры - кто в одиночку, кто с сотоварищи. Но будь у последнего из русских царей

чуть больше здравого смысла и твердости, Россия вполне могла бы войны избежать. Позже, когда ситуация прояснилась и когда после битвы в Галиции всякая надежда на военный успех улетучилась, сделать это было бы сложнее, но все-таки возможно.

Даже после падения монархии нельзя наверняка утверждать, что правительство Керенского не смогло бы спасти ситуацию, если бы оно разумно распорядилось своими ресурсами и не уступило бы мольбам союзников, протрубив последнюю отчаянную атаку. Но царизм в преддверии буржуазного восстания и буржуазное общество, пришедшее ему на смену, наблюдали за приближением своей гибели в состоянии паралича, который был столь же несомненным, сколь и труднообъяснимым. Конечно, поголовная некомпетентность в одном лагере и скопление умных и одаренных людей в другом нельзя объяснить одной только случайностью. Однако в данном случае некомпетентность старого режима сводилась просто к тому, что он оказался не на высоте ситуации, которая состояла в полной дезорганизации всего и

вся, но этой ситуации, несомненно, можно было бы избежать.

Читатель, по-видимому, вряд ли рассчитывает на то, что мое исследование русского

социализма совпадет с аналогичным исследованием, проделанным Троцким (Троцкий. История русской революции. Пер. на англ. М. Истмана, 1934). Тем более знаменательно то, что различие между этими исследованиями не неохватно и, в частности, что Троцкий рассматривал вопрос о том, что было бы, если бы революционное движение столкнулось с "другим царем". Правда, он не делал очевидного вывода из этих размышлений. Однако он признает, что марксистское учение не отрицает роли личности в истории, хотя сам, похоже, недооценивает истинную ее важность для постановки правильного диагноза русской революции.]. С другой стороны, именно потому, что социальная структура России была по существу стабильна, интеллектуалы, которые не могли рассчитывать на победу с помощью более или менее нормальных методов, впали в отчаянный радикализм и пошли

по пути преступного насилия. При этом степень их радикализма находилась в обратной пропорции к практическим возможностям - это был радикализм от бессилия.

Пусть убийства бессмысленны и могут привести только к усилению репрессий, но другого выбора практически не было. Жестокость репрессий в свою очередь вызывала

ответные меры, и так разворачивалась эта трагедия, трагедия жестокости и преступлений, беспрерывно усиливающих друг друга, - мир видел и чувствовал

только это и поставил этим событиям соответствующий диагноз. Сам Маркс не был путчиком. К некоторым персонажам из числа русских революционеров, особенно людям бакунинского типа, он испытывал презрение, смешанное с ненавистью. К тому же он должен был понимать - и, но всей вероятности, понимал, - что в условиях социальной и экономической структуры России не выполнялось ни одно из условий, которые согласно его собственному учению необходимы для успеха и даже просто для возникновения социализма. Но хотя

с точки зрения логики это должно было бы помешать русским интеллигентам принять его учение, нетрудно понять, почему оно, напротив, пользовалось среди них колоссальным успехом. Все они были революционерами - кто в большей, кто в меньшей степени, а плана действий у них не было. И вдруг появляется революционный катехизис небывалой силы. Огненные фразы и смелые пророчества Маркса - это было именно то, что нужно, чтобы выбраться из тоскливой пустыни нигилизма. К тому же сочетание в его доктрине экономической теории, философии и истории отвечало русской тяге к совершенству. Пусть это священное писание было совершенно неприменимо к их случаю и по сути ничего им не сулило. Верующий всегда слышит ровно то, что хочет услышать, что бы ни говорил ему пророк. Насколько далека была реальная ситуация в России от состояния зрелости, как понимал ее Маркс, настолько же готова была русская интеллигенция - именно интеллигенция, а не одни только входящие в нее профессиональные социалисты - искать у него ответы на свои вопросы.

Благодаря этому первый марксистский кружок появился в России уже в 1883 г., а в 1898 г. на его основе возникла социал-демократическая партия. Руководителями, а на первых порах и членами были в основном, конечно, представители интеллигенции,

однако создание подпольных организаций в "массах" шло достаточно успешно, что позволило сочувствующим наблюдателям говорить о сплочении рабочих кружков под марксистским руководством. Именно это объясняет, почему в России удалось избежать многих трудностей, с которыми сталкивались марксистские группы в странах с сильным профсоюзным движением. По крайней мере на первых порах рабочие, которые вступали в организацию, послушно шли на поводу у интеллектуалов

и практически никогда не пытались ничего решать за себя. Как следствие, развитие теории и практики шло в строгом соответствии с положениями, выдвинутыми Марксом,

и отличалось высоким уровнем. Естественно, это вызвало одобрение со стороны немецких защитников веры, которые, видя такую обезоруживающую добродетель, очевидно, решили, что тезис Маркса о том, что серьезный социализм может зародиться только в недрах развитого капитализма, все же допускает отдельные исключения. Однако Плеханов, основатель кружка 1883 г. и ведущая фигура русского

марксизма на протяжении первых двух десятилетий, чьи талантливые и высокоученые работы, внесшие значительный вклад в развитие марксизма, снискали всеобщее уважение, всецело разделял этот тезис и потому не мог надеяться на скорую победу

социализма в своей стране. Храбро сражаясь против реформизма и всех других имевшихся в ту пору ересей, угрожавших чистоте истинной веры, и сохраняя при этом веру в революционную цель и метод, этот правочеловек марксист, должно быть, сразу почувствовал беду, когда в его партии возникла группа, настаивавшая на скорых действиях, хотя он с симпатией относился к ее членам и ее лидеру - Ленину.

Неизбежный конфликт, расколовший в 1903 г. партию на большевиков и меньшевиков, означал нечто значительно более серьезное, чем простое разногласие по тактическому вопросу, давшее название обеим фракциям. В то время ни один, даже самый искушенный наблюдатель не смог бы до конца понять природу этого разлада. Но сегодня диагноз уже не должен вызывать никаких сомнений. За марксистской фразеологией, которую сохранили обе группы, скрывался тот факт, что одна из них безвозвратно отошла от классического марксизма.

У Ленина, по всей видимости, не было никаких иллюзий относительно ситуации в России. Он понимал, что царский режим можно успешно атаковать только тогда, когда он будет временно ослаблен военным поражением, и что в условиях той дезорганизации, которая за этим поражением последует, решительный, хорошо

вымуштрованный отряд методом жестокого террора может скинуть любой другой режим, который попытается прийти на смену царизму. На этот случай, вероятность которого

он, по-видимому, сознавал как никто другой, он был намерен подготовить соответствующий инструмент. Ему ни к чему были мелкобуржуазные теории относительно крестьянства, - которое в России, разумеется, представляло главную социальную проблему, - и уж тем более теории, говорящие о необходимости дожидаться, когда рабочие поднимутся и совершат великую революцию по своей собственной инициативе. Ему нужны были только хорошо обученные боевики - янычары, глухие к любым доводам, кроме собственных, свободные от каких-либо моральных запретов, невосприимчивые к голосу разума и человечности. В тех условиях подобных людей можно было найти только в среде интеллигенции, причем самый лучший человеческий материал предлагала партия. Попытка Ленина получить контроль над партией, таким образом, была на самом деле попыткой разрушить саму ее душу. Партийное большинство и его лидер Л. Мартов, по-видимому, это понимали.

Мартов не критиковал Маркса и никакой новой линии поведения не предлагал. Он спорил с Лениным от имени Маркса, отстаивая учение Маркса о массовой пролетарской партии. Новое слово было сказано не Мартовым, а Лениным. Испокон веков все еретики всегда утверждали, что они вовсе не хотят разрушать прежние святыни - наоборот, они стремятся восстановить их первоизданную чистоту. Ленин тоже не стал нарушать эту освященную традицией практику и вместо того, чтобы отречься от верности учению, заделался еще большим марксистом, чем сам Маркс. Во всяком случае, он сделал важный ход, выдвинув тезис, который так понравился Троцкому и Сталину, а именно - тезис о том, что он исповедует "марксизм эпохи империализма". И читатель без труда заметит, что в определенных границах Ленину было нетрудно соблюсти и форму, и содержание нефальсифицированного марксизма. С другой стороны, нетрудно заметить и то, что он покинул эту твердыню и занял по существу антимарксистскую позицию. Антимарксистской была не только сама идея обобществления путем провозглашения в очевидно несозревшей ситуации; гораздо в большей степени это относится к его идее о том, что освобождение рабочих должно стать делом не самих рабочих, как учил Маркс, а банды интеллектуалов, командующих темными массами [Кстати говоря, русские социалисты, правда, не сам Ленин, а его ближайшие соратники на местах, установили связь с преступными элементами. Это вылилось в действия "эксов" (ударных отрядов, проводящих "экспроприацию на практике", попросту говоря - налетчиков) как в самой России, так и в Польше. Это был чистый разбой, хотя западная интеллигенция проглотила "теорию", оправдывающую его необходимость.]. Это было куда серьезней, чем просто иной взгляд на практику агитации и компромиссов, больше, чем расхождения по второстепенным пунктам марксистской доктрины. Это означало разрыв с ее самой сокровенной сутью [В задачи настоящего исследования не входит подробный разбор дальнейших событий, всем и без того хорошо известных. Достаточно будет сделать лишь следующие замечания. Ленину не удалось подчинить себе российскую социалистическую партию, лидеры которой со временем все более и более от него отдалялись; трудность их положения, проистекающая из стремления любыми силами сохранить подобие единого фронта, не отказываясь в то же время от своих принципов, наглядно проявляется в шатаниях Плеханова. Зато Ленину удалось уберечь свою группу от развала, принудить ее к повиновению и приспособить ее курс к ситуации, возникшей в ходе и итоге революции 1905 г., включая участие ленинской фракции в Думе. Ему удалось также сохранить свои связи и свое положение во Втором Интернационале (см. ниже): он принимал участие в работе трех его съездов и представлял российскую партию в Бюро. Это вряд ли было бы возможно, если бы представители других наций имели возможность разглядеть в его взглядах и деятельности то, что видели в них большинство российских социалистов. Но Ленин не раскрывал перед ними своих карт и потому Второй Интернационал, как и подавляющее большинство западных социалистов вообще, относился к нему просто как к выдающейся фигуре левого крыла

правоверных марксистов и мирился с ним и его несгибаемым экстремизмом, где-то восхищаясь им, а где-то не принимая его всерьез. Таким образом, в политической сфере Ленин играл двойственную роль, которая в некотором смысле схожа с двойственной ролью царского режима, чьи политические установки в области международных отношений (сошлемся хотя бы на финансирование международного суда

и системы международной безопасности) также существенно отличались от принципов, исповедуемых во внутренней политике.

Но ни эти достижения, ни его вклад в развитие социалистической мысли - по большей части весьма посредственного качества (кстати, то же можно сказать и о вкладе Троцкого) - не обеспечили бы ему места в первых рядах социалистов. Час, возвеличивший Ленина, настал после поражения России в мировой войне и был в одинаковой мере результатом уникального стечения обстоятельств, сделавших оружие

Ленина адекватным, и результатом его непревзойденного искусства применять это оружие. В этом отношении (но ни в одном другом) панегирик проф. Ласки в Энциклопедии общественных наук (статья "Ульянов") вполне оправдан, если, конечно, допустить, что интеллигенция не может не падать ниц перед идолами своей

эпохи.] .

### 3. Социалистические группы в Соединенных Штатах

В Соединенных Штатах сложилась совершенно иная социальная ситуация, которая оказалась тем не менее столь же неблагоприятной для развития подлинно социалистического массового движения, как и ситуация в России. Таким образом, оба этих случая имеют немало сходных моментов, которые не менее интересны, чем различия между ними. Если аграрная Россия, невзирая на коммунистическую жилку, имманентно присущую российской деревне, оставалась практически не затронутой влиянием современной ей социалистической мысли, то аграрные Соединенные Штаты породили такие антисоциалистические силы, которые были разделаться с любыми проявлениями марксизма, принимавшими сколько-нибудь заметный масштаб. Если промышленная Россия не сумела создать массовую социалистическую партию, поскольку развитие капитализма в России шло медленно, то промышленные Соединенные Штаты не смогли этого сделать потому, что развитие капитализма в этой стране происходило с головокружительной быстротой [Конечно, наличие неосвоенных областей на Западе немало снижало возможности возникновения социальных трений в США. И все же значение этого момента, как бы велико оно не было, не следует переоценивать. Экономический прогресс постоянно создавал новые неосвоенные области промышленного развития, и это обстоятельство было гораздо более важным, чем возможность в любой момент сложить чемоданы и двинуться на Запад.] .

Однако самое важное различие было между интеллигенцией обеих стран. В отличие от

России в Соединенных Штатах до конца XIX в. интеллигенция не была ни полубезработной, ни доведенной до отчаяния. Система ценностей, которая возникала

из общенациональной задачи развития экономических возможностей, вовлекала практически все мозги в сферу бизнеса, что наложило деловой отпечаток на самый характер американской нации. Вне Нью-Йорка интеллигентов в общепринятом понимании вообще практически не было, а те, что были, в большинстве своем переняли систему ценностей деловых людей. К тем же, кто исповедовал иные ценности, Мэйн-стрит ["Главная улица" (англ.) - так часто назывались главные улицы небольших американских городов. Здесь употребляется как символ американской провинции- Прим. ред.] отказывалась прислушиваться и инстинктивно относилась к ним неодобрительно, и это была куда более действенная воспитательная мера, чем методы российской политической полиции. Враждебность среднего класса по отношению к компаниям железнодорожным и коммунальных услуг и любым крупным предприятиям вообще впитала в себя практически всю "революционную"

энергию, которая только была в этой нации.

Типичный американский рабочий - хороший специалист и уважаемый человек - в душе был бизнесменом и сознавал себя таковым. Он успешно занимался эксплуатацией своих индивидуальных возможностей, заботясь о собственной выгоде, во всяком случае, старался по возможности выгодно продать свой труд. Он понимал и в значительной мере разделял образ мыслей своего работодателя. Когда ему это было выгодно, он заключал союз с другими рабочими своего предприятия, но принципальные его установки оставались при этом прежними. Начиная примерно с середины XIX в. подобная практика все более начала принимать форму рабочих комитетов - предшественников послевоенных профсоюзов, создаваемых при компаниях,

экономическое и культурное значение которых наиболее полно раскрывалось в условиях принадлежащих компаниям заводских поселков [Здравый смысл, заложенный в

основе подобных структур, и их соответствие специфике американских условий настолько же очевидны, насколько очевиден тот факт, что у профсоюзов, а также у радикальных интеллигентов они были бельмом на глазу. Лозунги наших дней - недавно признанные официально - клеймят фабричные комитеты за то, что они якобы являются порождением коварных замыслов работодателей помешать рабочим добиться эффективного представительства своих интересов. Такая точка зрения вполне естественна для тех, кто считает моральной аксиомой, что пролетариат должен иметь свою боевую организацию, а также с позиций корпоративного государства, складывающегося у нас на глазах. Однако она искажает историческую правду. То, что работодатели предоставляли помещения для такого рода организаций, нередко брали на себя инициативу и пытались на них повлиять, чтобы выработать взаимоприемлемые решения, не исключает и не отрицает того, что фабричные комитеты и их руководители выполняли весьма важную функцию и, как правило, весьма успешно служили интересам рабочих.]

Кроме того, рабочим часто было выгодно кооперироваться со своими коллегами по профессии во всей стране, что позволяло им укреплять свои позиции в торге как непосредственно с работодателями, так и опосредованно с представителями других профессий. Этот интерес, сформировавший многие типично американские профсоюзы, в

значительной мере объясняет принятие профессионального принципа, который в смысле охраны чистоты профсоюзных рядов эффективнее любого другого и благодаря которому американские профсоюзы приобрели характер рабочих картелей. Как и можно

было ожидать, картели эти особым радикализмом не отличались, по поводу чего долго сокрушались и сокрушаются как американские, так и зарубежные социалисты и их попутчики. Их не интересовало ничего кроме зарплаты и рабочих часов, а во всем остальном они готовы были идти навстречу запросам общества и даже своих работодателей, в особенности в вопросах фразеологии. Это весьма наглядно проявлялось в образе мыслей и поступках лидеров как независимых профсоюзов, так и тех, которые входили в Американскую федерацию труда, которая этот дух воплощала, а также в характерных для профсоюзной бюрократии попытках проникнуть с помощью профсоюзных фондов в сферу промышленного и финансового предпринимательства [Деятельность Уоррена Стэнфорда Стоуна из "Братства железнодорожных инженеров" может служить прекрасной (хоть и относящейся к несколько более позднему периоду) иллюстрацией последнего, а также ряда других аспектов. В эпоху Самюэля Гомперса (председатель Американской федерации труда с 1886 по 1924 г. - Прим. ред.) подобных примеров было так много, что читатель наверняка сможет продолжить их список сам. Вышесказанное не следует, однако, понимать таким образом, что все американские профсоюзы отличаются или отличались

высокими вступительными взносами и искусно регулируемой численностью рядов, сильно смахивающей на спекулятивные махинации монополиста, придерживающего свой товар, чтобы он повыше ценился. Напротив, иммигранты завезли сюда с собой все разновидности профсоюзов, которые только были в Европе, к тому же там, где для этого были подходящие условия, особенно в относительно старых, устоявшихся производствах и отраслях, возникали формы, аналогичные европейским.]. Конечно, тот факт, что кредо и лозунги американских профсоюзов, т.е. их идеологические установки, были так неревOLUTIONONНЫ и чужды классовой борьбе, сам по себе еще ни о чем не говорит. Американские деятели профсоюзного движения были

не слишком склонны к теоретизированию, иначе они вполне могли бы придумать какое-нибудь марксистское обоснование своим действиям. Однако нельзя отрицать и того, что отстаивая свои интересы перед работодателями, они ни в каком случае не считали, что находятся по другую сторону барьера. Такое сотрудничество - те, кто

его не одобряет, используют другое слово - "соглашательство" - с работодателями ничуть не противоречило ни их принципам, ни логике ситуации. За исключением узкого круга вопросов политические действия, по их мнению, были не только ненужны, они были просто бессмысленны. А что касается влияния радикалов на профсоюзы, то с тем же успехом эти последние могли бы попытаться обратить в свою

веру совет директоров Пенсильванской железной дороги. Но в мире американских трудящихся был и другой мир. Помимо высококвалифицированной рабочей силы иммиграция с самого начала включала в себя некоторое количество неквалифицированной, причем численность последней после Гражданской войны выросла как абсолютно, так и относительно. Значительную долю этого прироста обеспечили те, кто попал в данную категорию не из-за недостатков своего физического или умственного развития и не из-за лени, а из-за прошлых жизненных невзгод или из-за пагубного влияния среды, из которой они происходили,

или просто из-за своего мятежного характера, неукротимого темперамента или уголовных наклонностей. Вся эта публика была легкой добычей для эксплуатации, которая облегчалась также отсутствием моральных уз, а некоторые ее представители

отвечали на подобное к себе отношение слепой, импульсивной ненавистью, которая быстро переросла в криминальные действия. Во многих новых, быстрорастущих промышленных поселках, где скапливались люди самого разного происхождения и самых разных наклонностей, порядок (если это слово вообще применимо к тем условиям) приходилось поддерживать незаконными действиями. Грубые люди, которым подобное обращение отнюдь не прибавляло мягкости, сталкивались с работодателями или их управляющими, которые не успели еще выработать в себе чувство ответственности и часто были вынуждены применять грубую силу из страха не только

за свое имущество, но и за жизнь.

Социалистический наблюдатель сказал бы, что это была классовая борьба в самом буквальном смысле - и что правота Марксова учения подтверждалась здесь ружейной стрельбой. На самом же деле ничего подобного не было и в помине. Невозможно даже

представить себе условия более неблагоприятные для развития политического лейборизма или серьезного социализма, и пока эти условия имели место, ни тот, ни

другой практически никак не проявлялись.

История "Рыцарей труда", единственной, по-настоящему важной общенациональной организации рабочих, независимо от их квалификации или специальности (фактически

в нее принимались все желающие), охватывает примерно десятилетие значительного влияния и активных действий (1878-1889). В 1886 г. численность этого рыцарского ордена приближалась к 700 тыс. человек. Та его часть, которую составляли промышленные - в основном неквалифицированные - рабочие, активно участвовала, а иногда даже инициировала стачки и бойкоты, сопровождавшие экономические спады того периода. Внимательное изучение соответствующих программ и лозунгов обнаруживает довольно бессвязную мешанину самых разных социалистических, кооперативных и даже анархистских идей, которые восходят к широкому кругу источников, в том числе к идеям Оуэна, к английским аграрным социалистам, учению

Маркса и фабианцам. Тем не менее политическое кредо, а также идея общего планирования и социальной реконструкции проступают во всем этом достаточно четко. Однако такая определенность целей объясняется на самом деле тем, что документы эти мы невольно читаем с позиций сегодняшнего дня. На самом деле никаких определенных целей не было и в помине, наоборот, именно расплывчатый характер идеологии Счастья на земле - такой выбор слов объясняется тем, что основатель движения Урия Стефенс в молодости готовился стать священником, - и выдержки из американской Конституции привлекали к этому союзу самых разных людей, начиная от фермеров и кончая специалистами-профессионалами. Орден таким образом стал как бы биржей идей и планов реформаторов всех сортов. В этом смысле

он действительно выполнял ту функцию, которую имели в виду его лидеры, когда они

подчеркивали учебно-просветительский аспект его деятельности. Но организация, основанная на глине столь разного замеса, была, по определению, неспособна ни на

какие действия. Как только верх взяла социалистическая идея, произошел раскол. Аналогичную судьбу имели и другие подобные движения - популисты, последователи Генри Джорджа и пр.

Напрашивается вывод, что американская рабочая среда того времени не давала

необходимого материала и движущего мотива для возникновения массового социалистического движения. Это можно подтвердить, если проследить ту нить, которая связывает рыцарей с Промышленными рабочими мира (Industrial Workers of the World). Нить эта воплощается в карьере марксиста Де Леона и потому должна иметь для правоверных особое значение [Тем более, что сам Ленин, обычно такой скупой на похвалы, в нарушение всех своих привычек одобрительно отзывался о работах и идеях Де Леона.]. Именно под его руководством в 1893 г. входившие в Орден рыцарей социалисты восстали против прежнего лидера Паудерли, нанеся тем самым, как впоследствии оказалось, смертельный удар всей организации. Идея их заключалась в том, чтобы создать инструмент для политических действий, более или

менее соответствующих марксистскому учению. Борьба классов, революция, разрушение капиталистического государства - всему этому должна была способствовать пролетарская партия. Однако ни Социалистическая рабочая партия (Socialist Labour Party) (1890 г.), ни созданный Де Леоном Социалистический альянс квалифицированных и неквалифицированных рабочих (1895 г.) особым влиянием

среди пролетариата не пользовались. Дело было не только в том, что ряды последователей социалистов в рабочей среде были малочисленны, - само по себе это

ничего еще не решало - но им не удалось добиться и успеха русского образца, т.е.

захватить ключевые позиции в среде интеллигенции. Социалистическая рабочая партия сперва раскололась, а затем сдала практически все оставшиеся у нее позиции новой социалистической партии - Социалистическому альянсу. Социалистический альянс в своей верности марксистским идеалам продвинулся дальше

любой другой социалистической партии в Соединенных Штатах. Во-первых, он был правоверным уже по самому своему происхождению. Он возник из рабочего движения 1892-1894 гг., когда забастовки подавлялись силой, а федеральное правительство и

судебные органы решительно становились на сторону работодателей [Заметим, что это происходило в то самое время, когда правительства большинства европейских стран стали строить свою политику на совершенно иных началах. Однако такое поведение американцев не просто говорит об их отсталости. Действительно, социальный и политический престиж бизнеса и делового интереса в Америке был куда

сильнее, чем в любой другой стране, и вследствие этого американская демократия уделяла проблемам рабочих гораздо меньше внимания, чем, скажем, юнкерское правительство Пруссии. Но признание этого обстоятельства и даже вынесение ему соответствующей оценки с моральных и человеческих позиций не мешает признать и то, что отчасти благодаря неразвитости органов государственного управления, отчасти благодаря усилению преступных элементов, с которыми никакой другой более

мягкий метод не прошел бы, и отчасти благодаря тому, что вся нация была исполнена решимости идти по пути ускорения экономического развития, проблемы по эту сторону океана представлялись в несколько ином свете, чем в Европе, причем это было бы так, даже если бы американское правительство было совершенно свободно от буржуазных шор.]. Такая политика со стороны государства заставила встать на путь истинный многих из тех, кто раньше связывал свою судьбу с "консервативными" профсоюзами. Во всяком случае, изменил свои взгляды Юджин Дебс, который выступал сперва за промышленный юнионизм, а затем за политическую борьбу. Во-вторых, правоверными были общие установки, принятые этой партией. Она

пыталась работать с профсоюзами, сея семена истинного учения изнутри. Она существовала как профессиональная политическая организация и была революционной в том самом смысле, в каком революционными были великие социалистические партии Европы. Правда, учение ее было не вполне марксистским. Дело в том, что Социалистический альянс не уделял должного внимания идеологическим установкам ни

при Дебсе, ни после него и допускал в своих рядах довольно широкий спектр взглядов. И хотя ему так и не удалось вобрать в себя те небольшие рабочие партии

местного характера, которые то тут, то там возникали по всей стране, он

достаточно успешно просуществовал вплоть до послевоенного периода, когда возникла серьезная конкуренция со стороны коммунистического движения. Большинство социалистов, я думаю, согласятся, что это была единственная подлинно

социалистическая партия в истории Соединенных Штатов. Во всяком случае, о масштабах социалистического движения в этой стране можно судить именно по числу голосов, отданных за нее, хотя среди ее сторонников, как и в любом социалистическом движении вообще, было немало случайных попутчиков.

У Де Леона был, однако, и другой шанс, и связан он был с Западной федерацией шахтеров (Western Federation of Miners), чей радикализм, впрочем, не имел идеологических корней, а объяснялся реакцией простого люда на тяжелые условия жизни. Эта федерация стала краеугольным камнем в структуре основанной в 1905 г. организации "Промышленные рабочие мира". Чтобы создать ее, Де Леон и его соратники собрали воедино и обломки собственной партии, и остатки других развалившихся организаций, а также созвали отовсюду людей с весьма сомнительной репутацией, отколовшихся то ли от интеллигентов, то ли от пролетариев, то ли от тех и других вместе. Однако союз имел сильное руководство и, следовательно, сильную фразеологию. Помимо самого Де Леона, в руководство входили Хейвуд (Haywood), Траутман (Trautmann), Фостер (Foster) и другие.

Рядом своих успехов движение это было обязано шоковым методам (при этом не существовало ничего недозволенного) и духу бескомпромиссной борьбы, а тем, что оно в конечном итоге потерпело поражение, - отсутствию чего-либо, кроме громких фраз и шоковых методов. Поражение его было ускорено ссорами с коммунистами и перебежчиками в лагерь коммунистов, а также нескончаемыми внутренними разногласиями. Но я не стану повторять историю, которая уже была рассказана до меня со всех мыслимых точек зрения. Для нас в ней важно только одно. Эту организацию называли синдикалистской - даже анархистской, а несколько позже ее привлекали к ответственности в соответствии с антисиндикалистским законодательством, принятым в ряде штатов. Принцип "непосредственных" действий на местах и идеологические уступки Западной федерации шахтеров, которая отдавала

промышленным профсоюзам ведущую роль в строительстве социалистического общества (в этом заключается личный вклад Де Леона в классический марксизм или, если угодно, его расхождение с ним), несомненно, говорит о том, что синдикалистской его партия считалась по нраву. Но мне кажется более правильным говорить об отдельных включениях элементов синдикализма в движение, которое по существу имело чисто марксистские корни.

Таким образом, этот великий социолог - простой человек - опять оказался прав. Типичный американец всегда считал, что социализм в целом, и социалисты в частности, Америке не нужны. Насколько я понимаю, здесь мы в более развернутой форме пытались показать именно это. Американское общество в своем развитии практически перескочило через фазу социализма, которая в других странах видела и

победы чистого марксизма, и успехи Второго Интернационала. Проблемы, над которыми бились европейские социалисты, в этой стране остались практически непонятыми. Если подобные умонастроения и возникали, то лишь случайно, будучи привнесенными сюда из Европы. Решая свои проблемы и вырабатывая свои собственные

установки, американцы время от времени заимствовали что-то из этих чужеземных идей, но этим дело и ограничивалось, а последующие события еще сильнее отвратили

от социализма американских интеллигентов и пролетариев, не прошедших школы марксизма.

4. Социализм по Франции: анализ синдикализма

Понять, что такое синдикализм, можно лучше всего на примере Франции [Итальянский

и испанский синдикализм подошли бы для этой цели не хуже - с той единственной оговоркой, что чем выше неграмотность в стране, тем сильнее элемент анархизма, искажающий то, что, по моему мнению, составляет истинный портрет синдикализма. Этот элемент имел место и во Франции, но роль его здесь не следует

преувеличивать.]. Однако прежде, чем перейти к рассмотрению синдикализма, мы кратко охарактеризуем французский социализм вообще.

Во-первых, история развития социалистической идеологии в этой стране имеет более глубокие корни и насчитывает, пожалуй, больше славных страниц, чем в любой

другой, хотя ни одно из зародившихся во Франции учений никогда не достигало такой завершенной формы и такого влияния, как, например, фабианство в Англии или

марксизм в Германии. Фабианство невозможно без политической системы английского типа, а во Франции ничего подобного не сложилось - помешали Великая французская революция и неудача последовавших за нею попыток аристократии и буржуазии договориться между собой. Марксизм требует широкого и сплоченного рабочего движения или, если считать его объединяющей религией интеллигентов, - культурных

традиций, совершенно несвойственных любви французов к *limpidite* (чистота, прозрачность, ясность - фр.). Все же остальные имевшиеся в то время социалистические учения находили отклик только среди людей определенного склада ума и определенного социального происхождения и потому по природе своей были сектантскими.

Во-вторых, Франция была преимущественно страной крестьян, ремесленников, мелких служащих и рантье. Развитие капитализма в этой стране шло неспешно и крупная промышленность существовала лишь в нескольких центрах. Каковы бы ни были те проблемы, что посеяли раздор между перечисленными классами, вначале классы эти были экономически достаточно консервативными - пожалуй, нигде в мире консерватизм не покоился на столь широком фундаменте, - а позже оказывали все возрастающую поддержку тем социальным группам, которые настаивали на проведении реформ в интересах среднего класса, в том числе радикалам-социалистам, партии, про которую вернее всего будет сказать, что она не была ни социалистической, ни радикальной. Рабочие в большинстве своем принадлежали к тому же социальному типу

и думали точно так же. Специалисты и интеллигенты к этому приспособились, и именно этим объясняется тот факт, что перепроизводство специалистов и безработица в их среде хотя и имели место, никогда не приводили к таким эксцессам, как того можно было бы ожидать, судя по другим странам. Беспорядки, конечно, были. Но если говорить о недовольных вообще, то католики, не одобрявшие

антиклерикальные тенденции, которые в силу различных обстоятельств значительно усилились во времена Третьей республики, играли во Франции куда большую роль, чем те, кому не нравился капиталистический уклад. Во всяком случае, именно от первых, а не от вторых исходила реальная угроза буржуазной республике в связи с делом Дрейфуса.

В-третьих, из всего вышесказанного следует вывод, что объективных условий для развития социализма во Франции было не больше, чем в России или в Соединенных Штатах, хотя причины тому были опять-таки иные, а потому из всех возникших на ее

почве социалистических и околосоциалистических учений ни одно не было сколько-нибудь серьезным. В качестве примера можно сослаться на бланкистов, которые делали ставку на действия "горстки смельчаков". Небольшая группа интеллигентов-заговорщиков и профессиональные революционеры в союзе с парижской чернью и низами еще двух-трех крупных городов - это самое большее, что попадало в орбиту подобных групп. И все же Гед (Guesde) и Лафарг (Lafargue) основали марксистскую "Рабочую партию", провозгласившую программу классовой борьбы (1883 г.), причем эта партия снискала одобрение самого Маркса. Она придерживалась ортодоксального курса, боролась с путчистами типа Эрве и анархистами, с одной стороны, и реформизмом Жореса - с другой, т.е. делала по существу все то же самое, что и немецкие социалисты, однако она никогда не занимала такого положения и не пользовалась таким успехом ни в массах, ни среди интеллигенции, как социалисты в Германии. Не помог этому и ее альянс с другими социалистическими партиями в ходе парламентских выборов в 1893 г. (в том году социалисты получили лишь 48 мест, а правящая республиканская партия - 300). В 1905 г. партия прекратила свое существование, уступив место возникшей на ее основе Объединенной социалистической партии.

В-четвертых, - и здесь я просто ограничусь констатацией факта, не пытаюсь никак его объяснить, - описанный выше социальный уклад исключал появление больших и высокоорганизованных партий английского типа. Вместо них во французском парламенте, как известно, бал стали править мелкие и нестабильные группировки, которые складывались и распадались под влиянием момента, личных интересов и интриг, которые формировали и распускали кабинет министров в соответствии, как я

уже говорил, с правилами салонной игры. Одним из последствий этого была полная несостоятельность государственной власти. Другим - то, что кабинет министров в этой стране попал в поле зрения социалистических и околосоциалистических групп гораздо раньше, чем это случилось в странах, где хотя и были значительно более влиятельные социалистические партии, государственное управление велось с использованием более рациональных методов. Вплоть до чрезвычайных обстоятельств 1914 г. Гед и его группа не поддавались соблазну и не шли на сотрудничество с буржуазными партиями в лучших традициях ортодоксального марксизма. Но реформистская группа, которая и так уже скатилась в буржуазный радикализм и чей принцип - реформа без революции - не исключал такого сотрудничества, не имела никаких оснований его избегать. Соответственно, Жорес не испытывал никаких угрызений совести по поводу того, что он оказывал поддержку буржуазному правительству, чтобы защитить республику во время дела Дрейфуса (1898 г.). Таким

образом, старая задача о сочетании социалистических принципов и тактики, которая

не составляла никакой трудности в Англии и Швеции, а во всех прочих странах считалась трудноразрешимой, вдруг приобрела в высшей степени актуальную форму. Изюминка заключалась во введении в задачу дополнительного условия, гласившего, что оказывать поддержку правительству - это одно дело, с точки зрения несгибаемых ортодоксов достаточно предосудительное, но делить с правительством ответственность, реально войдя в его состав, - это совершенно другое дело. Именно это и сделал г-н Мильеран (Millerand). В 1899 г. он вошел в кабинет Вальдека-Руссо вместе с генералом де Галифе, консерватором, который прославился в основном своим энергичным участием в подавлении Парижской Коммуны в 1871 г. Два патриота, поступившихся собственными принципами, чтобы объединить силы в эпоху национальных бедствий, - что в этом такого? Я полагаю, что именно такова будет реакция большинства моих читателей. Могу заверить, что я тоже ни в коем случае не считаю, что вышеназванные господа бросили на себя тень таким поступком. К тому же мы имеем все основания спросить, продолжал ли Мильеран оставаться в то время социалистом? [Действительно, он выдвинулся в первые ряды представителей левого крыла, выступил в защиту руководителей забастовщиков, а в кабинете Вальдека-Руссо был главной фигурой среди тех 60 его членов, которых называли "левым социалистическим крылом". Надо, однако, сказать, что он не сделал ничего такого, чего не мог бы с тем же успехом сделать любой буржуазный радикал. Его политика в качестве министра гражданского строительства (1909 г.) и

министра обороны (1912 г.) не означала поэтому такого уж резкого разрыва с социализмом, как это пытались представить его враги. Его последующий альянс с bloc national (национальным блоком) и конфликт с cartel des gauches (картелем левых) во время пребывания на посту президента Франции после 1920 г. - это уже иная история, но все же и тут можно предложить вполне правдоподобное объяснение.] Наконец, в бытность свою членом кабинета он много сделал для французских рабочих как в юридическом, так и в административном плане и потому оставил о себе добрую память.

В то же время мы должны попытаться понять, каким виделся "мильеранизм" гедистам во Франции и ортодоксальным социалистам по всей Европе. Для них он означал одно - грехопадение, предательство цели, осквернение веры. Такая реакция весьма естественна, как и анафема, которой его предал конгресс Второго Интернационала в

Амстердаме (1904 г.). Но если попытаться взглянуть поглубже, то за анафемой за вероотступничество откроется всего лишь здравый смысл. Действительно, если уж решено, что рабочий класс не должен подставлять свою спину амбициозным политикам, которые не прочь вскарабкаться по ней к власти, то нужно весьма ревностно следить, чтобы от этой практики не было никаких отклонений. Фокус с разговорами об экстремальной ситуации в стране, к которому без конца прибегают рвущиеся к власти карьеристы, - интересно, была ли хоть раз ситуация, которую политики считали бы неэкстремальной? - был слишком хорошо известен и слишком сильно дискредитирован, чтобы произвести впечатление на кого бы то ни было, а уж

тем более на французский пролетариат, который научился неплохо разбираться в политической фразеологии. Была опасность, что массы могут вообще с презрением отвернуться от социалистических политиков [Итальянские социалисты на самом деле

отклонили приглашение войти в состав кабинета, с которым трижды обращался к ним Джолитти (Giolitti, 1842-1928, лидер итальянской Либеральной партии, премьер-министр Италии в 1903, 1906 и 1911 гг.).]

На самом деле эта опасность была вполне реальной. Массы действительно начали отворачиваться от социалистов. Насмотревшись, как и вся страна, на то, какое жалкое зрелище представляет собой неумелая, некомпетентная и легкомысленная власть, порожденная расстановкой общественных сил, которую мы попытались описать

выше, они потеряли доверие к государству, к политикам, к разного рода писакам и ни к кому из них не питали уважения, да и вообще во всем и во всех разуверились,

за исключением некоторых великих деятелей прошлого. Часть промышленного пролетариата сохраняла свою католическую веру. Другие просто плыли по течению. А

для тех, кому удалось побороть свои буржуазные пережитки, синдикализм представлялся гораздо более привлекательным, чем любой из имевшихся видов чистого социализма, сторонники которого, судя по всему, обещали повторить игрища

буржуазных партий, разве только в меньших масштабах. Разумеется, немаловажную роль сыграла в этом и французская революционная традиция, прямым наследником которой был синдикализм.

Ведь синдикализм - это не просто революционный тред-юнионизм. Он многолик и в ряде случаев не имеет никакого отношения к последнему. Синдикализм аполитичен и антиполитичен в том смысле, что он презирает действия, проводимые через органы традиционной политической власти вообще и через парламент в частности, а также любые попытки воздействовать на эти органы. Он антиинтеллектуален в том смысле, что он презирает конструктивные программы, основанные на теориях, и отвергает руководство интеллигентов. Он действительно обращен к инстинктам рабочего человека - не то что марксизм, который обращен лишь к представлениям интеллигентов об этих инстинктах, - обещая рабочему понятные ему вещи - например, захватить цех, где он работает, причем захватить его с помощью силы, в

крайнем случае с помощью всеобщей забастовки.

Надо сказать, что в отличие от марксизма или фабианства, синдикализм не может увлечь тех, кто хоть немного знаком с экономической наукой и социологией. Дело в

том, что в нем нет разумного начала. Те писатели, которые, исходя из гипотезы, что все на свете поддается разумному объяснению, пытаются подвести под него теоретический базис, неизбежно его выхолащивают. Некоторые связывали его с анархизмом, который в качестве социальной философии совершенно ему чужд по своим

источникам, целям и идеологии, - хотя поведение последователей Бакунина из числа

рабочих в 1872-1876 гг. было похоже на поведение синдикалистов. Другие пытались относить его к марксизму, усматривая в нем частный случай последнего, характеризующийся применением особой тактики, и тем самым итерировали все, что есть наиболее важного в обоих. Третьи конструировали новый вид социализма, который должен был функционировать как платоновская идея синдикализма - так называемый "гильдейский социализм", однако при этом они были вынуждены навязать движению определенную схему высших ценностей, хотя именно отсутствие последних является одним из его самых характерных признаков. Те, кто организовал и возглавил Всеобщую конфедерацию труда (Confederation Generale du Travail) на ее синдикалистском этапе (1895-1914 гг.), были в большинстве своем подлинными пролетариями или деятелями профсоюзного движения или и теми, и другими одновременно. Они были преисполнены негодования и желания бороться. Их немало не

заботила мысль о том, что они станут строить на развалинах в случае своей победы. Разве самой по себе победы еще не достаточно? Почему же мы должны отрицать ту истину, которой изо дня в день учит нас жизнь - а именно, что существует абстрактное желание подражаться, которое не нуждается ни в каких обоснованиях и не знает других целей, кроме победы как таковой?

Но заполнить пустоту, стоящую за грубым насилием, может, сообразуясь со своим личным вкусом, всякий интеллигент. А само насилие, окрашенное в цвета антиинтеллектуализма и антидемократизма, в условиях распада цивилизации, которую

по разным причинам так ненавидят многие, приобретает новый грозный смысл. Те, кто ненавидел капиталистическое общество не столько за его экономические порядки, сколько за демократический рационализм, не могли найти опору в ортодоксальном социализме, который сулит еще больший рационализм. Их интеллектуальному антиинтеллектуализму - будь то ницшеанского или бергсонского толка - синдикалистский антиинтеллектуализм вполне мог импонировать в качестве дополнения (специально для народных масс) к их собственным убеждениям. Так родился этот весьма странный альянс, и синдикализм в

конце концов обрел своего теоретика в лице Жоржа Сореля (Sorel).

Разумеется, любые революционные движения и идеологии, сложившиеся в одно и то же

время, всегда имеют много общего. Будучи порождениями одного и того же социального процесса, они неизбежно дают во многом схожие ответы на схожие вопросы. Кроме того, в своих потасовках они не могут что-то друг у друга не перенять. Наконец, многие из них просто не могут найти себе места и когда по незнанию, когда по трезвому расчету смешивают взаимоисключающие принципы, образуя собственные доктрины-гибриды. Все это сбивает с толку исследователей, благодаря чему мы и имеем сегодня такое богатство трактовок. Особенно трудно разобраться в случае с синдикализмом, который знал лишь короткий период расцвета, а затем его идейные вожди от него отступились. Тем не менее, как бы мы

ни расценивали значение синдикализма для Сореля и значение Сореля для синдикализма, его "Размышления о насилии" (Reflexions sur la Violence) и "Иллюзии прогресса (Illusions du Progres) помогут нам прояснить ситуацию. То, что его экономическая теория и социология не имели ничего общего со взглядами Маркса, само по себе еще ни о чем не говорит. Но оказавшись в самой середине бурного потока антиинтеллектуализма, социальная философия Сореля проливает свет на первую практическую манифестацию той социальной силы, которая была и остается

революционной в том смысле, в каком никогда не был революционен марксизм.

5. Социал-демократическая партия Германии и ревизионизм. Австрийские социалисты

Но все же, почему английские методы и тактика не получили распространения в Германии? Откуда вдруг такой успех марксизма, разжигавшего противоречия и расколовшего всю страну на два враждебных лагеря? Это бы еще можно было как-то понять, если бы в Германии не было других социалистических партий, которые добивались социальных преобразований, или если бы правящая верхушка оставалась глухой к их предложениям. Однако правительство Германии относилось к социальным запросам эпохи не менее, а более чутко, чем английские политики, а работу фабианцев с неменьшим успехом выполняла очень похожая на них группа.

Германия не только не отставала в вопросах "социальной политики", но и задавала в них тон, по крайней мере до принятия законов о социальной защите, связанных с именем Ллойда Джорджа. К тому же законы о социальной защите населения принимались в этой стране не под давлением ожесточенной борьбы снизу, а по инициативе самого правительства. Закон о социальном страховании был принят с подачи Бисмарка. Разработкой этого закона по распоряжению Вильгельма II занимались консервативные сановники (фон Берлепш, граф Посадовский), которые включили в него ряд новых мер, не предусмотренных первоначальным вариантом. Созданные в соответствии с принятым законом институты социальной защиты были поистине замечательным достижением и именно так они расценивались во всем мире. Одновременно были сняты оковы с профсоюзного движения и отношение государственных властей к забастовкам резко изменилось.

Монархические одежды, в которые все это было облечено, несомненно, отличали германский вариант от английского. Но различие это шло на пользу дела. После краткого периода уступок экономическому либерализму (названного критиками "манчестеризмом") монархия просто вернулась к своим прежним традициям и стала делать *mutatis mutandis* (с учетом перемен - лат.) для рабочих то, что раньше она

делала для крестьянства. Государственная гражданская служба, которая в Германии была значительно более развита и располагала существенно большими полномочиями, чем в Англии, обеспечивала превосходный механизм управления и обильно питала законодательство новыми идеями и законотворческими талантами. К тому же она была

не менее восприимчива к предложениям по социальным реформам, чем английская. Состоявшие в основном из безденежных юнкеров, - многие из которых не имели иных средств к существованию, кроме своего поистине спартанского жалования, - целиком

отдававших себя служению государству, высокообразованных и компетентных, весьма критично настроенных по отношению к капиталистической буржуазии, государственные

служащие Германии в области социальных реформ чувствовали себя как рыба в воде. Обычно германская бюрократия получала новые идеи и предложения от своих университетских профессоров, "катедер-социалистов". Как бы мы ни относились к научным достижениям профессоров, которые объединились в Союз социальной политики

(Verein für Sozialpolitik) [Я бы очень рекомендовал своим читателям ознакомиться

с краткой историей этой уникальной организации, которая красноречиво говорит о том, какой же на самом деле была Германская империя, хотя работа, к которой я их

отсылаю, так и не была и, по-видимому, уже не будет переведена на английский язык. Ее автор несколько десятков лет был бессменным секретарем Союза, а изложенная им без всяких прикрас история производит глубочайшее впечатление именно благодаря своей безыскусности. (Franz Boese. Geschichte des Vereins für Sozialpolitik. Berlin, 1939).], даже если их трудам часто не хватало научной изысканности, они пылали подлинным рвением к социальным реформам и весьма успешно способствовали их распространению. Мужественно отстаивая свои принципы перед лицом недовольства буржуазии, они не только разрабатывали конкретные меры практических реформ, но также пропагандировали самый дух реформаторства. Как и фабианцев, их в первую очередь интересовали ближайшие задачи и они резко осуждали классовую борьбу и революцию. Но как и фабианцы, они знали, к чему они идут - знали и не имели ничего против того, что в конце их пути маячил социализм. Конечно, государственный социализм в том виде, в каком они его себе представляли, был социализмом национальным и консервативным, но он не был ни фальшивкой, ни утопией.

Остальной мир никогда не понимал этих особенностей социальной структуры Германии

и природу порожденной ею конституционной монархии или во всяком случае другие страны позабыли то, что когда-то, возможно, и знали по собственному опыту. Но если бы истина приоткрылась, нам было бы еще труднее понять, каким образом в этой далекой от плутократии среде выросла величайшая - из всех социалистических партий - партия, стоявшая на чисто марксистской платформе, употреблявшая непревзойденную по злобности марксистскую фразеологию, объявившая своей целью борьбу против безжалостной эксплуатации и государства, которое она называла "работом погонщиков рабов". Вряд ли такое можно объяснить "логикой объективной социальной ситуации".

Ну что ж, я полагаю, что мы должны еще раз признать, что в краткосрочном аспекте

(а 40 лет в таких вопросах - это очень короткий период) неправильный выбор методов и ошибки, неумелые действия отдельных личностей и целых коллективов могут сыграть такую роль, которую одной логикой не объяснишь. Можно попытаться найти и другие причины, но боюсь, они мало что добавят к нашему пониманию. В отдельных землях шла, конечно, борьба за расширение избирательного права. Но большая часть вопросов, сильнее всего волновавших промышленный пролетариат, была

в компетенции имперского парламента (рейхстага), а что касается выборов в парламент, то Бисмарк с самого начала ввел всеобщее избирательное право для мужчин. Важнее была протекционистская политика защиты сельского хозяйства, и в результате - дорогой хлеб. Несомненно, это сильно отравляло атмосферу, особенно потому, что больше всего от этой дороговизны выигрывали крупные и средние помещики Восточной Пруссии, а вовсе не крестьянство. Однако о силе давления с этой стороны говорит тот факт, что где-то около 1900 г. эмиграция практически сошла на нет. Нет, ответ следует искать не здесь.

Ах, уж эта неумелость плюс немецкие манеры! Возможно, что-то прояснится, если провести очевидную аналогию с поведением Германии в области международных отношений. До 1914 г. колониальные и другие амбиции Германии на международной арене были - сейчас, по прошествии стольких лет, наверно, уже можно так сказать

- весьма скромными, особенно если сравнивать их с теми четкими и результативными действиями, с помощью которых расширяли свои империи Англия и Франция. Ничего из

того, что Германия фактически совершила или обнаружила намерение совершить, не идет ни в какое сравнение, скажем, с Тель-Эль-Кебиром или с Англо-бурской войной, с завоеванием Туниса или французским Индокитаем. Куда менее скромными и куда более агрессивными были речи, которые произносили германские политики, невыносимо наглой и вызывающей была сама манера, в которой формулировались любые, даже самые скромные притязания. Хуже того, Германия никогда не придерживалась какой-то одной четкой политической линии: неистовые атаки шли то в одном направлении, то в другом, перемежаясь шумными отступлениями, недостойными уступками и совершенно неуместными попытками все переиграть, и так далее, пока международное общественное мнение, наконец, не прониклось окончательно по отношению к Германии отвращением и тревогой [Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. Я ни в коем случае не приписываю эту политику Вильгельму II - ни целиком, ни в первую очередь. Он отнюдь не был второстепенным правителем. К тому же он вполне заслужил ту характеристику, которую дал ему князь Бюлов (Bulow, 1849-1929, германский государственный деятель, в 1900-1909 гг. рейхсканцлер Германии) в своей, пожалуй, самой необычной речи в защиту монарха, которую когда-либо слышали стены парламента: "Вы можете говорить что угодно, но он не филистер". Да, действительно, он рассорился с единственным человеком, который мог бы научить его премудростям его ремесла, однако те, кто осуждает его поведение по отношению к Бисмарку, не должны забывать что главным поводом для ссоры послужило преследование социалистов, которому император намеревался положить конец, а также принятие крупномасштабной программы реформы социального законодательства. Если отбросить в сторону слова и просто попытаться

осмыслить логику движущих мотивов императора по его делам из года в год, то сам собой напрашивается вывод, что по многим великим вопросам эпохи истина была на его стороне.]. Аналогичным образом складывались обстоятельства и во внутренних делах страны.

Фатальную ошибку совершил на самом деле не Вильгельм, а Бисмарк. Ошибка эта заключалась в его попытке подавления социалистического движения силой, объяснимой разве что предположением, что он имел совершенно неправильное представление о природе проблемы Кульминацией этой политики был Закон о социалистах (Sozialistengesetz), который он провел в 1878 г. и который оставался

в силе до 1890 г., когда на его отмене настоял Вильгельм II. Иначе говоря, закон

этот оставался в силе достаточно долго, чтобы научить партию уму-разуму и заставить ее выбрать своими вождями тех, кто изведал тюрьму и ссылку и кто в значительной мере перенял менталитет заключенных и ссыльных. Благодаря роковому стечению обстоятельств случилось так, что именно это определило весь ход последующих событий. Ведь эти пережившие ссылку люди более всего ненавидели милитаризм и идеологию военной славы. Со своей стороны монархия, во всех прочих отношениях с пониманием относившаяся к тому, что умеренные социалисты считали ближайшими практическими целями, ненавидела глумление над армией и над военной славой 1870 г. Именно это и ничто другое заставило и ту, и другую сторону считать друг друга не просто противниками, но и врагами. Добавьте сюда еще марксистскую фразеологию на партийных съездах - как бы очевидно академична она ни была - и вышеупомянутое неистовство, и картина будет полной. Никакое социальное законодательство, никакое законопослушное поведение не помогло преодолеть это взаимное non possumus (невозможность - лат.), этот картонный барьер, через который оба воинства бросали друг другу оскорбления, строили друг другу страшные рожи, разили друг друга словами - и все это не желая причинить никакого серьезного зла.

Из такого положения дел возникла ситуация, которая, несомненно, представляла определенную опасность - огромная власть без ответственности всегда опасна, - но

вовсе не была такой угрожающей, как это может показаться. Федеральное правительство и правительства земель - или бывшие государственные служащие, получившие министерские должности, из которых эти правительства формировались, -

заботились в первую очередь о том, чтобы власть была честной и компетентной, чтобы законодательство было эффективным и в целом прогрессивным, чтобы армии и флоту был выделен достаточный бюджет. Ни одной из этих целей социалисты, голосовавшие против, серьезно не повредили. В частности, принятие военного бюджета в большинстве случаев обеспечивалось за счет поддержки значительного большинства населения. В свою очередь Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая Августом Бебелем, была поглощена стремлением укрепить и расширить ряды своих сторонников, число которых действительно возрастало не по дням, а по часам. Правительство не сильно вмешивалось в этот процесс, поскольку бюрократия скрупулезно соблюдала букву закона, предоставлявшего всю полноту свободы, которая только требовалась для партизанских действий [Неприятности со стороны властей, безусловно, имели место, а социалисты, конечно, выжимали все, что было можно, из любых действий, которые, хотя бы и с натяжкой, можно было отнести к подобным помехам. Но такого рода противостояние никогда не достигало опасной остроты, о чем, кстати говоря, достаточно красноречиво свидетельствует история самого социалистического движения с 1890 г. до начала первой мировой войны. Кроме того, политика такого рода на самом деле только играет на руку "преследуемой" партии.]. И стоящая у власти бюрократия, и партия имели основания

быть благодарными друг другу, особенно во времена правления Бюлова, за возможность куда-то выпустить пар из котла своего красноречия, что было так необходимо обеим.

Таким образом, партия не только разрасталась, причем достаточно быстро, но и приобретала стабильность. Появилась партийная бюрократия, партийная пресса, появились свои государственные деятели высокого ранга, получавшие высокие доходы

и вообще весьма респектабельные во всех смыслах этого слова, в том числе и в смысле буржуазной респектабельности. Появилось рабочее ядро, для которого членство в партии было не столько вопросом выбора, сколько чем-то само собой разумеющимся. Все больше становилось "врожденных" партийцев, обученных беспрекословному приятию ее руководства и ее катехизиса, который для некоторых из них означал то же самое, что религиозный катехизис значит для среднего человека сегодня.

Все этому в немалой степени способствовала неспособность несоциалистических партий эффективно бороться за голоса рабочих. Было, правда, и исключение. Центристская (католическая) партия, с одной стороны, имела в своем распоряжении все необходимые таланты, поскольку она пользовалась поддержкой духовенства исключительно высоких способностей, и, с другой стороны, была готова бороться за

голоса рабочих, решившись пойти по пути реформ настолько далеко, насколько это было возможно, не вызывая недовольства своего правого крыла и выбрав в качестве своей платформы доктрины папских энциклик *Immortale Dei* (1885) и *Rerum Novarum* (1891) [Заметим попутно интересный (почти в американском духе) феномен: в лице центристов мы имеем партию, в которой были представлены почти все оттенки мнений

по экономическим и социалистическим вопросам, которые вообще только возможны, начиная с самого закоренелого консерватизма и кончая радикальным социализмом, и которая несмотря на это оставалась мощнейшим двигателем политической жизни. Люди

самого разного склада, самого разного происхождения, движимые различными желаниями, крайние демократы и крайние автократы настолько слаженно работали, что им могли бы позавидовать марксисты - и все это единственно благодаря их преданности католической церкви.]. Но все остальные партии, пусть по разным причинам и в неодинаковой степени, питали стойкое недоверие, если не сказать враждебность, к промышленному пролетариату и никогда даже не пытались завоевать на свою сторону сколько-нибудь значительное число рабочих избирателей. Рабочим же, за исключением ревностных католиков, соответственно не оставалось ничего другого, кроме как обратить свои взоры к Социал-демократической партии. Подобная

ситуация представляется абсурдной в свете английского и американского опыта, но социалистической армии действительно было позволено маршем вступить на политически незащищенную территорию под аккомпанемент шума и недовольства по поводу ужасной опасности, которую она представляет.

В связи с вышесказанным мы уже можем понять то, что на первый взгляд кажется

совершенно необъяснимым, а именно то, почему германские социалисты так крепко держались за марксистское учение. Для сильной партии, которая могла позволить себе иметь собственное учение и при этом была лишена не только политической ответственности, но даже перспективы когда-нибудь взять ее на себя, естественно было сохранять чистоту учения Маркса, раз уж она его приняла. Такое чисто негативное отношение к несоциалистическим реформам и ко всем действиям буржуазного правительства вообще - что, как мы видели выше, составляло тактическую уловку, рекомендованную Марксом на все случаи жизни за очень редким исключением, - было ей на самом деле навязано обстоятельствами. Ее вожди не были

ни безответственными людьми, ни отчаянными безумцами. Однако они понимали, что в

данной ситуации партии не оставалось ничего другого, кроме как критиковать и выше держать свое знамя. Любое отступление от революционного принципа было бы совершенно неоправдано. Это могло бы только дезорганизовать последователей, но не дало бы пролетариату ничего или почти ничего сверх того, что он и так уже получил, причем получил не столько из рук других партий, сколько из рук монархической бюрократии. Те минимальные выгоды, которых можно было бы добиться,

вряд ли заслуживали того, чтобы рисковать партией. Таким образом, серьезные, законопослушные люди, патриоты продолжали твердить безответственные лозунги о революции и предательстве. Кровавые последствия этих шагов, как ни странно, связаны в основном с людьми вполне мирной наружности, "очкариками", счастливо сознававшими, что им вряд ли когда-нибудь придется претворять эти лозунги в жизнь.

Вскоре, однако, у некоторых из них в душу закралось опасение, что в один прекрасный день революционная болтовня может столкнуться с одним из самых убийственных орудий в политическом споре - с насмешкой. Возможно, именно предчувствие такого рода, а может - просто понимание того, что разрыв между марксистской фразеологией и социальными реалиями того времени стал уже до смешного велик, заставило не кого-нибудь, а самого Энгельса объявить с высокой трибуны, т.е. во введении, написанном им к новому изданию работы Маркса "Классовая борьба во Франции" [Рязанову удалось показать, что редактор этой книги достаточно вольно обошелся с текстом Энгельса. Но как бы сильно не исказил

редакторский карандаш смысл написанного Энгельсом, упомянутую выше мысль это не затронуло. См.: Ryazanov. Karl Marx and Friedrich Engels (translated by Kunitz.). 1927.], о том, что уличные бои все же сопряжены с определенными неудобствами и что правоверным не обязательно в них вступать (1895 г.). Эта своевременная и скромная поправка вызвала ярость со стороны горстки горячих голов, не допускавших никаких компромиссов. Особенно старалась г-жа Роза Люксембург - она буквально превзошла самое себя в гневных обличениях по адресу старины Энгельса. Однако партия в целом согласилась с этой поправкой - не исключено, что она была воспринята со вздохом облегчения - и впоследствии даже, по-видимому тактично, сделала и другие осторожные шаги в том же направлении. Однако когда Эдуард Бернштейн недрогнувшей рукой взялся "ревизовать" все строение партийного вероучения целиком, поднялся страшный шум. После того, что я

сказал о сложившейся в то время ситуации, это не должно показаться странным. Даже самая мирская партия знает о том, как опасно вносить изменения в любой сколько-нибудь серьезный пункт своей программы. Если же говорить о партии, чья программа и само существование были основаны на вероучении, каждая деталь которого была проработана с поистине богословским усердием, то коренная реформа неизбежно привела бы к глубочайшим потрясениям. Это вероучение было объектом почти религиозного почитания. Ему служили уже четверть века. Именно под его знаменем партия добивалась своих успехов. Это было то единственное, что партия могла с гордостью предъявить. И вдруг любимую революцию - которая была для них тем же, чем второе пришествие было для ранних христиан, - совершенно бесцеремонно хотят отменить. Не будет больше ни классовой борьбы, ни милых сердцу военных кличей. Вместо них - сотрудничество с буржуазными партиями. И все

это раздается из уст представителя старой гвардии, бывшего ссыльного, к тому же милейшего человека и всеобщего любимца!

Но Бернштейну [Особый интерес в этой связи представляют две его книги: "Проблемы

социализма и задачи социал-демократии" (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, 1899), переведенная на английский язык Э.Харви в 1909 г., и "К истории и теории социализма" (Zur Geschichte und Theorie

des Sozialismus, 1901).] и этого было мало. Своими кощунственными руками он посмел коснуться священных основ учения. Он атаковал его гегельянские корни. Подверг острой критике трудовую теорию стоимости и теорию эксплуатации. Он усомнился в неотвратимости социализма и свел все к банальной "желательности". Он

неодобрительно относился к экономической интерпретации истории и утверждал, что кризисы не погубят капиталистического дракона, наоборот, со временем капитализм станет более стабильным. Рост обнищания - это, конечно, сплошные выдумки. Буржуазный либерализм породил вечные ценности, которые следует попытаться сохранить. Он даже осмелился заявить, что пролетариат - это еще не все. Подумать

только!

Разумеется, такая партия позволить не могла. Это было бы совершенно недопустимо, даже если бы Бернштейн был неопровержимо прав по всем пунктам, поскольку верования, воплощенные в организации, нельзя реформировать методом всеожжения. Но он не был неопровержимо прав. Человек он был прекрасный, но как теоретик Марксу не чета. Как мы уже видели в первой части, он слишком далеко зашел в своей критике экономической интерпретации истории, которую вряд ли до конца понимал. Он также излишне энергично утверждал, что ход развития сельского хозяйства опровергает Марксову теорию концентрации экономической власти. Были и другие моменты в его рассуждениях, которые вызвали убедительные возражения, поэтому защитнику ортодоксального учения Карлу Каутскому [С тех самых пор Каутский, основатель и главный редактор Neue Zeit и автор ряда научных трудов по

марксистской теории, неизменно занимал позицию, которую можно охарактеризовать только в церковных терминах, отстаивая "революционное" учение сперва в борьбе с ревизионизмом, а некоторое время спустя - в борьбе с большевистской ересью. Он был ученым до мозга костей и не умел располагать к себе людей, как это делал всеобщий любимец Бернштейн. В целом, однако, оба крыла партии можно поздравить с

тем, насколько высок был интеллектуальный и моральный уровень их лидеров.] не представляло особого труда отстаивать свои позиции - или по крайней мере некоторые

из них. Нельзя также с уверенностью судить и о том, выиграла бы партия, если бы тактические рекомендации Бернштейна были приняты. Несомненно, во всяком случае, что какая-то часть членов от партии бы откололась. Seriously пострадал бы также ее престиж. При этом, как уже было сказано, никаких непосредственных выгод этот шаг бы не дал. Очень многое, следовательно, говорило в пользу именно "консервативного" подхода.

В подобной ситуации взятый Бебелем курс не был настолько неразумным и диктаторским, как в то время представлялось его попутчикам и прочим критикам. Бебель резко осудил ревизионизм, даже нарочито резко, чтобы не упустить из-под своего контроля левое крыло. На Ганноверском (1899 г.) и Дрезденском (1903 г.) съездах он предал его анафеме. Но он же позаботился и о том, чтобы все резолюции, вновь подтверждающие классовую борьбу и другие символы веры, были сформулированы таким образом, чтобы оставить ревизионистам возможность покориться. Они и покорились, и никаких других мер против них предпринято не было, хотя я думаю, что хлыстом вокруг них пощелкивали. Самому Бернштейну было даже позволено при поддержке партии войти в состав рейхстага. Фон Фольмар [Фольмар (Vollmar) Георг (1850-1922) - один из лидеров реформистского крыла германской социал-демократии. Призывал к союзу с либералами. - Прим. ред.] также

остался в лоне церкви.

Профсоюзные лидеры пожимали плечами и бормотали что-то о бессмысленности пережевывания догматической жвачки. Сами-то они всю жизнь были ревизионистами. Но поскольку партия не вмешивалась в их насущные дела и не требовала от них чего-то такого, что было бы им сильно не по нраву, они не слишком по этому поводу переживали. Они взяли под свою защиту некоторых ревизионистов, а также некоторые их печатные органы. Они дали ясно понять, что партийная философия

может быть разной, а дело есть дело. Но это и все, что они нашли нужным сказать.

Ревизионисты-теоретики, которым учение не было безразличным, и сочувствующие из числа несоциалистов (некоторые из них сами не прочь были бы вступить в социалистическую партию, если бы она не призывала к классовой борьбе и революции) придерживались, разумеется, иной точки зрения. Именно они заговорили о партийном кризисе и горестно покачивали головами в связи с вопросом о будущем партии. У них к тому были все основания. Ведь их собственное будущее в рядах партии или рядом с ней действительно было поставлено под угрозу. И действительно

Бебель, который никогда не был теоретиком и не любил кабинетных либералов, не теряя времени пригрозил им, чтобы они держались подальше от его владений. Рядовых же членов партии вся эта возня в верхах мало беспокоила. Они шли за своими вождями и повторяли их лозунги, и так продолжалось до тех пор, пока все они не встали под ружье, чтобы защитить свою страну, несколько не беспокоясь о том, что по этому поводу сказали бы Маркс или Бебель. На ряд интересных наблюдений наводит сравнение рассмотренных выше событий с тем,

что происходило в Австрии [Под Австрией я здесь подразумеваю западную часть Австро-венгерской монархии, которая с 1866 г. имела свой парламент и правительство (правда, в этом правительстве не было военного ведомства и министерства иностранных дел), отношения которых с парламентом и правительством восточной части - Венгрии, или, говоря официальным языком, "земель Священной короны св. Стефана", строились на основе равноправия.], где было много похожего,

но были и свои отличия. Как и следовало ожидать, исходя из существенно более медленного развития капитализма в этой стране, социалистической партии Австрии потребовалось на двадцать лет больше времени, чтобы превратиться в важный фактор

на политической арене. Медленно набирая силу от первых крошечных ростков, не отличавшихся особой респектабельностью, она наконец была учреждена как партия в 1888 г. (Хайнфельдский съезд) под руководством Виктора Адлера, которому удалось решить почти безнадежную задачу - объединить социалистов всех национальностей, населявших страну, в единую партию и который с непревзойденным мастерством руководил этой партией в течение следующих тридцати лет. Официально эта партия также считалась марксистской. Небольшой кружок талантливых

евреев, которые составили ее интеллектуальное ядро [Время от времени среди них появлялся и Троцкий, в то время носивший еще фамилию Бронштейн, который, похоже, испытал влияние австрийских социалистов.], так называемые "неомарксисты", внесли

даже, как мы видели в первой части, заметный вклад в развитие марксистской доктрины. Они твердо шли по пути, указанному Марксом, и хотя где-то им приходилось этот путь подправлять, они ожесточенно и умело сражались со всеми другими, кто пытался это делать, и всегда хранили верность революционной идеологии в ее самой бескомпромиссной форме. Отношения с германской партией у них были самые тесные и теплые. В то же время всем было хорошо известно, что Адлер никакого баловства не допустит. В силу разных причин культурного и национального свойства он пользовался в своей партии гораздо большим авторитетом

среди сторонников крайних взглядов, чем Бебель в своей. Он мог позволить им собираться в своих любимых кафе и исповедовать любой марксизм, какой им вздумается, и использовать их в своих целях, когда считал нужным, не позволяя им

при этом вмешиваться в те вопросы, которые имели для него первостепенное значение, а именно - в вопросы партийной организации и партийной печати, всеобщего избирательного права, введения прогрессивных законов и (не удивляйтесь!) эффективного функционирования государственной власти. Такое сочетание марксистской теории и реформистской практики прекрасно всех устраивало. Австрийские правительства вскоре обнаружили, что в лице социалистической партии они имеют союзника, по своей важности не уступающего ни церкви, ни армии, союзника, который исходя из своих собственных интересов,

несомненно, будет поддерживать центральную власть в ее беспрестанной борьбе с обструкционистскими национальными оппозициями, особенно немецкой и чешской. Эти правительства - в основном они состояли из чиновников, как в Германии, хотя со стороны короны непрерывно делались попытки ввести в них политиков, хотя бы на правах министров без портфелей, - стали тогда всячески выказывать партии свою благосклонность, и партия отвечала им полной взаимностью [Прием, к которому неоднократно прибегали социалисты, чтобы помочь правительству, заключался в следующем. Когда обструкционистам из числа националистов случалось парализовать парламент и все дела заходили в тупик, социалисты делали "срочный" запрос об обсуждении бюджета. Дело в том, что срочный запрос, должным образом поданный, практически означал, что мера, объявленная в нем "срочной" будет принята к обсуждению, постольку для этого нужно было только набрать большинство (а в случае бюджета большинство набиралось всегда), независимо от тех формальных правил парламентской процедуры, выполнение которых обструкционисты делали невозможным.]. А когда одно из этих правительств (кабинет государственных чиновников, возглавляемый бароном Гаучем) поставило вопрос о всеобщем избирательном праве, Адлер, не встретив со стороны своих последователей ни малейшего сопротивления, смог публично объявить, что на данный момент социалисты

являются "правительственной партией", хотя им никто не предлагал занять государственную должность, а если бы и предложили, то для них это было бы неприемлемым [Как я полагаю, главное препятствие здесь заключалось в непреклонной позиции германской партии по этому вопросу. Щепетильность самих австрийских социалистов была на втором месте. Нелюбовь австрийской бюрократии и престарелого императора, если они ее и испытывали, стояла лишь на третьем месте среди причин, помешавших социалистам осуществить этот шаг.].

#### 6. Второй Интернационал

Тот пункт программы марксистских партий, в котором шла речь об их интернациональных связях, призывал к созданию международной организации наподобие уже несуществовавшего тогда Первого Интернационала. Никакие другие социалистические и лейбористские группы не могли с точки зрения марксистского учения считаться интернациональными. Однако отчасти из-за доставшегося им по наследству буржуазного радикализма, отчасти из-за нелюбви к правительствам, составленным в основном из представителей привилегированных классов, социалисты всех стран приобрели, пусть не в одинаковой степени, интернационалистские и пацифистские взгляды, поэтому мысль о международной кооперации была для них естественной. Воплощением такого соглашения стал учрежденный в 1889 г. Второй Интернационал, который хотя и пытался примирить непримиримое, просуществовал вплоть до 1914 г. Я ограничусь лишь несколькими замечаниями по этому поводу. Существовало бюро Интернационала, проходили съезды с прениями по важнейшим вопросам теории и тактики, но если судить по конкретным результатам, то значение

Второго Интернационала вполне можно приравнять нулю. Именно так его и оценивали революционные активисты и лейбористы. Однако если уж на то пошло, то организация

эта и не предназначалась для каких-либо конкретных действий; любые действия, будь то революционные или реформистские, в то время были возможны только на станом, но никак не на международном уровне. Задачей Второго Интернационала было установить связь между входившими в него партиями и группами, выработать единые взгляды, согласовать планы действий, одернуть безответственных и поторопить медлительных, создать, насколько ото возможно, международное социалистическое общественное мнение. Все это с социалистических позиций было исключительно важно и нужно, хотя по самой природе вещей положительных результатов пришлось бы ждать целые десятилетия.

Соответственно члены бюро во главе с секретарем вовсе не были руководящим советом международного социализма. Им не нужно было ни формировать политику, ни спускать программы, как это было в случае с Первым Интернационалом.

Социалистические партии и лейбористские группы отдельных стран сохраняли полную независимость и право вступления в любые другие международные организации отвечавшие их конкретным интересам. Участие профсоюзов - а также кооперативов и просветительских организаций - не только не возбранялось, но даже всячески приветствовалось, хотя ведущей роли они не играли. Что же касается национальных социалистических партий, то при всей их независимости членство во Втором Интернационале спланивало их вокруг общей платформы, хотя платформа эта была

настолько широка, что на ней свободно уживались и Стаунинг и Брантинг [Стаунинг Торвальд (1873-1942) - председатель датской Социал-демократической партии в 1910-1942 гг. Брантинг Карл-Яльмар (1860-1925) - один из основателей шведской Социал-демократической партии.], с одной стороны, и Ленин и Гед - с другой. Среди членов этой международной организации наверняка были такие, которые презирали других за их трусливую осторожность, а те в свою очередь осуждали первых за их опрометчивость и радикализм. Иногда дело доходило чуть ли не до открытой потасовки. В целом, однако, и те и другие прошли в его стенах неплохую школу социалистической дипломатии. Поскольку подобный *modus vivendi* [способ существования - лат.], когда у единомышленников есть простор для разногласий, был единственно возможным, это уже само по себе было большим достижением. Как ни странно, добиться этого удалось в первую очередь благодаря усилиям немецких социалистов при поддержке русских, а также гедистов. Именно немецкие социалисты были великой Марксистской партией с большой буквы и именно они облекли общую платформу в марксистские одежды. Впрочем, они отдавали себе ясный отчет в том, что большинство представителей социалистических сил других стран марксистами не были. Для них все дело сводилось к тому, чтобы поставить свою подпись под тридцатью девятью пунктами общей декларации, сохраняя за собой полную свободу их толкования. Естественно, что это неприятно поразило наиболее ревностных из правоверных марксистов, которые заговорили о том, что вера приходит в упадок, что она сводится к вопросу о форме, за которой не стоит никакого содержания. Руководители немецких социалистов с этим, однако, мирились.

Они терпеливо выслушивали даже откровенную ересь, на которую бы яростно обрушились у себя дома. Бебель точно знал, что он может себе позволить, а что - нет, и что его терпеливость, которая, кстати говоря, была тут же оплачена уступками с английской стороны, в конце концов себя оправдывает, да так оно наверняка и произошло бы, если бы не война. И потому он маневрировал, стараясь укрепить пролетарский фронт, надеясь со временем вдохнуть в него новые жизненные

силы, проявляя при этом такие выдающиеся способности идти на компромисс, что, обладай ими германская дипломатия, первой мировой войны, возможно, удалось бы избежать.

Некоторых результатов все же удалось достичь. Довольно неконкретные прения, шедшие все первое десятилетие, сосредоточились наконец на внешней политике и начали было уже вырисовываться контуры общей позиции. Это был бег наперегонки со

временем. Время опередить не удалось. Сегодня всякий летописец, обращающийся к той эпохе, чувствует себя вправе осудить Второй Интернационал за неудачу международного социалистического движения накануне военной катастрофы. Однако такая оценка представляется весьма поверхностной. Внеочередной съезд в Базеле (1912 г.) с его призывом к рабочим всех стран напрячь все силы, чтобы сохранить мир, - это было, несомненно, все, что можно было сделать в тех условиях. Призыв ко всеобщей забастовке, обращенный к международному пролетариату, который существовал только в воображении горстки интеллигентов, был бы не более, а скорее всего менее действенной мерой. Достичь возможного - это успех, а не поражение, каким бы несоизмеримым обстоятельствам этот успех в конце концов не оказался. Если уж говорить о поражении, то его потерпел не Второй Интернационал,

а национальные социалистические партии на внутренних фронтах своих стран.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать седьмая. От первой мировой войны до второй

Будучи членами единой международной организации, социалистические партии сделали все, что было в их силах, чтобы избежать войны. Когда же, несмотря на их усилия, она все же началась, они бросились защищать свои национальные интересы с поистине удивительной готовностью. Германские марксисты колебались даже меньше английских лейбористов [Английские лейбористы были на самом деле единственной партией, которая в 1914 г. всерьез пыталась отстоять мир, хотя позже и она вступила в военную коалицию.]. Конечно, нужно иметь в виду, что все участвующие в войне страны были твердо убеждены, что они ведут чисто оборонительную войну - ведь любая война в глазах участвующих в ней наций является оборонительной или по крайней мере "превентивной" [Именно поэтому попытка держав-победительниц вынести моральный вердикт войне посредством включения соответствующей статьи в продиктованный ими мирный договор была не только несправедливой, но и бессмысленной.]. И все же, если мы вспомним о том, что социалистические партии обладали несомненным конституционным правом голосовать против военных бюджетов и что общие принципы буржуазно-демократической морали никого не принуждают идентифицировать себя с национальной политикой, - войну во всех воюющих странах осуждали даже далекие от социалистического антимилитаризма люди - мы сталкиваемся здесь с проблемой, которую невозможно решить сомнительными ссылками на Маркса или на прежние высказывания Бебеля и фон Фольмара о том, что в случае нападения неприятеля они встанут на защиту своей страны. Нетрудно вспомнить, что на самом деле говорит учение Маркса по этому вопросу. К тому же под защитой страны подразумевается лишь выполнение своего воинского долга; это вовсе не предполагает, что нужно голосовать вместе с правительством за вступления в священные союзы [Отказ от поддержки правительства вовсе не обязательно нанес бы ущерб национальным интересам. Во всяком случае, отставка лорда Морли (Морли Джон, виконт (1838-1923) - английский государственный деятель и литератор) не причинила Англии никакого урона.]. Гед и Земба во Франции и Вандервельде (Vandervelde, Эмиль, 1866-1938 - бельгийский социалист, реформист, руководитель Бельгийской рабочей партии, председатель Международного бюро Второго Интернационала) в Бельгии, вошедшие в состав военных министерств, а также немецкие социалисты, которые голосовали за военные бюджеты, совершили, таким образом, нечто большее, чем требовала от них простая лояльность к своей стране, как ее тогда понимали [Сегодня многие из нас отнеслись бы к этому иначе. Однако это просто говорит о том, насколько далеко мы отошли от старых канонов либеральной демократии. Возведение национального единства в ранг морального долга есть один из важнейших принципов фашизма.]. Загадку эту можно решить лишь единственным способом. Независимо от того, верили большинство социалистов-политиков в марксистский интернационализм или нет, - возможно, к этому времени вера в силу интернационализма уже разделила судьбу другой, близкой ей веры - веры во всепобеждающую революцию - они не могли не понимать, что любая попытка сохранить верность священному писанию будет стоить им потери последователей. Вначале массы взглянули бы на них удивленно, а затем отреклись бы от всякого с ними союза, фактически опровергая положение Марксова учения о том, что у пролетариата нет родины и что единственная война, которая его интересует, - это война классов. В этом смысле и с поправкой на то, что, если бы не война, процесс эволюции в буржуазных рамках длился бы дольше и все могло быть по-другому, Мы можем говорить о том, что в августе 1914 г. рухнул один из важнейших столпов Марксова учения [Определенную роль в этом сыграли также успехи несоциалистических реформ.]. Это почувствовали все, даже в консервативном лагере: например, немецкие консерваторы вдруг ни с того ни с сего начали обращаться с социалистической партией с исключительной учтивостью. Ощущалось это и в той части Социалистического лагеря, которая еще сохраняла верность старым идеалам. Даже в Англии Макдональд [Макдональд (MacDonald) Джеймс Рамсей, 1866-1937, один из основателей и лидеров Лейбористской партии Великобритании, в 1924 г. - премьер-министр. - Прим. ред.] потерял свой пост руководителя Лейбористской

партии, а затем и место в парламенте из-за того, что не мог согласиться со вступлением Англии в военную коалицию. В Германии Каутский и Гаазе [Гаазе (Haase) Гуго, 1863-1919, один из председателей Соц.-дем. партии в 1911-1917 гг. - Прим. ред.] оставили большинство и в марте 1916 г. основали Независимую Социал-демократическую партию Германии, хотя большинство активных ее членов в 1919 г. вернулись под прежний кров [Следует отметить, что в ряды Независимой партии становились не только одни несгибаемые марксисты, как Каутский и Гаазе. Например, членами этой партии были Бернштейн и ряд других ревизионистов, которых

трудно заподозрить в том, что они вступили в нес из уважения к марксистскому вероучению. На самом деле удивляться тут нечему. Ортодоксальный марксизм был, разумеется, далеко не единственным поводом для разногласий между партийным большинством и отдельными инакомыслящими социалистами. Упомянутые выше ревизионисты просто разделяли взгляды Рамсея Макдональда.]. Ленин объявил, что Второй Интернационал умер, а дело социализма - предано. Доля правды в этом была. Как показывает опыт большинства марксистских партий, социализм не выдержал проверки на прочность. Оказавшись на перепутье, он не пошел по пути марксизма. Символы веры, лозунги, конечные цели, организации, аппарат и вожди - все это осталось прежним. На следующее утро после *gran rifiuto*

они были те же, что и накануне, но тем явственней была видна подмена смысла их борьбы и призывов. После этого *experimentum crucis* [решающего опыта - лат.] ни социалисты, ни антисоциалисты не могли уже смотреть на эти партии прежними глазами. Но и сами эти партии не могли продолжать угощать публику затасканными репризами. На горе ли, на радость ли, они спустились из своей башни из слоновой кости на грешную землю. Они на деле показали, что судьба собственных стран для них дороже, чем социалистическая цель.

Иное дело те из них, которые как социал-демократические партии Скандинавских стран, никогда и не пытались прятаться в башнях из слоновой кости. Но те критики, которые никогда не воспринимали революционное заигрывание прочих социалистических партий всерьез, не могли не заметить изменений в их поведении. Что же касается немецкой партии, то, пожалуй, правильнее будет сказать, что "социал-предатели", как их тогда называли, просто спустились с заоблачных высей на землю и что национальное бедствие заставило их встать с головы на ноги - а это, и думаю, что многие со мной согласятся, никакое не предательство, а наоборот - большая их заслуга. Но на какую бы точку зрения мы не встали, не может быть ни малейшего сомнения в том, что новое понимание ответственности резко сократило дистанцию, отделявшую социалистов от естественной цели всякой партии - от власти, хотя еще в 1914 г. эта дистанция казалась почти непреодолимой. Этим я вовсе не хочу сказать, что немецкие социалисты действовали

по холодному расчету или что они кривили душой, когда отказывались войти в состав буржуазного правительства. Но совершенно очевидно, что именно благодаря позиции, на которой они стояли в начале войны, к концу войны они, если можно так

выразиться, "неплохо устроились". В отличие от других партий они не скомпрометировали себя поспешным соглашением, но они и не оставили свой народ в минуту опасности.

2. Влияние первой мировой войны на социалистические партии европейских стран  
1. Всякая крупная война, завершающаяся поражением, сотрясает общественную структуру и угрожает положению правящей верхушки; потерю престижа вследствие военного поражения весьма трудно пережить любому режиму. Я не знаю исключений из

этого правила. Однако обратное утверждение не столь очевидно. Успех должен быть быстрым, эффективным и четко ассоциироваться с действиями правящей верхушки - именно такой была, например, победа Германии в 1870 г., иначе экономическое, физическое и моральное истощение может даже в случае победы привести в сущности к тем же последствиям в расстановке классов, групп и партий, которые обычно сопутствуют поражениям.

Это ясно видно на примере первой мировой войны. Со стороны Соединенных Штатов военные действия длились недолго и не успели сколько-нибудь заметно истощить силы этой страны. Тем не менее администрация, ответственная за войну, потерпела сокрушительное поражение на выборах. Да и во всех других странах-победительницах

престиж правящей верхушки и ее контроль над ситуацией в стране отнюдь не увеличились, а, наоборот, уменьшились. Для германской и английской социалистических партий это означало приход к власти или, во всяком случае, вхождение в состав правительства. В Германии, например, на партию был возложен контроль за всеми центральными государственными органами, и хотя, чтобы спасти честь доктрины, некоторые немецкие социалисты, так же как и некоторые немецкие антисоциалисты, настойчиво называли это революцией, партия сформировала правительство по просьбе властей, причем просьба была достаточно робкой. В Англии за лейбористскую партию, которая в январе 1910 г. сумела набрать лишь немногим более полмиллиона голосов, а в 1918 г. - неполные два с четвертью миллиона [Рост голосов за период с 1910 по 1918 г. объясняется исключительно предоставлением избирательных прав женщинам и упрощением процедуры регистрации избирателей.], было отдано 4 236 733 голоса в 1922 г. и 5 487 620 голосов в 1924

г. (8 362 594 в 1929 г.). Макдональд вновь возглавил партию, и в 1924 г. она стала если и не правящей, то по крайней мере правительственной. Во Франции структура политической сферы не позволила социалистам добиться таких выдающихся достижений, но в общих чертах события развивались по сходному сценарию и здесь: сразу же после войны наступило возрождение синдикализма, однако Всеобщая конфедерация труда (Confederation Generale du Travail), выйдя из состава Синдикалистской всеобщей конфедерации труда (Confederation General du Travail Syndicaliste) и коммунистической Единой Всеобщей конфедерации труда (Confederation General du Travail Unitaire) и приняв в свои ряды всех тех, кого по различным причинам не устраивало членство в названных двух организациях, осудила революционный путь и стала исподволь готовиться к ведущей политической роли.

К тому же социалистические и околосоциалистические партии, которые приняли выпавшую на их долю ответственность, наверняка понимали, что они были почти монопольными обладателями многих качеств, которые требовались для успеха их начинания. С кипевшими негодованием народными массами они умели обращаться так, как никто другой. Как показывает пример Германии, их положение позволяло им даже

гасить революционные вспышки, при необходимости применяя и силу. Во всяком случае, это были именно те люди, которые могли, с одной стороны, назначить обществу правильную дозу социальных реформ, а с другой - заставить массы их принять. Важнее всего было то, что со своих позиций они имели все основания считать, что именно они были призваны залечить раны, нанесенные обществу "империалистической войной", восстановить международные отношения и расчистить всю ту грязь, в которую не по их вине, а по вине буржуазных правительств погрузился мир. При этом они совершали точно такую же ошибку, которую с иных позиций совершали их буржуазные соперники, которые верили в коллективную безопасность, Лигу наций, восстановление золото-валютного стандарта и снятие торговых барьеров. Но в рамках своей ложной посылки социалисты по праву надеялись на успех, особенно в области внешней политики.

2. Достижения двух правительств Макдональда - работа самого Макдональда и Гендерсона [Гендерсон Артур (1863-1933) - один из лидеров лейбористской партии.]

в качестве министра иностранных дел Англии - служат тому убедительным доказательством. Но еще более характерен пример Германии. Во-первых, в этой стране только социал-демократы имели моральное право признать мирный договор и поддержать политику, направленную на выполнение предусмотренных в нем условий. Конечно, они скорбели по поводу национальной катастрофы и того бремени, которое она наложила на страну. Однако при их отношении к военной Славе ни само по себе поражение, ни условия мирного договора не воспринимались ими как невыносимо унижительные. Некоторые из них почти готовы были разделить англо-французскую трактовку войны. Большинство из них мало беспокоили вопросы перевооружения. Пока

остальные немцы смотрели на все происходящее с угрюмым отвращением, социалисты трудились над достижением мирного взаимопонимания со странами-победительницами в

духе, совершенно свободном если не от обиды, то уж, во всяком случае, от страстной ненависти. В отношении того, что другие считали насильственно введенной демократией, они даже достигли полного согласия с западными странами: ликвидировав коммунистические (1918-1919) восстания и добившись благодаря точно

выверенным уступкам доминирующего положения во внутренней политике, социалисты находились в самом демократичном расположении духа. Во-вторых, их власть над массами была достаточно сильной, чтобы придать такой платформе политическую эффективность. В то время огромное большинство населения видело все в том же свете, что и социалисты. Их взгляды на сложившуюся ситуацию и представления о том, как следует поступать, на какое-то время стали официальной точкой зрения, независимо от того, какую политику проводило правительство, стоявшее у власти. Именно социалисты обеспечили политическую поддержку коалициям, которые вели переговоры по поводу плана Дауэса [Репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов под руководством американского банкира Чарлза Дауэса и утвержденный 16

августа 1924 г. на Лондонской конференции держав-победительниц в первой мировой войне. - Прим.ред.] и Локарнского пакта [Локарнские договоры парафированы 16 октября 1925 г. в г. Локарно (Швейцария) после обсуждения на Локарнской конференции (5-16 октября 1925 г.). Основной документ - заключенный Германией, Францией, Бельгией, Великобританией и Италией гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранении

демилитаризации Рейнской зоны. - Прим. ред.]. Без них эти коалиции скорее всего просто не возникли бы, а если бы и возникли, то не заняли бы такую позицию. Штреземан [Штреземан (Stresemann) Густав, 1878-1929, германский рейхсканцлер (август-ноябрь 1923 г.) и министр иностранных дел (с августа 1923 г.). - Прим. ред.] социалистом не был, однако связанная с его именем политика была на самом деле политикой Социал-демократической партии - политикой, за которую в течение первого десятилетия партии достанутся все розы, а в течение второго - все типы. В-третьих, социал-демократы занимали выгодное положение в глазах мирового политического сообщества. Мир мало знал о том, что происходит в Германии. Он знал только две вещи: с одной стороны, что в Германии есть партия, которая не только была готова окончательно признать многие из послевоенных договоренностей,

но и вполне одобряла некоторые из них; партия, которая была врагом того, кого Франция и Англия считали своим врагом; с другой стороны, мир понимал, что во всех иных отношениях германская Социал-демократическая партия угрозы не представляла - любое даже самое консервативное правительство не возражало против

германского социализма так, как оно возражало против русского. В конечном счете именно это и оказалось ошибкой. Ошибка эта во многом была связана с растянутым на долгие годы иностранным участием в лечении военных болячек Германии, поскольку в результате такой политики в соответствующих министерствах Англии и Франции сложилось впечатление, что Германия на неопределенно долгое время останется смиренным просителем, которому для полного счастья будет довольно одним только обещаний, что когда-нибудь ему, возможно, позволят занять равное положение с вышестоящими державами. В краткосрочном аспекте, однако, и особенно во время черных дней рурского вторжения [Оккупация французскими и бельгийскими войсками Рурской области в 1923 г. в ответ на задержки репараций со стороны Германии. - Прим. ред.], такая позиция имела свои преимущества, поскольку социалистическая партия, вернее, те правительства, которые опирались на партийную поддержку, были вхожи в те двери, которые были закрыты для других. В-четвертых, Социал-демократическая партия сохранила старые связи еще со времен Второго Интернационала. Война разрушила многие из этих связей, но далеко не все.

Ведь Второй Интернационал так и не был официально распущен, и многие входившие в него социалисты и социалистические группы - в первую, но далеко не в последнюю очередь социалисты нейтральных стран - сохранили свои интернационалистские убеждения. Секретарь Второго Интернационала К. Хойсманс продолжал выполнять свои

обязанности, а в 1917 г. с подачи скандинавских социалистов даже сделал попытку созвать съезд, которая провалилась только потому, что союзные державы, к тому времени решившие уже нанести противнику сокрушительный удар, отказались выдавать

паспорта [А до этого были еще две конференции в Швейцарии - одна в Циммервальде (1915), другая - в Кинтале (1916), причем их ход, как мне представляется, пошел

в разрез с первоначальными намерениями, и объяснялось это тем, что состав их участников не отражал расстановки сил в официальных партиях. (Ниже я еще раз коснусь этого вопроса.)]. Таким образом, естественно предположить, что многие социалисты подумывали о возрождении Интернационала, как о чем-то само собой разумеющемся.

3. Возродить Второй Интернационал удалось, но не обошлось без трудностей. Первые

конференции, которые проводились с этой целью в 1919 и 1920 гг., нельзя назвать особенно успешными. Возникший тем временем Коммунистический (Третий) Интернационал (см. ниже) снижал определенную популярность, которая оказалась серьезным препятствием на пути к единству лейбористских и социалистических партий всех стран. К тому же ряд важных группировок, которые не имели желания связывать свою судьбу с коммунистами, предпочитали иметь дело с чем-то более современным, чем Второй Интернационал. Выход из этой ситуации был найден с помощью хитрого тактического приема. По инициативе австрийских социалистов и при

поддержке германской Независимой партии и английской Независимой лейбористской партии была создана новая организация - Международный союз социалистических рабочих партий (так называемый Венский интернационал), который ставил своей целью радикализировать группы, входящие в возрожденный Второй Интернационал, обуздать группы, которые слишком сильно тяготели к коммунизму, и поставить и те и другое на единую платформу, разумным образом сформулировав общие цели [Некоторые из этих высказываний сделали бы честь любому дипломату XVIII в. Наибольшим камнем преткновения была классовая борьба. Партии стран континентальной Европы не могли обойтись без нее, в то время как английская не могла ее выносить. После достижения соглашения на гамбургском конгрессе термины *Klassenkampf* и *lutte des classes* были оставлены в немецком и французских текстах, в то время как в английском тексте был употреблен более расплывчатый оборот.].

Смысл всей этой затеи очень точно передан кличкой, которую тут же придумали коммунисты - "Второй с половиной Интернационал", однако в этом своем качестве он

вполне отвечал запросам времени. На Гамбургском съезде (1923 г.) оба Интернационала - Второй и Венский - объединились, образовав Социалистический рабочий интернационал, который заклеил мирный договор как "империалистический"

и призвал к созданию единого фронта против международной реакции (во всяком случае, звучало это неплохо), за восьмичасовой рабочий день и международное социальное законодательство. Требования сократить репарации Германии до определенных и разумных пределов, аннулировать межсоюзнические долги и эвакуировать союзнические силы с немецкой территории были выдвинуты еще годом раньше (Франкфуртские резолюции, 1922 г.). В свете последующих событий нельзя не

оценить, насколько большим достижением это было.

. Коммунизм и русский элемент

1. Тем временем происходил быстрый рост коммунистических партий. В этом не было ничего особенного - само по себе это явление было вполне закономерным. Не было оно и опасным. Всякая партия, испытывая на себе отрезвляющее влияние ответственности, неизбежно должна рано или поздно подвинуться и освободить место

для развития групп, стоящих от нее слева (или справа), и место это вряд ли будет

долго пустовать. Если дезертирство удастся сдерживать в разумных пределах, иметь

такого соседа под боком не очень обременительно - в ряде случаев это даже лучше,

чем пытаться удержать в своем строю непокорных. У социалистических партий всегда

были трудности с ультрарадикальными крыльями [Раскол в Англии и Германии по вопросу о войне - это, конечно, особый случай, который имел лишь временное значение. Даже "Союзу Спартака", основанному в Германии Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, хотя в своей оппозиции войне он зашел куда дальше, чем одобряла Независимая партия, потребовалось известное время, чтобы выработать в своих рядах четкое негативное отношение, но и тогда наибольшее, на что он

отважился (по крайней мере официально), - это настаивать на букве старой Эрфуртской программы. Насколько мне известно, ни Либкнехт, ни г-жа Люксембург никогда до конца не порывали своих связей с партией. Последняя, кстати говоря, была одним из самых непреклонных критиков большевистской политики.]. То, что подобные "левацкие" группировки в смутные дни, которые наступили после окончания

войны, сумели встать на ноги и не упустили возможности получить статус самостоятельных партий, вовсе не удивительно, как и то, что они прибегли к классической терминологии и назвали себя "коммунистами", а их уклон в сторону интернационализма в то время был куда сильнее, чем у официальных партий. Следует иметь в виду, что русский элемент здесь совершенно ни при чем. Даже если

бы в России по сей день правили цари, в мире все равно были бы и коммунистические партии, и Коммунистический Интернационал. Но поскольку русский элемент превратился в фактор, определивший будущие пути развития как социализма,

так и коммунизма во всем мире, - скажем больше, определивший социальную и политическую историю современности, - уместно будет напомнить, как он развивался, дать оценку его природе и роли. С этой целью мы разделим историческое развитие в России на три этапа.

2. Сначала - иначе говоря, до того, как большевики захватили власть в 1917 г., -

в развитии коммунистических групп ничего специфически русского не было, за тем исключением, что самой сильной личностью в этом движении оказался русский, в манере мыслить которого угадывалась примесь монгольского деспотизма. Когда с началом войны Второй Интернационал фактически прервал свою работу и Ленин объявил о его смерти и о том, что настал час более решительных действий, те, кто

разделял его точку зрения, естественно, решили объединиться. Такая возможность представилась на двух съездах, проходивших в Швейцарии, - Циммервальдском (1915)

и Кинтальском (1916). Поскольку практически все, кто встал на защиту национальных интересов своих стран, на эти съезды не явились, боевитым сторонникам Ленина не составило особого труда более или менее сплотить всех присутствовавших вокруг ленинской программы перерастания империалистической войны в мировую революцию. В этом было нечто большее, чем просто попытка вернуться к вере в первоизданный марксизм и его мессианские обещания. Здесь сказалось (по крайней мере у некоторых) отчетливое понимание истины, по отношению к которой буржуазия всех стран проявляла полную слепоту, а именно того, что ткань буржуазного общества не сможет выдержать напряжения и ударов затяжной "тотальной" войны и что на крайнем случае в некоторых странах ее распад неминуем. Во всех остальных отношениях лидерство Ленина признано не было. Большинство присутствовавших были заинтересованы в том, чтобы убедить, припугнуть и использовать социалистические партии в своих интересах, а вовсе не в том, чтобы их разрушить. К тому же - и с этим Ленин был согласен - международная революция должна быть подготовлена революционными действиями отдельных национальных отрядов пролетариата, в первую очередь в "передовых" странах.

Второй этап я датирую с 1917 по 1927 г., иначе говоря, с момента прихода большевиков к власти в России и до вывода Троцкого из состава Центрального комитета партии большевиков (октябрь 1927 г.). Десятилетие это было свидетелем возникновения коммунистических партий и Коммунистического (Третьего) Интернационала. Оно было также свидетелем решительного (до поры до времени) разрыва с социалистическими и рабочими партиями, который в Германии принял необратимый характер вследствие жестоких репрессивных мер, принятых стоявшими у власти социал-демократами зимой 1918/19 г. Наконец, в это десятилетие начала коваться русская цепь - мировое коммунистическое движение.

Но первые десять лет эта цепь еще не саднила и не калечила. Не следует забывать о том, что захват большевиками власти в самой отсталой из великих держав произошел по чистой случайности [За эту случайность большевикам следует, по-видимому, благодарить германский генштаб, по приказу которого Ленин был выдворен в Россию. Если кому-то покажется, что я преувеличиваю его личный вклад в события 1917 г., можно сослаться на множество других подобных случайностей, показывающих, насколько причудливо шутила история на этом своем отрезке.]. Да

Ленин и сам отчасти это понимал. Он много раз повторял, что окончательная победа возможна лишь в результате действий революционных сил в более передовых странах и что именно от этих действий все будет зависеть. Разумеется, как и прежде, он продолжал диктовать свою волю коммунистам и настоял на строго централизованной организации Коммунистического Интернационала, Бюро которого считало в свою очередь возможным предписывать отдельным партиям каждый их шаг, однако делал он это в качестве вождя коммунистов, а не в качестве российского деспота. В этом-то

все дело. Штаб-квартира Коммунистического Интернационала находилась в Москве, лидер его был русским, однако руководство его действиями осуществлялось в духе подлинного интернационализма, без каких-либо ссылок на национальные интересы России и строилось на принципах, с которыми коммунисты всех стран по существу были согласны. Хотя связи личного характера между Бюро Интернационала и советским Политбюро [Во времена Ленина все руководство страной осуществлялось Политбюро, руководимым самим Лениным, реввоенсоветом, которым управлял Троцкий, и Чека, во главе которой тогда стоял Дзержинский. Ни один из этих трех органов даже не упоминался в Конституции Советского государства, согласно которой вся верховная власть в стране принадлежала "Совету народных комиссаров". Возможно, их можно условно считать органами партии. Но ведь партия и была государством.] были в то время значительно теснее, чем это будет позже, на их работе это никак или почти никак не сказывалось, скорее можно сказать, что оба эти органа были совершенно независимы друг от друга. Таким образом, и сам Интернационал, и входившие в него партии вели себя в этой ситуации точно так же, как они вели бы себя, если бы никакой связи между ними и Россией не было.

Итак, на протяжении этого первого десятилетия роль связи коммунистического движения с Россией сводилась лишь к следующему. Во-первых, следует принять во внимание то весомое обстоятельство, что какой бы незначительной по количеству и качеству членов ни была коммунистическая партия той или иной страны, и как бы мало ни было у нее оснований претендовать на то, чтобы ее воспринимали всерьез, она могла купаться в лучах славы другой партии, которая победила империю, и черпать в такой компании моральную поддержку. Во-вторых, несмотря на большевистские реалии - террор, нищету, косвенное признание своего поражения, выразившееся в принятии новой экономической политики после Кронштадтского мятежа, - отныне можно было ссылаться на социалистическую систему, которая "работает". В искусстве пропаганды несуществующих достижений большевики показали

себя большими мастерами, широко используя особенность общественного мнения Англии и Соединенных Штатов, которое готово заглотить все что угодно, лишь бы это преподносилось в обертке из привычных лозунгов. Подобная реклама социализма также, конечно, шла на пользу другим коммунистическим партиям. В-третьих, поскольку коммунисты всех стран (в том числе и Ленин) верили в близость мировой революции, русская армия значила для них столь же много, как армия царя Николая I для реакционных сил во второй четверти XIX в. [Необходимо заметить, что коммунисты отказались от лозунгов антимилитаризма и военного невмешательства так

же легко, как и от демократии.] В 1919 г. подобные надежды вовсе не были такими уж беспочвенными и невыполнимыми, какими они нам представляются сегодня. Действительно, реально коммунистические республики установились только в Баварии

и Венгрии [Очень показателен в этом отношении пример Венгрии (правительство Бела

Куна). Паралич, охвативший правительство привилегированных классов, и безразличие крестьянства дали возможность горстке интеллигентов захватить власть, не встретив даже серьезного сопротивления. Это была странная компания - некоторые из ее членов проявляли несомненные признаки патологии (это, кстати, верно и для группы, пришедшей к власти в Баварии), - совершенно неадекватная ни этой, ни любой другой серьезной задаче. Однако эти люди обладали безграничной верой в себя и в правоту своего дела, были готовы применить террористические методы, и этого оказалось вполне достаточно. Им было позволено выйти на сцену, и

они могли бы играть свой спектакль неопределенно долго, если бы союзники не разрешили (или не приказали) румынской армии их прощать.]. Но социальные структуры Германии, Австрии и Италии еле держались и грозили рухнуть в любой

момент, и трудно сказать, что ждало бы эти страны, а возможно и их западных соседей, если бы военная машина Троцкого находилась в тот момент в работоспособном состоянии и не была бы занята на фронтах гражданской и польской войн [Вряд ли поэтому есть основания утверждать, что, оказывая половинчатую поддержку различным попыткам совершить контрреволюцию в России, в частности, армиям Деникина и Врангеля, западные державы действовали глупо и безрезультатно.

То ли благодаря своей проницательности, то ли благодаря счастливому случаю, но они добились именно того, чего только можно было в той ситуации желать: в критический момент они нейтрализовали советские силы и тем самым остановили наступление большевизма. Меньший результат поставил бы под удар их собственные социальные системы, больший - потребовал бы с их стороны весьма длительного, дорогостоящего и, вполне вероятно, бесполезного напряжения сил, а главные цели остались бы невыполненными.]. Не следует забывать, что Коммунистический Интернационал возник в атмосфере надвигающейся битвы не на жизнь, а на смерть. Многие из того, что впоследствии приобрело иной смысл, - например, централизованное руководство, обладающее неограниченной властью над отдельными партиями и лишаящее их всякой свободы действий, - могло поэтому казаться в то время вполне оправданным.

Отсчет третьего этапа я начинаю с выдворения из страны Троцкого (1927), поскольку это - знаменательная веха на пути восхождения Сталина к неограниченной

власти. После этого, по-видимому, все важные решения по вопросам политики принимались им единолично, хотя некоторое сопротивление со стороны членов Политбюро и других продолжалось еще вплоть до "суда" над Каменевым и Зиновьевым (1936) или даже до воцарения террора, связанного с именем Ежова (1937). Для нас здесь важно то, что с этих пор всякое решение было решением российского государственного деятеля, действовавшего от имени России и в ее государственных интересах в том виде, в каком эти интересы представлялись ему с позиций откровенного деспотизма. А это в свою очередь, если я правильно понимаю, определяло его отношение и к Коминтерну (Коммунистическому Интернационалу) и к коммунистическим партиям других стран. Они превратились в орудия российской политики, заняв свое место в обширном арсенале других подобных орудий, и ценность их отныне определялась исключительно из практических соображений и применительно к конкретному моменту. Вплоть до нынешней войны, которая, возможно, ее оживит, мировая революция оставалась, скорее, некой абстрактной возможностью, так сказать "замороженным активом". Отношение к оставшимся ветеранам, равно как и к неопитам идеи интернационального коммунизма, было, по всей вероятности, презрительным. Впрочем, в чем-то они еще могли быть полезными.

Они могли петь осанну российскому режиму, служить булавками для мелких уколов враждебным правительствам. Они укрепляли позиции России в ее торге с другими странами. Поэтому имело смысл затратить определенное количество сил и средств на

то, чтобы удержать их в своем подчинении, следить за каждым их шагом с помощью агентов тайной полиции, укомплектовать Бюро Коминтерна абсолютно послушными рабами, которые, дрожа и трепеща, готовы были выполнить любое приказание.

3. Во всем этом (в том числе и в сопутствующей лжи) Сталин следовал сложившейся практике тех времен. Большинство национальных правительств действовали точно так

же, и изображать какое-то особое негодование в связи с его деятельностью было бы

чистым лицемерием. Весьма показательны в этом отношении действия государств, поддерживавших то или иное религиозное учение. До тех пор, пока соответствующее вероучение было достаточно важным для оправдания их действий, эти государства нередко прибегали к услугам религиозных общин других стран, используя их в своих

интересах. Но, как убедительно доказывает весь ход истории с 1793 по 1815 г., такая практика носит гораздо более общий характер, чем можно было бы заключить на основании подобных примеров. Не менее стандартна и реакция - фразеологическая

и иная - тех государств, которых она затрагивала: политики всех типов и категорий с радостью использовали любую возможность назвать оппонента предателем.

Но для коммунистических партий вне России речь шла о серьезнейшем вопросе - о подчинении приказам, исходившим от *caput mortuum* в руках современного царя. Их холопская покорность поднимает два вопроса, один - о причинах такого их поведения, другой - о его возможном влиянии на будущий характер и судьбу революционного социализма.

Ответ на первый вопрос, по-видимому, не так сложен, как это может показаться. Для этого достаточно просто встать на место абстрактного коммуниста и, учитывая особенности его человеческого склада, взглянуть на ситуацию практически. Он не стал бы возражать против сталинского режима исходя из общечеловеческой морали. Не исключено, что он даже упивался резней - некоторым дегенеративным неврастеникам это нравится, а другие, которые подались в коммунисты из-за жизненных неудач и обид, испытывают удовлетворение при виде страданий определенной категории жертв. К тому же, с какой стати ему возмущаться жестокостями, которые не мешают даже махровым буржуа фетишизировать этот режим? С какой стати ему на этом основании осуждать большевизм, когда настоятель Кентерберийского собора этого не делает? [Чувства, выраженные упомянутым духовным лицом в его книге, невозможно оправдать на тех основаниях, что, дескать, принципы "русского эксперимента" - это одно, а то, как он проводился, -

это другое. Самое ужасное в сталинском режиме заключается не в том, что он сделал с миллионами жертв, а в том, что он должен был это сделать, если хотел выжить сам. Иными словами, принципы и практика в данном случае неразделимы.] И правда, с какой стати?

Ссылки на термидорианский переворот также не давали коммунистам никаких оснований для протестов. Впервые этот аргумент был использован противниками новой экономической политики, но затем его использовал Троцкий, чтобы заклеить

сталинский режим как "реакционный" в том смысле, в каком "реакционными" были действия заговорщиков, свергнувших в 1794 г. Робеспьера. Но эти упреки совершенно не относились к делу. В конце концов именно Сталин провел коллективизацию, ликвидировал кулаков, свернул НЭП. Отлично разбираясь в вопросах тактики, он вначале подавил оппозицию, а потом по существу выполнил ее программу. И наконец, то, каким образом власть защищает свои завоевания у себя дома, не так

уж важно для коммуниста из другой страны, лишь бы по отношению к нему эта власть

вела честную игру. А если она и не ведет с ним честную игру, что он может сделать? Цепь постепенно затягивалась и начинала саднить. Но она же и поддерживала. Социалисты бы его к себе не взяли. Нормальные здравомыслящие рабочие отворачивались от него с тяжелым вздохом. Он сделался бы изгоем как Троцкий. Нет, ему никак нельзя было освободиться от этих цепей [Это, несомненно,

особенно справедливо по отношению к коммунистической группе или группам Соединенных Штатов. Условия американской политической сферы не слишком благоприятствуют росту официальной коммунистической партии - несколько кружков местного масштаба, объединяющих истинных ценителей, на всю страну - это явно недостаточно для массового привлечения новобранцев. Но важность коммунистического фактора нельзя измерять численностью официальных членов партии. Интеллигентам, которые по убеждениям своим являются правоверными коммунистами или сочувствующими, нет никакого интереса в нес вступать. Наоборот,

у них есть все основания держаться от нее подальше, поскольку они смогут гораздо

лучше ей служить, если, не будучи членами, войдут в состав какого-нибудь комитета, влияющего на формирование общественного мнения, или получат какой-нибудь государственный пост и т.д., поскольку в этом случае они смогут совершенно искренне отрицать свою принадлежность к коммунистам в партийном смысле. Такие теньевые группы неспособны на слаженные действия без указки из Москвы.], но, смиряясь со своим рабством, он, должно быть, надеялся - возможно, надеется и до сих пор, - что когда-нибудь обстоятельства сложатся так, что он сможет потянуть эту цепь на себя... Например, после нынешней мировой войны... Последнее обстоятельство приближает нас к ответу и на второй вопрос. Конечно, мы

не можем исключать возможность, что русский деспотизм воцарится на руинах

европейской цивилизации или даже перешагнет их пределы и что в этом случае коммунистические партии всех стран превратятся в русские гарнизоны. Но возможность эта далеко не единственная. Так, попытавшись выйти за свои государственные границы, русский режим может просто рухнуть или приобрести иные черты, более подходящие для национальной почвы других стран. В предельном случае

русский фактор вообще ничего не изменит в будущем характере революционного социализма. Делать ставку на такой исход, конечно, рискованно. Но это не так глупо, как надеяться на то, что наша цивилизация выйдет из нынешнего пожара невредимой, - если только этот пожар не угаснет скорее, чем мы имеем основания полагать.

#### 4. Управляемый капитализм?

1. Итак, до сих пор нам не удалось обнаружить причины, которые могли бы помешать полному успеху осуществляемых социалистическими партиями после 1918 г. попыток взять на себя политическую ответственность. Еще раз повторю: в некоторых

странах, например в Швеции, социалисты просто продолжали укреплять ранее приобретенную ими власть; в других - власть перешла к ним естественным путем, ее

не пришлось захватывать с помощью революционных действий; и во всех странах социалисты, казалось, подходили для решения великих проблем эпохи лучше любой другой партии. Как я уже говорил, они практически монополизировали все основные условия успеха. К тому же, несмотря на отсутствие у них предыдущего опыта государственного управления, они имели богатейший и весьма полезный опыт по организации, ведению переговоров и управлению. Необходимо сразу же отметить, что

они практически не совершили откровенных глупостей. Наконец, ни неизбежное появление новых партий слева от социалистов, ни связь этих партий с Москвой не представляли для них такой серьезной проблемы, как это пытались представить их оппоненты.

Но несмотря на все это, положение социалистов везде было весьма непрочным. Для истинных марксистов задача эта должна была казаться неразрешимой. Дело в том, что за всеми тактическими преимуществами скрывалась одна фундаментальная трудность, устранить которую социалисты были не в силах. Война и вызванные ею сдвиги в политической структуре открыли социалистам министерские кабинеты, однако скрытый под лохмотьями старого платья социальный организм и, в частности,

экономический процесс оставались теми же, что и прежде. Иначе говоря, социалисты

должны были править в капиталистическом по своей сути мире.

Маркс говорил о захвате политической власти как о необходимой предпосылке уничтожения частной собственности, которое должно начаться немедленно. Здесь, однако, подразумевалось, как, впрочем, и во всех доводах Маркса, что возможность

подобного захвата возникнет тогда, когда капитализм полностью себя исчерпает или, как мы уже говорили, когда для этого созреют объективные и субъективные условия. Крушение, которое он имел в виду, было крушением экономического двигателя капитализма, вызванным внутренними причинами [Этим отчасти объясняется

популярность в Соединенных Штатах различных теорий, ставящих своей целью показать, что капитализм действительно разрушается по внутренним причинам. См. гл. X.]. Политическое крушение буржуазного мира должно было, согласно его теории, стать лишь отдельным эпизодом в этом процессе. Но вот политический крах или что-то очень на него похожее уже произошел и политическая возможность появилась, в то время как в экономическом процессе никаких признаков созревания не наблюдалось. Надстройка в своем развитии опередила двигающий ее вперед механизм. Ситуация, прямо скажем, была в высшей степени немарксистской. Ученый в глуши своего кабинета может позволить себе поразмышлять о том, что могло бы быть, если бы социалистические партии, сознавая истинное положение вещей, отказались бы воспользоваться троянским конем государственной службы и остались бы в оппозиции, предоставив буржуазии самой разбирать руины, оставленные войной и послевоенным миром. Возможно, это было бы лучше и для них самих, и для дела социализма, и для мира в целом - как знать? Но у тех, кто к тому моменту уже научился отождествлять себя со своей страной и становиться на

точку зрения государственных интересов, никакого выбора уже не было. Они стояли перед лицом проблемы, которая была неразрешима в принципе. Доставшаяся им социальная и экономическая система могла двигаться только по капиталистическим рельсам. Социалисты могли ее контролировать, регулировать в интересах труда, сдавливать ее до такой степени, что она начинала терять свою эффективность, но ничего специфически социалистического они сделать не могли. Если они брались управлять этой системой, они должны были делать это в соответствии с ее собственной логикой. Им пришлось "управлять капитализмом". И они стали им управлять. Принимаемые меры они старательно облачали в убранство из

социалистической фразеологии, через увеличительное стекло рассматривали и, надо сказать, не без некоторого успеха любые различия между своей политикой и той буржуазной альтернативой в каждом конкретном случае. Однако по существу они были

вынуждены поступать точно так же, как поступали бы либералы или консерваторы, окажись они на их месте. Но, хотя путь этот был единственно возможным [Я не собираюсь обсуждать другую возможность, а именно, что могло бы быть, если бы социалисты попытались совершить фундаментальную перестройку всего общества по русскому образцу, поскольку мне представляется совершенно очевидным, что любая подобная попытка очень быстро завершилась бы хаосом и контрреволюцией.], для социалистических партий он был весьма и весьма опасным.

Нельзя сказать, что он был совершенно безнадежным или что его никак нельзя было обосновать с позиций социалистической веры. В начале 20-х годов европейские социалисты вполне могли рассчитывать на то, что, действуя осторожно, они сумеют при известной доле везения утвердиться в центре политической власти или где-то рядом, чтобы иметь возможность бороться с "реакцией" и поддерживать пролетариат до тех пор, пока не представится возможность социализировать общество без всякого насильственного переворота; они дежурили бы у постели умирающего буржуазного общества, внимательно следя за тем, чтобы процесс умирания шел как надо и чтобы больной не пошел вдруг на поправку. И если бы не присутствие других

факторов, которые не укладываются в рамки социалистических или пролетарских представлений об обществе, эта надежда вполне могла бы осуществиться. Обоснование этой политики с позиций "Священной доктрины" вполне могло строиться на выдвинутом, выше предположении, а именно на том, что сложилась новая ситуация

и у Маркса на этот счет никаких рекомендаций нет. Разве он мог предугадать, что загнанная в угол буржуазия будет искать защиты у социалистов? Можно было выдвинуть и такой аргумент, что в сложившейся ситуации даже "управление капитализмом" являлось крупным шагом вперед. Ведь речь шла не о том, чтобы управлять капитализмом в интересах капитализма, а о том, чтобы честно трудиться на ниве социальных реформ и строить государство, главной задачей которого было бы служение интересам рабочих. Во всяком случае, ничего другого просто не оставалось, если идти по демократическому пути, а не идти по нему было нельзя, поскольку незрелость ситуации выражалась прежде всего в том, что никаких надежд на то, что социалистическую альтернативу поддержат большинство избирателей, не было. Не удивительно, что в этих условиях социалистические партии, решившиеся взять на себя управление государством, громко заявляли о своей преданности демократии.

Так что жажде социалистов добраться до власти при желании нетрудно было найти достойное теоретическое оправдание и доказать ее полное соответствие пролетарским интересам. Читатель может легко себе представить, какое впечатление

должна была произвести такая счастливая гармония на радикальных критиков. Но поскольку последующие события побудили очень многих говорить о провале этой политики и читать нотации лидерам тех времен о том, как на самом деле им следовало поступить, я хотел бы обратить внимание именно на разумное начало в их

взглядах, а также на непреодолимую силу обстоятельств, в которых им приходилось действовать. Если они и потерпели неудачу, то причины ее следует искать не в глупости или предательстве, а совершенно в другом. Чтобы убедиться в этом, достаточно даже беглого взгляда на опыт Англии и Германии.

2. Как только оргия национальных чувств, сопровождавшая окончание войны, утихла,

в Англии возникла подлинно революционная ситуация, выразившаяся в волне политических забастовок. Ответственных социалистов и ответственных лейбористов эти события - а также угроза того, что они ввергнут страну в пучину реакции - настолько сблизили, что они согласились действовать сообща по крайней мере в вопросах парламентского маневрирования. Львиная доля выгод от такого объединения

досталась лейбористам, а среди лейбористов - бюрократии нескольких крупных профсоюзов, поэтому почти сразу возникла оппозиция из недовольной интеллигенции.

Представители оппозиции осуждали лейбористский характер альянса и заявляли, что не видят в нем ничего социалистического. Идеологический оппортунизм лейбористов дает некоторые основания для такой точки зрения, однако, поскольку нас будут интересовать в первую очередь факты, а не лозунга, мы вполне можем уподобить все

политические силы лейбористов, поскольку они приняли руководство Макдональда, Социал-демократической партии Германии.

С честью выйдя из революционной ситуации, партия продолжала укреплять свои позиции, пока наконец Макдональд не возглавил в 1924 г. кабинет министров. Он и его команда настолько хорошо смотрелись в этом качестве, что даже недовольные интеллигенты на время приутихли. Это правительство сумело сказать новое слово в вопросах внешней и колониальной политики - особенно в отношениях с Россией. В вопросах внутренней политики сделать это было труднее, в основном потому, что фискальный радикализм уже был доведен до крайнего предела, какой только был возможен в тех обстоятельствах, консервативными правительствами, зависевшими от голосов рабочих избирателей. Но даже если в вопросах законодательства рабочее правительство не сумело существенно продвинуться по сравнению со своими предшественниками, оно все же доказало, что может управлять государственными делами. Блестящая работа Сноудена [Сноуден (Snowden) Филипп, 1864-1937 - министр

финансов Великобритании в первом и втором лейбористских правительствах. - Прим. ред.] в качестве министра финансов убедительно показала стране и всему миру, что

люди труда тоже могут править. А это само по себе было большой заслугой перед делом социализма [Кроме того, если говорить о партийной тактике, это попортило гораздо больше крови консерваторам, чем любой упрямый радикализм.]

Разумеется, в немалой степени этому успеху способствовало - а равно как и исключало успех любой другой политики - то, что лейбористское правительство имело меньшинство в парламенте и потому вынуждено было полагаться не только на сотрудничество с либералами, с которыми у них было много общего, например общие взгляды на вопросы свободы торговли, но и на терпение консерваторов. Лейбористы находились в ситуации, очень близкой к той, в которой находились консерваторы во

время своих недолгих пребывания у власти в 1850-х и 1860-х годах. Им было бы непросто проводить ответственную политику, даже если бы у них было большинство. Но, как мы уже говорили, самый факт, что они его не имели, даже марксистскому трибуналу должен был бы доказать, что для более решительных действий нора еще не

настала, во всяком случае, не настала пора для проведения их демократическим путем.

Рядовые члены партии, однако, всего этого не понимали. Тем более массы не понимали того, что они обязаны Лейбористской партии не только тем, что она сама для них делает, но и тем, что для них делает ее консервативный соперник, стараясь привлечь на свою сторону рабочие голоса. Массам не хватало эффективных планов реконструкции и обещаний скорых благ, и они даже сами не понимали, насколько они были несправедливы, когда наивно вопрошали: "А что же социалисты не сделают что-нибудь для нас, раз уж они у власти?" Интеллигенты, которые не испытывали особого восторга от того, что их оттеснили на обочину, естественно, не могли не воспользоваться возможностью, которую предоставляли подобные настроения, и принялись поносить пагубное влияние лейбористов на истинных социалистов и расписывать текущие трудности, да так, что они превращались в ужасающую несправедливость, порожденную грубейшими промахами тираничной профсоюзной бюрократии. В течение последующих лет находящаяся в оппозиции Независимая рабочая партия становилась под их влиянием все более непокорной, особенно после того, как Макдональд не откликнулся на ее призывы о проведении в

жизнь более радикальной программы [Главными требованиями этой программы было обобществление банков и некоторых ключевых отраслей промышленности, поэтому никак нельзя сказать, что он" была строго выдержана в духе ортодоксального социализма. Однако в сложившихся условиях она преподносилась как подлинно социалистическая, а программу Макдональда объявили "реформистской" - определение, которое в классическом понимании с одинаковым успехом применимо и к

программе Независимой рабочей партии.]. Таким образом, очень многим успех правительства казался его поражением, а ответственное отношение к делу - трусостью.

Впрочем, это было неизбежно. Трудности и опасности, присущие политике социалистических партий, взявших на себя государственную власть в условиях, когда предпосылки социализма еще не вызрели, еще более наглядно показывает опыт второго срока пребывания Макдональда на посту премьер-министра [Здесь уместно будет напомнить читателю историю Всеобщей стачки 1926 г. Хотя обе партии были заинтересованы в том, чтобы попытаться минимизировать ее историческое значение, и официальные объяснения были сформулированы соответствующим образом, за ней скрывалось нечто гораздо большее, чем просто серия тактических ошибок, приведших

к ситуации, когда конгрессу тред-юнионов пришлось "блефовать", а консервативному

правительству - требовать, чтобы он "выложил свои карты на стол" . Достаточно только представить себе, какими могли быть последствия успеха этой забастовки для правительства и для демократии, чтобы понять, что забастовка эта была поистине историческим событием первостепенной важности. Если бы эта мера сработала, английские профсоюзы получили бы абсолютную власть над страной и никакая другая политическая, юридическая или экономическая сила не могла бы продолжать существовать рядом с ними, если бы они сами этого не позволили. Но заняв такое положение в обществе, они бы не смогли остаться тем, чем были прежде. Волей-неволей профсоюзным лидерам пришлось бы употребить возложенную на них абсолютную власть.

Для наших целей здесь достаточно будет выделить два момента. Во-первых, описанная выше ситуация, в частности недовольство, распространившееся в массах, старательно выпестованное многими безответственными элементами, имело непосредственное отношение к причинам забастовки. Во-вторых, забастовка не нанесла авторитету партии того ущерба, который она могла бы нанести. Напротив, ее поражение привело к радикализации масс, ставшей одной из причин успеха партии

в 1929 г.]. Историки научились по достоинству оценивать искусство управления государством, проявленное сэром Робертом Пилем. Уверен, что со временем они научатся по достоинству ценить и государственный гений Макдональда [Аналогия эта

простирается от ряда особенностей политических и экономических ситуаций, в которых приходилось действовать обоим премьер-министрам (хотя у Пилы было то преимущество, что он получил свой пост уже после кризиса 1836-1839 гг.), до некоторых политических тонкостей. В обоих случаях имел место партийный раскол, на который и тот, и другой отважно решились пойти и который мужественно встретили; в обоих случаях лидеров называли "предателями".]. Ему исключительно не повезло в том смысле, что его приход пришелся на самое начало всемирной депрессии, которая к тому же стала непосредственной причиной развала международной политической системы, воплощением которой была Лига Наций.

Деятели меньшего калибра могли бы решить, - кстати говоря, многие именно так и решили, - что наступил удобный момент для фундаментальной перестройки. Это раскололо бы нацию на две половины, а к чему бы привел такой раскол, долго гадать не приходится. Впрочем, широко рекомендовалась также политика, несколько недотягивающая до фундаментальной перестройки, по к ней приближающаяся - политика денежной экспансии в сочетании с не слишком глубокими социальными преобразованиями - например, отдельными мерами по национализации и дополнительными мерами социальной защиты - и меркантилизма в области международных экономических отношений. Но часть мер, предусмотренных этой программой, несомненно, лишь усилила бы депрессию, а другие - в частности, отказ

от золотого стандарта фунта стерлингов и меркантилизм - означали бы настолько резкий отход от национальных традиций и от традиций самой рабочей партии, что

социалистам вряд ли удалось бы эту программу. Принять, не говоря уж о том, чтобы успешно ее выполнить. Чтобы провести ее через парламент без потерь и проволочек,

требовалось добиться согласия большинства, иначе говоря - создать коалицию. Поскольку создать коалицию было невозможно, Макдональд и его команда взялись работать над той системой, которую они получили. В тех условиях это было самое сложное из того, что они могли предпринять. Пока все кричали, что нужно что-то немедленно сделать, пока безответственные лица всех мастей разглагольствовали с трибуны парламента, пока массы недовольно ворчали, дельцы впадали в отчаяние, интеллигенция изощрялась в красноречии, они упорно отвоевывали каждый дюйм своей

территории. Во внутренних делах они следили за порядком в финансовой системе, поддерживали курс фунта и воздерживались от ускорения работы законодательной машины. Во внешней политике они прилагали отчаянные усилия, чтобы Женевская система [Имеется в виду Женевская конференция по разоружению 1932-1935 гг. - Прим. ред.] заработала, чтобы снизилась международная напряженность и опасность новых войн. Когда пришло время и национальные интересы потребовали, чтобы партия

пошла на риск потерять свое руководящее положение, она не раздумывая пошла на этот шаг и помогла становлению правительства национального единства. Грустно сознавать, что во многих важных случаях оказывается, что чем мудрее политика, тем менее популярна она в народе и среди критиков-интеллигентов. Именно о таком случае и идет здесь речь. Радикальный критик, который не заметил связи между политикой Макдональда и относительной мягкостью депрессии в Англии, а также последующего выхода из нее, видел в этой политике лишь слабость, некомпетентность, узколобый традиционализм, а то и измену делу социализма. То, что было, возможно, одним из лучших образцов функционирования исполнительной власти во всей истории демократической политики и ответственного подхода к принятию государственных решений, основанного на правильной оценке экономической

и социальной ситуации, критики расценивали как "позор и мерзость". В лучшем случае, критики сравнивали Макдональда с плохим наездником, поставившим свою лошадь на колени, но больше всего им импонировала гипотеза о том, что правительство Макдональда поддалось на дьявольские нашептывания (а то и хуже) английских банкиров или уступило давлению их американских опекунов. К сожалению, подобные вздорные слухи - это реальный фактор, важность которого нельзя недооценивать при прогнозировании. Он может серьезно повлиять на способность социалистических партий служить делу цивилизации в переходный период, переживаемый нами сегодня. Но если сбросить со счетов этот фактор, а также тот трюизм, что всякая партия, идущая на жертву в интересах нации, в краткосрочном аспекте сама же и проигрывает, нетрудно понять, что в долгосрочном

аспекте благодаря второму сроку пребывания Макдональда на посту премьер-министра

влияние рабочей партии вполне может возрасти. Пояснить это нам вновь поможет аналогия с сэром Робертом Пилем во время его второго пребывания на посту премьер-министра. Консервативное большинство, поддерживавшее Пила, при обсуждении вопроса об аннулировании хлебных законов расколосось на два лагеря. Крыло "пилитов", хотя они были более многочисленны и имели больший политический вес, чем те, кто шел за Макдональдом, вскоре распалось. Консервативная партия серьезно пострадала и уже не смогла взять власть в свои руки - хотя и трижды входила в кабинет - вплоть до блестящей победы Дизраэли [Дизраэли (Disraeli) Бенджамин, граф Биконсфилд (1804-1881) - премьер-министр Великобритании в 1864 и

1874-1880 гг., лидер Консервативной партии, писатель. - Прим. ред.] в 1873 г. Но

после этого и вплоть до победы сэра Кэмпбелла-Бэннермана [Кэмпбелл-Бэннерман (Campbell-Bannermann) Генри (1836-1908) - премьер-министр Великобритании в 1905-1908 гг., лидер Либеральной партии с 1899 г. - Прим. ред.] примерно две трети всего срока пришлось на правление Консервативной партии. Еще важнее было то, что английская аристократия и мелкопоместное дворянство все это время сохраняли свои позиции, причем гораздо лучше, чем в том случае, если бы не было снято проклятие дорогого хлеба.

Кстати говоря, Лейбористская партия быстро оправилась и за годы, последовавшие за ее расколом, укрепила свои позиции в стране. Есть достаточно оснований утверждать, что, если бы история развивалась нормальным путем, т.е. если бы не война, социалисты бы вскоре вновь пришли к власти, имея большую власть и лучшие шансы на успех, и что тогда уж они смогли бы занять более жесткую позицию, чем прежде. Но с не меньшими основаниями можно утверждать и то, что между их политикой и политикой Макдональда имелись только количественные различия, в основном по охвату национализации.

3. Послевоенная история Социал-демократической партии Германии, разумеется, во многих деталях отличается от истории английской Лейбористской партии. Но как только немецкие социалисты, сохранившие членство в Социал-демократической партии, пришли к власти и приняли решение бороться с коммунизмом, они были вынуждены точно так же посвятить себя задаче "управления капитализмом", как и их

английские коллеги. Если согласиться с этими посылами и принять во внимание то обстоятельство, что они не имели большинства ни в федеральном парламенте, ни в прусском ландтаге, ни среди населения и не могли рассчитывать его получить ни в каком обозримом будущем, то все остальное выводится однозначно, следуя законам неумолимой логики. В 1925 г. население Германии составляло порядка 62 млн. человек. Численность пролетариата (рабочих и их семей; сюда я также отношу домашнюю прислугу) составляла неполные 28 млн., причем часть своих голосов пролетариат отдавал другим партиям. Численность "независимого" населения была ненамного меньше - оно составляло порядка 24 млн. человек и в большинстве своем на социалистическую пропаганду не поддавалось. Даже если исключить привилегированные классы - допустим, численность их составляла порядка 1 млн. - и принимать в расчет только те группы, от которых зависит судьба выборов, - крестьян, ремесленников, мелких торговцев, приходится согласиться, что поживиться здесь было особенно нечем не только на текущий момент, но и в ближайшем будущем. Посередине между этими двумя крупными группами стояли служащие - "белые воротнички", которых, считая с семьями, было не менее 10 млн. человек. Социал-демократическая партия, конечно, понимала, что исход голосования

будет зависеть от того, кому отдаст свои голоса этот класс, и прилагала немало усилий, чтобы привлечь его на свою сторону. Но даже несмотря на значительный успех, усилия эти только лишней раз показали со всей очевидностью, что "белые воротнички" - это куда более серьезное препятствие, чем следует из классовой теории Маркса [Сталкиваясь с подобными фактами, социалисты обычно успокаивают себя тем, что служащие, не разделяющие идей социализма, - это просто заблудшие овечки, которые не нашли еще своего истинного места в политическом раскладе, но которые со временем обязательно его найдут, или тем, что вступлению их в социалистические ряды мешает жесткое давление со стороны работодателей. Первый аргумент вряд ли сможет убедить кого-нибудь, кроме правоверных марксистов, - мы уже убедились в том, что теория общественных классов - это самое слабое звено в цепи марксистского учения. Ошибочность второго аргумента легко показать на фактах. Если даже в нем содержалась какая-то доля истины в иные времена, в двадцатые годы немецкие работодатели - за редким и незначительным исключением - никак не могли повлиять на исход голосования своих служащих.].

Таким образом, даже если бы коммунисты были союзниками социал-демократов, а не их заклятыми врагами, партия все равно оказалась бы в меньшинстве. Да, действительно, не все группировки, входящие в состав несоциалистического большинства, были активно настроены против социал-демократов: левое крыло либералов (Демократическая народная партия), сильная не столько численностью своих рядов, сколько талантами, всегда была готова пойти на сотрудничество (до определенного предела). Верно и то, что большинство это состояло из отдельных группировок, которые совершенно неспособны были действовать согласованно, и члены, и сторонники которых по своей дисциплинированности даже близко не могли сравниться с социал-демократами. Но здравомыслящие политики среди социал-демократов, которые не могли и не желали пускаться в опасные авантюры, тем не менее считали, что для них существует единственный путь - путь демократии, а это означало необходимость создания коалиции.

На роль союзника лучше всего подходила Католическая партия (центр). Это была сильная партия. До прихода Гитлера казалось, что ничто не сможет поколебать преданность ее сторонников. Она была превосходно организована. При условии, что интересы церкви будут соблюдены, она была готова идти по пути социальных реформ

непосредственно практического свойства почти так же далеко, как и сами социалисты, а в некоторых аспектах даже дальше. Не питая каких-либо особо пылких

чувств к смещенным династиям, она твердо поддерживала Веймарскую конституцию [Веймарская конституция 1919 г. - конституция Германии, оформившая произошедшую в результате Ноябрьской революции 1918 г. замену полуабсолютистской монархии буржуазно-демократической республикой. - Прим. ред.]. И последнее - по счету, но

не по значению: она не возражала против раздела добычи, при условии неприкосновенности своих заповедных угодий. Вследствие всего этого взаимопонимание между обеими партиями было достигнуто с такой легкостью, которая

зарубежному наблюдателю показалась бы удивительной. Социалисты обходились с католической церковью с величайшей почтительностью и тактом. Они не делали проблем из конкордата с папой, который дал духовенству гораздо больше, чем оно когда-либо имело при власти еретиков-Гогенцоллернов. Что касается политики, то никаких разногласий практически не было.

Но хотя альянс этот составлял основу, ни одна партия, заявлявшая о своей лояльности Веймарской конституции, не была лишена представительства в кабинете. Демократы, национал-либералы, национал-консерваторы - все были допущены, в том числе и на командные позиции. Универсальность коалиции означала универсальность компромисса. Необходимые уступки по конкретным проблемам сложностей не представляли. Армию оставили в покое, практически предоставив ей достаточные средства и возможность выбирать свое руководство по своему усмотрению. Восточной

Пруссии дали субсидии, а сельское хозяйство в целом стало предметом пристальной заботы. То, что угадывалось за подобной политикой, не всегда вязалось с социалистическими лозунгами, поэтому для пролетариата, из кармана которого все это оплачивали, придумали специальный термин - Планирование. Возможно, читатель уже понял, что ничто не ново под луной.

В своем отношении к промышленному пролетариату и своей собственной программе Социал-демократическая партия "лейборизировалась". В самом начале был принят весьма умеренный закон, самым радикальным моментом которого было слово "обобществление", вынесенное в заголовок (1919 г.). Но очень скоро социалисты ко

всему этому охладели и решили взяться за трудовое законодательство, намереваясь приблизить его к тому, что американцам известно под именем "Нового курса". Это вполне устраивало профсоюзы, бюрократия которых получала все больший доступ к формировавшей политику партийной машине.

Может показаться, что для партии с марксистской традицией, которая продолжала преобладать в партийных школах, это было не так-то просто. Но это не так. Если не принимать в расчет некоторое количество перебежчиков в коммунистический лагерь, интеллигенты, из среды которых можно было ожидать возникновения внутривнутрипартийной оппозиции, строго держались в узде. В отличие от английской партии германская прочно обосновалась в руководящих кабинетах рейхстага, ландтагов и муниципалитетов. Кроме того, она сама могла предложить много рабочих

мест - например, в партийной прессе. Послушание сулило преимущества при продвижении по службе в государственных органах, в науке, на государственных предприятиях и т.д. Средства эти были достаточно эффективны, чтобы научить радикалов повиновению.

Позиции, завоеванные социал-демократами во всех частях механизма государственного управления, не только способствовали укреплению дисциплины, но и привлекли новых членов, а также сочувствующих, на голоса которых партия могла рассчитывать. Так, социалисты пришли к власти в Пруссии. Это дало им контроль над полицией и они очень тщательно подбирали кадры из числа членов партии или надежных карьеристов на должность полицейских начальников в больших городах. Так

они укрепляли свой лагерь до тех пор, пока по всем стандартам их положение не стало неуязвимым. И опять-таки согласно всем стандартным правилам политического анализа, даже правоверный марксист мог успокоить свою душу тем, что в этих окопах социалисты могут спокойно просидеть вплоть до того момента, пока когда-нибудь, через много-много лет все само собой не образуется, меньшинство не

превратится в большинство и не раздвинется занавес, до поры до времени скрывавший Конечную Цель. Далее по "Коммунистическому манифесту"... Независимо от способов функционирования партийной машины политическая, равно как и социальная, ситуация в стране казалась на редкость стабильной. К тому же какой

бы критике ни подвергались отдельные законодательные и административные меры, в целом коалиционная политика способствовала стабильности, а не работала против нее. Многие из того, что было сделано партией, заслуживает глубочайшего уважения. По справедливости говоря, она не заслуживает более резкой критики в свой адрес, чем та, которую неизбежно вызывает всякая власть, которой недостает авторитета и блеска. Возможно, единственное исключение из этого правила лежит в финансовой области. Некоторая доля культурных и политических достижений этого правительства была связана с большими и быстрорастущими государственными расходами. К тому же средства для финансирования этих расходов изыскивались с помощью таких методов - хотя среди них была и такая мера, как налог на продажи, зарекомендовавшая себя весьма успешно, - которые истощали источники накопления. До тех пор, пока шел приток иностранного капитала, дела шли достаточно хорошо, хотя бюджетные и даже денежные трудности стали возникать еще за год до того, как

он иссяк. Когда же последнее произошло, возникла ситуация, которая могла бы подорвать авторитет даже самого популярного лидера. Однако в целом социалистические критики самой партии и ее действий в ходе этого срока имели бы право гордиться собой, если бы они, получив власть, смогли столь же успешно ею распорядиться.

5. Нынешняя война и будущее социалистических партий  
То, каким образом современная война скажется на будущем существующих социалистических групп, будет зависеть, конечно, от ее продолжительности и от ее

исхода. С точки зрения целей настоящего исследования я не вижу никакого смысла об этом гадать. И все же давайте просто для примера рассмотрим два случая из множества возможных.

Даже сегодня (июль 1942 г.) многие наблюдатели, похоже, ожидают, что Россия выйдет из войны, значительно укрепив свое могущество и престиж, что истинным победителем в войне окажется Сталин. Если так оно и случится, из этого еще необязательно следует, что в результате произойдет мировая коммунистическая революция или "русификация" континентальной Европы, сопровождающаяся уничтожением привилегированных классов и сведением счетов с некоммунистическими социалистическими (и троцкистскими) группами. Ведь даже если исключить возможное

англо-американское сопротивление экспансии российской державы, нет никакой уверенности в том, что интересы русской автократии будут лежать именно в этом направлении. Но можно с уверенностью сказать, что шансы для такой блестящей победы - для реализации ленинской программы в полном объеме - неизмеримо возрастут. Как бы эта мировая революция ни отличалась от Марксовой идеи, для тех, кто готов будет принять ее в качестве замены, она, безусловно, станет реальным воплощением мечты. И это касается не только Европы.

В этом случае судьба ортодоксального социализма и его идеалов будет решена. То же самое произойдет и в том случае, если на Европейском континенте победителями окажутся фашистские державы. Если мы, однако, допустим, что война окончится полной победой англо-американо-русского альянса, иначе говоря, победой, предусматривающей безоговорочную капитуляцию, но вся слава этой победы достанется не русским, а англичанам и американцам, то можно легко понять, что у ортодоксального социализма типа германской социал-демократии или даже еще более выраженной лейбористской направленности будет гораздо больше шансов выжить на Европейском континенте, во всяком случае, на какой-то период. Одна из причин, почему я так считаю, заключается в том, что, если люди поймут, что ни по пути большевизма, ни по пути фашизма им идти нельзя, они, вполне возможно, обратят свои взоры к самому очевидному из оставшихся вариантов - к социал-демократической республике. Но есть и другая, гораздо более важная причина: лейбористский социализм будет в фаворе у победителей. Дело в том, что следствием такой полной победы, о какой мы сейчас говорим, будет англо-американское руководство всем миром - что-то наподобие англо-американского

господства, которое, исходя из умонастроений, формирующихся у нас на глазах, можно было бы назвать "этическим империализмом". Мировой порядок такого типа, в котором интересы и притязания других стран будут приниматься в расчет лишь в той

мере, в какой они будут поняты и одобрены Англией и Соединенными Штатами, может быть установлен только с помощью военной силы и сохранен только постоянной угрозой применения военной силы. Наверно, не нужно объяснять, почему в современных политических и экономических условиях для этих двух стран это будет означать необходимость такого общественного строя, которому лучше всего подойдет

название Военного социализма. Но совершенно очевидно, что задача контроля и полицейского надзора над всем миром будет значительно облегчена, если, с одной стороны, будут восстановлены или заново созданы малые и беспомощные европейские государства, с другой стороны, если поставить управлять ими правительства лейбористского или социал-демократического толка. Особенно это касается Германии

и Италии, где обломки социал-демократических партий будут единственным политическим материалом, из которого можно будет слепить правительства, которые согласились бы терпеть подобный мировой порядок и по окончании периода протрации и сотрудничать с агентами мирового протектората без всяких угрызений совести. Какова бы ни была вероятность такого исхода, но для либерального социализма это шанс.

С точки зрения предмета настоящей книги (но только с этой точки зрения и ни с какой другой) все это имеет второстепенное значение. Какова бы ни была судьба отдельных социалистических групп, не может быть никаких сомнений в том, что разгоревшаяся война будет означать - неизбежно, повсеместно и независимо от ее исхода - еще один крупный шаг по пути к установлению социалистического порядка. Для того чтобы прийти к такому выводу, достаточно только обратиться к опыту первой мировой войны и ее воздействий на социальную ткань Европы. Однако на этот

раз затронуты будут и Соединенные Штаты.

Но этот опыт, хотя он и весьма ценен для углубления нашего понимания, все же не вполне адекватен. Со времени первой мировой войны прошло уже четверть века. Это не такой уж короткий промежуток времени, даже с точки зрения постоянных сил, действующих в направлении социализма в том смысле, о котором мы говорили во второй части. Независимо от всего остального в конце этой войны мы будем иметь экономическую ситуацию, социальную атмосферу и распределение политической власти, которые будут существенно отличаться от тех, которые имели место в 1918 г. Однако за эти 25 лет произошло и много такого, что можно было предсказать на основании одних только вековых тенденций. Среди всего прочего была и Великая депрессия, которая пришлась на весьма деликатный момент и потрясла социальные структуры до самого основания, причем нигде это не выразилось с такой силой, как

в Соединенных Штатах. Еще более действенным фактором в подрыве этих структур были те меры, с помощью которых пытались бороться с депрессией. А выбор этих мер

во многом объяснялся раскладом политических сил, который был отчасти случайным. Последствия этого совершенно очевидны. В частности, возникли громоздкие бюрократические структуры, которые располагают достаточной властью, чтобы защитить свои позиции и реализовать политику фундаментальной перестройки. Ни в одной стране военный налог на частные предприятия и класс их собственников не снизятся после окончания этой войны в такой же степени, как он был снижен в 1919 г. Уже одного этого может оказаться достаточным для того, чтобы навсегда застопорить капиталистический двигатель и тем самым дать еще один аргумент в пользу государственного управления экономикой. Инфляция, неизбежная исходя из современного расклада политических сил, даже если ее темпы не превысят те, что мы имеем сейчас в Соединенных Штатах, вполне может довершить это дело как своим прямым воздействием, так и опосредованно, через радикализацию экспроприированных

держателей облигаций и страховых полисов. Кроме того, нигде государственный военный контроль, введенный на период войны, не будет ликвидирован в такой мере,

как можно было бы ожидать исходя из опыта 1918 г. и более поздних лет. Просто ему найдут другое применение. В Соединенных Штатах уже сегодня предпринимаются

меры, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что контроль за послевоенным переустройством мира будет осуществлять государство, а буржуазная альтернатива будет объявлена недействительной. Наконец, нет никаких оснований считать, что государство когда-нибудь решит ослабить свой контроль за рынком капитала и инвестиционным процессом. Конечно, социализм к этому отнюдь не сводится. Однако в Подобных условиях социалистический выбор может быть сделан просто потому, что это единственная реальная альтернатива бесконечным тупикам и трениям.

Во всех странах будут, разумеется, свои особенности и будут произноситься разные слова. Разными будут и политическая тактика, и экономические результаты.

Лейбористы вошли в правительство Черчилля в момент чрезвычайной опасности для своей страны. Но, как мы уже раньше говорили, в тот момент, когда это случилось,

они и так уже и без всякой национальной опасности довольно далеко продвинулись по дороге, ведущей к власти. Таким образом, они совершенно естественно получат возможность руководить послевоенной перестройкой самостоятельно или создав коалицию, которую они будут контролировать. Некоторые из их ближайших целей к тому моменту уже будут реализованы военной экономикой. В значительной степени их

задача будет сводиться к тому, чтобы сохранить то, что они уже имеют. Дальнейшее

продвижение к социалистической цели будет, по-видимому, сравнительно легким, поскольку капиталистам уже просто нечего будет защищать. И вполне возможно, что капиталисты открыто признают свое поражение и проведут обобществление тихо, спокойно и в значительной мере добровольно. По многим причинам, но в основном из-за слабости официальной социалистической партии относительно Соединенных Штатов прогнозы делать не так легко. Но конечный результат, по всей видимости, не будет слишком сильно отличаться, хотя лозунги, конечно, будут другими, как другой будет и цена - в терминах благосостояния и культурных ценностей, - при которой этот результат будет достигнут.

Еще раз повторю: легко предсказуем только тот социализм, о котором шла речь в настоящей работе. Все остальное предсказать несравнимо сложнее. В частности, у нас нет особых оснований считать, что такой социализм будет означать возникновение цивилизации, о которой мечтают ортодоксальные социалисты. Гораздо более вероятно, что социализм этот окажется с фашистским лицом.

Это будет странным ответом на Марксову молитву. Но история любит иногда выкидывать шуточки сомнительного вкуса.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Глава двадцать восьмая. Последствия второй мировой войны

Mundus regitur patva sapientia [Миром правит знание - лат.]

Немного можно добавить сейчас (июль 1946 г.) к тому, что уже было сказано в последнем разделе о влиянии войны на социальную структуру нашей эпохи, на место и перспективы ортодоксальных (т.е. некоммунистических) социалистических группировок. Уже в июле 1942 г. было очевидно, что, какой бы ни была судьба собственно социалистических групп, будет совершен большой шаг в сторону социалистического порядка, и на этот раз он захватит и США. Было также ясно, что

судьба уже существующих социалистических группировок будет зависеть от течения и

исхода войны. Окончательное предположение состояло в том, что в случае полной победы (означающей безоговорочную капитуляцию врага) англо-американо-русского альянса результаты ее для ортодоксального социализма могут варьировать в

зависимости от того, выступит ли Сталин как победитель или все лавры достанутся Англии и Соединенным Штатам. В последнем случае ортодоксальный социализм типа германской социал-демократии или английского лейборизма будет иметь хороший шанс

укрепить свои позиции на Европейском континенте.

Сталин утвердился в роли хозяина Восточной Европы. Англия и Соединенные Штаты борются за сохранение своего влияния в Центральной и Западной Европе. Судьбы социалистических и коммунистических партий отражают эти обстоятельства. Но есть еще и другой элемент, который может существенно влиять на социальную ситуацию во

всем мире. Это - экономическое развитие Соединенных Штатов, которое может укрепить позиции капиталистического порядка. Поэтому в этой главе рассматривается, во-первых, позиция ортодоксального социализма и лейборизма, особенно в связи с ситуацией в Англии; во-вторых, возможное влияние значительных

успехов промышленного развития Соединенных Штатов; в-третьих, возможное влияние политических успехов России. Наша аргументация поэтому естественно делится на три части:

1. Англия и Ортодоксальный Социализм.
2. Экономические возможности Соединенных Штатов.
3. Российский Империализм и Коммунизм.

#### 1. Англия и Ортодоксальный Социализм

Множество фактов показывает, что независимо от российского элемента влияние второй мировой войны на социальную ситуацию в Европе может быть схожим с эффектом первой мировой войны, но будет сильнее. Мы, может быть, явимся свидетелями усиления существующей тенденции к социалистической организации производства, в том смысле, как она определена в этой книге.

Один из наиболее важных показателей этого - успех английской Лейбористской партии. Как уже отмечалось в последней главе, этот успех ожидался и не может кого-либо удивить. Однако он оказался более впечатляющим, чем можно было предполагать. Благодаря английской избирательной системе сегодняшнее перераспределение мест, вероятно, даст несколько преувеличенную картину. Было подано около двенадцати миллионов голосов за лейбористов против десяти миллионов

- за консерваторов. Время либерализма, несомненно, прошло, но даже дюжина оставшихся членов парламента от Либеральной партии представляет намного больше голосов, чем любые семьдесят два члена лейбористской фракции. Другими словами, при системе пропорционального представительства Лейбористская партия не получила

бы парламентского большинства над консерваторами и либералами, взятыми вместе, хотя лейбористски-либеральные коалиции могло бы иметь существенное большинство. Сам смысл английской избирательной системы состоит в том, чтобы создавать сильные правительства и избегать безвыходных ситуаций. Как раз это и было сделано в данном случае. Однако тем не менее не только парламентская, но и национальная ситуация должна приниматься во внимание при оценке того, что является политически возможным, а что нет. Этот очевидный вывод подкрепляется тем фактом, что группы, расположенные левее к официальной Лейбористской партии, не смогли заметно улучшить свое положение в парламенте: Независимая лейбористская партия лишь сохранила свои 3 места, а партия Благосостояния и коммунисты потеряли одно из 4 мест, занимаемых ими ранее. В то время, когда по многим причинам следовало ожидать "радикализации", это действительно явилось примечательным и поразительным доказательством политической зрелости Англии. Эта ситуация предъявляет свои требования. Фактически они уже учтены как при формировании Кабинета, так и в принятых и намеченных мерах. Попросим читателя возвратиться к разделу этой книги "Политика социалистов до провозглашения социализма" (гл. XIX). Он убедится, во-первых, что все, что лейбористское правительство делает или предлагает сделать, соответствует духу и принципам описанной нами программы; и во-вторых, современная практика не заходит дальше этого. Национализация Английского банка как раз является характерным символом такой политики и поэтому может служить важной исторической вехой. Однако практическое значение этого события сведено к нулю, так как банк фактически превратился в отдел Министерства финансов с 1914 г. и в наши дни ни один центральный банк не может быть ничем другим. А меры, предпринятые в угольной промышленности, или закон о полной занятости не вызывают никаких споров, по

крайней мере в Англии. Конечно, путь, которым лейбористское правительство решает

или собирается решать эти вопросы, не вызывает всеобщего согласия. Poleмика по вопросам фундаментального характера, без сомнения, будет оживлять серьезную работу, но не потому, что сами эти вопросы или различия точек зрения очень важны, а потому, что правительства и парламенты не могут существовать без них. Все происходит так, как и должно быть. Нет сомнений, что это еще один случай управления капитализмом, но из-за войны и недостатка времени это будет делаться с более ясной целью и более твердой рукой, чем до этого, и окончательное уничтожение частного предпринимательства станет более явственной перспективой. Три момента, однако, заслуживают особого внимания.

Во-первых, особенно важно и, с точки зрения общества, основанного на частной собственности, особенно опасно - это почти идеальное соответствие политических действий существующей социальной и экономической ситуации. Что бы ни говорили интеллектуальные экстремисты, а позиция лейбористского правительства, конечно, даст им хороший повод для выступлений - шаги по направлению к социалистической Англии могут быть весьма значительными, поскольку в них очень мало нелепостей. Меры, предпринятые с такой ответственностью, не будут иметь обратного хода. За исключением внешних неурядиц, социальные, политические и экономические беды могут быть успешно преодолены. Если правительству удастся придерживаться своей линии, оно точно выполнит задачу, которая представляет нечто промежуточное между

планами лейбористских правительств, не обладающих властью (например, правительство Макдональда - см. выше - в гл. XXVII), и планами лейбористских правительств будущего, когда парламентское большинство будет сочетаться с большинством голосов избирателей. Это - единственная надежда для демократического социализма. Такого рода надежда на Европейском континенте, конечно, в какой-то степени вдохновляется английским примером.

Во-вторых, как мы уже отмечали в предыдущей главе, ранние социалистические мыслители никогда не предвидели, да и трудно было от них этого ожидать, ситуацию, когда политическая власть будет опираться на рабочий класс, а несчастная буржуазия будет вынуждена просить у него защиты. Мы отмечали и другое: они не предвидели и не могли предвидеть те пределы, в которых окажется возможной экспроприация буржуазной структуры без формального разрушения легальной основы капиталистического строя и с помощью таких пореволюционных методов, как налогообложение и политика в области заработной платы. Налоги времен войны и военный контроль, конечно, не могут полностью сохраниться. Но отступление от этих мер может остановиться на такой линии, на которой некоторые из наиболее популярных пунктов социалистической программы окажутся автоматически

выполненными. Равенство доходов после уплаты налогов уже осуществлено, причем настолько, что это снижает эффективность труда, используя русское слово, "специалистов" - таких, как врачи или инженеры. На деле это сделано с помощью громоздкого и дорогостоящего аппарата и, вероятно, люди скоро поймут, что, может

быть, лучше сразу вычитать из выплачиваемых доходов сумму прямых налогов вместо того, чтобы выплачивать то, что должно быть тут же отобрано. В любом случае, однако, лимон будет выжат до конца, что несколько подсушит и радикальную риторику.

В-третьих, предположим, что на следующих выборах лейбористы упрочат свои позиции

и получат поддержку значительного большинства избирателей. Что тогда будет делать правительство? Оно может идти немного дальше в направлении выравнивания доходов; может улучшить социальные услуги, придерживаясь плана Бевериджа и других, немного более, чем может позволить себе любое другое правительство; оно может продвинуться заметно дальше в деле социализации промышленности. Однако ничто из этого не пройдет легко. Мы уже видели, что в условиях современной Англии существует мало чисто экономических препятствий против значительных масштабов социализации. Спротивление буржуазии также не может явиться препятствием: Англия зависит от работы своих промышленников значительно больше, чем Россия в 1917 г., однако если их без необходимости не ожесточать, их сотрудничество может быть обеспечено. Не следует, наконец, уделять большого внимания тому аргументу особенно горячих сторонников социализации, что кабинетная система не подходит для целей проведения социализации: интеллектуалы,

которые приходят в восхищение от диктаторских методов, могут на самом деле сомневаться в эффективности демократического правления, но это единственная система, которая подходит для проведения социализации демократическим путем, - подлинное управление социализированными отраслями промышленности, конечно, потребует полуавтономных органов, с которыми кабинетам придется сотрудничать точно так же, как, скажем, с генштабом армии. Но реальная проблема - это рабочие. Пока социализация не сумеет преодолеть экономического спада, социалистическое правительство не сможет мириться с существующей профсоюзной практикой. Самые безответственные политики должны будут столкнуться с главной проблемой современного общества, которую решила только Россия, - проблемой производственной дисциплины. Правительство, которое хочет достичь высокой степени социализации, должно будет социализировать и профсоюзы. Фактически же труд труднее всего поддается социализации. Проблема не является неразрешимой. В Англии возможностей для решения многих проблем демократическим методом больше, чем где-либо еще. Но путь решения может быть мучительным и долгим.

За исключением России, политическая ситуация на Европейском континенте в основном схожая. Там, где существует свободный выбор, мы наблюдаем сильную тенденцию масс сохранять или возрождать свою преданность социал-демократическим или католическим партиям. Наиболее очевидным примером в данном случае являются Скандинавские страны. Однако сходную тенденцию можно наблюдать даже в Германии, и можно утверждать, что, если бы она была свободна и не подвергалась внешнему влиянию, в итоге современных бедствий возникло бы что-нибудь типа Веймарской республики. Хотя этот-то вывод в какой-то степени обесценивается перовительством, оказываемым социал-демократам английскими и американскими властями, он подкрепляется тем, что российские власти также разрешили восстановление социал-демократической организации в своей зоне. Невыносимые политические и экономические условия, неразумно навязанные немецкому народу, будут, конечно, дискредитировать рабочие правительства и сводить на нет их шансы, каковы бы они ни были. Но все же если ради мысленного эксперимента мы решим пренебречь российским фактором и предположим, что США и Англия действуют по отношению к Германии с позиций приличия и здравого смысла, то это будет тот общий диагноз и прогноз, который следует принять. Подобные прогнозы годятся для других стран, хотя и с различными уточнениями: лейбористского типа режимы - в католических странах чаще в коалиции с католическими партиями - с доморощенными и не слишком влиятельными коммунистическими группами слева от них; проводящие политику более динамичную, чем в 20-х годах, но примерно в том же направлении со

всеми вытекающими отсюда последствиями в экономике, политике и культуре. Маленький пример Австрии является поучительным. Христианские социалисты (Католическая партия, включающая консервативные элементы) имеют успех, дело коммунистов - плохо, социал-демократы почти восстановили свои прежние позиции вместе с большинством своих старых лидеров, занимающих устойчивое положение в партийном руководстве. Даже программы изменились незначительно, если судить по основным принципам. Современное движение к национализации не основано на сознательном выборе. Ситуации в других малых странах, независимых от России, развиваются по тому же типу, то же самое происходит и в Италии. Ситуация во Франции имеет свои особенности - из-за сильного влияния коммунистов (см. ниже, п. 3). И только наша неспособность понять другую систему, отличную от нашей, мешает нам осознать, что испанский вариант - самый беспроблемный из всех [Режим Франко просто воспроизводит институциональную структуру, учрежденную в Испании в

XIX в. Легко понять, что это сделано по необходимости. Франко делал и делает то,

что уже делалось до него Нарваэсом, О'Доннелом, Эспартрро, Серрано. Тот факт, что несчастная Испания стала в настоящее время футбольным мячом в игре международных политических сил, в которой она не имеет своих ставок, является основной причиной того, что пропаганда крайне искажает суть дела.]

2. Экономические возможности Соединенных Штатов

1. Перераспределение дохода с помощью налогов.

2. Великая возможность.

3. Условия для ее реализации.

4. Проблемы переходного периода.

5. Тезис о стагнации.

## 6. Заключение.

1. Обсуждая ситуацию в Англии, мы отмечали, что в современных условиях - в той мере, которая и не снилась социалистам XIX в., стало возможным забирать от буржуазии с помощью налогообложения и политики заработной платы большую часть того, что по марксистской терминологии называется прибавочной стоимостью [Читатель, конечно, заметит, что это утверждение ничего не говорит о влиянии подобной политики на уровень - и на долгосрочный темп роста - национального дохода. В частности, оно не исключает и такой возможности, что если все доходы будут полностью уравнианы, то рабочий класс может получить гораздо меньшую величину реального дохода, - и абсолютно, и с точки зрения долгосрочной перспективы, - чем тогда, когда вся прибавочная стоимость, по Марксу, будет поступать классу "капиталистов"]. Подобное соображение применимо и к Соединенным Штатам. В размерах, которые до сих пор в целом еще не оценены, политика "Нового курса" давала возможности осуществлять экспроприацию доходов у групп с высокими доходами еще до войны. Достаточно одного показателя, который демонстрирует эффект увеличения (индивидуального) подоходного налога и дополнительного налога до 1936 г.: в 1929 г., когда суммарный годовой доход оценивался в 86,6 млрд. долл., у категории людей с облагаемым налогом доходом выше 50 000 после уплаты этих двух налогов оставалось 5,2 млрд.; в 1936 г., когда общий выплаченный годовой доход составил 64,2 млрд. долл., у них осталось соответственно 1,2 млрд. [См. крайне поучительную статью I. de Vegh. Savings, Investment, and consumption // American Economic Review (Papers and proceedings of the 53d Annual Meeting, February, 1941, p. 237 и далее.

Как в ней обменяется, данные, на базе которых исчислялись оставшиеся у населения

доходы, исключают доходы от государственных облигаций, полностью освобожденные от уплаты налогов, и включают доходы от переоценки капитала. Кроме того, конечно

же, эти показатели, строго говоря, нельзя сравнивать с показателями общей величины выплаченных доходов (оценки Министерства торговли). Однако последние могут использоваться для сравнительного анализа. Причина, по которой я просто не

взял последние (из "Statistics of Income"), очевидна, но выбор лет для сравнения

нуждается в пояснении: 1929 г. был годом, когда доходы выше 50 000 долл. после уплаты подоходного и дополнительного налогов были максимальными; 1936 г. был выбран потому, что, во-первых, это был последний год перед спадом 1937-1938 гг. и, во-вторых, он был полностью свободен от влияния войны, которое началось с 1939 г.] Облагаемый доход свыше 100 000 даже тогда полностью отбирался, учитывая

имущественные налоги. Для наивного радикализма единственной ошибкой в этом случае и в последующих мерах по конфискации было то, что эти меры не пошли достаточно далеко. Но это не меняет того обстоятельства, которое интересует нас в данный момент, а именно, что независимо от войны идет колоссальное перераспределение богатства - перераспределение, которое по количественному эффекту сопоставимо лишь с тем, что сделал Ленин. Нынешнее распределение чистых личных доходов можно сопоставить с распределением доходов в России. Ведь благодаря тому, что в бюджетах групп с наивысшими доходами больший удельный вес принадлежит личным услугам и товарам, в которых воплощено большее количество труда, покупательная способность доллара в высшей группе упала сильнее, чем в низшей группе [Межстрановые сопоставления - вещь трудная и не всегда убедительная. Российский закон от 4 апреля 1940 г. о подоходном налоге показывает, что доходы на уровне 1812 руб. в год уже подчиняются действию этого закона. Он свидетельствует и о существовании доходов свыше 300 000 руб., которые

облагались налогом в 50 %. Теперь полностью отвлечемся от налога на самые низкие

доходы и предположим, что средний доход для (руины с доходом в 1812-2400 руб. составляет 2000 руб.; предположим далее, что средний (модальный) остающийся после уплаты налога доход в самой высшей группе не превышает 150 000 руб. (хотя сумма в 300 000 руб. до уплаты налогов была нашим пределом в этой группе). Мы обнаружим, что высший из этих модальных доходов был в 75 раз выше низшего. В 1940 г. американский эквивалент, конечно, не по покупательной силе, а по положению в шкале доходов, т.е. модальный доход самой низшей группы, составил

1000 долл. Таким образом, мы вряд ли обнаружим и США то распределение доходов, остающихся после уплаты налогов (даже если не учитывать изъятия, вызванные потребностями финансирования войны), которое бы подкрепляло - в духе российской идеологии - нынешние заявления об ужасающем неравенстве, о "концентрации власти",

измеряемой концентрацией доходов, и т.п. Данные, приводимые в хорошо известной книге Бинстока, Шварца и Югова (Bienstock, Schwar., Yugow. Industrial Management

in Russia), подтверждает эту точку зрения. Существует много других деталей, указывающих на то же самое. Например, те группы профессий, которые могли раньше,

но не могут сейчас в США держать домашних слуг, продолжают пользоваться этой привилегией в России - привилегией, которая измеряется ценой множества электротехнических устройств. Все это, однако, не принимает в расчет те преимущества, которые не проходят по счетам доходов. Власть и социальное положение, т.е. одна из главных причин, в силу которых мы ценим высокий доход, -

промышленного руководителя, особенно если он - руководитель местного подразделения большевистской партии, не входит ни в какое сравнение с положением

американского промышленника.

Интересный феномен - это запаздывание идей! У многих видных людей в этой стране ныне вызывает отвращение и возмущение то социальное неравенство, которое существовало 50 лет назад, но не то, которое существует сегодня. Жизнь меняется,

лозунги остаются.]. Кроме того, мы можем еще раз повторить наши наблюдения, которые ранее были сделаны по Англии.

Давление на верхние категории, конечно, не ограничивается группой с доходами в "50 000 долл. и выше". В уменьшающейся степени оно распространяется вниз, до уровня доходов в 5000 долл. Несомненно, особенно в случае с врачами, достигшими среднего положения на шкале профессионального успеха, это порой приводит к потере необходимой эффективности.

Итак, влияние, на социальную структуру войны, а также трудовых конфликтов, являвшихся ее естественным следствием, видимо, будет в США таким же, как в Англии. Тот факт, что в Соединенных Штатах нет хорошо организованной национальной лейбористской партии, может дать повод для размышлений о возможности развития по пути гильдейского, а не централистского социализма. Впрочем, этот случай только подкрепляет доводы в пользу того прогноза, который был разработан в этой книге, ведь группы давления обладают такой же властью, как

и партии, но намного менее ответственны и поэтому более агрессивны.

2. Но существует другое явление в социальной ситуации Соединенных Штатов, которое не имеет аналогов нигде в мире и может заметно повлиять на наш диагноз, касающийся возможностей системы частного предпринимательства, по крайней мере в течение короткого периода в 50 лет или около того, а именно - грандиозный промышленный успех, свидетелями которого мы являемся. Некоторые наблюдатели, похоже, думают, что тот подъем, который обеспечил победу в войне и к тому же защитил американский рабочий класс от нищеты, будет настолько доминировать и в послевоенное время, что это сможет уничтожить все предпосылки для социализма в чисто экономической сфере. Изложим этот аргумент в максимально оптимистической форме.

Игнорируя временно комплекс проблем, связанных с переходным периодом, и условившись, что 1950 г. будет первым "нормальным" годом, что является обычной практикой для прогноза, - мы гипотетически определим Валовой национальный продукт, т.е. стоимость всех произведенных товаров и услуг до вычета амортизационных отчислений и скидок на истощение ресурсов, - оцененный с помощью

индекса цен Бюро Статистики Труда для 1928 г., в 200 млрд. долл. Это, конечно, не является прогнозом реального объема продукции, ожидаемого в этом году. Это не

оценка потенциального уровня продукции при высокой, если не "полной" занятости. Это оценка того потенциального выпуска продукции, которая может быть произведена

при определенных условиях, о которых мы скажем ниже. Как таковой, он высок, но

не является ни необычным - назывались и более высокие цифры, - ни необоснованным. Это согласуется с прошлым опытом долголетнего нормального функционирования этой системы: если мы применим наш нормальный темп роста 3, 7 % в год (см. выше, гл. V) и показатель валового национального продукта 1928 г. в 9

млрд. долл., то получим немногим менее 200 млрд. для 1950 г. Не стоит уделять этому особого внимания. Но вместе с тем повторяю, что возражение, согласно которому эта экстраполяция бессмысленна, поскольку темп роста дохода не достигал

этого уровня в 30-х годах, не учитывает именно этого факта и лишь доказывает, что возражающий не способен его понять. Однако что касается потенциального объема продукции, показатели, достигнутые в результате действия системы во время

войны, наверняка выглядят более убедительными: если военная статистика чего-нибудь стоит, то валовой национальный продукт к 1943 г. в ценах 1928 г. был

именно таким, что к 1950 г. можно было ожидать достичь уровня в 200 млрд. долл. Теперь предположим, что эта возможность реализуется на практике [Считается, что реализация этой возможности предполагает 40-часовую рабочую неделю плюс сверхурочные на грани возможного. Но полная занятость не предполагается.

Определения полной занятости и оценки количества работающих, которые удовлетворяют любому данному определению, широко варьируются и предполагают не только статистические выкладки, но также и некоторые довольно тонкие теоретические соображения. Я должен согласиться с утверждением, что в условиях американского рынка труда и учитывая, что величина общей рабочей силы в 1950 г. составит около 61 млн. чел. (включая 2 или 3 млн. чел. в вооруженных силах), я не могу предположить, чтобы статистическое количество безработных женщин и мужчин могло быть в том голу ниже 5-6 млн. чел., - цифра, которая включает, кроме явной вынужденной безработицы (т.е. вынужденной безработицы, которая будет

таковой при любом определении), значительную величину полувынужденной безработицы и просто статистической безработицы. Эта цифра не включает "скрытую"

безработицу. Я полагаю, что она совместима с 200-миллиардной отметкой, которую мы ставим в этом году. Речь здесь идет не о специфических пороках капиталистической системы, но о тех свободах, которые капиталистическое общество

предоставляет рабочим. Даже в книге сэра Уильяма Бевериджа о полной занятости есть скрытые намеки на регулирование и принуждение. Я должен добавить, однако, что я представляю 1950 г. как год циклического процветания. Если это будет не так, то все наше рассмотрение следует отнести к тому году процветания, который последует за ним. В среднем за хорошие и плохие годы (статистическая) безработица будет выше, чем 5-6 млн. чел. - может быть 7-8 млн. Тут нечему ужасаться, поскольку, как будет показано, для облегчения участи безработных могут быть приняты адекватные меры. Но циклические колебания капиталистической экономики несут основную ответственность за превышение безработицей "нормального

уровня". ] .

Для возмещения и новых "инвестиций" (включая жилищное строительство) вычтем 40 млрд. (20 % ВВП, т.е. среднюю по десятилетиям с 1879 по 1929 г. согласно расчетам профессора Кузнеця) [Амортизация в размере 10-12 % не является завышенной для системы, работающей при таком высоком уровне производства. 8-10 %

на "новые" инвестиции - это, конечно, хорошо, но, по мнению многих прогнозистов,

это слишком много (см. ниже, п. 5).]. Значение оставшихся 160 млрд. в нашем случае базируется на двух фактах. Первый: если не будет ужасающих провалов в управлении, огромная масса товаров и услуг, которые отражает эта цифра (не включающая новые дома), обещает такой уровень жизни даже для беднейших слоев общества, включая стариков, безработных и больных, который (вместе с 40-часовой рабочей неделей) уничтожит все, похожее на страдания и нужду. Как уже подчеркивалось в этой книге, доводы в пользу социализма ни в коем случае не являются полностью экономическими, а увеличение реального дохода до сих пор не

удовлетворяло ни народные массы, ни их интеллектуальных союзников. Но в данном случае обещание выглядит не только впечатляющим, но и быстро выполнимым. Для его

выполнения требуется не более чем способности и ресурсы, которые доказали свою силу во время войны, сдвиг от производства на военные цели, включая экспорт потребительских товаров странам-союзникам, к производству продукции для внутреннего потребления; после 1950 г. этот аргумент будет действовать а *fortiori* (с силой необходимости - лат.). Во-вторых, опять же при отсутствии ужасно плохого управления все это может быть сделано без насилия над естественными свойствами капиталистической экономики, включая высокие премии за промышленный успех и все прочие неравенства в распределении дохода, которые могут потребоваться, чтобы заставить капиталистическую машину работать в соответствии с ее природой. Только в Соединенных Штатах нет необходимости маскировать за современными программами улучшения социального положения трудящихся фундаментальную дилемму, которая повсюду в других странах парализует волю каждого ответственного человека, - дилемму между экономическим прогрессом и

немедленным реальным увеличением дохода масс.

Кроме того, при валовом национальном продукте в 200 млрд. не будет затруднений в

получении государственных доходов в размере 40 млрд., не нанося при этом вреда экономической машине. Сумма в 30 млрд. по ценам 1928 г. достаточна для финансирования всех функций, которые выполняли федеральные, государственные и местные правительства в 1939 г., плюс значительно возросшие военные обязательства плюс обслуживание долга и прочие обязательства, которые были выданы с тех пор [Для наших целей нет необходимости проводить различия между государственными затратами на товары и услуги и "трансфертными платежами". Однако приблизительно мы приняли, что из 30 млрд. 25 млрд. будет израсходовано на первые и 5 млрд, - на последние. Необходимо заметить, что мы не учитываем (для 1950 г.) пенсии ветеранам и другие пособия, эту программу следует рассматривать отдельно.]

Остается примерно 10 млрд. по ценам 1928 г. или соответственно большая величина при более высоком уровне цен, который может установиться [Нельзя предполагать, что в целом государственные поступления будут изменяться пропорционально уровню цен. Но для нашей цели, в первом приближении, мы можем принять эту упрощенную гипотезу.], для 1950 г. и намного больше для последующего десятилетия, которые пойдут на финансирование новых социальных услуг или улучшение уже существующих. 3. Но именно здесь, в сфере государственных финансов и государственного управления, мы должны вспомнить нашу оговорку: если не будет ужасающих провалов в управлении. В этой сфере мы действительно наблюдаем ужасающе плохое управление

национальными ресурсами. С современными принципами и современной практикой вряд ли можно изъять 40 млрд. при 200-миллиардном уровне валового национального продукта без ущерба для экономики. И вряд ли 30 млрд. - цифра может быть и иной,

если та же величина будет измерена в каких-то других ценах, а не в ценах 1928 г., - будет достаточно, чтобы удовлетворить упомянутые выше потребности. Это верно лишь в том случае, если все государственное управление будет рационализировано. Для этого необходимо устранить дублирование некоторых мер - таких, например, как в случае с подоходным налогом; а также дублирование деятельности федеральных, государственных и местных органов власти; должна быть налажена эффективная координация и точно определена конкретная ответственность отдельных органов власти; на федеральном уровне это потребует создания достаточно скоординированных министерств вместо многочисленных полунезависимых "советов" или "администраций"; необходимо избавиться и от множества других явлений, которые являются источником разбазаривания средств и препятствием на пути к эффективности, и прежде всего от того духа расточительства, когда с восторгом тратят миллиард там, где достаточно всего 100 миллионов. Современное положение вещей не предвещает ничего хорошего в деле государственного управления

финансами и промышленностью, что само по себе является достаточно веской причиной того, что против государственного управления выступают многие люди, которые никак не являются "экономическими роялистами".

Но это еще не все. Экономия (каким непопулярным стало это слово!) может в

каком-то смысле быть менее необходимой для богатой страны, чем для бедной. Ведь расточительство грозит нуждой в последнем случае, но не в первом. Но, с другой стороны, экономия, т.е. реальная экономия, а не поддельная экономия бюрократии и

конгресса, которые готовы экономить на копейках, растранивая миллиарды, также

необходима богатой стране для того, чтобы сделать эффективным использование ее ресурсов, как и бедной, для того, чтобы обеспечить необходимый минимум средств к

существованию [Теория, утверждающая прямо противоположное, будет рассмотрена ниже, п.5.]. И это касается не только издержек, связанных с государственной администрацией, но также и с использованием фондов, которые выплачиваются в форме различных видов пособий. Классический пример этого - конечно, пособие по безработице, - в той мере, в какой они выплачиваются отдельным лицам.

Если только поведение рабочих, занятых или безработных, не находится под строгим

государственным контролем, как в России, экономное использование денежных средств для поддержки безработных неизбежно означает, что эти пособия должны быть существенно ниже той зарплаты, на которую могут рассчитывать безработные. Как показывает американская статистика рабочей силы, в стране обычно существует большой слой людей, которые находятся в состоянии полудобровольной - полувынужденной безработицы. Бремя этой безработицы будет возрастать благодаря свободному предоставлению пособий по безработице или вследствие того, что их ставки довольно высоки по сравнению с зарплатой, так что вряд ли можно будет достичь ВВП в 200 млрд. долл.

Есть и другое условие, которое должно быть выполнено для осуществления этой возможности: "политики" и бюрократы не должны мешать ее достижению. Вполне очевидно, что экономический организм не может функционировать в соответствии со своими возможностями, если самые важные "параметры" - зарплата, цены, процент - передаются в сферу политики и становятся пешками в политической игре или, что еще более серьезно, используются в соответствии с идеями составителей планов. Это может быть проиллюстрировано тремя примерами. Первый. Фактическая ситуация с

рабочей силой, если она сохранится, сама по себе достаточна для того, чтобы стать препятствием на пути к достижению уровня ВВП в 200 млрд.долл., а тем более

к его превышению. Определяемый ей уровень зарплаты - только одна из причин этого; важное значение имеет и дезориентация предпринимательского планирования, и дезорганизация рабочих, даже если имеющих работу оказывается не меньше внимания, чем безработным. Препятствуя возможному расширению производства, эти условия снижают также объем занятости ниже ее возможного уровня вследствие того,

что они обеспечивают сверхнормальную премию всем, кто нанимает как можно меньше рабочих, - возникает своего рода "бегство от труда" [Следует отметить, что увеличение производства и рост занятости не рассматриваются нами как синонимы. На самом деле в определенных границах можно снижать занятость, не снижая производства, либо увеличивать последнее, не повышая уровня первой. Причину, по которой в современной литературе зачастую предполагается, что производство и занятость изменяются пропорционально, следует искать в одной из фундаментальных особенностей кейнсианской системы. Эта система имеет дело с достаточно краткосрочной цепочкой причинных зависимостей, что обусловлено ее предпосылкой, согласно которой количество и качество производственного оборудования остается постоянным, так что комбинация производственных факторов не может существенно меняться. Если это так (а в очень коротком периоде это примерно соответствует действительности), тогда, конечно, они изменяются вместе, хотя и не обязательно пропорционально.

Следует также отметить, что наше рассуждение предполагает, что изменение денежной зарплаты может вызвать противоположное изменение уровня занятости. Действительно, я считаю, что высокий уровень денежной зарплаты в Америке был всегда и особенно в 30-х годах главной причиной безработицы, и таких же последствий следует ожидать, если и в будущем сохранится политика высокой зарплаты. Это положение противоречит как кейнсианской ортодоксии, так и теориям некоторых других экономистов и не может быть здесь обосновано. К счастью для нас

- в той мере, в какой это касается 1950 года, а не более позднего периода, - мы можем принять менее жесткую предпосылку, с которой бы согласился покойный лорд Кейнс. Он сказал, что в условиях, которые, по всей вероятности, будут преобладать в этой стране в течение последующих четырех лет, - если не произойдет дополнительного повышения цен, - более высокий уровень зарплаты будет

отрицательно влиять и на производство, и на занятость, причем на последнее в большей мере, чем на первое.]

Во-вторых, какие бы достоинства не усматривал читатель в контроле над ценами, до

сих пор он был препятствием для роста производства. Я слышал, что сталинский режим поощряет критику своей бюрократии. Вот чего нет у нас. Я буду придерживаться принятого этикета и сразу же заявляю, что многие способные люди отлично справляются со своей службой в Управлении по регулированию цен; что многие другие, не столь способные, тем не менее делают все, что в их силах; я буду отмечать любое сомнение, могущее возникнуть в моем сознании касательно достижений этого ведомства, имевших место вплоть до настоящего времени, в особенности потому, что самые явные его неудачи связаны с обстоятельствами, над которыми оно было невластно. И все же следует признать, во всяком случае в том, что касается настоящего и будущего, что политика поощрения роста зарплаты в соединении с контролем над ценами, если только она умышленно не направлена на то, чтобы принудить частное предпринимательство к капитуляции, иррациональна и враждебна быстрому росту производства. Нарушения системы относительных цен, возникающие вследствие того, что регулирующий орган может более эффективно "накрыть крышкой" цены тех производителей, у которых нет сильного политического лобби, чем те, производители которых имеют более сильное политическое лобби, снижают экономическую эффективность системы. Само по себе фиксирование цен еще не исчерпывает всего наносимого вреда: равное значение имеют и "субсидирование" производств с высокими издержками, и дополнительная нагрузка на производителей с

низкими издержками, которые усиливают неэффективность [Я не претендую на знание того, что в конечном счете получится в результате той неразберихи, которая вызвана президентским вето, наложенным на первый Закон о ценовом контроле, и принятым месяц спустя решением о быстром снятии контроля. Однако, поскольку я готов доказать, что Управление по регулированию цен в том виде, в котором оно существовало, явилось бы преградой на пути к эффективной мирной экономике, и поскольку возможные последствия этой неразберихи наверняка будут использоваться в качестве доказательства того, что необходимо сохранить контроль над ценами, я должен просить читателя принять во внимание две вещи. Во-первых, доводы в пользу

отмены контроля над ценами не являются доводами в пользу того, чтобы осуществить

его немедленно, без подготовки или какого-то переходного режима, когда никто не ожидал этой меры или хотя бы как-то подготовился к ней. Во-вторых, если в ответ на свое поражение Управление будет мстительно добиваться целей, избранных скорее

благодаря их непопулярности, чем по какой-либо разумной причине, то могут возникнуть последствия, никак не связанные с самой отменой контроля над ценами. Что же касается проблемы инфляции, то об этом см. ниже, п. 4.]

Устойчивая враждебность бюрократии, имеющей мощную поддержку со стороны общественного мнения, по отношению к промышленному самоуправлению - самоорганизации, саморегулированию, кооперированию - вот третье препятствие для упорядоченного прогресса и для такого развития, которое способно решить многие проблемы антициклической политики, а в конечном счете и проблему перехода к социалистическому режиму. Защитники бюрократии неизменно отрицают то, что имеются хоть какие-либо основания для подобной точки зрения, поскольку объединенные действия бизнесменов становятся незаконными и подвергаются преследованию только в том случае, если они включают "ограничения на основе тайного сговора". Но даже если принять эту юридическую интерпретацию преобладающей практики и официальную точку зрения на то, что такое тайный сговор

или антиобщественные действия в более широком смысле [На самом деле их принять нельзя. Они действительно охватывают ряд процессов, которые, как согласится каждый, должны быть поставлены вне закона в любой юридической системы. Но кроме

них существуют и другие действия, в отношении которых юридическое сознание просто берет на вооружение распространенные предрассудки. Одним из примеров является ценовая дискриминация. Даже самый компетентный экономист испытывает большие трудности при анализе всех долгосрочных последствий этого случая. Если судопроизводство руководствуется не чем иным, кроме общих юридических правил, популярных лозунгов или пропагандистских кампаний, частицу здравого смысла, содержащаяся в антидискриминационных мерах, может полностью исчезнуть. И исходящий из благих побуждений метод выборочного судебного преследования, направленный на то, чтобы разрешить те случаи, когда формально незаконная дискриминация выгодна всем участвующим сторонам, - всякий, кто имеет хотя бы элементарное экономическое образование, знает или должен знать подобные случаи, - сможет тогда лишь усилить степень произвола. Мы можем лишь бегло наметить пути

исправления такого положения вещей.], тем не менее остается справедливым следующее:

(а) Понятие "ограничение" включает целый комплекс действий по кооперации в области ценовой и производственной политики, включая и те случаи, когда подобная

кооперация выполняет крайне необходимые функции.

(b) Пограничные случаи и случаи, в которых элементы ограничения хотя и присутствуют, но не составляют главного содержания соглашения, наверняка не встретят беспристрастного отношения со стороны персонала, слабо разбирающегося в

проблемах бизнеса, а иногда ненавидящего систему, которую он призван регулировать, - во всяком случае ту ее часть, которая относится к "большому бизнесу".

(с) Существующая и по сей день угроза преследования за проступки, которые не всегда легко отличить от нормальной деловой практики, - все это может иметь совершенно неожиданное воздействие на поведение бизнеса.

Примером последнего являются некоторые аспекты трудовых споров, проблем, связанных с деятельностью Управления по регулированию цен, а также с "антитрестовским" регулированием, которые никогда не привлекают того внимания, какого они заслуживают, а именно в том аспекте, что они высасывают всю энергию предпринимателей и менеджеров. У бизнесмена, которого непрерывно сбивают с пути не только тем, что сталкивают все с новыми институциональными условиями, но и тем, что он должен "представать" то перед одним, то перед другим управлением, не

остается сил для решения своих технологических и коммерческих проблем. Это чисто механистическое отношение к бизнесу со стороны экономистов, и их оторванность от "реальной жизни" сказываются в том, что вряд ли хотя бы каждый десятый из них не

принимает в расчет этот особый "человеческий элемент", присущий деловому предприятию, которое в конечном счете является живым организмом, - хотя никто из

понимающих людей не может не связать относительно вялую динамику индекса реального объема промышленного производства в 1945 г. именно с этим фактором, рассматривая его в качестве одной из многих причин подобного явления. И это не все. В современных условиях успех дела зависит скорее от способности решать проблемы с рабочими лидерами, политическими деятелями и государственными чиновниками, чем от деловых способностей в собственном смысле слова. Поэтому, за

исключением крупнейших концернов, которые могут позволить себе брать на службу специалистов любого рода, возникает тенденция к тому, что лидирующие позиции занимают скорее темные дельцы и любители "ловить рыбку в мутной воде", чем "производители".

Читателю может показаться, что будущее политики, отличающейся всеми этими особенностями, очевидно - она непременно погибнет в буре справедливого негодования либо разобьется о скалы саботажа или других форм сопротивления, а потому двухсотмиллиардная цель - это несбыточные грезы. Но это не совсем так. С одной стороны, экономическая машина этой страны достаточно сильна, чтобы выдержать некоторую расточительность и иррациональность - включая, как мы знаем,

некоторую безработицу, которой можно было бы избежать, - этой цены, уплачиваемой за личную свободу. С другой стороны, политические деятели и общественность недавно начали проявлять некоторые признаки "возвращения на круги своя". Мы не должны забывать ту податливость человеческой натуры, о которой мы так много писали в этой книге (см. в особенности гл. XVIII). Эксперимент с "Новым курсом" и периоды войн не показательны, потому что промышленная буржуазия никогда не считала, что подобные условия продлятся долго. Однако в этот период она все же получила какой-то "урок". Поэтому все, что потребуется, - это сравнительно небольшое изменение существующей налоговой системы, если не для достижения максимальной эффективности, то хотя бы для доведения ее до приемлемого уровня [К

примеру, - заметьте, что это не более чем один из возможных способов - может быть, достаточно осуществить следующие меры: (а) устранить двойное обложение той части доходов промышленных корпораций, которая выплачивается в виде дивидендов; учитывая британский опыт, это вряд ли вызовет "взрыв справедливого негодования":

американская практика носит немецкое происхождение, а чисто формальные доводы в ее пользу были даны немецким экономистом Адольфом Вагнером (1835- 1917). (b) Разрешить вычитать из налогооблагаемого дохода ту часть дохода, которая направляется на инвестиции. Лично я согласен с проф. Ирвингом Фишером в том, что

вычитаться должна сберегаемая часть (особенно учитывая опасность инфляции). Но, щадя чувствительность сторонников кейнсианства, я вынужден ограничиться лишь инвестируемой частью. Технические трудности не носят серьезного характера, по крайней мере они не являются непреодолимыми, (с) Принять на вооружение какой-либо из имеющихся методов, который допускал бы полный вычет из облагаемого

дохода потерь, понесенных на протяжении данного периода времени. (d). Осуществить национализацию, систематизацию и разработку системы налогов на продажи или налога с оборота. Это должно понравиться тем, кто восхищается Россией. В самом деле, при тех ставках косвенных налогов, которые существуют в России (например, 31 цент на фунт пшеничной муки высшего качества (в Москве, в 1940 г.) или, - учитывая, что перевод рублей в доллары - дело сомнительное, - 62

% розничной цены картофеля, 73 % - сахара, 80 % - соли: (см. Haensel P. Soviet Finances //Openbare Financien, № 1, 1946) при населении, столь отчаянно бедном, как население России, налог на продажу может быть подлинным бедствием; но при умеренных ставках и в такой богатой стране, как США, - это отличный и совершенно

безвредный инструмент государственных финансов, особенно полезный в деле финансирования проектов, выгодных исключительно для групп с низкими доходами. С его помощью можно собрать пять или шесть миллиардов, так что никто этого и не почувствует. Но поскольку правительства штатов и местные органы власти должны будут получить компенсацию за потерю доходов вследствие национализации данного налога, - строго говоря, конечно, некорректно говорить о его "введении" - и поскольку к тому же потребуются некоторые изменения существующих акцизов, чистый

доход Федерального Казначейства может быть оценен не более чем в 3 млрд. долл., так что налог на продажи плюс акцизы могут дать в сумме примерно 9-10 млрд.

долл. (e) Провести национализацию и пересмотр в сторону резкого снижения налога на имущество, что даст немалые выгоды вдовам и детям; это обусловлено тем, что существующее законодательство, имеющее конфискационный характер, устраняет один из существенных компонентов капиталистической системы. [Речь идет о налоге на наследство, который в США до сих пор чрезвычайно высок. - Прим. ред.] Каждый, кто одобряет подобную конфискацию по внеэкономическим причинам, со своей точки зрения совершенно прав, вступая в защиту соответствующей конституционной поправки; тот же, кто одобряет подобную конфискацию в силу экономических причин (см. с. 373 последней книги лорда Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег" - либо работы, написанные под ее влиянием), просто заблуждается. Мы не касаемся здесь вопроса о том, какие меры могли удовлетворить соответствующие политические интересы. На самом деле большинство предложений о налоговой реформе, которые до сих пор исходили от деловых кругов, носили весьма умеренный

характер, что должно, по всей видимости, показать хотя бы то, насколько "образованным" стал класс деловых людей.]. Другое направление состоит в том, что

сравнительно небольшое усиление легальной защиты, обеспечиваемое, может быть, посредством соответствующей кодификации промышленного законодательства, могло бы

устранить всевозможные неприятности или опасность произвольного вмешательства в дела бизнесменов, а возросший опыт органов регулирования и лучшее обучение их персонала сделали бы все остальное [Здесь я подхожу к проблеме, гораздо более важной со многих других точек зрения, нежели той, о которой шла речь. Хорошая бюрократия возникает медленно и не может быть создана, когда этого захочется. Бюрократические органы США обнаруживают все признаки болезни быстрого роста, причем в такой степени, что принятие решительных мер становится необходимым не только в общественных интересах, но и в интересах самой бюрократии. Помимо всего

прочего вашингтонская бюрократия еще не нашла своего места. Постоянно случается так, что отдельные ее представители осуществляют свои собственные программы, чувствуют себя реформаторами и ведут переговоры с конгрессменами, сенаторами и членами прочих структур через головы их руководителей. Какая-нибудь идея может неожиданно приобрести характер движущей силы, происхождения которой никто не ведает. Все это может привести лишь к неудачам и хаосу.]. Более того, не так давно страна обнаружила готовность принять законодательство типа закона о восстановлении экономики. А что касается ситуации на рынке труда, то определенный комфорт может быть обретен на основе того, что предлагаемая здесь политика не только не отказывается ни от одного из главных социальных достижений

"Нового курса", но и должна обеспечить экономический базис для дальнейшего прогресса. В частности, следует отметить, что закон о "Ежегодной зарплате" представляет угрозу нашим целям только в том случае, если он будет введен, станет осуществляться и финансироваться таким образом, чтобы причинить максимальный вред. Сам по себе он не вызывает возражений [Чтобы проиллюстрировать это, вспомним недавнюю историю. Сторонники "Нового курса" в самом начале 30-х годов с иронией относились к лозунгу "Реформа или Восстановление". Эта ирония лишь доказывает, что их беспокоила доля правды, содержащаяся в этом лозунге. На самом деле как политический лозунг он был абсолютно верен. Однако следует помнить, с какими ошибками и сколь безответственно осуществлялась "реформа". Мы сейчас находимся в таком же положении. И несчастье состоит в том, что вред, наносимый экономическому процессу развития капитализма, - это как раз то, что больше всего нравится в реформах некоторым людям. Реформа, не содержащая подобного разрушительного элемента, была бы для них совершенно непривлекательна. Реформа же, сопровождаемая политикой, обеспечивающей успешное развитие капитализма, была бы для них наилучшим вариантом.].

Даже в этом случае нужна изрядная доза оптимизма, чтобы ожидать, что все эти необходимые изменения осуществляются, или хотя бы рассчитывать на то, что условия,

в которые, поставлены отечественные политики, способны вызвать волю к проведению

подобной серьезной, самоотверженной работы, не приносящей сланы, избыточной и трудностями, и поистине неблагодарной.

Множеству людей понравилась бы та Америка, которая могла бы возникнуть в итоге такой работы, но они возненавидели бы человека, который ее осуществляет.

4. До сих пор мы ничего не говорили о "проблемах переходного периода".

Фактически они не имеют отношения к нашей теме, за одним исключением: трудности переходного периода могут вызвать ситуации и спровоцировать меры, которые способны на время воспрепятствовать росту производства и полностью лишить смысла

наши "оценки экономических возможностей". Самым очевидным и самым серьезным примером является опасность инфляции. Индекс оптовых цен в 1920 г. был в 2, 3 раза выше, чем в 1914 г. И это произошло в результате войны, которая была короче, чем нынешняя, и потребовала не только гораздо меньше товаров и услуг, но

и меньше затрат на единицу товаров и услуг. Не было ничего похожего на нынешний отложенный спрос. А налоговые привилегии обеспечили необходимые стимулы к тому,

чтобы инвесторы сохранили свои значительные накопления облигаций военных займов.

Что же касается современности, то общая сумма депозитов (срочных и до востребования, исключая межбанковские и депозиты правительства США, за вычетом счетов, которые находятся в процессе обработки) плюс наличность, находящаяся вне

банков, составили в апреле текущего года [1946.- Прим. ред.] 174 млрд. долл. (в июне 1929 г. - 55, 17, а в июне 1939 г. - 60, 9). К тому же ничего нельзя сказать о том, какая часть правительственных облигаций, принадлежащих частным лицам, будет обращена в наличные деньги, не для выплаты задолженности, а для иных целей. Любой понимающий человек должен осознать, что означает это в данных обстоятельствах, особенно учитывая потворство правительства безрассудным всеобщим требованиям увеличения денежной зарплаты - ведь инфляция приходит к нам

через зарплату [Пусть читатель отметит, что это утверждение вполне соответствует

кейнсианской теории и потому будет с одобрением встречено вашингтонскими [то есть правительственными. - Прим. ред.] экономистами.]. К тому же для него не составит трудности сделать свои выводы как о тех авторах, которые твердят, что у

нас "нет" опасности инфляции [В их число следует включить тех составителей прогнозов динамики послевоенного спроса, которые считали, что сразу после исчезновения значительной части государственных военных заказов наверняка последуют сильный спад и огромная безработица, погребаящие дальнейшего увеличения расходов на базе дефицитного финансирования. Об этих (краткосрочных) прогнозах см. статью Э.Шиффа в следующем номере Review of Economic Statistics. Соответствующие долгосрочные прогнозы будут рассмотрены в п. 5.], так и о тех, которые считают, что необузданная инфляция находится уже не за горами. Чтобы подчеркнуть один момент, имеющий отношение к нашей аргументации, и учитывая невозможность удовлетворительного анализа этой проблемы в рамках этой книги, позвольте мне для того, чтобы внести ясность, сформулировать мою личную точку зрения: мне представляется возможным - возможным - поставить цель иметь в 1950 г. уровень цен, превышающий уровень 1928 г. примерно на 50 % (при наличии более высоких всплесков внутри периода). Мне кажется, что будет разумным использовать в этих пределах движение цен в качестве инструмента адаптации; представляется, что боязнь подобного увеличения общего уровня цен, как и страх перед его снижением в последующие годы, сильно преувеличены. Но для того чтобы удержать неизбежное повышение цен в этих границах, необходим ряд мер, причем крайне непопулярных. Все они требуют для достижения желаемого результата опыта и способностей, которых я не вижу. Некоторые из этих мер отчасти должны сократить темп роста производства. Никто не сможет противостоять угрозе инфляции, не препятствуя росту производства. Если же вместо этого не делается ничего, кроме создания другой "Администрации по регулированию цен" и усиленного обложения налогами именно тех доходов, от которых - даже согласно доктрине наших радикалов

- не исходит угроза инфляции, и если к тому же зарплата стремится вверх невзирая

на последствия, то может сложиться ситуация, при которой Вашингтон обратится к таким неуклюжим и жестким мерам, как девальвация, "замораживание" депозитов, "прямой контроль", преследование "спекулянтов" и "монополистов" или других козлов отпущения, не трогая при этом фермеров. Все это может так спутать карты, что мы окажемся не в непосредственной близости к нашей цели - 200 млрд. долл. ВВП, а в условиях недоделанного социализма. Это один из вариантов развития событий. Возможны, конечно, и другие.

5. Остается сделать некоторые замечания по поводу того, что для многих экономистов является послевоенной проблемой *par excellence* [преимущественной - фр.]: как обеспечить адекватный уровень потребления. До сих пор мы действительно

видели много причин к тому, чтобы сомневаться в возможности достижения на шей цели - 200 млрд. долл. валового национального продукта в долларах 1928 г. к 1950

г. Но все они коренились в том, что на пути могут возникнуть препятствия, внешние по отношению к бизнесу. Однако вопрос о том, что бизнес сам способен породить подобные препятствия, был поставлен многими экономистами, большинства

во из которых, хотя и не все, придерживаются определенных политических и теоретических взглядов. Мы будем называть их термином, ставшим весьма распространенным, - "стагнационистами" [О некоторых общих аспектах теории стагнации см. гл. X.]

Определенный тип теории стагнации был развит покойным лордом Кейнсом. С ее применением к существующей ситуации читатель может лучше всего познакомиться, изучив один или несколько из тех прогнозов уровня послевоенного спроса, которые были сделаны в последние несколько лет [Самые важные из них были критически проанализированы А.Г.Хартом в статье Model Building and Fiscal Policy // American Economic Review, Sept., 1945. Поэтому дальнейшие ссылки не нужны.]. Их авторы согласны с нами в оценках потенциально возможного уровня производства в 1950 г., называя цифры того же порядка, что и наши, так что для простоты мы можем по-прежнему говорить о валовом национальном продукте в 200 млрд. долл. Они

даже более оптимистичны, чем мы, в том отношении, что не настаивают на необходимости создания внешних условий, благоприятных для успешного развития капитализма [Признаюсь, я иногда удивляюсь, сознают ли они, какой потрясающий комплимент означает это для частного предпринимательства.], исходя из молчаливого допущения, что сохранятся современные политические, административные

и трудовые отношения.

Больше того, я откажусь от всех возражений, которые могут у меня возникнуть относительно их оценок неизбежного минимума безработицы или правильности их статистических методов, я соглашусь также с различными гипотезами, с помощью которых они получают свои показатели чистого национального дохода и располагаемого дохода (общая сумма индивидуальных доходов за вычетом налогов и принудительных неналоговых платежей). Для определенности предположим, что величина располагаемого дохода составляет примерно 150 млрд., а нераспределенные

прибыли корпораций - около 6 млрд. [Эти цифры приближаются к тем, которые получены одним из экономистов, оценивавших величину послевоенного спроса. Они не

мои. Несовместимы они и с данными, которыми мы пользовались во второй части. Что

касается процедуры, применявшейся для прошлых периодов, - здесь гипотезы, конечно, заменены фактами - см. Federal reserve Bulletin, April, 1946. P. 436. Следует, однако, отметить, во-первых, что эти цифры даны в текущих ценах и, во-вторых, что огромные "чистые сбережения частных лиц" ничего не говорят о норме сбережений для "нормальных" времен и что даже соответствующие показатели для 1937, 1938, 1939 и 1940 гг. нельзя использовать некритически, в особенности без учета определения сбережений, принятого Министерством торговли.] Послевоенный спрос, т.е. общая сумма, которую, как ожидается, частные домашние хозяйства будут тратить на потребительские товары (за исключением новых домов), получена на основе данных за период, предшествовавший войне, - скажем, за период

1923-1940, - исходя из среднего отношения между величиной расходов на эти потребительские товары на душу населения и величиной душевого располагаемого дохода (причем обе величины дефлированы по индексу стоимости жизни), с последующим умножением этого соотношения на величину располагаемого дохода в 150

млрд. долл. [Фактически процедура несколько сложнее. Используемые уравнения регрессии содержат также трендовый показатель, который отражает возможные изменения данного соотношения во времени. Кроме того, следует принимать во внимание воздействие отложенного спроса и накопленных ликвидных средств. Но для того чтобы сосредоточиться на главном, мы не углубляемся во все эти детали.] Если эта процедура даст, к примеру, сумму в 130 млрд., то остается разница в 20 млрд., она образует личные сбережения, и если к ним добавить нераспределенные прибыли корпораций, то совокупные сбережения составят 26 млрд. Дальнейшие рассуждения обычно ведутся вокруг способов использования этой суммы, инвестиционных возможностей (нового строительства, увеличения товароматериальных

запасов, зданий и оборудования, иностранных инвестиций). При этом делаются выводы или предположения, что экономика, видимо, не сможет абсорбировать ту сумму, которую люди готовы будут сберегать при условии достижения в 1950 г.

уровня национального дохода, соответствующего полной занятости, - во всяком случае, это невозможно без помощи правительства. Отсюда - необходимость государственных расходов на жилищное строительство или государственное стимулирование "иностраных инвестиций". Позднее, однако, большую популярность получили другие рекомендации. Но так как в современных условиях всякий, кто защищает дефицитное финансирование, рискует показаться чудаком, то вашингтонские

экономисты сменили курс и стали выступать за сбалансированный бюджет, но такой бюджет, который балансируется с помощью крайне высокого уровня налогов, причем налогов в высшей степени прогрессивных, способных элиминировать большие доходы, т.е. тех налогов, от которых в основном и исходит угроза больших сбережений. Это

соответствует лозунгу, согласно которому (вследствие сбережений, осуществляемых получателями высоких доходов) "в современном обществе конечной причиной безработицы является неравенство в доходах".

Итак, высокий уровень национального дохода, который мы связываем с решением множества экономических и социальных проблем, сам по себе оказывается крайне серьезной проблемой. Поскольку высокий доход означает большие сбережения и поскольку эти сбережения не будут полностью компенсироваться инвестициями, экономика не сможет сохранить высокий уровень дохода и занятости, - при условии,

что этот высокий уровень вообще достижим, - если этому не поможет фискальная политика. Следует отметить, что пусть частично, но эта теория завоевала поддержку общественного мнения, особенно со стороны бизнеса. Нет ничего более понятного, чем суждение, согласно которому все будет хорошо, если только заставить людей "полностью использовать их доходы" или если только мы сможем "обеспечить достаточный потребительский спрос".

Представляет определенный интерес вопрос о том, почему просвещенный человек, интересы которого явно не связаны с какой-либо политической программой, предполагающей расширение государственных расходов или выравнивание доходов, тем

не менее проявляет внимание к этой теме. Мышление коммивояжеров, присущее этой стране, а также двадцатилетний опыт, предшествующий войне, - вот все объяснение,

которое я могу дать тому удивительному факту, что данная теория просто не осмеяна в силу ее полной несостоятельности.

Те оппоненты теории стагнации, которые стремятся доказать, что валовой национальный продукт и, следовательно, доход будет ниже, а инвестиционные возможности - выше, чем это предполагают сторонники данной теории, оптимистичные

в первом случае и пессимистичные - во втором, упускают главное. Правда, в их аргументации много справедливого. В частности, можно подчеркнуть, что в 1830 г. никто не предвидел или не мог предвидеть спрос на капитал эры железных дорог или

50 лет спустя - спрос на капитал эры электричества. И все же решающий аргумент гораздо проще всех прочих.

Теория стагнации покоится на постулате, согласно которому индивид сберегает в соответствии с устойчивым психологическим законом [Этот психологический закон говорит, что расходы общества на потребление  $C$  (а следовательно, и величина сбережений  $S$ , которую оно желает иметь) зависят от национального дохода  $Y$ , причем таким образом, что когда  $Y$  увеличивается на  $dY$ ,  $C$  возрастает на  $dC < dY$ , или  $dC/dY < 1$ . Таково существо Кейнсианской гипотезы, известной под названием потребительской функции. Но сам Кейнс иногда, а его последователи довольно часто

использовали более строгую предпосылку, согласно которой по мере роста дохода процентная доля сбережений возрастает. Нас здесь интересует только основная гипотеза. Следует, однако, заметить, что называть ее психологическим законом неверно. Психологический закон в применении к экономической теории-это звучит в лучшем случае сомнительно. Однако указанная предпосылка в той же степени не заслуживает этого наименования, как и, например, предположение о том, что интенсивность нашего желания получить еще один ломоть хлеба снижается по мере того, как мы съедаем все большее количество ломтей.], независимо от наличия или отсутствия инвестиционных возможностей. Очевидно, что это нельзя назвать нормальным случаем. Обычно люди сберегают в ожидании некоторого дохода в

денежной форме или в форме услуг каких-то "инвестиционных благ". Дело не только в том, что основная часть индивидуальных сбережений - и, конечно, практически все сбережения бизнеса, которые составляют большую часть сбережений, - осуществляется с намерением куда-то их инвестировать. Как правило, решение инвестировать и очень часто сам акт инвестирования предшествуют сбережению. Даже

в случаях, когда человек сберегает, не имея определенных инвестиционных намерений, любое промедление в принятии инвестиционного решения наказывается потерей дохода в течение этого периода. Отсюда, по-видимому, следует, что, во-первых, пока люди не видят инвестиционных возможностей, они обычно и не сберегают, и потому в период, когда исчезают инвестиционные возможности, исчезают и сбережения; и, во-вторых, всякий раз, когда мы видим, что люди обнаруживают "предпочтение ликвидности" (стремление к тезаврации), т.е. желание сберегать, не желая при этом инвестировать, то это следует объяснять особыми причинами, а не каким-то психологическим законом, постулируемым ad hoc. Подобные причины существуют, причем одна из них имеет особо важное значение в самой низшей точке циклических депрессий - в среднем в каждый десятый год. Когда

все выглядит в черном свете и люди не ждут ничего, кроме убытков, чем бы они ни занимались, тогда, конечно, они перестанут инвестировать свои текущие сбережения

(и даже реинвестировать суммы, которые поступают им от предыдущих вложений) либо

будут откладывать инвестирование, с тем чтобы выиграть на дальнейшем сокращении цен. В то же время сбережения не только не сократятся, но даже возрастут у тех, кто ожидает неминуемого снижения доходов от своего бизнеса или вследствие безработицы. Это важный элемент механизма депрессий, и государственные расходы в

условиях дефицитного бюджета, действительно, представляют один из самых очевидных способов прорвать подобный "порочный круг". Однако на этой основе нельзя строить никакой теории "перенакопления", поскольку подобная ситуация случается только вследствие депрессии и, следовательно, не может объяснять последнюю. Но это явление позволяет объяснить психологический закон Кейнса. Великая депрессия 1929-1932 гг. и последующее медленное оживление экономики все еще у всех в памяти. И психологический закон, и базирующаяся на нем теория тезаврации - все это представляет собой обобщение того опыта [Подобная аргументация вместе с некоторыми факторами военного времени способна объяснить накопление ликвидных средств во время войны без обращения к гипотезе ненасытного

стремления к тезаврации, якобы внутренне присущей человеческой природе.]. Тезаврация, обусловленная депрессией, следовательно, не является подлинным исключением из нашей общей концепции, согласно которой решение сберегать зависит

от решения инвестировать и потому предполагает инвестирование, хотя обратное вовсе не справедливо, поскольку можно финансировать инвестиции с помощью банковских займов, и в этом случае нет никаких оснований говорить о чьих-либо сбережениях [Наша концепция, однако, не так проста, как это может показаться читателям, незнакомым с дискуссией, которая ведется с момента опубликования "Общей теории" Кейнса (1936 г.). Она скорее напоминает, чем повторяет, старую теорему "классической теории" (Тюрго, А.Смит, Дж. С.Милль) и не может быть обоснована теми же аргументами, которые бы удовлетворили классиков. Чтобы изложить ее полностью, требуется длительная и утомительная аргументация, притом отнюдь не вдохновляющая, поскольку она дает совсем немного новых и интересных заключений и лишь разрушает то, что было построено с таким трудом в течение 30-х

лет. Недостаток места не даст нам углубляться в нее. Во об одном следует упомянуть, дабы избежать недоразумения, столь же достойного сожаления, сколь и естественного. Хотя наша концепция показывает, что стагнационная теория не может

основываться на данном аспекте сбережений и хотя в этом смысле проблемы сбережений не существует, это не означает, что не существует других аспектов проблемы сбережений. Они существуют. Большинство из них концентрируется вокруг того случая, когда индивидуальные сбережения через покупку ценных бумаг используются для выплаты банковских долгов, которые фирмы наделали в ходе

расширения своих предприятий и установки нового оборудования. Но это уже другое дело.]

Кроме кажущихся существуют и подлинные исключения. Но ни одно из них не имеет важного значения. Примером подлинных исключений является тезаврация с целью накопления сокровищ, которые, как все знают, достигали огромных размеров в Индии, Китае и Египте; или сбережения вследствие привычки, которая, раз появившись, может, как любая другая привычка, превзойти всякие разумные пределы [Привычка сберегать, глубоко укорененная в буржуазном образе жизни, особенно в его пуританском варианте, может показаться существенной. Однако исчезновение инвестиционных возможностей, которое лишило бы эту привычку рациональности, в отсутствие других внешних факторов является медленным процессом, в течение которого есть время для адаптации. Вашингтонские экономисты, которым, тем не менее, нравится утверждать, что ставшая иррациональной привычка сберегать определяет экономическую ситуацию, сталкиваются с неизбежной альтернативой: они должны признать либо, что ситуация 30-х годов характеризовалась тезаврацией, обусловленной депрессией, - что означает отказ от теории вековой стагнации; либо, что привлекательность инвестиций сравнительно неожиданно сократилась благодаря внешнему фактору, а им не могло быть ничто иное, кроме политики, которую они сами поддерживали. Если они примут последнее объяснение, то мне нечего будет возразить.]. Примерами кажущихся исключений, подобных случаю тезаврации в условиях депрессии, являются накопление с целью финансирования очень крупных инвестиционных проектов, - случай возможный, но, очевидно, не существенный; либо "сбережения", которые предпринимаются на непредвиденный случай, на старость и т.п. и которые будут предприниматься, даже если не существует никаких возможностей получения от них какого-либо "дохода", кроме ощущения безопасности [То, что этот мотив не имеет большого значения, есть следствие главным образом двух обстоятельств: во-первых, эти накопления в настоящее время истощаются (хотя с изменениями национального дохода и возрастного распределения населения увеличения и сокращения в целом не будут в точности уравновешивать друг друга); и, во-вторых, до тех пор, пока есть хоть какие-нибудь сбережения, которые мотивируются получением денежного дохода, наличие в валовом предложении элемента, не мотивируемого этим стимулом, вовсе не

подтверждает какой-либо тенденции к избыточным сбережениям. Это не нуждается в дополнительном подтверждении. В действительности же этот довод можно усилить, учитывая, что в современных условиях страхование чрезвычайно сокращает объем сбережений, которые предпринимаются в целях обеспечения на случай старости, для жен и детей, - то, что ранее подразумевалось под накоплением состояния" (хотя, конечно, оно не оставалось неинвестированным). Сегодня подобные накопления осуществляются путем "вычетов из потребления" и сводятся к величине страховой премии. Рост страхования на протяжении последних 25 лет, таким образом, противоречит тому, что вытекает из писаний сторонников теории стагнации.]. Итак, если бы печали стагнационистов были единственным, что вызывало бы у нас беспокойство, мы не имели бы серьезных препятствий в нашем стремлении достичь уровня валового национального продукта в 200 млрд. долл. Если при этом окажется,

что все 20 млрд. сбережений не удастся инвестировать при норме дохода, удовлетворяющей предельного сберегателя, что ж, люди были бы только счастливы истратить все остальное на потребление. Нам не надо тревожиться ни о том, чтобы побудить их "полностью использовать свои доходы", ни о том, чтобы искать сферы приложения для корпоративных и личных сбережений. В частности, нам не следует думать о необходимости стимулировать заграничные инвестиции, защита которых в современных условиях не имеет ничего общего с попыткой улучшить ситуацию в стране и на самом деле означала бы навязывание ей военной контрибуции [Я далек от того, чтобы говорить или думать, что по моральным или политическим соображениям нельзя требовать от американского народа больших жертв. Но тогда это и надо честно обосновывать моральными и политическими причинами, а не отрицать реальность этих жертв, базируясь на сомнительной экономической теории. Предположение, согласно которому часть избыточных сбережений могло бы быть с пользой направлено по каналам, откуда со всей очевидностью нет надежды получить их обратно, не говоря уже о доходах, является самым коварным, поскольку класс, которому следовало бы противиться такой политике, примет ее с готовностью. Ведь при системе государственных гарантий отдельный бизнесмен почти ничем не рискует или рискует очень немногим. И вряд ли его тревожит вопрос национальных потерь -

особенно, если ему говорят, что благодаря росту занятости вследствие этих инвестиций нация только выиграет.].

С другой стороны, стоило бы согласиться со сторонниками дефицитного финансирования государственных расходов в следующих обстоятельствах. Если по причинам, связанным с механизмом экономического цикла, либо по каким-либо иным существует опасность "понижательного кумулятивного процесса", т.е. если возникает ситуация, когда сокращение производства со стороны А побуждает Б ограничивать свое производство и т.д. по всей экономике; когда цены падают потому, что они уже упали; когда безработица питает самое себя, то дефицитное финансирование расходов позволит остановить эту "порочную спираль", а потому, если мы предпочтем игнорировать все прочие соображения, оно может быть справедливо признано эффективным способом лечения [Вот почему законопроект Мюррея в своей первоначальной форме (не только в той форме, в какой он был принят) был неприемлем в той мере, в какой речь шла о чисто экономических соображениях. Полное отрицание способности государственных расходов порождать доходы в любых обстоятельствах объяснимо и оправдано для людей, которые полагают, что, как только использование этого инструмента будет разрешено, распахнутся двери для всех видов законодательной и административной безответственности. Но чисто экономическими причинами это основать нельзя.]. По-настоящему возражать следует не против доходотворческих государственных расходов в условиях кризисной ситуации, - уж коли она возникла, - а против политики, ведущей к подобной кризисной ситуации и вызывающей подобные расходы.

6. Однако, как может заметить читатель, в той мере, в какой речь идет о прогнозе

того, что произойдет в реальной действительности, то наши выводы, к сожалению, не слишком бы отличались от выводов сторонников теории стагнации. Хотя мы не видим никакой опасности со стороны склонности людей к сбережениям, есть масса других вещей, которых следует опасаться. Волнения рабочих, регулирование цен, раздражающее администрирование, иррациональное налогообложение - всего этого вполне достаточно, чтобы вызвать такие последствия для роста дохода и занятости,

которые будут выглядеть как подтверждение теории стагнации и действительно могут создать ситуацию, в которой неизбежно появятся государственные расходы, финансируемые с помощью дефицита. Мы можем даже стать свидетелями того, что внешне ситуация будет выглядеть как чрезмерность сбережений, когда люди будут отказываться от принятия инвестиционных решений. Мы обсуждали возможный вариант.

При этом мы обнаружили, что внутри самого экономического процесса нет причин, которые мешали бы инвестированию. Мы видели также, что это может произойти в результате действия внешних факторов. Я не претендую на то, чтобы знать, каков будет реальный исход. Каков бы он ни был, это будет решающий фактор, определяющий социальную ситуацию не только в США, но и во всем мире. Но только для следующей половины столетия или около того. Долгосрочный диагноз, поставленный в этой работе, от этого не меняется.

### 3. Российский Империализм и Коммунизм

Другой фактор, имеющий отношение к нашему диагнозу, это победа России над ее союзниками. В отличие от экономического успеха Соединенных Штатов эта победа - не только возможность, но на данное время свершившийся факт. Исходные позиции России не были слишком сильны. Эти позиции были таковы, что согласно всем правилам политической игры она должна была бы согласиться на все, что пожелали бы навязать ей ее союзники, и занять периферийное место в новом мировом порядке.

Однако в результате войны ее влияние поднялось до такого уровня, которого она никогда не знала в царские времена, вопреки тому, чего, вероятно, хотелось бы Англии и Соединенным Штатам. А ее специфические методы - ее высшее достижение! -

позволили России распространить фактическую власть за пределы своих официальных завоеваний и в то же время хорошо замаскировать ее, так что те мнимые уступки в опасных пунктах, которые удовлетворяют эскапистов и миротворцев, ни в коей мере не требуют с ее стороны никаких реальных жертв, даже если они, как это иногда имеет место, не несут с собой реального выигрыша [К примеру, предоставление мнимой независимости странам, находящимся под полным ее контролем, таким как Польша, с которыми мы настойчиво обращаемся как с независимыми агентами,

увеличивает число голосов, которые имеются в распоряжении России в международных организациях, а также субсидии и займы, которые Российское правительство может получить; Россия оказалась бы гораздо слабее, чем сейчас, если бы она непосредственно аннексировала всю Польшу.]

Если читатель припомнит цели, которыми правительство Соединенных Штатов мотивировало свою политику начиная с 1939 г., - демократия, свобода от страха и нужды, защита малых наций и т.п., то ему придется признать, что все происшедшее означает на деле поражение не менее полное, чем можно было бы ожидать, если бы Россия одержала военную победу над двумя ее главными союзниками. Этот результат прежде всего требует объяснения. Боюсь, что историки, которые не признают ничего, кроме объективных факторов, - плюс, может быть, элемент случайности - не смогут достаточно хорошо справиться с этой задачей. Безличные или объективные факторы все были против России. Даже ее огромная армия была не просто продуктом огромного населения и богатой экономики, но результатом деятельности одного человека, которому удалось держать это население в состоянии

крайней бедности и страха и мобилизовать все силы слаборазвитого и порочного промышленного аппарата на цели войны. Но и этого было бы недостаточно. Те, кому не понять, как переплетаются удача и гениальность, конечно, укажут на счастливые

случаи в длинной цепи событий, вершиной которых стал колоссальный успех. Но эта цепь событий содержит столько же, если не больше, отчаянных ситуаций, во время которых большевистский режим имел все шансы погибнуть. Политический гений состоит прежде всего в способности эксплуатировать благоприятные возможности и нейтрализовать неблагоприятные события настолько полно, что в итоге поверхностный наблюдатель заметит только первые. Рассматривая события начиная с первого мастерского хода - "взаимопонимания" с Германией, - мы узнаем почерк мастера. Действительно, Сталин никогда не встречался с человеком равных с ним способностей. Но это только еще раз говорит в пользу той философии истории, которая оставляет достаточно места для учета качеств действующих лиц, а в данном

случае - личных качеств лидера. Единственную уступку, которую подобный реалистический анализ может сделать "объективной теории", состоит в следующем: в

вопросах внешней политики все те соображения, которые отвлекают внимание демократического лидера, автократу не мешают [Кто-то из читателей заметит, что в

этом пункте мы затрагиваем старый спор между представителями социологии истории,

а также между историками. Поэтому необходимо разъяснить, что я не поклоняюсь героям и не принимаю лозунга "история делается (отдельными) людьми".

Методология, которая лежит в основе данной аргументации, позволяет сказать не более того, что сказано, В объяснении исторического развития событий мы используем огромный спектр данных. Среди них имеются и данные о климате, плодородии, о размере и т.п. отдельных стран, а также качественные особенности их населения, не меняющиеся в течение коротких периодов времени. А поскольку качественные особенности населения не определяют единственным образом качества политических деятелей, а последние в свою очередь не определяют единственным образом качество руководства, эти два фактора следует перечислить отдельно. Иначе говоря: в данном случае мозг и нервы человека, стоящего у руля, являются такими же объективными фактами, как содержание железа в руде, имеющейся в стране, и наличие или отсутствие в ней молибдена или ванадия.]

Во-вторых, рассматривая развитие событий в деталях, можно понять, как возникла эта невероятная ситуация, однако это не помогает нам осознать, каким образом мир

смирился с этой новой реальностью. Вся проблема сводится к отношению к России со стороны Соединенных Штатов, поскольку рассчитывать на существенное сопротивление

истощенных, страдающих от голода, уязвимых для Российской армии стран континентальной Европы, конечно, не приходится. Единственная континентальная страна действительно независимая от России - это Испания. Этот факт подтверждается недавней российской политикой в отношении этой страны. Франция,

возможно столь же независимая, имеет самый сильный российский гарнизон в Европе в лице коммунистической партии [Этот факт чрезвычайно интересен. Вероятно, некоторые американцы верили, что французы встретят свое освобождение с огромной радостью и благодарностью и тут же примутся за восстановление демократической Франции. На деле же мы сталкиваемся с тем, что Леон Блюм в смягченной форме назвал *convalescence fatigee* [вялое выздоровление - фр.], что в переводе с французского, видимо, означает всеобщее неприятие демократических методов. Здесь

имеются три партии, примерно равные по численности и равно неспособные создать эффективную демократическую систему правления: народное республиканское движение, (католическая и Голлистская партии), социалистическая и коммунистическая партии. Для нас имеют значение три момента: практически полное отсутствие "либеральных" групп; полное отсутствие какой-либо группы, с которой бы американские политики могли бы тесно сотрудничать, и, наконец, самое важное -

влияние коммунистов. Очевидно, это влияние нельзя объяснить приверженностью коммунистическим принципам столь огромного числа французов. Многие из них вовсе не являются коммунистами в смысле приверженности доктрине. Это коммунисты, *ad hoc*, т.е. коммунисты, убеждения которых обусловлены национальной ситуацией. А это значит, что они просто занимают пророссийскую позицию. Они смотрят на Россию

как "на великое событие нашего времени", как на силу, которая (помимо долларов, выделяемых США на возрождение) действительно имеет вес, как на державу, к которой Франции следует прилепиться и с которой, если Франция желает возродиться, следует выступать вместе против Англии и Соединенных Штатов в любой

будущей войне, которая, как раз поэтому, должна превратиться в своего рода мировую революцию. Это открывает потрясающий клубок проблем! Однако мое сожаление по поводу невозможности углубиться в них несколько смягчается сознанием того, что мои читатели скорее всего не согласятся с подобной аргументацией.]. Что касается Англии, то существует множество признаков, свидетельствующих о том, что, избери она свой собственный путь, весь ход событий

после 1941 г. был бы совсем иным и что вся политически значимая часть английского общества оценивает существующее положение с неудовлетворением и страхом. Если, тем не менее, Англия не заняла жесткой позиции, то только потому,

что если бы она это сделала, она навлекла бы на себя ужасный риск - риск вступить в войну с Россией в одиночку. Вполне вероятно, что Соединенные Штаты присоединились бы к ней, но в этом нет полной уверенности. Почему? Для наблюдателя с другой планеты абсолютно очевидно, что со всех точек зрения эта страна (США) не может терпеть ситуацию, при которой значительная часть человечества лишена того, что мы считаем элементарными человеческими правами; ситуацию, в которой жестокости и беззакония больше, чем в тех странах, против которых велась война; в которой огромнейшая власть и престиж сконцентрированы в руках правительства, воплощающего полное отрицание принципов, которые кое-что значат для большинства населения Соединенных Штатов. Наверняка американскому народу не стоило приносить такие жертвы, чтобы участвовать в конфликте, который принес неслыханные страдания миллионам ни в чем не повинных женщин и детей, если

главным его результатом станет освобождение самого могущественного из всех диктаторов от двух окружавших его армий. Наверняка это тот случай, когда полдела

хуже, чем ничего. Больше того, другая половина дела была бы не только возможна, но и сравнительно легко осуществима, поскольку после победы над Японией военная и техническая мощь США, не говоря уже о ее способности предоставлять экономическую помощь или отказывать в ней, обеспечивали ей непререкаемое превосходство.

Но если бы инопланетный наблюдатель рассуждал таким образом, мы должны были бы возразить ему, что он не понимает политической социологии. В сталинской России внешняя политика сохранилась такой же, какой она была при царе. В Соединенных Штатах внешняя политика - это внутренняя политика. Здесь есть своя внешнеполитическая традиция. Но по сути своей это традиция изоляционизма. Здесь нет традиции и нет соответствующих органов, которые позволили бы осуществлять

другие варианты внешней политики. Страна, возбужденная навязчивой пропагандой, может принять политику активных действий за океаном. Но она скоро устает от этого, и как раз сейчас она устала - устала от ужасов современных способов ведения войны, от жертв, налогов, военной службы, бюрократического регулирования, военных лозунгов, идеалов мирового правительства - и жаждет вернуться к обычному образу жизни. Побуждение ее к дальнейшему напряжению сил - в отсутствие непосредственной опасности нападения - было бы плохой политикой для

любой партии или группы давления, которая пожелала бы сделать это. Однако подобного желая, видимо, и не проявляет ни одна партия или группа. Те, которые

были движимы страстной ненавистью к Германии или национал-социалистическому режиму, удовлетворены. С помощью тех же аргументов, которые они прежде использовали, осуждая политику умиротворения гитлеровской Германии как эскапистскую, они поддерживают теперь такую же политику по отношению к России. А

если мы проследим систему интересов, которые формируют направление и характер американской политики, то обнаружим, что все они, хотя и по разным причинам, поддерживают подобное умиротворение. Фермеров мало что заботит. Что касается организованного рабочего класса, то истинно про российское крыло, может быть, существенным образом влияет на него, а может быть, и нет, а потому неясно, выступят ли профсоюзы или некоторые из них с активным протестом против войны с Россией. Нам не следует вдаваться в этот вопрос, на который обычно безоговорочно

дается либо отрицательный, либо положительный ответ, поскольку для политика в нынешней ситуации имеет значение лишь тот факт, что вне сомнения рабочий класс, не выступавший за войну в 1940 г., сегодня определенно настроен против войны. Однако самое интересное состоит в том, что то же самое можно сказать и о классе деловых людей - их отношение, хотя, конечно, и не является пророссийским по чувствам и намерениям, на деле таковым является. Радикальная интеллигенция любит

приписывать буржуазии намерение задушить Советскую Республику. Она наверняка стала бы квалифицировать войну с Россией как войну, которую большой бизнес ведет

против России. Ничто не может быть дальше от реальной действительности. Класс деловых людей также устал от военных лозунгов, налогов и регулирования. Война с Россией остановила бы тенденцию развития, которая в настоящее время благоприятствует интересам бизнеса, и принесла бы с собой еще более высокие налоги и еще большие масштабы регулирования. Она укрепила бы позиции рабочего класса. Более того, она не только бы нарушила действия бизнеса внутри страны, но

и похоронила бы все его самые заманчивые перспективы. Советская Россия может стать очень крупным клиентом. Она никогда еще не отказывалась платить вовремя. И

этот факт зачастую сводит на нет буржуазную критику социализма. Так уж работает голова у буржуазии - работает всегда, даже при виде веревки палача. Но не так уж

трудно позабыть об этой неприятной картине. Пусть Россия проглотит одну-две страны, что из того? Пусть дадут ей все, что она хочет, и она перестанет хмуриться. Через двадцать лет Россия станет такой же демократической и мирной страной, как мы, - и будет думать и чувствовать так же, как мы. А кроме того, Сталин к тому времени умрет [Последние фразы - это все цитаты. Они особенно показательны и полезны именно потому, что не являются ответами на вопросы, заданные во время интервью, когда интервьюируемое лицо непосредственно высказывается по данному вопросу. Это спонтанные высказывания, сделанные без опасения того, что говорящий обнаружит свои подлинные размышления по данному поводу, или, точнее, свое не приведенное в логическую систему, полуосознанное отношение к этому вопросу, которое он стремится рационально осмыслить для себя. За исключением третьего, выделяющегося своей наивностью, вышеприведенные утверждения или похожие на них встречались не раз. Почти во всех случаях собеседник указывал на иррациональность позиции говорившего (в том числе на ее несоответствие позиции 1939-1941 гг.). И ни в одном случае не было получено логически обоснованного ответа или возражения, за исключением (а) выражения своего рода благородного негодования или (б) жеста безнадежности, который,

по-видимому, должен был означать признание критики, но с оговоркой: "а что поделаешь?".

Что касается вопроса, затронутого в этом разделе ранее, я должен добавить, что в четвертой отговорке (о смерти Сталина. - Прим. ред.) кое-что есть. Если верно, -

я сам так считаю, - что способности, вроде тех, каким обладает российский лидер,

в любом народе встречаются крайне редко, то многие проблемы в свое время решит сама природа. Но из этой аргументации можно делать широкомасштабные выводы, только если признать, что в ней содержится еще кое-что. В некоторых отношениях лучше иметь перед собой врага со сверхъестественными, чем со средними, способностями, - и это не парадокс. Добавлю еще. Хотя, чтобы создать, к примеру,

концерн "Стандарт Ойл", требуется высокого ранга гений, то для управления концерном, когда он создан, гениальность не нужна. Российский век, однажды начавшись, может продолжаться без всякого руководства.].

И еще одно. Эта книга не ставит своей целью помочь читателю сделать определенные

практические выводы, ее цель - представить исследование, которое может оказаться

полезным при конструировании его собственных практических выводов. Кроме того, в

вопросах, столь подверженных случайностям, вмешательству новых и неожиданных факторов, прогноз может быть только простым пророчеством, а потому не может иметь научной основы. Полагая, что это само собой разумеется, тем не менее, в порядке подведения итогов этой части нашей аргументации, я хочу изложить то, что, как мне кажется, естественно из нее следует, единственно для *pour fixer les*

*idees* (того, чтобы зафиксировать наши идеи - фр.). Можно сказать иначе: что касается великой проблемы социализма в целом, то нам хотелось сделать как раз то, что мы и делали на протяжении всей книги: экстраполировать наблюдаемые тенденции.

Существующие факты доказывают, что если Сталин не сделает первой ошибки в своей жизни, то в ближайшие годы не будет войны, и России никто не помешает разрабатывать ее ресурсы, перестраивать экономику и дальше создавать ту самую громадную, абсолютно и относительно, военную машину, какую только видел мир. Оговорка, ограничивающая, но, как я полагаю, не отменяющая практическую важность

данного вывода, состоит в следующем: явный акт агрессии - настолько явный, что даже друзья-приятели окажутся в затруднении, трактуя се как совершенно оправданное "оборонительное" действие, - несомненно, может вызвать войну в любой

момент. Но против такой возможности свидетельствуют следующие факты: во-первых, ничто во внешней политике сталинского режима не поражает больше, чем ее осторожность и терпение; во-вторых, этот режим может выиграть все, просто сохраняя терпение; в-третьих, используя уже завоеванные вершины, он может позволить себе быть терпеливым, сдавая передовые рубежи при первых признаках реальной опасности или встречаясь с "жестким тоном", как он это недавно делал [Следует отметить, что ни одного из этих трех факторов не было в Германии 1939 года. Некоторые читатели будут возражать по поводу третьего факта, во всяком случае в отношении ситуации, сложившейся после Мюнхена. Но это только потому, что наше отношение к германским амбициям совершенно отлично от того, как мы сегодня относимся к российским амбициям. С политической точки зрения решающее значение имеет то, что Германия тогда еще не полностью восстановила свою национальную территорию, в то время как сталинский режим всего лишь шел на компромиссы - если он вообще шел на них - за счет территорий других наций. А это

гораздо проще. Более того, к "жесткому тону", упомянутому в тексте, до сих пор прибегали только для того, чтобы предупредить дальнейшую агрессию.]. Ситуация, однако, изменится после периода реконструкции, скажем, через 10 лет. Военная машина будет готова и станет все более трудным не использовать ее. Больше того, пока Англия не примет большевизм и вдобавок не откажется от всех своих традиционных позиций, само существование этого независимого острова может

оказаться для российской автократии невыносимым, как это было невыносимо для наполеоновской автократии, и наоборот. Осознание этого факта, конечно, и составляет существо предупреждения Черчилля и является оправданием начавшейся гонки вооружений.

Но для того, чтобы оценить все это, следует иметь в виду другое. В условиях мира, в период возможной будущей войны и в еще большей степени в существующей промежуточной ситуации, не военной, но пропитанной угрозой войны, коммунистические группировки и партии во всем мире, естественно, имеют наибольшее значение для российской внешней политики [К счастью, для последующей аргументации нет необходимости углубляться в вопрос о том, насколько сильна коммунистическая пятая колонна в этой стране. Во всяком случае, она сильнее, чем

кажется на основании статистики или официальных заявлений представителей рабочих

групп, и, конечно же, не является ничтожно малой. Споры по этому вопросу и о возможном влиянии пророссийских настроений на эффективность возможных военных действий мне кажутся бесполезными не только вследствие преобладающей заинтересованности в их недооценке или, напротив, в преувеличении, но и вследствие неспособности участвующих ясно определить сам вопрос. Позиция некоторых из них может быть на деле пророссийской, не будучи, как мы видели, пророссийской по своим чувствам и намерениям. И можно быть коммунистом, не занимая фактически пророссийские позиции.]. В итоге нет ничего удивительного в том, что официальный сталинизм в последнее время вернулся к пропаганде концепции

борьбы между капитализмом и социализмом - неминуемой мировой революции, - невозможности длительного мира, до тех пор пока где-либо существует капитализм, и т.д. Тем более важно понять, что подобные лозунги, хотя они полезны и необходимы с российской точки зрения, искажают реальную картину российского империализма [Словом "империализм" настолько часто злоупотребляли в популярной политологии, что необходимо определить, в каком значении я употребляю его здесь.

Однако для наших ограниченных целей нет необходимости анализировать это явление (я сделал это в книге, опубликованной примерно тридцать лет назад [Империализм и

общественные классы, Оксфорд, 1919], и принимать определение, предназначенное для более тонкого исследования. Вместо этого мы удовлетворимся следующим определением, неадекватность которого я полностью сознаю (оно, однако, соответствует употреблению данного термина в гл. IV и XI этой книги): империалистической называется политика, направленная на распространение контроля

данного правительства на группы иной национальности против их воли. Это та политика, которую Россия проводила до войны в отношении Внешней Монголии и Финляндии, а во время и после войны - в отношении всех остальных стран. Важно то, что эта политика не знает какого-либо предела. Фразеология при этом не имеет

никакого значения.], если не считать соображений относительно пятой колонны, и не имеют ничего общего с социализмом. Российская проблема состоит не в том, что Россия - социалистическая страна, а в том, что она - Россия. Фактически сталинистский режим по существу является милитаристской автократией, которая благодаря тому, что она правит с помощью единственной и жестко организованной партии и не признает свободы прессы, разделяет одну из определяющих характеристик фашизма [Это еще один термин, который вследствие неправильного употребления потерял свою определенность. В Соединенных Штатах термин "фашистский" обычно применяют к любой политике, группе или стране, которые не нравятся тому оратору или автору, который этот термин употребляет. Здесь же он означает в соответствии с политической теорией, изложенной в этой книге (гл. XXII), политический метод осуществления монопольного - в противоположность конкурентному - руководства. Следует отметить, что это вовсе не означает, что сталинизм во всех прочих отношениях - это "то же самое", что гитлеризм или итальянский фашизм.] и эксплуатирует массы в марксистском смысле этого слова. Мы

можем понять и посочувствовать американскому интеллектуалу, настолько запутанному, что тот вынужден называть этот режим, хотя бы в перспективе, демократическим социализмом, и в то же время мы вправе не верить в ожидаемые им

перемены, поскольку этому противится наш разум. Проявляющееся стремление этого режима расширять свое влияние на всю Европу и Азию, очевидно, нельзя просто отождествлять с тенденцией к становлению социализма. Из этого даже не следует, что российская экспансия будет способствовать распространению социализма в любом

более обычном смысле этого слова. Будет она этому способствовать или нет - зависит исключительно от реальных и предполагаемых интересов российской автократии (см. последнюю часть предыдущей главы). Последнее можно проиллюстрировать на аналогичном примере религиозной политики сталинизма: до тех

пор, пока это соответствовало интересам автократа, религия считалась опиумом для

парода; когда же они поняли, что православная церковь может оказаться более полезным инструментом внешней, политики, нежели коммунизм или Всемирная федерация профсоюзов (1945 г.), Россия объявила себя "христоролюбивой нацией" и вместо царского "обер-прокурора Священного Синода" появился наряду с новым Патриархом, который немедленно оказался заядлым путешественником по странам Восточной Европы, коммунистический председатель "Совета по делам Православной церкви". Действительно, есть серьезные основания ожидать национализации промышленности во всех странах, в которых Россия имеет свободу действий, не сдерживаемую тактическими соображениями внешней политики: ведь завоевателю легче

управлять и использовать национализированную промышленность, к тому же последняя

не может стать центром сопротивления. Но других причин нет. И невозможно сказать, будет ли этот мотив преобладать над всеми прочими [Будьте любезны, читатель, отметить, что все утверждения, приводимые и подразумеваемые в данной аргументации, можно проверить, если необходимо, по русским источникам. Фактически все, что существенно для нашего доказательства, особенно для нашего диагноза российского режима, можно установить, не обращаясь за подтверждением к фактам, которые можно было бы оспорить. Я намеренно воздержался от упоминания всего того, что хотя и казалось бы полезным с точки зрения иллюстрации природы этого режима, но опиралось бы на недоказанные факты - такие, как убийства в завоеванных и контролируемых странах, мафиозные группы в Грузии, концентрационные лагеря. Наша аргументация ни в коей мере не пострадала бы, если

бы то, что можно назвать жестокостью, полностью отсутствовало.]. Можно даже предположить, что дальнейшее расширение мощи России может со временем

стать препятствием развитию в том направлении, о котором думает и мечтает большинство людей, когда они произносят слово социализм. Смешивать проблему социализма с проблемой России - если только это не обман, осуществляемый в пользу России, - значит исказить социальную ситуацию в мире. Россия связана с проблемой социализма только в двух аспектах. Во-первых, в силу самой логики ситуации наличие коммунистических групп и прокоммунистических фракций в некоммунистических группах будет способствовать радикализации политики

в области трудовых отношений. Это не всегда так, например, французские коммунисты голосовали против двух важных мер, направленных на социализацию. Но в

общем, даже если целью является исключительно дезорганизация капиталистических стран, эта тенденция будет утверждаться и дальше. Во-вторых, в случае войны мы столкнемся с теми социальными и политическими последствиями, которые несет с собой всякая война в современных условиях. Тот факт, что это будет война между якобы социалистической и якобы капиталистической страной, мало что изменит.

Йозеф Шумпетер. "Капитализм, социализм и демократия" - Движение к социализму [Йозеф Шумпетер выступил со своей лекцией "Движение к социализму" перед Американской Экономической Ассоциацией в Нью-Йорке 30 декабря 1949 г., при этом он пользовался заметками, а не подготовленной рукописью. Он записал эту лекцию для публикации в журнале этой Ассоциации и почти за вечер до своей смерти успел закончить свою статью. Он собирался закончить ее на следующий день (8 января 1950 г.), перед отъездом в Чикаго, где он должен был выступить с Лекцией Фонда Уолгрена. Настоящая статья представляет собой первый вариант, тщательно

написанный, как и все другие его сочинения, его собственной рукой; у него не было возможности сделать небольшие поправки или написать заключительный параграф. Исправления, состоящие в основном в расстановке знаков препинания или в добавлении случайно отсутствовавших слов, сведены к минимуму. Краткий заключительный параграф был написан женой Шумпетера на основе его замечаний и по

памяти.]

Чтобы по возможности сократить опасность недопонимания, которая всегда присутствует в дискуссиях на темы, вроде той, которая обсуждалась на данной сессии, я хочу сделать несколько предварительных замечаний, прежде чем обратиться к основному предмету, а именно - к роли современного инфляционного давления для будущего экономики этой страны [США. - Прим. ред.].

1. В данной статье я определяю [централистский] социализм как такую организацию общества, в которой средства производства контролируются, а решения о том, как и

что производить и кто и что должен получить, принимаются органами власти, а не частными (по собственности и контролю) фирмами. Поэтому все, что мы имеем в виду, когда говорим о "движении к социализму", - это перемещение экономической деятельности людей из частной в общественную сферу. Заметьте, что хотя и социалисты, и антисоциалисты имеют собственное мнение об этом предмете, вряд ли возможно представить такое социалистическое общество без огромного бюрократического аппарата, который управляет производственным и распределительным процессами и в свою очередь контролируется или контролируется органами политической демократии наподобие тех, какие мы имеем сегодня, - парламентом или конгрессом, и рядом политических деятелей, позиции которых зависят от результатов конкурентной борьбы за голоса избирателей. Следовательно, мы можем отождествить движение к социализму с подчинением частной

промышленности и торговли государству. Очевидная парадоксальность того, что тот же процесс описан классической социалистической доктриной как "отмирание государства", легко устраняется, если принять во внимание Марксову теорию государства. Отметим далее, что социализм не исключает децентрализованного принятия административных решений - так же как централизованное управление армией не исключает инициативу со стороны командиров подразделений. Обратите внимание, наконец, что социализм в нашем смысле не обязательно, т.е. не с логической необходимостью, исключает конкурентный механизм, как это следует, например, из модели Ланге-Лернера. Свобода потребительского выбора и свобода выбора профессии может быть ограничена в социалистическом обществе, но это не является неизбежностью.

2. Я не выступаю в защиту социализма. У меня нет никакого намерения дискутировать по поводу его желательности или нежелательности, что бы при этом ни имелось в виду. Для меня более важно, однако, четко заявить, что я не "пророчествую" и не предрекаю его пришествие. Любой прогноз - это вне научное пророчество, которое стремится сделать нечто большее, чем поставить диагноз наблюдаемым тенденциям и показать, каким может быть результат, если эти тенденции будут действовать в соответствии с собственной логикой развития. Само по себе последнее не означает прогноза или предсказания, так как факторы, считающиеся по отношению к данному ряду наблюдений внешними, могут своим вмешательством изменить первоначальный вывод. Анализ явлений, подобных социальным, не настолько удобное занятие, как астрономические наблюдения: наблюдаемые тенденции, даже если они полностью проявляют себя, могут быть совместимыми не с одним, а с несколькими исходами. Кроме того, существующие тенденции, встречаясь с сопротивлением, могут не проявить себя полностью или "застрять" где-то на полдороге к результату. Попробуем проиллюстрировать это пункт за пунктом. Во-первых, ни один компетентный, и конечно же достаточно беспристрастный, наблюдатель событий в России времен Столыпина не мог бы обнаружить наличие какой-либо Тенденции к тому, что хоть как-нибудь напоминало ленинскую Систему: шла быстрая экономическая эволюция и замедленная адаптация к ней общественных институтов. Именно война и последующий военный и административный крах породили Большевицкий режим, и никакой антинаучный детерминизм не может опровергнуть этот факт. Во-вторых, ради краткости я говорю о централистском социализме только потому, что он занимает почетное место в дискуссии. Но и другие возможности не следует игнорировать. Известные факты о нашей собственной тред-юнионистской практике показывают, что развитие в

направлении какой-то формы гильдейского социализма нельзя совсем сбрасывать со счетов. И другие известные факты показывают, что наблюдаемые тенденции, или некоторые из них, могут быть совместимы с формами социальной реорганизации общества, которые вовсе не являются социалистическими, во всяком случае в том смысле, которого мы придерживаемся в данной статье. Например, реорганизация общества в духе энциклики *Quadragesimo anno*, хотя и возможна только в католическом обществе или в странах, где позиции Католической церкви достаточно сильны, без сомнения, представляет альтернативу социализму, в которой нет "всемогущего государства". В-третьих, самые очевидные тенденции любого рода могут приостановиться до полного своего развития. Так, социалистический режим в этой стране стал бы гораздо более отчетливым, если бы здесь хотя бы задумались о

том, чтобы затронуть интересы независимого, поддерживаемого с помощью субсидий фермерства. Даже позиции "мелкого бизнеса" могут оказаться слишком сильными для подчинения его бюрократии, так что значительный его сектор может сохраняться неопределенно долго на основе компромиссных мер.

Однако еще более важно следующее. По мере того, как экономические проблемы смещаются из частной в общественную сферу, многие требования, вызывающие эту миграцию, оказываются полностью или частично удовлетворенными, так что данная тенденция может утратить свою движущую силу. Некоторые экономисты в дополнение к

этому отмечают, что постепенное движение в сторону планируемой из центра экономики способно вызвать неблагоприятные процессы, выступающие в качестве сдерживающих факторов. У меня нет времени объяснить причины, почему обе эти точки зрения я не расцениваю достаточно высоко и почему, в частности, результаты, которые, как мне представляется, не будут иметь благоприятных последствий для достаточно важных социальных групп, тем не менее будут оказывать

скорее стимулирующее, нежели сдерживающее, воздействие на весь процесс, т.е. в качестве лекарства против неудачной социализации будут предлагаться еще большие дозы этой социализации. Но для нашей цели существенно отметить, что большинство аргументов, обосновывающих выводы в пользу выживания частнопредпринимательской экономики, в действительности вовсе не отрицают существования тенденции к социализму в нашем понимании этого слова. Эти аргументы лишь отрицают, что эта тенденция проявит себя полностью. Поскольку никто не оспаривает такой возможности, то существует опасность, что весь спор превратится в словесную баталию, особенно в Соединенных Штатах, где слова очень высоко ценятся, где термин "социализм" непопулярен, за исключением очень небольших групп, и где люди, которым все же нравится сама вещь, но не нравится слово, предпочитают заменить его другим, например либерализм [По очевидным причинам еще больше проблем с термином "коммунизм", который, за исключением российского понимания, следует использовать как синоним социализма.]. Поэтому я и считал необходимым коротко остановиться на классификации.

3. Причины, по которым, как мы полагаем, капиталистический порядок имеет тенденцию к саморазрушению, а централистский социализм, - с учетом упомянутых выше пояснений, - является его вероятным наследником, я уже объяснял. Вкратце и весьма поверхностно эти причины могут быть сведены к четырем пунктам. Во-первых, сам успех класса деловых людей в развитии производительных сил этой страны и сам

факт, что этот успех создал новый жизненный уровень для всех классов общества, парадоксальным образом подорвал социальные и политические позиции этого самого класса деловых людей, экономическая функция которых, хотя и не устарела полностью, но имеет тенденцию к устареванию и к обюрокращиванию. Во-вторых, капиталистическая деятельность, будучи по сути "рациональной", имеет тенденцию к

распространению рационального образа мышления и к разрушению тех привычек к лояльности и к подчинению низших слоев высшим, которые, однако, важны для эффективного функционирования институционализированного лидерства на производственном предприятии: ни одна социальная система не может функционировать, если она базируется исключительно на сети свободных контрактов между (законодательно) равными партнерами, в которой каждый руководствуется не чем иным, кроме собственных (краткосрочных) утилитарных целей. В-третьих, концентрация класса деловых людей на проблемах предприятия и офиса создала

политическую систему, структура которой, и интеллектуальный класс, интересы которого развивались независимо, а временами и противоположно интересам большого бизнеса. Последний становится все более неспособным защищать себя от атак, в краткосрочном плане очень выгодных для других классов. В-четвертых, в результате

всего этого система ценностей капиталистического общества, хотя и обусловившая его успехи, теряет свою власть не только над общественным мнением в целом, но и над самим слоем "капиталистов". Не надо много времени, - хотя и больше, чем есть

в моем распоряжении, - чтобы показать, каким образом современные устремления к обеспеченности, равенству и регулированию (экономической инженерии) объясняются с помощью этих процессов.

Лучший способ убедиться в том, как идет процесс дезинтеграции капиталистического

общества, это наблюдать, в какой мере его внутренние особенности принимаются за данные и самим классом деловых людей, и значительным числом экономистов, которые

считают себя (на все 100 процентов) противниками социализма и привычно отрицают существование тенденции к его наступлению. Скажу только о последних. Они принимают, не подвергая сомнению, и даже с одобрением:

(1) различные меры стабилизационной политики, направленные на предотвращение спадов или по крайней мере депрессий, а именно - значительные масштабы государственного регулирования деловой конъюнктуры, если не сам принцип полной занятости;

(2) "политику большего равенства в доходах", редко определяя, до какой степени равенства готовы они пойти, и в связи с этим - принцип перераспределительного налогообложения;

(3) богатый ассортимент мер по регулированию цен, нередко обосновываемых с помощью антитрестовских лозунгов;

(4) различную степень государственного контроля, хотя и сильно различающиеся по своим масштабам, над рынком труда и денежным рынком;

(5) неопределенное расширение сферы потребностей, которые ныне или в будущем должны удовлетворяться с помощью государственного предпринимательства, бесплатно

или за плату, как, например, потребность в услугах почты;

(6) конечно же, все виды законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.

Мне кажется, на какой-то горе в Швейцарии проходили конгрессы экономистов, которые выразили неодобрение всем этим мероприятиям или большинству из них. Но эти анафемы даже не удостоились каких-либо возражений.

Было бы полным непониманием моей аргументации, если бы вы подумали, что я "не одобряю" или намереваюсь критиковать все эти мероприятия. Не отношусь я и к тем,

кто считает все или некоторые из них "социалистическими". Некоторые из них были выдвинуты еще в XVIII столетии консервативными и даже аристократическими правителями, другие содержались в программах консервативных партий и осуществлялись ими задолго до "Нового курса". Все, что мне хочется подчеркнуть, - это то, что мы действительно далеко ушли от принципов капитализма свободного предпринимательства, а также то, что можно развивать и регулировать капиталистические институты - в той мере, в какой речь идет о функционировании частного предприятия, - таким способом, который, хотя и отличается от истинно социалистического планирования, но не слишком сильно. Экономисты, которых я имею

в виду, Несомненно, подчеркивают различия, которые, по их мнению, сохраняются. Не все они единодушно определяют место на оси капитализм - социализм, которое занимает данная система. Но все они осознают то, что не в состоянии был понять Маркс: с одной стороны - огромные производственные возможности капиталистической

машины, которая обещает неизмеримо высокий массовый уровень жизни, дополненный бесплатными услугами, без полной "экспроприации экспроприаторов"; с другой - пределы, до которых капиталисты могут быть на деле экспроприированы без того, чтобы экономическая машина остановилась, и пределы, в которых эту машину можно заставить работать в интересах рабочего класса. Открыв эту возможность лейбористского социализма, они делают вывод, что подобный капитализм может

существовать неопределенно долго, во всяком случае при определенных благоприятных условиях. Может быть, это и так, но это не ведет к отрицанию моей теории. Капитализм не сводится только к тому, что домашняя хозяйка может влиять на производство своим выбором между горохом и фасолью; или к тому, что молодой человек может выбирать, где он желает работать - не заводе или на ферме; либо к тому, что управляющий Предприятием имеет голос при решении вопроса, что и как Производить; он означает систему ценностей, отношение к Жизни, определенную цивилизацию - цивилизацию, основанную на неравенстве и семейном, состоянии. Однако эта цивилизация быстро уходит в прошлое. Мы можем радоваться или стенать по поводу этого факта - кому как нравится; но не будем закрывать на это глаза. Остается одна коренная проблема. Диагноз, позволяющий делать выводы в пользу выживания лейбористского социализма, опирается в основном на экстраполяцию современного небывалого роста общественных производительных сил. Но здесь присутствует и элемент неопределенности. Прошлые достижения были достижениями более или менее свободного капитализма. Нельзя предполагать без дальнейшего анализа, что лейборизм и в будущем будет функционировать так же. Мы можем не признавать тезис о стагнации в настоящее время, но в конце концов он станет реальностью, если частнопредпринимательская система будет перманентно перегружаться и "регулироваться" сверх ее возможностей. В этом случае непосредственно социалистическое решение может оказаться даже для врагов социализма меньшим из зол.

## II

Трансформация социального порядка - процесс непрерывный, но сам по себе очень медленный. Для наблюдателя, который изучает небольшой отрезок "спокойного" времени, может даже показаться, что социальная система вовсе не меняется. Больше

того, процесс часто испытывает откаты, которые, рассматриваемые изолированно, могут даже предстать перед ним как наличие противоположных тенденций. Но временами мы наблюдаем и ускорения этого процесса, и самой очевидной его причиной являются большие войны. В прошлом успешные войны могли увеличивать престиж правящего слоя и силу той институциональной структуры, с которой этот слой ассоциировался. В современных условиях все изменилось. Первая мировая война, разразившаяся в нашу эпоху, слабо повлияла на социальную ситуацию в Соединенных Штатах, поскольку их военные усилия не были настолько изнурительными

и продолжительными, чтобы оставить в ней устойчивый след. В Европе же все было иначе. В побежденных странах, где социальная структура сгорела в огне войны, скрытая тенденция к социалистической реконструкции доказала свое существование, выступив на поверхность и в течение короткого периода снеся все на своем пути. Еще более важно то, что нечто подобное случилось, хотя и в гораздо более скромных масштабах, в странах-победительницах. Во Франции буржуазная республика в том виде, в каком она функционировала до 1914 г., перестала существовать. В Англии Лейбористская партия, которая еще не была социалистической, но уже находилась под влиянием социалистического крыла, если на деле и не доросла до власти, то доросла до ее офисов. И в обеих странах отношение политиков к частнопредпринимательской системе незаметно претерпело фундаментальное изменение.

Учитывая существовавшую подспудно тенденцию к социализму, это легко понять. Хотя

голоса тех, кто призывает к продолжению экономической политики, проводившейся в годы войны, не находят большого отклика и хотя в настоящее время общественное неприятие военного регулирования блокирует дальнейшее развитие в этом направлении, возврат к довоенной политике оказался невозможным даже там, где он предпринимался. Это было проверено потрясающим образом на английской политике золотого стандарта, которая в конце концов потерпела неудачу: в мире, который перестал быть миром свободного предпринимательства, золотой стандарт - это непослушное дитя, которое продолжает говорить неприятную правду, - не работает. Мировой кризис и вторая мировая война явились дополнительными "акселераторами" и

на этот раз оказали свое воздействие и на Соединенные Штаты. Они создали ситуацию, которую, как ощущали многие - верно или нет, - невозможно было исправить с помощью средств, рекомендовавшихся в эпоху свободного предпринимательства. Сам класс деловых людей, убоявшись тех "процессов приспособления", которые были бы вызваны применением этих мер, принял

-временами, правда, не без ворчания - те инструменты регулирования, которые могли предотвратить повторение опыта 1929-1933 гг., а позднее и другие, которые способны были предотвратить послевоенный кризис типа 1921 года. Он многому научился (хотя еще большему не научился) в течение последней четверти столетия. Он признал новое налоговое бремя, даже малая часть которого казалась бы невыносимой 50 лет тому назад, - а именно так казалось всем ведущим экономистам того времени. И не важно, признает класс деловых людей эту новую ситуацию или нет. Сила рабочего класса сама по себе достаточно велика, а в союзе с другими группами возрастает настолько, что если не на словах, то не деле отменяет приверженность системе ценностей частнопредпринимательской экономики, и это способно предотвратить любой обратный ход, за исключением случайных поворотов в целях сглаживания острых углов. Позвольте мне повторить: я ни на минуту не думаю, что отдельные "случаи" или же события такого значения, как "тотальные войны", либо создаваемые ими политические ситуации, либо настроения и чувства индивидов или групп по поводу этих ситуаций, определяют долгосрочные контуры социальной истории - последняя есть результат действия гораздо более глубоких сил. Но я уверен, что подобные события и порождаемые ими ситуации могут отодвигать преграды с пути более фундаментальных тенденций - преграды, которые в

противном случае будут замедлять ход социальной эволюции. Заметьте, что для серьезного социалиста это вовсе не обязательно дает основание приветствовать подобные события. В их отсутствие эволюция в сторону социализма была бы более медленной, но все равно неуклонной. Откаты и возникновение неуправляемых ситуаций были бы менее вероятными. Координация развития в различных секторах национальной жизни была бы более совершенной. Ибо подобно тому, как существование эффективной оппозиции является требованием упорядоченного функционирования демократического правительства, так существование экономических сил, которые сопротивляются институциональным изменениям, может быть необходимым

для того, чтобы удержать скорость этих изменений в границах безопасности. Итак, одним из самых мощных факторов, способствующих ускорению социальных перемен, является инфляция. Поскольку столь многие авторитетные лица убеждают нас в том, что ничто так не подрывает основы общества, как инфляция, то вряд ли стоит на этом задерживаться. И если это так, то учитывая сказанное выше, из этого следует, что какие бы позиции мы ни занимали, за исключением позиции безответственных революционеров, первостепенное значение после войны имеет такое

переустройство экономического процесса, которое бы предотвратило дальнейшую инфляцию. Одновременно абсолютно ясно, что сделать это крайне трудно, когда каждый опасается краткосрочных последствий подобной политики и когда некоторые из требуемых мер - в особенности повышение многих из ранее контролируемых цен без соответствующего роста денежной заработной платы - и вовсе "политически неприемлемо" [Альтернативный путь - понижение прочих цен и денежной зарплаты не только менее "политически возможный", но и гораздо более трудный, поскольку его невозможно осуществить, не вызывая серьезной депрессии.]. Единственный курс, который можно было предпринять в этих обстоятельствах и которому фактически следовали после 1945 г. - под градом взаимных обвинений, но все же при известном

согласии - состоял в том, чтобы умерять трудности переходного периода определенными дозами контролируемой мирной инфляции, что было более эффективным вследствие сохранения высоких военных расходов и благодаря политике помощи Европе. По существу все это сослужило свою службу, и если и не для всех экономистов, то для большинства людей стало очевидно, что период быстрого экономического развития, включающий обширные инвестиционные потребности, уже не за горами и что надежда на то, что главные трудности будут преодолены и что экономика Соединенных Штатов станет развиваться какое-то время на основе медленно растущих цен, вовсе не лишена оснований - что бы ни происходило, " а исключением другой мировой войны, за границей.

Однако соображения такого рода не принимают в расчет одно грозное обстоятельство. При высоком уровне занятости (нам кажется, что со временем лозунг полной занятости исчезнет), обеспеченном либо "естественным" путем, либо с помощью политики высокой занятости, требования в отношении зарплаты или прочие

требования, повышающие денежные издержки труда, становятся и неизбежными, и инфляционными. Они становятся неизбежными, поскольку высокий уровень занятости устраняет единственную причину, благодаря которой они не должны расти. К тому же

они приобретают инфляционный характер, поскольку при высокой степени использования ресурсов банковские займы и пересмотр цен в сторону их повышения являются идеальным способом удовлетворения этих требований. Хотя переговоры все еще ведутся с отдельными профсоюзами, тенденция носит общий характер, так что мы

медленно вползаем а описанную Кейнсом ситуацию, при которой денежная зарплата уже влияет не на производство и занятость, а на ценность денежной единицы. При ведущей роли профсоюзов и при существующем правительстве нет ничего, что могло бы остановить этот механизм, который, исключая отдельные ситуации в отдельных фирмах, порождает хронический инфляционный пресс. Растущие требования к казне и наши сверхпрогрессивные методы налогообложения, конечно, усугубляют эту ситуацию, но не они ее создают.

Нет нужды говорить, что перерывы в росте цен, которые случались и будут случаться, ни в коей мере не являются аргументом против существования инфляционного пресса. Даже если исключить послевоенную динамику сельскохозяйственных цен и другие вполне понятные случаи, подобные перерывы обычно случаются в ходе всех инфляций, - это можно прекрасно показать на примере

инфляции в Германии после первой мировой войны. Люди, которые "клюют" на эту удочку, начинают кричать о дефляции; так же поступают и наши друзья-экономисты, которые сделали ставку на дефляционный прогноз и не в состоянии предвидеть ничего, кроме дефляции. На самом деле сомнение в том, что угрожает нашему обществу - инфляция или дефляция, - это непреднамеренный и от того тем более искренний комплимент производственным возможностям американской индустрии.

III

Состояние хронического инфляционного давления будет оказывать многостороннее воздействие на ослабление социальной структуры общества и на усиление подрывных тенденций (хотя и тщательно облакаемых в "либеральные" фразы), которые любой компетентный экономист привык связывать с сильной инфляцией. Но это еще не все. Кроме того, некоторые обычные методы исправления подобных ситуаций будут не смягчать, а даже усиливать ее. Мне кажется, что это обстоятельство не полностью осознается. Поэтому позвольте с предельной краткостью рассмотреть три типа таких

методов:

1. Самая ортодоксальная из всех мер контроля за инфляцией - это воздействие на объем займов через процентную ставку, кредитное рacionamento и т.п. Конечно, я

полностью осознаю, что денежные ставки должны быть освобождены из тисков политики дешевых денег, если мы хотим добиться нормализации в смысле восстановления экономики свободного предпринимательства. Для каждого, кто желает

возврата к такому нормальному состоянию, либерализация - или возрождение - свободного денежного рынка, должна быть вопросом первостепенной важности. Но это

не меняет того факта, что ограничительная кредитная политика в настоящее время будет давать результаты, совершенно отличные от тех, которые следовало бы ожидать в соответствии со старой теорией кредитной политики. Принимая последнюю без всяких уточнений - ради самой аргументации, - мы не можем не отметить, что она была применима к миру, в котором все было исключительно гибким и который не опасался того, что я не боюсь назвать целебной рецессией. В том мире предполагалось, что повышение процентных ставок будет сокращать объем операций, уровень денежной зарплаты и занятости. Наверняка в настоящее время подобные следствия не смогут материализоваться, а если и реализуются, то тут же спровоцируют действия правительства по их нейтрализации. Другими словами, в настоящее время кредитные рестрикции мало что дадут, не считая возросших трудностей для бизнеса. Даже ограничения потребительского кредита до некоторой степени будут иметь тот же эффект, хотя кое-что, вне сомнения, можно в этой области сделать.

2. Подобные же трудности встают на пути контроля за инфляцией посредством увеличения налогов - этого менее ортодоксального средства, но достаточно

популярного среди современных экономистов, отрицательно относящихся к кредитной рестрикции.

Несомненно, кое-чего можно добиться увеличением налогов на потребление. В инфляционной ситуации это было бы даже хорошим примером прикладного кейнсианства. Но если повышаться будут налоги на корпорации и налоги на слои населения с высокими доходами, воздействие на инфляционный пресс окажется в лучшем случае незначительным, а может быть, и вовсе негативным. Ибо, если современный темп индустриального прогресса сохранится и, следовательно, останется современная скорость устаревания оборудования, увеличится спрос на инфляционные банковские кредиты с целью компенсации снижения имеющихся неинфляционных средств финансирования. В противном случае снижение темпов этого прогресса и устаревания действительно на какое-то время снизит инфляционный пресс, но усилит его в будущем [В этом месте Йозеф Шумпетер прекратил запись своих заметок. Те, кто слышал его лекцию, припомнят, что в ее конце оставалось немного времени, в течение которого он очень кратко подвел итоги всему сказанному, вернувшись вновь к своим первоначальным замечаниям относительно того, какое значение для экономического будущего этой страны при существующих политических условиях имеет нынешнее состояние инфляции. Некоторые из вопросов, которых он коснулся с "отчаянной храбростью", можно найти в более разработанном виде во втором американском или в третьем английском изданиях его книги "Капитализм, социализм и демократия", а также в статье "Есть еще время остановить инфляцию", которая появилась в 1948 г. в июньском номере журнала "Nation's Business". Последующие абзацы восстановлены по памяти и по заметкам, использованным для данной лекции. Я не претендую на пророчество: я лишь признаю факты и указываю на тенденции, о которых они говорят]..

3. Третий доморощенный способ - это прямой контроль, т.е. фиксирование цен, введение приоритетов и т.п. (включая субсидии). Почему он так популярен в глазах

определенной части общества - этот вопрос не должен нас здесь задерживать. В частности, для бюрократии возрождение этого метода означало бы завоевание потерянного пространства; профсоюзам он давал бы решительное преимущество в борьбе за завоевание куска прибыли; для бизнеса это означало бы потерю последней

линии обороны, имеющейся в его распоряжении до тех пор, пока большая часть атак,

а возможно, и все атаки на него могут быть частично или полностью отбиты с помощью ценовых изменений. Или по крайней мере это сделало бы упомянутое отступление зависящим от решений правительства, которое, как и следует думать, было бы принято якобы в интересах совершенствования функционирования производственного механизма. Другими словами, контроль над ценами может привести

к сдаче частного предпринимательства на милость общественной власти, т.е. к большому скачку в сторону полностью планируемой экономики.

4 Мне не трудно понять, почему тот аргумент не действует на наших друзей-радикалов. Но, признаюсь, я не могу уяснить позицию некоторых прекрасных экономистов, которых трудно заподозрить в том, что они приветствовали бы неспособность нашей индустриальной машины к успешной работе и которые тем не менее заносят в число приемлемых мер для противодействия инфляции сокращение промышленных инвестиций, причем и здесь, и в Англии. Кстати, следует отметить, что мнение некоторых стойких консерваторов, согласно которому высокое и чрезвычайно прогрессивное налогообложение способно усиливать инфляционную опасность, а сокращение налогов (правильно избранное) - ослаблять ее, не всегда заслуживает тех презрительных насмешек, которыми их обычно награждают. Хронический инфляционный пресс может играть важную роль в постепенном завоевании

системы частного предпринимательства со стороны бюрократии - возникающие в результате этого неполадки и тупики будут при этом приписываться частному предпринимательству и использоваться в качестве аргументов для введения дальнейших ограничений и регулирующих мер. Я не говорю, что какая-то группа сознательно преследует эту цель, цели никогда не бывают полностью осознанными. Может возникнуть и такая ситуация, когда большинство людей посчитают всеобъемлющее планирование в качестве наименьшего из всех зол. Наверняка они не станут называть такую систему Социализмом или Коммунизмом, при этом, по всей видимости, будет сделано ряд исключений для фермеров, розничных торговцев и

мелких производителей; в этих условиях за капитализм (т.е. свободное предпринимательство) как систему ценностей, образ жизни, как цивилизацию, может быть, и не стоит беспокоиться.

Стоит ли американский гений массового производства, на прошлых успехах которого базируется весь оптимизм этого образа жизни, на пороге подобного испытания, утверждать не берусь; не смею утверждать и того, что политика, ответственная за подобную ситуацию, может быть повернута вспять.

В своем диагнозе Маркс ошибался относительно того, каким способом произойдет крушение капиталистического общества; но он не был неправ, предсказывая, что со временем оно потерпит крушение. Сторонники теории стагнации ставят неверный диагноз причинам, в силу которых начнется стагнация капиталистического производства; но они могут оказаться правыми в своих прогнозах, что такая стагнация начнется -при соответствующей помощи со стороны государства.

30 декабря 1949 г.